Б О Р И С   Ш И Р Я Е В

Бриллианты и булыжники

с т а т ь и
о   р у с с к о й
л и т е р а т у р е

Составление и научная редакция
А. Г. Власенко, М. Г. Талалай

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2016

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

ИСТОЧНИКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

УДК 82.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)
Ш 647

Ширяев Б. Н.

Ш 647 Бриллианты и булыжники: статьи о русской литературе / сост. и науч. ред. А. Г. Власенко, М. Г. Талалай. СПб.: Алетейя, 2016. – 520 с.: ил. – (Серия «Русское зарубежье. Источники и исследования»).

ISBN 978-5-906792-20-4

Один из самых крупных писателей «второй волны» эмиграции Борис Николаевич Ширяев (Москва, 1889 – Сан-Ремо, 1959), автор знаменитого свидетельства о Соловецком лагере, книги «Неугасимая лампада», являлся также плодовитым историком литературы и литературным критиком. В настоящем издании впервые и максимально полно собраны его статьи по литературе и рецензии, отображающие как художественные вкусы и политические убеждения автора, так и детальную панораму русской литературы – классической, а затем эмигрантской и «подсоветской» – середины прошлого века. Тексты, собранные из трудноступной эмигрантской периодики, издаются впервые в России и сопровождены научным комментарием и библиографией, а также биобиблиографическим словарем литераторов эмигрантов.

Изобразительный материал и тексты из произведений Б. Н. Ширяева, опубликованные в газете «Наша страна» (Буэнос-Айрес), воспроизводятся с разрешения редактора Н. Л. Казанцева.

На лицевой стороне обложки: фрагмент эскиза декорации К. А. Коровина к опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин» (1908)

на обороте: портрет Б. Н. Ширяева работы аргентинского художника Эрнана Торре Еписо

УДК 82.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)



Предисловие

Нет никакого сомнения в большой историко-литературной и культурной значимости этого собрания прокомментированных материалов, которые — *впервые*! — должны быть полно включены в исследования русской культуры и особенно литературы. Это необходимо сделать, в первую очередь, потому, что работы Бориса Ширяева, собранные теперь стараниями А. Власенко и М. Талалая под одной обложкой с названием «Бриллианты и булыжники», долгое время, почти полувека, вообще не учитывались, и даже отторгались априори в России.

Пора, наконец, открыть этот ценный источник и изучить его, а главное — включить в подлинную и многомерную историю русской литературы, избегая при этом «злободневной» полемики, но вбирая мировидение, пережитое Россией на всех «переломах» ушедшего века.

К огромному сожалению, многие минувшие десятилетия *этот* взгляд на литературный мир России — пережитый изгнанниками — был радикально исключен из «советского» научного, а тем более *духовного* кругозора. А ведь в эмиграции произошло немало значимых историко-культурных открытий и даже — самопознание.

Еще в большей степени всё это относится ко «второй волне» литературной эмиграции, судьба которой, творческая и социальная, была тщательно скрыта от нас или же представлялась негативно. Лишь в последние годы возник некий «прорыв» — пока еще крайне узкий: перед нами — не «панорама», а «щель». Вне сомнения, писателям «первой волны» «повезло» куда более — почти все они, как говорят сейчас, *вернулись*. Это И. Бунин, З. Гиппиус, Дм. Мережковский, А. Ремизов, В. Ходасевич, И. Шмелев и многие другие...

Вот почему многолетние литературоведческие труды Б. Ширяева стали во многом новым и необходимым словом. Если прежде автор предстал для российской публики как писатель, как автор ставшей знаменитой теперь книги «Неугасимая лампада», то ныне он является как мыслитель и литературный критик.

Б. Ширяев в публикуемых текстах, в эссе и рецензиях, выступает весьма цельной натурой. Это глубоко религиозный человек, по своим политическим взглядам — сторонник народной монархии, то есть крепкой и здоровой государственной основы для могущественного православного Отечества, что созвучно нашему времени, хотя в прошлом веке Россия была необыкновенно далека от такого идеала. Отсюда — боль автора, которую он не скрывает, но отсюда — и неизбывная любовь к родной стране и к ее культуре.

Тяжести жизненного пути Ширяева — преследования, тюрьмы, ссылки и, наконец, эмиграция — не погасили его духа: изгнанника спасла вера и, думается, наша великая русская литература, ставшая для него «посохом», опорой, стержнем существования. При этом литература для Ширяева — это не только величайшая эстетическая и духовная ценность. Она дает ему возможность понять русский характер и, говоря его собственными словами, сам «процесс бытия нашей Родины».

Но в сфере русской литературы Ширяев отнюдь не всеяден. Его любимые поэты — А. К. Толстой, Н. Гумилев, С. Есенин, М. Волошин, из советских поэтов он ценит А. Твардовского. Он проницателен в оценке А. Блока, заставляет по-новому взглянуть на поэзию Н. Некрасова (в своем неприятии Некрасова он близок к Вл. Соловьеву, им любимому).

Из прозаиков XIX в. его кумир — Н. Лесков, «русейший русак», который близок Ширяеву «своей великой любовью и глубочайшим пониманием души родного ему народа». Критик проникновенно и тонко отдает должное А. Чехову, Б. Зайцеву, И. Шмелеву. Думается, не стоит соглашаться с мнением автора о творчестве И. Бунина, М. Цветаевой и ряда других прозаиков и поэтов. Он пристрастен и не скрывает этого, однако в его нелицеприятных оценках — тяжкий жизненный опыт и цельное мировоззрение.

Публикуемый сборник — это текст истинного и профессионального филолога (поражает начитанность и эрудиция автора!). Но это и текст публициста, страстного и непримиримого.

Великая заслуга Ширяева — его анализ произведений литературы «второй волны». И здесь он не только литературовед: он — собиратель и хранитель судеб своего писательского поколения.

Эти судьбы в итоге не превратились в покорный «бег», не иссякли в духовном бессилии, несмотря на то, что находились и под прессом истории, и в изоляции и очернительстве согласно советским директивам. Никакого духовного краха эмиграции, как об этом писали в СССР, не было. В изгнании, за «морями-океанами», продолжилось самосотворение русской культуры и литературы. Литераторы-изгнанники «второй волны», лишенные всяких возможностей общения со своим «миром порождения», со своими российскими истоками (добавим: испытывавшие нередко давление иной, местной государственной идеологии), продолжили врожденное духовное бытие. В целом, менять литературное — истинно творческое — самовыражение также невозможно, как менять душу. Сохранение души, развитие ее даже в новой мировой — «глобальной» — обстановке, вот главный сюжет судеб того литературного поколения,

которые жило *там*, в изгнании, но одновременно в драматическом созвучии с глубинным миром Родины.

Про них, и в первую очередь, про самого Бориса Ширяева следует сказать: они не ушли из России; Россия в главном и животворящем значении осталась в них, а они остались в ней. На самом деле, это не они возвращаются, а мы....

Думается, в этом главный смысл собирательской работы современных исследователей — Андрея Власенко и Михаила Талалая. Спасибо им!

В. М. Акимов,
доктор филологических наук,
профессор, заслуженный работник высшей школы,
член Союза российских писателей.
Санкт-Петербург, май 2015 г.

СТАТЬИ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

Карета Чацкого
(Юбилейные размышления)

...Молодой человек чуть свет ворвался в приличный барский дом и начал упорно досаждать своею любовью невыспавшейся барышне. Когда у нее лопнуло терпение, он перекочевал в кабинет к папаше и начал говорить ему всяческие неприятности. Попутно кольнул предполагаемого жениха этой девицы, дельного, заслуженного офицера, честно сражавшегося в великой войне, охаял предшествовавшую эпоху реформ, побед и подъема общественной мысли, поиздевался над дельным, скромным чиновником, ведущий всю работу в учреждении, возглавляемом отцом девицы, и устроил ей сцену ревности. Этим не кончилось. Вечером он снова явился туда на бал и устроил, если не скандал, то сильный переполох среди гостей, обругал современное ему русское общество, пересидел всех гостей, скомпрометировал несчастную девицу своим появлением в уже запертой на ночь передней и, наконец, потребовал такси — виноват, — карету и уехал в ней в твердом убеждении, что его истерзали безвинно...

Еще для характеристики этого молодого человека: ему только 23 года, но он уже успел послужить на военной, — не прижился, послужить на штатской, — не сошелся, пробыл три года заграницей, не заметив там Гёте, Гегеля, Байрона и ничего, кроме желчности, оттуда не вывез. Попутно расстроил свое имение, т. е. разорил 300-400 крестьянских хозяйств, состоявших в подчинении ему и им же эксплуатируемых. Сколько дел! Действительно «мильон терзаний»*!

Вероятно, в ту ночь этот молодой человек заплакал от неврастенической жалости к самому себе. А вслед за ним заплакала и вся русская «прогрессивная» интеллигенция (кроме одного лишь человека, о нем речь впереди) и плакала ровно 125 лет.

---

* Название критического этюда И. А. Гончарова о комедии «Горе от ума» (1872).

Этого молодого человека звали Александр Андреевич Чацкий, и мы должны отметить в этом году юбилей окончания А. С. Грибоедовым своей единственной, но замечательной — надэпохальной комедии. Эта комедия не изменилась за 125 лет своей жизни. Разве только повысила свою ценность, благодаря разнообразной ее трактовке великими мастерами русской сцены от Щепкина до Станиславского. Но изменилась и беспрерывно изменяется внешность ее героев в вечном течении бытия.

Холостяк Чацкий, при всей бесплодности своей жизни до 23 лет, оказался в дальнейшем необычайно плодовитым. Он стал родоначальником огромной семьи «лишних людей», прочно угнездившихся в русской литературе. Потребовав карету, Чацкий прихватил из Москвы уже довольно потрепанный «гарольдовский плащ» и, закутавшись в него, под именем Печорина кокетливо прошел мимо жертвенной любви Веры и мимо честного, великодушного Максима Максимовича. Его первенец, сбросив из моды вышедший плащ, в изящном фраке Бельтова*, вместе со своими единомышленниками также укатывает на Запад, но снова не находит ничего достойного внимания, хотя там попадались в то время великие человеколюбцы Гюго, Бальзак, Диккенс, а Стефенсон прокладывал рельсовый путь к невиданным экономическим реформам.

Другой член той же семьи — Рудин — внимательнее присматривается к этому «гнилому Западу», наскоро выхватывает оттуда пару ярких галстуков, идеек Прудона и юного еще Маркса и щеголяет заграничной обновкой перед отечественными «прогрессистами». Он, «лишний человек», уже необычайно вырос в их глазах, ибо он импонирует неудовлетворенности, не только оправдывает, но героизирует неудачи, неизбежные в жизни слабых, неподготовленных к борьбе личностей.

Этот «молодой человек», как определяет его Максим Горький**, растет. Он ожесточенно, исступленно и талантливо (в этом ему отказать нельзя) звонит из Лондона в «Колокол», проклиная «тюрьму народов» и снова не замечая, что в творческом процессе этой «тюрьмы», от которой он себя изолировал, уже вызрели Пушкин и Глинка, Гоголь и Щепкин, Брюллов и Федотов, готовы к цветению Достоевский, Толстой, Тургенев.

Но растут в то же время и другие персонажи комедии, ибо ничто живущее не исключено из процесса развития.

Жизнь шла своим чередом. Офицер Скалозуб, — кстати сказать, неплохо показавший себя в 1812 году, по словам самого Грибоедова, — пе-

---

* Владимир Бельтов — герой романа А. И. Герцена «Кто виноват?» (1846).

** Имеется в виду статья М. Горького «История молодого человека» (1931), открывавшая книжную серию «История молодого человека XIX столетия», из 18-ти романов и повестей русских и зарубежных авторов.

реболев насильственно привитой ему аракчеевщиной, дорос до великого духовного подвига Севастополя (1855). Иначе не могло быть! Он трудился, включив себя в коллективную, соборную личность армии, «маневры» помогли ему воплотиться в Корнилова и Тотлебена, а за «мазурку»... да кто же не простит юному офицеру этого увлечения?

Рос и Молчалин. Выполняя свою будничную серую работу в качестве одного из «десяти тысяч столоначальников», он не порывал своей связи с общественной и экономической жизнью страны; вышел в чины, «посмел свое суждение иметь» и высказал его 19 февраля 1861 года*.

Услышали его Бельтов и Рудин? Да, и «милостиво одобрили». Но не прошло и двух лет, как снова обрушились на «тюрьму народов» за обуздание польского панства, не пожелавшего отказаться от своих «хлопов» и «гонора». А в «тюрьме» в это время уже утверждался лучший в Европе «скорый, справедливый и милостивый суд»**, всеобщая воинская повинность и земское самоуправление. Рудиным и Бельтовым ответили тысячи подголосков, объединенных своим отказом от национальной работы и служением никому не ведомому «общему делу». Они проявили себя лишь в огульном, антикультурном, озлобленном всеотрицании — нигилизме.

С кем же тогда был еще один персонаж, раздвинувший свои сценические рамки комедии — безыменный во времена Грибоедова Петрушка***? Тогда он еще молчал. Но именно он, рукою Комиссарова, предотвратил предательский выстрел Каракозова****, он пережил Шипку и Плевну со Скобелевым и Скалозубом... Звон лондонского глумливого «Колокола» еще не дошел до него... Он слушал тогда иные, более близкие ему колокола...

А Софья? Расчетливая барышня, не помнившая петровскую традицию обязательной служебной повинности дворянской интеллигенции XVIII века, отвергла дезертира Чацкого. Но пришедшая ей на смену прекраснодушная Татьяна-Вера-Наталья*****, русская интеллигенция в целом, проникнутая высоким пафосом жертвенной любви и служения, безоговорочно уверовала в гарольдовский плащ «лишнего человека»,

---

* День издания царского манифеста об отмене крепостного права.

** В реформированных Судебных уставах 1864 г. Александр II изъявил свою волю «водворить в России суд скорый, правый, милостивый, равный для всех».

*** Второстепенный персонаж комедии, слуга Фамусова.

**** Шапочный мастер Осип Комиссаров, уроженец Костромской губ., 4 апреля 1866 г. отвел руку стрелявшего в императора Александра II Дмитрия Каракозова, за что получил потомственное дворянство с фамилией Комиссаров-Костромской. Панегерическое стихотворение в честь Комиссарова написал Н. А. Некрасов.

***** «Татьяна Ларина» Пушкина; «Вера Павловна» Чернышевского; «Наталья Ласунская» Тургенева.

жадно ловила звуки его «Колокола» и в дальнейшем трепетно ждала от него мессианских откровений. Она, мощная и плодоносная, безмерная и святая в своем любвеобилии, родила от него вереницу злобных, уродливых ублюдков, изолированных от происходившего национального творческого процесса и, в силу этой отрешенности, враждебной ему. Они были многолики и многообразны, но объединены в одном: в отрицании реально протекавшего развития нации. Пером Писарева они подкапывали ее этические основы и верования, упорным тупоумием Чернышевского и присных ему долбили ее эстетику, псевдорусским стихом Некрасова извращали пафос переживаемого ею созидательного периода и призывали к мести (кому?) и, наконец, пером талантливейшего из ренегатов Салтыкова-Щедрина, объявили ее правящее ядро «помпадурами». Жертвенную русскую армию он назвал «господами ташкентцами», а весь величавый и трагический ход русской истории был для него лишь «историей города Глупова». Так видел этот ублюдок через заплеванное окно своей тесной каретки...

Быть может так и было? Но почему же видели иное Хомяков, Леонтьев, Лесков, Толстой, Достоевский? Или они лгали?

Теперь нам ясна правда! Контрагенты и подголоски окрепшей в «общественном», а на самом деле, антиобщественном сознании России, одарены необычайной способностью перевоплощения. Они то точат пугачевские топоры в редакции «Современника», то мечут мартовские бомбы в Царя-Освободителя, то тащат в народ охвостья прудоновских идеек, то иссушают народную творческую мысль заграничною контрабандою в упаковке Плеханова, Аксельрода, Мартова и других. В совокупности их работа огромна. Но не менее грандиозна работа трудолюбивых, упорных Молчалиных. Они дотягивают обруганную Некрасовым «чугунку» до Тихого океана, укрепляют рукою Молчалина-Витте ненавистные народникам «фабрики», а с ними и русский рубль (мы-то теперь это знаем!), передают рукою Молчалина, выросшего до П. А. Столыпина дворянские земли в руки десятков миллионов Петрушек, земли, разоренные паразитарными Чацкими и Рудиными («имением не управляй оплошно»...) и, наконец, даруют от имени Непонятого, Осмеянного и Замученного основы демократии — России, а миру — первый в его истории эмбрион преодоления войны — Гаагскую конференцию*. Они умели видеть и любить Россию и «такой», какою любили ее и видели Чехов и Блок.

Поздно! Чацкий обогнал Молчалина. «Искры», извергаемые из женевского укрытия, уже зажгли иссушенные всесторонней упорной рабо-

* Первая мирная Гаагская конференция 1899 г. была созвана по инициативе императора Николая II — его автор и называет «Непонятым, Осмеянным и Замученным».

той целого полувека сознание Захаров* и Петрушек. Оно смрадно чадит и вот-вот вспыхнет. Свершилось. Последние из всей серии «прогрессистов», задыхаясь в дыму пожара и ошейниках партийных программ, спрыгнули с картонных пьедесталов и побежали спасать свою жизнь под ими же осмеянное орлиное крыло жертвенного Скалозуба. Мавр, сделавший свое дело, стал уже не нужен «лишнему человеку», въехавшему своей собственной персоной на российское пожарище в запломбированном вагоне и обратившемуся к погорельцам с крыши кареты-броневика. Не символично ли?

Его послушали, не могли не послушать, т. к. он был абсолютно ясным, логическим завершением работы своих предтеч и пособников, обещанным и возвеличенным ими Мессией.

«Лишний человек» непомерно возрос в объеме, но сущность его не изменялась, и первое, что он сделал, была мера изоляции себя, «лишнего человека» от русского народа — разгон Учредительного Собрания. Всё дальнейшее было лишь развитием этой единственно-свойственной генеральной линии. За изоляцией от общественной мысли последовала изоляция от религии и общественной морали, от исторического прошлого, от славных традиций и бытовых форм, от эстетических представлений, изоляция всего народа от «гнилого прошлого», мучительная и страшная изоляция крестьянства от его вековых идеалов и форм экономического развития, изоляция молодежи от свободного творчества, женщин от семьи, детей от родителей и, главным образом, изоляция себя самого, «лишнего человека» от исторического развития нации.

Карета-прототип вызвала к жизни тысячи больших и малых кареток во всех областях бытия русского народа, стандартом которых стал обязательный для всех в СССР, да и не только в СССР, тип кареты «черный ворон».

— «Карету мне, карету»... Сотни, тысячи, миллионы карет! — властно диктует грандиозный отрешенец Чацкий из гремящей на весь мир Кремлевской радиостанции. Комедия, разыгравшаяся 125 лет назад на глухих улицах дворянской Москвы, разрослась в мировую, всечеловеческую трагедию.

Было бы ошибкой думать, что каретная традиция — метод, свойственный исключительно российскому «лишнему человеку». Его корни и ответвления покрывают весь мир.

На две половины расколота многогранная, глубоко национальная творческая личность А. С. Грибоедова. В одной половине жил трудоспособный, действенный Молчалин, он сулил равно ужиться и стать необ-

* Захар — слуга у гончаровского Обломова.

ходимым и «просвещенному» другу декабристов Ермолову и грубому, но честному солдату Паскевичу. Он Грибоедов-Молчалин, гениально провидел духовные задачи России на Востоке и сформулировал их в своем Восточном проекте. Он погиб жертвою молчалинского выполнения своего долга, сам не понимая того.

Во второй половине его жил прирожденный артистическими устремлениями протестант-Чацкий. Он был полу-Грибоедовым, его полу-умом, самой опасной для общества формой однобокого мышления. Он погиб раньше, в самом Грибоедове, вместе с сознанием его авторского бессилия, в поисках не удавшейся ему широко задуманной русской трагедии. Он погиб в музыкальных попытках этого несомненно крупного композитора, предтечи Глинки.

Тогда, 125 лет тому назад, только один человек разгадал этот полу-ум Чацкого. Это было в заснеженном селе Михайловском. Прочтя привезенный Пущиным первый список «Горя от ума», он сказал:

— Грибоедов очень умный человек, но не Чацкий...

Сказавшего звали А. С. Пушкин.

Алексей Алымов

От редактора [газеты «Наша страна»]

Я как-то писал, что мы — против псевдонимов. Бывают, однако, и исключения. А. Алымов — профессор, новый эмигрант, вероятно, имеет достаточные основания, чтобы не фигурировать под своим собственным именем. В своем частном письме он пишет:

«Эта статья является введением к целому ряду литературных очерков, разбивающих “либерально-прогрессивное мышление” нашей интеллигенции. Поймите (а Вы-то поймете), что мой главный враг уже не большевизм (его песня в сознании русского народа уже спета), а именно эта подлая, но крайне живучая в русском сознании традиция преклонения перед “лишним человеком”. Я, как работник истории и литературы, обязан разбить это. Но это крайне трудно. Страшно трудно ударить топором по таким обожествленным истуканам, как Некрасов, Герцен, Чернышевский, Писарев и прочие. Шлю статью, которую можете поместить только Вы, не боящийся никакой либеральной с...чи».

Действительно — не боюсь. И если я не совсем согласился бы с тем, что главный враг уже не большевизм (он *еще — главный* враг), то нет никакого сомнения в том, что наша, я бы сказал, «профессионально-прогрессивная» интеллигенция есть самый глубокий враг, — она соорудила революцию и она обязательно попробует соорудить нечто «революционное» еще раз. Она науськивала против нас Германию, и она сейчас науськивает САСШ [совр. США]. Она клеветала перед всем миром и на Россию, и на монархию, и на религию, и даже на

народ. Всё это она делает и *будет* делать и дальше — в этом никакого сомнения быть не может. Если и мы с ней не справимся — то это будет означать повторение сказки про красного бычка, одного может быть зарежут американцы, а наши «сеятели» начнут растить другого. Вопрос, следовательно, идет о возможно более полной дезинфекции хотя бы только нашего русского сознания — иностранные, я боюсь, нам недоступны. И в этой тяжкой работе я буду, конечно, очень рад всякому подкреплению наших сил.

*И. Л. Солоневич**
«Наша страна», Буэнос-Айрес,
22 января 1949 года, № 10. С. 3–5

После юбилея
(Точка над «и»)

Пушкинские юбилейные дни отзвенели. Чего только, о чем только и как только ни говорили, ни пели, ни писали и по «эту» и по «ту» сторону. О лирике, о стиле, о любовницах, о композиции, о детских годах, о смерти и даже об отношении всеобъемлющего Пушкина к юриспруденции... Да, всеобъемлющего и, конечно, в силу этого, имевшего свои политические взгляды. Но вот об этом то, казалось бы столь интересном в наше ультра-политическое время, по нашу сторону черты дипломатично промолчали, а по «ту» сторону еще раз постарались о привлечении А. С. Пушкина в ряды ВКП(б), хотя бы кандидатом или сочувствующим...

Большевистское вранье нас мало интересует. В нем — ничего нового. А вот о замалчивании нашими «прогрессивными» пушкинистами некоторых и весьма значительных черт в творчестве всеобъемлющего Пушкина поговорить стоит, так как это замалчивание имеет свою причину и традицию. Оно является частью того векового обмана, в котором держала русский народ его «передовая» интеллигенция.

Не говоря уж о временах советских, но и в «доброе, старое время» при разборе Пушкина в гимназиях огромное большинство учителей усиленно акцентировало его «связь» с декабристами и, подкрепившись парой юношеских эпиграмм, да парою строк из «Деревни», зачисляло Александра Сергеевича, если не задним числом в Тайное общество, то во всяком случае в число «протестующих» против Самодержавия и режима Николая Первого.

Да, юный, безудержно шаловливый Пушкин написал до 14 декабря 1825 года пяток хулиганских эпиграмм, и не только их, но и кощунствен-

* См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

ную похабнейшую «Гаврилиаду», но после этого создал еще пять томов, в которых ни одной строчкой не унизил себя и показал миру истинного ВЕЛИКОГО ПУШКИНА.

Каков же удельный вес пяти эпиграмм в пяти томах? Имели ли право «прогрессивные» учителя что-либо «строить» на них, что-либо «выводить» из них, особенно если принять во внимание, что их писал едва вырвавшийся из лицея, далеко еще не «перебесившийся» юноша?

При разборе «Деревни» протест Пушкина против Самодержавия обычно усматривали в строках:

Увижу ль я народ освобожденный
И рабство падшее по манию царя...

Тут уже шло явное беззастенчивое шулерство, т. к. в стремлении к освобождению крестьян Пушкин был полностью созвучен и Александру Первому и Николаю Первому, что оба они не раз высказывали. Слова же «по манию царя» ясно говорят, что иного (революционного) пути к реформе Пушкин не мыслил и отрицал его.

Есть непроверенная легенда о том, что Александр Первый прислал своего генерал-адъютанта с благодарностью за эти строки. Возможно. Подобный жест соответствует характеру Александра Первого.

Была ли «связь» с декабристами?

На этот вопрос можно ответить вполне точно, на основе многих источников, в том числе и слов самих декабристов.

Связь, даже тесная, нежная дружба была у человека Пушкина с людьми, побывавшими на Сенатской площади в роковой день. Пущин был лучшим другом Пушкина с первого класса лицея; глубокую нежность с оттенком превосходства чувствовал он к несуразному идеалисту-романтику Кюхельбекеру; общая любовь к поэзии связывала его с Каховским; резкие, прямолинейные суждения Пестеля его занимали и волновали; в Кишиневе, в Каменке, в Петербурге он общался со многими из декабристов, но все они в один голос утверждают, что *о заговоре и существовании Тайного общества Пушкин не знал*. Вольные и очень распространенные утверждения о том, что Пушкин «мог бы быть» или «должен был стать» декабристом, не обоснованы ни одной строчкой его произведений, дневников, писем... Ни одной строчки сочувствия русской революции нет у Пушкина, но есть «русский бунт, бессмысленный и беспощадный» и многое другое, говорящее против устремлений 14 декабря.

Есть также и излюбленное «прогрессивными» шулерами стихотворение «Во глубине сибирских руд».

Оно написано в Москве, вскоре после отправки осужденных в Сибирь, в дни, когда все были уверены в реальности их страданий (которых, кстати сказать, по утверждению коммуниста проф. Гернета — не было), к проводам в Сибирь «русской женщины» Марии Волконской-Раевской, юношеской любви Пушкина, прообраза его жемчужины — Татьяны.

Не написать при таких обстоятельствах горячего сочувствующего письма друзьям, попавшим в беду, мог бы только лишенный образа и подобия Божьего «железный большевик» или обезличенный, бездушный гомункулос из того же лагеря, но не пламенный, великодушный Пушкин.

Но может ли подобное дружеское письмо служить уликой сочувствия или стремления к соучастию в политическом заговоре? Пресловутое Третье отделение шефа жандармов ген. Бенкендорфа такой уликой его не сочло. Юриспруденция псевдонаучных «прогрессивных» литературоведов сочла и построила на нем даже не гипотезу, а утверждение, не допросив даже самого Пушкина. А сделать это было легко: внимательно прочесть его наследство... и не передергивать карт...

Традиция извращения политического лица Пушкина восходит еще к временам истерических воплей «неистового» Виссариона Белинского, но с особенной силой она проявилась в 90-х годах прошлого столетия, тогда в журнале «Северный вестник» были опубликованы «Записки А. О. Смирновой», близкого и глубокого друга Пушкина А. О. Россети, — Смирновой по мужу. Опубликовала их ее дочь, друг философа-националиста В. Соловьева. Из этих записок явствовало и явствует, что *А. С. Пушкин был всю жизнь определенным и ясно выраженным русским монархистом*.

Столь яркое и достоверное свидетельство близкого друга, знавшего каждый шаг, каждую мысль Пушкина, конечно, било не в бровь, а в глаз спекулянтов на его «революционности», и им оставалось одно — оклеветать «Записки», что они со свойственным им политическим подходом к историческому факту и сделали: объявили «Записки» подложными. Начал Спасович, продолжали многие, закончил большевистский пропагандист Щеголев*.

Против них выступила мощная фаланга во главе с всемирно известным академиком Веселовским, имея в рядах такие авторитеты, как Сиповский, Сакулин**, позже Мережковский. Клеветники были разбиты,

* Владимир Данилович Спасович (1829–1906), правовед, публицист; выступил с критическим разбором Записок А. О. Смирновой («Записки А. О. Смирновой содержат множество анахронизмов и невероятностей. Записки вообще <...> беспорядочно и неумело переработаны О. Н. Смирновою дочерью со многими от нее самой прибавками»); См.: *Спасович В. Д.* Сочинения. Т. IX. М., 1906. С. 340); Павел Елисеевич Щёголев (1877–1931), историк литературы, пушкинист.

** Василий Ваильевич Сиповский (1872–1930), Павел Никитич Сакулин (1868–1930) — историки литературы.

но «клевещите, клевещите», говорил, кажется, Талейран, «что-нибудь да останется». И осталось. Дипломатическое замалчивание монархизма А. С. Пушкина современными зарубежными пушкинистами в дни 150-летия его рождения... Замалчивание исторического факта ради политических целей. «Наука — служанка политики», как говорят большевики и как действуют по их методу «прогрессисты».

Но допустим, что маститые профессора и академики все-таки ошиблись и «Записки А. О. Смирновой» подложны. Спросим тогда самого Пушкина, и он ответит всеми пятью томами своих творений, заметок, записок, писем. Монархическое миросозерцание не покидает его ни на минуту. Он, зорко вглядывающийся в прошлое, современное ему и будущее народов российских, не может представить себе их развития в отрыве от монархии. Именно он находит и показывает основные истинно прогрессивные монархические типы в среде самого народа, неразрывные нити, связывающие их с Престолом, и символически рисует в «Медном Всаднике» трагедию этого разрыва.

Поставим редкие вехи, сколь позволяют это размеры статьи. Вот детство поэта, счастливые лицейские годы:

И царь открыл для нас чертог царицын, — открыл дверь к творческой жизни ему самому, колоссальному русскому Пушкину...

Лицей позади, и юный Пушкин созвучно с двумя Самодержцами устремляется к «рабству, падшему по манию царя».

Сосредоточенность уединения в Михайловском. Глубокая аналитическая мысль. Результат — «Борис Годунов», первое в русской литературе утверждение основных истин монархической идеи:

— Непомерной тяжести подвига Самодержца: «О, тяжела ты, шапка Мономаха»;

— Органической несовместимостью монаршей власти с преступлением: «Шестой уж год я царствую спокойно», но «мальчики кровавые в глазах».

— Духовной законности престолонаследия, ибо Борис, во всех отношениях прекрасный правитель, всё же гибнет при появлении всего лишь призрака законного престолонаследника и сам сознает справедливость своей гибели: «ты невинен, ты царствовать теперь по праву станешь»...

«Бориса» Пушкин писал в те годы, когда в Тайном обществе готовили полное истребление царской фамилии (Пестель, Якубович). Где же пресловутая идейная «связь»?

Проходит два года, и проникновенный мыслитель А. С. Пушкин реагирует на бунт 14-го декабря уже не сочувственной стихотворной за-

пиской к друзьям детства и юности, но громозвучным сокрушительным гимном Российскому Самодержавию, фанфарой его победе «Полтавой».

Чем зрелее творческая мысль поэта-мыслителя, тем глубже проникает он в основу народного сознания и опять-таки первый в русской литературе видит и показывает кость его, безымянного и многоименного, многоликого и неустанного труженика Державы Российской, работника-строителя ее, полностью народного сотрудника царей — капитана Миронова. В дальнейшем этот всероссийский тип получает широкое и многостороннее развитие в творчестве величайших художников слова: у Лермонтова — Максим Максимович; у Толстого — Тушин, севастопольцы, кавказцы; у Достоевского — честнейший, благороднейший дядюшка полковник в «Селе Степанчикове», духовно — старец Зосима (заметьте, оба противопоставлены ханжам «обличителям»), в «Бесах» — в страдании, нашедшем свой путь Шатове и незаметном штабс-капитане, разбившем всю демагогию нигилистов репликой здравого смысла: «Если Бога нет, то какой же я штабс-капитан!». Наконец, у затравленного «прогрессистами», непризнанного полностью до сих пор классика русского Лескова капитан Миронов показан во всем его многообразии, и в мундире, и в сермяге, и в митре архиерея... Показан литературно и документован исторически многими собственными именами.

Второе проникновение «Капитанской дочки» — поездка Маши в Петербург, — искание надзаконной монаршей справедливости и обретение ее. Ведь по закону-то (не только русскому) Гринев был, несомненно, виновен «в сношениях с неприятелем» и в наши дни был бы, несомненно, расстрелян. Но русская «бабья» душа не кисейной интеллигентки, а едва грамотной Маши Мироновой нашла этот единственный путь к спасению любимого — путь к надзаконной справедливости Самодержца, полностью народный путь.

Устанавливая место Самодержавной России в Европе, а теперь в мире, Пушкин создает жгучее по своей современности в наши дни послание «клеветникам России»:

И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир...

Да. Безмерно прав гениальный Пушкин: искупали, искупаем и искупим, тогда — мир Европы, теперь — мир мира. Жертвенно и бескорыстно! Во Имя Божие!

Последняя крупная веха (малых не считаю, они везде) — апокалипсический, безмерный по глубине своей «Медный Всадник», пророческое

предвидение трагических судеб России, отрекшейся в охватившем ее безумии от своей основной традиции, но бессильной порвать с нею и, в силу этого, безмерно страдающей:

И во всю ночь безумец бедный,
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал...

Заключительная веха — последнее (от 19 октября 1836) письмо к Чаадаеву, в котором черным по белому, с исключительной определенностью высказан Пушкиным его взгляд на монархию, как на неразрывный с народным развитием основной элемент, всей русской истории:

«Пробуждение России, развитие ее могущества, ход к единству, оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, неужели это не история, а бледный полузабытый сон? А Петр Великий, который один — целая всемирная история? А Екатерина Вторая, поместившая Россию на порог Европы? А Александр, который привел Вас в Париж? И (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то величественного в настоящем положении России (при Николае Первом. — *Ал. Ал.*), чего-то такого, что должно поразить будущего историка?... Я лично сердечно привязан к императору... клянусь вам честью, что ни за что на свете я не захотел бы переменить отечество, ни иметь другой истории»...

Вот, предельно кратко, об утверждении русского монархизма Александром Сергеевичем Пушкиным, т. е. о том, что старательно и шулерски извращают или замалчивают ученые из политиков и политиканы из ученых в течение более чем 100 лет, обманывая русский народ и фальсифицируя его народного русского гения, А. С. Пушкина. Ничего «нового» в этом нет. Только точка над «и», которую приходится ставить после 150-летнего юбилея А. С. Пушкина и столетнего юбилея лжи о нем.

Вперед к Пушкину! Вслед за Пушкиным! Учиться у Пушкина всему, — кричат и «здесь» и «там».

Присоединимся к этому хору, добавив лишь:

Учиться у истинного Пушкина истинному всестороннему, всенародному пушкинизму, а, следовательно, и монархическому мировоззрению Александра Сергеевича Пушкина!

[*Алексей Алымов*]
«Наша страна», Буэнос-Айрес,
3 сентября 1949 года, № 26. С. 4–5

Созвучия

Большинство свершающих свой небесный путь планет имеет спутников. Эти спутники много меньше самих планет по размерам, но их движения подчинены путям светил. Одновременно с этим каждый спутник обладает и своим собственным путем, не нарушающим общего движения, но дополняющим его.

Тому же закону подчинены и парящие духом в надземном пространстве поэты. Почти каждый из крупнейших русских поэтов обладал своей, то большей, то меньшей плеядой или прямых его последователей или созвучных ему сердец. Самая крупная плеяда была, конечно, у величайшего из русских поэтов А. С. Пушкина. Не будем перечислять имен всех входивших в нее и назовем лишь Языкова, которого сам Пушкин считал «наиболее близким себе по языку».

Но не только по языку был близок Пушкину Языков. В их жизни мы видим несомненный параллелизм, одну и ту же последовательность этапов пути, приведшего обоих от упоения материальными радостями земной жизни к Богу.

Молодость Языкова была насыщена опьянением от воспринятых им земных наслаждений, полным эпикуреизмом, преклонением его поэтического дара перед этим опьянением. Пушкин, прошедший в молодости ту же стадию, говорил даже, что первую книгу стихов Языкова следовало бы назвать «Хмель», а сам Языков позже писал о днях своей юности:

Те дни летели, как стрела,
Могучим кинутая луком,
Они звучали ярким звуком
Разгульных песен и стекла...

Но дар поэта, освещавший по милости Господней душу эпикурейца Языкова, спас ее от распада, от блужданий, от поиска призраков обманчивой красоты и привел его к познанию истинных красот — красот духа.

Наступил перелом, о котором сам Языков пишет так: «Моя муза должна преобразиться: я перейду из кабака прямо в церковь. Пора и Бога вспомнить». Это твердо принятое им решение он тотчас же переносит в область своего поэтического творчества и создает ряд превосходных подражаний псалмам, перепевов звучания арфы Давида, дошедшего до его души. Венцом этих новых в творчестве Языкова поэтических произведений Жуковский считал его поэму «Землетрясение», которую называл даже «лучшим русским стихотворением», а Пушкин отметил: «Если уж завидовать, так вот кому я должен завидовать». Мы же теперь, удаленные

от Языкова более чем на столетие, можем увидеть в ней еще и то, что было невидимо его современникам: в поэме «Землетрясение» Языков в форме древней христианской легенды отразил переворот, произошедший в его собственной душе, «внявшей горнему глаголу небесных ликов».

Всевышний граду Константина
Землетрясение послал;
И Геллеспонтская пучина,
И берег с грудой гор и скал
Дрожали, и царей палаты,
И храм, и цирк, и гипподром,
И стен градских верхи зубчаты,
И всё поморие кругом,
По всей пространной Византии,
В отверстых храмах Богу сил
Обильно пелися литии,
И дым молитвенных кадил
Клубился; люди, страхом полны,
Текли перед Христов алтарь:
Сенат, синклит, народа волны
И сам благочестивый царь.
Вотще! Их вопли и моленья
Господь во гневе отвергал,
И гул и гром землетрясенья
Не умолкал, не умолкал.
Тогда невидимая сила
С небес на землю снизошла,
И быстро отрока схватила,
И выше облак унесла.
И внял он горнему глаголу
Небесных ликов: Свят, Свят, Свят!
И песню ту принес он долу,
Священным трепетом объят.
И церковь те слова святые
В свою молитву приняла
И той молитвой Византия
Себя от гибели спасла.
Так ты, поэт, в годину страха
И колебания земли
Носись душой превыше праха,
И ликам ангельским внемли.
И приноси дрожащим людям
Молитвы с горней вышины,
Да в сердце примем их и будем
Мы нашей верой спасены.

Последние строчки этого стихотворения при сравнении их с «Пророком» Пушкина говорят о том, что просветление, пришедшее в душу Языкова, было до известной степени отражением того же внутреннего процесса, пережитого гениальным поэтом. Языков сам без зависти и без протеста, но с преклонением перед грандиозностью Пушкина говорит о его влиянии на него:

Когда гремя и пламенея
Пророк на небо улетал,
Огонь могучий проникал
В живую душу Елисея:
Святыми чувствами полна,
Мужала, крепла, возвышалась,
И вдохновеньем озарялась,
И Бога слышала она.
Так гений радостно трепещет,
Свое величье познает,
Когда пред ним гремит и блещет
Иного гения полет:
Его воскреснувшая сила
Мгновенно зреет для чудес
И миру новые светила —
Дела избранника небес.

Сходным с Языковым путем шла к Богу и душа другого большого поэта славной пушкинской плеяды — Баратынского. «Баратынский — чудо, прелесть», — писал о нем Пушкин, а сам он, говоря о себе, признавался: «Казалося, судьба в своем пристрастии мне счастие дала до полноты».

Баратынский был прав в такой оценке своего жизненного пути. На редкость красивый, унаследовавший от отца большое состояние, прекрасно образованный, счастливый в любви и в дружбе, он шел, казалось бы, по розам. Эти жизненные радости изящно отражены в его лирических стихах, но вместе с тем, как только этот поэт отходит от поверхности лирики и погружается в тайны своей души, то его внутренний строй резко меняется и, несмотря на все радости, щедро отпущенные ему земной жизнью, он тоскует о чем-то ином и чувствует глубокую неудовлетворенность.

На что вы, дни!
Юдольный мир явленья
Свои не изменит.

Все ведомы и только повторенья
Грядущее сулит.
Недаром ты металась и кипела,
Развитием спеша,
Свой подвиг ты свершила прежде тела,
Безумная душа.

Не созвучны ли эти строки основному мотиву Экклезиаста: «Всё суета сует и томление духа»?

Углубляясь в себя, Баратынский теряет связь с земным, но не приходит и к небесному.

И ношусь, крылатый вздох,
Меж землей и небесами...

Жизнь становится полной тайн и загадок и разрешением их поэту представляется только смерть.

Ты — всех загадок разрешенье,
Ты — разрешенье всех цепей.

Где же выход из мрака? Откуда блеснет светлый луч мира и упования? Кто даст покой томящейся душе?

Только Тот, Чья милость безмерна. Это понято Баратынским незадолго до его смерти и выражено в короткой поэтической молитве:

Царь Небес! Успокой
Дух болезненный мой.
Заблуждений земли
Мне забвенье пошли
И на строгий твой рай
Силы сердцу подай.

По указанному графом А. К. Толстым пути, через познание чистых форм земной красоты — к красоте духовной, а от нее к пределу, ослепительному сиянию Божеской красоты пошли многие поэты того времени, средины XIX века. Л. А. Мей, Аполлон Майков, А. А. Фет, Я. П. Полонский, граф А. А. Голенищев-Кутузов — все они сходны в своей творческой направленности, несмотря даже на глубокие формальные различия. Ближе всех из них к графу Алексею Толстому стоит безусловно Л. А. Мей. Он, так же как и Толстой, очарован узорной парчой русского национального прошлого; его драматические поэмы «Царская невеста»

и «Псковитянка» положены позже на музыку Римским-Корсаковым и вошли в сокровищницу русской оперы, но русское прошлое не заслоняет от глаз Мея, равно как и от глаз Алексея Толстого, красот иного, западного мира; Меем переведены на русский язык лучшие стихи Шиллера, Гейне, Гёте, Байрона, Беранже, Мицкевича и других европейских классиков.

Но какая бездонная пропасть отделяет человека Мея от человека Алексея Толстого, как различны их жизненные пути!

Л. А. Мей происходил из обрусевшей немецкой семьи. Отец его был ранен в Бородинском сражении, вследствие чего его сын был принят на казенный счет в Царскосельский лицей, где получил блестящее образование. Но бедность, даже нищета преследовали его всю жизнь. Будучи поэтом чистой воды и кристально честным человеком, Мей был ребенком в практической жизни, да и в литературной своей работе не шел на те компромиссы, которых требовала от него входившая тогда в силу радикальная материалистическая и атеистическая интеллигенция пятидесятых-шестидесятых годов прошлого столетия. Отсюда его неуверенность в себе, слабость, приниженность неудачника. Какой контраст с красавцем, силачом, богачом, аристократом графом Алексеем Константиновичем Толстым, этапами жизненного пути которого были только победы!

Вседержитель для гр. А. Толстого — ослепительный, лучезарный источник красоты, освещающий весь мир и прежде всего озаряющий душу поэта. Для Л. Мея Он — прибежище истомленной, измученной земными терзаниями той же души того же поэта.

Нет предела стремлению жадному...
Нет предела труду безуспешному...
Нет конца и пути безотрадному...
Боже, милостив буди мне грешному!

И всё же — к Нему, к Нему под бременем своего мучительного дара... Только в нем источник красоты и всепрощения.

Нет! В лоне у Тебя, Всесильного Творца,
Почиет красота и ныне и от века
И ты простишь грехи раба и человека
За песни красоте свободного певца.

Творя служение красоте, развивая свой талант, поэт тем самым служит Господу и в этом служении его спасение — такова вера Л. Мея.

Не верю, Господи, чтоб Ты меня забыл,
Не верю, Господи, чтоб Ты меня отринул:
Я твой талант в душе лукаво не зарыл
И хищный тать его из недр моих не вынул.

С этими строками истомленного жизнью поэта перекликаются созвучия другого, принадлежавшего к той же плеяде, устремленного к тем же высотам красоты — А. Н. Майкова.

Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог:
Чем ночь темней, тем ярче звезды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог.

Аполлон Николаевич Майков, столь же, как и Мей, близок к крупнейшему светилу созвездия служителей красоты — графу А. К. Толстому. Но там, где Мей бессильно скользит по поверхности темы, Майков находит в себе силы углубиться в нее до предела. Тайны человеческой души неудержимо влекут его к себе и, проникая в них духовным взором поэта, он так же, как и Алексей Толстой, видит беспрерывную борьбу Добра и Зла, Христа и Антихриста в трепетном человеческом сердце. Эта тема, разработанная А. Толстым в драматической поэме «Дон Жуан», выражена А. Н. Майковым в стихотворении «Ангел и демон»:

Подъемлют спор за человека
Два духа мощные: один –
Эдемской двери властелин
И вечный страж ее от века
Другой — во всем величье зла,
Владыка сумрачного мира:
Над огненной его порфирой
Горят два огненных крыла.
Но торжество кому ж уступит
В пыли рожденный человек?
Венец ли вечных пальм он купит
Иль чашу временную нег?
Господень ангел тих и ясен:
Его живит смиренья луч;
Но гордый демон так прекрасен,
Так лучезарен и могуч!

В этом стихотворении поэт А. Н. Майков не предрешает исхода борьбы добра и зла в человеческой душе, как это делает в поэме «Дон Жуан»

А. Толстой. Вполне понятно. Стихотворение это, глубоко субъективно, в нем чувства самого автора, которому тогда было всего только двадцать лет. Но весь жизненный путь А. Н. Майкова (1821–1897) был долог; поэт прожил 76 лет, беспрерывно работая не только над своими поэтическими произведениями, но и над самим собой, своими чувствами, своим сознанием — своим путем к познанию Бога. И, если в дни мятежной юности, красота демона была для него равносильна или почти равносильна ангельской красе, а исход борьбы Добра и Зла в его собственной душе был для него гадательным, то пройдя свой долгий жизненный и творческий путь, умудренный им поэт писал:

Близится Вечная Ночь... В страхе дрогнуло сердце.
Пристальней стал я глядеть в тот ужасающий мрак...
Вдруг в нем звезда проглянула, за нею другая и третья,
И наконец засиял звездами весь небосклон.

Новая в каждой из них мне краса открывалась всечасно,
Глубже мне в душу они, глубже я в них проникал...
В каждой сказалося слово свое, и на каждое слово,
С радостью чувствовал я, – отклик в душе моей есть.

Все говорили, что где-то за нами есть Вечное Солнце, –
Солнце, которого свет, блеск и красу им дает.
О как ты бледно пред Ним, – юных дней моих солнце!
Как он ничтожен и пуст – гимн, что мы пели тебе!

Демоническая земная красота, гимн которой пел в юности поэт, оказалась не чем иным, как только жалкой мишурой. Обольстительная пелена спала с его глаз и перед ними предстала подлинная красота Вечной Жизни, освещенная солнцем всех солнц — Творцом мира и человека.

Мей и Майков вошли в русскую литературу в сороковых годах прошлого столетия, а окончательно сформировались как поэты в шестидесятых годах, в период жесточайшего натиска на русское общество идей материализма, нигилизма и атеизма. Даже Пушкин подвергался тогда жесточайшей и ничем не обоснованной критике со стороны «властителя дум» тех поколений Писарева; так на какие же созвучия своим идеалистическим стихам могли рассчитывать поэты много меньшего калибра? Не поэтому ли голоса их неуверенны и слабы, а их души нередко охвачены сомнениями и лишь томятся в порывах к Господу, но не в силах найти путь к нему. Отголоски этих мучительных томлений дает нам поэзия Я. П. Полонского:

То в темную бездну, то в светлую бездну,
Крутясь, шар земли погружает меня:
Питают, пытают мой разум и веру
То призраки ночи, то призраки дня.
Не верю я мраку, не верю я свету,
Они — грезы духа, в них ложь и обман...
О, вечная правда, откройся поэту,
Отвей от него разноцветный туман,
Чтоб мог он великий в сознаньи обмана,
Ничтожный, как всплеск посреди океана,
Постичь, как сливаются вечность и миг,
И сердцем проникнуть в святая Святых.

«В ранние годы надежды нашего поэта Я. П. Полонского на лучшую будущность для человечества были связаны с его юношескою безотчетною верою во всемогущество науки», писал о Полонском Владимир Соловьев.

Царство науки не знает предела,
Всюду следы ее вечных побед,
Разума, слова и дела. Сила и свет.
Миру, как новое солнце, сияет
Светоч науки, и только при нем
Муза чело украшает
Свежим венком.

Подпав под влияние господствовавшего в те годы позитивистического мышления, Я. П. Полонский пытался даже и свою лиру поэта настроить на тот же лад. Отчего же нет? Ведь рекомендовал же тогда Писарев всем поэтам применить свои таланты к созданию популярных брошюрок по естественным наукам, в которых, как утверждали тогда, содержатся ключ к разгадке всех тайн мироздания не как проявления творчества Господня, но как самостоятельного, обособленного процесса — «природы». К этой «природе», зародившейся и развивающейся без помощи Господней, к изучению ее, к любви к ней призывал Полонский в своих стихах:

О, в ответ природе
Улыбнись, от века
Обреченный скорби
Гений человека!
Улыбнись природе!
Верь знаменованью:
Нет конца стремленью,
Есть конец страданью.

Но жизненный путь пройден поэтом... И та позитивистическая наука (кстати, опровергнутая теперь новейшими научными теориями) не дала ему ответов на мучившие его вопросы. Где же найти их? Где источник истины?

Сомневаясь и колеблясь, шедший по пути ложных солнц, поэт всё же робко называет его:

Ткань природы мировая, —
Риза... Божья, может быть?

«Может быть...» Утверждать имя Господне проживший жизнь без Бога Я. П. Полонский не смеет, но звучание арфы Давида становится ему всё слышнее и слышнее по мере просветления его души. И, наконец,

Жизнь без Христа — случайный сон.
Блажен, кому дано два слуха, —
Кто и церковный слышит звон
И слышит вещий голос Духа.

«И то и другое слышнее в тихий вечер жизни!», писал о Полонском Владимир Соловьев. Всё обмануло, всё прошло, считается только вечность и ее земной залог... Чем более зрелою становилась поэзия Полонского, тем явственнее звучал в ней религиозный мотив, хотя и в последних стихотворениях выражается более стремление и готовность к вере, нежели положительная уверенность.

Я. П. Полонскому, его сердцу, проникнуть в Святая Святых не удалось, потому что он устремлялся к горним высотам, не видя на них Животворящего Креста, не творя молитвенного слова. Он пытался найти внерелигиозный путь к добру, утвердить этический моральный идеал без Евангелия. Поэтому в результате своих искренних и глубоких исканий он стал сам «добычей суеты, игралищем ее непостоянства», как скажет его современник А. А. Фет.

Сам А. А. Фет видел совершенно ясно и вполне уяснял себе лживость кумиров того времени (да и нашего тоже!) и выразил свое отношение к ним, повторив в звучных ритмических строках повествование Евангелия:

Когда Божественный бежал людских речей
И празднословной их гордыни.
И голод забывал, и жажду многих дней,
Внимая голосу пустыни, —

Его взалкавшего на темя серых скал
Князь мира вынес величавый.
«Вот здесь, у ног твоих все царства», — он сказал —
С их обаянием и славой.
Признай лишь явное. Пади к моим ногам,
Сдержи на миг порыв духовный, —
И эту всю красу, всю власть Тебе отдам
И покорюсь в борьбе неравной».
Но Он ответствовал: «Писанию внемли;
Пред Богом Господом лишь преклоняй колени».

Владевшая им глубокая вера охранила А. Фета от окружавшей его материалистической суеты, от поклонения ее кумирам. Сознавая свое человеческое ничтожество, этот поэт вместе с тем ощущал в своей душе искру Господню и знал, что только эта искра, ее неугасимый огонь возвеличивает его, вздымает его от плена бездушной материи к образу и подобию Божиему.

Не тем, Господь, могуч, непостижим
Ты пред моим мятущимся сознаньем,
Что в звездный день твой светлый серафим
Громадный шар зажег над мирозданьем
И мертвецу с пылающим лицом
Он повелел блюсти твои законы,
Всё пробуждать живительным лучом,
Храня свой пыл столетий миллионы;
Нет, Ты могуч и мне непостижим
Тем, что я сам, бессильный и мгновенный,
Ношу в груди, как оный серафим,
Огонь сильней и ярче всей вселенной,
Меж тем, как я добыча суеты,
Игралище ее непостоянства,
Во мне он вечен, вездесущ, как Ты,
Ни времени не знает, ни пространства.

Мощь истинной светлой идеи нередко подтверждается невольным признанием ее элементов в лагере противников, внесением тезиса в антитезис. Так было и с мелодией арфы Давида — религиозной идеей, пронзившей и одухотворившей собой всё развитие русской поэзии.

Одним из вождей победоносно наступавшего в 60-х годах прошлого столетия на русскую народную душу чуждого ей западноевропейского материализма был редактор радикально-нигилистического журнала «Современник» Николай Алексеевич Некрасов, наименованный современ-

никами «поэтом-гражданином». Стремление к извечной красоте, дару Господню, служению которому отдавали себя милостью Божией поэты того времени, он (нужно признать, талантливо, ловко и даже виртуозно) подменил «гражданским идеалом» — зарифмовкой своих политических тенденций. Даже не лично своих, потому что внутренний мир самого Н. А. Некрасова до сих пор остается для нас загадкой, но тех, которых требовала от него материалистическая критика во главе с Чернышевским и которые, в силу этого, приносили издателю Некрасову немалый доход.

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» провозглашал Н. А. Некрасов, но свое российское «гражданство» определял чрезвычайно субъективно и односторонне, т. е. стремился вытащить на свет и «обличить» всё темное, смрадное и грязное, что, как и в каждом народе, имелось и в народе русском. Хранитель национальных духовных ценностей, русского национального религиозного мышления — русский крестьянин — представлен Н. А. Некрасовым истомленным непосильной, бесплодной работой, с одной стороны, и беспробудно пьяным, почти что дикарем — с другой.

Он до смерти работает,
До полусмерти пьет.

Народный праздник в русской деревне показан им в форме отвратительной «пьяной ночи», да и вся-то русская жизнь, если поверить ему, абсолютно лишена каких-либо черт красоты. «Кому живется весело, вольготно на Руси»? — спрашивает этот поэт-гражданин в центральной для его творчества поэме и отвечает: «Никому»... кроме самого Н. А. Некрасова, как острили его современники.

Но вместе с тем Некрасов был трудолюбивым и точным бытоописателем, в силу чего, развертывая перед читателем широкую панораму русского народного типажа, он не мог пройти мимо чисто народных носителей христианской идеи. Показал он их в стихотворениях «Тишина», «Несчастные», «Крестьянские богомолки» вскользь, урывками, но верно и точно. Живописный, чрезвычайно характерный для русского крестьянства «Влас», несмотря на тенденциозно примешанные туда Некрасовым «гражданские» мотивы (стяжательство, мироедство и раскаяние в этих грехах), дает знакомый читателю, правдивый и характерный для России образ.

Владимир Соловьев сурово осудил Некрасова, как с религиозной, так и с национальной точек зрения:

Когда же сам разбит, разочарован,
Тоскуя, вспомнил он святую красоту –
Бессильный ум, к земной пыли прикован,
Напрасно призывал нетленную мечту...
...Не поднялись коснеющие руки
И бледный призрак тихо отлетел...

В этих строках Владимир Соловьев, так же как и мы, признает загадочность, неясность для нас подлинного душевного мира Н. А. Некрасова, плотно укрытого им служением кумиру дней и златому тельцу. Но одно из стихотворений «поэта-гражданина» проливает немного света в темную область его духа. Вернувшись из заграничной поездки, Некрасов был столь потрясен встречей с родиной, что с его уст сорвалось даже нечто вроде молитвы; его ритмы приблизились к строю арфы Давида:

Всё рожь кругом, как степь живая
Ни замков, ни морей, ни гор.
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор...
Храм Божий на горе мелькнул
И детски чистым чувством веры
Внезапно на душу пахнул.
Лови минуту умиленья,
Войди с открытой головой!
Я внял, я детски умилился
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился,
Чтоб осенил меня крестом
Бог угнетенных, Бог скорбящих,
Бог поколений, предстоящих
Пред этим скудным алтарем.

Внял ли Всемилостивый покаянной молитве этой заблудшейся души — недоступная нам тайна.

Из кн.: «Религиозные мотивы в русской поэзии»,
изд-во «Жизнь с Богом».
Брюссель, 1960 г. С. 22–33

Молитвы за землю русскую

Если бы пришлось искать образец сложности внутреннего строя человеческой души, то наилучшим примером оказался бы Федор Иванович Тютчев. Глубокий, проникновенный философ и вместе с тем великосветский сноб, не могущий жить без болтовни и острословия в аристократических салонах; вылощенный, утонченный европеец, вросший в германскую культуру, друг Шеллинга и Гейне, дважды женатый по искренней любви на двух немецких аристократках, проживший лучшие годы в Германии, дипломат и вместе с тем глубокий русский патриот, безмерно любящий свою родину, скорбящий о ее бедах и полный веры в ее грядущее величие, интуитивно проникающий в тайны глубин народной души; искренний христианин и полный сомнения, даже язычества, эстет; общепризнанный поэт, не понимавший сам всей величины дарованного ему таланта и писавший стихи лишь урывками, почти что «от нечего делать». Таков был Тютчев в жизни — таков был и его внутренний мир, в котором противоречивые, противоположные один другому элементы не находили общей гармонии и пребывали в беспрерывном борении. Не потому ли тема первозданного хаоса была главной в его поэтическом творчестве и преодоление этого хаоса он мыслил лишь в религиозном плане?

Две души, казалось, жили в теле Ф. И. Тютчева. Он сознавал это, томился этим и выражал это в своих стихах.

О вещая душа моя,
О сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия.
Так ты жилица двух миров,
Твой день болезненный и страстный,
Твой сон — пророчески-неясный,
Как откровение духов.
Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые,
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.

Две последние строки этого стихотворения можно было бы поставить эпиграфом ко всей жизни, к духовному развитию и творчеству Ф. И. Тютчева. Прильнула ли его мятущаяся душа к ногам Христа, мы не знаем. Он не успел или не смог сказать об этом в оставленном им

поэтическом наследстве. Две так же последних строки другого его стихотворения повествуют о сомнениях, томлениях и исканиях, терзавших его до гробовой доски, до «замкнутой двери».

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует.
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он
И жаждет веры... Но о ней не просит.
Не скажет ввек с молитвой и слезой.
Как ни скорбит пред замкнутою дверью:
«Впусти меня! Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!»...

Как современны эти строки, написанные сто с лишним лет тому назад. Как много среди нас людей, томящихся так же, как, томился их творец, и готовых повторить вслед за ним его страстный молитвенный вопль.

Стремление излить свою душу в молитве Всемогущему не покидало Ф. И. Тютчева всю жизнь и даже разрешение чисто земных социальных вопросов он считал возможным только, как милость Божию.

Живя в Европе и в России, он и там и здесь отчетливо видел несправедливость социального строя его эпохи, страдания обездоленных и угнетенных, но искал выхода не в революционных взрывах, а в социальных реформах, основанных на религиозном мировоззрении.

Пошли Господь Свою отраду
Тому, кто в летний жар и зной,
Как бедный нищий мимо саду
Бредет по жесткой мостовой.

Кто смотрит вскользь через ограду
На тень деревьев, злак долин,
На недоступную прохладу
Роскошных светлых луговин.

Не для него гостеприимной
Деревья сенью разрослись,
Не для него, как облак дымный,
Фонтан на воздухе повис.

Лазурный грот, как из тумана,
Напрасно взор его манит
И пыль росистая фонтана
Главы его не осенит.

Пошли Господь Свою отраду
Тому, кто жизненной тропой,
Как бедный нищий мимо саду,
Бредет но знойной мостовой.

Своя родная страна, экономически бедная в ту эпоху последних лет крепостничества в России, конечно, ближе всего глубокому патриоту и русскому народолюбцу Ф. И. Тютчеву. С особою силой и проникновенностью скорбит он об экономическом убожестве угнетенного рабовладельческим строем крестьянства, но вместе с тем проникновенно видит под внешними слоями материальной нищеты богатство русской души, ее близость к христианским религиозным идеалам — незримую искру Христову под пеплом темной суетности.

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной
Всю тебя, земля родная.
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

Будучи по основной своей профессии дипломатом, а, следовательно, и политическим работником, глубоко и широко эрудированным в современной ему политической жизни Западной Европы и России, Тютчев совершенно ясно видит и всего в четырех строках — поэтически формулирует глубокую разницу, бездну, разделяющую оба мира. Он пророчески провидит то, что с предельной ясностью наблюдает теперь каждый из нас:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

Эту непоколебимую веру в грядущее светлое будущее России, в выполнение русским народом предназначенной ему Господом вселенско-исторической миссии Ф. И. Тютчев высказывает в нескольких других своих философски-политических стихотворениях. Но и в них он идет к познанию своей родины путем религии, путем веры. Владевшие им тогда славянофильские тенденции придают этим стихам некоторый специфический колорит, но не изменяют их сущности.

Вставай же, Русь! Уж близок час!
Вставай Христовой службы ради!
Уж не пора ль, перекрестясь,
Ударить в колокол в Царьграде?

Раздайся благовестный звон
И весь Восток им огласися!
Тебя зовет и будит он:
Вставай, мужайся, ополчися.

В доспехи веры грудь одень
И с Богам, исполин державный!..
О Русь! Велик грядущий день,
Вселенский день и православный.

Историческую вселенскую миссию Руси Тютчев видит в преодолении пропасти, лежащей между Западом и Востоком, в религиозно-культурном соединении двух разобщенных миров, в «русском благовесте», разносящемся не только над Русью и Восточным миром, но и «льющимся через край».

День православного Востока,
Святой, святой, великий День,
Разлей свой благовест широко
И всю Россию им одень.

Но и святой Руси пределом
Его призыва не стесняй:
Пусть слышен будет в мире целом.
Пускай он льется через край.

Много общего с духовным строем Ф. И. Тютчева мы находим в жизни, душе и творчестве его единомышленника и современника Алексея Сергеевича Хомякова. Мы видим в нем тоже богатейшее разнообразие эмоциональной и интеллектуальной одаренности, но в противоположность Тютчеву в А. С. Хомякове эти элементы пребывали не в состоянии хаоса и постоянного взаимного борения, но гармонично сливались в единое целое, создавая в результате этого процесса могучую духовную фигуру пророка и борца. Алексей Сергеевич Хомяков — поэт, богослов-мирянин, политический деятель, яростный полемист, превосходство которого над собой признавал даже горделивый Герцен, смелый, жертвенный офицер, но прежде всего историк, бесстрашно проникающий в глубины прошлого своей родины, не считаясь при этом с господствовавшими в ту эпоху историческими взглядами и тенденциями.

Он — судья в историческом аспекте и выносит свои приговоры не только в форме научных статей, но и в поэтических строках. Он так же, как и Тютчев, пламенно верует в ту же историческую миссию России, но видит реализацию этой миссии не в укреплении внешней мощи Империи и широте ее завоеваний, а в организации общественной жизни на основах религии, свободы, любви и братства народов. Для осуществления этого он считает необходимым прежде всего анализ своего прошлого, признание ошибок, раскаяние в них и волю нации к их исправлению.

«Гордись! — Тебе льстецы сказали, —
Земля с увенчанным челом,
Земля несокрушимой стали,
Полмира взявшая мечом.
Пределов нет твоим владеньям
И прихотей твоих раба
Внимает гордым повеленьям
Тебе покорная судьба.
Красны степей твоих уборы,
И горы в небо уперлись.
И как моря твои озера...»
Не верь, не слушай, не гордись.
...
Не говорите: «То былое,
То старина, то грех отцов;
А наше племя молодое
Не знает старых тех грехов».
Нет, — этот грех — он вечно с вами,

Он в вас, он в жилах и крови,
Он сросся с вашими сердцами,
Сердцами мертвыми к любви.
Молитесь, кайтесь, к небу длани!
За все грехи былых времен,
За ваши каинские брани,
Еще с младенческих пелен;
За слезы страшной той годины,
Когда враждой упоены,
Вы звали чуждые дружины
На гибель русской стороны...
...
За слепоту, за злодеянья,
За сон умов, за хлад сердец,
За гордость темного незнанья,
За плен народа; наконец,
За то, что полные томленья
В слепой сомнения тоске
Пошли просить вы исцеленья
Не у Того, в Его ж руке
И блеск побед и счастье мира,
И огнь любви и свет умов, —
Но у бездушного кумира, —
У мертвых и слепых богов.
И, обуяв в чаду гордыни,
Хмельные мудростью земной,
Вы отреклись от всей святыни,
От сердца стороны родной!
За все, за всякие страданья,
За всякий попранный закон,
За темные отцов деянья.
За темный грех своих времен,
За все беды родного края, —
Плед Богом благости и сил.
Молитесь, плача и рыдая,
Чтоб Он простил, чтоб Он простил!

Так же, как Тютчев, А. С. Хомяков видит и указывает в этом стихотворении на политически-моральный тупик, в который неуклонно приводит отрыв социально-общественной жизни от религии, от заветов Христа. Но он, неумолимый аналитик историй и борец, непоколебимо строг и тверд. Он призывает прежде всего к очищению себя самих, своего интеллектуально-духовного мира покаянием и моральным самосовер-

шенствованием — возвратом к Богу истинному от поклонения «бездушным кумирам, мертвым и слепым богам» материализма.

Но Хомяков, как и Тютчев, верит в совершение русский народом этого подвига, силы для которого таятся в русской душе.

И вот за то, что ты смиренна,
Что в чувстве детской простоты,
В молчаньи сердца сокровенна,
Глагол Творца прияла ты,
Тебе Он дал свое призванье,
Тебе Он светлый дал удел:
Хранить для мира достоянье
Высоких жертв и чистых дел;
Хранить племен святое братство,
Любви живительный сосуд,
И веры пламенной богатство,
И правду и бескровный суд.
...
О вспомни свой удел высокий,
Былое в сердце воскреси
И в нем сокрытого глубоко
Ты духа жизни допроси.
Внимай ему — и все народы,
Обняв любовию своей,
Скажи им таинство свободы,
Сиянье веры им пролей!

Ф. И. Тютчев и А. С. Хомяков взаимно дополняют друг друга. Различные по внешности своего творчества, по силе и направленности творческого темперамента, по характеру его, даже по душевным способам восприятия и осознания России в ее прошлом, настоящем и будущем, они сходятся в конечной точке — в признании национальной миссии своей родины, как утверждения общественно-политической жизни на основе веры в Христа, стремления к Нему и внедрения в повседневную личную и общественную жизнь Его правды.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
1 ноября 1956 года, № 354. С. 6

Народный монархист XIX века

Мы привыкли к баснописцу дедушке Крылову так, как он сам был привлечен к своему засаленному халату, к своему облеженному просторному дивану. Крылов остается для нас «дедушкой» и в ту пору, когда наши собственные внучата учат те же басни, какие и мы твердили когда-то...

В те далекие теперь времена, Крылов был для нас примитивным, простым и ясным моралистом, весело и занятно посмеивающимся над пороком, глупостью, косностью... С хитринкой, по-мужицки, учил нас тогда забавник-дедушка выношенной в сердце народном жизненной правде. Мы запечатлевали в создании его мелкие смачные слова-образы, и несли их с собой в жизнь. «Медвежья услуга», «демьянова уха», «квартет» становились неразлучными с нами бытовыми, житейскими формулами, но если бы кто-либо спросил нас о политических взглядах великого, первого в русской литературе народника, — дедушки Крылова, то, вероятно, мы только пожали бы плечами.

— Басенник Крылов и политика? Что между ними общего?

Руководители советской школой — иного мнения. Там тоже учат басни Крылова, даже в большем объеме, чем в старой школе. Прочтя «Квартет» малышам, учитель говорит им:

— Вот, так и теперь у наших врагов, врагов СССР. Садятся, пересаживаются, а договориться между собою не могут, потому что у них «капиталистические противоречия». Вы, дети, пока только еще пионеры и не можете в этом разобраться, но станете комсомольцами и тогда вспомните «Квартет» дедушки Крылова.

Пионеры становятся комсомольцами, слушают доклады о международном поколении и вспоминают «Квартет», а вспомнив, убежденно повторяют:

— Действительно, мудр наш вождь! Ни черта эта буржуазная дипломатия не стоит! «Квартет» из басни! Только и всего!

Советская школьная пропаганда систематично и умело пользуется наследством Крылова (как и всею русской литературой), для достижения своих целей. Выполнение этого задания в данное время не трудно, и не сложно: Крылов — яркий русский почвенник, жизненно, а не литературно впитавший в себя политические концепции народного мышления и образно противопоставивший их наносным, внешним влияниям.

«Говорильня» для него лишь смехотворная нелепость: «А Васька слушает, да ест». Сверх-мудрственные построения «научных систем» становятся в свете его трезвой мужицкой смекалки только «ларчиком,

который просто открывался». Взять и открыть, не разыскивая несуществующих механических тайн.

Это «открыть», «просто открыть» в государственной жизни он формулирует строчками:

> Знать свойства своего народа
> И выгоды земли своей...

Если бы нас с Иваном Лукьяновичем [Солоневичем] не разделяли десять тысяч километров океана, то я успел бы своевременно напомнить ему эти строчки для эпиграфа к «Народной Монархии». Проще и яснее открыть этот ларчик нельзя.

И. Тхоржевский* в своей «Русской Литературе» пишет: «С Крыловым неотлучно был громадный жизненный, и *политический* (курсив И. Тх. — *Б. Ш.*) опыт, — опыт крота, долго рывшегося внизу, у самых корней народного дерева. Продвинувшись исподволь, от деревенской ярмарки... к ближайшим ступеням царского трона, Крылов прошел и выучил наизусть всю русскую политическую гамму». «Он мог бы и теперь давать неплохие советы», — замечает далее И. Тхоржевский.

Уточним эту фразу: не «мог бы», а «дает», и эти советы И. А. Крылова до *удивления* точно совпадают с советами И. Л. Солоневича, для тех, конечно, кто хочет понять одного и другого.

Вот басня «Пушки и паруса». К сожалению, ее вряд ли читал генерал Фуллер** и прочие апостолы всемогущества атомной бомбы и военной техники. Но совпадение ее «морали» со взглядами И. Л. Солоневича на этот вопрос совершенно точно.

Столь же точно сопоставление кота Васьки с милым старым «Джо»***, спокойно пожирающим страну за страной под звуки речей прекраснодушных демократических говорунов — «поваров».

Безупречным демократам САСШ, Англии и Франции, всадившим нож в спину генерала Врангеля, выдавшим генерала Власова и генерала Дражу Михайловича****, а теперь собирающимся выдать китайских перебежчиков в Корее, было бы очень полезно прочесть басню «Булат»:

---

* См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

** Джон Фуллер (у Ширяева: Фуллерс; Fuller, 1878–1966), генерал британской армии, стратег, военный историк, теоретик танковой войны.

*** «Дядя Джо», Uncle Joe, прозвание Иосифа («Джозефа») Сталина в англо-американском мире, особенно циркулировавшее во время союзничества в период Второй мировой войны.

**** Драголюб («Дража») Михаилович (1893–1946), сербский военноначальник, во время Второй мировой войны — командир четников, взят в плен титовскими солдатами и казнен. Согласно современным данным, Д. Михаилович сам отказался покидать Югославию, оказавшуюся под контролем Тито, в отличие от многих своих соратников. В 1948 г. президент США Гарри Трумэн посмертно наградил Михаиловича американской медалью «Легион почета».

Нет, стыдно-то не мне, а стыдно лишь тому,
Кто не умел понять, к чему я годен...

Может быть, и им стало бы стыдно. Избиратели, посылающие в парламенты и сенаты республик любителей лакомиться чужими каштанами, могли бы увидеть себя в басне «Два мальчика».

В редкой басне Крылова мы не найдем аналогии с современностью и эта современность рассмотрена И. А. Крыловым в том же аспекте, в каком рассматривает ее теперь «Наша Страна» — в аспекте простого, ясного здравого смысла. Вот то, что через столетие роднит с нею русского народного моралиста и политика Крылова. Это сродство усиливается еще более при внимательном прочтении тех басен, где фигурируют «цари»: львы и орлы. Моральная основа монархии — «диктатура совести» ясна для русского почвенника Крылова. Беда в лихом средостении между властью и народом. Как устранить эту беду? Крылов отвечает на этот вопрос в басне «Огородник и философ»: «Прилежность, навык, руки» — общий повседневный труд на одиннадцативековом российском «огороде», традицией которого этот «огород» и возделан: спаси его, Господи, от философского эксперимента: он — экспериментатор —

Всё перероет, пересадит
На новый лад и образец...

И в результате — «философ — без огурцов». Увы, не сам «философ», но закабаленный им в колхозе всероссийский «огородник»...

Пушкин назвал И. А. Крылова «представителем духа русского народа». Русский народ подтвердил это определение, раскупив при жизни своего баснописца 77 тыс. экземпляров его книг. Небывалый, невероятный по тому времени тираж!

Русский мужицкий здравый смысл, пропитывающий каждое слово Крылова, жизненен в наши дни в той же мере, как был сто, двести, триста лет назад. Именно он является стержнем нашей государственной традиции.

Вот почему басенно выраженные политические сентенции И. А. Крылова через 120–130 лет отразились в публицистически оформленных историко-политических концепциях «Духа Народа» И. Л. Солоневича.

Вот почему, мы смело можем назвать великого российского почвенника, русского народолюбца и правдолюбца И. А. Крылова народным монархистом XIX в., нашим *политическим* предтечей.

«Наша страна», Буэнос Айрес,
26 апреля 1952 года, № 119. С. 3–4

Забытая могила на родной земле

Текущий год богат литературными юбилеями. Наши зарубежные «прогрессивные» литературоведы пожевали нудную псевдонародную мочалу слякотно-слезливого Глеба Успенского, помянули затвержденным наизусть акафистом другого более сильного исказителя творческого лица русского крестьянина Некрасова и ни словом не обмолвились о замечательном поэте, драматурге и историческом романисте гр. Алексее Константиновиче Толстом, со дня рождения которого исполнилось 135 лет. Еще бы! Как можно! Ведь он монархист, патриот, почвенник, к тому же и друг детства, личный друг царя, освободившего русских крестьян! Друг, близость с которым, как и с другим упомянутым вскользь юбиляром — Жуковским, несомненно, оказала, некоторое влияние на формирование великой и прекрасной души Александра Второго.

Лишь одна «Жар-Птица» блеснула своим радужным пером над забытой могилой поэта, творчество которого может быть безоговорочно названо русским, народным, национальным…

Давно, на грани меж детством и юностью, я был глубоко потрясен одним спектаклем. Автор шедшей тогда пьесы так встряхнул, так переместил и разместил все атомы и элементы строя моей души, что сложенный им костяк укрепился в ней на всю жизнь, и не только со мной было; так, но со многими, очень многими. Это был первый спектакль Московского Художественного Театра. Шел «Царь Феодор Иоаннович» гр. А. Толстого.

Тогда роль царя Феодора исполнял Москвин. Потом я видел в ней Орленева, Качалова. Трактовки этой роли были внешне различны, но в основе каждой из них, в глубинах творческого перевоплощения этих исключительных мастеров лежало одно: трагизм подвига царственного служения — внутренний нерушимый стержень Русского Самодержавия. Его начало — в веках, в струе Корсуньской Купели. Конец — в подвале дома Ипатьева. Конец ли? Ты лишь, Господи, знаешь. Верую в милость Твою!

Глубже всего запала мне в душу последняя сцена трагедии царственного подвижника.

…Кремль. Стены и паперть собора. Трепетный перезвон колоколов. Один за другим падают тяжелые удары на Русь и ее Подвижника-самодержца: кровавая борьба на ступенях трона, жертвой которой становится герой-полководец… гибель Наследника Престола, надежды Царства… татарская рать под Москвой…

Страшная петля захлестнута на горле. Нет исхода. Рушится Святая Русь… Гибнет…

Пустеет Кремлевская площадь. Уходят последние ратники и лишь слепцы заунывно поют свою стихиру.

Никого, лишь один Самодержец-Подвижник со своей безмерной в любви супругою. Гибнет Великое Царство. Кто виноват в том?

— Простит ли мне Господь? — спрашивает изнемогший под царским бременем Самодержец. Он один принимает на свою неповинную душу всю тяжесть сотворенного не им греха, всю ответственность за него перед Богом, совестью и народом. Он не винит никого, не ищет иных плеч для несения всей тяготы, но безропотно отдает себя в Искупительной жертве.

Светлыми струями купели святого Владимира Русь омылась от своего первородного с нею рожденного греха.

Святыми струями жертвенной крови своих Самодержцев не раз омывалась она от греха людьми сотворенного.

...Павел. Александр. Николай...

За всех и за вся. Во искупление грехов.

А бескровные, но, быть может, более страшные жертвы?

...Исступленный крик совести Грозного — его Синодик? Схима Бориса. Мучительный поиск пути к искуплению Александра Первого. Трагический смертный надлом могучего Первого Николая...

— О, тяжела ты, Шапка Мономаха!

Пушкин, современник и едва не участник 14 декабря понял это. Мы не поняли. Мало, плохо понимаем и теперь.

...За всех и за вся. За наш грех, во искупление всего греха всего народа рассеянного, пролилась жертвенная кровь последнего Самодержца.

Тягота Мономаховой Шапки, подвижничество Самодержавного служения отражены гр. А. Толстым и в двух других пьесах трилогии. Источник понимания поэтом этой основной черты Русской Монархии, резко отграничивающей ее от западного абсолютизма с его формулой «государство — это я», легко найти в биографии А. К. Толстого. В детстве он был одним из мальчиков, постоянно приглашаемых во дворец для игр с наследником Александром Николаевичем. В юности — его личным другом. Им он оставался и в зрелом возрасте и не занял не раз предложенного ему места в кружке ближайших сотрудников Великого Освободителя только потому, что, будучи прирожденным «милостью Божией» художником, он не считал себя способным к большой административной работе. Но его моральное влияние в этом кружке неоспоримо.

Будучи всю жизнь человеком близким к интимнейшей жизни дворца, восприняв через эту призму и 14 декабря, и всю тридцатилетнюю «службу» императора Николая, и непреклонную самодержавную волю

к добру Александра Второго, поэт уяснил себе многое, скрытое от иных глаз. Отсюда — его правда.

Но стены дворца не заслоняют от его взора и самой почвы, на которой они воздвигнуты, — русского народа. Этот народ не «безмолвствует» в его трагедиях. Он смело идет во дворец, требуя царского справедливого суда в тяжкой для него боярской распре, выдвигает, возвеличивает своего героя в песне бродячего гусляра и стеной становится в его защиту на Яузском мосту...

В сатирической песне А. Толстого он, собравшись «у приказных ворот», натыкается в них на глухую преграду средостения. В балладах, в лице выразителя мощи своей — богатыря Ильи Муромца — досадливо отмахивается от чуждых ему иноземных веяний.

«От царьградских от курений голова болит...»

Уходит от Красного Солнышка к своей необъятной «государыне — пустыне», но знает, что вернется, что одному без другого — не жить!

«Вот, без старого Ильи-то, как ты проживешь?»

Историческая жизнь нации глубинно воспринята А. К. Толстым и художественно отражена во всей многогранности его песенного дара: в трагедии, в лирике и в сатире, к которой был склонен его острый пытливый ум. Но и в этом «обличительном» жанре он не треплет своей веры е неиссякаемую силу «почвы».

Казалося, что ниже
Нельзя сидеть в дыре,
Ан, глядь, уж мы в Париже...

Дар поэзии таинственно близок к дару пророчества. Разве не были поэмами, боговдохновенными песнопениями и плач Иеремии, и проникновения Исайи, и сверхчеловеческое озарение Творца Апокалипсиса? И, с другой стороны, как мог шестнадцатилетний Мишель Лермонтов так ясно, вплоть до колхоза и лица Сталина провидеть «России черный год»?*

В лирике А. К. Толстого есть одно широко известное стихотворение, которое никогда и никем не трактовалось вне сферы его личных переживаний. Я беру на себя смелость сделать это и напоминаю читателям «Колокольчики».

Конь несет меня лихой,
а куда — не знаю...

* «Настанет страшный год, России черный год, / Когда царей корона упадет...».

Не созвучно ли это пророческой «Тройке-птице» Гоголя и мчащейся сквозь тьму «степной кобылице» Блока?

Разве не слышим мы звона растоптанных колокольчиков наших родных полей, лугов? Но «уздой не удержать бег неукротимый»…

И всё же, тот же поэт, озаренный, окрыленный верой в благость Единого, автор «Грешницы» и «Иоанна Дамаскина», властью своего боговдохновенного дара приказывает нам из своей забытой могилы, могилы в родной ему и нам русской, российской земле:

Смело гребите во имя Прекрасного
Против течения!

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
9 августа 1952 года, № 134. С. 4

Игрок «на понижение»

В шуме торжественно проведенных и в СССР и в Зарубежье Гоголевских дней незаметно промелькнула годовщина смерти Н. А. Некрасова, а между тем 75 лет назад на его похоронах стриженная нигилистка истерически кричала:

— Он выше Пушкина!*

Прошлое свободно от страстей, бушующих в современном, и это дает возможность рассмотреть лица ушедших более объективно и точно, чем это могли сделать их современники, освободить, очистить их от вольно или невольно надетых личин.

Для интеллигента конца XIX века Некрасов был поэтом-«народником», певцом крестьянского горя, проникшись тенденциями которого, этот интеллигент и формировал свое представление об очень мало ему известном народе, искренне и порой даже жертвенно стремился помочь ему, но неизменно впадал в роль басенного медведя, сгонявшего муху со лба пустынника. Началась эта помощь комедийной пасторалью «хождения в народ», а окончилась колхозной трагедией... Да и окончилась ли еще?...

Некрасов дал огромную галерею портретов и портретиков русского крестьянина: стариков, детей, старух, молодух и среди них мы не найдем ни одного положительного образа творческой, созидающей натуры.

---

* В. Г. Короленко в «Истории моего современника» (глава «Похороны Некрасова и речь Достоевского на его могиле») вспоминал: «Достоевский говорил тихо, но очень выразительно и проникновенно. Его речь вызвала потом много шума в печати. Когда он поставил имя Некрасова вслед за Пушкиным и Лермонтовым, кое-кому из присутствующих это показалось умалением Некрасова. “Он выше их, — крикнул кто-то, и два-три голоса поддержали его: — Да, выше...”».

«Русь не шелохнется. Русь, как убитая», писал он почти тотчас после 19 февраля 1861 года, когда весь могучий организм тысячелетней Империи напрягался, переходя на новые рельсы своего исторического пути. Но для Некрасова этот колоссальный этап в жизни народа был всего лишь неудачным правительственным мероприятием, которое «ударило одним концом по барину, другим — по мужику».

Глаза Некрасова были устроены так, что он прежде всего и главным образом видел в окружаемом лишь темное, отрицательное, и не мог или не хотел видеть светлого, положительного, творческого. В своей поэме «Кому на Руси жить хорошо» он не показывает не только ни одного светлого уголка в России, но и не дает ни одного ярко положительного образа. Спорящие мужики, поставленные им в стержень этой псевдонародной «сказки», вырисованы не правдоискателями, а какими то упрямыми самодурами, которым «блажь втемяшилась»; солдат, участник двадцати сражений — дубленой барабанной шкурой; на сельской ярмарке Некрасов видит и показывает «лишь пьяную ночь» и даже, казалось бы правдолюбивый, умудренный долгою жизнью дед оказывается в прошлом преступником, участвовавшим в убийстве по низменным, материальным причинам...

Рассмотрим другие, менее значительные его зарисовки. Вот, неудачник Калистратушка, парень крепкий, здоровый, а «дожидается урожаю с незасеянной полосыньки». Почему она не засеяна в России, снабжавшей тогда хлебом чуть не всю Европу? Вот «намалеван верный мой Иван» — предтеча российского служилого и производственного пролетария. Он «не умыт, не чесан и вечно пьян». Фигура более чем отвратительная. Даже у Власа, носителя народной духовности, в прошлом находятся темные пятна, и его служение Богу обусловлено и вызвано не любовью, но страхом «загробной кары».

Призывая сеять «разумное, доброе, вечное» в народной толще, Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо» ни одним штрихом не показывает наличие этого «доброго, вечного» в душе самого народа. Все его попытки в этом направлении не идут дальше шаблонной мелодрамы. Набросок какого-то якобы положительного образа в конце поэмы «Кому на Руси жить хорошо» абсолютно неясен и расплывчат, как пресловутое «Дело» Чернышевского.

Картошка, которой угощает каторжник княгиню Волконскую также — только грубая попытка создать внешний эффект, далекая от реальности: картофель, редкий в то время в Сибири, вряд ли имелся в шахтах. Сергей Волконский, ко времени приезда жены, в рудниках уже не работал и оковы с него были сняты, да и сама княгиня, даже чудесным

образом попав в подземную галерею, вряд ли уж была так голодна. Ведь с нею прибыло в Сибирь 25 человек крепостной прислуги!.. Мелодраматичность и искусственность всей поэмы «Русские женщины» сливается с явным вымыслом ради тенденции: княгиня Е. Трубецкая была француженкой, урожденной графиней де Лаваль, чего Некрасов не мог не знать.

Но только ли крестьянин, главный «подзащитный» Некрасова, лишен им положительных черт творца и созидателя? Быть может, лишь сострадание закрыло от взора поэта эти стороны его образа, заставив видеть только тупой, подневольный его труд — «мы до смерти работаем, до полусмерти пьем»?

Вот Шкурин, выбившийся из мальчика-пастушка в крупного промышленника. Фигура очень характерная для русского прошлого. Такие энергичные, смелые и трудоспособные организаторы создавали русскую промышленность, но Некрасов, рисуя его, тотчас же вспоминает, что он мальчишкой драл щетину с живых свиней, «а теперь ты тянешь жилы из живых людей»... Без пасквиля Некрасову не обойтись.

Строятся железные дороги, но Некрасову нет дела до их прогрессивно-экономического значения в жизни России. Он иллюстрирует эту стройку лишь образами хапуги-подрядчика, свиноподобных рабочих, готовых на всё за стакан водки, тупицы-чиновника и «косточек русских», на которых построена эта дорога... Снова мелодраматическая фальшь, — как известно, железнодорожные работы в России высоко оплачивались *в интересах самих строителей* и были выгодны для рабочих.

Итак, «сея разумное, доброе», по Некрасову не нужно ни крестьянской реформы 1861 года, бьющей «по мужику», ни железных дорог, ни промышленности, «тянущей жилы»! Не нужно и армии, где «подмоченный звук барабанный, словно издали, жидко гремит»... Сибирь — «проклятая страна», на беду «найденная Ермаком».

Но что же, собственно говоря, нужно? Где же «разумное, доброе»? Ответа Некрасов не дает.

Тургенев назвал Некрасова «поэтом с натугой и штучками», Л. Толстой — «холодным и жестоким». Владимир Соловьев страстно отринул его, Никитин, хлебнувший подлинного, а не литературного народного горя, бросил ему в лицо негодующее обличение, «лжешь», закричал Герцен, Хомяков и Фет повторили этот крик и всё же...

— Он выше Пушкина! — вопила на его похоронах какая-то «бабушка русской революции» в дни своей юности.

В чем же дело?

И. Тхоржевский в своей интересной работе «Русская литература» отмечает удачливое «предпринимательство» Некрасова. Умиравшие журналы, попав за бесценок в его руки, оживали и давали крупный доход. Вступив в литературу буквально нищим, Некрасов вырос в ней в большого барина, изумлявшего Петербург своими обедами и роскошью охот. Его литературные спекуляции шли очень удачно, и главную ставку в них он делал на революционного демократа, на озлобленных, завистливых разночинцев — Чернышевского, Добролюбова, Решетникова, «отрицателей», «обличителей» и т.д. Тургенев, Л. Толстой были неуместны в его журналах. Они показывали свет, а нужна была тьма. Спекуляция на темных инстинктах человеческой психики давала верный и немалый доход.

Точно тот же метод «предпринимательства» был применен Некрасовым и в поэзии. Требуя устремлений к неопределенному «доброму, вечному», он всею силою своего пера определял, подчеркивал, форсировал, шаржировал всё темное, говоря биржевым языком «играл на понижение».

Среди хаявших и плевавших в лицо России и ее народа ему, бесспорно, принадлежит одно из первых мест. Мудрено ли, что при такой информации о русском народе «Кюстины»* не переводятся и в наши дни?

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
3 мая 1952 года, № 120. С. 4

Лишенный Господней милости
(75 лет со дня рождения А. Блока)

Много напечатано об Александре Блоке и как о поэте, и как о человеке**. Много пишут о нем и теперь и, по всей вероятности, будут писать и в дальнейшем.

Это понятно: крупной, большой фигурой выступает А. Блок на фоне жизни, мышления и творчества русской интеллигенции предреволюци-

---

* Астольф де Кюстин (1790–1857), автор книги «Россия в 1839 году», где страна изображена в крайне негативных тонах. К этой книге, как к примеру русофобства, Ширяев обращается не раз.

** Борис Ширяев посвятил творчеству Блока первую главу своей книги «Panorama della letteratura russa contemporanea» (1946), где изложил также и биографию поэта, с обширными цитатами: к примеру, «Незнакомка» дана целиком, в переводе Ирины Доллар. Для итальянского читателя Блок убедительно представлен как творец, который попал меж двух эпох (таково и название главы: «Tra due epoche») и который «умер, как Гамлет, воскликнувший “Порвалась дней связующая нить! Не мне обрывки их соединить!”…» (стр. 25).

онного периода. Но в том, что написано о нем критиками, литературоведами, его современниками и даже друзьями, столько противоречивого, что читателю, не пережившему тех лет, трудно составить себе представление об этом исключительном по высоте таланта поэте, на много превышавшем всех своих современников, работавших на одной с ним ниве. Эти противоречия тоже объяснимы: их корни скрыты в противоречиях природы самого Александра Блока, как поэта, как русского интеллигента и как человека.

Был ли Блок верующим? И да, и нет. Порыв к Богу сливался в нем с кощунством. Это случалось нередко, и сам он признается в том в своих стихах.

В своей молитве суеверной
Ищу защиты у Христа,
Но из-под маски лицемерной
Смеются лживые уста.

В юности, в своей первой книге «О Прекрасной Даме», он подобен средневековому рыцарю-менестрелю. Образ вечной женственности сливается в его душе с ликом Пречистой Царицы Небесной. Он неудержимо стремится к ней всей своей душой, но не находит пути, блуждает, мучится этим, но всё же еще молится Ей:

О, исторгни ржавую душу,
Со святыми меня упокой.
Ты, держащая море и сушу
Неподвижною, тонкой рукой.

Но снова «красные копья заката» вонзаются в его уже успевшую заржаветь душу, и Прекрасная Дама его юности превращается в Незнакомку, загадочной тенью блуждающую по ночным кабакам, где

Пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas» кричат...

Но до конца своей жизни Блок не расстается с маленьким образом Спасителя и в одном из своих писем к матери пишет: «Я знаю, что на небесах о нас плачут».

Другой аспект: Блок — утонченный эстет, цветок интеллигенции своего поколения, властитель дум своих современников, кость от кости, плоть от плоти передовой предреволюционной интеллигенции. И вместе

с тем эту самую передовую предреволюционную интеллигенцию Блок осуждает, ненавидит и клеймит в своих статьях о ней. В 1909 году он пишет в журнале «Золотое руно» в статье «Россия и интеллигенция»: «Требуется какое-то иное, высшее, новое начало. Раз нет его, оно заменяется всяческим бунтом и буйством, начиная от вульгарного богоборчества декадентов и кончая откровенным самоуничтожением — развратом, пьянством, самоубийством всех родов». Не самого ли себя судит он столь нелицеприятно и строго?

А любил ли он современную ему и историческую Россию? Был ли он, несмотря на иностранную фамилию, подлинно русским поэтом, неразрывно связанным незримыми нитями со своей родиной? И здесь снова наталкиваемся на блуждания, метания, противоречия... Перечтем цикл его стихов «На Куликовом поле». Они полны любовью, преклонением перед великим прошлым своего отечества; вместе с тем в них же мы найдем мерцание интуитивного предвидения нависшего над родиной неотвратимого рока.

Я не первый воин, не последний
Будет долго родина больна.
Помяни ж за раннею обедней
Мила друга верная жена.

Так молятся в его стихах ратники Земли Русской. Не молитва ли это самого Блока, вырвавшая из его сердца в мучительный час?..

Заглянем снова в его письма к матери.

«Или надо совсем не жить в России и плюнуть в ее пьяную харю, или изолироваться от унижений политики, да и общественности...» — пишет он матери в 1909 году и через месяц ей же в другом письме:

«Несчастную мою нищую Россию с ее смехотворным правительством и ребячьей интеллигенцией я бы презирал, если бы сам не был русским».

Трудно, очень трудно разобраться в сложной, обуреваемой веянием каких-то темных крыльев, душе поэта Александра Блока.

Так же противоречив его внешний облик. А. В. Тыркова-Вильямс* так описывает свою первую встречу с ним: «Блоку тогда еще не было тридцати лет. Нас поразила его красота. Его лицо светилось... Магическое обаяние хлынуло на нас от самого поэта. Перед нами стояло живое воплощение баяна, скальда, ведуна, волшебника... Разгул еще не навел на него свои страшные тени». Как несовместимо это описание с цинич-

* См. о ней в Приложении «Литераторы-эмигранты».

ным, грубым разгулом в грязных кабаках, стремлением к этой грязи, овладевшим Блоком в последние годы его жизни. Свидетельства видевших это его падение дают нам образ этого же скальда и волшебника, превращенного роком в подобие Свидригайлова.

Наконец, Блок в политике. В первые месяцы революции он примкнул к левым эсерам-интернационалистам и постепенно сближался с большевиками. Но та же А. В. Тыркова-Вильямс в своих «Тенях минувшего» рассказывает о том, что, будучи редактором газеты «Русская Молва», она получила от Блока статью, полную резких выпадов против евреев, столь резких, что, несмотря на всю популярность имени Блока, она не могла поместить ее в этой газете. Интернационализм и космополитизм, с одной стороны, резкий антисемитизм — с другой. Словно два различных человека, а может быть, даже не два, значительно больше жили и боролись в этой смятенной, заблудшейся душе, искавшей, но не нашедшей пути к милости Господней.

Эта смятенность проходит красной чертой по всему творчеству Александра Блока, по всей его личной недолгой человеческой жизни и ею же полны тайны его исключительной интуиции, сливающейся с даром предвидения. «Возмездие» названа его неоконченная большая поэма. Перед этим возмездием трепещет душа поэта, содрогается в ужасе перед ним и вместе с тем не может отрешиться от уверенности в неотвратимости этого возмездия. Черная, мрачная мгла закрывает от нее светлые пути к всепрощающей милости Господней.

Только семьдесят пять лет отделяют от нашей современности дату рождения А. Блока, и он мог бы дожить и до нашего времени. Странно и трудно умирал он сравнительно еще молодым от непонятной лечившим его врачам болезни. Словно что-то душило, что-то давило его, словно он задыхался в сгустившейся атмосфере тления.

Не сходна ли его личная судьба, как поэта и как человека, с судьбою современного ему поколения русской интеллигенции, отвернувшегося и задохнувшегося в окутавшей родину мгле?

«Знамя России», Нью-Йорк,
5 октября 1955 года, № 131. С. 4–6

Пророк возмездия и искупления
(75 лет со дня рождения А. А. Блока)

Странен и непонятен таинственный творческий процесс созидательной работы, происходящей в душах поэтов, в глубинах их подсознания, как скажут фрейдисты-психоаналитики, или их сверхсознания, их озарения милостью Божией лучом Его разума, как скажем мы, верующие в Него люди. Мне думается, что создавая ту или иную крупную, боговдохновенную поэму, творец ее сам не уясняет вполне ее значения, всей глубины и охвата, вкладываемых в нее выраженных словесными образами мыслей, а поет их как птица, восхваляющая солнечным утром радость дарованного Господом светлого дня, не имея в своем ограниченном (птичьем или человечьем — не всё ли равно?) физическом мозгу точных представлений о ее окружающем и тем более о предстоящем ей в грядущем дне... О ведре или ненастье его, которое она, однако, предчувствует.

Отсюда дар предвидения, сопутствующий творчеству многих глубоких и больших поэтов и тесно связанный невидимыми нам нитями с чисто поэтической внешностью их произведений, но насыщающий и одухотворяющий их. Мог ли, например, 16-летний Михаил Лермонтов в 1830 году с такой точностью и ясностью представить себе логическим, рациональным путем российскую трагедию, которой предстояло произойти через сто лет и которую он с поразительной четкостью выразил в своем стихотворении:

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет...,

или свою собственную смерть в стихотворении «В полдневный жар в долине Дагестана...».

Этот дар предчувствия, предвидения с особенной силой сказывается именно в русской поэзии, и недаром И. Л. Солоневич считал, что и ней во много раз больше глубинного содержания, чем в русской же прозаической, публицистической и философской литературе. Проявление пророческого предвидения мы найдем в прошлом во многих стихах Лермонтова, Тютчева, Вл. Соловьева, а в наши дни в стихах Гумилева, Есенина и особенно Александра Александровича Блока.

С другой стороны, разве не были огромными по своей литературной силе библейские провидцы и пророки? Разве не был поэтом трагический Исаия, с его огненными, прожигающими сердце образами? Или объя-

тый дивными, мало понятными видениями Иезекииль? Или плачущий кровавыми слезами над участью своего народа глубочайший патриот Иеремия?

Следовательно, дар провидения будущего неясно для нашего человеческого разума, но тем не менее крепко связан с поэтическим дарованием. Но попутно оговоримся, что дар предвидения будущего (в документально зафиксированных его проявлениях) далеко не всегда сопровождается праведностью, направленной к добру жизнью самого предсказателя. Ведь предсказывала и Аэндорская волшебница, и феодальная властительница, жена Бертрана Дюгесклена, и Ленорман, и де Теб, и ряд других лиц, земная жизнь которых была очень далека от христианского идеала*.

Пророком именно этой категории и был поэт А. А. Блок, всё творчество которого, начиная с первых его почти юношеских произведений, проникнуто предчувствием чего-то страшного, мрачного, неотвратимо нависшего над Россией и над его собственной судьбой. Оно сквозит даже в его юношеских, чисто лирических стихах о «Прекрасной Даме», таинственно влекущей его к себе, но вместе с тем сулящей ему не радость, а страдание. Его душа блуждает в «темных храмах», где мерцают огни догорающих лампад, по «изломанным путям» греховного и вместе с тем мученического земного бытия... Ее поражают смертельным ударом «красные копья заката», излучаемые Той, что «ушла в поля без возврата», но он всё же благословляет ее словами величайшей из молитв:

Да святится имя Твое!

потому что интуитивно предвидит в этой неотвратимой трагедии волю Господню, возмездие за свершенный «общий грех», и именно теме возмездия посвящена поэма того же названия — работа, которую он пытался выполнить в течение всей своей жизни, но так и не закончил. Провидеть завершение возмездия, искупление греха и преодоление его в самих себе было ему не дано. Господь приподнял перед его духовными глазами лишь самую малую часть завесы, закрывающей от его духовного взора будущее, и он смог сказать лишь то, что сказал в своем заключительное замечательном произведении — поэме «Двенадцать».

* Аэндорская волшебшица — ветхозаветный персонаж, колдунья, к предсказаниям которой прибегал царь Саул; Бертран Дюгесклен (1320–1380) — французский военачальник: в романе Артура Конан-Дойля «Белый отряд» (1891) его жена леди Тифен Ракнель представлена пророчицей, предсказавшей дальнейший путь развития Европы; Мария-Анна-Аделаида Ленорман (1772–1843), французская прорицательница и гадалка; мадам де Теб (1865–1916), парижская гадалка, издававшая собственный журнал.

Каждого пророка и каждого поэта можно трактовать по-разному, порою даже диаметрально противоположно. Мы знаем, например, что к Откровению св. Иоанна созданы не десятки, и не сотни, а, вероятно, тысячи всевозможных толкований, разъяснений и комментариев, вплоть до «звериного числа», якобы обозначавшего имя Наполеона, или чисто рационалистического разъяснения Апокалипсиса на основе астрономических изысканий, сделанного с соблюдением астрономически научных основ Николаем Морозовым в его книге «Откровение в грозе и буре», в свое время, в 1906–1907 годах поражавшей и увлекавшей многих, но вместе с тем абсолютно не обоснованной с исторической точки зрения, а тем более с точки зрения религиозной, т.к. в результате он приписывает авторство «Откровения» не Иоанну Богослову, а Иоанну Златоусту, что просто нелепо, т. к. эта боговдохновенная книга не раз упоминаема в творениях самого ее, по Морозову, автора — Иоанна Златоуста. Поэтов и пророков по-разному разъясняли, разъясняют и будут разъяснять.

То же самое произошло и длится то сих пор с поэмой А. А. Блока «Двенадцать», которую, например, большевики и крайне правые элементы нашей эмиграции трактуют, как «революционную», причем первые делают это с довольно кислой улыбкой, оговариваясь, что, конечно, А. А. Блок был «тепличным интеллигентом», «чуждым классовому самосознанию» и допустил поверхностный взгляд на проходивший перед его глазами «процесс массовых революционных сдвигов», а вторые в яростном негодовании обвиняют поэта в том, что он «Христа зачислил в большевики». Трудно, конечно, очень трудно сопоставить обе эти трактовки даже при их *одинаковом* конечном выводе.

Это разноречие комментаторов «Двенадцати» началось с первого дня появления этой поэмы в печати и вылилось в целую бурю, когда Блок впервые читал ее в Доме ученых в Петрограде, через несколько дней после напечатания. Тогда этот, сдержанный обычно, зал перед выходом общепризнанного поэта сотрясался грохотом аплодисментов, с одной стороны и топотом ног и свистом — с другой. Сам Блок стоял в артистической комнате бледный, как смерть.

— Ну, Александр Александрович, написали, так надо выходить и читать, — сказал ему один из распорядителей вечера, смелый, волевой поэт-монархист Н. С. Гумилев, — а лучше было бы... если бы совсем не писали ее...

Рассказывают и о том, что в предсмертном бреду Блок требовал полного уничтожения «Двенадцати» и был глубоко мучим тем, что в минуты просветления сознавал невозможность выполнения этого требования. Возможно, хотя достоверных подтверждений не имеем, но только кос-

венные, говорящие об *отрицательном* отношении Блока к революции в целом, о внутреннем его протесте против нее и страхе перед ней. Так, например, довольно достоверно то, что весь последний год своей жизни (год революции) Блок слышал какие-то глухие подземные раскаты, приводившие его в смертельный ужас.

Однако, подтверждение его — Блока — *отрицательного* отношения к революции мы находим в самой поэме.

В зубах цыгарка,
Примят картуз.
На спину надо
Бубновый туз...

Вот каким видит А. А. Блок революционного героя, «красу и гордость революции». Ведь это прямой Ванька Каин, а не «буревестник» и не «сокол» Горького и уж ни в какой мере не «творец новой жизни» Маяковского.

Товарищ, винтовку держи, не трусь,
Пальнем-ка пулей в *Святую Русь!*

Да, в *Святую*! *Святой* она была для Блока, что твердо сказано им в цикле стихов «На Куликовом поле», святой она и осталась для него, ибо он в глубинах своей души, в сумраке истоков своего поэтического дара видел не только ее падение в бездну, ее путь на Голгофу истории, но и ее искупление, и ее очищение!

Именно поэтому в заключительной песне поэмы впереди двенадцати отпетых каторжников и убийц незримо грядет

И за вьюгой невидим,
И от пули невредим...
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.

тот образ, который повергает в смущение большевистских критиков и возбуждает негодование в среде крайне правой эмиграции. Разве не так же впереди толпы беснующихся, объятых фанатическим мракобесием иудеев шел Он на Голгофу ради искупления всеобщего людского греха, на страдания и 3-дневную человеческую смерть, шел ради какой то, тогда, кроме Него, Христа, *неведомой и непонятной цели, которую даже сами апостолы осознали и уяснили себе лишь после сошествия*

на них Святого Духа? Но тогда, в день пути Его на Голгофу, и они, даже они, ближние к Нему, не предвидели направленности этого скорбного, страдальческого Его пути!

Повторяю, к каждому пророчеству и каждому крупному поэтическому произведению было и будет множество различных трактовок и разъяснений. Эти комментарии изменяются во времени, т.к. при смене поколений и развитии исторических событий мы всё же многое познаем и можем по-иному, углубленно, а подчас и более правдиво взглянуть на созданное и выраженное жившими до нас пророками и поэтами. Пережитые нами четыре последних десятилетия дают нам возможность взглянуть по-новому и на исторический процесс бытия нашей родины, иначе, чем смотрели мы на него же в начале его развития. До полного анализа, конечно, еще далеко, да и вряд ли он когда-нибудь будет достигнут, но кое-что мы все-таки видели и видим сейчас; не понимали тогда, но начинаем понимать теперь. Это уясняемое теперь нами, как мне кажется, есть именно то, что очень смутно, неясно и неопределенно предчувствовал в глубинах души своей Блок, когда писал в поэме «Двенадцать» свои строчки о грядущем среди злодеев Христе. Это именно *путь общего искупления общего греха*, искупления всем народом греха, совершенного тоже всем же народам, всей нацией, общего греха, формулированного еще Ф. М. Достоевским, и общей же ответственности за него...

...А в грядущем — искупление его страданием, преодоление его и прощение от Господа.

Вот этот луч и блеснул умирающему А. А. Блоку, когда Бог приподнял перед его духовными глазами малую частицу занавеса, закрывающего грядущее от нашего физического взора.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
4 августа 1955 года, № 289. С. 4

Пророчества поэтов

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы дети страшных лет России
Забыть не в силах ничего.
Испепеляющие годы!
Безумье ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть.

Есть немота — то гул набата
Заставил заградить уста.
В сердцах, встревоженных когда-то,
Есть роковая пустота.
И пусть над нашим, смертным ложем
Взовьется с криком воронье, —
Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да узрят Царствие Твое!

Так на рубеже двух столетий, в годы, предшествовавшие роковым для России катастрофам, писал крупнейший поэт того времени Александр Александрович Блок.

Вся поэзия Блока, всё его поэтическое наследие проникнуто мотивами предчувствия неизбежной катастрофы, страшного возмездия за сотворенный грех. В чем именно состояла эта греховность обреченного на искупительные страдания народа, Блок не в силах рассказать словами. Быть может он и сам умом, рационалистически, не мог этого постигнуть, но лишь интуитивно чувствовал всеми фибрами своей тонкой, многогранной души.

Разъяснить этот грех предстояло другому поэту, его современнику Максимилиану Волошину, о чем мы скажем ниже. Блок лишь чувствовал и, как свидетельствуют его современники, не только чувствовал, но в течение последних месяцев своей земной жизни физически слышал грозные подземные гулы уже сотрясавшие мир и прежде всего горячо любимую им родину, Россию.

Как в натуре, так и в поэзии Александра Блока — множество противоречий. Историки литературы и критики до сих пор ведут споры о них. Вряд ли когда-нибудь наступит конец этим спорам, ведь дар поэта чрезвычайно близок к дару пророка, что гениально высказал еще А. С. Пушкин, а большинству пророчеств можно с известной натяжкой давать совершенно различные трактовки. Так трактуют теперь и поэтические пророчества Блока. Некоторые историки литературы называют его даже атеистом или, во всяком случае, поэтом очень далеким от христианских идеалов, туманным эстетом-символиком, язычником по своему духу.

Верно ли это? Если мы внимательно проследим всё развитие творческой направленности Блока, то ясно увидим в нем среди метаний и блужданий безотрывную связь его духа с христианством. Одухотворявшая его любовь к родине тесно слита с духом родного народа, его глубокою верою в милость Господню, в силу молитвы и спасение через нее.

Я не первый воин, не последний...
Будет долго родина больна...
Помяни за раннею обедней
Мила друга верная жена...

молится накануне Куликовской битвы русский ратник-христолюбец. И не так ли молится и сам Блок, находя прибежище от обуревающих его душу смятений лишь в молитве к Заступнице царства Российского, Богородице, Домом Которой называлось это царство.

Ты в поля отошла без возврата,
Да святится имя Твое.
Снова красные копья заката
Протянули ко мне острие.
Лишь к Твоей золотой свирели
В черный день устами прильну...
Если все мольбы отзвенели,
Утомленный в поле усну.
О, исторгни ржавую душу,
Со святыми меня упокой,
Ты, держащая море и сушу
Неподвижною, тонкой рукой.

Блок не может отказаться от символической эстетики, ярчайшим выразителем которой он стал в русской поэзии. Но под туманным налетом эстетической формы в его стихах явно слышны те же молитвенные мотивы арфы Давида, которыми проникнуты все лучшие произведения крупнейших русских поэтов. Они звучат даже в его предсмертной поэме «Двенадцать», которую некоторые искусствоведы и литературоведы называют кощунственной. Смысл этой поэмы до сих пор еще загадочен и разъяснение многих ее строк придет лишь в дальнейшем, когда станут ясны исторические судьбы нашей родины, смысл постигших ее страданий, когда сотворенный грех будет окончательно искуплен и прощен Господом.

Черный вечер — белый снег.
Ветер, ветер...
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер на всем Божьем свете.

Такими словами начинает Александр Блок свою замечательную, пророческую, как мы смеем утверждать, поэму «Двенадцать».

Черная, непроглядная тьма окутала всю страну. В этой тьме неизвестно куда, неизвестно зачем бредут двенадцать человек… Кто они?

В зубах цыгарка, примят картуз,
На спину надо бубновый туз…

Они, залитые кровью злодеи, убийцы, разрушители всех священных основ русского духа, поправшие всё святое, отрекшиеся от Христа и своей родины.

Товарищ, винтовку держи, не трусь.
Пальнем-ка пулей в Святую Русь.

Таков их лозунг: попрание, разрушение, уничтожение! Кажется, нет спасения тем кто «пути не знает своего», этим «детям темных лет России», и всё же, подчиняясь каким-то неземным велениям, поэт, непонятно для самого себя, как он говорил своим друзьям, вводит в конце этого своего, вероятно, самого значительного произведения светлый образ Христа, несущийся среди тьмы и вьюги впереди банды убийц и палачей.

Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
И от пули невредим,
И за вьюгой невидим,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.

Что это? Кощунство? Как смеет поэт поставить впереди грешников и убийц светлый образ Спасителя мира?

Но ведь такие же убийцы и разбойники висели распятыми на крестах на Голгофе, где один из них, просветленный искупительным страданием, взмолился Спасителю: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствие Твое». «Ныне будешь со мною в раю», ответил тогда этому просветленному Искупитель.

Не эту ли великую тайну, тайну искупления страданием отразил Блок в поэме «Двенадцать», отразил туманно пророчески, но вместе с тем боговдохновенно.

Разъяснение сотворенного всею нацией греха мы наводим в строках современника, но вместе с тем идейного и литературного противника Блока — Николая Степановича Гумилева, другого крупнейшего поэта той же мрачной эпохи, погибшего от руки палачей в застенках НКВД.

Он видит этот грех в забвении Слова Господня, в утрате духовного мироощущения и предании себя суетным, земным, материально-меркантильным вожделениям, что совершенно ясно высказывает в потрясающем стихотворении «Слово».

В оный дни, когда над миром новым
Бог склонял лицо Свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку.
Тростью на песке чертил число.

Так для низких мыслей были числа,
Как домашний подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Хитрое число передает.

Но забыли мы, что осияно
Только слово средь земных тревог
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово — это Бог,

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как соты в улье опустелом.
Дурно пахнут мертвые слова.

И Гумилев, и Блок погибли в начале двадцатых годов текущего столетия, в период самой густой мглы охватившего Россию безвременья и хаоса. Многое, очень многое даже из современного им было этим поэтам далеко не ясно. Они оба чувствовали, ощущали бремя греховности, видели и принимали, как кару Божию, насту пившее возмездие, но были не в силах еще точно и ясно формулировать самую греховность, ее основные элементы, скрепить и связать их с искупительным покаянием. Это предстояло сделать пережившему их на десятилетие поэту — Максимилиану Волошину, крещенному морем пролитой революцией русской крови.

Поддалась лихому подговору,
Отдалась разбойнику и вору,
Подожгла посады и хлеба,
Разорила древние жилища,
И пошла, поруганной и нищей,
И рабой последнего раба.

Так пишет он о вступившей в последний круг адского наваждения России. Но сознавая этот всеобщий грех, Максимилиан Волошин не смеет дать своего осуждения ему и, вдохновленный всепрощением христианства, продолжает:

Я ль в тебя посмею бросить камень?
Осужу ль страстной и буйный пламень?
В грязь лицом тебе ль не поклонюсь.
След босой ноги благословляя, —
Ты — бездомная, гулящая, хмельная,
Во Христе юродивая Русь.

Эти строки написаны поэтом 19 ноября 1917 года. Далее он развивает ту же идею в позже написанном стихотворении «Русь глухонемая»:

Был к Иисусу приведен
Родными отрок бесноватый:
Со скрежетом и в пене он
Валялся, корчами объятый.
«Изыди, дух глухонемой» —
Сказал Господь. И демон злой
Сотряс его и с криком вышел.
И отрок понимал и слышал.
Был спор учеников о том,
Что не был им тот бес покорен,
А Он сказал: «Сей род упорен:
Молитвой только и постом
Его природа одолима».
Не тем ли духом одержима
Ты, Русь глухонемая? Бес,
Укрыв твой разум и свободу,
Тебя кидает в огнь и воду,
О камни бьет и гонит в лес.
И вот взываем мы: Прииди...
И избранный в дали от битв
Кует постами меч молитв
И скоро скажет: — «Бес, изыди»!

В этом стихотворении мотив возмездия за грехи уже тесно сплетается с верою в искупление путем страдания. Поэт не отделяет атома от целого, своей личной индивидуальности от жизни и судеб своего народа. Он готов к жертвенности, к личной гибели, к своему собственному пути на Голгофу.

С каждым днем всё диче и всё глуше
Мертвенная цепенеет ночь.
Смрадный ветер, как свечи, жизни тушит,
Ни позвать, ни крикнуть, ни помочь.
Темен жребий русского поэта,
Неисповедимый рок ведет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского — на эшафот.
Может быть такой же жребий выну,
Горькая детоубийца Русь,
И на дне твоих подвалов сгину
Иль в кровавой луже поскользнусь.
Но твоей Голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь –
Доконает голод или злоба, –
Но судьбы не отрекусь иной,
Умирать — так умирать с тобой,
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!

Это стихотворение посвящено Максимилианом Волошиным двум своим близким предшественникам, погибшим Николаю Гумилеву и Александру Блоку. Он пережил их на земле. Он уже смог разглядеть, казалось бы, в непроглядной тьме первые лучи милости Господней, грядущего искупления. Этот мотив арфы Давида полноценно и громозвучно звенит в его стихотворении «Заклятье»*:

Из крови, пролитой в боях,
Из праха обращенных в прах,
Из мук казненных поколений.
Из душ, крестившихся в крови,
Из ненавидящей любви,
Из преступлений, искуплений –
Возникнет праведная Русь.
Я за нее одну молюсь
И верю замыслам предвечным:
Ее куют ударом мечным,
Она мостится на костях,

* Точное название стихотворение Волошина — «Заклинание (От усобиц)».

Она святится в ярых битвах,
На жгучих строится мощах,
В безумных плавится молитвах.

Полной оптимизма, чисто христианской религиозностью дышит каждая строка этого стихотворения. Максимилиан Волошин молится в нем за всех и за вся: и за праведников и за грешников, и за палачей и за их жертвы. Он видит, как его современники, отвергнув Бога, впали во власть бесов, но вместе с тем он знает и проникновенные слова Достоевского, утверждающие, что «мир спасется после посещения его злым духом». Полный упования на милость Господню, Максимилиан Волошин предрекает своей родине стать вестником вселенской любви, пройдя через искупительную кровавую купель нечеловеческих страданий.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
6 сентября 1956 года, № 346. С. 3

Человек с большой буквы
(30 лет со дня гибели Н. С. Гумилева)

Тридцать лет тому назад, следователь ЧК спросил его:

— Почему вы выступили против советской власти?

Он ответил:

— Потому, что я — монархист.

До этого (летом 1917 года), в кружке своих поэтических друзей, он сказал:

— Мои стихи принадлежат России, а моя шпага — Государю Императору.

Его звали Николай Степанович Гумилев. Он был расстрелян 25 августа 1921 года*. Тридцать лет назад. С ним погибла и его вполне реальная шпага офицера Российской Императорской кавалерии, но его стихи живут, и их жизнь с каждым днем становится всё полноценней и ярче. Николай Гумилев, после своей смерти, превращается из поэта-акмеиста, главы своей школы, в поэта-националиста, главу поэтов Новой России.

Словно молоты громовые или воды гневных морей,
Золотое сердце России мерно бьется в груди моей.

Сердце человека Н. Гумилева умерло, но сердце Н. Гумилева-поэта живет и бьется. Каково же для него это «сердце России»? Поэт расска-

* Точная дата расстрела Гумилева — 26 августа.

зал нам о нем, успел рассказать в своих коротких, но «пламенных днях». В этом сердце —

Крест над церковью вознесен,
Символ власти ясной, Отеческой,
И гудит малиновый звон
Речью мудрою, человеческой...

в нем:

...рига, скотный двор,
Где у корыта гуси важные
Ведут немолчный разговор...

Порою крестный ход и пение,
Звонят во все колокола,
Бегут — то значит, по течению
В село икона приплыла,
Русь бредит Богом, красным пламенем,
Где видно ангелов сквозь дым,
Она покорно верит знамениям,
Любя *свое*, живя *своим*...

Вот это «свое», до конца русское, до конца же воспринял Николай Гумилев и с ним умер, не смогши от него отказаться, хотя чекисты и их «парламентер» А. В. Луначарский обещали осужденному освобождение, если он «покается» и отречется. Но —

О, Русь, волшебница суровая,
Повсюду ты свое возьмешь.
Бежать! Но разве любишь новое
Иль без тебя да проживешь?

Между Гумилевым-поэтом и Гумилевым-человеком не было разрыва. Он претворял свою жизнь в кованные, чеканные созвучия и жил теми идеалами, которые воспевал в своих стихах. Выдвигая перед современной ему мягкотелой, половинчатой русской интеллигенцией целостный образ мужа-бойца, конквистадора, побеждающего бури, стремящегося к неизведанным далям, он сам устремляется, во главе им снаряженной экспедиции, в Центральную Африку и вывозит оттуда цикл мужественных стихов, зовущих к героическому преодолению препятствий. Свое понятие о высокой рыцарской чести он подтверждает необычайной в его время далеко не бутафорской дуэлью.

Начавшаяся война 1914 года указывает ему путь еще более высокого и достойного подвига. Гумилев без колебаний вступает добровольцем в один из славных гусарских полков. Призывы к личному участию в защите отечества для него необычайно глубоки. Он слышит их не только как гражданин, не только как русский по крови, но ощущает их религиозную основу, как чувствовали это ратники Бородина и Куликова поля.

И воистину светло и свято
Дело величавое войны.
Серафимы ясны и крылаты
За плечами воинов видны.

Свой ратный подвиг он выполняет доблестно и стойко, о чем свидетельствуют отзывы однополчан и приказы по «бессмертному» Александрийскому полку.

И святой Георгий тронул дважды
Пулею нетронутую грудь...

Революция застает Н. Гумилева за границей (во Франции и Англии), но охваченная смертельной болезнью Русь зовет его к себе, чтобы вступить в борьбу с революцией, он видит ее темную бездну.

Словно там, под сводом ада,
Дьявол щелкает бичом,
Чтобы грешников громада
Вышла бешеным смерчом,

Другого пути для него быть не может, хотя он и знает, что его ждет. Но —

К Руси славянской, печенежьей
Вотще ли Рюрик приходил?

против сил ада — сила веры в святой крест:

Как не погнулись, о, горе!
Как не покинули мост
Крест на Казанском соборе
И на Исаакии крест?

Вернувшись в Россию, Н. С. Гумилев безраздельно отдает всего себя борьбе с торжествующим красным дьяволом. Он выполняет ряд ответствен-

ных поручений многих возникавших тогда и погибавших контрреволюционных организаций. Он весь в действии и, как прежде, нет разрыва между его словом и делом, хотя знает, что стоит «пред раскаленным горном» у которого человек, занятый «отливаньем пули, что меня с землею разлучит».

Кронштадтское восстание и «заговор Таганцева». Героическая поэма жизни Н. С. Гумилева окончена. В час смерти он был так же верен себе, как и в годы жизни.

«Не беспокойся обо мне», — писал он жене накануне расстрела, — «я чувствую себя хорошо, читаю Гомера, пишу стихи». Эти стихи до нас не дошли, но есть сведения, что он требовал в тот вечер священника. В этом ему было, конечно, отказано. Но будем верить, как верил он, что —

Воздаст господь мне полной мерой
За недолгий мой и горький век

В СССР книги Гумилева запрещены, но списки его стихов широко распространены. Большевицкие литературоведы упоминают о нем только, как о «цепной собаке кровавой монархии». Но его имя известно там теперь много шире, чем при его жизни. Тогда оно было достоянием узкого круга «верхов» интеллигенции, теперь его повторяет молодежь всех 900 вузов Советского Союза.

Повторяют его и «здесь», где сохранились не только лично знавшие его, но и близкие ему по творческой работе. И странно бывает порой читать этих «прогрессивных» литкритиков на страницах их прессы. Уделяя максимум внимания оценке формы творчества Гумилева и не будучи в силах отрицать высоты его поэтического мастерства, они замалчивают, а подчас и клюют тупым жалом насмешки *человеческую* высоту погибшего русского национального поэта-монархиста, не хотят показать, подтвердить ее поистине героический взлет…

Не видят его сами? Возможно. Трудно следить за полетом орла, а «рожденный ползать — летать не может»*.

«Знамя России», Нью-Йорк,
10 сентября 1951 года, № 47. С. 13–15

* Б. Ширяев одним из первых представил творчество Гумилева западному читателю: в книге «Panorama…» (глава «Трагедия поэтов») ему отведен ряд страниц, проникнутых восхищением перед поэтом. Не касаясь монархизма Гумилева, автор представляет его стойким врагом «революционеров», укравших у России «присужденную ей историей победу в войне». В конце главы о Гумилеве Ширяев приводит легендарные сведения о том, что поэт отказался от попыток Горького и Луначарского спасти его (об этом — и в нижеследующей статье), заявив, что «лучше умереть человеком, чем жить собакой», и о том, что ему «удалось избежать казни — он сумел покончить собой» (стр. 74).

Последний поэт-гусар
(30 лет со дня гибели Н. С. Гумилева)

Эту яркую и красочную линию русской поэзии начинает в годы Отечественной войны Денис Давыдов. За ним следуют Грибоедов, Одоевский, Баратынский, Лермонтов и многие другие, чьи имена не столь известны. Поэты — офицеры гусарских полков славной Российской кавалерии. Связь доломана и лиры в этом случае не только внешний признак. Это вполне определенный психологический уклад, порожденный боевым напряжением той эпохи. Ее героизм искал своего внешнего образа и направлял устремления поэтов к самому яркому и по обличью, и по характеру боевой работы роду оружия, к легкой кавалерии, к гусарам.

Поэты тянулись в гусарские полки, а в этих полках, в свою очередь раскрывались поэтические возможности их бойцов. Сам Пушкин не избег этого влечения: по окончании лицея он твердо решил «идти в гусары», избрал даже полк (Ахтырский) и условился с Д. Давыдовым о вступлении в него. Этому помешал только недостаток средств в семье Пушкина.

Так родилось и развилось «гусарство», своеобразный психологически-бытовой, чисто русский комплекс, нашедший широкое отражение и в поэзии (Пушкин — «Гусар», Лермонтов — «Казначейша», Д. Давыдов, Жуковский и др.), и в прозе (Л. Толстой — «Два гусара», и в музыке («цыганизм» 30–40-х годов). Его главными внутренними элементами были отвага, благородство, верность долгу и чести в гармоничном сочетании с бесшабашной удалью, данью молодости, Вакху и Венере, эпикурейской любовью к жизни и стоическим презрением к смерти.

Но времена меняются. Замолк топот лихих конных атак, блестящая сабля сменилась грубой шашкой, да и та стала «безработной», расшитый доломан уступил место защитной гимнастерке, ташка* — планшету...

«Где гусары прежних лет, где гусары удалые...», пел, всматриваясь в будущее первый гусар-поэт Д. Давыдов и его же словами, произнесенными в иной форме, но при том же внутреннем содержании, ответил ему через 100 лет последний в их роде, поэт-гусар Гумилев: «Деды, помню вас и я...» не только помню, но ощущаю и продолжаю...

Война, в представлении Гумилева — не гнусная, бессмысленная бойня, но прежде всего жертвенный подвиг духа:

* Гусарская кожаная сумочка, носившаяся на ремнях.

И воистину светло и свято
Дело величавой войны.
Серафимы ясны и крылаты
За плечами воинов видны.

Поэт видит, что духовное содержание этого подвига скрыто от современного ему, размельченного, утратившего ряд духовных ценностей поколения, но он сам сохранил их в себе и зовет к ним:

Победа, слава, подвиг — бледные
Слова, затерянные ныне,
Гремят в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне...

Вступая вольноопределяющимся в один из славнейших гусарских полков в первые же дни русско-германской войны, Гумилев ощущает в своем сердце мощный искрометный взлет истинных эмоций мужчины — бойца, Человека с большой буквы:

Как могли мы прежде жить в покое
И не ждать ни радостей, ни бед,
Не мечтать об огнезарном бое,
О рокочущей трубе побед...

А его сердце — вот оно:

Словно молоты громовые
Или волны гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей...

Смерть в бою. Она ясна поэту-гусару и манит его своей величавой красотой:

Есть так много жизней достойных,
Но одна лишь достойна смерть.
Лишь под пулями в рвах спокойных
Веришь в знамя Господне — твердо.

Времена Кульнева и Сеславина прошли безвозвратно. Внешняя красивость смертного подвига исчезла; но его внутренняя красота нетленна, и Гумилев рассказывает о ней:

Тружеников, медленно идущих,
На полях, омоченных в крови,
Подвиг, сеющих, и славу жнущих
Ныне, Господи, благослови...

Как собака на цепи тяжелой
Тявкает за лесом пулемет
И жужжат шрапнели, словно пчелы,
Собирая ярко-красный мед...
А ура вдали, как будто пенье
Трудный день окончивших жнецов...

Но венец этой смерти, «простой и ясной» не осенил главы поэта и за всё время войны, достойно им проведенное на фронте, лишь «Святой Георгий тронул дважды пулею нетронутую грудь». Катастрофу революции он ощущает страдальчески остро и, один из немногих в то время, смотрит на нее с религиозной точки зрения, оценивая по достоинству «громаду грешников, бешеным смерчем выпущенных дьяволом из ада». Верный чести и долгу, он тотчас же вступает в активную, действенную борьбу с ними, оставаясь на наиболее опасном посту, действуя в среде самих большевиков, в примкнувших к революции воинских частях.

Неизбежный финал. Кронштадтское восстание и «заговор Таганцева». Арест и смертный приговор.

Гусарский офицер, Гумилев верен своей, чести и заветам дедов. Он отказывается принять помилование ценой компромисса с личной и полковой его честью, предложенного ему Луначарским.

— Я монархист и борюсь с властью советов, — заявляет он следователю и умирает доблестно и спокойно с улыбкой на устах, как рассказывали в те дни очевидцы-чекисты.

Умер, как жил, по славной традиции своих «бессмертных» дедов, своего боевого славного штандарта... Кончилась поэма его жизни, яркая героическая поэма последнего поэта-гусара.

«Часовой», Брюссель,
ноябрь 1951 года, № 313. С. 18

«Развенчание» Н. Гумилева

Об «охотничьих рассказах» и им подобных, заполняющих беллетристический отдел последних номеров «Возрождения» говорить не стоит. Отдел воспоминаний, как всегда, необычайно богат, переполнен и даже наползает на соседние отделы. Но погружаясь в его глубины, читатель не может отделаться от преследующего его вкуса жеванной мочалы. Исключение составляют нежные, тонкие кружева, сплетенные А. В. Тырковой-Вильямс — «То, чего больше не будет». Образ прекрасной души русской девушки чарует с этих страниц, но невольно приходит на ум горькая мысль: сколько таких прекрасных душ русских девушек вовлек в себя и погубил революционный «прогрессизм»? Ответ дает сама А. В. Тыркова, рисуя портреты своих подруг того времени, например, Н. К. Крупской, и радостно видеть, вглядываясь в мышление и деятельность А. В. Тырковой наших дней, что кое-кто из них всё же уцелел на пути ложных солнц.

А вот, в литературно-критическом отделе «Возрождения» № 19 виднеется привлекающая внимание статейка Н. Ульянова* о Гумилеве. В ней автор всеми силами тужится доказать, что властитель дум современной русской патриотически-мыслящей молодежи по обе стороны Железного занавеса — сам не русский поэт, не патриот России, не монархист, не верующий в Бога, не... довольно перечислять все «лишенства» Н. С. Гумилева, на которые не поскупился Н. Ульянов.

Доказательства и аргументы Н. Ульянова лаконичны и убедительны:

— Не верю! Хоть и писал так Гумилев, а я, Ульянов, не верю!

Возражать на них, конечно, не приходится, но статейка интересна в сопоставлении с главами из романа «Атосса» того же автора, шедшими в том же «Возрождении»**. Фабулу этого довольно пошленького приторно-эротического романа автор развертывает на фоне похода персидского царя Дария в Скифию. Аллегории ясны до грубости. Дарий — Гитлер, скифский царь Скопасис — Сталин, перешедший к Дарию скифский князек — ген. Власов. Скифский Сталин вырисован автором, как жестокая, но подлинно национальная непобедимая сила. Дано много аллегорических деталей, вплоть до «земледельческих скифов» (колхозников), встречающих Дария-Гитлера хлебом-солью и попадающих позже в скверную историю. Страницы 50-51 в № 17 дышат явной угрозой по адресу тех, кто осмелится восстать против национального вождя Скопасиса-Сталина.

---

* См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

** Вышел отдельным изданием в 1952 г. в издательстве им. Чехова.

Эти главы романа помогают понять и побуждения автора в отрицании им национального значения Н. Гумилева.

В редакционной сноске к статейке Н. Ульянова о Гумилеве отмечен его «оригинальный подход» к теме. Против этого возражаем: современная советская пропагандная литкритика «развенчивает» Гумилева точно тем же способом и теми же аргументами. Оригинальности в статейке Н. Ульянова нет.

«Наша страна» (рубрика «По страницам журналов»),
Буэнос-Айрес, 24 мая 1952, № 123. С. 6

Излом и вывих

«Марина Цветаева поглощена всецело тем, чтобы *изумлять* читателя своей талантливостью и брать с него дань удивления, ничего взамен не давая. Сказать Цветаевой нечего. Ее искусство похоже на зияющую, пустую каменоломню. И не случайно лучшие, самые удачные ее стихи были посвящены великому *фокуснику* Казанове».

Так характеризует поэзию Марины Цветаевой И. Тхоржевский в своей замечательной работе «Русская литература»*, причем помещает эту характеристику в главе «Женщины-писательницы в России», а не в разделах, посвященных развитию русской поэзии, как таковой. А ведь И. Тхоржевского ни в коем случае нельзя причислить ни к поэтам, ни к литературоведам «консервативного» направления, отстаивающим общепринятые и закрепленные традицией литературно-поэтические формы. Наоборот, он жадно ловит всё новое, свежее, проявляющее себя в русской литературе, но его тонкий вкус и глубокая эрудиция позволяют ему почти всегда безошибочно распознавать подлинные ценности в новизне, отделяя их от псевдоценностей, новизны во имя новизны, неоправданного фокусничества, жонглирования словом и, что еще хуже того, порчи этого слова, снижения его внутренней и внешней красоты.

Сказанное И. Тхоржевским о стихах Марины Цветаевой полностью применимо и к ее прозе. В ней также доминирует стремление изумлять, поражать читателя и также отсутствует глубина содержания, насыщенность сердца автора. В прозе ей также нечего сказать.

Но вместе с тем книга «Проза» Марины Цветаевой, выпущенная издательством им. Чехова, сама по себе говорит о многом помимо воли ее автора и особенно ценна в сопоставлении с его личной и творческой жизнью.

* Издана в Париже в 1946 г.

М. Цветаева принадлежит к поколению революционного перелома всего бытия России в целом и мерности развития ее творческой интеллигенции в частности. Она человек не пути, но распутья, бездорожья и безвременья. В юности ею впитаны и восприняты всем ее существом наркотические туманы пресловутого «серебряного века» русской лирики. В их дымке вся окружавшая талантливую девушку жизнь претворилась в вереницы неясных призраков, а подлинная окружавшая ее реальность утратила в ее представлении четкость своих форм, свежесть и определенность красок. М. Цветаева видела жизнь не такой, как она есть, но такой, какой она хотела ее видеть, хотела не волевым устремлением свободного человека, но зигзагом девичьего каприза. Таким же капризом определялось и ее отношение к слову, к сочетанию слов, к их содержанию. Отсюда стремление к изыску, излому, неизбежно повлекшим за собой вывих, смертельную для творческой личности травму. Вывихи словесной формы, вывихи ее идейного содержания, вывихи духовных устремлений, там, где они все-таки были, громоздились в клубах безыдейных словесных туманов, против которых неутомимо боролся современник М. Цветаевой и властитель дум современной русской молодежи по обе стороны Железного занавеса — Николай Гумилев.

Один маленький бытовой эпизод, рассказанный самою Мариной Цветаевой, как нельзя лучше иллюстрирует этот вывих. Будучи шестнадцатилетней девушкой, М. Цветаева обрила себе волосы исключительно для того, чтобы оправдать... ношение ею чепца, а чепец, которого в те годы никто не носил, служил ей для рисовки своею оригинальностью, вернее оригинальничанием, для осуществления в быту всецело владевшей ею формулы: «У меня всё не так, как у других». Эта формула была ее девизом, и она осталась верна ему до последних дней жизни.

Какая душевно здоровая девушка лишила бы себя атрибута естественной красоты ради бутафории сомнительной красивости?*

Революция, как казалось тогда многим, широко открыла двери для творчества поколения М. Цветаевой, разделявшего в той или иной мере ее стремления к новому, к тому, чтобы все, в том числе и чувство и выражение его в слове, было бы иным, было бы «не как у людей прошедшего». В первые катастрофические годы толпы поэтов и поэтиков заполня-

---

* Сестра поэтессы Анастасия иначе расставляет акценты: «Уже давно Маринины нечаянно покрашенные волосы стали менять оттенки от желтого и морковного к зеленоватому, и, наконец, Марина обрила голову. По чьему-то совету полагалось ее брить десять раз — тогда могли они завиться. И Марина надела черный шелковый чепец с маленькой оборкой, очень ей не шедший. (Об этом чепце упомянуто в стихах М. А. Волошина, посвященных им ей после знакомства, после выхода ее первой книги — «Вечерний альбом».) *Цветаева А. И.* Воспоминания. М., 1971, с. 400.

ли эстрады литературных кружков и поэтических кафе типа «Домино», «Стойла Пегаса», «Бродячей собаки», а за неимением в революционном государстве бумаги декламировали с этих эстрад свои стихи или то, что они называли стихами. Возникло множество новых «измов»: кубизм, эстернизм, имажинизм, ничевокизм...

Всё дозволено, было бы оно лишь тем, чего не было раньше в поэзии! Одна из сверстниц и соратниц М. Цветаевой того времени, «поэтесса» Хабиас* дошла в своем стремлении к «новизне» до того, что декламировала с эстрады столь непристойные стихи, что у специалистов в словотворчестве этого рода, бывших в зале матросов раскрывались рты. Вождем этой банды был идеолог и центральная фигура «серебряного века», поэт с крепко установившимся именем Валерий Брюсов.

Но до грубых крайностей «новизны» М. Цветаева не доходила. Она была слишком изыскана и эстетически воспитана для того, чтобы настолько снизиться, а кроме того, слишком ценила себя и, что главное, любовалась собою. Любовалась постоянно, беспрерывно, как любуется и в своей книге «Проза». В этой книге Марина Цветаева описывает свои встречи и разговоры с некоторыми действительно выдающимися представителями творческой русской интеллигенции того времени, но девять десятых этих описаний она берет себе, своему отражению в измышленном ею же зеркале, оставляя своим партнерам лишь одну десятую, характеризуя их не самих по себе, но их отношение к ней.

Однако одно самолюбование никого удовлетворить не может, особенно молодую талантливую женщину, стремящуюся к широкой известности. Эта неудовлетворенность постигла и Марину Цветаеву в последующие годы, когда пафос революции сменился ее серыми буднями, а толпы жаждущих новизны поэтиков были вместе с их эстрадами сметены вступившей в свои права социалистической принудиловкой. Поэт, какого бы калибра он ни был, должен был или стать на службу коммунистической пропаганды или кануть в безвестность, а то и того хуже — в концлагерь, как Клюев, или в петлю, как Есенин.

Марине Цветаевой посчастливилось: она попала в эмиграцию, где, несмотря на все бытовые тяготы российского рассеяния, творческое развитие было относительно свободно и во всяком случае свободно для последышей «серебряного века», к числу которых принадлежало большинство поэтов эмиграции. Здесь Марина Цветаева снова обрела неко-

* Нина Петровна Комарова, псевдоним Хабиас (1892 — ок. 1943), поэтесса-футуристка, с репутацией «Баркова в юбке»; в 1921 г. отсидела два месяца в Бутырке за нецензурные публикации, в 1937 г. арестована и осуждена по обвинению в антисоветской агитации, умерла в ссылке.

торую почву, но как далека была эта почва от подлинной русской почвы, питавшей беспримерную и своей красоте, глубине и силе пушкинскую линию русских поэтов, певцов ясного чувства и ясной мысли, выраженных в их, ясным ритмом построенных, столь же ясных словесных сочетаниях. Оставаясь самой собой, Марина Цветаева и в поэзию эмиграции принесла тот же свой вывих. Он же — и в ее прозе: вывих синтаксиса и построения фразы, вывих морфологического строения слова, вывих мысли, питающей это слово, вывих чувства, его породившего.

Дурман, воспринятый в юности, не дал этому поколению и в его зрелости возможности нащупать подлинную твердую почву, слиться с ней и впитать из нее здоровые соки для насыщения ими своих творческих форм. Прямой и неизбежный путь для таких блуждающих — безнадежный пессимизм, поглощение окружающей их пустотой. По этому пути пошли многие, даже Г. Иванов, скатившийся до концепции:

Трубочка есть. Водочка есть.
Всем в кабаке одинакова честь.

Но Мария Цветаева не скатилась в «кабак». Подобная вульгаризация ей претила. Порывом последних сил она попыталась вырваться из захватившей ее пустоты и слепо, руководимая лишь племенным инстинктом, метнулась назад, в подсоветскую Россию, надеясь там пробиться к творческому зерну русской души сквозь сковавшую его кору революционных наслоений. Это сделать Марине Цветаевой не удалось, не по силам было, и она погибла.

«Мы из калек», признается талантливый, быть может, талантливейший из сверстников М. Цветаевой, Борис Пастернак. Искалеченные жертвы искалеченного поколения. И как каждая жертва, Марина Цветаева заслуживает уважения. Не нам бросать в нее камнем. Нет. Лучше положить на ее могилу увядшие бутоны нераспустившихся цветов. Это символ ее жизни и творчества. Увянуть, не распустившись.

Но только ли революция, только ли она одна, ее террор и тирания в области мысли и чувства виновны в безвременной гибели многих талантов поколения Марины Цветаевой, ярким выразителем которого служит она всею своей жизнью и своею смертью? Не была ли эта гибель нераспустившихся бутонов подготовлена заранее всей творческой направленностью оторвавшейся от родной почвы российской интеллигенции? Мы, русские люди, по обе стороны Железного занавеса переживаем сейчас период переоценки ценностей прошлого. Переживаем его «там» и «здесь», конечно, по-разному. Но и «там», и «здесь» стоим перед неиз-

бежностью этой переоценки. В комплекс нашего прошлого ценностей входит и «серебряный век», взрастивший поколение Марины Цветаевой. «Там» его значение сведено к главе учебника русской литературы для высших учебных заведений. Мне часто приходилось встречать в советских вузах студентов, упивавшихся Гумилевым и Волошиным, но удивленно открывавших глаза при упоминании, например, о И. Анненском, З. Гиппиус, или стихов Ф. Сологуба. Этими поэтами «там» мало кто интересуется сейчас, а если их стихи и попадутся на глаза, то дальше глаз не проникнут.

Здесь — дело иное. Здесь до сих пор наиболее ходкие литературные критики и литературоведы тщательно обсасывают каждую их косточку, прокламируя нередко именно то, что толкнуло Марину Цветаеву и многих из ее поколения на путь болотных огней, оторвав их от твердой родной почвы, и привело к безвременной могиле. «Проза» Марины Цветаевой, каждая страница которой насыщена манерностью, самолюбованием, болезненными изломами — выпуклая иллюстрация к познанию этого, уже пройденного русской творческой интеллигенцией этапа и, надо признать, печального для нее.

«Возрождение», литературно-политические тетради,
Париж, март-апрель 1954, № 32. С. 143–146

От редакции [альманаха «Возрождение»]

Эту статью мы получили от профессора Ширяева при письме, из которого мы считаем нужным сделать следующую выписку: «Совершенно неожиданно для себя я посылаю Вам две рецензии на последние из книг, выпущенных издательством им. Чехова. Буду абсолютно прямолинеен: послать Вам эти рецензии меня побудило письмо группы писателей, помещенное ими в газ. "Русская Мысль". Они пишут в нем, что не могут работать в атмосфере современной редакции журнала. Из этого я заключаю, что атмосфера там действительно изменилась, а измениться она могла только в сторону проникновения в нее веяний национально-почвенной мысли. Будучи сторонником этого мировоззрения и работая в области литературной критики в нескольких журналах и газетах, с чем Вы, быть может, знакомы, я осмеливаюсь послать Вам прилагаемые рецензии, в которых ясно высказываю свои литературные воззрения».

Возрождение духа

Умолкли последние отзвуки арфы Давида в строках русских поэтов. Блок и Гумилев в могилах. В вынужденном иноческом уединении, замкнутый в круг принудительного молчания угасает Максимилиан Волошин. Толпы оскотиневшейся молодежи, молодежи русской в дикой свистопляске проносятся по улицам городов и деревень с богохульным напевом.

Долой, долой монахов,
Долой, долой попов!
На небо мы взберемся,
Разгоним всех богов.

Оскверняются и разрушаются храмы Господни, варварски уничтожаются бесценные древние иконы и, что ужаснее всего, овладевшая Россией сатанинская власть всеми ставшими доступными ей средствами и силами стремится вытравить в сердцах новых поколений не только самое Слово Христово, но даже память о нем. Само имя Искупителя ставится под запрет. Казалось бы, черная тьма окончательно овладела Святою Русью и не брезжит ниоткуда луч просвета...

Но угасает ли совесть в сердцах русских поэтов того времени? Умолкают ли в них созвучия покаянной арфы?

Ответа на этот вопрос мы поищем в творчестве самого популярного поэта того времени, кумира всей русской молодежи первого десятилетия революции, голос которого и теперь заставляет трепетать сердца уже новых, народившихся и воспитавшихся в дальнейшем поколении русских людей. Спросим Сергея Есенина*, и он ответит нам своей покаянной предсмертной поэмой «Черный человек», страшным, потрясающим выкриком обугленного страданием, спаленного сердца.

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен!
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,

* Есенин — вне сомнения, один из любимых поэтов автора; он посвящает ему центральную часть своей главы «Трагедия поэтов» в книге «Panorama…». О популярности поэта в эмигрантской среде Ширяве пишет в книге «Ди-Пи в Италии», в главе «Второе турне Есенина» — это посмертное турне «с толпой нищих Ди-Пи <…> и в этом турне много больше блеска и триумфа, чем в том, <…> с Айседорой Дункан».

Осыпает мозги алкоголь.
Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица,
Ей на шее ноги
Маячить больше не в мочь.
Черный человек,
Черный, черный,
Черный человек
На кровать ко мне садится.
Черный человек
Спать не дает мне всю ночь.
Черный человек
Водит пальцем по мерзкой книге
И, гнусавя надо мной,
Как над усопшим монах,
Читает мне жизнь
Какого-то прохвоста и забулдыги,
Нагоняя на душу тоску и страх.
Черный человек,
Черный, черный…
…
Ночь морозная.
Тих покой перекрестка.
Я один у окошка.
Ни гостя, ни друга не жду.
Вся равнина покрыта
Сыпучей мягкой известкой
И деревья, как всадники,
Съехались в нашем саду.
Где-то плачет
Ночная зловещая птица,
Деревянные всадники
Сеют копытливый стук.
Вот опять этот черный
На кресло ко мне садится…
…
Черный человек!
Ты прескверный гость.
Эта слава давно
Про тебя разносится!
Я взбешен, разъярен
И летит моя трость
Прямо к морде его
В переносицу.

Совесть неугасима в человеческой душе. Она тоже дар Божий. Она — предостережение от наползающего на сердце зла. Глубоко грешный в своей земной жизни, Сергей Александрович Есенин, не устоявший в ней против окружавших его суетных соблазнов, вопреки их тлетворному влиянию сохранил совесть, эту последнюю искру Божию в своей душе, сохранил ее вместе со своей искренней и глубокой верой в «Светлого Спаса и Пречистую Матерь Его».

Именно в силу этой сохранности веры в глубинах своей загаженной извне души он молит в своих предсмертных стихах:

Чтоб за все грехи мои тяжкие,
За неверие в Благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.

Господь не даровал ему такой христианской кончины. Страшною, постыдною смертью закончил свой жизненный путь последний поэт крестьянской Руси, последний василек на скошенной ржаной ниве.

Сергей Есенин не только происходил из крестьянской семьи Рязанской губернии, но и был воспитан, выращен в крестьянской семье, в духе и заветах патриархального мужицкого быта. А ведь эта крестьянская патриархальность неразрывна с именем Господним. Отсюда и вся поэзия Есенина, несмотря на ее порою даже кощунственные оттенки, неотделима от имени Христова, от образа Пречистой Матери Его, от облика Скорого Помощника, Спасителя на водах, Николы Милостивого, Николы Угодника, от чисто русских праздников — Радуницы, Покрова... Окружавшая мальчика природа неразрывно ассоциируется в его сердце с религиозными представлениями: спелые гроздья багряной калины кажутся ему святыми язвами на теле Христовом; Заступница Царица Небесная лелеет и охраняет не только детские души, но и скотов, рожденных на крестьянских дворах политые потом посевы и их зеленые всходы, а сам Заступник Святой Руси епископ Мир Ликийских видится ему не в грозном облике воина Христова, победителя еретика Ария, но в нищем виде странника и богомольца за землю русскую, за ее страждущий народ, бродящего но пустынным дорогам, дебрям и весям Святой, нищей, страждущей Руси. Таким рисует его Есенин в своей небольшой поэме «Микола». Именно Микола, а не Никола и не Николай.

В шапке облачного скола,
В лапоточках, словно тень.
Ходит Милостник Микола
Мимо сел и деревень.

На плечах его котомка,
Стягловица в две тесьмы,
Он идет, поет негромко
Иорданские псалмы.

Злые скорби, злое горе,
Даль холодная впила,
Загораются, как зори,
В синем небе купола.

Наклонивши лик свой кроткий,
Дремлет ряд плакучих ив,
И, как шелковые четки,
Веток бисерный извив.

Ходит ласковый угодник,
Пот елейный льет с лица.
— Ой ты, лес мой хороводник,
Прибаюкай пришлеца!

Ходит странник по дорогам,
Где зовут его в беде,
И с земли гуторит с Богом
В белой туче-бороде.

Говорит Господь с Престола,
Приоткрыв окно за рай:
— О мой верный раб Микола,
Обойди ты русский край.

Защити там в черных бедах
Скорбью вытерзанный люд,
Помолись с ним о победах
И за нищий их уют.

Ходит странник по трактирам,
Говорит, завидя сход:
— Я пришел к вам, братья, с миром,
Исцелить печаль забот.

Ваши души к подорожью
Тянет с посохом сума.
Собирайте милость Божью
Спелой рожью в закрома.

На престоле светит зорче
В алых ризах кроткий Спас...
— Миколае Чудотворче,
Помолись ему за нас.

Мог ли утративший веру в Пречистого Спаса и первого, превыше всех излюбленного им, Чудотворца написать эти строки? Ответ ясен. Конечно, не мог. Он не получил бы от Господа того вдохновенного песенного дара, которым, несомненно, обладал беспутный и грешный скиталец по жизненным тропам Сергей Есенин. Учтем и то, что Есенин был в то время действительным владельцем сердец нескольких новых, выраставших на Руси поколений, не знавших, правда, великих истин христианства, но вместе с тем свободных от растлевающих влияний позитивизма и либерализма, растливших ум и душу предшествовавших им поколений русской интеллигенции XIX века. О силе господства Есенина в сердцах русской молодежи достаточно свидетельствует такой факт: после его трагической смерти по всей России стали стихийно возникать группы «невест Есенина» — девушек, обрекавших себя на самоубийство, которое они обычно совершали под тенью березок — дерева, посвященного Есенину, русского дерева, как бы олицетворявшего собою его нежную, душистую поэзию. Это была глубоко трагичная эпидемия самоубийств, свидетельствовавшая о глубоком кризисе, поразившем наполненные чуждым содержанием души русской молодежи. Но вера, хотя бы и подсознательно, всё же жила в этих опустошенных душах и она прорвалась в негодующем стихотворении того же Есенина, поднявшего свой голос за оскорбленного скотоподобным версификатором Демьяном Бедным Христа, напечатавшего свое кощунственное произведение «Евангелие от Демьяна». Приводим сокращенно выдержки из этого письма Есенина, конечно, не напечатанного ни в одном коммунистическом журнале, однако, с необычайной быстротой распространенного в рукописях по всей России и получившего созвучие в миллионах сердец:

Я часто думаю: за что Его казнили?
За то, что Он пожертвовал своею головой,
За то, что Он, субботы враг и всякой гнили,
Отважно поднял голос Свой?
За то ли, что в стране проконсула Пилата,
Где культом кесаря полны и свет и тень,
Он с кучкой рыбаков из бедных деревень
За кесарем признал лишь силу злата?
За то ли, что себя, на части разрубя,

Он к горю каждого был милосерд и чуток,
И всех благословлял, мучительно любя,
И маленьких детей и грязных проституток.
Пусть Будда, Моисей, Конфуций и Христос —
Далекий чудный миф, мы это понимаем,
Но ведь нельзя ж, как годовалый пес,
На всё и вся захлебываться лаем.
Пусть миф Христос, как мифом был Сократ,
Пусть не было Христа, как не было Сократа,

Что из того?... Но ведь нельзя подряд
Плевать на все, что в человеке свято
Ты испытал, Демьян, всего один арест
И ты кричишь: «Ах, крест мне выпал лютый»!
А если бы тебе голгофский дали крест,
Иль чашу с едкою цикутой?
Хватило б у тебя величья до конца
В последний час по их примеру тоже
Благословлять весь мир под тернием венца
И о бессмертии учить на емертном ложе!
Нет, ты Демьян, Христа не оскорбил
Ты не задел Его своим пером нимало
Иуда, был, разбойник был,
Тебя лишь только не хватало.
Но знаешь ли, Демьян, в «евангельи» твоем
Я не нашел правдивого ответа.
В нем много бойких слов, о как их много в нем
Но слова нет, достойного поэта.
...
Ты сгустки крови у подножия креста
Хватив ноздрей, как разжиревший боров.
Ты только хрюкнул на Христа,
Демьян Лакеевич Придворов*.

В годы, последовавшие за трагической смертью Есенина, казалось бы, черный занавес опустился над русской поэзией и замолкли в ней аккорды то покаянной, то обличительной по отношению ко злу, то полные светлой веры в искупление и торжество добра арфы псалмопевца. Бездушные мертвые слова восхваления лживым кумирам рекой полились из-под перьев новых поэтов. Шли ли они от души или, наоборот, от силы,

* См. о религиозном аспекте творчества Есенина также статью Б. Ширяева «Вера пастушонка Сереги»; «Наша страна», № 172, 2 мая 1953, переиздана в кн. «Италия без Колизея» (СПб.: Алетейя, 2014. С. 72–75).

поработившей эту душу, — трудно ответить на этот вопрос, но некоторый свет на него проливает самоубийство другого поэта, той же эпохи, Владимира Маяковского, полностью отдавшего себя к свой талант на службу коммунистическому Молоху, опустошенного этим Молохом и погибшего в силу своего внутреннего опустошения...

Прошло полтора десятилетия, и в подсознательных глубинах выросших за это время новых поколений возродились позывы к тем же мотивам, к напевам арфы Давида. Страшные, потрясшие всю нацию годы Второй мировой войны всколыхнули в ней прежде всего ее патриотические чувства. Не за «светлое будущее коммунизма», но за родную страну, за тысячелетнюю вековую Русь. Святую Русь, встал нерушимой стеной весь русский народ — встал и тотчас же на его устах зазвучало неразрывное с русским национальным самосознанием имя Христова, имя Милостивого Спаса. Из народных глубин оно немедленно перенеслось в уста наиболее чутких, наиболее талантливых молодых поэтов и чудесно прозвучало даже в строках коммуниста К. Симонова:

Ты помнишь, Алеша,
Дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные злые дожди,
Как крынки несли нам усталые женщины.
Прижав, как детей, от дождя их к груди.
Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси»,
И снова себя называли солдатками.
Как встарь повелось на великой Руси!
Слезами измеренный, больше чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз.
Деревни, деревни, деревни с погостами –
Как будто на них вся Россия слилась.
Как будто за каждою русской околицей
Крестом своих рук ограждая живых
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих.

Не верящих ли? Можно ли приглушенную, загнанную в духовное подполье веру почитать за безверие? Неужели замолкла, окончательно замолкла арфа псалмопевца в душах и на устах новых, современных нам русских поэтов? Спросим снова их самих, спросим тех, кому Господь ниспослал счастливый жребий вырваться из плена коммунистического Молоха и заговорить полным голосом, от всего сердца. Спросим новых, народившихся уже в зарубежье поэтов, могущих и смеющих петь не под

камертон коммунистической критики, но свободным духом и свободным голосом. Спросим и получим ответ.

Молчавший в период своего духовного плена, в СССР и заговоривший вырвавшись на волю, поэт Д. Кленовский* озаглавил свою первую книгу «Навстречу небу» и в ней, в форме, очень близкой к апокрифу первых веков христианства, рассказывает о пути, пройденном его музой, о вдохновенном пути к Господу.

В каком виде, в какой одежде при шла вдохновительница к нему, воспитанному в атмосфере атеизма и исторического материализма? Наложили ли эти мировоззрения свою печать на его душу и на порождаемое ею творчество? Вытравлены ли из его сердца светлые, святые образы сеятелей добра, воспринятые им в ранней юности?

Д. Кленовский пишет:

Когда апостол Иоанн
В ночи повествовал о Боге,
Нежданной гостьей дальних стран
Явилась муза на пороге.

Блистательно обнажена,
Она едва внимала Слову.
Казалось, вот сейчас она
Покинет этот кров суровый.

Но Слово зрело и цвело,
Переливаясь теплой кровью.
То мудростью спокойной жгло,
То кроткой мучило любовью.

И муза ближе подошла
И, кутаясь в овечьи шкуры,
На край убогого стола
Присела, девочкою хмурой.

И длилась ночь. И пел рассказ.
И незаметная дотоле
Морщинка меж лучистых глаз
Легла, чтоб не исчезнуть боле.

И жалость скорбью обожгла
Уста, и навсегда богиня

* См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

Голгофы отсвет пролила
В прозрачный мед своей латыни.

На шее девственной она
С тех пор прохладный крестик носит,
И терпелива и нежна
Для нас у Бога песен просит.

Путь, пройденный музой от «овечьих шкур» дионисовых оргий и «прозрачного меда латыни», до «прохладного крестика на девственной шее», это путь возрождения духа самого Д. Кленовского, большого, углубленного в космические тайны поэта, прямого потомка и последователя Тютчева. «Морщинка меж лучистых глаз» на лике музы — это шрамик на духовном лице самого поэта, нанесенный тем же терновником, который терзал главу Христа. Об этом Д. Кленовский повествует в другом своем стихотворении, так и названном им «Терновник»:

Снежной пеной, кружевом нездешним
Весь — несбыточная чистота,
Вот он вьется по оврагам вешним,
Деревце, терзавшее Христа!

Мне таким тебя увидеть внове.
Для меня ты в памяти цвело
Только каплями тяжелой крови?
Умывавшей Бледное Чело.

И забыл я, что в начале мая
Ты цветешь, как в мире всё цветет.
Солнечным лучом благоухаешь,
Вяжешь плод и расточаешь мед.

Что тебя в душевную больницу
Некрасивым девушкам несут,
И когда последний сон им снится,
Снова с Ним встречаешься ты тут.

И пред ним, Невинным, ты предстанешь,
На тебя Он ясный взор прольет,
Потому что ты не только ранишь,
Но цветешь, как в мире всё цветет.

Глубочайший, чисто христианский, оптимизм веры, купленный ценою страдания, вот аромат, которым дышит это стихотворение.

То же неудержимое устремление к горным высотам духа мы видим

и у другой вышедшей из того же адского круга поэтессы, но попавшей в свободный мир еще юной, с не обугленной, не кровоточащей душой.

Аглая Шишкова* немного моложе Д. Кленовского, подсоветская действительность не успела еще изранить ее неокрепшую душу. Отсюда ее радость при восприятии порожденной Богом, дарованной Им человеку радостной земной жизни, глубоко искренне высказанная ею в поэме... о грибах, которые собирает эта девушка-поэт в баварском лесу и радуется, видя в каждом из них всю красоту мироздания. Но в ней нет твердости, ясности мышления и уверенности в себе, как у Д. Кленовского. Новый, открывшийся пред ее свободным теперь зрением многогранный мир пугает устрашает путницу. Она поражена им и не в состоянии отыскать свою девичью путинку в лабиринте его дорог и дорожек. К кому же прибегнуть? У кого попросить помощи? Конечно, к Ней, и только к Ней, к Заступнице, Царице Небесной, Всех Скорбящих Радости.

На опушке, за пропашинкой
Купол в липовом плену.
С богомолкою-монашенкой
Я в часовню загляну.

У холодного подножия
Прислоню и свой венок:
Помоги мне, Матерь Божия,
В бездорожии дорог...

Чтоб нечаянной развязкою
Утолилася печаль,
Чтоб Твоей согрелась ласкою
Для бездомной чужедаль.

Эти поэта и множество других, внутренне близких им, вырастали и формировались в атмосфере воинствовавшего безбожия.

Что освещало их внутренний творческий путь? Кто звал их к струнам арфы? Маяковский ли, пытавшийся с несомненно большой талантливостью зарифмовать тезисы диалектического материализма, или безвременно погибший, писавший так, как поют славу Господу лесные птицы, Сергей Есенин? И сколько близких, подобных им, но не смеющих коснуться перстами арфы Давида, подспудно томится в беспредельях подъяремной попранной дьяволом, но всё же... Святой Руси?

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
13 сентября 1956 года, № 347. С. 7

* См. о ней в Приложении «Литераторы-эмигранты».

Прошло тридцать лет

«Прогрессистский» Парнас в его современном виде мне представляется так: стоит пара, может быть, и две сильно потертых и побитых Аполлонов, а вокруг них многочисленный рой граций и муз всех видов и возрастов. Их очень много. В одном из номеров «Новоселья» я разом девятнадцать их имен насчитал.

Поют они очень стройно, всё в лад, на один и тот же мотив. Этот мотив — безнадежный пессимизм, безысходная тоска, полная безверия и в Бога, и в себя. Регентом хора считается Г. Иванов, «любимый ученик» Н. С. Гумилева, облеченный всеми полномочиями вспоминать этого поэта, писать о нем, истолковывать его и т. д. Это право он получил, как «наследник», ибо действительно состоял в «цехе поэтов» — школе Н. С. Гумилева. О чем говорить? Значит — «продолжатель».

Но продолжения бывают разные: прямые, логические, вытекающие и «диалектические», отталкивающиеся.

Г. Иванов «продолжает» своего учителя методом второго рода. Например, традиционная готическая луна для Гумилева — «щит героя», а для Г. Иванова — «качан ядреной капусты».

В чем же причина этой «диалектики», превратившей за тридцать лет *действительного студента* гумилевского «цеха поэтов» в *действительную антитезу* своего учителя? Она ясно раскрывается нам при ощущении творчества одного и другого. Именно, при ощущении, духовном, а не формальном их восприятии.

Н. С. Гумилев облегал в отточенные поэтические формы то, что он любил, во что верил, чему поклонялся и к чему стремился и как поэт и как человек. Любил он Человека и Божий мир; верил, свято верил в Христа и Пречистую Мать Его, Им поклонялся, а стремился к России, не к отвлеченной ее идее, а к живому героически борющемуся за свою жизнь могучему организму, к одиннадцативековой *монархической* России.

Г. Иванов ничего не любит, ни во что не верит и ни к чему не стремится. В силу этого Гумилев облекал в бронзу и пурпур своего стиха огромное содержание своего Духа. Иванов же, обучившись у него некоторым, приемам формальной версификации, прячет в их лохмотьях собственное «ничто». Проверим:

У Гумилева — «Всё в себе вмещает человек, который любит мир и верит в Бога».

У Иванова — «Ну, абсолютно ничего». Коротко и ясно. Тут и Бог, и Мир, и человек.

Россия для Гумилева: «Золотое сердце России мерно бьется в груди моей». И перед ним «взойдут ясны стены Нового Иерусалима, на полях моей родной страны». Так говорит ему «малиновый звон речью мудрою человеческой», а сам Гумилев, поэт, воин, отвечает ему словами, сказанными им следователю ЧК:

— Я против революции, потому что я монархист!

Россия для Иванова: «Ничему не возродиться ни под серпом, ни под орлом», ее прошлое — «рассказ обо всех мертвецах-подлецах, что уходят в историю в светлых венцах», а ее будущее для него — «Какое мне дело, что будет потом». С этим откровенным признанием у полинялого Аполлона рифмует «тишина под парижским мостом».

Согласимся, там самое подходящее для него место.

В СССР Гумилева не изучают, не трактуют и даже вспоминать о встречах с ним не рекомендуется. Узнают — посадят, а то и хуже. Посадят и за найденную при обыске тетрадь его стихов, переписанных от руки. Но таких тетрадей я видел много.

Верить в Бога и молиться Ему там тоже не учат, даже, наоборот, отучают.

Из СССР вырвались те, кто теперь называются «новые эмигранты». Некоторых из них начинают теперь называть поэтами, хотя и с некоторыми оговорками, а некоторые же из этих поэтов молятся, молятся Богу о России. Кто же их этому научил?

Кто научил молиться Д. Кленовского, я не знаю но, думается мне, что Тютчев и Гумилев по запретной рукописной тетрадке.

В каждой капле, камешке, листе
Шумный космос дремлет изначален.
Оттолкнулся — и, глядишь, причален
К самой невозможной высоте.

Духовные глаза Д. Кленовского открыты. Он может и умеет видеть Бытие Божие в «нерукотворном и чудесном стебле» травинки, выросшей из «Творцом просыпанных семян» Гумилева. Бог и Человек, Человек и Мир сливаются в его душе чисто по-гумилевски, в гумилевском «всё» «любящих Мир и верящих в Бога».

Это всё, что во славу Бога
Можешь сделать ты на земле,
Это мало и это — много...,

пишет Кленовский.

Совпадают даже вехи на их творческом пути. Один и тот же светоч дарит им свои лучи. У Гумилева:

Но забыв, что в мире осиянно
Только слово меж земных тревог
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово — это Бог,
Мы ему поставили пределом
Жалкие пределы естества...

А у Кленовского:

Когда Апостол Иоанн в ночи повествовал о Боге
Нежданной гостьей дальних стран явилась муза на пороге...

Она едва внимала Слову,
Но Слово зрело и цвело,
То чистой мудростию жгло,
То кроткой мучило любовью.
И жалость скорбью обожгла» и...

«На шее девственной она с тех пор прохладный крестик носит,
И терпелива и нежна для нас у Бога песен просит»...

При жизни Н. С. Гумилева забыли, что Слово «осиянно» и стали «дурно пахнуть мертвые слова». Прошло тридцать лет со дня его искупительной для греха русской поэзии смерти, и Слово «переливаясь теплой кровью» воскресло, заблагоухало и зацвело в устах другого поэта, омытого этой «теплой кровью, стремящегося «прекрасному земному новоселью еще светло и чисто послужить»... Но не того, который затвердив несколько стихотворческих канонов загубленного поэта, не восприняв *ничего* от его духа,

Кружится в вальсе загробном
На эмигрантском балу...
Трубочка есть. Водочка есть.
Всем в кабаке одинакова честь.
(*Г. Иванов*)

Скверны наши дни. Слов нет. Но и в них всё же кое-кто живет и вне стен кабака.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
10 ноября 1951 года, № 95. С. 5–6

РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Скорбящий Гоголь

Бронзовый Гоголь, смотрящий с немой скорбной укоризной на снующих у подножия памятника ему современных, вольных и невольных Хлестаковых, Чичиковых, Ноздревых, Маниловых, «изъят» с Арбатской площади Москвы. Иначе и не могло быть. Проникновенная скульптура Андреева, показавшая скорбящего Гоголя, Гоголя истинного, а не хлесткого сатирика-комедианта, «обличителя», каким сделала его наша «прогрессивная» критика, был невыносим завершителям российского «прогрессизма». Даже бронзовый Гоголь был страшен потомкам Белинского.

Н. В. Гоголь — обличитель. Это бесспорно. Наиболее яркий период его творческой жизни отдан обнажению и бичеванию порока, разлагавшего современное ему русское общество. Но кого же, кого же персонально, как говорим мы теперь, он обнажал и бичевал? Кого?

Вглядимся пристально в вереницу жутко выписанных им портретов. Кто они? Вот Плюшкин. Не замечаете ли вы в нем характерных черт мольеровского скупца? Вот Ноздрев. Не напоминает ли он вам шекспировского Фальстафа и еще более забавных хвастунов из комедии Гольдони? В них же найдем мы и Хлестаковых. А Чичиков? Его прототипа не нужно искать в литературе. Маниловыми и Чичиковыми во множестве видов кишит вся современная демократическая Европа. И не только она... Загляните в газеты и вы увидите в каких гигантов выросли теперь мировые соглашатели и спекулянты мертвыми душами!

Теперь, дорогой читатель, оглянитесь на прошлое Гоголя, на путь, пройденный до него русским народом и государством Российским. Поищите там прообразов обличенных Гоголем типов. Не стоит искать... Не найдете. Много темного было в русской жизни, много порочного в русской психике, но пятен, указанных Гоголем, не было на русской душе!

Следовательно? Следовательно, то темное, что задолго до Гоголя видели и обличали в современном им обществе Шекспир, Мольер, Гольдони — Гоголь *первым* увидел в России, обнажил и вскрыл, как нарывы, появившиеся на теле русского общества, как явления *антинациональные*, чуждые, привитые ему извне, как болезнь уже давно отмеченную у себя великими писателями Европы.

Начав с конца, с демонстрации охватившего русскую общественность заболевания, на следующем этапе своей творческой жизни, Н. В. Гоголь приступил к составлению противоядия, вакцины против заразы, но рано пресекшаяся жизнь дала ему возможность наметить лишь схему, не облеченную в свойственные таланту Гоголя художественные формы. Предчувствие близкого конца заставило Гоголя обнародовать эту схему в отрывистой форме «Выбранных мест из переписки с друзьями». В них — весь катехизис подлинной души писателя. В них ключ к пониманию всего созданного им ранее. Без них «Ревизор» — только хлесткая забавная комедия, а «Мертвые души» — лишь скучноватая повесть со слабо развернутой фабулой...

Куда же зовет в своей «переписке» русский классик Н. В. Гоголь современное ему (и будущее) русское общество? Чем стремится он преодолеть охватившую это общество смертельную болезнь?

В «переписке с друзьями» Гоголь призывает своих современников *осознать самих себя*, свою национальную душу, свою русскую сущность, свое православное миропонимание, сделать то, к чему в мучительных исканиях и томлениях он шел извилистым путем всю свою жизнь. «Выбранные места из переписки с друзьями» — страшный нечеловеческий вопль русской совести, прозревшей и очистившейся от наваждений рационалистического соблазна.

«Во мне заключалось собрание всех возможных гадостей» — пишет в своей исповеди Гоголь, — «и при том в таком множестве, в каком я еще не встречал в одном человеке. Если бы они открылись вдруг и разом, я бы повесился. Я стал наделять моих героев моей собственной дрянью. Мне нужна публичная оплеуха, даже, может быть, более, чем кому-нибудь другому».

В чем же состоит, какова же эта «дрянь» души Гоголя, за которую он сам бесповоротно осуждает себя, стоя уже на краю могилы?

В чем его грех, требующий искупления? За что мучит совесть умирающего писателя?

«Горьким смехом моим посмеются».

Сумев увидеть и показать *наносное, чуждое* национально-русской душе зло, Гоголь не осветил, не озарил ее *своим* исконным добром. Дьявольским смехом насмеявшись над масками дьявола, он не сотворил молитвы Христу, не засветил лампады пред Его Ликом. Отсюда — скорбь, мука, покаяние.

Показав поверхностной, падкой на дешевые эффекты толпе одни лишь темные пятна на светлой душе России, и притом пятна внешнего порядка, Гоголь тем самым дал мощное оружие в руки информаторов

маркиза де Кюстин, «прогрессистов» того времени. Вот почему «переписка с друзьями», характеризующая весь внутренний путь творчества Н. В. Гоголя, была встречена его «прогрессивными» современниками диким хором непристойной ругани. Еще бы! «Перепиской» Гоголь выбивал из-под них почву — самого себя, которого они паразитарно облепили!

«Апостол кнута», «поборник мракобесия и обскурантизма», — завопил глава тогдашних и основоположник современных «прогрессистов» В. Г. Белинский, обругав попутно «сволочью» весь русский народ и «гнусью» православное его духовенство. Другие вторили. Даже Аксаков, поверенный всех тайн души Гоголя, растерянно молчал, подавленный трагизмом его покаяния.

В полном одиночестве припал к стопам Скорбящего Христа скорбящий Гоголь.

Помчалась «тройка-птица» Россия по роковому пути, видимому просветленному взору Гоголя, и никто уже не имел сил остановить, удержать ее. Множились, как поганые грибы, понатертые в столицах и в европах хлестаковы, безудержно врали ноздревы, плутуя на политической шашечной доске, спекулировали на мертвых душах чичиковы, подменяя ими живую душу России, пока...

...пока не встал над всею Россией непомерно разросшийся Хлестаков и не разослал «всем, всем, всем» 10 тысяч своих курьеров.

Скорбно взирал в эти февральские дни бронзовый Николай Васильевич Гоголь на снующую у его ног оживленную толпу...

Мог ли он, провидевший в истоках характерные черты заполонивших Русь хлестаковых, ноздревых, чичиковых и маниловых, оставаться на своем пьедестале, с которого он смотрел грозным обличителем на обличенную им накипь российской общественности?

Люди не терпят живых упреков, а таким упреком был для большевиков созданный скульптором Андреевым бронзовый скорбящий Гоголь.

Бронзового — изъяли, спрятали, захоронили. Но кто в силах «изъять» живого Гоголя из скорбящей русской жизни, бессмертного Гоголя, имя которого — совесть?

«Знамя России», Нью-Йорк,
29 февраля 1952 года, № 57. С. 4–6

Памяти Н. В. Гоголя
(к 100-летию со дня кончины)

Основоположник реализма в русской литературе Николай Васильевич Гоголь не был писателем-баталистом. Он стремился и мог писать лишь о том, что видел воочию. Он даже не видел вскользь — так, как хотя бы Пушкин. В силу этого первым реальным баталистом в русской литературе был М. Ю. Лермонтов, автор «Бородино» и «Валерика».

Но, глубоко проникая в сложную многогранность русской души, безмерно ее любя, Н. В. Гоголь не мог не заметить в ней тех психологических стимулов, которые в боевой обстановке служат духовной основой высокого облика русского воина, основой его жертвенного подвига. Он облек их в художественно-романтическую форму, которой владел столь же блестяще, как и реалистической. В результате возник прообраз столь свойственного Русской армии и распространенного в ней типа «отца-командира», в котором понятие о своей личной жизни слито неразрывно с любовью к своей части, которому армия — семья, а семья — армия. Русский реалист-писатель Н. В. Гоголь увидел эту черту не случайно, именно она — специфически русская, далеко не так выраженная в других армиях, наиболее характерна для русского офицера и в бою, и в мирной обстановке.

«Отец-командир» в творчестве Гоголя — это полковник Тарас Бульба. Его родные дети Остап и Андрей ценны и дороги ему прежде всего по их боевым качествам, о чем свидетельствует первая сцена поэмы-повести, своеобразный «экзамен» в духе того времени, которому он подвергает их при встрече. Это далеко не чудачество: полковник проверяет в нем своих «новобранцев», оценивает обоих и в дальнейшем отдает предпочтение Остапу.

Опыт не обманул старого Бульбу. Порывистая страстность Андрея победила в нем верность долгу и чувство спайки. Он изменил, совершил самое тяжкое с воинской точки зрения преступление, за которое одна кара — смерть.

Казалось бы, в душе отца и командира Тараса Бульбы должен возникнуть конфликт, борьба между вполне естественным чувством отца и долгом командира. Но правдивый реалист Гоголь ни одним штрихом не показывает этой борьбы именно потому, что он видит в отраженном им образе неразрывный слитый тип русского отца-командира, в котором обе его половины не отталкиваются, но срастаются, взаимно дополняя одна другую. Патриархальный авторитет отца лишь укрепляет сознание долга командира, и полковник Тарас Бульба без тени колебания не толь-

ко выносит приговор, но и сам приводит его в исполнение. Естественная скорбь об утраченном сыне так же тесно сплетена с сожалением командира о понесенной потере.

«А какой бы казак был…»

Такова одна, показанная Гоголем, суровая, но неизбежная часть души отца-командира. Но он видел и другую — любовь вплоть до самопожертвования, отцовскую любовь к своему сыну-солдату, столь яркую в русском офицере, «суворовскую любовь», отмеченную позже много раз Толстым даже в образе забубенной головушки — Васьки Денисова, идущего под суд, но всё же накормившего своих голодных гусар отнятым у вора-интенданта хлебом.

Любовь отца к сыну и любовь командира к солдату тесно и неразрывно связаны Гоголем в описании попытки Бульбы спасти попавшегося в плен Остапа. Ни читатель, ни автор не могут провести черты, разграничивающей одну от другой. Реалист Гоголь и не хочет этого делать. Для него ясно, что обе формы любви слиты воедино в душе отца-командира Тараса.

Эту отеческую любовь офицера к солдату, столь развитую в кадровом составе Российской Императорской армии, суровую и вместе с тем жертвенную любовь правдивец-реалист и провидец Гоголь выдвигает на первый план в заключительной сцене повести.

Бульба уже на костре. Его муки и страх смерти вполне обоснованы и, казалось бы, реалист Гоголь, как писатель, должен был бы их отметить. Но он не делает этого, потому что знает, что в этот тяжелый момент боя русский отец-командир был всецело поглощен лишь одним — спасением своих солдат-детей, что и делает Тарас Бульба с высоты горящего костра.

Русские критики, охотно обличавшие недостатки нашего прошлого быта и зачастую упорно не замечавшие его светлых сторон, много потрудились над освещением «обличительных» черт гоголевского реализма и создали впечатление, что правдолюбец Гоголь видел только отрицательное в окружавшей его русской жизни.

«Тарас Бульба» — один из признаков обратного. Реалист Гоголь облек в нем в историко-романтическую форму реально виденный им, распространенный жизненный тип.

«Выбранные места из переписки с друзьями» ясно говорят о том положительном, которое Гоголь видел в русский жизни и о задачах, которые он ставил себе, как писатель. Увы, ранняя глубоко трагическая смерть пресекла его творческую работу, «Переписка» же подверглась осмеянию со стороны модной в то время нашей прогрессивной критики.

В трагический и судьбоносный год нашей Родины, совпавший со столетием со дня кончины ее великого писателя, прочтем его «выбранные места» из переписки с друзьями. Это будет лучшим поминовением его скорбящей о России душе.

«Часовой», Брюссель,
март 1952, № 317. С. 1–2

Восставший из небытия
(135 лет со дня рождения Аполлона Григорьева)

Виссарион Белинский был исключен из университета за явную неуспеваемость в науках и не знал ни одного европейского языка, хотя с наглым апломбом провозглашал идеи западно-европейской философии и литературы, призывая русскую мысль идти по их следам. В частности, превознесенного им до небес Гегеля он абсолютно не читал, а лишь знал о нем со слов Бакунина. Современник Белинского, литературный критик и философ искусства диаметрально противоположного направления, Аполлон Григорьев, был высоко образованным человеком, знал пять европейских языков настолько, что давал, например, прекрасные, точные переводы Шекспира, бывал заграницей, но не призывал к хвостизму у Европы, а, наоборот, влек русских писателей к родной им национальной стихии, к русскому национальному мышлению, к «почве».

Белинский поучал, судил, карал, клеймил... Григорьев лишь разгадывал, разъяснял, углублял литературное творчество своих современников. Свои литературно-философские идеи он черпал в русском море, выращивал их на русской почве, в климате русской стихии.

Белинский был носителем идеологии Запада и за ним шли толпы оголтелых недоучек, верхоглядов, всезнаек — радикальная российская интеллигенция. Это были «званные».

Григорьев был идеологом русской почвенности (им-то и был применен впервые этот термин) и создателем теории органичности литературы, то есть связи подлинно высоких литературных произведений с порождающей их человеческой средой, с прошлым этой среды, то есть русского народа. Синтезируя прошлое с настоящим, он нащупывал путь в будущее и указывал его писателям-современникам. Эта идея органичности, жизненности, народности литературы и искусства была впервые провозглашена именно Аполлоном Григорьевым, именно на русской почве и лишь через десять лет ее развернул в Европе и в мире Ипполит

Тэн*. За Григорьевым, при его жизни, шли немногие, но это были «избранные». В числе его ближайших друзей и последователей мы видим Островского, Лескова, Леонтьева, историка С. Соловьева, Фета, Тютчева, Аксакова, Хомякова, а несколько позже вдохновенно провозгласил его идею русской почвенности Ф. Достоевский в своей потрясающей пушкинской речи.

И всё же, Белинского изучали в дореволюционных гимназиях, его идейки и критические суждения признавались «классическими», в большом почете он и теперь на литературных факультетах вузов и в советской средней школе. Немало почитателей его можно найти и в «прогрессивном» крыле российской политической эмиграции. Григорьев же еще при жизни был зачислен в лагерь «реакционеров», не допускался на страницы крупнейших журналов (например, «Современника»), был «уволен от русской критики», как писал он сам перед смертью, а потом окончательно погружен в небытие до конца позитивистического XIX века.

«Много званных, но мало избранных».

Овладевшие командованием над историографией русской литературы «прогрессисты» смаху зачислили Аполлона Григорьева в ряды славянофилов, идейное влияние которых к концу XIX века было приведено к нулю. Но это был только шулерской вольт. Славянофилом Аполлон Григорьев не был. Его внимание не привлекали ни «славянские ручьи, сливающиеся в русском море», ни балканские братушки. Его влекло к себе только самое «русское море» в своей полной самобытности, без займов или обносок, принятых как от Византии — «господ греков», по выражению Григорьева, — так и от Запада, воплощавшегося для него в петербургском периоде русской истории. В подлинную русскую почву устремлял он свои корни.

«Мне старый собор нужен, — писал А. Григорьев, — старые образа в окладах, с сумрачными ликами, следы истории нужны, нравы нужны, хоть, пожалуй, и жестокие, но типические».

Эти почвенные его устремления ни в какой мере не походили ни на пресловутое «лапотничество» квасных патриотов, ни на фальшивую гримировку «а ля мужик» слезливых псевдонародников. Углубляясь в родную национальную почву, Аполлон Григорьев искал в ней прежде всего ее самобытной красоты, так как именно красоту он утверждал в качестве главной цели литературного творчества. Отвлеченную красоту, красоту, как самоцель, он отрицал. «Понятие об искусстве для ис-

* Ипполит-Адольф Тэн (1828–1893), французский философ и писатель, создатель культурно-исторической школы в искусствоведении.

кусства является только в эпохе упадка, в эпохе разъединения», — писал он, то есть тогда, когда гипертрофированный в своем изыске слой интеллектуалов отрывается от основной массы нации, и литература не выражает уже склада духовной жизни народа, но отражает лишь изолированное мышление некоторой его группы. Развивая эту идею в своих литературно-критических концепциях, Аполлон Григорьев приходит к утверждению единства истины и красоты, проистекающего из общности всей духовной жизни нации. В своих разборах современных ему крупнейших русских писателей А. Григорьев намечает динамику их роста, поступательный путь их развития именно от чуждого к родному, к своему, к почвенному. Так творческую линию Пушкина, его возвышение, он ведет от преодоления им посторонних влияний — анархического индивидуализма Алеко в поэме «Цыгане» к жертвенному смирению станционного смотрителя, к тихому подвигу капитана Миронова, к русской душе Татьяны Лариной. Ту же направленность он видит и в Лермонтове: от байронического «Демона» — к чисто почвенно русскому Максиму Максимовичу.

Родную почву он чует и интуитивно предугадывает ее даже в еще далеко не развернувшемся при жизни А. Григорьева творчестве Л. Толстого; умеет найти ее, ощутить ее мощь в казалось бы «обличительных» шаржах русского купеческого быта Островского и даже... в сонной Обломовке, где дремлют не призванные еще историей к действию потенциальные национально-почвенные силы, дремлют, как сама *русская* почва в предвесенние месяцы. В своей статье о Гончарове почвенник Григорьев осмелился не только развенчать общепризнанную героиню Ольгу, но и установить превосходство над ней простой, уютной и женственной Агафьи Матвеевны. «Из Ольги под старость выйдет преотвратительная барыня, с вечной бесцельной тревожностью, истинная мучительница всего окружающего», — писал он, а «Агафью Матвеевну выбрал Обломов не потому что у нее локти соблазнительные и она хорошо готовит пироги, а потому что она гораздо более женщина, чем Ольга». Эта статья вызвала, конечно, бурный протест в лагере инакомыслящих и послужила одним из предлогов к дисквалификации А. Григорьева, как литературного критика и философа-искусствоведа.

В конце XIX века и в начале XX русское общество и, в частности, его передовые интеллектуалы буквально задыхались в духоте и смраде тупика, в который была загнана русская литература «второй цензурой» душителя свободной мысли псевдонародника — радикала Михайловского, его прихвостня Скабичевского и присных им «направленцев», умудрившихся даже Чехова, бывшего в полном расцвете его таланта, свести в

третий разряд писателей. Где выход? При помощи какого орудия можно было разрушить стены этой тюрьмы?

Словно молоты громовые
Или воды гневных морей
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей —

во всю мощь провозгласил отважный Николай Гумилев. Эти его слова были не чем иным, как вызволением из небытия почвенной национально-русской идеи Аполлона Григорьева. Свежий, целительный воздух ворвался и оживил атмосферу застоя. Зацвели на рязанском черноземе васильки и ромашки Сергея Есенина: древние песни раскольничьих скитов принес из олонецких лесов Николай Клюев; Максимилиан Волошин решительно отвернулся от пошлятины монмартрских кабаков и молитвенно повторил иеремиады протопопа Аввакума.

Но недолго гулял свободный утренний ветер в возрождавшейся русской поэзии. Глухая тьма революции и пореволюционных тиранических годин замкнула русскую мысль и русское словотворчество в еще более смрадную, еще более тягостную темницу «социалистического реализма» — сознательной, подневольной лжи.

Что же это? Конец? Смерть?

Может ли умереть, заглохнуть голос закабаленного, закованного в кандалы, но еще живого душой своей великого народа? За последние годы, несмотря на жесточайшие условия советской цензуры и Дамоклов меч, висящий над каждым подсоветским русским писателем, появились такие литературные произведения, как «Волга матушка-река» — Панферова, «Лес» Леонова, «За далью даль» Твардовского... В зажатой прессом партийности подсоветской критике прозвучали призывы к освобождению в статьях Померанцева и Щеглова*. Русским почвенным духом повеяло от целого ряда поэтических произведений, и, наконец, теперь в течение последних месяцев мы, несмотря на всю неполноту доходящих до нас с порабощенной родины сведений, всё же можем ясно видеть бунт русских подсоветских интеллектуалов — писателей, поэтов, теоретиков искусства и работников сцены — их восстание против «социалистического реализма», как против лжи, искажающей подлинную действительность, как против разрушения красоты истинного искусства, то есть, по

* Сибирский писатель Владимир Михайлович Померанцев (1907–1971) опубликовал в 1953 г. очерк «Об искренности в литературе» («Новый мир», № 12), который считается важным документом эпохи «оттепели»; Марк Александрович Щеглов (1925–1956) в середине 50-х гг. выступил с получившими резонанс статьями о творчестве советских писателей.

концепции Аполлона Григорьева, почвенности, в которой он синтезировал истину и красоту.

Можно исказить внешность земли, навалив на нее мусора, обезобразив, изуродовав, загадив ее, но нельзя лишить эту землю, эту почву ее рождающей созидающей силы.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
14 марта 1957 года, № 373. С. 4

Поручик Лев Толстой

Русское офицерство дало более пятидесяти процентов первоклассных мастеров слова — поэтов и писателей XVIII и XIX веков. В этом отношении его среда явилась школой, ставшей намного впереди всех русских университетов, вместе взятых. Кантемир, Державин, Грибоедов, Лермонтов, Баратынский, Марлинский, Достоевский, Толстой, не успевший расцвести Гаршин, создатель особого яркого жанра Станюкович. Пройти мимо этого факта было бы ошибкой. Он ярок и свойственен только русской культуре. Ни во Франции, ни в Англии, ни в Германии подобного показателя нет.

Литературно-психологическая разработка военного, патриотического подвига в произведениях русских писателей и поэтов дана шире и глубже, чем во всех памятниках мировой литературы всех наций. Первый камень этого храма заложил Пушкин (капитан Миронов), рядом юный Лермонтов — свое потрясающее «Бородино», Гоголь — Остапа и Тараса, но купол его возвел поручик, граф Лев Толстой своей необъятной галереей героических образов от Кутузова и Багратиона до безымянных ополченцев, надевающих чистые смертные рубахи в конце Бородинской битвы...

Ничего подобного героической плеяде, показанной Л. Толстым в мировой литературе нет по ее ширине. Размеры статьи позволяют назвать лишь главные сокровищницы образов русских героев, запечатленные Л. Толстым: «Войну и мир», «Казаков», «Хаджи-Мурата», «Севастополь», «Кавказские рассказы»... Достаточно и этого.

Глубина психологической разработки каждого образа в отдельности, каждого комплекса эмоции, ведущих к подвигу, их причинности, их связи, их специфики доведена до предела неведомого писателям Запада. Несравнимы и несопоставимы, взятые в отдельности подвиги старого Кутузова, принимающего на себя всю тяжесть оставления Москвы и пламенный порыв Пети Ростова, гусарская удаль Васьки Денисова

и скромное, но неуклонное и беззаветное выполнение своего армейского долга капитаном Тушиным, холодная игра со смертью Долохова и военно-практическая, бережливая на кровь сметка казачьего есаула, «составлявшего с лошадью одно целое»...

Но основной и главный стимул всех этих подвигов, всей суммы их многообразия — русский патриотизм, разноликая, различно выражаемая, но единая любовь к Родине, готовность отдать за нее жизнь.

Толстой это знал, видел, ощущал, чувствовал, переживал и показал. Вот почему он по праву достоин имени великого писателя земли Русской. Со смерти Л. Н. Толстого прошло сорок лет. Много, ох, как много изменилось: поселки толстовцев в России стерты с лица земли, выродились они и в других странах. Последователи религиозных исканий Л. Толстого зачахли и исчезли. В современной России они были бы абсолютно непонятны. Глубокая драма Анны Карениной преобразилась в сомнительного качества кинофильм, блуждающий по международным экранам*. Но...

...Автору этих строк пришлось разбирать и читать со студентами и учениками выпускного класса средней школы «Войну и мир», только что введенный в программу за год до войны. Раньше это произведение Толстого, хотя и не было запрещено, но было «под сукном». В библиотеке имелся только один экземпляр, который читали немного. Я забрал все четыре тома и стал читать в классе избранные сцены, рассказывая кратко промежуточное действие, и... свершилось чудо...

...вскочил на своего Бедуина лихой ротмистр Денисов и «чертом» понесся впереди славных павлоградцев; завиднелось высокое небо над павшим со знаменем в руках Андреем Болконским; Багратион повел в атаку гренадер по комковатому вспаханному полю...

После занятий я выдавал книгу для чтения на ночь, по очереди. Из-за нее дрались и читали собираясь кружками. Ничего подобного я никогда прежде не видел.

Героическая традиция русской литературы, доведенная Л. Толстым до высот художественной изобразительности и до глубин психологического обоснования, не только не была сломлена революционным вихрем и безвремением, но продолжала полноценно развиваться и «здесь», и «там».

«Здесь» она нашла свое оформление в творчестве П. Н. Краснова, Е. Тарусского, поэзии Н. Туроверова**, других писателей и поэтов меньшего значения и множестве «человеческих документов» участников Белого движения.

---

* Английский фильм 1948 г. режиссера Жюльена Дювивье, с Вивьен Ли в роли Анны Карениной.

** См. о них в Приложении «Литераторы-эмигранты».

«Там» она была продолжена Бабелем, Шолоховым, Фурмановым, Сельвинским и сотнями писателей меньшего значения. Несомненно, что красно-героическая литература находится под особым покровительством советской пропаганды, но столь же несомненно, что такие подлинно художественные произведения большого литературного значения, как «Первая конная» Бабеля, «Тихий Дон» Шолохова, «Цусима» Новикова-Прибоя возникают вне ее влияния. Будь иначе, не был бы запрещен и ликвидирован Бабель, не посмел бы Шолохов дать подлинно героический, без пропагандных извращений, образ есаула Чернецова, показать трагизм и гибель Каледина, да и создать своего глубоко правдивого Григория Мелехова — не коммуниста, а метущегося в лице исканий казака...

Более того (нужно быть правдивым и по отношению к врагу), надо признать, что советская историко-героическая литература, в некоторых случаях более свободна от предвзятой, навязанной «прогрессивной» критикой условности.

Так, например, Новиков-Прибой художественно выражает и документально подтверждает подвиг адмирала Рожественского и офицеров Русского Императорского флота при Цусиме. Он сам матрос, участник этого боя и уже тогда большевик. Но он посмел и сделал то, на что не осмелился никто из тех, кто рабски трусил сказать правду об этой героической трагедии.

Коммунист академик Тарле в своем полуисторическом, полухудожественном труде «Наполеон в России»* рассказывает о героических подвигах, совершенных под Смоленском командиром бригады генерал-майором... Бенкендорфом!

Хотел бы я видеть «здесь» смельчака, который рискнет рассказать о подвиге пресловутого, ненавистного всей «прогрессивной» критике шефа жандармов и начальника 3-го отделения. А этот подвиг совершен им был!

Героическая традиция русской литературы, начатая Пушкиным и необъятно развитая Л. Толстым при испытании огнем революции, оказалась самой жизненной, самой крепкой. Теперь, при неизбежной для нас переоценке всего прошлого русской культуры она должна занять первое место в творческом наследстве Л. Толстого, вытеснив из нашего поля зрения те его части, которые уже аннулировала сама жизнь.

«Часовой», Брюссель,
ноябрь 1950 года, № 302. С. 16

* Точное название — «Нашествие Наполеона на Россию» (1937). Рассказанный Е. В. Тарле (далеким, впрочем, от коммунистической идеологии) эпизод с Бенкендорфом, действительно, — исключительное явление для историографии XX века, включая и дореволюционную.

Преходящее и вечное
(К 40-летию со дня смерти Льва Толстого)

Если бы было возможно опросить сто современных подсоветских интеллигентов о религиозных исканиях Л.Н.Толстого, то по всей вероятности лишь один бы из всех изложил их связно и толково.

Все остальные или развели бы руками или — кто понахальнее — заявили бы, что Толстой был атеистом, за что его и преследовала Церковь. Подобные заявления я слышал не раз.

До 1939 года в СССР ознакомление масс с творчеством и мышлением Л.Толстого велось так: в 7-м классе средней школы «прорабатывали» «После бала» и «Поликушку», взяв упор на «ужасы крепостничества», в 10-м — «Анну Каренину», подчеркивая давление высших слоев общества на личность. На факультетах языка и литературы крепко штудировали «Воскресение» под маркой «антирелигиозности» Толстого, «Хаджи-Мурата» — подчеркивая отрицательное отношение к Императору Николаю Первому, пробегали вскользь «Войну и мир», касаясь лишь исканий Пьера Безухова, да пару рассказов. Кое-что говорилось о «Не могу молчать», а религиозные искания Толстого освещались издали, крайне упрощенно, приблизительно так: искал, искал Толстой Бога, не нашел и убежал из Ясной Поляны. В целом аспект был взят по формуле Ленина: «Толстой — зеркало русской революции». В результате в сознании студента вырастал атеист и революционер Лев Толстой. Как же иначе? Против Бога («Воскресение») и против самодержавия («Хаджи-Мурат») боролся...

В 1939 году, в связи с подготовкой к войне, произошел резкий переворот. «Анна Каренина» была заменена в средней школе «Войной и миром» с категорической инструкцией преподавателям о концентрации внимания учащихся на героизме и патриотизме действующих лиц. То же самое произошло и в вузах. «Революционер и атеист» Лев Толстой преобразился в русского патриота, несравненного певца героизма, доблести и подвига, а лично — в героя 4-го бастиона. Когда угроза смертельной опасности нависла над потерявшей свое имя, но всё же Россией, великий русский писатель и глубоко русский Человек с большой буквы воспрянул из гроба.

Бутафория *преходящего* спала и встало *вечное*, носителем и выразителем которого был гигант Лев Толстой. Его истинное.

Переворот произошел не только в школьных программах. Он глубоко проник и в сознание молодежи. Студент литфака физически не может прочесть в подлиннике всего означенного в программе Толстого. Это составляет около 3 тыс. страниц. Кроме того, изучение Толстого по русской

литературе обычно совпадает с прохождением Диккенса по западной. Того тоже около 2 тыс. страниц. Времени — 10 дней при очень тяжелой и учебной, и общественной, и военной загрузке студента. Обычно студент успевал лишь «одолеть» «Воскресение» и «пробежать» «Давида Копперфильда». Остальное он воспринимал со слов профессора, который был вынужден кратко рассказывать содержание требуемого программой.

Введение в программу средних школ «Войны и мира» и последовавшее затем переиздание этого шедевра мировой литературы, великой истины о русском человеке, гениально рассказанной истинным Толстым, произвело полный переворот во взгляде подсоветских масс на самих себя, на русского человека и на личность Л. Толстого. Непревзойденная во всей мировой литературе показанная Толстым галерея портретов героев всех видов, от старого фельдмаршала Кутузова до юного жертвенного Пети Ростова, от аристократа чести и долга князя Андрея до безымянного солдата, спокойно и с глубокой верою в Бога и правоту своего подвига умирающего на лазаретной койке («Хаджи-Мурат»), — стала не «зеркалом революции», а тем правдивым честным зеркалом, в котором русский народ *увидел,* наконец, свое не обезображенное, скаженное революцией, но истинное лицо. Преобразился в его глазах и сам Толстой: непонятный босой чудак «старик в толстовке» уступил место молодому поручику-севастопольцу, дивно рассказавшему о том, что он видел и пережил сам.

Студенты литфаков 1939 году и последующих лет теперь уже давно учителя средних школ. Некоторые, может быть, и преподаватели вузов. Какого же Толстого показывают эти учителя многим миллионам своих учеников?

В 1941 году, в смертельной схватке с поработителем, неисповедимою волею Господа исторический путь русского народа временно слился со стремлением к самозащите его кремлевских насильников. Финал — Сталинград. В представлении русских масс о своей национальной литературе этот финал обусловлен пониманием истинного лица Льва Толстого, русского человека и русского патриота, что до того тщательно замалчивалось не только большевицкой, но и «прогрессивной» критикой. Подтверждение возрождения Толстого можно видеть в необычайном развитии истинно-героической литературы, вовлекшей в себя большую часть подсоветских творческих сил от маститого Сергеева-Ценского до порою талантливых, порою халтурных гонцов. В литературном (не в политическом) плане вся эта огромная творческая волна выросла из истинного Льва Толстого, гиганта, творца «Войны и мира», севастопольских и кавказских рассказов...

Со дня кончины Л. Толстого прошло сорок лет. Русская народная память не сохранила даже следа его религиозного «учительства», о поселках его последователей, даже трагический вопль «Не могу молчать» потонул в море истинных «бытовых» воплей вдов и сирот террора победившего социализма. Преходящее стерлось, отпало, как шелуха с ореха.

Но в 1942 году сто тысяч русских героев до конца, под длившейся ровно месяц, днем и ночью, ни на минуту не прекращавшейся страшной бомбардировкой с земли и с воздуха, защищали разрушенный до последнего камня Севастополь. Лишь по приказу, как и их прадеды, они вышли на северную сторону и там под палящим июльским солнцем, без хлеба и воды, семь суток ждали обещанной им по радио помощи. Они сдались лишь после подлого бегства тайком от них высшего комполитсостава и предательского взрыва бежавшими форта «Максим Горький» со всем его гарнизоном. Ядро этих севастопольцев «второго призыва» составляли младшие офицеры и унтер-офицеры, т.е. именно те, кто зачарованно слушал о подвигах капитана Тушина, Болконского, гусара Денисова, севастопольцев и кавказцев, слушал и читал в 1939 году.

Где же истинный, подлинный выразитель русской мысли и чувства, русской веры и чести, учитель и гигант-художник граф Лев Николаевич Толстой?

Но кого же спрашиваю я, «новый» эмигрант, видевший воочию вторично разрушенный Севастополь и неубранные еще кости его защитников?

Увы, не советских критиков и литературоведов. Они-то в дни годовщины по вынужденному обстоятельствами предписанию сверху покажут истинного вечного русского Толстого.

Я спрашиваю «прогрессивных» критиков русской политической эмиграции и даже... уважаемую Александру Львовну, любимую дочь великого отца*.

Мой недолгий еще опыт в эмиграции уже ясно показал мне, как фальсифицируют эмигрантские «прогрессивные» критики образы великих русских писателей. Ни слова об явном монархизме Пушкина. Один маститый критик ухитрился даже Лескова зачислить в борцы против самодержавия и превзошел большевиков в своем «прогрессивном» азарте.

Я уверен, что в годовщину кончины Толстого «здесь» будет много написано о его религиозных исканиях, высочайшем мастерстве слова и образа, о сапожном ремесле, семейной драме и проч., но ни слова не будет

* А. Л. Толстая (1884–1979), с 1929 г. в эмиграции, основательница Международного Толстовского фонда в помощь беженцам, с 1941 г. гражданка США.

сказано, что Лев Николаевич был великим русским патриотом и даже сторонником русской монархии, что и высказал несколькими фразами после 9 января и своим недоверием к парламентским «адвокатишкам»…

Скажите эту русскую правду о своем великом отце, русском богатыре мысли, чувства и слова, скажите ее хоть Вы, глубокоуважаемая, честная и правдивая Александра Львовна.

«Знамя России», Нью-Йорк,
29 ноября 1950 года, № 29. С. 10–12

Портрет с натуры

Если мы будем искать того знака, под которым прошла вся долгая, титанически мощная и безмерно богатая жизнь Льва Николаевича Толстого, то таким, единым для всего ее многообразия стержнем станет не богоискательство, не творческие устремления художника, но упорный, стремительный, трагический поиск путей к слиянию, к единству духа и тела, к их гармоническому сочетанию в самом себе, в личности. Этот поиск начался в тех детских играх, в том трепете, с каким слушал мальчик Толстой бессвязные молитвы юродивого («Детство и отрочество») и окончился в последнем порыве в комнате начальника станции Астапово…

Осознание богоискательства пришло лишь во второй половине жизни. От взлетов своего художественного гения он не раз отрекался и порою не видел даже его, горько смеясь над Анной Карениной…

Просматривая теперь, через сорок лет все этапы этой до предела насыщенной жизни титана-художника и гиганта-человека, мы невольно ищем в них узлов, связывающих обе эти нити. Мы вправе делать это: личная жизнь титана-художника и его материальной человеческой формы — неразрывны.

Был ли слит *воедино* Толстой «Исповеди», Толстой-учитель и апостол со старым яснополянским барином, графом Львом Николаевичем?

Нестерпимая боль разрыва себя на две части толкнула Толстого к его побегу, к последним шагам его величавого и скорбного жизненного пути.

Гармонизовал ли Толстой, упрощенец жизни, по слову которого тысячи людей отрекались от ее красочного многообразия и устремлялись в беспросветные будни толстовских общин, с Толстым-художником, бесконечно любившим эти самые краски жизни и любовавшимся их переливами?

Увидав вплотную безнадежную пошлость этих общин, тупую ограниченность их обитателей, неизбежное снижение их внутренней духовной жизни, Толстой-художник с ужасом и скрытым омерзением от них бежал...

Дальше вглубь... ближе к истокам... перед нами еще темнобородый Толстой, только что надевший блузу, обучающий ребят в Яснополянской школе, Толстой «Круга чтения» и «Утра помещика», «кающийся барин», как любят называть его большевицкие литературоведы...

Нашел он слияние здесь? Нет, не нашел, потому что бросил и ушел...

Но вот, перед нами еще портрет. Таким Льва Толстого не показал ни один из многих, писавших и лепивших его художников. Это старый, пожелтевший дагерротип. На нем — некрасивый, безбородый офицер с опушенными книзу тонкими усами, в скромном артиллерийском мундире. Это поручик Толстой, севастополец, кавказец. На его шашке красный анненский темляк «за храбрость». Тогда, в Севастополе, их зря не получали. И на Кавказ, и в Севастополь Толстой пошел не для карьеры. Карьеру делали в гвардии, и граф Толстой мог бы в ней числиться. Но он был скромным армейским артиллеристом. На четвертом бастионе. А там было жарко...

Этот Толстой писал Севастопольские и Кавказские рассказы, «Кавказского пленника». Этот Толстой видел здесь, опознал, полюбил всем своим могучим сердцем капитана Тушина. Здесь он вместе с ним палил в упор картечью в французов, спал с ним на одной шинели, хлебал из одного котелка. Отсюда и только отсюда мог он взять прообразы всей своей исключительной, невиданной в мировой литературе галереи героев-патриотов, развернутой им позже на страницах «Войны и мира», «Хаджи-Мурата», «Казаков» и пр.

А если так, то не тут ли плотнее всего связаны в узел нити личночеловеческой и духовно-творческой жизни Льва Толстого?

Не босой насупленный старик, изображенный Репиным, не «шестидесятник»-барин, показанный Крамским, а этот, запечатленный дагерротипом офицер был тем Толстым, в котором поиск внутренней гармонии был ближе всего к ее осуществлению.

О Льве Толстом написаны тысячи книг. На всех языках мира. Писали о Толстом-учителе, Толстом-мыслителе, Толстом-художнике, Толстом-сапожнике... но о Толстом, русском патриоте не писали. Не могли писать. Вся «прогрессивная» пресса засмеяла бы заикнувшегося на эту тему.

Многократно и многообразно разбирая по строчкам и буквам «Войну и мир» русское литературоведение всех имевшихся в наличии толков

и платформ единодушно уделяло максимальное внимание *Пьеру Безухову, персонажу ничего положительного не делавшему и ничего не сделавшему* на всем протяжении этого гигантского полотна. Он выдвигался, как центральный *положительный* тип. Кое-кого еще пленяло высокое небо над павшим при совершении патриотического подвига князем Андреем, но сам подвиг, а тем более психологические причины его, мало кого занимали. Еще менее интересовали русскую критику причины подвига капитана Тушина и совсем вне их понимания — патриотический действенный порыв старика Болконского, взорвавший его, когда Наполеон перешел Неман. Мимо Васьки Денисова проходили с улыбкой иронии. Мимо Долохова — с пренебрежением...

А ведь все эти персонажи шли на смертный подвиг и совершали его. Их что-то вело, толкало. Иначе они не шли бы. Не пошел бы и сам Толстой в огненный ад четвертого бастиона.

Что?

Ген. Хольмстон в своих статьях много говорит о роли психологического фактора в современной войне. Это не ново. Его значение знал и Иисус Навин, прикрикнувший на солнце в нужную минуту битвы. Но современная военная наука тесно связывает психологическую настроенность идущих в бой (а бой всегда — подвиг; без подвига он — бегство), с их политическим сознанием. Вот это ново. До сих пор к этой связи подходили лишь бочком. Даже немцы, создавшие лучшую в мире армию. Результат известен.

Толстой был очень плохим стратегом. Это доказал ген. Драгомиров в своем замечательном разборе «Войны и мира»*. Но Толстой был гениальным художником-интуитом, видевшим и показывавшим то, что не написано ни в одном учебнике стратегии. Кроме того он был глубоко русским и всегда русским человеком. Не понимая, он *знал* то, о чем пишут теперь.

Желающим убедиться в этом, советую читать бородинские главы «Войны и мира» и предшествующие им главы с описанием приезда Государя в Москву и встречи его народом. Это и была политическая настроенность — термин, которого не знал Л. Н. Толстой.

Этот, много раз повторенный Толстым мотив «прогрессивная» критика усиленно замалчивала и будет замалчивать его и теперь, в эмиграции, как замалчивает монархизм Пушкина и Лескова. На «той» стороне патриотизм Толстого в эти толстовские дни был покрашен в цвет СССР

* Статья М. И. Драгомирова «“Война и мир” графа Толстого с военной точки зрения» впервые была опубликована в «Оружейном сборнике» (1868, № 4. С. 103–134) и затем не раз переиздавалась.

и умело использован. Ни «там», ни здесь истинного портрета Льва Николаевича Толстого показано не было.

Сам Толстой много раз говорил и записывал в дневнике, что для того, чтобы создать яркий и верный образ, нужно его любить. И он крепко любил своих героев, еще крепче любивших Россию и шедших на подвиг во имя ее, возглавленной Царем.

Такова была их *политическая настроенность*.

Могла ли она быть иной, не созвучной им, у автора? Не в силу ли ее шли мужики-ополченцы на смерть при Бородине, несся в бой Васька Денисов, партизанил кутила-бретер Долохов и сам Лев Толстой пробирался по невылазной грязи в блиндаж четвертого бастиона, под дождь французских ядер?

В толстовские дни было показано много портретов Л. Толстого: Репин, Крамской, скульптура П. Трубецкого, любительские фото Тенеромо и пр. Но самым близким к оригиналу, к натуре будет пожелтевший дагерротип артиллерийского офицера, поручика Императорской Русской армии, севастопольца.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
9 декабря 1950 года, № 59. С. 7

Незаписанное о Л. Н. Толстом

— Каковы были политические воззрения Л. Н. Толстого?

Этот вопрос я задал однажды часто бывавшему в Ясной Поляне, дружившему с детьми Л. Н., хорошо известному в высококультурных кругах Москвы присяжному поверенному И. В. И-му*. Имя его не привожу полностью по желанию его родственников-эмигрантов, опасающихся за его судьбу в СССР.

— Я не думаю, — ответил мне он, — чтобы у Толстого были вообще сколь либо оформленные политические воззрения, как мы это понимаем. Он всем своим существом стоял выше политики, но, конечно, не мог быть к ней безучастным. Его отношение к русской монархии, как худож-

* Игорь Владимирович Ильинский (1880–1937) — адвокат, литературовед. Из поместных дворян, окончил юридический факультет Московского университета. Работал присяжным поверенным, сотрудничал в газете «Русские ведомости». Был знаком с Л. Н. Толстым и его семьей. После революции работал в Коллегии защитников, был арестован. После выхода из тюрьмы уехал в Ясную Поляну. В 1924 г. вновь арестован, отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). В 1925 г. был освобожден и стал сотрудником музея-усадьбы в Ясной Поляне. С 1932 г. работал ученым секретарем Государственного литературного музея. Был повторно арестован. В декабре 1937 г. был расстрелян — сообщено Н. И. Бурнашёвой.

ника, вы знаете. Вспомните, как переживает он вместе с Петей Ростовым порыв религиозной любви к государю. Ведь «описывать любовь» с такой силой нельзя. Нужно самому «любить». Но вместе с тем — ненависть к Николаю Первому, как к человеку в «Хаджи-Мурате»... Бесконечно сложна и нередко противоречива была душа Толстого... Трудно говорить о ней, но расскажу вам один маленький эпизод.

Кажется, это было в 1905 г. в Ясной Поляне. Мы, молодые, ожесточенно спорили о достоинствах и недостатках республики, монархии, парламентаризма. Подошедший Лев Николаевич слушал молча и, лишь уходя, сказал:

— Один человек может найти в душе своей настоящую, подлинную правду и находит ее. Но скопище спорящих о ней не найдут ее никогда.

— Я не знаю и не берусь утверждать, — закончил И. В. И-ий, — что Толстой мог быть монархистом, но ни республиканцем, ни конституционалистом он не был, не мог им быть и уж, конечно, не мог быть членом какой-либо политической партии...

Алексей Алымов
«Наша страна», Буэнос-Айрес,
23 декабря 1950 года, № 60. С. 7

Монархия, Толстой и средостение
(125* лет со дня рождения гр. Л. Н. Толстого)

Мне не раз приходилось слышать в эмиграции отзывы о Л Н. Толстом, как об атеисте, революционере и социалисте. Этими характеристиками его наделяют обычно лица, принадлежавшие в прошлом к «правящему слою» или близкие к нему. Интересно отметить и то, что в дальнейшей беседе с ними нередко выяснялось их полное незнакомство с религиозно-этическими работами Л. Н. Толстого, с литературой о нем и порою даже поверхностное знание его чисто художественного наследства.

Об атеизме Л. Н. Толстого, т.е. неверии его в Бога, отрицании им Господнего бытия говорить не стоит. Это утверждение опровергнуто самим отлучением Толстого от Церкви, как лжеучителя и еретика, т.е. верующего несогласно с догматами и каноническими установлениями Церкви, но не как неверующего атеиста, а для выяснения вопроса о том, был ли Л. Н. Толстой революционером, социалистом или «зеркалом рус-

* В подзаголовке была допущена опечатка — «135 лет».

ской революции», как утверждал Ленин, лучше всего обратиться к нему самому, к фактам жизни Л. Толстого, к записанным им мыслям и к свидетельствам современников. Сделаем это хоть бегло.

* * *

Севастополь 15 июня 1855 года. Артиллерийский офицер граф Л. Толстой, сражаясь за честь России на стяжавшем бессмертную славу 4-м бастионе, записывает в своем дневнике: «Получил письмо и статью от Панаева. Мне польстило, что ее читали Государю». Речь идет об очерке «Севастополь в декабре 1854 году», прочитанном в интимном придворном кругу. Государыня расплакалась, а Государь приказал перевести этот очерк на французский язык. В том же дневнике в те же дни Л. Толстой пишет: «Боже, благодарю Тебя за то, что Ты так верно ведешь меня к добру. Не остави меня, Боже!».

Но в том же Севастополе 4-го августа того же года Толстой пишет, кажется, единственное свое стихотворение — сатирическую песенку о бездарных генералах: бароне Вревском, Реаде, Бекопе, позорно проигравших из-за личной друг к другу неприязни битву на Черной речке. Эту песенку распевало тогда всё боевое офицерство осажденного Севастополя, но тыловое начальство взяло ее автора на замечание, что отозвалось на его службе.

Так намечаются три исходные точки, поставленные мною в заголовке этой статьи: Царь-Освободитель и писатель Л. Толстой, душевно сближенные взаимным пониманием, между ними — первые камни стены — средостения.

«Традиции класса, военного круга, преданность Государю... сильны в нем», напишет о Толстом почти через сто лет его любимая дочь Александра Львовна в своей книге «Отец»*.

* * *

Тула, 3 сентября 1858 год. Только что закончился дворянский съезд, на котором обсуждалось уже принятое Царем-Освободителем решение освободить крестьян.

«Были выборы. Я сделался врагом своего уезда», записывает в дневнике Л. Толстой.

Почему это произошло? Ответ мы найдем в его письме к Б. Н. Чичерину: «Всю жизнь ничего не делать и эксплоатировать труд и чужие блага... скверно, ничтожно, может быть, уродство, пакость».

---

* См. ниже рецензии Ширяева на эту книгу, опубликованную в 1953 г.

Вспомним, что великая реформа Царя-Освободителя была осуществлена Им вопреки противодействию значительных групп дворянства и тогда станет понятным, что взгляды на крепостничество, выраженные Л. Толстым в письме к Чичерину, не могли не возбудить к нему вражды со стороны этих групп.

Стена растет. По приказу шефа жандармов князя Долгорукова и ген. Потапова тульский жандармский полковник Дурново производит обыск в Ясной Поляне. Он разыскивает скрытую якобы там Толстым подпольную типографию, на которой печатаются антиправительственные прокламации. Основание для обыска — нелепый донос пропойцы, сыщика Шипова. Обыск, сделанный в отсутствии Л. Толстого, приводит его в исступление.

Что же возмутило Толстого? Несомненно, что некоторую роль играла оскорбленная в нем гордость аристократа, но главную — чувство несправедливо заподозренного верноподданного. Это ясно из того, что первым побуждением Л. Толстого было писать Государю, искать у него справедливости и управы.

«Я не преступник, я могу прямо нести голову или стараться разуверить Государя», пишет он в Петербург своей тетке, «как мне написать, как передать письмо Государю?» — спрашивает он ее.

Разве это не крик монархиста, верящего в высшую монаршую справедливость, но и сознающего, что «до царя далеко»?

Стена. Толстой видит ее ясно: «Я пишу это письмо обдуманно... с тем, чтобы вы показали его разным разбойникам, Потаповым и Долгоруким, которые умышленно сеют ненависть против правительства и роняют Государя во мнении его подданных».

Многие бились тогда головой о ту же стену и многие из них разбили о нее свою веру в справедливость и милосердие Царя.

«Я прошу только о том, чтобы имени Вашего Величества была снята возможность укоризны и несправедливости и чтобы были, ежели не наказаны, то обличены виновные в злоупотреблении этим именем», пишет Л. Толстой Государю. Мог ли так написать тот, кто не чувствовал себя, не сознавал себя верноподданным?

Письмо было прочитано Тем, кому оно было послано, и понято Им. Шеф жандармов был вынужден указать тульскому губернатору, что «Его Величеству благоугодно, чтобы помянутая мера (т. е. обыск. — *Б. Ш.*) не имела для графа Толстого никаких последствий». На этот раз стена была пробита... но не разрушена.

В те же годы Л. Н. Толстой пишет «Войну и мир». Кто не помнит замечательных страниц этой книги, на которых Толстой с исключи-

тельной правдивостью и силой описывает восторг Николая Ростова при виде Государя, переполняющую его любовь к Царю, стремление умереть за него, что кажется Ростову высшим счастьем. «Ростов был влюблен в царя, и не один он испытывал это чувство», пишет Толстой. Мог ли автор так полноценно выразить эти чувства, если бы не пережил их сам?

«Разве мы не узнаем Толстого в Николае Ростове?» — напишет потом его дочь Александра Львовна, опровергая этим большинство «прогрессивных» литературоведов, утверждающих, что автор «Войны и мира» отразил себя самого только в образе Пьера Безухова, якобинца и масона, полностью оторванного от русских народных корней (что подчеркнуто Львом Толстым), в то время как Николай Ростов «нашел себя» (так же как и Лев Толстой) именно в гармоничном сращении с народной средой, что ясно показано в заключительных главах «Войны и мира».

* * *

Зенит славы писателя. Потрясающая трагизмом своей правдивости драма «Власть тьмы» закончена им, но цензура чиновничьего средостения не только не допускает ее на сцену, но и запрещает для печати «ввиду ее скабрезности и отсутствия всякой литературности», как мотивирует запрет глава управления по делам печати Е. М. Феоктистов.

Однако пьеса в списках ходит по рукам и замечательный чтец А. А. Стахович (отец думцев М. А. и А. А. Стаховичей)* читает ее в доме министра двора графа Воронцова-Дашкова** самому Государю Александру III и всей Царской Семье.

— Чудесная вещь, — говорит потрясенный пьесой Царь.

После этого Александринский театр приступает к ее постановке, но глава средостения того времени К. П. Победоносцев обращается к Государю с истерическим письмом, требуя запрещения. Государь принужден уступить средостению, и лишь сын его в 1895 году при ослаблении влияния К. П. Победоносцева разрешает постановку пьесы. За этот промежуток «Власть тьмы» прошла почти на всех главных театрах Европы, и каким богатым материалом служил ее запрет в России для врагов русской монархии!

---

* Александр Александрович Стахович (1830–1913), орловский помещик и, тайный советник, шталмейстер, выдающийся чтец; о его детях см. прим. на с. 116.

** Граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков (1837–1916), генерал-адъютант Е. И. В., генерал от инфантерии, министр Императорского Двора и уделов, член Государственного Совета.

* * *

1891 год. Голод в нескольких губерниях Европейской России, постигший их исключительно вследствие замалчивания бюрократией его угрозы, ведомственных отписок о благополучии на запросы из Петербурга. Л. Н. Толстой устремляется на помощь голодающим. Нужны деньги. Он обращается к русской общественности через печать и отовсюду притекают пожертвования. Совместно с ним выступают лучшие силы национально-почвенной интеллигенции того времени: Н. С. Лесков, Вл. Соловьев, профессор Грот и др. Но не дремлет и средостение. Стараясь оправдать свой промах в глазах Государя, бюрократия стремится представить Монарху помощь голодающим, как революционное движение. «Теперь у этих людей появились новые фантазии, возникли новые надежды на деятельность в народе по случаю голода», пишет Государю тот же К. П. Победоносцев. «Социалисты и анархисты основывают на голоде самые дикие планы... Немало людей, хотя и не прямо злонамеренных, но безумных, которые предпринимают проводить в народ свою веру и свои социальные фантазии под видом помощи». «Толстой написал на эту тему безумную статью». Газета средостения «Московские ведомости», извращая слова Толстого при переводе его английской статьи на русский язык, поднимает против него ожесточеннейшую кампанию: «Письма графа Толстого не нуждаются в комментариях: они являются открытой пропагандой к ниспровержению всего существующего в мире социального и экономического строя. Пропаганда самого разнузданного социализма... Граф открыто проповедует программу социальной революции...». За Толстым и его помощниками учрежден строжайший полицейский надзор. В «кругах» говорят о ссылке их в Сибирь или заключении в крепость. Всё это раздувается заграничной, враждебной русской монархии, печатью, а в России подлинные революционеры получают возможность оперировать именем Толстого, его авторитетом в своих целях. Кто виноват в этом?

Но Монарх? «Знавший свое ремесло» Царь-Самодержец Александр III? Как поступает он?

Ознакомившись с работой Л. Толстого в личном разговоре с его теткой А. А. Толстой, Государь приказывает «не трогать Толстого и не мешать его делу».

«Высшая власть была всегда особенно благосклонна к нашей семье», свидетельствует Софья Андреевна Толстая в заграничной печати. Вел. Кн. Сергей Александрович советует Л. Н. Толстому дать опровержение, несмотря на то, что цензура средостения не пропускает его статей.

Но был ли Толстой в какой-либо мере социалистом?

«Социалисты видят в трестах, синдикатах осуществление социалистического идеала, т.е., что люди работают сообща, а не врозь», пишет он, «но работают они сообща только под давлением насилия. Какие доказательства на то, что они также будут работать, когда будут свободны? Гораздо вероятнее, что тресты произведут *рабство*, освобождаясь от которого рабы будут разрушать эти тресты».

Не только социализм, но все революционные и даже либеральные течения того времени враждебны Толстому: «Я равнодушен к теперешним либералам, которых презираю от души... Прокламации Герцена, которые я презираю, которые я не имею терпения дочесть от скуки. Это факт — у меня раз лежали неделю все эти прелести — прокламации и “Колокол” — и я так и отдал, не прочтя. Презираю не для фразы, а от всей души», пишет Толстой своей тетке. «Толстой не сочувствовал этому течению (народовольцам. — *Б. Ш.*), оно было ему скорее противно и в своей комедии “Зараженное семейство” он осмеял этих “передовых” людей», пишет А. Л. Толстая. К сожалению, комедия не пошла, будучи забракованной Островским и Некрасовым.

Толстой осмеивает «хождение в народ», утверждая, что «народники» не имеют ни малейшего представления о совершенно чуждом им народе. «Если освободить крестьян от всех пут и унижений, которыми они связаны, то через 20 лет они приобретут все те богатства, которыми мы бы желали наградить их, и гораздо больше того». Не эти ли слова повторяет через несколько десятков лет министр гр. Коковцев, борясь за осуществление реформ Николая II, выраженных в законах Столыпина?

Где же и в чем же «социализм и революционность» Л. Н. Толстого?

* * *

Современные «прогрессисты», равно как и большевицкие литературоведы, очень любят приводить то место из воспоминаний М. Горького, в котором он рассказывает, что Л. Н. Толстой, живя в Крыму, как-то раз не уступил дороги ехавшим навстречу Великим Князьям, заставил их свернуть и был этим очень доволен. Возможно, что это правда: аристократическая и писательская гордыня были не чужды Л. Толстому во всех периодах его жизни. Но большего внимания заслуживает тот факт, что в том же Крыму Л. Толстой дружески сблизился с Великим Князем Николаем Михайловичем, глубоким мыслителем и трудолюбивым историком. Великий Князь первый пришел к нему. Они долго и оживленно беседовали, после чего их встречи повторялись и между ними возникла интимная дружеская переписка.

Через этого Великого Князя Толстой передал Государю Николаю II одно из писем к Нему.

«Прошу Вас из уважения к Льву Николаевичу сделать мне удовольствие и не давать читать это письмо никому из Ваших министров», сказал Вел. Кн. Николай Михайлович, передавая пакет Государь. Государь обещал это ему и прочел письмо с большим интересом, как сообщает Толстому Великий Князь, «ведь Государь наш очень добрый и отзывчивый человек, а всё горе в окружающих», добавляет он.

Стена. И здесь стена.

О чем же свидетельствуют неоднократные обращения Л. Толстого к Императорам Александру III и Николаю II, как не о его вере в присущую и неотъемлемую от русских царей справедливость и христианские основы самой русской монархии? Во имя этих христианских основ он просит о помиловании Александром Третьим убийц его отца. И он снова понят.

— Если бы преступление касалось меня лично, я так и поступил бы, — сказал, прочтя это письмо, Император.

Но прося о помиловании цареубийц во имя Христова завета всепрощения, Толстой ни в какой мере не оправдывает их:

«Отца Вашего, Царя Русского, сделавшего много добра и всегда желавшего добра людям, старого доброго человека бесчеловечно изувечили и убили не его личные враги, но враги существующего порядка вещей... Враги отечества, народа, презренные мальчишки, безбожные твари, нарушающие спокойствие и жизнь вверенных миллионов. Что другое можно сделать с ними, как не очистить от этой заразы русскую землю, как не раздавить их, как мерзких гадов?» — пишет Толстой Государю. «Но простите, воздайте добром за зло и из сотен злодеев десятки перейдут от дьявола к Богу, у тысяч, у миллионов дрогнет сердце от радости умиления при виде добра с Престола».

Государственник, общественник или просто патриот могут оспаривать в данном случае высказанное Л. Толстым и на мой, например, грешный взгляд должны оспаривать эту фантазию, он истинный христианин, неуклонно следующий заветам Христа, оспаривать этого не может. Страшна и непонятна для человеческого несовершенства грань «Кесарево — Кесарю, Божие — Богу». Христианин Александр понял христианина Льва, но Кесарь Александр III выполнил свой кесарский долг.

То же взаимное понимание и уважение между Государем Николаем II и Л. Толстым мы можем видеть в деле духоборов, у которых Победоносцев на основе мертвой буквы закона отобрал детей. Этот бесчеловечный акт, совершенный главою средостения, потряс Толстого, и он обратился к Государю: «Вы сами своим добрым сердцем и прямым умом решите...

сделать то доброе дело, которое Вы одни можете сделать», написал он Ему, ища у Русского Самодержца той надзаконной справедливости, Божьей Правды, осуществление которой на земле возможно именно и только силою Самодержавия — Диктатуры Совести.

Ищет и находит. Личным приказом Государя Победоносцеву отнятые дети возвращены родителям, что Победоносцев вынужден, тоже лично, сообщить дочери Л. Толстого Татьяне Львовне.

Иностранные газеты вопили тогда о жестокости Самодержца по отношению к выселявшимся в Канаду духоборам. Русская же пресса замолчала тот яркий акт Монаршей надзаконной справедливости, проявления благой воли Монарха. Причина молчания «прогрессивной» части русской печати ясна: подрывая всеми способами основы Самодержавия, она, конечно, не стремилась показать и подтвердить его высокогуманную направленность. Но почему молчала и правая, монархическая пресса? Причина ее молчания может быть только одна: кипевшее злобой по отношению к Толстому средостение не хотело допустить огласки понимания Л. Толстого Государем, не хотело признать своей вины в допущенной жестокости и тем самым переваливало эту вину на плечи Монарха.

* * *

— Ваш отец — великий человек, но вместе с тем фантазер, например, в вопросе о земле, — сказал Государь Николай II Л. Л. Толстому (сыну писателя) на лично данной ему аудиенции в начале 1905 года.

Он был глубоко прав. Толстой, искренно и глубоко любивший крестьянство, не мог, например, понять значения реформ Столыпина, о чем писал ему лично, просил изменить его крестьянскую политику... во имя дружбы Льва Николаевича с отцом Петра Аркадьевича. Глубоко прав был Государь: в практической политической повседневности Толстой до последних дней оставался тем же мечтательным ребенком, каким был он, играя в Ясной Поляне в «муравейных братьев» и чаруя свое детское сердце выдуманной им самим тогда сказкой о зарытой под дубом чудодейственной «зеленой палочке»*, побеждающей зло, страдание и муку... К политическим вопросам он подходил не умом, а сердцем. Отсюда — резкие контрасты: глубокое понимание всей эпохи в целом, даже предвидение охватившего теперь мир глубокого кризиса, но вместе с тем полная, детская беспомощность при анализе отдельных политических фрагментов, составлявших темы дня.

---

* Легенду-сказку о «зеленой палочке» придумал не Л. Н. Толстой, а его старший брат Николай.

«Те, кто делает русскую революцию, не имеют никаких идеалов. Экономические идеалы — не идеалы», говорил Толстой в 1905 году.

Неимоверно раздутые русской «прогрессивной» и западной прессой печальные события 9-го января не вызвали в Толстом возмущения, как в большинстве высшей русской интеллигенции того времени. Он почувствовал провокационность этого выступления, угадал ее сердцем. В брошюре «Правительство, революционеры и народ», предназначенной им для английской печати, Толстой столь резко высказался о русских революционерах, что Чертков, через которого была послана в Англию рукопись, задержал ее и брошюра не вышла.

«Отец был возмущен убийством Великого Князя Сергея Александровича», — пишет А. Л. Толстая в своей книге «Отец», — «и резко осуждал революцию».

«Отец не верил, что с введением конституции что-либо изменится в России». К самому принципу конституционализма он относился резко отрицательно: «Конституционный подданный, воображающий, что он свободен, — писал Толстой, — подобен заключенному, воображающему, что он свободен, если может выбирать тюремщика. Люди конституционных государств утратили понятие свободы. Член конституционного государства, всегда признавая законность власти, под которой он находится, — всегда раб». Ко всей «прогрессивной» интеллигенции того времени Толстой относился более чем критически: эта «интеллигенция внесла в жизнь народа гораздо больше зла, чем добра», пишет он в своем дневнике 30 июля 1905 года. Столь же отрицательно его отношение к апостолам русского конституционализма: «Либералы — Стаховичи, Василий Маклаков, князья Долгорукие*, приезжавшие к Толстому, были ему тяжелы», свидетельствует А. Л. Толстая.

И, вместе с тем, Толстой совершенно ясно понимал и видел то, что исторический путь России абсолютно не совпадает с путями, по которым идут народы и государства Запада: «Брошюру Хомякова, в которой тот доказывает, что Россия должна идти своим историческим путем, Толстой называл прекрасной и путь западных народов считал для России гибелью», свидетельствует А. Л. Толстая. «Если русский народ — нецивилизованные варвары, то у нас есть будущность», записывает Толстой в своем дневнике 3 июля 1906 года, «западные же народы — цивилизованные варвары, и им уже нечего ждать. *Нам подражать западным*

* Михаил Александрович Стахович (1861–1923), Александр Александрович Стахович (1858–1915) ; Василий Алексеевич Маклаков (1869–1957); князья Павел Дмитриевич (1866–1927) и Петр Дмитриевич (1866–1951) Долгорукие — политические деятели дореволюционной эпохи, лидеры масонского движения в России.

народам всё равно, как здоровому, работящему, неиспорченному малому завидовать парижскому плешивому богачу (курсив мой. — *Б. Ш.*), сидящему в своем отеле».

Не созвучен ли в этих записях Л. Н. Толстой национальному историческому философу Н. Я. Данилевскому, мыслям, выраженным им за три десятилетия до того в труде «Россия и Европа», а также мыслям, которые через сорок лет выскажет Иван Лукьянович Солоневич в своем труде «Народная Монархия»? Эта страничка дневника Л. Толстого стоит между ними, как звено в цепи течения подлинно национальной русской исторической мысли.

* * *

«Толстой никогда не испытывал той ненависти к Монарху, которая горела в сердцах революционеров, злобы, жажды мщения. То чувство преданности Царю, в котором Толстой был воспитан, которое так живо описано в “Войне и мире”, чувство почти обожания Николая Ростова к Императору Александру I у Толстого перешло в чувство жалости к Государю», пишет Александра Львовна — самый близкий к своему отцу человек в последние годы его жизни.

Почему? Что возбуждало эту жалость к Государю?

«Государь, отстраните от себя, хоть на время, тех, не скажу злых, но заблудших людей, которые вводят Вас в обман», писал Толстой Царю-Мученику.

О ком говорил он? Не о тех ли самых, о ком через 15 лет запишет сам Царь-Мученик в своем дневнике: «Кругом измена, трусость и обман»?

На могиле Л. Толстого лежал венок с надписью: «Великому писателю Русской Земли — Николай II».

Что можем возложить на его могилу теперь мы, народные монархисты, выполняющие завет Ивана Лукьяновича: «Смывать с лица России замазавшую его грязь и деготь»? Ведь Толстой тоже Россия, неотъемлемая ее частица. Что близко нам в Толстом, кроме его художественного наследия?

Толстой отрицал революцию и видел в ней только зло.

Так видим и мы.

Толстой понимал, что исторический путь России не совпадает с путями Западных государств и народов, что у нее свой, только ей свойственный исторический путь.

Так утверждаем и мы.

Толстой видел рабство, заключающееся во всех формах социализма.

Его видим и мы.

Толстой отрицал перенятую у Запада «благостную панацею» конституционных форм.

Ее отрицаем и мы.

Толстой смотрел на русское крестьянство, как на основную конструктивную, созидающую силу.

Так смотрим на него и мы.

Толстой боролся со средостением между Царем и Народом, считал его злом.

Так боремся и так же считаем средостение злом мы.

Толстой, чуждый политической повседневности, всё же никогда не был ни социалистом, ни революционером, ни радикалом, ни либераломконституционалистом... Кем же он был в качестве русского интеллигента своего времени? Ведь были же у него какие-то политические взгляды? Какие?

Ответ может быть только один: Толстой был русским монархистом, т. к. смотрел на русскую монархию, как на единственную свойственную и близкую русскому народу форму государственной власти, даже при теоретическом отрицании им государственной власти вообще.

Сказав эту правду о Толстом, мы смоем еще одно пятно дегтя не только с его лица, но и с лица России, дегтя, плеснутого на него и слева и справа.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
19 декабря 1953 года, № 205. С. 2–4

Новое о Ф. М. Достоевском

Личная жизнь каждого писателя неразрывна с его творчеством. Не только полученные им извне впечатления, но и внутренняя переработка этих впечатлений в его душе неизбежно отражаются как в направленности, так и в характере его литературной работы. Каждое личное чувство, охватывающее психику автора, в той или иной мере воздействует на его труд, а, как мы знаем из тысячелетнего опыта жизни человечества, самым сильным чувством в душе каждого индивида была, есть и будет любовь.

Поэтому при углубленном изучении литературного наследия каждого крупного писателя исследователь обязан уделять особое и глубокое внимание его чувственной, сексуальной жизни. В отношении многих русских писателей это сделано достаточно глубоко. Мы знаем почти каждую деталь многочисленных любовных увлечений Пушкина и можем проследить, как каждое из них отразилось в его творчестве; знаем,

что отсутствие глубоких любовных переживаний в жизни Лермонтова в значительной мере повлияло на пронизывающее всё его литературное наследие «лирическое одиночество». Можем смело предполагать, что если бы семейная жизнь Л. Н. Толстого сложилась бы удачнее, то вряд ли он написал бы трагический полу-дневник — «Крейцерову сонату».

Но в отношении этих сторон жизни Ф. М. Достоевского мы почти слепы, вернее, продолжаем ходить в потемках, пользуясь лишь отрывочными сведениями. Поэтому выпущенная издательством им. Чехова книга М. Слонима «Три любви Достоевского» приобретает для нас, искренних почитателей великого русского духовидца, христианина и глубоко убежденного монархиста, особое значение.

Всех крупнейших женщин из произведений Ф. М. Достоевского можно легко и безошибочно разделить на две группы. К первой, более значительной по числу, принадлежат различные преломления «инфернального» типа женщины-спрута, властно охватывающей душу мужчины, иссушающей его жизненные силы, порабощающей, порой и убивающей его. Таковы Грушенька («Братья Карамазовы»), Настасья Филипповна («Идиот»), Ахмакова («Подросток») и, главным образом, Полина («Игрок»). Этот тип преобладает. Но рядом с ним Ф. М. Достоевский развертывает серию вариаций размельченной, болезненной, измученной женской души, внушающей мужчине не страсть, но, главным образом, жалость к себе и влекущей его к себе именно этою жалостью. Наиболее яркие выразители этого типа — жена и дочь Мармеладова («Преступление и наказание»), Наташа («Униженные и оскорбленные») и ряд других, менее значительных. Обе галереи этих ярких до ослепительности и глубинных до темных бездн портретов человеческих душ связаны между собою многими нитями общего страдания. Страдания, переживаемого ими самими и их спутниками на жизненном пути.

Почему Ф. М. Достоевский видел в русской среде своего времени только таких духовно изуродованных женщин? Как мог он пройти мимо высокого образа Татьяны Лариной, как мог не почувствовать нежного обаяния Лизы Калитиной? Почему великий психолог и провидец допустил такие пробелы в изображении исключительного по своей красоте и ширине национального типа русской женщины? Глубокая работа М. Слонима дает нам ответ на эти вопросы.

Автор подходит в ней к анализу творчества Ф. М. Достоевского на основе психо-исследовательских методов доктора Фрейда, т. е. ищет прежде всего травму в психике самого писателя, тот болезненный центр, который заставляет его субъективно, а подчас патологически воспринимать окружающее. Эта задача не трудна. Травма — эпилепсия,

страшная болезнь, мучившая писателя почти всю жизнь и овладевшая им, кстати сказать, на основе тяжелой наследственности, проявившись при известии о трагической кончине его отца, но не на эшафоте и не на каторге, как лживо утверждают это «прогрессивные» литературоведы. Основываясь на ряде писем и свидетельств современников, М. Слоним выявляет болезненно-повышенную, доходящую порою до исступления страстность Ф. М. Достоевского, внешний облик которого чрезвычайно далек от какой-либо формы донжуанства или эротизма.

Вторая причина — две первых больших любви Достоевского: к его первой жене Марии Дмитриевне, урожденной Констант, и к Аполлинарии Прокофьевне Сусловой, подлинно «инфернальной» и роковой для писателя женщине, ненадолго вторгнувшейся в его жизнь, но успевшей и за этот короткий промежуток потрясти до самой глубины его и без того болезненную психику. Первая же жена Достоевского, Мария Дмитриевна, была тем слабым, болезненным и вместе с тем мелким существом*, к которому писатель чувствовал во много раз более жалости, чем страсти, но которая тем не менее своими болезненными, истерическими требованиями истязала его чуткую, глубоко реагировавшую на окружающее душу.

Эти две женщины, владевшие сердцем писателя в первой половине его жизни, и послужили теми призмами, через которые он и во второй половине, когда пришло успокоение, продолжал всё же видеть в любви главным образом и почти исключительно страдание, доводящее любящих до хаоса садизма и мазохизма. Вторая жена писателя Анна Григорьевна Сниткина, давшая ему подлинный внутренний мир и огромную, всеобъемлющую, чуткую и нежную, чисто русскую любовь, пришла к нему слишком поздно. Она помогла ему создать лучшие его произведения — «Бесы» и «Братья Карамазовы», но не смогла залечить глубокие раны, нанесенные двумя ее предшественницами, не смогла вытеснить из психики писателя их, потрясших его, образов.

Вторая книга о Достоевском, выпущенная издательством им. Чехова, «Достоевский и его христианское мировоззрение» Н. Лосского, тоже очень интересна. Ее основной теме посвящено уже множество работ как русских, так и иностранных исследователей, историков литературы, критиков, религиозных писателей (в том числе митрополита Антония), психологов, врачей и т. д. Казалось бы, что трудно добавить что-либо новое к этой всесторонней работе даже со стороны столь крупного философа, каким является Н. Лосский. И всё же мы находим в ней много нового и ценного.

* Согласно воспоминаниям современников, первая жена Достоевского была интересным, импульсивным и артистичным человеком, хотя и не без истеричности.

Нас, монархистов, интересует прежде всего связь между религиозными исканиями великого писателя и его глубокими монархическими убеждениями. Именно эта сторона его мышления наиболее темна до сих пор, т. к. большинство исследователей его творчества принадлежали к «прогрессивному» лагерю русских литературоведов и умышленно замалчивали эту сторону его мышления или упрощенно рассматривали ее, как вынужденность, созданную ошибками молодости писателя, его осуждением на каторгу и в дальнейшем — стремлением снова занять заслуженное место в рядах русских писателей того времени.

Философ Н. Лосский осмеливается коснуться этой части наследства Ф. М. Достоевского и, хотя и не рискует осветить ее в соответствующем его знаниям масштабе, но всё же проливает некоторые струи света в царящую и до сего времени тьму. Прежде всего Лосский доказывает, что принадлежность молодого Ф. М. Достоевского к революционному кружку Петрашевского была поверхностной и случайной. Достоевский и тогда ни в какой мере не был революционером и врагом самодержавия. Его интерес к социалистическому учению утописта Фурье был вызван исключительно поиском путей к справедливости, которому писатель отдал всю свою жизнь. Но это увлечение, говоря современным языком, было лишь только попыткой найти некоторые практические формы для устранения язв экономического неравенства. Сам же сатанинский дух социализма — атеизм и материализм — были чужды и враждебны писателю. Между прочим, Лосский приводит жуткие свидетельства не только атеистической, но мерзко богохульной проповеди Белинского, рисует смрадные моменты жизни этого вредного психопата, о которых умалчивают «прогрессисты».

«Смрадная букашка Белинский, — пишет Достоевский Страхову, — ...ругал мне Христа по-матерному, а между тем никогда не был способен сам себя и всех двигателей всего мира сопоставить с Христом для сравнения... Писал поганые статьи свои, позоря Россию, отрицая великие ее явления... Сколько в нем и в них мелкого самолюбия, злобы, нетерпения, раздражительности, подлости»*.

* Точная цитата: «И с пеной у рта бросился бы вновь писать поганые статьи свои, позоря Россию, отрицая великие явления ее (Пушкина) <…> Этот человек ругал мне Христа по-матерну, а между тем никогда он не был способен сам себя и всех двигателей всего мира сопоставить со Христом для сравнения. Он не мог заметить того, сколько в нем и в них мелкого самолюбия, злобы, нетерпения, раздражительности, подлости, а главное, самолюбия»; письмо к Н. Н. Страхову от 18 / 30 мая 1871 г. из Дрездена. «Смрадной букашкой» Белинский назван в предыдущем письме к Страхову, от 23 апреля (5 мая) 1871 г.; см. *Достоевский Ф. М.* Собрание сочинений в 15 т. Т. 15. СПб.: Наука, 1996. С. 485, 488.

Эти строки письма характеризуют не только самого кумира «прогрессистов» того времени, «неистового Виссариона», но и отношение Ф. М. Достоевского к ним самим.

Ф. М. Достоевский был безоговорочным сторонником русского самодержавия, как национальной формы государственности, наиболее соответствующей и отвечающей требованиям психологического строя народа и его мышления. Приходится пожалеть, что Н. Лосский в своей ценной работе всё же не осветил эту сторону мышления великого русского писателя в достаточной мере, не показал его обмена мыслями со столпами монархического мышления Победоносцевым, Катковым и молодым тогда философом Вл. Соловьевым, с которыми Достоевский был душевно близок.

«Знамя России», Нью-Йорк,
15 октября 1953 года, № 95. С. 12–14

«Несть ни эллин, ни иудей»
(К 60-летию со дня кончины Н. С. Лескова)

Где грань между национализмом и шовинизмом?

Она пролегает почти незаметной, тонкой чертою между любовью к своему народу, своей самобытности, своей нации и неизбежным в каждом национально-оформленном индивидууме инстинктом национальной же самообороны, защиты своей самобытности, но при ясном, внимательном взгляде как на самих себя, так и на стоящих за этой тонкой чертой, при уважении к качествам их, национальным их чертам, этого уважения достойным.

Редко кто из художников слова, корифеев мировой литературы мог четко провести эту грань и пройти по своему творческому пути, не откачнувшись ни вправо, ни влево, не впав в патетическую гипертрофию национальной эмоции, «квасной патриотизм», с одной стороны, или в злобное охаивание всего чуждого огульно — с другой. Даже столь крупные писатели Запада, как Киплинг или Мопассан, не сумели выработать в себе этого равновесия и слили здоровую любовь к своим народам с болезненной, психопатической ненавистью первого из них к русским, второго — к немцам, в которых они видели только отрицательное.

Грешили этим и наши классики. Даже двойным грехом. Одни, как Достоевский, видели и показывали лишь отрицательные черты национальных характеров поляков («Братья Карамазовы»), французов («Игрок»), снисходительно подсмеивались над немцами («Карамазовы»,

«Униженные и оскорбленные») или также огульно преклонялись перед Западом, унижая самих себя, как это сделал Гончаров, противопоставив действенному, честному, смелому семейству Штольцев паразитарных импотентов — семью Обломовых; или Тургенев, не сумевший отыскать в русском народе ни одного прообраза для создания положительного типа русского мужчины.

Единственным, кто прошел весь свой творческий путь, зорко вглядываясь в обе стороны и умея видеть в них, как прекрасное, достойное, доброе, так и уродливое, отрицательное, был Николай Семенович Лесков.

Не будем касаться в этой статье его великой любви и глубочайшего понимания души родного ему народа. Эта тема слишком обширна. Она требует отдельной разработки, и мы надеемся дать ее на страницах нашей газеты в текущем, шестидесятом по кончине Н. С. Лескова, году, когда этот «руссейший русак» воспрянул из сумрака забвения, которым окутали его имя «прогрессивные» интеллигенты ушедшего века. Воспрянул и тут, в зарубежье, и там, на порабощенной интернациональным социал-коммунизмом родине.

В этой статье мы попытаемся разобраться в его отношении к наиболее ярким и характерным представителям других наций. Для такого рода экскурсов его творческое наследство дает обильный материал. Начнем с ближайших наших соседей — с немцев. Вот перед нами нежный, прекраснодушный и по-шиллеровски внутренне благородный идеалист «Коза» (рассказ «Томление духа»), родной брат такому же русскому «вдохновенному бродяге» — Овцебыку (рассказ того же названия), искатель правды Христовой на грешной земле, одинокий отшельник на ее тропах. А вот в мещанском квартале Васильевского острова Лесков находит крепко устоявшуюся в твердых, высоко моральных традициях целую немецкую колонию («Островитяне»), в бюргерской среде Тюрингии — мрачного по внешности, но реально утверждающего в своей личной жизни заветы Христа сектанта-гернгутера («Островитяне»), в венском Пратере видит патриархальную простоту престарелого императора Франца-Иосифа и тут же противопоставляет ее чванливой заносчивости русской европеизированной аристократки. Но это умение видеть и показывать положительные черты немецкого национального характера не мешает Лескову столь же ясно отмечать и отрицательные — доходящую до абсурда одностороннюю уверенность в своей правоте, своей силе и всепреодолевающей трудоспособности, тоже национальные немецкие черты, выявленные в грандиозном историческом масштабе нашей современностью и показанные в миниатюре Лесковым (рассказ «Твердый характер»).

Англичан Н. С. Лесков знает не только близко, но даже родственно. Семья его родителей была тесно связана родственными узами с семейством Шкотов, разумных и гуманных англичан, управлявших в половине прошлого века огромными имениями графов Перовских и Нарышкиных. Эту семью и близко стоявших к ней соотечественников Лесков показывает в целом ряде своих произведений и неизменно отдает должное их твердости, честности и разумному, гуманному рационализму. Но одновременно он констатирует в тех же лицах присутствие свойственного их расе преклонения перед собственными качествами и следствие его — отношение свысока ко всему остальному миру. Тем не менее, он ни одним словом не будит в русских читателях враждебных чувств к англосаксам, хотя политическая обстановка того времени — вторая половина XIX века, характерная для враждебного отношения Англии к России — давала к этому много поводов.

Нет вражды у него и к французам, но мало доброго находит он в их национальном характере, хотя и здесь ищет этих семян добра, стремится хотя бы частично сблизить их с столь любимыми им русскими «праведниками», выразителями русской души. Для уяснения себе этого перечитаем рассказ «Шерамур», где Н. С. Лесков повествует о заброшенном в Париж русском юродивом, буквально купленном на должность молодого мужа престарелой красоткой. Умеющий видеть добро даже под слоем грязи, Лесков показывает и здесь, со свойственным ему добродушным юмором, чисто материнское отношение этой престарелой красотки к непрактичному, не умеющему ходить по земным тропам мужу и честное выполнение ею обязанностей необходимой ему няньки. Владеющее русской душой Н. С. Лескова стремление видеть и находить искру Божию в сердцах всех людей заставляет его отыскать ее даже в судьбе ничтожного, жалкого французского юноши, попавшего в Петербурге в грязную историю и спасенного от наказания заурядным полицейским чиновником, в дальнейшем же вступившего на путь хотя бы и меркантильно-мещанской, но всё же христианской морали (документальный рассказ «Пигмей»).

Таково же отношение Н. С. Лескова к иноплеменникам, входящим в состав исторически формировавшейся, понятой им и родной ему всероссийской нации. Пресловутого «национального вопроса», несомненно раздутого сейчас у нас в зарубежье и окончательного аннулированного в среде подъяремного российского народа, для Лескова просто не существует. Язычник-якут, срисованный им с реальной модели, оказывается исполненным чисто христианского милосердия и самопожертвования («На краю света»). Украинец «Фигура» в рассказе того же названия,

сохраняя в себе все самобытные черты южнорусского племени, вырисован им, как образец высокого простонародного «демократического» благородства и тончайшего чувства деликатности в отношении к людям. Библейская родительская любовь жалкого, приниженного еврея («Владычный суд») приводит его в результате к восприятию истины Слова Христова. Отметим, что почти все эти перечисленные мною рассказы написаны Лесковым на фактическом материале и в большинстве даже документированы им.

Н. С. Лесков, как его «Очарованный странник», чисто русский народный тип, мог понимать все языки своего отечества. Ведь «Очарованный странник» в своих скитаниях умел не только уживаться в среде татар, кочевников-ногайцев, бессарабских молдаван или глубинно воспринимать страстность цыганской натуры, но мог и будить в них созвучия своему религиозному мироощущению, гармонично сочетать себя с ними. Разве не тем же путем шел в течение одиннадцати веков своей истории русский народ к образованию единой, монолитной Российской нации из более чем ста пятидесяти слившихся с ним племен, народов и народностей?

Подобно этому своему герою, Лесков упорно и кропотливо ищет в чуждых ему национальных характерах созвучий русскому религиозному мироощущению, т.е. именно тот общий язык, для которого «несть ни эллина, ни иудея», но в основе которого таинственно и порою почти неуловимо скрыто Слово Христа, Его вторая заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя». Одновременно с этим Лесков анализирует и выявляет рогатки, стоящие на пути к этому гармоничному слиянию различных национальных характеров. Отдавая должное практической деловитости и западноевропейской гуманности просвещенных англичан Шкотов, он рассказывает о том, что их чисто рационалистические мероприятия, произведенные без учета русской самобытности, без достаточного уважения к ней, простою «диктовкой сверху» насильно навязанные дали эффект обратного порядка, вызвали бунт крепостных крестьян Перовских и Нарышкиных, вследствие чего Шкотам пришлось оставить свои должности. А воспламененная подлинно христианской любовью к страждущему человеку англичанка-квакерша (рапсодия «Юдоль») была понята и оценена теми же самыми крестьянами, потому что, руководствуясь любовью, она нашла общий с ними язык, хотя не знала ни одного слова по-русски. Полное фиаско потерпел и высокотрудоспособный, дельный немец в рассказе «Твердый характер», безоговорочно уповавший на превосходство своей системы над русской кажущейся бессистемностью.

* * *

В наши дни, в период хаоса и полной неразберихи в понимании соотношений отдельного человека и нации, различия между национальным и классовым мировоззрением и, наконец, непонимания переживаний нашего родного народа, неумения точно разграничить «русское» от «советского» не только иностранцами, но и многими из нас, более чем необходимо внимательное изучение творческого наследия Н. С. Лескова с упором на показанные им наши национальные черты. Нужно это и нам, но прежде всего иностранцам. Ведь в немецких университетах изучают в отдельных семинарах работы Ф. Достоевского и пытаются на их основе понять загадочную «русскую душу». К чему привела эта попытка Гитлера и Розенберга — общеизвестно. Не больной, двоеверный, беспрерывно борющийся с дьяволом в себе самом Достоевский, но светлый, чистый и радостный Н. С. Лесков сможет раскрыть ищущим ее, правду о «всечеловечной» русской душе, чуждой шовинизма, но до глубин проникнутой любовью к своему родному, к своей самобытности, к корням, глубоко ушедшим в русскую почву.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
16 июня 1955 года, № 282. С. 7

Любовь к русскому человеку
(К 60-летию со дня кончины Н. С. Лескова)

Старый деревенский поп, отец Никодим, столь многому научивший меня в мои соловецкие годы*, говаривал:

— Такую мать, какая тебе, примерно, конфетку или пряничек дает, такую мать любить совсем не удивительно. За конфетку и собачка на задних лапках пляшет. А вот если ты, сынок, примерно, свою бы мамашу увидел в луже, в грязи валяющейся, пьяной, расхристанной, да из лужи-то ее вытащил, домой бы свел, с ласкою, с бережением, обмыл бы, спать бы уложил... Вот тогда это значит, и была бы твоя к ней настоящая любовь!..

Отец Никодим говорил всегда очень просто, пользуясь, как притчами, бытовыми примерами, а интеллектуально вылощенный интеллигент формулировал бы сказанное им так:

— Любовь бывает двух родов. Одна — к отвлеченному, неведомому, порою быть может даже вымышленному объекту, которому приписыва-

* Об о. Никодиме Б. Ширяев рассказал в книге «Неугасимая лампада», в главах «Приход отца Никодима» и «Утешительный поп»; его личность установить не удалось.

ется целый ряд несвойственных ему качеств. А другая — к объекту, познанному полностью и с положительных и с отрицательных его сторон, осознанному и в его взлетах и в его падениях...

Вот именно такою второго рода любовью любил Россию Николай Семенович Лесков.

Но чем же была для него наша великая мать Россия? Отвлеченной, абстрактной идеей, как, например, для Бердяева? Или грандиозным историческим организмом, блистающим славою и великолепием, как для многих наших крупных политических деятелей? Или просто пейзажем, перелеском трепетных березок, сумеречным российским лугом левитановских тонов, какою нередко она представляется нам теперь в годы скитаний по миру?

Для Лескова эта наша общая мать была прежде всего *ее человеком*, тем, который выносил в своем сердце отвлеченную идею Бердяева, множество поколений которого оформило эту идею в блистательный исторический организм, *человеком*, бродившим но росистым лугам и березовым перелескам, жившим в них единой, неразрывной с ними жизнью, пережинавшим вместе с ними и радость солнечного утра, и тоску осенней ночи, и ведра и грозы, и благость и скорбь.

Этого *русского человека* на всех ступенях его развития, на всем протяжении социальной лестницы составляющего единый и великий русский народ, Николай Семенович Лесков знал столь полно и глубоко, как, вероятно, не знал никто до него и вряд ли кто-либо познает в будущем. Не только познает, но расскажет о нем, покажет его.

Восстановим в своей памяти хотя бы основные произведения Лескова и расставим в некотором порядке огромную галерею мастерски зарисованных им портретов этого *русского человека*. Мы видим в ней императора Николая I, понятого Лесковым и показанного не великим самодержцем, но заключенным в этой исторической форме *русским человеком с русскою душой*. Рядом с ним — его министры: граф Ланской («Однодум»), знаменитый финансист граф Канкрин («Совместители»), глава Русской Церкви того времени митрополит Московский Филарет, генералы, властные крупные помещики Плодомасовы и Протозановы, их крепостные всех разрядов, купцы всех мастей и оттенков, порою размашистые, сумасбродные «чертогоны», порою энергичные, умные созидатели и вместе с тем чуткие, отзывчивые к горю ближнего люди («Овцебык»), крестьяне-старообрядцы («Запечатленный ангел»), широкий подбор портретов обычного нашего среднерусского крестьянина, городское и сельское духовенство («Соборяне» и много рассказов), рядовые офицеры («Кадетский монастырь», «Человек на часах»)...

Можно было бы назвать еще много профессий, социальных положений, жизненных обстановок, внутренних душевных переживаний, в которых показывает нам *русского человека* Н. С. Лесков, но для этого не хватило бы времени ни у автора, ни у читателя этой статьи. Поэтому скажем коротко: *в творениях Н. С. Лескова перед нами проходит вся Русь-Россия в целом, в лице ее человека*, также взятого в целом, от зенита его взлета до бездны его падения. Но это не значит, что Н. С. Лесков разграничивает выведенные им типы на овнов и козлищ, на положительные и отрицательные. Подобное деление он производит чрезвычайно редко, в большинстве же берет каждый изображаемый им персонаж, полностью совмещая и положительные и отрицательные его черты, не противополагая одно другому, но сливая обе стороны в гармоничном сочетании их в *русской душе*.

Возьмем, например, пожалуй, наиболее любимого как самим Н. С. Лесковым, так и читателями, непомерного дьякона Ахиллу «русского богатыря с голубиной душой», возвышающегося до возможных человеку пределов в своей сыновней любви к протоиерею Савелию Туберозову. Но разве не опасно было бы сесть с тем же дьяконом Ахиллой за обеденный стол, особенно, если на нем стояло достаточное количество бутылок? Разве не впал в атеизм тот же дьякон Ахилла при своей поездке в Петербург и не покаялся ли в этом грехе дождливой осенней ночью приведенный к покаянию возлюбленным им учителем? А вот «Очарованный странник», он же «Несмертельный Голован». Каким огромным запасом всевозможных положительных качеств обладает его широкая русская душа, но вместе с тем в скольких смешных, нелепых, а порою даже противоречащих прописной морали положениях показывает его нам Н. С. Лесков. Рядом с ним — объятый любовью к «малым сим» тихий труженик Котин-Доилец, молящийся даже за воров, которые украдут у него плоды его труда, но за всю свою жизнь этот Котин-Доилец, несмотря на все свои старания, так и не научился подписывать свое имя.

Великая правда о *русском человеке,* сказанная Н. С. Лесковым, состоит именно в том, что он понял этого человека, *в совокупности темных и светлых его сторон,* дающих в созвучии именно ту «теплоту русской души», которую подтвердил своим святительским словом митрополит Филарет: «Блеску, свету, может быть, и маловато, да зато теплоты много в русском человеке».

Вряд ли возможно понять эту правду, а тем более показать ее рационально логическим путем. К ней молено придти только интуитивным порядком и основой этой интуиции может быть только любовь, та самая любовь к *русскому человеку,* которой дышит каждая строка каждого рассказа, каждой повести Н. С. Лескова. Эта одухотворяющая его любовь позволяет

ему проникать в самые глубины духовного мира и находить там приглушенную, засыпанную пеплом, но всё же тлеющую и греющую искру Божию. Даже в стане своих непримиримых врагов — русских нигилистов, набросав яркими штрихами целый ряд их портретов и публицистическом романе «На ножах», Лесков всё же сумел отыскать и показать положительный тип нигилиста, которому явно симпатизирует сам автор и возбуждает то же чувство в читателях. Я говорю в данном случае о капитане-севастопольце, фамилию которого я, к сожалению, позабыл, а романа под рукой у меня нет. Или «Леди Макбет Мценского уезда», совершившая множество отвратительнейших преступлений, но вместе с тем умевшая жертвенно любить и покоряющая нас силою этой своей жертвенности.

Констатируя присутствие искры Божией в душе каждого человека, Лесков беспрерывно показывает нам в длинной веренице подчас документированных им примеров особую, свойственную лишь русскому духу специфику горения этой искры. Он утверждает, что русский психический склад построен всецело на устремлении не к внешнему, как у большинства иных культурно-национальных типов (в особенности англосаксов), но внутрь самих себя; он показывает нам суровых и даже жестоких во внешних своих проявлениях людей, но вместе с тем внутренне устремленных и беспрерывно действенно идущих к совершенствованию своего «нутра», к организации своей души. Таковы, например, «Павлин», «Пугало», тот же «Очарованный странник»...

К моему глубокому сожалению, приходится очень коротко и сжато, лишь в общих чертах говорить в газетной статье на огромнейшую и глубочайшую тему — руссизме Н. С. Лескова, «руссейшего русака», под именем которого вошел он в нашу литературу. В настоящее время погружение в творчество Н. С. Лескова в целом для нас особенно ценно, т. к. именно его литературное наследие указывает на самый короткий, самый прямой и самый верный путь к познанию самих себя, как *русских людей,* как хранителей *русского национального типа*. Именно поэтому интерес к Лескову и по ту и по эту сторону Железного занавеса в наши дни беспрерывно вырастает, ибо наш период характерен тем, что переживаемая всем российским народом величайшая в его жизни трагедия подходит к концу и мы, пройдя сквозь муку кризиса, близимся к выздоровлению, к пониманию самих себя, как детей России, а вместе с тем и учимся любить ее, нашу мать не «за конфетку», а «в грязи лежащую», как говорил отец Никодим, и не только в грязи, но в оковах, в муках, в крови и на гноище.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
23 июня 1955 года, № 283. С. 7

Путь русской веры
(К 60-летию кончины Н. С. Лескова)

У кого из русских интеллигентов не было в детстве своей, русской же, няни? Была такая и у меня. Звали ее Татьяной Ипполитьевной, и она помнила еще крепостное время, вынянчив три поколения нашей семьи. Именно от нее я воспринял первоосновы русской народной веры.

— Что такое Святая Троица, няня? Кто она? — спросил я няню, будучи еще лет трех или четырех.

— Господь Бог Иисус Христос, Заступница Матерь Божия и Никола Угодник Милостивый. Вот она — Троица какая! — уверенно объяснила мне няня.

Знаю, что многие снисходительно улыбнутся этому ответу, а найдутся такие, что и осудят его. Но если бы эти осуждающие видели бы, как светло, чисто и даже радостно умирала моя няня (а я видел это), то они спрятали бы поглубже свою снисходительную усмешку.

Позже, в годы войны и революции, я видел немало таких же «русских смертей». Отмечены они и в нашей литературе Толстым, Тургеневым, Лесковым, и мне думается, что степень силы веры вернее всего измеряется именно нашим отношением к смерти, а то же отношение к переходу в вечность яснее всего обозначает национальный характер самой веры. Запад, католический, а еще более протестантский, пытался и пытается обосновать свою веру в Господа рационально и рационально же, умственно, логически согласовать с нею свою личную и общественную жизнь. Мы же устремляемся к Богу не умом, но чувством и тем же чувством, сердцем, эмоцией вводим в свое миропонимание религиозное начало. Сердцем. Чувством. Не потому ли, например, нам так мило трогательное, не уму, а сердцу говорящее Священное Предание, совершенно чуждое, непонятное англосаксам, отвергаемое ими.

Бесконечное множество реальные фактов интуитивного подчинение своих личных действий заветам Христа видел в среде русского народа Н. С. Лесков. Часть их он записал превратив в литературно-художественную форму, но не приукрашивав подлинного быта, не «помазуя елеем» и не впадая в напыщенную патетику. Просто записал. Повседневно. Буднично. Порою даже столь просто, что некоторые безусловно тоже верующие и глубоко православные его современники, как например, К. П. Победоносцев, осудили его за эту правдивую простоту.

Вот перед нами его «Очарованный странник», он же «Несмертельный Голован», занесенный Н. С. Лесковым в список «праведников», носитель Духа Христова в своем чисто русском народном сердце. Однако его бо-

гословские познания не выше и не полнее, чем были у моей няни, но вместе с тем он ощущает всею своей натурой незримые силы Добра и Зла, стремится слиться первыми и по мере сил борется со вторыми. Порою он творит это наивно в своей простоте и тоже вызывает снисходительную улыбку у строгих догматистов. Но сколько неисчерпаемой почвенной черноземной силы в этой его *творческой, действенной вере*. Целый ряд таких очень далеких от схоластического догматизма, но претворяющих в повседневные жизненные формы Слово Христово праведников показывает нам Н. С. Лесков: «Однодум», «Пигмей», целая группа офицеров-педагогов в «Кадетском монастыре», вероятно, очень удивившихся бы, если бы кто-нибудь назвал их праведниками, рядом с ними инженеры-бессребреники, гвардейские офицеры, христиански разрешившие сложный вопрос о свершившем воинское преступление часовом («Человек на часах»), носители и действительные проповедники Слова Христова — «Соборяне», населяющие «поповку» в каком-то глухом провинциальном городке, и, наконец, целый ряд документально подтвержденных портретов высших иерархов Русской Православной Церкви, зафиксированный Н. С. Лесковым в «Мелочах архиерейской жизни».

Мысленно сопоставив и связав меж собою все эти художественно выполненные Н. С. Лесковым, взятые им из современной ему русской жизни образы, мы увидим, как ясной чертой через всех них проходит утверждение *действенности русского народного православия и отталкивание его от буквенности* — сухой схоластической трактовки Слова Христова, а порою даже от догмы в тех случаях, когда она мертвенно давит на живую веру.

Перечтем «Некрещеного попа». Случилось так, что был рукоположен в священники не воспринявший крещения, но вместе с тем он оказался вполне достойным своего сана и был глубоко возлюблен паствой. Как поступить архипастырю в этом случае? Карать во имя догмы или простить, поняв по духу Христа? Умудренный Духом Святым иерарх не только прощает, но оставляет «некрещеного попа» при его служении. Или — другой аналогичный случай документировано приведенный Н. С. Лесковым в «Мелочах архиерейской жизни», когда архиерей советует исстрадавшейся женщине оставаться в незаконном брачном сожительстве, «не доверять» страшным словам о «предании покаянию», «возбранении безнравственного сожительства» и другим, которыми запугивали ее вымогавшие взятку консисторские дельцы. Что это — еретичество? Нет, это русская народная вера, русское народное православие, стремящееся к подлинному, жизненному добру, а не к отвлеченному, схематическому представлению о нем. Напомним, кстати, читателю, что именно «Мелочи

архиерейской жизни» вызвали гонение на Лескова «справа» в то время, когда он был уже затравлен «слева» нигилистами и ближайшими к ним.

Пышный, но сухой византийский схематизм, приверженность к букве, склонность к унаследованной византийцами от софистов традиции отвлеченных споров «како веруеши» совершенно чужды русскому народному православию Н. С. Лескова. «Веруй, — учит он, — веруй так, как подсказывает тебе твое сердце, твоя совесть и претворяй эту веру в большие и малые повседневные дела твои». Мил ему и сектант-гернгутер («Островитяне»), спасающий душу своей заблудшей жены, милы ему и плотники-старообрядцы трепетно хранящие дивный образ своего «Запечатленного ангела», и даже выкрадывающие его из алтаря, близка ему и англичанка-квакерша, спасающая голодающих («Юдоль») и язычник-якут, не знающий имени Христова, но идущий по Его стопам («На краю света»). Эта глубочайшая, всеобъемлющая веротерпимость при общей христианской направленности — глубоко русская национальная черта, основа нашего религиозного миропонимания. Не она ли позволила нам создать единую православную Империю из множества племен самых разнообразных вероисповеданий? Гений Н. С. Лескова понял и разъяснил нам эту черту нашего национального характера.

Но при всей полноте своей любви к человеку, при всем своем умении понять и простить его даже в грехе и грязи, Лесков непримирим в отношении ханжествующих подменяющих живую сущность евангельского слова внешней формой обряда. В таких случаях он не злобствует, не «клеймит», но предпочитает высмеивать лицемеров. В рассказе «Фигура» им тонко вырисован (на документальной основе) облик ханжествующего генерала Остен-Сакена, в рассказе «Шерамур» столь же остро и метко высмеяна впавшая в ханжество престарелая аристократка. Бесспорный праведник и страстотерпец на всем своем жизненном пути, протоиерей Савелий Туберозов («Соборяне»), весь свой век борется за возможность проповедовать живое слово Христово и безмерно унижен и оскорблен консисторскими чиновниками в рясах. Категория таких лиц, к глубокому несчастью нашему свившая себе крепкое гнездо в синодальной системе управления Русской Церковью, также правдиво показана нам Н. С. Лесковым в его документированной статье «Русское тайнобрачие».

Огромный, светлый и радостный мир русской народной веры раскрыл перед нами Н. С. Лесков. В этой творческой своей направленности он был первым в русской литературе, и Л. Н. Толстой в своем «Отце Сергии» лишь следовал по указанному им пути.

В простой, всегда окружающей нас повседневности Н. С. Лесков умел найти и показать читателю самые разнообразные проявления религиозно-

го строя русской души. Даже «Чертогон» — купец, прогулявший в диком кутеже целую ночь, ищет наутро очищения, припадая к стопам Заступницы Небесной, жаждет его в простоте своего сердца, ищет и находит почти что в чуде. Чудесно переправляется по обледенелым цепям через бушующий Днепр плотник-старообрядец для того, чтобы выкрасть отнятую у его единоверцев святыню — Запечатленного Ангела. Чудесно защищен от чеченских пуль душою мученицы-цыганки его «Очарованный странник». Чудесным видением помилован и избавлен от лишения сана молившийся *вопреки правилам* за самоубийц заблудившийся простенький попик.

Достойна чуда Господня простота русского народного православия, — утверждает Н. С. Лесков, — верь в простоте сердца, а всё остальное приложится. Не к умудренному в тонкостях закона, но к творящему добро в простоте своего сердца снисходит Господь. В своих пересказах греческих апокрифов Н. С. Лесков еще точнее подчеркивает это свое утверждение. Он повествует в них о праведных сердцах, хранящих Дух Господень при самой, казалось бы, неподходящей для этого внешности. Не высокие иерархи, но скоморох Памфалон оказывается избранным Господом, не мудрые архипастыри Александрии, но даже не христианин еще, а лишь оглашенный, преодолевший плотские страсти, ваятель языческих божеств сдвигает с места гору силой своей простой веры.

Эту бесхитростную простоту действенного устремления к Богу Лесков кладет в основу всего разнообразия показанного им национально русского типажа и всего уклада русской народной жизни.

Не так ли смотрели на их современность древние русские иноки-летописцы, видевшие во всех общественных и политических событиях того времени проявления воли Господней? Не так ли мыслили составители житии святых, в Земле Русской просиявших? Не так ли учили управлять собою и людьми Ярослав Мудрый и Владимир Мономах — первые русские интеллигенты?

Эту национально-русскую традицию религиозного восприятия текущей жизни и отражение ее в литературе, заглушенную и попранную западными влияниями, возродил в своем творчестве Н. С. Лесков. Вот почему теперь по обе стороны Железного занавеса устремляется к его повествованиям доведенный до пределов отчаяния русский народ и ищет в них указаний пути к единственному прибежищу истомленного страждущего духа — к всеобъемлющей. всепрощающей милости Господней, пути русских сердец по русской земле без чуждой заморской указки!

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
30 июня 1955 года, № 284. С. 7

Правда о Николае Первом

(К 60-летию со дня кончины Н. С. Лескова)

Гениальный художник слова Л. Н. Толстой дал в «Хаджи-Мурате» глубоко тенденциозную, злобную и, вместе с тем, лживую характеристику императора Николая I как человека. Великий грех против правды совершил в этом случае великий писатель Земли Русской. Но еще тяжелее для русских то, что Толстой во весь голос, пользуясь своим непомерным авторитетом, высказал лишь общее для российских литераторов мнение о царе-рыцаре, выпестованное в них друзьями и потомками мятежных гвардейцев-декабристов. Робкие голоса порочивших Николая I звучали в русской беллетристике и до того, а позже тенденциозный и насквозь лживый автор исторических романов Д. Мережковский оплел имя этого монарха сетью гнусной и безграмотной сплетни*.

Но звучал в русской литературе и иной голос, утверждавший совершенно обратное представление о внутренней, душевной жизни Николая Павловича и об его отношении к своим подданным. Этот голос принадлежал затравленному в то время либеральной критикой великому правдолюбцу Н. С. Лескову, проникновенно воспринимавшему все про явления русского духа в русских людях всех общественных ступеней, начиная с трона и кончая безродным нищим.

В повести «Инженеры — бессребренники» Лесков, на основе неопровержимых свидетельств, а частично и документов, запечатлел подлинный, правдивый образ Николая I, рассказав об его отношении к двум молодым офицерам Дмитрию Брянчанинову, позже епископу Игнатию, и безвременно погибшему Николаю Фермору. Повесть эта, замолчанная либеральною русской критикой, столь мало известна широкому русскому читателю, что я позволю себе вкратце пересказать ее.

Оба эти молодые офицеры окончили военно-инженерное училище в первые годы царствования императора Николая I, и Брянчанинова он своим вниманием даже до того, когда, будучи Великим Князем, посещал корпус. Однажды же взял с собой во дворец понравившегося ему кадета и представил его там своей Августейшей супруге. В этом выборе государь не ошибся: кадет Брянчанинов действительно был исключительной личностью, позже проявившей себя, но в иной, не военной сфере. С раннего детства он был глубоко религиозен и именно владевшее им мистическое чувство, толкнуло его уже после производства к выходу в

* Речь идет о романе Д. С. Мережковского «14 декабря» (1918), заключительной части трилогии «Царство Зверя».

отставку, да еще во время войны с Турцией. Казалось бы, отмеченный вниманием государя поручик Брянчанинов совершил позорный, недостойный русского офицера поступок, но вместе с тем государь, не допускавший вообще выхода в отставку молодых офицеров, в особенности же подававших большие надежды, каким и был Брянчанинов, всё же в отставке ему не отказал... Не отказал потому, что своим великим русским сердцем понял глубоко ее мотивы. Понял и предугадал государь Николай I также то, что этому молодому офицеру на избранном им новом пути предуготовано Господом свершение ряда благих дел. Поручик Брянчанинов пошел в монахи и разом выдвинулся в монастыре своею достойной подвижника жизнью, твердою, устремленною к Господу волею и широким кругозором религиозного мышления. Будучи еще молодым, он стал игуменом, облеченным доверием непреклонного столпа Русской Церкви митрополита Филарета. В монастырях того времени далеко не всё было ладно, и понадобился достойный руководитель для направления иноческой жизни даже в петербургскую Сергиевскую пустынь, на что указал митрополиту сам император, потребовав от него назначения туда безупречного игумена.

Митрополит Филарет предложил о. Игнатия Брянчанинова, и государь, вспомнив о полюбившемся ему кадете, утвердил это назначение. Он не ошибся. Брянчанинов не только выполнил возложенное на него дело, но создал образец для целой системы внутрицерковных мероприятий по упорядочению монастырского быта. В дальнейшем имя его прозвучало в религиозной литературе, как имя автора ряда проникновенных духовных сочинений.

Отметим и подчеркнем то, что подчеркивает в этом правдивом рассказе сам Н. С. Лесков: император Николай действовал в этом случае вопреки своему обычаю, допустив уход молодого офицера с военной службы. Но вместе с тем в своем отношении к Брянчанинову он показал глубочайшую интуицию и понимание духа и стремлений юноши.

Аналогичный поступок был совершен им и в отношении другого питомца военно-инженерного училища, Николая Фермора. Этот молодой военный инженер был столь глубоко честен по своей натуре, что не только сам не участвовал ни в каких сомнительных делах, но не мог переносить даже чужих поступков, противоречащих правилам честности. А инженерная среда того времени изобиловала такого рода поступками. Греха таить нечего: взятка была тогда обычным явлением, особенно же для интендантства и инженерно-строительных частей армии. Эта гнусная атмосфера довела военного инженера Николая Фермора до полного психического расстройства, и он был направлен из Варшавы, где слу-

жил, в Петербург для лечения. Там, гуляя утром по царскосельскому парку, Фермор встретил прогуливавшегося также в одиночестве государя. Государь по форме Фермора понял, что он приезжий в Петербурге, подозвал его и спросил, почему он не на месте своей службы. Фермор откровенно рассказал ему о своих переживаниях, о страданиях его души в силу того, что «нельзя служить честно». Казалось бы, столь рискованная фраза должна была возбудить гнев государя, на службе которому состоял Фермор, но и здесь, как в деле с Брянчаниновым, Николай I проник до самых глубин души своего подданного и со всею свойственной ему энергией пошел к нему на помощь. Он сам своим платком вытер слезы, струившиеся из глаз психически больного офицера, и решил прежде всего вылечить его, что и поручил собственному лейб-медику Мандту*. Но этот лейб-медик не оправдал доверия государя, отнесся к порученному ему делу халатно и, не достигнув никаких результатов, решил сбыть с рук опасного для его репутации больного (т.к. государь приказал ему еженедельно докладывать о ходе болезни Фермора), отправив его заграницу в какой-то прославленный немецкий санаторий. Государь принял это лечение на свой счет, и Фермор отбыл в Германию, но по дороге окончил жизнь самоубийством**.

В этих правдивых рассказах об отношении государя Николая Павловича к двум рядовым молодым офицерам Н. С. Лесков дает лишь отдельные частные случаи, взятые им из общего отношения государя к своим подданным. История и мемуары современников свидетельствуют нам о целом ряде проявлений глубокой чуткости и мягкосердечия императора Николая I в отношении целого ряда лиц, причем его душевные качества были тесно связаны с глубочайшей интуицией, предугадыванием судеб людских, даже духовным провидением.

Разве не понял он Пушкина при первой же встрече с ним, вызванным из ссылки в 1826 году, когда Пушкин, по существу, еще ничем не показал всей величины своего гения. Ведь в то время им были опубликованы лишь «Руслан» и несколько юношеских поэм и стихотворений.

Угадал он и гениального художника, создателя русского реализма, в мичмане Федотове, позволив ему уйти в отставку с военно-морской службы для того, чтобы стать студентом Академии Художеств. Он разрешил эту отставку также вопреки своим обычным правилам, просмотрев принесенные ему произведения молодого художника.

* Мартин (Мартын Мартынович) Мандт (1800–1858) — один из пяти медиков императора Николая I; согласно легенде, именно он дал яд императору в 1855 г.

** В начале 1840-х гг. Николай Федорович Фермор утонул в Балтийском море, упав с палубы корабля, однако достоверно неизвестно, было ли это самоубийством.

А Глинка? Ведь «музыкой для кучеров» обозвал творчество великого Глинки законодатель музыкальной критики того времени и сам музыкант граф Михаил Виельгорский. Только по решительному приказу государя оперы Глинки были приняты к постановке при противодействии всех «музыкальных светил» того времени.

А Гоголь с его более чем рискованным в атмосфере общества сороковых годов «Ревизором»? Не Николай ли Первый понял и оценил этого русского гения?

И, несмотря на ряд этих неопровержимых фактов, российские либеральные литераторы всех рангов всё же кидали и до сих пор еще кидают грязью в имя Николая I, как человека и как правителя. И тем более велика заслуга до сих пор еще не вполне понятого и недостаточно возвеличенного, бесспорного классика Н. С. Лескова.

«Знамя России», Нью-Йорк,
5 октября 1955 года, № 131. С. 3–4

Перекрашенный Лесков

Беспрерывно нарастающий по обе стороны Железного занавеса интерес к осмеянному и доведенному почти до молчания, затравленному псевдо-прогрессивной, псевдорусской интеллигенцией Н. Лескову — факт несомненный и глубоко показательный. Страдальчески отрезвляющаяся от тяжкого, почти двухсотлетнего похмелья русская интеллигенция ищет утраченных ею национальных идеалов и, прежде всего, пути к ним, сретения с их корнями нередко и очень нередко не только глубоко скрытыми, по погребенными под зловонными грудами искажений и клеветы современников и последующих поколений, пребывавших и, увы, до сих пор пребывающих под гипнозом «обязательной» для русского интеллигента «прогрессивной левизны».

Самым мощным клубнем самых сочных, подлинно национальных корней в русской литературе был, есть и остается непризнанный ее классик, глубочайший знаток России и ее людей, непревзойденный мастер русского языка Н. С. Лесков*.

Чуткая и несомненно самая мощная и гибкая в мире советская пропаганда учла и наличие тяги к Лескову и возможную опасность его влияния. Для борьбы с нею она применила не раз уже испытанный метод

* Изучение произведений Н. С. Лескова не было введено в курс средней школы, ни до, ни после революции. Русским «классиком» он не считался. Таково было влияние «прогрессивной» литературной критики на министерство народного просвещения. — *Прим. авт.*

перекраски писателя, если не в красный цвет «предтеч большевизма», то в красноватый полутон «попутчика» этих «предтеч». С этою целью были выпущены Госиздатом умело выбранные рассказы Лескова, в которых автор с присущей ему силой и правдивостью показывал самые темные стороны крепостничества. Произведения же Лескова, обличавшие деятельность современных ему подлинных предтеч большевизма («На ножах», «Соборяне» и пр.), равно как и отражавшие религиозное миросозерцание русского народа («Очарованный странник», «Запечатленный ангел», «Некрещеный поп» и др.) продолжали оставаться под запретом.

Подготовка к войне, заблаговременный учет необходимости спекуляции на национально-патриотическом чувстве народа побудили Госиздат к выпуску «Левши», «Твердой воли» и других произведений Лескова, мастерски выдержанных им в художественной форме русского народного «лубка», стиля, соответствовавшего в те годы текущим задачам советской пропаганды. Таким образом, подменив частями целое и отняв от него его основное содержание, советская пропаганда с присущей ей ловкостью рук фальсифицировала идейное наследство Н. С. Лескова и, исказив образ великого истинно национального писателя, заставила его служить своим целям.

Опыта для подобной операции было достаточно. Точно таким же способом уже на протяжении 20-ти (тогда) лет Пушкин переоборудовался во «врага монархии и лично Николая I», Гоголь — в «обличителя язв режима», Лермонтов — в «бунтаря-одиночку»… Примеров не счесть.

Фальсификация огромного богатства русской литературы — одно из наиболее мощных средств «перековки» подсоветского человека. Ни удивляться, ни негодовать в данном случае не приходится. Этот метод неразрывно и вполне логично связан со всей сущностью советизма. Он естественно вытекает из лживой в корне основы — марксизма — во всех его видах и подвидах.

Но приходится удивляться (можно и негодовать, при желании), что подобные методы — конечно, в ослабленной и реформированной форме, — находят себе место в противоположном лагере, у нас, в среде антикоммунистической эмиграции, и применяются не пресловутой «рукой Москвы», но лицами, в честности которых и в их антисоветской настроенности мы не имеем никаких причин для сомнения.

В статье «После юбилея» («Наша Страна») и нескольких других статьях, помещенных в менее значительных зарубежных изданиях, автор этих строк уже указывал на умышленное замалчивание эмигрантами-литературоведами монархического мировоззрения А. С. Пушкина. Те-

перь пришла очередь сказать то же и о Лескове. Даже несколько больше, т. к. здесь мы сталкиваемся уже не с пассивным замалчиванием, но с активным *подменом*.

Глубокий эрудит истории литературы, автор ряда ценных трудов в этой области, блестящий переводчик стихов и сам незаурядный поэт; по политическим взглядам, как говорят, монархист — г. И. Тхоржевский поместил в газ. «Русская Мысль» (№. 218) обширную статью о Н. С Лескове «Наируссейший русак о Западе».

В начале ее он четко и обоснованно охарактеризовал Лескова как «наирусейшего русака», «почвенника», величайшего знатока и мастера языка. И. Тхоржевский возвел его даже в ранг «самого влиятельного и излюбленного писателя по обе стороны рубежа», в чем, не отрицая величины Лескова, нам, «новым», приходится сомневаться уже потому, что «там» большая и ценнейшая часть произведений Лескова находится «под спудом» и недоступна широким кругам. Да и здесь, как ним пришлось уже убедиться, многие, к сожалению, знакомы лишь поверхностно с его огромным и прекрасным, многообразным наследством.

Далее автор обещал показать читателю политическое лицо Лескова, столь же справедливо отметив, что Лесков «Слава Богу, не профессионал-политик», не из «причинивших столько вреда России».

— Слава Богу, — скажем и мы, — слава Богу!

А вот далее, по словам г. Тхоржевского, оказывается, что Лесков «не отрицал героизма» революционеров 60-х годов, хотя терпеть их не мог и называл лепетунами. Непонятно как-то. За что же он ненавидел героев? Ссылки на документальный очерк о романтике-идеалисте Артуре Бенни*, мало убедительна, во-первых, потому, что этот экзальтированный англичанин никакой роли в русской жизни 80-х годов не играл, и, во-вторых, потому, что очерк написан Лесковым в защиту этого Бенни от клеветы этих, по мнению г. Тхоржевского, «героев», о чем сам г. Тхоржевский благоразумно умалчивает.

Дальше еще интереснее. Оказывается, что в «Соборянах», в «Некуда», «На ножах», «Обойденных» Лесков давал злые карикатуры на «мнимых» революционных борцов, следовательно, обличая в них провокаторов, примазавшихся и прочие эрзацы революционного подполья, «не отрицая героизма», если дословно принять утверждения г. Тхоржевского, *подлинных* борцов революции.

А мы-то думали…

---

* Arthur Benni (1840–1867), журналист, британский подданный; вел революционную агитацию в России, в 1864 г. арестован за недонесение о приезде в Петербург революционера В. И. Кельсиева и выслан из России.

Да впрочем не только мы, но и сама советская пропаганда до *такой* трактовки Лескова пока еще не додумалась!

Резко выпадающий из литературного колорита Лескова его фантастический нерусский роман «Чертовы куклы», г. Тхоржевский квалифицирует как «один» из лучших (если не лучший)! О вкусах не спорят. Но за этим следует категорическое утверждение г. Тхоржевского, что этот роман является «злой сатирой на императора Николая Павловича».

Это утверждение безусловно нуждается в основательном подтверждении, которое вряд ли найдется даже в арсенале глубоко эрудированного г. Тхоржевского. Иначе оно будет абсолютно равноценным аналогичному утверждению большевистских пушкинистов о том, что «Золотой петушок» является столь же злой сатирой на того же особо излюбленного «прогрессистами» императора.

Трудно поверить, что одна и та же рука великого правдолюбца Н. С. Лескова и рядила бы Николая I в шутовской костюм ничтожного деспота «герцога Фебуриса» и одновременно давала бы яркий и полноценный *документальный* очерк о глубокой чуткости и отеческой любви этого же императора к бедному морскому офицеру, а позже монаху и архимандриту о. Игнатию (Брянчанинову), в глубоком взаимном понимании двух высоких, благородных русских душ. Трудно, пожалуй, и невозможно поверить, чтобы Лесков безоговорочно охаивал главу и создателя того режима и той России, в которой именно он, «наируссейший русак» сумел найти и рассмотреть дивные образы «Печерских антиков», и бессребреника, правдолюбца и городничего Однодума, и понявшего и оценившего его вельможи Ланского... В этом проникновенном понимании «тюрьмы народов» Лесков досказал то, чего не смог выговорить Гоголь... не смог и умер, разрываемый этим недосказанным словом правды. Образ городничего-праведника, Однодума не опровергал столь же правдивого изображения городничего-лихоимца Сквозника-Дмухановского, но заполнял собою то пустое место в нарисованной Гоголем картине николаевской России, которое знал автор «Мертвых душ» и о красках для которого он исступленно молил Бога...

Эти краски и образы нашел Н. С. Лесков, видевший не «прекрасное издалека», а прекрасное вблизи, рядом, вплотную... в рясе, в мундире, в тюрьме, во дворце... в понятой им до дна России...

Понял до дна, ибо до дна и любил ее «наируссейший русак». Живую, правдошную, великую и многоликую.

Смотревшим лишь на ее отражение в кривом зеркале «тюрьмы народов» это понимание было недоступно. Для них она есть только «основной материал для злой книги де Кюстина», в чем, помимо воли сознается г. Тхоржевский. Или «Город Глупов».

Развивая дальше версию об отрицательном отношении к монархии Н. С. Лескова, г. Тхоржевский базируется на его конфликтах с К. П. Победоносцевым. Этих конфликтов между истинно российски-православным Лесковым и цезарепапистом Победоносцевым не могло не произойти. Они были прямо противоположны друг другу в своих взглядах на Церковь. Но обобщение внутрицерковной политики К. П. Победоносцева со значением монархии в жизни русского народа является актом личного измышления г. Тхоржевского. Лесков подобных обобщений не делал и, сталкиваясь во взглядах на деятельность церкви с обер-прокурором Св. Синода, не смешивал свое религиозное кредо с общественно-политическими взглядами и не подменял одно другим, как это пытается представить г. Тхоржевский. Российское самодержавие в целом также не стояло на точке зрения К. П. Победоносцева, о чем ясно свидетельствуют глубокие и обоснованные статьи проф. Зызыкина* («Наша Страна»).

Итак, лагерь борцов против «проклятого самодержавия» пополнился еще одной крупной фигурой: вслед за «декабристом» Пушкиным, «мятежником» Лермонтовым, «обличителем» Гоголем, «зеркалом русской революции» Л. Толстым туда угодил и Лесков.

Представлен к чину Госиздатом СССР, утвержден эмигрантом-литературоведом г. Тхоржевским, как говорят (злые языки?) монархистом.

О действиях не только «руки», но и «пальца» Москвы в данном тяжелом случае не может быть и речи.

Но чем же объяснить тогда подобное созвучие не только литературно-критической, но политической мысли?

Не тем ли, что «прогрессивно» настроенная часть русской интеллигенции и другая часть ее, принявшая «там» марксистско-ленинскую окраску, вскормлены молоком одной alma mater — псевдо-прогрессивной, псевдо-русской «общественной мысли», подменившей собой русское национальное народное сознание, ярким, мощным и точным выразителем которого был Н. С. Лесков, «руссейший русак», презиравший и ненавидевших современных ему и грядущих революционных «лепетунов», нашедший и показавший ценности человеческого духа, выношенного и созревшего в могучем организме самодержавной России?

Алексей Алымов
«Наша страна», Буэнос-Айрес,
8 июля 1950 года, № 48. С. 7

* См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

Русское наследство

На каждое крупное наследство, особенно если есть возможность оспаривать право на него, всегда находятся несколько претендентов. Таков закон жизни. Не избегло его и творческое наследие Н. С. Лескова, как в области его идейного содержания, так и чисто формальной, внешней его части.

Наследство богатое. Об этом теперь спора нет, хотя недалеко еще ушло то время, когда «прогрессивные» литераторы и критики XIX столетия, идейные отцы тех, кто теперь претендует на наследство Н. С. Лескова, злобно травили, брызжа своей «прогрессивной» слюной этого «мракобеса».

Попытаемся, насколько позволяют размеры газетной статьи, просмотреть и разметить как главные части самого наследия, так и претендующие на него в настоящее время литературные группировки.

Н. С. Лесков был, размечая грубо, на три четверти беллетристом и на четверть публицистом. Обе эти формы литературного труда тесно и гармонично сливались в его творчестве, никогда не противореча одна другой, но, наоборот, подкрепляя друг друга и порою сливаясь. Так, например, в беллетристических рассказах «Кстати» очень силен элемент публицистики и, наоборот, публицистическая статья об Артуре Бенни облечена в форму художественной литературы. В силу этого духовный мир Н. С. Лескова, его идейное кредо для нас совершенно ясно до мельчайших деталей, чего, например, мы не сможем сказать об Л. Толстом, в котором художник беспрерывно борется с мыслителем, что ставит богатырскую фигуру титана Толстого нередко в противоречие с самим собою.

Духовный мир творчества Н. С. Лескова освещен прежде всего неугасимой лампадой подлинно русского, народного христианства, подлинно народного православия.

Это подлинно-народное, чисто-русское понимание слова Христова Н. С. Лесковым привело его в свое время к конфликту с всемогущим тогда обер-прокурором Святейшего Синода К. П. Победоносцевым, поставило его под удары справа и как бы отделила его религиозное сознание от православия. Но только «как бы». Отрешенный от консисторской мертвечины Лесков в каждом слове своем оставался верным русскому народному православию и таким он стоит сейчас перед нами.

Из этого владеющего всей его душой христианского миросозерцания и миропонимания вытекает основная линия направленности всего творчества Лескова, его устремление к добру, поиск реального, земного

добра, воплощения христианских идей в человеческой личности и выражение их действием человека. Всю свою жизнь Лесков неутомимо искал в тогдашней русской действительности драгоценных крупиц Богочеловечества, умел находить их, умел их и показать читателю. Он видел пробуждение почти угасшей искры блага даже в душе «зверя», сурового и жестокого барина-крепостника, он находил ее даже в смешной фигурке чудачка «Шерамура», объятого стремлением накормить всех голодных, и в мещанской душонке хозяйки бистро, и в сердце русской няньки, понявших и оценивших этого чудачка. Он проникал и показывал читателям устремления к добру, направленность к нему властных барынь Плодомасовой и Протозановой, их победы над злом, рисовал и казалось бы бесплодные попытки осуществить в нашей жизни заветы Христа идеалистами «Овцебыком» и «Козой»... Казалось бы, только казалось бы, но и эти примеры, понятые Лесковым и показанные им в литературных образах, несомненно, принесли неведомые ему самому плоды.

Третья ведущая линия творчества Лескова — его глубочайшая русскость (неудачно это слово, но другого не могу найти). Здесь он снова глубоко народен и его русскость очень далека от громозвучных официальных лозунгов. Национальное самосознание Лескова неразрывно слито с его христианским мироощущением и в силу этого наполнено широкой терпимостью. Лесков абсолютно чужд шовинизму. Лесков умеет находить пути добра и к внешне чуждым ему, «руссейшему русаку», душам. Будучи абсолютно правдивым и не противореча самому себе, он показывает добро и в работе управляющего графскими поместьями англичанина Шкота, и в сердцах иноверных «еретичек»-квакерш или немца-гернгутера, сектанта, отщепенца, и в неосознанной им самим жертвенности дикого тунгуса, и в своеобразной, свойственной им бытовой правде пленивших «Очарованного странника» степных татар, и в глубоко христианской надбуквенной справедливости «владычного суда» над несчастным евреем.

В настежь открытой душе Н. С. Лескова содержатся основные черты той подлинно народное русскости, которая внутренне одухотворяла всё развитие государства Российского от княжества до Империи. Именно этой черте нашего национального характера мы, русские, обязаны тем, что на протяжении всей нашей истории мы не знали порабощенных нами и эксплуатируемых колониальных народов, подобно англичанам в Индии, французам в Сиаме, испанцам в Мексике, но, наоборот, подчиняя какую-либо народность нашей государственности, мы разом ставили ее на равную с нами ступень, а нередко, как это было в Грузии, Средней Азии и Финляндии, предоставляя ей крупные привилегии.

Главнейшими внешними, формальными чертами литературного наследства Н. С. Лескова являются документальность и глубочайшее, доходящее до виртуозности знание русского языка во всех его оттенках, умение пользоваться этими оттенками не ради словесных трюков, но для более яркой обрисовки показанных автором типов. В этих областях Лесков не знает соперников ни в русской, ни в иностранной литературе.

Очень многие из персонажей рассказов и повестей Лескова им точно «паспортизированы». Перед читателем проходят вельможи той эпохи: граф Канкрин, граф Ланской, серия гвардейских офицеров в рассказе «Человек на часах», армейские офицеры «Кадетского монастыря», дворяне и купцы, с которыми соприкасался Лесков по должности, и во всех них, в этих показанных им действительно живших лицах Лесков умеет находить ту же жемчужину добра.

В других своих персонажах, не паспортизированных автором, Лесков также стремится показать подлинность и целостность данного человека, полностью отрешаясь от стремления к синтетической компоновке собирательного образа, «героя эпохи», чаровавшего и привлекавшего к себе большинство русских писателей XIX века. Лесков знает, что подобный образ неминуемо будет однобоким, при неудаче — тенденциозным, ибо такового «героя» единоличника ни одна эпоха не имела, не имеет и не будет иметь. «Нельзя объять необъятное», констатировал еще Козьма Прутков.

Лесков подходит к характеристике эпохи по иному пути, дифференцируя ее типаж и одновременно суммируя его без отхода от жизненной правды во имя творческой фантазии. Он показывает свою эпоху не в отдельных крупных портретах, но во множестве беглых зарисовок с натуры, дающих в целом огромную галерею, сливающуюся при восприятии ее читателем в целостный, правдивый портрет-пейзаж.

Таков же Лесков и в характере языка, вернее ряда «языков», на которых он повествует читателю. Он слитен и здесь при всем его многообразии, и каждый оттенок его языка осмыслен, обоснован характером владеющего им персонажа. Лесков не чужд стилизационного словотворчества. Он прибегает к нему в «Левше», «Полуночниках», но не ради показа блеска своего высокого мастерства: выдумывая порой новые слова, вроде «мимоносок» или «мелкоскопа», он усиливает ими красочность зарисовок.

Таковы вкратце главные ценности творческого наследства Н. С. Лескова. Теперь о претендентах на них.

* * *

В наши дни возрождения подавленного тенденциями XIX века национального русского самосознания право быть зачисленным в наследники Н. С. Лескова означает причастность писателя к русской национальной литературе. Вот почему к этому стремятся и в советской России и в Зарубежье. И там, и здесь значение Лескова растет с каждым днем. Из третьестепенного писателя, каким он считался 50 лет тому назад, Лесков возвысился до степени классика, каким провозгласил его никто иной, как шеф пролетарских писателей М. Горький.

Но может ли кто-либо из подсоветских русских писателей быть причисленным к плеяде последователей Лескова, всё творчество которого было проникнуто христианским миропониманием? Атеизм, полное безоговорочное отрицание духовности человеческой психики заложено в основу социалистического заказа, которому подчинен каждый из русских подсоветских писателей. Наиболее близкий формально Лескову Б. Пильняк мог следовать ему только в плоскости словотворчества. Сделав робкую, осторожную попытку документации, отразив в повести «Смерть» М. В. Фрунзе, Пильняк сломал себе шею. Никто из подсоветских писателей не сможет внутренне врасти, стать созвучным направленности творчества Лескова. Диамат и марксизм пересекают в корне все попытки приблизиться к нему.

Крупнейшими из преемников Лескова в литературе Зарубежья считаются И. Шмелев и А. Ремизов, несмотря на их глубокое различие между собой. Творческий путь И. Шмелева пролегает по цветистому лугу чистой русской народной веры в правду и милость Господню — путаная тропа литературной работы А. Ремизова ведет по корягам прямо к смрадному болоту, тому самому, куда черти таскали столь любезную его сердцу одержимую бесами Соломонию.

Спасов Лик влечет к себе души русских людей, виденных и понятых И. Шмелевым. Колокольный звон зовет их к молитве и покаянию.

Бесов смрадных, вонючих кикимор ищет в психике тех же людей А. Ремизов и, если ему удается поймать за хвост одну из гадин, то он с радостью повествует об этом.

Кто же из этих двух писателей внутренне созвучен Лескову?

Столь же различны и внешние стороны их литературного мастерства. Словотворчество И. Шмелева построено полностью на базе современного ему народного русского языка. Оно жизненно. Оно правдиво и обосновано. Уродование русского синтаксиса и морфологии русского слова А. Ремизовым не имеет этой базы. Для него это лишь литератур-

ный прием, трюк, выверт, которым он пытается поразить и заинтересовать читателя. Словообразование для него не средство к углублению мысли, но самоцель. Лишь очень поверхностный и близорукий критик сможет допустить в ремизовском словоблудии преемственность от проникновенного понимания души слова, каким обладал Лесков. Я глубоко уверен, что если бы «Пути небесные», «Богомолье» или «Лето Господне» попали бы сейчас подсоветскому русскому читателю, они потрясли бы его до глубин души. Сохранившиеся в советских библиотеках писания А. Ремизова не читаются там. Современная русская молодежь то с недоумением, то с отвращением отбрасывает эти книги.

Вторая мировая война не только перетряхнула до самых глубин идейный мир русского Зарубежья, она влила в него новые струи свежей крови. Вопрос о чистоте этой крови, о том, течет ли она в жилах «кроликов» или современных подлинных русских людей, не входит в тему этой статьи. Факт лишь тот, что в Зарубежье русской крови прибыло, что его идейный мир расширился, в него вступили новые представления, новые устремления; что эти концепции уже нашли свое отражение в художественной литературе, что выдвинулась группа новых писателей и публицистов, голос которых с каждым днем звучит всё громче и уверенней. Эти факты, мне думается, неоспоримы и очевидны.

Кто же они, эти неофиты русского Зарубежья? Куда они направляют свой шаг? Какие цели влекут их к себе? От чего они отталкиваются?

Два-три года возможности вести литературную работу — слишком малый срок для выявления лица писателя. Он позволяет наметить лишь основные, наиболее яркие и характерные его черты, но не дает еще всей полноты портрета. Только в таком аспекте мы и можем пока рассматривать творчество новых сил, вступивших в литературу русского Зарубежья. Но и эти штрихи позволяют сделать некоторые сообщения, наметить те линии направленности, по которым устремляется большая часть новых литературных работников.

Во-первых, подавляющее их большинство проникнуто христианским миропониманием, из чего ясно их внутреннее отталкивание от язычества и демонизма пресловутого «серебряного века», одним из видных представителей которого является в настоящее время А. Ремизов. Они ищут жемчужин добра в душах современного русского человека и находят их в сердцах своих современников, так же как в современной им среде находили Лесков и Шмелев. Нащупал же Л. Ржевский русые косы тургеневской Лизы под комсомольской косынкой девушки из бункера, разглядел же С. Юрасов черты Платона Каратаева на лице красноармейца Василия Теркина, «не один же я в России верен Богу остаюсь»,

сказал ему этот весельчак и балагур: смогли же отыскать отблески света Христова даже в темных глубинах чекистских сердец Н. Нароков и Г. Климов*? Каким путем кем указанными тропами шли они? Не Лесков ли, неутомимый искатель добра указал им эту дорогу?

Вторая черта, объединяющая новых писателей Зарубежья, — их тяга к России сущей, к двумстам миллионам русских людей. Не к левитанскому пейзажу и не к «темным аллеям», не к билибинскому петушку и не к вывернутому наизнанку псевдорусскому ремизовскому словечку, а к ее человеку, к его сердцу, близкому и родному им. «Дорогие мои, любимые, где вы? Что с вами? Живы ли?», просто и родственно обращаются к ним Аглая Шишкова («Чужедаль»).

Новые писатели Зарубежья знают все язвы, все уродства жизни за Железным занавесом, и всё же непреодолимо тянутся к людям, им замкнутым. Эта тяга ярко отражена в небольшом, но глубоком и правдивом рассказе Н. Тарасовой «У границы» («Грани», № 17); ею проникнуты колоритные этюды Свена; она светит со страниц двух книг С. Юрасова. Это любовь, любовь не к абстрактному, порожденному ностальгией образу родины, но к ее подлинному, живому, сущему в ней человеку. Лесковская любовь. Та, которая дала ему проникновенную силу, чтобы увидеть, суметь увидеть библейского правдолюбца в лице городничего Однодума, грозную трагедию леди Макбет в уездном городе Мценске.

И еще одна черта того же портрета — чисто русское умение понять иноплеменника, увидеть в нем человека, даже если этот иноплеменник — враг. Немцы, зарисованные Л. Ржевским на страницах романа «Между двух звезд», или показанные Климовым в его рассказах, Юрасовым в его повести «Враг народа», эти немцы не шаблонные «фрицы» и боши, какими изображают их пошляки, полностью подчинившиеся французскому влиянию (по месту своего жительства), это люди, прежде всего люди. Видеть человека в иноплеменнике заповедал нам тот же Лесков.

Говорить о преемственности внешности лесковской литературной традиции, о восприятии характера его языка не стоит. Пусть этим занимаются рамолические** последыши «серебряного века». Мы, оттолкнувшиеся от его рафинированной лжи, ставим содержание выше формы. Сердце для нас привлекательнее щек и губ. Щеки и губы легко подкрасить или напудрить, но сердца-то никто не напудрит...

...Если бы мне предстояло начертать девиз на щите нового литератора русского Зарубежья, я предложил бы такой: «Идти от Лескова —

* См. о них и других ниже упомянутых писателях в Приложении «Литераторы-эмигранты».

** Рамолик, рамоли, — слабоумный; от франц. *ramolli*, «расслабленный».

придти к Лескову». Ведь мы, новые, ушли из России, чтобы к ней придти. Это наш путь. А Лесков — светоч на нем. Он весь от Руси и Русь в нем, в его творческом наследии.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
17 октября 1953 года, № 196. С. 4;
24 октября 1953 года, № 197. С. 4

Благословленный Лесковым
(К 50-летию со дня кончины А. П. Чехова)

Среди множества воспоминаний современников об А. П. Чехове мы не находим ни одного, написанного его товарищами по университету. Словно он был совсем незаметен в среде студенчества. А между тем А. П. Чехов начал свою литературную работу, будучи еще на первом курсе, и имя Антоши Чехонте было широко известно читателям наиболее ходких в то время юмористических журналов, среди которых, несомненно, было много студентов. Лишь из вторых рук мы узнаем, что А. П. Чехов был прилежным студентом, не пропускавшим лекций, не манкировавшим клиническими занятиями... и только. В общественной жизни университета он, по-видимому, не принимал никакого участия. А ведь тогда там было бурное время: именно в те годы революционные настроения начинали овладевать студенчеством, происходили «студенческие беспорядки» на политической почве, организовывались первые землячества, первые кружки марксистов и «народников», подготовлявшие первые контингенты будущих эсдеков и эсеров. Но всё это проходило мимо студента Антона Чехова и молодого писателя Антоши Чехонте.

— Работать надо... работать! А всё остальное к черту! — скажет он потом и добавит в другой откровенной беседе — Студенты бунтуют, чтобы изображать из себя героев и легче за барышнями ухаживать.

А. П. Чехов требовал от людей не порывистой «с горением» работы, как у «героев» или тех, кто стремился ими стать, а упорной, методической, той, которую выполняет на своем месте обыкновенный человек, той, которую давал сам А. П. Чехов, написав за свою недолгую жизнь более тысячи рассказов, повестей, пьес и пьесок.

В конце прошлого века и в начале текущего в России были очень распространены открытки с группами модных в то время писателей. В центре подчеркнуто «пролетарский» Максим Горький, в блузе, с широким «революционным» поясом; над ним — его повторение — «подгорький» бездарный Скиталец, в такой же блузе и в пенсне, рядом молодой, тогда

еще с интеллигентной бородкой и устремленными вдаль, полными лирической грусти глазами Бунин; с другой стороны — премированный красавец в щегольской поддевке, кумир гимназисток Л. Андреев, а за ним — явно пророческого вида вдохновенное лицо Мережковского... Сразу видно, что писатели, учители, властители дум, сеятели вечного... Только сбоку верхнего ряда примостился неизвестно кто. Не то земский врач, не то бухгалтер. Так себе, обыкновенный человек с ласковой, слегка иронической улыбкой. Совсем на писателя не похож. Но это Антон Павлович Чехов.

Таким обыкновенным, простым, лишенным тени претенциозности человеком вступил А. П. Чехов в русскую литературу в тот «учительский» ее век, когда русский читатель упивался злобным издевательством над Россией многоумного и хитроумного Щедрина, внимал «гласу народному» из уст Михайловского и Короленко, верил каждому их слову; когда «направление» (понимай, конечно, антинациональное и антиправительственное) было, безусловно, обязательным для каждого писателя, а талант был делом второстепенным; когда «вторая» цензура «прогрессивной» критики сводила к нулю «первую» правительственную цензуру и легко приводила к молчанию даже такие величины русской литературы, какой был Н. С. Лесков.

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.

В то, более чем трудное для талантливых писателей, время простым, обыкновенным человеком вступил в круг «учителей», не пытаясь никого поучать, безнаправленческий и, следовательно, бесталанный, никчемный юморист Антоша Чехонте, да и вступил в нее не через «прогрессивные», а через иные двери, гостеприимно открытые ему националистами-почвенниками Сувориным и Лейкиным*.

* Алексей Сергеевич Суворин (1834–1912) — журналист, писатель, театральный критик, драматург, издатель. Учился в Воронежском Михайловском кадетском корпусе, после службы работал учителем уездного училища. Рано начал печататься и был приглашен в Москву стать сотрудником «Русской речи», сотрудничал в «Русском инвалиде» и «Санкт-Петербургских ведомостях». С 1872 г. издавал популрный «Русский календарь». С 1876 г. издавал газету «Новое время», ставшую одной из крупнейших и популярных газет своего времени; в 1911 основал также одноименное издательство. С 1985 г. был председателем литературно-художественного общества, которое основало знаменитый Малый (Суворинский) театр; после революции в этом здании располагается Большой Драматический театр (ныне им. Г. Товстоногова).

Николай Александрович Лейкин (1841–1906) — писатель, журналист. Издавал в Санкт-Петербурге юмористический журнал «Осколки», в котором были изданы первые рассказы А. П. Чехова. Автор популярной книги «Наши за границей», нескольких пьес, и огромного количества очерков из купеческого и мещанского быта.

Результат такого вступления не замедлил быть отраженным «прогрессивной» критикой. А. П. Чехов был объявлен третьеразрядным писателем. Да и вообще писатель ли он, сомневались Михайловский и Скабичевский — двух строк в критической статье для такого безыдейного писаки достаточно... Литературная жизнь Антона Павловича Чехова в ее первые годы висела буквально на волоске.

Но кто же угадал в этом, казалось бы, незначительном, скромном, простом Антоше Чехонте гигантский талант классика русской литературы Антона Павловича Чехова? Властители дум? Сеятели разумного, вечного? «Прогрессивные» генералы от критики?

Нет. Затравленный в то время этими самыми генералами, но не сложивший оружия «руссейший русак» Н. С. Лесков.

В середине октября 1883 года редактор журнала «Осколки» Н. А. Лейкин познакомил Н. С. Лескова со своим скромным молодым сотрудником Антошей Чехонте. Лесков уже знал эту фамилию по журналу и, несмотря на всю строгость свою к молодым литераторам и даже некоторую озлобленность характера, вызванную жестокой борьбой с «прогрессивными» современниками, при первой же встрече подарил «милому юноше» свою книгу «Сказ о тульском косом левше и стальной блохе» с надписью, датированной 12 октября 1883 года. А в один из следующих дней, после какого-то литературного обеда и долгой, задушевной беседы с юным Чеховым, полушутливо благословил его на служение русской литературе:

— Помазую тя елеем, как Самуил помазал Давида. Пиши, — сказал он, как сообщает в своих воспоминаниях сын писателя, А. Н. Лесков.

В дальнейшем Лесков внимательно следит за творчеством Чехова. В конце того же года он пишет Суворину: «Чехов хорошо вырабатывается». И снова ему же через некоторое время: «У Чехова очень хорош этюд “Именины” в последней книжке “Северного Вестника”».

Юморист-миниатюрист Антоша Чехонте вырастает в драматурга А. П. Чехова: на сцене «Иванов». Лесков в восторге от него. «Учительская пьеса, — пишет он, — всё хорошо: и замысел, и типы, и язык у всех живой, у всех свой, и само название обобщающее, самое родовое... К сожалению, слишком много у нас Ивановых, этих безвольных, слабых людей, роняющих всякое дело, за которое они возьмутся. Умная пьеса! Большое драматургическое дарование».

Но «направленцы» всё еще упорно не хотят признать таланта Чехова, и Лескову приходится бороться за судьбу благословленного им юноши.

— Я иногда тороплюсь радоваться, — пишет он — что приходит к делу новый человек со вкусом, умением и пониманием того, для чего

стоит писать; но я не всегда ошибался, я первый гласно указал на Чехова... И раньше многих заскорбел об удивительном для меня упадке Короленко. Я не думаю, чтобы я увлекался моей любовью к литературе до того, чтобы делать из мухи слона.

Но не из мухи, а из талантливого А. П. Чехова делает Н. С. Лесков «слона» русской литературы, вернее, видит его в нем, провозглашая «гением» Антона Чехова на встрече нового 1888 года в редакции «Нового Времени».

Спор о Чехове продолжается даже после появления в печати знаменитой «Палаты № 6».

— Разве это неважно, как добрый и образованный человек погибает в провинции? За одну фигуру безжалостного сторожа Никиты редактору надо хвататься обеими руками за рассказ Чехова. Заграницей он бы стал выше мопассановских. Он сделает честь любой литературе, и если такими рассказами не удовлетворяются, то уж извините! «Палату № 6» я почитаю за прекрасное произведение, а вы за очень плохое, — пишет Лесков «прогрессивному» критику Фаресову. И с этой, не раз высказанной, уверенностью не только в силе, но и в благой направленности таланта А. П. Чехова, Лесков сходит в могилу в 1895 году, когда талант Чехова становится уже общепризнанным.

— О таком писателе и поговорить приятно, — восхищается очарованный «Степью» Л. Н. Толстой и ласково смотрит на Чехова из-под насупленных седых бровей.

Интересно отметить, что Чехов лечил, как врач, смертельно больного Лескова и получил от него, в качестве гонорара, книгу «Соборяне» с надписью «Благополучному доктору Антонио от автора».

В наши дни, когда вопреки утверждениям изгонявших Лескова из русской литературы «прогрессистов», величие его таланта и значение его творческого наследства признано по обе стороны Железного занавеса, и на право считать себя его наследниками претендует немало российских литераторов, нередко без всяких к тому оснований, установление преемственной связи между Чеховым и Лесковым приобретает особое значение.

Есть ли она? В чем она, если существует? Воспринял ли и как воспринял А. П. Чехов благословение Н. С. Лескова?

Оба они — и благословивший Н. С. Лесков и благословленный им А. П. Чехов — вступили на тернистый путь литературного творчества простыми русскими людьми, не претендующими ни на какие высокие учительские звания и не пытавшимися кого-либо и в чем-либо поучать, не выпячивавшими на первый план своего «направления».

Оба они не искали каких-то исключительных героев, подобных ходульным, чванливым и насквозь фальшивым манекенам Чернышевского, приспособленным для примерки революционных плащей. Не стремились они и к изображению до тошноты нудных, но бесспорно идеологически выдержанных «светлых личностей» Шеллера-Михайлова или пришедших позже изломанных неврастеников Л. Андреева и, предельно тенденциозных, но далеких от жизненной правды персонажей Горького, или вывернутых наизнанку гомункулусов Ремизова и к нему близких. Писали они оба просто, о простых людях оставаясь сами прежде всего простыми русскими людьми.

— Надо писать просто, и каждый должен говорить своим собственным, а не чужим языком, — утверждал Чехов, — достаточно взять один кусок текущей жизни и своими словами описать его. Нет маленьких явлений — есть маленькие писатели.

Сквозь эти, казалось бы, действительно мелкие явления, подчас шутливо показанные им в целой тысяче отдельных кристаллов, Чехов умел видеть далеко и глубоко. Умел видеть и показать Россию, так же, как и своих кристаллах видел и показывал ее подлинное лицо Н. С. Лесков, ничего от себя не выдумывая и ничего из виденного им не извращая.

Чехов так же, как Лесков, безмерно боялся даже ничтожной фальши в своих рассказах и безжалостно вычеркивал из них всё то, что могло бы показаться фальшивым.

Оба эти писателя видели и показывали Россию, безмерно любя ее, с ее «обыкновенными» людьми; любили ее, видя и глубоко понимая все их недостатки, но не клеймили их за то презрением, а выискивали средство к их оздоровлению. И оба они находили это средство в повседневном, обычном творческом добре, в посильном, пусть даже мелком служении ему, без трескучих фраз, без громкозвучных лозунгов, без блистательных целей, но в реальном добре, ощутимом для ближних, для «малых сих».

«Прогрессивная» критика утвердила за Чеховым титул бытоописателя хмурых, пошлых, поглощенных буднями и засосанных ими обывателей. Но разве не видел он светлого луча, даже многих лучей в этих буднях?

Вот источающее безмерный запас жертвенной любви сердце «Душеньки», понятой и высоко оцененной Л. Толстым. Это будни? Да, будни, уездные русские будни, и в них — немеркнущий свет любви.

Вот «Студент», сливающийся с народной стихией в Светлую Пасхальную ночь, объединенный с ней в общей любви и общем понимании жертвы Христовой. Это будни? Да, будни русской жизни, «обыкновен-

ное» дело «обыкновенных» людей. Не героев, нет, не героев — простых русских людей.

Вот трогательно-смиренный в своем человечестве «Архиерей» и его старушка-мать. И они — «обыкновенные» русские люди.

Вот, наконец, удачливый купец Лопахин («Вишневый сад»), но разве не от всей души старается он помочь не умеющим жить Раневским, «барыне», утеревшей ему разбитый нос, когда он был еще босоногим мальчишкой? Разве и в нем не видит и не показывает А. П. Чехов света русской души и ее тепла?

Даже «В овраге», в глухом, в глухом, суровом овраге русского быта различает Чехов малый, внесенный туда свет и ощущает большое, разлитое им тепло.

— В русском человеке света мало, а тепла много, — говорил митрополит Филарет.

Этот малый, неблещущий свет и большое излучаемое им тепло умел видеть и воплотить в своем творчестве Антон Павлович Чехов, благословленный на литературный подвиг великим ловцом душ перед Господом Николаем Семеновичем Лесковым.

«Знамя России», Нью-Йорк,
15 июня 1954 года, № 109. С. 8–10

Диагноз доктора Чехова

— Странное существо русский человек, — сказал однажды А. П. Чехов А. М. Горькому. — В нем, как в решете, ничего не задерживается. В юности он жадно наполняет душу всем, что под руку попало, а после тридцати лет в нем остается какой-то серый хлам. Чтобы жить по-человечески, надо же работать! Работать с любовью, с верой. А у нас не умеют этого. Архитектор, выстроив два-три приличных дома, садится играть в карты и играет всю жизнь. Доктор, если он имеет практику, перестает следить за наукой, ничего, кроме «Новостей терапии», не читает и в сорок лет серьезно убежден, что все болезни — простудного происхождения. Я не встречал ни одного чиновника, который хоть немножко понимал значение своей работы: обыкновенно он сидит в столице или в губернском городе, сочиняет бумаги и посылает их в Змиев или Сморгонь для исполнения. А какое действие произведут они в Змиеве и Сморгони, об этом чиновник думает так же мало, как атеист о мучениях ада. Сделав себе имя удачной защитой, адвокат перестает заботиться о защите правды, играет на скачках, ест устриц и изображает собой тонко-

го знатока всех искусств. Актер, сыгравший сносно две-три роли, уж не учит больше ролей, а надевает цилиндр и думает, что он гений...

В этих, как всегда, правдивых словах великого правдолюбца им самим или передававшим их в своих воспоминаниях Горьким допущена одна явная неточность, ясная из смысла всей этой речи: А. П. Чехов, сказав «русский *человек*», подразумевал под ним русского *интеллигента* его эпохи. Ведь приведя ряд примеров, А. П. Чехов указывает только на лиц так называемых интеллигентных профессий: адвокатов, врачей, актеров и т.д., т.е. на русскую, главным образом, «прогрессивную» интеллигенцию его времени — эпохи «генеральной репетиции» русской революции, первого пятилетия XX века.

Но Чехов — отнюдь не «обличитель». Герценовская тенденция критики «с другого берега» ему абсолютно чужда. Он живет на «этом берегу», в России, в ее среде, вместе с нею, слитно и неразрывно. Вместе с ней он любит, страдает, болеет ее болезнями и радуется ее радостями. Еще более чуждо ему злобное ненавистничество Щедрина. Ни в одной строчке Чехова нет злобы. Он — врач, видящий болезнь пациента, но не осуждающий его за эту немощь, какого бы происхождения она ни была.

— Собственно говоря, подлецы тоже несчастные люди, черт их возьми!

Именно за этот отказ от осуждения, за полное отсутствие злобной сатиры, даже оттенка ее, в мягком, деликатном и чутком юморе сам Чехов был осужден своими «прогрессивными» современниками, в лице их главы, псевдонародника Михайловского и его приспешников, как писатель «без направления» и, следовательно, безыдейный, никчемный...

Но была ли действительно у Чехова какая-либо направляющая его творчество линия, которой он следовал бы всю жизнь? Или он был действительно мягкотелым Маниловым своей эпохи, неспособным к утверждению своей творческой воли?

Ответ на это мы находим в его личном отношении к «прогрессивным» судьям и критикам.

— Попытка свести Чехова с Михайловским и Глебом Успенским не удалась, — свидетельствует В. Короленко в своих воспоминаниях.

И не могла удасться. Чехов был подлинно народным писателем и тонко чувствовал всю фальшь «народников». Знал цену и их критике.

— Только Скабичевский однажды произвел на меня впечатление, — сказал Чехов Горькому, — он написал, что я умру в пьяном виде под забором.

А ведь Скабичевский в то время владел умами молодежи, именно той молодежи, из которой выросло в дальнейшем «февральское» поколение русской «прогрессивной» революционной интеллигенции.

Истинным направлением творчества А. П. Чехова было неизменно владевшее им стремление к правде в литературе. Этому направлению он следовал всю жизнь, не поддаваясь никаким чужим влияниям, даже всецело господствовавшим тогда в русской литературе революционным настроениям. Знал Чехов и им цену.

— Я не понимаю, почему вся молодежь без ума от Горького, — говорил он А. Сереброву (Тихонову), — вот вам всем нравится его «Буревестник» и «Песня о Соколе». Но ведь это еще не литература, а набор громких слов. Я знаю, вы мне скажете — политика! Но какая же это политика? «Вперед без страха и сомненья»! А куда вперед — неизвестно?! Если ты зовешь вперед, надо указать цель, дорогу, средства. Одним «безумством храбрых» в политике никогда ничего не делалось. «Море смеялось»... Море не смеется, не плачет, оно шумит, плещется, сверкает.

А о революционных декадентах типа Бальмонта с его «горящими зданиями» Чехов высказался еще определеннее:

— Жулики они, а не декаденты. Гнилым товаром торгуют... Это всё они нарочно придумали, чтобы публику морочить... И ноги у них вовсе не «бледные», а такие же, как у всех, волосатые...

— Ну, какой же Леонид Андреев писатель? Это просто помощник присяжного поверенного, который ужасно любит красиво говорить.

«Прогрессивная» критика по ту и по эту сторону Железного занавеса до сих пор умышленно не отметила одной чрезвычайно важной черты в творчестве А. П. Чехова: ни в одном из тысячи его рассказов, ни в повестях, ни в сценических произведениях даже отдаленно не показан тип революционера современной Чехову эпохи. Большевистские литературоведы старались изо всех сил установить свое родство с А. П. Чеховым («Вишневый сад») и брошенную вскользь фразу Вершинина («Три сестры) о прекрасной жизни, которая наступит через триста лет. Однако даже Горький был вынужден признать несостоятельность такой «революционности» А. П. Чехова:

— Дрянненький студент Трофимов красно говорит о необходимости работать и бездельничает, развлекается глупым издевательством над Варей, работающей не покладая рук... Вершинин мечтает о том, как хороша будет жизнь через триста лет, а не замечает, что около него всё разлагается... — сказал он.

Чехов с предельной ясностью видел всю фальшь революционной интеллигенции своего времени:

— Студенты бунтуют, чтобы прослыть героями и легче ухаживать за барышнями, — говорил он Сереброву, — а потом сами становятся

прокурорами по политическим делам, — добавил он в разговоре с Елпатьевским*.

— Хорош белый свет, — сказал он Щепкиной-Куперник, — одно только в нас нехорошо: *мы*. Как мало в *нас* справедливости! Как плохо мы понимаем патриотизм. Мы, говорят в газетах, любим нашу родину... А в чем выражается эта любовь? Вместо знаний нахальство и самомнение паче меры, вместо труда — лень и свинство. Справедливости нет... Работать надо, а всё остальное к черту!..

Но кто же эти «мы»? Кого зачисляет А. П. Чехов в разряд «нас»?

Современную ему русскую «прогрессивную» интеллигенцию, в ряды которой он был почти насильно втянут неизбежно окружавшей его литературной средой. А это окружение приложило все силы к тому, чтобы оторвать А. П. Чехова от консервативно-почвенной группы Суворина и Лейкина. Доходило буквально до скандалов, обструкций, которые устраивали «прогрессисты» на квартире Чехова пришедшему к нему нововременцу Меньшикову (воспоминания Елпатьевского). Но и влившись в их русло, сблизившись с группой Горького, с петербургскими «прогрессистами», с Короленко и ловкачом Гольцовым, правдолюбец Чехов остался верным самому себе: певцом «революционной бури» он не стал ни в какой мере. Предпочел промолчать о типе революционера в данной им энциклопедии русской жизни начала века.

Почему промолчал? — приходит невольно вопрос.

Ответ на него дает сам характер творчества А. П. Чехова. Обличителем он не был, а в этом случае нужно было или обличать, или молчать. Не мог он и плыть «против течения» в предреволюционные годы начала века. Сил не было. Последний градус чахотки. Оставалось только закрыть свои усталые глаза и «не заметить» крикливого урода.

Осуждать Чехов не мог, не умел и не хотел. Он и в литературе оставался врачом и как врач, прошел по бесконечному ряду палат, заполненных смертельно больной русской интеллигенцией. Ведь крестьянству и буржуазии Чехов уделил едва ли больше пяти процентов своего внимания. Там натуры здоровые, сами поправятся, а он, врач, идет к больным и ищет для них лекарства.

Идет, он, идет по палатам... Номер один, номер два... номер шесть... страшная номер шесть! А не страшнее ли ее палата «Ионыча», в которой «прогрессивная» интеллигентка, борясь с «предрассудками», зажигает

* Александр Николаевич Тихонов (псевдоним Серебров; 1880–1957) — литератор, по образованию инженер, автор мемуаров «О Чехове» (1935); Сергей Яковлевич Елпатьевский (1854–1933) — народоволец, врач, писатель; лечил Чехова в Ялте и написал о нем в книге воспоминаний «Близкие тени» (1909).

три свечи и читает в их свете бездарный, но «направленческий» роман, а ее пошляк-муж глубокомысленно изрекает: «Недурственно»? Не страшнее ли она потому, что именно в этой тине, отравленной ядовитыми испарениями, гибнет молодая жизнь их дочери?

Дальше идет доктор Чехов. Вот палата «Дуэли». До какого глубокого падения должен был дойти современный Чехову русский интеллигент, чтобы быть принужденным работать после безмерного унижения, под дулом пистолета...

Дальше. Ряд серых, скучных, хмурых кроватей бесконечен. Вот «скучный» профессор, не знающий, как жить и для чего жить при всей своей действительной углубленности, а вот его самодовольный, тупой коллега, поучающий труду скромных работников дядю Ваню и Варю и сам не делающий ровно ничего. Вот палата стонущих от неумения построить свою жизнь трех сестер-интеллигенток... Вот палата самоубийцы Иванова, неврастеника, не знающего к чему применить себя, да и не имеющего воли и стремления к этому применению.

В каждой повести, в каждом рассказе писатель-Чехов открывает дверь новой палаты, а врач-Чехов ставит безошибочный диагноз находящимся в ней больным. Лекарство одно для всех — труд, слияние с творческой работой нации, вхождение в нее для заполнения соответствующего места.

— Работать надо, работать... А всё остальное к черту!

Что «остальное»? Что «к черту»?

Да разве не ясно «что»? То, именно, что сумел отбросить от себя «к черту» сам Антон Павлович Чехов — ту интеллигентскую шелуху, беспочвенное, безответственное политикантство, псевдопрогрессивное «направленчество», самодовольное зазнайство, безволие и вместе с тем воображение себя «солью русской земли», выразителями мысли и чувства народных, крикливое критиканство, отрыв от творческой работы нации-государства и еще, и еще... Длинен перечень всех болезней предреволюционной русской интеллигенции, ее «февральского» поколения...

Страшен диагноз, поставленный мягким, чутким и деликатным, но правдивым д-ром Чеховым у одра безнадежно больного.

Безнадежно?

Есть пошлая, трафаретная фраза, которую нередко произносят врачи у постели умирающего: «наука здесь бессильна, но будем надеяться на милость Божию».

Не обошелся без нее и д-р Чехов, но в отличие от своих коллег произнес ее с полной верой, действительной верой, выношенной в сердце к концу своей недолгой жизни. Пятнадцать лет носил в себе А. П. Чехов

дивный образ «Архиерея», служителя Христа, и лишь выносив, выстрадав, смог записать его. К концу своей жизни... И не только его, «Архиерея», видел он вне больничных палат, в ином мире, в мире всей полноты русской жизни. Видел он там и «Студента», повествующего в пасхальную ночь безграмотным бабам о жертвенных муках Христа и сливающегося с ними в общем русле русской народной стихии. Видел и монашка-поэта, вдохновенно слагающего акафисты Небесной Заступнице. Как бесконечно далек этот поэт от тех, с которыми соприкасался А. П. Чехов в литературном мире и как понятна Чехову его светлая красота...

«Наука здесь бессильна». Диагноз д-ра Чехова подтвержден смертью больного, отравленного ядами собственного организма в 1917-м году. Но... «будем надеяться на милость Божию». Живут же еще на Руси «студенты», хранящие правду Господню в сокровенных недрах национальной стихии. Живут! Знаю, сам их видел и рассказываю о них здесь, в зарубежье, по мере своих сил и своего голоса. Жив Бог Земли Русской!

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
29 мая 1954 года, № 228. С. 3–4

«Хорошая» война
(к 100-летию со дня рождения Вл. С. Соловьева)

«После сражения на Аладжинских высотах один из наших передовых кавалерийских отрядов стремительно продвигался в горы Турецкой Армении. Дело происходило в 1877 году.

Огромный обоз с беглыми армянами не успел спастись и его захватили башибузуки. Они развели огонь под телегами, а армян, кого головой, кого ногами, а кого спиной или животом привязали к телеге, на огонь свесили и потихоньку поджаривали. Женщины с отрезанными грудями, животы вспороты. Всех подробностей рассказывать не стану, только одно у меня и теперь в глазах стоит: женщина навзничь на земле за шею и плечи к тележной оси привязана, чтобы не могла головы повернуть, лежит не обожженная и не ободранная, а только с искривленным лицом — явно от ужаса померла. Перед нею высокий шест в землю вбит, и на нем младенец голый привязан, ее сын, наверное, — весь почерневший и с выкатившимися глазами, а подле и решетка с потухшими углями валяется. Тут на меня сначала какая-то смертельная тоска нашла, на мир Божий смотреть противно, и действую как будто машинально. Скомандовал рысью вперед, въехали мы в сожженное село — чисто, ни кола, ни двора»...

Этот эпизод из русско-турецкой войны 1877–1878 гг. я частично цитирую, а в дальнейшем пересказываю из книги Вл. Соловьева «Три разговора». Он не вымышлен автором, а согласно его сноске, прослушан им из уст командовавшего этим русским отрядом ген. Н. Н. Вельяминова и позже исправлен в рукописи М. М. Бибиковым*, следовательно, достоверность его сомнению не подлежит.

Далее автор, Вл. Соловьев, повествует о том, что занявшие разгромленное и сожженное армянское село русские войска нашли там одного случайно уцелевшего армянина и узнали от него, что банда побывала здесь всего лишь пару часов назад и потом ушла в направлении другого большого армянского поселения, до которого пути часов пять, но по известной армянину горной тропинке можно пробраться туда часа за два.

В распоряжении ген. Вельяминова был Нижегородский драгунский полк, три сотни казаков и конно-горная батарея, а башибузуков, по словам армянина, было не менее пяти тысяч. Но, ни минуты не задумываясь, ген. Вельяминов двинул свой отряд по горной тропе, с невероятными трудностями протащил по ней горные орудия и вышел к угрожаемому поселку в тот момент, когда к нему уже подходили башибузуки. Силы были явно неравны, но настроение драгун и казаков было таково, что командующий отрядом, не колеблясь, решил вступить в бой. Он замаскировал свою батарею, прикрыл ее одной сотней кубанцев, поставил драгун уступами для флангового удара, также скрыв их, а две сотни казаков бросил на банду с целью подманить ее к батарее. Маневр удался. Погнавшись за легкой добычей, вся масса башибузуков тысяч в пять наскочила на орудия, казаки разомкнулись вправо и влево, и батарея смогла на дистанции в 30 сажен дать три картечных залпа. Ударившие с фланга драгуны довершили не только поражение, но почти полное уничтожение разбойников. Наши потери были 37 убитых казаков. Село было спасено. В нем жило несколько тысяч армян.

«Три разговора» Вл. Соловьева написаны им не в форме философского трактата, но в виде разговора между прогрессивным политическим деятелем, бытовым христианином (чуждым богословию и религиозной философии) генералом и самим автором, которого он условно именует инициалами. Тем не менее, «Три разговора» Вл. Соловьева — философский трактат, одной из ведущих тем которого является *оправдание справедливой войны с точки зрения христианской идеологии*. Приведенный эпизод служит иллюстрацией к основному тезису автора: война не есть безусловное зло и мир не есть безусловное добро.

* Генерал Николай Николаевич Вельяминов и капитан Михаил Михайлович Бибиков, участники русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

Возможна и бывает «*хорошая* война, возможен и бывает *плохой* мир» (курсив В. Соловьева).

Этот тезис философа Вл. Соловьева, признанного бесспорным христианином и православной и католической Церквями, резко противоречит безоговорочному осуждению всех видов и форм войны, распространенному в среде христианских пацифистов основывающихся на утвержденном Евангелием братстве людей во Христе.

«Все люди братья, — отвечает им Вл. Соловьев устами одного из своих персонажей, — прекрасно, очень рад, но ведь братья-то бывают разные? И почему же мне не поинтересоваться, кто из моих братьев Каин и кто Авель? Если на моих глазах брат мой Каин дерет шкуру с брата моего Авеля и я именно по неравнодушию к братьям своим дам брату Каину затрещину, вы вдруг меня укоряете, что я про братство забыл! Нет... потому и вмешался... а то мог бы спокойно пройти мимо».

Таким образом, не прибегая к сложным философско-догматическим построениям, но на основе действительного и действенного в нашей земной жизни здравого смысла, на основе реальной борьбы с реальным злом, Вл. Соловьев утверждает не только неизбежность, но и необходимость справедливой борьбы со «злым братом» ради спасения «доброго брата». Противоречит ли такая концепция христианскому пониманию братства людей на земле? Отрицая ее, мы, безусловно, впали бы в «непротивление злу» Льва Толстого (следует, кстати, напомнить читателю — злейшего врага Вл. Соловьева), т.е. в осужденную православною Церковью ересь. Может ли быть спокойна совесть человека, убившего — в такой, справедливой войне своего врага, — ставит вопрос Соловьев и для решения его вводит в орбиту конфликта «третье лицо», т. е. того страдающего брата нашего, которому каждый христианин обязан помочь.

«Есть и третье лицо и, кажется, самое главное — жертва злого насилия, — требующая моей помощи, — пишет Соловьев, — ее-то вы всегда забываете, а совесть говорит о ней прежде всего. *Воля Божия тут в том, чтобы я спас эту жертву*... Ей помочь я должен во что бы то ни стало и во всяком случае. Должен помочь тем, кого обижают. Вот что говорит моя совесть».

Для иллюстрации этого христианского разрешения возможного в душе каждого солдата конфликта со своей совестью, для устранения вполне вероятных и смущающих многих сомнений, Соловьев приводит заключительные слова рассказа ген. Вельяминова: «Так чиста моя совесть в этом деле, что я иногда и теперь от всей души жалею, что не умер после того, как скомандовал последний залп. И нет у меня ни малейшего сомнения, что умри я тогда, прямо предстал бы пред Всевышним со

своими 37-ю убитыми казаками и заняли бы мы свое место в раю рядом с добрым евангельским разбойником».

Разработка вопроса о разграничении в нашей земной жизни добра от зла, о различии между действительным добром и псевдодобром — одна из главных тем религиозно-этических работ Вл. Соловьева. Признав и утвердив справедливость и согласованность с принципами христианства, направленных к добру освободительных и защитительных войн, этот философ утверждает за русской армией по праву принадлежащее ей имя Христолюбивого Воинства. Одновременно с этим он устанавливает моральную высоту воинского подвига и тем утверждает внутренние духовные основы военной профессии, сближая жертвенность бойца за праведное дело с подвижничеством мученика.

В наши сумбурные дни утраты нравственных основ в политике, общественной жизни и принципах ведения войны морально-этическая философия Вл. Соловьева приобретает особо важное значение. Его труды выходят из рамок изучения их специалистами богословия и философии. Они становятся достоянием широкого круга читателей. Написанные им простым бытовым языком «Три разговора» должны быть прочтены каждым из тех, кто готовит себя к подвигу спасения своих страдающих братьев, и ясным, вполне конкретным указанием для современных политиков служат слова Вл. Соловьева, поставленные им в предисловии к этой книге: «Если прекращение войны вообще я считаю невозможным раньше окончательной катастрофы (которую предвидел и охарактеризовал Вл. Соловьев в “Краткой повести об Антихристе”. — *Б. Ш.*), то в теснейшем сближении и мирном сотрудничестве всех *христианских* народов и государств я вижу не только возможный, но необходимый и нравственно обязательный путь спасения христианской мира от поглощения его низшими стихиями».

«Часовой», Брюссель,
май 1953 года, № 331. С. 15–16

«Бриллианты» и булыжники

Придется начать издалека, хотя это и скучно, в силу чего ограничимся лишь расстановкой главных, соответствующих теме, вех на пути развития литературы.

Можно ли не видеть политического значения «Илиады»? Крупнейший государственник того времени Пизистрат, по приказу которого ее песни были собраны, систематизированы и отредактированы, видел это

ясно и пользовался ею, как мощным агитационным орудием. Комедии Аристофана пропитаны не только государственной (Афинской) политикой того времени, но отражают даже узко-партийные взгляды ее автора. Гораций тоже не избег уклона в политику, а Овидий откровенно служил ее целям. Данте разместил по кругам ада всех своих политических врагов. Шекспир отражал политическую направленность группы лорда Эссекса, и его пьесы ставились с целью агитации в театрах Лондона накануне и в день восстания. О политической насыщенности памфлетов Рабле и Свифта говорить не приходится, так же как о сатире Вольтера. «Разбойники» Шиллера отвечали политической настроенности Тугенбундта. Гюго гениально облек политику в высшие формы художественного слова. Бальзак... Золя... Патриотические рассказы Мопассана...

Наши времена — Жид, Сартр, Орвелл, Кестлер...

Стендаль был прав, сказав, что «политика — камень на шее литературы», но ошибся в выводе. Как видим, политика не погубила литературы в течение 80 лет, по его предсказанию, но благополучно живет в ней уже третье тысячелетие средиземноморской культуры.

Теперь расставим такие же вехи на пути русской литературы. Национально-политическая направленность «Слова о полку Игореве» ясна из обращения его автора к князьям, и странно лишь то, что до Маркса ни один из исследователей не обратил на это должного внимания. Киевский цикл былин насыщен агитацией борьбы со степью, а образы Ильи Муромца и Микулы Селяниновича определяют в художественной форме политические устремления крестьянства за целую тысячу лет (до наших дней включительно). Политические настроения крепнущей Москвы отражены в слабых по их художественному значению литературных памятниках того времени и ярко выражены в блестящей публицистике — полемике Грозного с Курбским. Кантемир и Ломоносов насыщали свою неуклюжую поэтику политическими тенденциями Петра. Радищев косноязычно пересказывал Гельвеция и Руссо. Пушкин? Пусть за меня ответят «Полтава», «Клеветникам России», а заодно и «Медный всадник». Тютчев? «Целые царства и поколения будут перемелены», — прорицал он, возводя политическую мысль к пафосу мистического прозрения. В 1866–1868 гг. севастополец Л. Толстой ответил на политическую агрессию Европы (1853–1855) непревзойденной в мировой литературе эпопеей русского героизма патриотического подвига, возглавленного народным вождем Кутузовым и монархом, к ногам которых он поверг развенчанного им кумира Европы — Наполеона. И здесь нет политики?

Боюсь, что на газетных листах не хватит места даже для самого сжатого перечисления русских художников слова, обрабатывавших при по-

мощи его чисто политические темы. «Бесы», Щедрин, Ал. К. Толстой, «Красный смех» Л. Андреева, «Мать» Горького, Гумилев, «Тихий Дон» Шолохова и «Хождение по мукам» А. Н. Толстого в СССР, а параллельно с ними блестящая серия историко-политических романов М. Алданова в эмиграции.

Политика, политика, политика в литературе. Она входила и входит в жизнь людей, поэтому и не может быть исключена из художественной литературы, отражающей эту жизнь. Да, она тяжкий камень, очень трудный для его обработки мастерами слова, но он не тянет литературу вниз, но, наоборот, укрепляет ее изнутри, бетонирует ее сердцевину, на которой базируются внешние формы. Тем самым этот камень усиливает весомость воспринявших его произведений и утверждает их место в общем ходе развития литературы.

Это место они занимают в ней в силу *актуальности темы* данного произведения, ее созвучия с подлинной современностью, полноты ее разработки, но не вследствие созвучия с крохоборством злободневности. Между *актуальностью темы* и *темой дня* непроходимая пропасть, разделяющая, примерно, глубоко актуальные для современности романы и повести М. Алданова (хотя бы на темы Французской революции) от злободневной халтуры Брешко-Брешковского*, хотя внешне и тот и другой как будто бы обрабатывали в одно и то же время одну и ту же тему.

Уровень талантливости автора играет в данном случае второстепенную роль: «Красный смех» Андреева, блестяще оформленный этим безусловно талантливым литератором, теперь забыт. Он умер, т. к. был *только* злободневен, но не актуален. «Рассказ о семи повешенных», потрясавший читателя в дни оны, в наши дни бледен и жалок при сравнении хотя бы с «Мнимыми величинами» Н. Нарокова**, несмотря на то, что Андреев был, несомненно, опытнее и, быть может, талантливее Н. Нарокова, писателя пока еще не профессионального.

Каким же измерителем мы можем пользоваться для определения степени актуальности темы и отграничения ее от злободневности? Кратковременного от долговременного, «вечного»?

Наиболее точным прибором для этого измерения служит, увы, только само время. Актуальная тема любви, видоизменяясь по внешности, прошла от Федры к Аксинье Астаховой, через Хлою, Беатриче, «Прекрасную Даму» менестрелей, Ярославну, Джульетту, мадам Бовари, Наташу Ростову и Лизу Калитину, дав кривую, характеризующую всё

* См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

** См. о нем там же.

развитие человеческого духа, то вздымаясь к небу, то снижаясь к зверю. Эта тема была актуальна во всех своих вариациях.

Тема патриотического героизма, пройдя через множество таких же мутаций, выросла от сугубо внешнего, личного подвига Ахиллеса до глубочайшей внутренней жертвенности, подсознательных комплексов капитана Тушина и так же была актуальна во всех своих видоизменениях, сохраняя эту актуальность во все времена. Таково измерение актуальности по хронологической вертикали.

Тема политики в литературе при обзоре ее в том же направлении разработана еще шире. Она начата под стенами Илиона и дожила до Сталинграда, не старея и, видимо, не готовясь к смерти. Она шире двух предыдущих и потому, что нередко вплетается в них, как например, враждой Монтекки и Капулетти в любовную тему Джульетты, или жертвенностью во имя политических целей с времен Гомера до наших дней. Но нужно и здесь различать политику и политиканство. Первая актуальна, второе только злободневно.

Но измеритель времени действует только в вертикальном, историческом рассечении процесса, в горизонтальном же сечении, в иерархии, устанавливаемой текущим днем, мы не имеем сколь либо точного измерительного прибора. Спрос рынка, «контроль рублем», применяемый в свободном мире, — обманчив. Просмотрим хотя бы книжные каталоги нашей эмиграции, и мы увидим, что раскупались полностью главным образом романы Брешко-Брешковского, Бебутовой и Крыжановской*. «Проверка рублем» сфальшивила.

В тоталитарных странах при контролируемости библиотек и издательств широко применяется статистика читаемости, но в силу неизменно сопутствующей всем социалистически-тоталитарным системам принудительности в области мышления этот измеритель также фальшивит: население СССР *принуждено* читать не только вещания Сталина, но и «Мать» Горького. Школьников заставляют прочитывать «Что делать?» Чернышевского, и они повинуются, преодолевая в себе тошноту. На этом принуждении читателя там и строится пресловутый «*социальный заказ*».

Реальность он или миф?

Для ответа на этот вопрос прибегнем к критерию времени. «Илиадой» упивались Перикл и Пизистрат, ею же зачитывались Энгельс и Толстой. Таким образом, какая-то истинная форма социального заказа во времени — реальность, а не миф.

---

* См. о них в Приложении «Литераторы-эмигранты».

Но 99 % всех советских школьников всеми силами ловчатся, чтобы не читать, а лишь узнать содержание «Что делать?» и «Матери».

Почему? Потому что реальный социальный (общественный) заказ подменен социалистической фальшивкой. Большевики осуществили то, к чему с переменным успехом стремилась вся «прогрессивная» критика XIX века от Белинского до Скабичевского — *принудительное управление читателем и писателем*.

В этом и кроется ложность советского «социального», по существу же социалистического заказа. Здесь его миф.

Подобный подмен общественных требований злободневными фальшивками политиканов действительно виснет тяжким камнем на шее не только литературы, но и всех видов искусства, вплоть до столь ограниченного его сектора, как орнамент в живописи и архитектуре. Даже в этой обособленной области художник наших дней вряд ли посмеет ввести в орнамент мотив свастики в Германии, в свободной Италии — связку ликторских прутьев*, а в СССР — воспользоваться мотивом креста и лучей. Не только большевики практикуют такого рода зажим. Они лишь осуществляют полностью стремление «прогрессистов» России XIX века утвердить в ней «вторую цензуру». При большевиках она переросла в «первую».

«Прогрессивная» часть старой эмиграции неразрывно связана с предреволюционным русским либерализмом, о чем и теперь гордо возглашают ее лидеры в литературе и публицистике. Традицией именно этого «прогрессизма», чуждого, разобщенного с российской почвенностью, и было вызвано отталкивание «прогрессивной» интеллигенции от русской революции, принявшей в октябре форму ими непредвиденную. Это же служило им базой для провозглашения себя «истинной Россией» в противовес России подсоветской.

Противопоставление себя современной, реальной России живо в «прогрессивной» эмиграции и до сих пор. Оно выявляется теперь в теории «морлоков» («Новое русское слово»), в выдранных из советской самокритики анекдотиках, выдаваемых за драму советского быта, и в утверждении о «низком культурном и умственном уровне» современной подсоветской русской молодежи теми же, кто одновременно закрепляет «почетное место в истории русской литературы» за несусветной нелепицей А. П. Бурова**.

Русские «прогрессисты» XIX века не врастали корнями в почву на-

---

* Пучок ликторских прутьев с обоюдоострым топориком — символ итальянского фашизма, повсеместно внедрявшийся при Муссолини.

** См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

ции, но всегда противопоставляли ей самих себя то в лице обличителей ее «косности и мракобесия», то в форме разрушителей всех «основ», то в образах «лишних», непонятных, не оцененных страдальцев за высшую правду, то в виде поучателей бутафорского, загримированного а ля мужик воображаемого объекта этих поучений (вернее всего самих себя).

Шквал революции вымел эти «летучие листья», как именует нескончаемый цикл своих статей один из последышей российского «прогрессизма» в эмиграции. Подобный «летучий лист» не может, не в силах допустить того, что на его опустевшем месте уже пробилась свежая зелень, что оборванный, оголенный пронесшеюся бурей но выдержавший ее могучий дуб оживает, питаясь соками «почвы», в которую всё глубже и глубже врастают теперь его корни. «Промотавшийся отец» не в силах взглянуть в лицо «обманутого сына» и захлопывает перед ним дверь. Открыть ее — значило бы для него отречься от самого себя, покончить с самим собой.

Этот хлопок дверью отражен в нашей общественно-политической публицистике яростной полемикой противников и сторонников «теории кроликов и морлоков», а в области литературной критики — ярче всего статьей Шварца-Омонского «Внуки Лескова» («Возрождение», № 22), кликушескими подголосками к этой статье С-ой («За Свободу», № 5) и рядом вскользь брошенных, но звучащих враждебно по отношению к «новым» литераторам реплик маститых критиков, как например, признание Ю. Трубецким («Голос народа», № 45) всего лишь пропагандных качеств за книгой Н. Нарокова «Мнимые величины» и резкое осуждение им в той же статье «Невидимой России» В. Алексеева, как «маловероятных историй» и «словесной воды»*.

Говорить о подобной критике серьезно, конечно, не стоит: маститый критик, утративший всякую связь с Россией еще в 1920 году, обвиняет во лжи о ней автора-документалиста, варившегося в ее котле в течение следующих 25 лет.

Но в чем же дело? Почему тема о политике в литературе, поднятая на щит в творчестве М. Горького, Л. Андреева, М. Алданова и др., бесповоротно осуждена в творчестве «новых» литераторов критиками того же самого направления? Почему прямые потомки тех, кто травил А. П. Чехова за «отсутствие направления» (как это делал апостол народничества Михайловский), клеймят «новых» за их политическую направленность в литературе (как это делает орган современных «народников»)?

---

* См. о Шварц-Омонском (псевдоним Н. Ульянова), Ю. Трубецком и В. Алексееве в Приложении «Литераторы-эмигранты».

Ответ на это прост и, увы, глубоко тривиален: потому что сами они, эти потомки «промотавшихся отцов», *не в силах сказать о жизни современной России ни одного слова*.

Утративший потенцию в самом себе неминуемо приходит к осуждению ее проявлений в других. Таков жестокий закон старения, разобщения с беспрерывностью жизнетворчества. В данном случае он ведет эмиграцию не только к отделению, отграничению себя от живой и сущей России, но даже к абсолютно нелепому противопоставлению себя ей. Глубоко прав Е. Романов* в своих формулировках характера пропаганды борьбы за свободу России. Значение его доклада на расширенном редакционном совещании «Посева» намного превышает рамки этого совещания и даже всей нашей политической пропаганды в целом. Его концепции должны быть применены и в области художественной литературы.

«Новые» в их творческой литературной работе не могут, не имеют права отделять себя от современного русского подсоветского народа. Они не могут мыслить и осознавать себя продолжателями какой-то прерванной в России, но сохраненной в эмиграции культуры. Они знают, что развитие подлинной русской культуры «там» лишь подавлено в целом ряде ее областей, загнано в глубь сознания масс, порою даже закамуфлировано уродливыми формами, но сам процесс развития этой культуры не прерывался. Она жила, живет и будет продолжать свое развитие. «Новые» литераторы пока еще слитны с нею, что и выявляется в их творчестве актуальностью избираемых ими тем, т. е. живым ответом на подлинный, взятый без кавычек *социальный заказ*.

Отказ от этой актуальности, т.е. от введения политической тематики в художественную литературу, стал бы для них равносильным отказу от борьбы за свободу своих братьев и за свою личную свободу, отрешением от слитности с Российской нацией, потерей самих себя.

Кем же бы они стали тогда? «Летучими листьями»?

Нет! Пусть они оставят «бриллианты» их хранителям и носителям, а сами будут продолжать ворочать свои тяжкие «булыжники».

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
6 июня 1953 года, № 177. С. 3–4

---

* Евгений Романович Романов (Островский) (1914–2001), председатель НТС, основатель журнала «Грани», редактор журнала «Посев».

Правнуки маркиза де Кюстин

Передо мной переведенные уже на итальянский язык выдержки из прекрасной, правдивой, пламенной книги о советских концлагерях, написанной побывавшим там гражданином государства Израиль Ю. Б. Марголиным*. В одной из глав автор сравнивает советские исправительно-трудовые учреждения с царской каторгой в описании Ф. М. Достоевского и честно делает все выводы из сравнения в пользу «Мертвого дома».

«Там (на царской каторге) были тысячи, а здесь — миллионы», — заканчивает он главу.

Прекрасная, яркая, потрясающая глава. И всё же главного в ней не сказано!

Вот это главное.

Среди своих сотоварищей по каторге Достоевский не называет ни одного невинно осужденного и рассказывает о многих извергах и злодеях.

Население советских концлагерей состоит на 95 % из невинно осужденных не только с общечеловеческой точки зрения, но и согласно процессуального кодекса СССР. Эти 95 % приговорены несудебными органами, без права защиты, без опроса свидетелей, без установления виновности, тайно и нередко заочно или с применением пыток. Всегда под страхом при следствии.

Почему не заметил этого чистый и честный Ю. Б. Марголин? Почему даже и при сравнении он, вероятно, бессознательно попытался установить преемственность каторги СССР от «Мертвого дома» — каторги для преступников царской России? Потому что он, как и большинство иностранцев, не может, не в силах смотреть на Россию без кривых очков, туго навинченных на его нос несколькими поколениями русской «прогрессивной» и революционной интеллигенции, 150 лет трудившейся в поте лица над искажением и осквернением образа России, ее истории, религии, культуры, политических устремлений…

Именно поэтому он ищет «наследия проклятого царизма» даже в концлагерях поработившего Россию международного коммунизма.

Другое, еще более яркое явление того же порядка. Настольной книгой многих иностранных «знатоков» России в наши дни стала пасквильная брошюрка побывавшего в России ровно 111 лет тому назад француза де Кюстин. Кажется диким, что серьезные, глубоко образованные люди

---

* Юлий Борисович Марголин (Пинск 1900 — Тель-Авив 1971), писатель, историк, сионист; в 1940–1946 гг. узник ГУЛАГа, автор книги «Путешествие в страну зе-ка» (Нью-Йорк: изд. Чехова, 1952).

ищут разгадки современного «русского сфинкса» в явно устарелой, поверхностной книжонке, написанной французским аристократишкой, обозленным на русское правительство неудачей устройства легкой карьеры в этой варварской, но щедрой на звонкие рубли, стране.

Бездарный и беспардонный французишка был бы давно похоронен на мусорной свалке, если бы не имел сотен и тысяч русских внуков и правнуков.

Я ограничусь лишь справками о ближайших к нему по времени потомках.

В 1843 году Жуковский, которому «прогрессивная» интеллигенция никак не могла простить его искреннего и глубокого монархизма, сказал, что «плевал, читая эту книгу».

Молодой тогда Тютчев, также не допущенный на российский Парнас за свои политические и религиозные воззрения, назвал де Кюстина «собакой».

Совсем иначе отнеслись к этому клеветнику «прогрессивные» и революционные интеллигенты того времени.

Глава «университетских прогрессистов» 40-х годов, издатель, журналист и историк проф. Погодин записал в своем дневнике: «Прочел целую книгу Кюстина. Много в ней ужасающей правды о России. За изображение действий деспотизма, для нас неприметных, я готов поклониться ему в ноги».

Будущий (тогда) глава революционной русской интеллигенции А. И. Герцен записал еще точнее и определеннее:

«Без сомнения, это самая занимательная и умная книга, написанная о России иностранцем. Он судит слишком резко, но во многом справедливо... Я не смотрю на ее промахи, основа воззрения верна; и это страшное общество и эта страна — Россия. Его взгляд оскорбительно много видит».

Комментарий не требуется. Полюсы русской общественной мысли того времени ясны. Следует лишь добавить, что в дальнейшем ее развитии линия Герцена получила максимальное развитие, в то время, как мысль Тютчева и Жуковского всемерно затушевывалась, осмеивалась и укрывалась от масс. Ведь поэзия Тютчева не имела доступа в нашу среднюю школу даже и в дореволюционные годы, а Жуковский ходил под маркой второразрядного романтика, литературного прихвостня немцев и только теперь, в эмиграции, на 33-м году по распятии России Б. Зайцев осмелился показать его нам, как политического и религиозного мыслителя, персонально сыгравшего огромную роль в подготовке великих освободительных реформ.

Дети, внуки и правнуки маркиза де Кюстин делали свое гнусное дело.

Результат их трудов — клеветник де Кюстин во главе русской политики демократического Запада. Праправнуки благородного маркиза продолжают его «работу» и теперь. Даже и в эмиграции. Яркий пример тому — шамкающая беззубым ртом «вдовушка русской революции» Кускова*, пытающаяся реставрировать насквозь реакционные на данном отрезке времени идеишки и мыслишки российских «прогрессистов» XIX века. Она, к сожалению, не одинока.

Но «колесо истории не вращается назад». Имена Погодина и многих, подобных ему, тайных и явных клеветников России спущены в канализационные трубы истории. Имя Герцена звучит двусмысленно даже в статьях столь «прогрессивного» литературоведа, как Н. Берберова («Русская мысль»). «Новая» эмиграция, лицо которой всё яснее определяется с каждым днем, свободная от гипноза преклонения перед прогнившими фетишами «прогрессизма» XIX века, вносит свежую струю русского духа в удушливый застой эмигрантских чемоданов 1917 года.

С приближением к основной, почвенной России эта струя вырастет в вихрь, который снесет, вырвет бурьян де Кюстина, вместе с питающими его псевдорусскими корнями.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
5 августа 1950 года, № 50. С. 5

О русском солдате

Одной из наиболее ходких тем предреволюционной русской «прогрессивной» литературы была тема о забитом, полуголодном, замученном нелепой муштрой бурбона-офицера солдате. Ярким образцом направленности такого рода служит нашумевший в свое время «Поединок» А. И. Куприна — роман, который сам он впоследствии признал ложью. Тематика этого рода открывала перед революционными и «прогрессивными» авторами широкие возможности агитации, т. к. военная служба всегда, во всех армиях была, есть и будет тяжелой. Но была ли служба в русской Императорской армии тяжелее, чем в других, современных ей? Имеем ли мы основания скорбеть о забитом, полуголодном русском солдате?

Приводим некоторые данные для сравнения быта русской армии и иностранных.

Рацион русского солдата содержал к 1914 году 3000 калорий, между тем как лучший в настоящее время солдатский рацион в САСШ содер-

* Екатерина Дмитриевна Кускова (1869–1958), публицист и деятель революционного движения республиканско-социалистического толка.

жит лишь 2400 калорий, в советской же армии, даже в гвардейских ее частях, не превышает двух тысяч.

С 1905 году в казарменном содержании русской армии было введено постельное белье (простыни и наволочки), чего солдат из крестьян, безусловно, не имел дома и, кстати сказать, не получали питомцы лагерей ИРО*.

Не был низким и культурный уровень как солдата, так и офицера. По советским данным, остатки царской армии, влившиеся в Красную армию к 1920 году, были грамотны на 80 %. Но и эти не достающие 20 % приходится отнести за счет последних призывов Первой мировой войны — стариков-ополченцев, т. к. с 1902 года в русской армии было введено всеобщее обучение, вследствие чего она ежегодно выпускала свыше двухсот тысяч запасных, не только вполне грамотных, но и знающих четыре правила арифметики.

Теперь о самой излюбленной «прогрессивными» литераторами теме — жестком обращении начальства с солдатом, истязаниях его, мордобое и прочем. Несомненно, что отдельные случаи рукоприкладства со стороны главным образом унтер-офицеров имели место в быту царской армии, равно как и во всех прочих армиях, включая сюда прежде всего советскую армию, где «применение физической силы для выполнения приказа» даже узаконено уставом, но правилом рукоприкладство в русской армии не было уже с половины прошлого века и с ним велась энергичная борьба. Приведем снова сравнительные примеры: телесное наказание в русской армии было отменено в 1863 году и сохранено только в дисциплинарных батальонах до 1906 года, а в английской армии было отменено лишь в 1880 году, в английском флоте — в 1906 году. В австрийской армии вплоть до конца Первой мировой войны применялось «подвешивание» солдата, т.е. несколько упрощенная «дыба» времен Ивана Грозного, чего в русской регулярной армии не было с ее основания.

Сколько лжи и клеветы лилось в те годы на русского офицера! И кто лил эти ядовитые помои: Короленко, Куприн — кумиры молодежи того времени... Мудрено ли, что эта интеллигентная молодежь сторонилась в те годы от службы отечеству в армии, чему, конечно, много способствовало и скудное содержание рядового офицера.

Н. Удовенко
«Наша страна», Буэнос-Айрес,
22 августа 1953 года, № 188. С. 12

* IRO, International Refugees Organization, Международная организация по делам беженцев и перемещенных лиц, учрежденная в 1946 г. и действовавшая до 1952 г.; Б. Шиярев на рубеже 40–50-х гг. жил в лагерях, опекаемых ИРО, — подробнее см. в его книге «Ди-Пи в Италии», гл. 23 и далее.

Традиция плевков

В № 305 «Русской мысли» промелькнула маленькая, ничего по существу не говорящая, анонимная заметка о Н. Гумилеве, под заголовком «Книжная полка». Любопытно в ней лишь одно: расстрелянный поэт Н. Гумилев охарактеризован автором заметки, как «стоявший вне политики». Цель этой явной «неточности» вполне понятна: автор не хотел сказать, что властитель дум современной русской молодежи по обе стороны Железного занавеса был убежденным монархистом, что общеизвестно. Вне политики он не стоял, а активно боролся против большевиков, что тоже общеизвестно и подтверждено многими, хотя бы Г. Ивановым в журнале «Возрождение».

Мне уже приходилось писать о замалчивании зарубежными «прогрессивными» литераторами явного монархизма Пушкина, об их попытках перекрасить в противников монархии не только Лермонтова, но даже и Лескова, т.е. о выполнении ими тех заданий, на которых гораздо успешнее специализировались советские пропагандисты...

Это, казалось бы, странное созвучие объясняется просто: зарубежные «прогрессисты» действуют в силу традиции, прочно укрепившейся в их среде еще со времен Герцена, традиции огульного беспардонного охаивания Царской России.

Сила традиции очень велика. Привыкнув плевать в Царскую Россию, «прогрессист» уже не может остановиться и плюет, плюет направо и налево, в чужих и... своих. Рекорд в этом отношении поставлен теперь Нобелевским лауреатом маститым И. Буниным в его недавно вышедших «Воспоминаниях». Он оплевал в них всех, кого знал, в том числе своих сотоварищей по «прогрессивной» предреволюционной литературе. До них нам дела нет. Но маститый «прогрессист» (призывавший, кстати сказать, к выборке эмиграцией советских паспортов) плюнул и на могилу умученного большевиками С. Есенина. До него нам, «новым», дело есть. Мы знаем, что значат стихи Есенина для современной русской молодежи.

Для маститого «прогрессиста», хранителя литературных традиций, И. Бунина, С. Есенин — «какой-то кудрявый пьяница», а его стихи — «писарская душещипательная лирика под гармонь, под тальянку». Рассказывая об умученном поэте, И. Бунин постарался собрать всю грязь сплетен о нем. Что ж, у каждого свой вкус. Ведь есть много пошленьких мерзких людишек, которые, услыхав имя Пушкина, тотчас же рассказывают похабный анекдот о нем. Тоже — традиция.

Маститые «прогрессивные» литераторы зарубежья, говоря о нас,

«новых» литераторах, сокрушаются об отсутствии у нас «славных» традиций. Они правы. Никто из «новых» писателей не охаял пока Россию ни на страницах «Граней», ни на полосах «Нашей страны», изданий, в которых сгруппировались «новые». Не плюют и «новые» «Посева» друг в друга так, как оплевал И. Бунин своих сотоварищей но «прогрессивным» сборникам «Знание».

У нас нет «прогрессивных» традиций и сохрани нас от них, Господи!

Алексей Алымов
«Наша страна», Буэнос-Айрес,
17 февраля 1951 года, № 64. С. 8

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кто они? Генерал от литературы*

Вскоре после Первого всесоюзного съезда писателей 1934 года мне пришлось проезжать вниз по Волге на одном из новых, действительно шикарных теплоходов, которыми Советы делали свою обычную рекламу, так же как и московским метрополитеном. Получить на нем спального места, конечно, не удалось, и я проводил ночи на палубе.

Плыли мы по столь хорошо знакомым мне местам: от Костромы, мимо плёса с его разрушенной ныне знаменитой левитановской часовенкой... В Кинешме по пароходу пронеслась тревога. Все забегали, и началась генеральная уборка и перетряска.

— В городе Горьком на наш теплоход сядет сам Максим Горький, — торжественно сообщил капитан.

Максима Горького до того я видел только один раз, очень давно, на одном из спектаклей Московского Художественного театра.

В маленькое уютное фойе из артистической двери вышел здоровенный, сутуловатый детина, с грубо вырубленной хамского вида физиономией. Тотчас же, как куры к петуху, к нему метнулись со всех сторон «литературные дамы и девицы», которыми так богата была Москва того времени. Пошел и я, но приблизиться не было возможности. Горький что-то сказал и, резко повернувшись спиной, вернулся в артистическую.

Об этом его «выходе» много потом писалось в газетах. Он сказал тогда только одно слово: «дуры!». И, надо признать, был глубоко прав.

— Ну, что ж, думал я, подъезжая к Нижнему, — посмотрим нашего знаменитого пролетарского писателя, только что назидательно, как старый учитель, отчитывавшего на съезде новое поколение, и, надо признаться, во многом правильно его отчитывавшего. Горький пробрал тогда целый ряд знаменитостей за грубость и искажение языка, за скоропалительность работы, несерьезное отношение к ней и т. д.

Но увидеть Горького мне пришлось только издали. Он садился на пароход под охраной местных чекистов, не подпускавших пассажиров близко к нему. Его сопровождали врач, секретарь и сын Максик, хлыщеватый парнишка со своей красавицей, сверхроскошно одетой женой

---

* Подзаголовок: «Очерк 9-й». См. названия других очерков этой серии в списке публикаций. Глава о Горьком в книге Б. Ширяева «Panorama…» также называется «Il “generale” Gorkij» («“Генерал” Горький»).

(любовницей чекиста Ягоды)*. Потом на каждой пристани Горького встречали толпы народа. Множество красных флагов и портретов достаточно ясно говорили о том, что эти встречи были заранее подготовлены и проводились в добровольно-принудительном порядке. Горький выходил к встречавшим, устало произносил сиповатым голоском одну и ту же затверженную речь, в ответ ему орали всё, что полагается, а потом он скрывался в своей каюте.

Настала ночь. Дивная волжская ночь с серебристой шелковой гладью, расцвеченной узором светлячков-баканов. Луны не было. На палубе было темновато. Я мостился поудобнее на диванчике, чтобы заснуть, т. к. ложиться на него строго воспрещалось. Какой-то укутанный в шарф человек сел рядом со мной. От него сильно пахло коньяком.

— Бедняга, — подумал я, — хватил через край и спать ему больше моего хочется, а притулиться негде. Аховое положение.

Но мой сосед, видимо, спать не хотел. Он всматривался в темные берега и что-то бормотал себе под нос. Я слышал только отдельные слова.

— Вот оно... помню это место... дальше перекаты пойдут... а по правому берегу — горки... Так, так... помню... Свечной завод Иванова здесь, был... Крепкий старик, старовер... драться любил. А кормил хорошо... И платил правильно... Помню... Недели две я тогда у него работал...

Я всмотрелся в лицо моего соседа. Это был Максим Горький. Но совсем не такой, каким изображают его на портретах рядом со Сталиным и Ворошиловым.

Бесконечной усталостью веяло от этого старика. Сивые усы уныло висли, и длинный худой палец тыкал куда-то в темноту. Старик Горький видел во тьме невидимые мне образы. Он видел свою молодость, бурно расцветавшую в той России, против которой он ожесточенно боролся. Он не только видел ее, он жил в ней, он любил ее, эту ненавидимую и захаянную им Россию.

Об этическо-моральных качествах души Максима Горького можно много спорить. Чужая душа — потемки. Кто сможет разобраться в тех многообразных причинах, которые толкнули Горького на его путь? Но вряд ли можно спорить о том, что Горький сам по себе был, несомненно, крупной, характерной для России, именно для старой России, фигурой. Это был человек «ломоносовского склада», типичный самородок, которыми так богата была Святая Русь.

* Максим Алексеевич Пешков (1897–1934) и его супруга Надежда Алексеевна Пешкова, урожд. Введенская, прозванная Тимоша (1901–1971); Генрих Ягода был казнен в 1938 г. за якобы организованное им убийство М. А. Пешкова из-за любви к его жене, которая затем, согласно следственным показаниям самого Ягоды, будто бы стала его любовницей.

Взглянем: в начале жизни — полуграмотный «по псалтырю учившийся» сирота-мальчишка, в конце — человек, прекрасно знавший пять европейских языков, глубоко и систематически эрудированный в целом ряде совершенно чуждых ему областей знания (например, биологии, экспериментальной медицине). В детстве — подзатыльники, в старости — мировая известность и дружба, действительная дружба с целым рядом крупных литературных величин Запада. На такой рост собственной личности способны, мне кажется, только мы, русские, и, будучи объективным, Горького, несмотря на все его недостатки, придется всё же признать национальным типом.

И вот, этот национальный, глубоко сращенный с Русью человек на старости лет, в пьяной одинокой болтовне вспоминал ее, вспоминал жалостно и любовно. Порою неясно слышались пьяные, но искренние слезы, звучавшие в его сиповатой бормотне.

Что же произошло? Если мы присмотримся ко всей линии развития творчества Максима Горького, то увидим бурный взрыв таланта в начале его жизни, Потом знакомство с Лениным, близость с большевиками и в результате бездарная, сухая и схематическая повесть «Мать». Она написана ради партии, иначе говоря, это был первый акт пресловутого «социального заказа».

Дальше идет постепенное снижение. Литературные качества работы Максима Горького падают по мере того, как растет его близость с социалистами. К концу жизни он способен писать только «Клима Самгина» — типичные мемуары среднего обывателя, бледные, вялые, скучные... Да еще свирепые статьи против врагов социализма, грубые, достойные захудалого провинциального писаки. Таланта нет. Он съеден «социальным заказом», съеден шигалевщиной* социализма.

— Каждого гения мы задушим в пеленках.

На наших глазах сейчас протекает аналогичный процесс с другим, еще более талантливым, чем Горький в молодости, писателем. Я говорю о Михаиле Шолохове, столь же исключительной, чисто русской личности.

Вначале такой же, как и Горький, полуграмотный мальчишка, выступает с несколькими слабенькими рассказами, и потом, вдруг, разворачивает перед читателем огромное, яркое и сочное полотно — четырехтомную эпопею «Тихий Дон».

Генерал Петр Николаевич Краснов за несколько месяцев до своей гибели с юношеским восхищением и преклонением говорил мне о «Тихом Доне».

* Шигалевщина, по персонажу романа Достоевского «Бесы», — прообраз тоталитарной идеологии.

— Только мы, непосредственные участники тех трагических лет, способны понять всю правдивость, всю красоту этой вещи в целом и каждого из ее персонажей в отдельности. Грядущие поколения вряд ли смогут это сделать.

— Грядущие поколения, Ваше Высокопревосходительство, мне кажется, найдут в «Тихом Доне» другое — то, что ускользает от нас.

— Что же?

— Гамлета. Гамлета нашей эпохи, Взгляните: ведь Григорий Мелехов всё время мечется, рвется между борющимися силами. Везде — и на войне, и даже в любви. Две женщины равно прекрасных противоположной красотой рвут его сердце на части.

— Да, пожалуй, вы правы, — ответил мне тогда П. Н. Краснов.

И вот теперь мы видим, как «социальный заказ» душит и задушил уже другого высокоодаренного писателя. После «Тихого Дона» Шолохов начал «Поднятую целину». По заказу. И те же игравшие всеми красками в «Тихом Доне» образы, те же люди разом потускнели, превратились в мертвые схемы. Художник Шолохов почувствовал это сам и не смог докончить повести. Во время войны захватил снова много творческого материала, постарался переработать его, но не смог. Страшная система — социализм. Художнику-творцу она несет смерть.

«Знамя России», цикл очерков «Кто они?»,
31 августа 1952 года, № 69. С. 5–7.

Илья Эренбург. **«Оттепель»**

Илья Эренбург — единственный «европеец» среди 3773 членов и кандидатов Союза советских писателей. Характерной чертой его творчества в период расцвета его сил было продление в русской литературе французской традиции холодного, изящного скепсиса, традиции, заложенной еще Рабле и Монтенем и доведенной до наших дней через Вольтера и Анатоля Франса. Эта его манера нашла наиболее яркое выражение в литературном памфлете «Похождения Хулио Хуренито», создавшем Эренбургу широкую известность в СССР и выдвинувшем его в двадцатых годах текущего столетия на одно из первых мест среди писательской «молодежи».

Но кто бы теперь, читая «Оттепель», узнал в ней прежнего Эренбурга? Со страниц этой повести на читателя смотрит средней руки бытовик, верный и даже правдивый в мелких жизнеописательных фрагментах, но тусклый, буднично серый, абсолютно лишенный блеска и искристости

прежнего Эренбурга; ничего от Анатоля Франса, но очень много от Писемского и даже от Шеллера-Михайлова.

Несомненная талантливость и доходящее порой до виртуозности ремесленное мастерство позволили Эренбургу сделать это литературное сальто-мортале, но дорогой для него, как для писателя, ценой, ценой утраты именно тех его возможностей, которые в дальнейшем развитии могли бы, вероятно, ввести его имя в историю русской литературы.

Но помимо своих литературных способностей Эренбург обладает еще исключительным талантом приспособления. Если проследить всю его писательскую карьеру, начиная с ранних юношеских стихотворений, то можно увидеть, сколь чутко, осторожно и тонко умеет он улавливать первые едва заметные дуновения политических ветров и перестраивать свою литературную работу в зависимости от их направления. Он очень осторожен и, прежде чем переставить полностью свои паруса, внимательно испытывает силу и направление ветра, действуя сам уклончиво, в полутонах, порою одними лишь намеками.

Так, в первые годы своей литературной деятельности он уловил и оценил по достоинству начинавшееся тогда (в предшествовавшем Первой мировой войне периоде) возрождение христианского мироощущения в русской литературе и философии и, несмотря на то, что сам он по национальности еврей, писал стихи христианской религиозной направленности в противовес господствовавшему тогда в литературе, и особенно в русской поэзии, атеистическому направлению.

Попав на территорию, занятую Добровольческой армией во время Гражданской войны, он выступил там с целым рядом патриотических стихотворений, направленных против охватившего Россию большевизма. Потом — Париж. В мировой политике — первые шаги в сторону сближения западного мира с советским правительством России или, во всяком случае, признание советского строя в качестве «интересного социально-экономического эксперимента». Но этого еще мало для перехода осторожного И. Эренбурга в просоветский лагерь, и он ограничился тогда лишь острой сатирой, взяв под обстрел наиболее уродливые явления капиталистического мира в сборнике рассказов «Тринадцать трубок» — тонких, изящных, саркастических новелл, но столь же саркастически, в несколько смягченных тонах, отразил и советскую реальность того времени, развернув памфлет-фельетон, эпопею приключений Хулио Хуренито и его учеников. Этими произведениями он перекинул первый пролет моста для своего возвращения в подсоветскую Россию. Второй пролет — «Жизнь и гибель Николая Курбова», повесть о чекисте, первое в литературе появление этого общественно-политического типа.

Чутье не обмануло этого поистине гениального приспособленца. Дверь в СССР открылась для него настежь, и он попадает в ближайшее окружение самого Сталина. Занятое Эренбургом высокое положение в составе большевицкого литературного Парнаса подводило особенно устойчивый фундамент под постройку его карьеры, и он обдуманно, осторожно, но прочно и надежно вкладывал камень за камнем в стены дворца своего благополучия.

Раздался гром Второй мировой войны. «Убей немца!» — провозглашает во весь голос Эренбург в самом ее начале и этим дает тон всему литературному оркестру СССР. Он разразился множеством острых советско-патриотических памфлетов, став окончательно «показательным» советским писателем для западного демократического мира. В этой роли Эренбург оказался действительно незаменимым, т. к. Западную Европу (особенно просоветскую ее часть) он знает до мельчайших деталей и имеет здесь крепкие связи.

Когда в послевоенные годы советскому государству потребовалась передышка в его борьбе против свободного мира и им был выкликнут лозунг сосуществования, Эренбург немедленно превратился в «голубя мира», летающего по Европе. В результате — полное благополучие: прекрасная, по советским понятиям, квартира, увешанная картинами его друга Пикассо; миллионы на текущем счету; дача под Москвой в самом «аристократическом» дачном районе; беспрепятственные поездки за границу за счет специальных сумм советского бюджета и прочие блага.

Умер Сталин, и к власти пришел Маленков. В воздухе пронеслись какие-то новые веяния. Многим начало казаться, что пахнет весною, что открываются возможности для перехода к человеческой жизни, что превращению человека в бессмысленного робота социалистической системы приходит конец. Эти настроения чувствовались не только среди беспартийной массы советского населения, но и в рядах коммунистической партии. Эренбург уловил их и понял необходимость литературного ответа читателям на эту настроенность. Здесь, как всегда, Эренбург поступает очень осторожно. Он выпускает срочно написанный по этому случаю роман «Оттепель», в котором позволяет себе лишь некоторые легкие и туманные намеки на возможность раскрытия человеческой личности в коммунистической среде и то только в самой интимной сфере духовного мира — в плоскости любовных отношений. Однако и эту интимную сферу человеческой души он всё же рассматривает сквозь призму «нового социалистического человека» (страховка и перестраховка!).

Роман «Оттепель» развернут автором на фоне послевоенной жизни партийной интеллигенции крупного промышленного центра. Почти все

его герои и героини, хотя и различные по характерам, — члены коммунистической партии. Фабула построена умело и увлекательно. Действие развивается одновременно по четырем линиям, каждая из которых представлена любовной парой. Все любовные партнеры жаждут возможности личной жизни, стремятся к ней, но ищут ее только е плане сердечного чувства, в сфере потребности осуществленной любви. Конфликты построены остро и порою неожиданно для читателя, которого они заставляют призадуматься и предположить нечто дальнейшее, более широкое, скрытое за ними — оттепель при более высокой температуре.

Однако, в каждом из обрисованных автором любовных сочетаний, он ставит между мужчиной и женщиной какую-то преграду, мимолетно бросая намеки, что преодоление этой преграды зависит также от той же «оттепели». Все эти преграды по форме различны для каждой пары, но стержень у всех их один и тот же: порабощение человеческой личности партийно-коммунистическим Молохом. Сугубо осторожный автор не называет этого Молоха, как не касается в своем романе и общественно-политических условий подсоветского бытия. Развязку «Оттепели» он набрасывает туманными и неопределенными мазками.

Пришла-де весна в природе, после зимних морозов наступила оттепель, а вместе с нею раскрылись сердца любовников. Забрезжила возможность какой-то идиллии, но и то только забрезжила, а еще не стала реальностью...

При всей своей осторожности Эренбург всё же на этот раз сделал тактическую ошибку. Вернее, события, происшедшие в жизни советского руководства, сыграли против него: кратковременное господство Маленкова с его робкими попытками к некоторому либерализму сменилось реакцией Хрущева. Едва начавшейся «оттепели» пришел конец. Это тотчас учла партийная коммунистическая критика и его завистники, разом набросившиеся на него. Однако Эренбург без особого усилия отбил атаку, укрепившись на своей необходимости для советской пропаганды мира, действующей в западном направлении, т.к., повторяем, один лишь он на всем советском литературном Парнасе действительно знает Европу, умеет говорить с ее интеллигенцией и может дать своим хозяевам полные гарантии, что не допустит промахов и бестактностей, подобно другим писателям, выступавшим перед европейской аудиторией. В этом — сила Эренбурга, он ее вполне сознает и, пользуясь ею, отражает ожесточенные нападки критиков «Литературной газеты».

Но данный им промах всё же требует от него выпрямления погнутой линии литературной карьеры, и мы можем ожидать в дальнейшем новой повести или романа Ильи Эренбурга, оправдывающего и восхваляющего

наступившие вслед за кратковременной «оттепелью» морозы. Положение его поколеблено, и это подтверждается тем, что Михаил Шолохов в своей речи на XX съезде партии, пространно перечисляя имена всех выдающихся советских писателей и зачислив в их ряды даже столь явных литераторов прошлого века, как Пришвин и Сергеев-Ценский, обошел полным молчанием имя Ильи Эренбурга.

«Вестник института по изучению истории и культуры СССР»
Мюнхен, июль-сентябрь 1956 года, № 3(20).
С. 131–133

Александр Твардовский. **«Поэмы. Том II»**

Второй том А. Твардовского дает необычайно яркую иллюстрацию борьбы внутренних противоречий, возникающих в творческом процессе современного подсоветского писателя, борьбы стремящегося к свободному развитию и самоутверждению таланта автора-творца и давления на это стремление к свободе творчества со стороны «социального заказа», т.е. требований, предъявляемых к литературному работнику всевластной коммунистической партией.

Содержание второго тома: поэма «Страна Муравия»; подбор облеченных в поэтическую форму военных очерков «Василий Теркин»; поэма «Дом у дороги»; несколько мелких вещей и (в качестве приложения) сводка переписки поэта с читателями и критиками «Василия Теркина».

«Страна Муравия», которой открывается книга, в 1941 году удостоена сталинской премии второй степени, следовательно, строгие партийные цензоры признали заказ, сделанный ими поэту, выполненным. В этом они не ошиблись: все элементы, полагающиеся для плаката, пропагандирующего «радостную и зажиточную жизнь» колхозов, введены автором в его произведение. В нем есть и злобствующий кулак, и обманщик-поп, и добродетельный во всех отношениях председатель колхоза, конечно, старый партиец, и, наконец, главный персонаж — сам русский крестьянин, убеждающийся в том, что коллективная форма хозяйства наиболее выгодна для него. Сюжетное построение «Страны Муравии» по своей схеме напоминает поэму Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Но на этот раз не группа правдоискателей, а лишь один крестьянин-середняк Моргунок отправляется искать свою крестьянскую правду, и эта правда в начале поэмы рисуется ему в виде несуществующей в пределах СССР страны Муравии, в которой нет колхозов.

В послесловии к поэме автор признается, что задумал ее не без

влияния приставленных к литературе партийных надсмотрщиков Фадеева и Панферова. Об этом можно было бы догадаться даже без его признания.

После долгих странствий герой поэмы, конечно, убеждается в правильности пути, указанного крестьянину партией. Этапы развития сюжетного действия развернуты автором в форме встреч Моргунка в начале с отрицательными и в конце с положительными персонажами. Их облики не новы в советской поэзии. Тот же, как и на плакатах, поп, тот же кулак. Их внешнее оформление доведено А. Твардовским до предела пропагандных требований. Так, например, традиционный поп превращается в конокрада, гарцующего на похищенной у Моргунка лошади, позже непонятным путем возвращенной владельцу добродетельными колхозниками. В стремлении вызвать у читателя жалость и сочувствие к пострадавшему Моргунку А. Твардовский даже выходит из границ правдоподобия, рассказывая, как этот его герой тянет на себе груженую телегу на протяжении чуть ли не нескольких сот километров.

Подобные картины чисто пропагандно-плакатного жанра поэт стремится обрядить в художественную форму, и его талантливость в данном случае оказывает ему значительную помощь. Некоторые картины, как например, описание колхозного базара, полнокровны и многокрасочны.

Площадь залита народом,
Площадь ходит хороводом,
Площадь до краев полна,
Площадь пляшет, как волна.
— Расступись, давай проход,
— Жеребца артель ведет.

Но поэтический талант А. Твардовского развертывается еще шире, когда он, по ходу действия поэмы, может позволить себе некоторую искренность, например, в мечтах Моргунка о собственном, единоличном участке в сказочной для советского крестьянина стране Муравии:

И никого не спрашивай,
Себя лишь уважай,
Косить пошел — покашивай,
Поехал — поезжай.
И всё твое перед тобой,
Ходи себе, поплевывай.
Колодезь твой и ельник твой,
И шишки все еловые.
И всем крестьянским правилам

Муравия верна.
Муравия, Муравия!
Хо-ро-ша-я страна! –

пишет А. Твардовский, несколько сбиваясь в некрасовскую тональность, что вполне понятно, т. к. никто в русской поэзии не чувствовал и не отражал крестьянских вожделений ярче и полнее, чем Н. А. Некрасов. Искренен Твардовский и в своей любви к российским черноземным просторам, к своей стране, к своей родине. Сильно звучат строчки:

Шла весна в могучей силе,
По ночам крошила снег.
Разлились по всей России
Воды всех морей и рек.

Но раскрытие своих эмоций, правдивость — качества, запретные для советского поэта. Он всецело подчинен партийному заказу, требующему от него, по существу, переложения в ритмической форме очередных передовиц «Правды» и «Известий». После искренних и полноценных строк, выражающих мечту крестьянина о своем собственном, единоличном хозяйстве, Твардовский вынужден дать антитезу, показать эту его мечту в уродливом, отталкивающем читателя виде. Выполняя это требование социалистического реализма, поэт показывает фантастический для советской современности поселок крестьян-единоличников, каких-то кащеев бессмертных — голодных, озлобленных «живых трупов». Лживость этой картины ясна для каждого советского читателя, не исключая и самого автора, что ясно чувствуется в надуманности, нудности, сухом схематизме как самих образов, так и облекающей их словесной формы.

Еще суше, мертвее и схематичнее показан им образцовый председатель образцового колхоза Фролов, конечно, старый партизан, едва-едва не убитый озверелым кулачьем и т. д. — всё, что полагается по сельковской шпаргалке. И тут же простые, но искренние и доходчивые до читателя слова Моргунка, которого не может убедить этот плакатный партиец, не может заставить его отказаться от своей крестьянской мечты, от поиска обетованной страны Муравии, сказочного для прежних времен справедливого «Опоньского царства»*.

* Легендарное идеальное православное царство (описанное в рукописных сказаниях «О хождении инока Марка»), пребывающее «в пределах океана-моря, называемого Беловодие», где находится «древляго благочестия православное священство», в том числе «российских до сорока Церквей, (которые) тоже имеют митрополита и епископов», от которых должна возродиться в России «истинная Церковь».

Всё стерплю, терпел Исус,
Может я один в России
Верен Богу остаюсь.

Эти строчки, как свидетельствует С. Юрасов в «Василии Теркине после войны», вошли, как и другие искренние строчки А. Твардовского, в современный русский фольклор, и можно предполагать, что вся «Страна Муравия» в целом являлась для советской пропаганды обоюдоострым оружием.

Но заказ Твардовский выполнил всё же вполне добросовестно, за что и получил награду. Не упущена им даже такая сравнительно мелочь, как «показательный почетный дед», ставший теперь необходимым атрибутом каждого официального колхозного торжества.

Что же можно сказать обо всей поэме в целом?

Пусть это будет звучать несколько парадоксально, но я позволю назвать вклад А. Твардовского в русскую поэзию ценным, потому что внимательный и чуткий читатель, как наш современник, так и тот, кто прочтет «Страну Муравию» лет 50 спустя, ясно уловит в ней борьбу двух начал: духовной личности самого поэта, неудержимо рвущейся к раскрепощению от сковывающих его творчество требований партийного заказа и всестороннего давления пресса этого заказа, аннулирующего поэтическую сущность произведения.

«Страна Муравия» становится еще интереснее в сопоставлении со следующим за нею «Василием Теркиным» — подбором военных очерков и фельетонов, выполненных в стихотворной форме.

Смертельная борьба с вторгнувшимся в пределы России национальным ее врагом поставила перед народом страны трагическую проблему: бороться ли с этим врагом, как с поработителем нации и родины, действуя в данном случае в полном контакте с ненавистным правительством узурпаторов, или же не оказывать сопротивления этому вторжению, лишь бы оно послужило к свержению существующей власти?

Не будем повторять исторического анализа этапов этой трагедии. Мы все знаем, что на втором году войны российский народ избрал первое решение, и в данном случае требования социального заказа совпали со стремлениями самой многоплеменной нации, подтвердившей это реками крови своих сынов.

Точно так же совпали с предъявленными к поэту требованиями и личные чувства А. Твардовского, что тотчас же отразилось на его творчестве. Безусловно, талантливому поэту, тонкому наблюдателю, способному облекать свои наблюдения в яркую поэтическую форму,

удалось найти и оформить *исторический* тип русского солдата в его современном преломлении. Так еще во время финляндской войны родился весельчак, балагур и вместе с тем верный своему долгу жертвенный патриот Василий Теркин.

Поэт получил разрешение быть искренним, размахнуться во всю ширь своих возможностей, брать со своей палитры любую краску и смелыми мазками метать ее на полотно. Образ Теркина выработался не сразу, но постепенно, шаг за шагом, при углублении понимания поэтом психического уклада русского солдата. «Василия Теркина» А. Твардовский писал отдельными корреспонденциями, печатая их в военных газетах. В работе над этими-то очерками, то фельетонами он пользовался многими жанрами от веселой юморески до глубинной трагедии. Пользовался и солдатским фольклором, и уходящей в глубокое прошлое казарменной сказкой. Это ярко проглядывает в некоторых умышленно допущенных им гиперболах, например, в повествовании о том, как «Вася Теркин бочками накрыл всех врагов поодиночке и, довольный, закурил на дубовой бочке», о том, как он, доставляя срочное донесение, «пролетал выше леса над бурливою рекой, через горы, водопады, мчась без удержу вперед», о том, как он вытащил «за штанину» спецкоровца с самолета. Пользуется поэт и формами столь популярного в русской народной среде в прежнее и настоящее время «лубка», но приноравливает этот лубок к восприятию уже не безграмотного мужика, но полуинтеллигента — среднего типа призывных возрастов.

В творческой работе над «Василием Теркиным», протекавшей на протяжении всей войны, получив в данном случае свободу в раскрытии самого себя, А. Твардовский настолько сроднился с русской народной средой, что, вероятно, только чутьем поэта сумел найти наиболее близкий ей ритм — четырехстопный хорей, созвучный стилю народного сказа.

Не приходится удивляться тому, что солдат Василий Теркин завоевал необычайную популярность не только в рядах армии, но и в толще всего российского народа, неразрывно связанного с этой армией. Не удивительно и то, что очень многие из читателей находили в Теркине портретное сходство то с самими собою, то со своими друзьями или товарищами по службе.

Творческая свобода, предоставленная талантливому А. Твардовскому, позволила ему «нащупать жилу» и взять из нее подлинную, живую кровь для своего героя. Даже прямая, беззастенчивая агитка, которую поэт вставляет иногда «по привычке», утрачивает в «Василии Теркине» свои отталкивающие черты, превращаясь в допустимый и близкий русской солдатской песне шарж. Вспомним хотя бы знаменитые афишки

Ростопчина (1812 год), вполне отвечавшие настроениям и запросам читавших их в то время.

Третья крупная вещь, помещенная во втором томе сочинений Твардовского — «Дом у дороги» — значительно слабее двух первых. Эта поэма написана автором уже после войны и носит на себе отпечаток некоторой недоработки. Твардовский словно израсходовал всю свою творческую энергию на создание замечательного образа Василия Теркина, в силу чего сам нуждается в отдыхе и накоплении новых впечатлений. Читателю кажется, что поэту было еще неясно то, что избрал он своею темой, — внутренний процесс восприятия подсоветской послевоенной действительности не дал еще ему достаточно определенных образов. Отсюда их расплывчатость, туманность, блеклость красок, обычно сочных и ярких на палитре Твардовского. Но не будем думать, что поэт изжил самого себя, выражаясь по-обывательски, «исписался». Одаренность Твардовского, несомненно, очень значительна и плоды ее мы еще увидим в дальнейшем, если не постигнет его тяжелая участь поэтов, рожденных в климате тоталитаризма.

«Вестник института по изучению истории и культуры СССР»,
Мюнхен, апрель-июнь 1955 года, № 2 (15).
С. 107–110

Константин Паустовский.
«Избранное» и собрание сочинений. Том I

Константин Паустовский — прирожденный романтик, вынужденный жить и творить в самую неромантическую из пережитых человечеством эпох, в эпоху подавления и размельчения человеческой личности безликим коллективом, порабощения мысли утилитарной ее направленностью, подмены реальной красоты мироздания иллюзорной, абстрактной красивостью по рецепту марксизма-ленинизма. В этом несоответствии внутреннего мира писателя и внешней среды, его окружающей и подавляющей, скрыта глубокая трагедия не только самого К. Паустовского, но и многих других, столь же крупных литературных талантов, не смогших осуществить себя в творчестве и не выживших в климате страны «победившего социализма».

Константин Паустовский — типичный русский интеллигент, представитель того поколения, которое, по словам самого Паустовского, было поражено, увидев перед собой истинное лицо революции. Вместо того, чтобы возглавить грандиозное народное движение и направить его

в творческое, созидательное русло, — пишет он, — эта современная ему великая гуманная русская интеллигенция, детище Пушкина и Герцена, Толстого и Чехова, растерялась. С непреложностью выяснилось, что она умела создавать высокие духовные ценности, но была, за редкими исключениями, беспомощна в деле создания государственности. Старый строй рухнул. Вместо того, чтобы сеять в народе хрестоматийное «разумное, доброе, вечное», надо было немедленно, своими руками создавать новые формы жизни, надо было умело управлять необъятной страной. А для всего этого призванным к тому надлежало стать самим именно романтическими личностями, безудержно пробивающими путь к новому, неведомому своими собственными руками, надо было перейти от слова к действию, от абстракции к реальности, надо было *осуществить романтику*, т.к. в основе всех романтических коллизий всех времен и народов стоит, прежде всего, целостная, сильная, героическая личность, тот борющийся и побеждающий человек, который выражен в различных, но сходных внутренне образах Байроном, Гюго, Джеком Лондоном, а у нас Гумилевым. Путь к познанию и изображению такой личности был закрыт для Паустовского и внутренне, в нем самом, и извне, окружавшим его бытом.

Константин Паустовский родился в Киеве, в либеральной среднего ранга чиновничьей семье, стоявшей, по-видимому, выше обычного культурного уровня этой среды. Но будничная жизнь городского интеллигента предреволюционных годов не удовлетворяла одаренного юношу. «Желание необыкновенного преследовало меня много лет, — пишет он в своей краткой автобиографии. — В скучной киевской квартире, где прошло мое детство, вокруг меня постоянно шумел ветер необычайного. Я вызывал его силой своего собственного мальчишеского воображения. Этот ветер приносил запах тисовых лесов, пену Атлантического прибоя, раскаты тропической грозы, звон Эоловой арфы. Я никогда не видал ни темных тисовых лесов, ни Атлантического океана, ни тропиков и ни разу не слышал Эоловой арфы...».

Там в однообразной обыденщине либеральной интеллигенции, в среде которой протекли детство и юность писателя, зародилось зерно той трагедии, которая просекла всю его дальнейшую личную и творческую жизнь, трагедии разрыва между романтикой и реальностью. Молодой начинающий писатель К. Паустовский не умел, не был обучен видеть воочию перед собой живую романтическую личность, ее борьбу, ее подвиг, ее победу или гибель. Даже Первая мировая война, а вслед за ней революция не раскрыли ему глаза на реального романтического героя. И войну, и революцию он видел собственными глазами, но подвига в них

он не заметил. Живой человеческой фактуры для создания героического образа было достаточно, но воспитанный в свойственных его среде традициях, интеллигент Паустовский не умел и не желал ею пользоваться. Ведь героика, а в особенности романтическая героика была вытеснена из русской литературы еще со времен Бестужева-Марлинского, и произведения романтического жанра вообще воспринимались русской интеллигенцией как литература второго, а то и третьего сорта. Этой тенденции юный Паустовский преодолеть в себе не мог, хотя первому своему крупному произведению дал название «Романтики».

Над этим автобиографическим романом Паустовский с большими, правда, перерывами работал с 1916 по 1923 год, в течение всего первого периода формирования его самого как писателя. Большой литературный талант помог автору внешне украсить свое первое произведение, чем и был обусловлен успех «Романтиков» при полном отсутствии в романе самих романтиков, живых носителей этого душевного строя. Главные действующие лица этого романа словно лишены стимула к действию. Они плывут, несомые какими-то совсем не бурными, но тихими и спокойными течениями, конфликты между ними вялы, а их внутренние переживания окрашены в приятные для читателя, но блеклые, пастелевые тона и даже центральная коллизия, борьба двух женщин за обладание любимым ими обеими, представляется не смертельным поединком за счастье, а каким-то «соглашательством». Тонкий литературный вкус К. Паустовского и его глубоко критическое отношение к самому себе разъяснили ему неудачу этой его попытки создания романтических образов при отсутствии в повести элемента борьбы, и он предпринял поиск в ином направлении, избрав форму романтической авантюры, развернутой на фоне советского быта.

Такова повесть «Блистающие облака». Ее фабула довольно банальна: злодей похищает планы гениального изобретателя, а положительные персонажи отнимают у него эти планы и возвращают их своему социалистическому отечеству. Злодей, конечно, иностранец, американец, густо окрашенный в беспросветно темные тона, на которые Паустовский не поскупился. Ведь «Блистающие облака» были написаны им в конце двадцатых годов и должны были стать его дипломом на звание советского писателя.

Разработанной доктрины социалистического реализма тогда еще не существовало, и для получения такого рода диплома требовалось не слишком многое: всего лишь очернить по мере сил все отрицательные персонажи и отдать победу над ними тем, кто верит в конечное торжество коммунизма и лоялен по отношению к советской власти. Особенного рвения в служении социалистическому отечеству от литературных

героев тогда еще не требовалось, не требовалось и полного, безоговорочного подчинения автора партийным директивам. К. Паустовский принял эту программу-минимум и развернул свою авантюрную фабулу, не считаясь с окружавшей его бытовой реальностью. Так, например, борьбу со злодеем-диверсантом он поручил частным лицам, хотя для каждого его читателя было совершенно ясно, что такого рода акция могла быть проведена и должна была бы быть проведена органами НКВД, сотрудники которых в романе «Блистающие облака» отсутствуют.

Но отсутствуют не только эти официальные герои, отсутствует и герой вообще. Положительные персонажи этого романа совершенно не проявляют собственной инициативы в борьбе, да и вообще борьбы не ведут, победа достается им в результате ряда случайностей. В романе «Блистающие облака» Паустовский еще попутчик коммунистической партии, но не служитель ее, не ее робот и тем более не лакей. Но он уже ясно сознает, что стать писателем в советской стране, сохранив при этом в полной или хотя бы относительной непорочности белые ризы русского интеллигента, невозможно, что компромисса в данном случае быть не может, полное подчинение творческой личности писателя требованиям партийного диктата неизбежно. Выбора пути перед Паустовским нет. Он должен стать *социалистическим* романтиком, претворять в романтическую форму директивы социалистического реализма.

Географические горизонты романтика Паустовского резко ограничены и точно обозначены. Никаких тисовых лесов, океанских прибоев, тропических гроз, и тем более зовов Эоловой арфы. Извольте отыскать всю потребную вам бутафорию в границах СССР, товарищ романтик! Извольте там же найти и героев, конечно, из среды тех, кто «самоотверженно служит светлому коммунистическому будущему», извольте романтически опоэтизировать нашу абстрактную доктрину, наши экономические планы, воспеть наши советские достижения, возможные только при мудром руководстве партии и правительства!

Писателю Паустовскому не оставалось ничего, кроме подчинения этим требованиям. И думается, что внутренне это было ему не так трудно. Ведь его юношеские устремления к романтической экзотике были для него чистой абстракцией, а реальная жизнь, доступная его зрению, отыскание романтической личности в ней его тогда не привлекали. Еще менее — в советское время.

«Пришло серенькое ремесленное утро, — пишет он, — женщины шлепали детей, мужчины мылись во дворе под краном. Синий угар самоваров струился под крышу, дух квашенной капусты выползал из комнат. Гудели яростные примусы, трещали и брызгали салом раскаленные ско-

вороды и шум — суетливый, однообразный шум жизни — возвестил о начале еще одного безрадостного и длинного дня. Дом кричал, плакал, ссорился, смеялся и шипел, как чудовищный Ноев ковчег... Над всем этим шумом стоял пронзительный короткий, как лозунг, крик мамаш: — Вот погоди, я тебе задам!». Где тут искать романтического героя! К. Паустовский понимает полную безнадежность такого рода поисков и устремляется к романтике сульфатов и глауберовой соли Кара-Бугаза, проект разработки минеральных богатств которого значится одним из пунктов пятилетнего плана. Блестящий литературный талант, высокий уровень культуры и широкая эрудиция помогают ему выполнить это труднейшее задание партии. Фосфаты романтизированы. Читатель убежден даже в успешной работе химического комбината, не существующего еще нигде, кроме проектов пятилетнего плана.

Но, произведя удачную операцию над минералами, Паустовский не смог совершить такой же над человеком. Богатства недр берегов Кара-Бугаза им вскрыты перед глазами читателя, но богатства человеческого духа, психика людей, по вольной воле или поневоле трудящихся и живущих на тех же берегах, остались скрытыми и для читателя, и, возможно, даже для автора. Человек был для него только рабочей единицей, одним из слагаемых всей суммы труда коллектива. Жизни вне рамок этого коллектива Паустовский не коснулся.

Повесть «Кара-Бугаз» была оценена по достоинству и советской критикой, и руководящими в литературе партийными органами. К. Паустовский был не только признан подлинно советским писателем, но и, так сказать, утвержден в должности главы литературных работников отдела социалистической романтики. Но ветры необычайного не перестали волновать его душу, и следующим крупным произведением Паустовского стала повесть «Колхида», в которой он, вполне уверенный теперь в своем литературном мастерстве, попытался совместить, слить в органическое целое экзотику неведомых пространств с точными предначертаниями советской системы.

Древняя Колхида, восточное побережье Черного моря, именуемое ныне советскими субтропиками, широко открывало ему эту возможность. Пейзаж страны жаркой, болотистой, малярийной в реальности, но красочной, экзотической, полной необычайного в абстракции обеспечивал задуманную им повесть всеми декоративными атрибутами. Но без человека, без дерзающей, творческой личности этот пейзаж был бы мертв, и понимавшему это писателю пришлось прибегнуть к займам у классиков романтической литературы. Он перенес на почву социалистических субтропиков стивенсоновского «старого морского волка»,

определив его начальником советского порта, куперовского «зверобоя», заставив его уйти из диких джунглей и превратиться в активиста соцстроительства, прихватил заодно и резвого Гавроша, снабдив его щетками для чистки сапог, чтобы он не попал в детскую исправительную колонию. Эти займы не помогли. Романтические личности, перемещенные в атмосферу социалистического быта, превратились там в безжизненные фигуры, обряженные в чужое платье, словно в музее-паноптикуме.

Показывает ли это недостаток таланта у Паустовского? О, нет! В нескольких небольших рассказах, написанных им в то же время пером, свободным от насилия партийного руководства, он доказал, что человеческая душа даже в самых тонких ее вибрациях ему близка и понятна, им любима. Таковы, например, его рассказы «Телеграмма» или «Стальное колечко», в которых Паустовский повествует о самом человеке, а не об обязанностях социалистического принудиловца.

В конце сороковых годов, когда самому автору подошло под шестьдесят, романтика как будто бы перестала уже волновать его. Платя дань заслуженному им «Кара-Бугазом» и «Колхидой» высокому званию, он как-то мимоходом испытал себя в области исторической романтики, скомпоновав пьесу «Наш современник», героем которой избрал Александра Сергеевича Пушкина. Но в этом эксперименте приспособленчества ему не помогли ни его талант, ни его тонкий литературный вкус и чувство художественной меры. Перекрашенный в большевицкие тона, великий поэт превратился в какую-то грубо плакатную, агитационную фигуру, и этот перекрашенный Пушкин настолько отличался от исторического, подлинного Пушкина, известного советскому читателю из творчества поэта и по работам серьезных пушкинистов, что советская критика сконфуженно промолчала об этой пьесе. Вероятно, и сам Паустовский молчит о ней в беседах со своей писательской совестью. А эта совесть жила и живет в его душе. Она не молчит. Она напоминает уже престарелому, увенчанному лаврами писателю о той дорогой цене, которую ему пришлось уплатить за эти лавры. И снова ветры необычайного волнуют его душу, устремляют ее к поиску не условно-абстрактной социалистической перекраски, но к лицезрению подлинной, реально живущей с мире романтики красоты.

Около трех лет тому назад Паустовский участвовал в советской экскурсии на теплоходе «Победа». Ему, устремленному с юности ко внебытовым для подсоветского человека далям, удалось впервые к ним приблизиться, и он написал, вернувшись на родину: «Недавно экзотика заставила меня еще раз задуматься над нею. Случилось это во время плавания вокруг Европы... Теплоход, круто разворачиваясь, входил в

Босфор. Перед нами открылась картина, похожая на старинную пышную декорацию приморской страны. Кое-где на этой декорации облетела позолота, кое-где ее подправили свежими красками... Десятки пестрых, как попугаи, фелюг, карминных, желтых, зеленых, белых, синих и черных, с золотыми обводами по бортам, шли, пеня воду, навстречу нашему теплоходу. Мы стали на якорь против игрушечного городка. Вечером в домах загорелись огни. Я увидел узкую улицу, уходящую в гору. Ее во всю длину перекрывал глухой, почти черный навес из виноградных лоз. Под ними шел ослик с фонариком на шее. Этот городок был преддверием Стамбула. С террасы маленькой кофейни, висевшей над водой, доносилась тягучая музыка. Девушки-турчанки в светлых платьях, облокотившись на перила, смотрели на пролив. С берега пахло олеандрами. В меркнувшем небе сиял полумесяц, такой же, как на куполах бесчисленных мечетей. Мне всё это казалось нереальным и напоминало вымыслы юности. Но вместе с тем это была действительность. С тех пор сознание этой реальности не покидало меня на всем пути — в лиловом Эгейском море, где тянулось по горизонту торжественное шествие розовых островов, в Акрополе, построенном как бы из старого воска, в Мессинском проливе с его ослепляющей голубизной воздуха, в Риме, где в Пантеоне на простой и суровой гробнице Рафаэля лежала высохшая гвоздика, и в Ламанше, где сквозь туман звонили навстречу кораблю старинные колокола...».

Рыдание о безвозвратно утерянном сокровище духа, признание ошибочности всего своего жизненного пути, всего своего творчества слышатся в этих словах. Внимая голосу своей не социалистической, но человеческой совести, Паустовский не только рыдает, но негодует на тех, кто лишил его поколение и вступающие теперь в жизнь новые поколения русских писателей непосредственного общения с подлинной красотой реального мира, против тех, кто подменил солнце лампочкой Ильича, а живую человеческую душу мертвой буквой коммунистической догмы. Этих насильников духа Паустовский в своей трагической речи, произнесенной им в Доме писателей, назвал «дроздовыми», по имени некоего власть имущего партийца, правдиво и ярко изображенного Дудинцевым в романе «Не хлебом единым».

«Совесть писателя должна быть совестью его народа, — сказал там К. Паустовский. — Книга Дудинцева беспощадная правда, которая так необходима нашему народу... Его роман — первая битва против “дроздовых”, с которыми наша литература должна бороться до полного их уничтожения. В нашей стране тысяча “дроздовых”... Число их не уменьшается — они продолжают жить и занимать лучшие места. Недавно мне представился случай провести довольно много времени с “дроздовыми”.

Это было на пароходе "Победа"... Каюты люкс и первого класса были заняты... зам. министров, высокими сановниками, плановиками и другими подобными по рангу лицами... Они были непереносимы благодаря своей наглости, совершенно равнодушны ко всему, кроме, конечно, своего служебного положения и чванства. Помимо этого они поражали своим невероятным невежеством. Позволять подобным людям выезжать за границу нашей страны является, по-моему, просто преступлением, потому что "дроздовы" и мы по-разному представляем престиж нашей страны... Если бы у нас не было "дроздовых", в нашей стране были бы еще великие люди, как Мейерхольд, Бабель, Артем Веселый. Их уничтожили "дроздовы". Они были уничтожены во имя подлого благополучия этих "дроздовых"».

Назвав имена только трех жертв коммунистического насилия над творчеством, Паустовский во много раз сократил этот страшный синодик, в который он мог бы вписать вслед за именами Бабеля и Артема Веселого и свое собственное имя. Разве не «дроздовы» были его социальными заказчиками? Разве не они заставили его отказаться от светлых, свежих порывов его юности и растратить свой большой талант в служении лжи, применить его для обмана своих читателей? Разве ждановщина и теперь хрущевщина созданы не «дроздовыми» и разве не им, этим «дроздовым», служил он, Константин Паустовский, воспитанный в традициях сеяния «разумного, доброго, вечного»? И разве совесть самого Паустовского в своих беседах с ним с глазу на глаз выносит обвинительный приговор лишь одним «дроздовым», оправдывая тех, кто служил и служит им своим талантом?

«Вестник института по изучению истории и культуры СССР»,
Мюнхен, январь-март 1959 года, № 1(29).
С. 121–126

Boris Pasternak. **"Il dottor Zivago"**

Роман Бориса Леонидовича Пастернака «Доктор Живаго» имел свою историю еще до своего выхода в свет. Автор начал работу над ним в последний год войны и закончил почти через десять лет, в 1954 году, когда в Советском Союзе трепетал бледный призрак «оттепели»*.

Можно предположить, что и 67-летний Б. Л. Пастернак поддался этой иллюзии, в результате чего он отнес свою рукопись в Госиздат, где она была принята**.

* «Знамя», № 4, 1954 г. — *Здесь и далее в этой статье прим. авт.*
** «Новое русское слово», 22.11.1957.

Было намечено выпустить роман из печати в конце 1956 г., и Госиздат не возражал против заключения автором договора и с итальянским издателем Фельтринелли в Милане на выпуск в свет романа также на итальянском языке*. Однако, политическая обстановка в Советском Союзе за это время круто изменилась, и «оттепель» в действительности не наступила. Роман Пастернака и сам автор были резко осуждены. В первую очередь Союз советских писателей поспешил заявить, что Пастернак ставит под сомнение даже самую Октябрьскую революцию, что о ней он пишет так, будто бы дело идет о самом страшном преступлении в истории России**.

Г. Соловьев в своей рецензии «Оружием сатиры» на стихи С. Васильева пишет о Пастернаке:

«Поэт Борис Пастернак, написавший в прошлом такие произведения, как “Девятьсот пятый год” и “Лейтенант Шмидт”, в дальнейшем встал на неверный творческий путь, отрешил свою музу от социальной жизни и, в сущности, этим губит ее как действенную духовную силу.

Ни одну статью об этом крупном таланте, сбившемся с истинного пути, не поставишь рядом с ясной, остроумной, интонационно подражающей самому поэту критикой его серьезных творческих недостатков»***.

Особенно резкой критике Пастернак был подвергнут В. Перцовым, который в свое время хвалил поэта, а потом раскаялся. Теперь он пишет, что один опытный в литературных делах человек заметил ему в свое время, что он поторопился похвалить стихи Пастернака. Перцов обвиняет Пастернака в том, что он и подобные ему «исходили из приоритета искусства над революцией… Они не понимали и не хотели понять, что искусство, рожденное Октябрем, не могло служить революции в отрыве от жизни масс, что оно могло расти как искусство, только ведя за собою массы, опережая, уча и воспитывая их не только в идейном, но и в эстетическом плане»****.

Перцов говорит в заключении, что «хаос до сих пор держит Пастернака в плену»*****.

Доктор Живаго, выражающий в романе воззрения самого автора, действительно смотрит на Октябрьскую революцию и на дальнейшее развитие советизма, как на сплошную цепь преступлений не только против России как государства, но и против каждого из российских людей в отдельности, против его индивидуальности. Вся революция в целом, по

* Там же.

** Там же.

*** «Литературная газета», 19.09.1957.

**** Там же.

***** Там же.

воззрению Б. Пастернака, несла с собою не раскрепощение, не свободу, но исключительно разрушение и угнетение. Б. Пастернак пишет:

«Люди, делающие революцию — фанатичные сектанты. Они сплеча, в минимально краткий срок разрушают все созданное до того. Дух, в котором это совершается, прославляется в дальнейших поколениях. Но свобода, истинная свобода, а не объявленная в лозунгах, отсутствует или падает с небес в силу случайности, как бы по ошибке».

Анонс Фельтринелли о подготовке к печати книги хорошо известного в Италии Б. Пастернака, не вышедшей на русском языке, был уже не только литературным, но и политическим событием. Посол СССР в Италии потребовал от Фельтринелли возвращения рукописи. Сильное давление было произведено, очевидно, и на самого Пастернака, так как советский дипломат основывался в своих требованиях на письме поэта, якобы тоже требовавшего возвращения рукописи. Но Фельтринелли, коммунист-миллионер, ушедший к этому времени из итальянской коммунистической партии под впечатлением венгерских событий, не согласился на возвращение рукописи, справедливо предполагая, что это желание не автора, а Советского правительства*.

В ноябре 1957 г. роман «Доктор Живаго» был издан на итальянском языке, и весь тираж был распродан в один день, после чего в последние два месяца 1957 года было выпущено и разошлось еще два издания. В текущем году «Доктор Живаго» выйдет на английском языке в Англии и США, на немецком — в Германии, в издательстве Фишер, а также во Франции, в Швеции и даже в Югославии.

Проиграв бой за «Доктора Живаго» в свободном мире, советское руководство попыталось взять реванш в СССР. В Москве была устроена специальная пресс-конференция, на которой Б. Л. Пастернака принудили выступить с покаянием. Но писатель построил свою речь столь изящно и дипломатично, что сумел избежать в ней всех пошлых покаянных воплей, ограничившись лишь заявлением, что он не собирался критиковать существующую в СССР политическую систему, а стремился лишь уловить дух эпохи, что совершенно правильно, так как в названном романе он не описывает событий революции, а лишь анализирует их психологическую подоплеку. В конце своей речи маститый поэт добавил со скрытой иронией:

«Если бы наши издатели были умнее и разрешили бы мою книгу к печати, то все нынешние трудности отпали бы сами собою»**.

---

* «Münchner Merkur», 12.12.1957.

** «The New York Times». Цитируется по газете «Наше общее дело», Мюнхен, 10.01.1958.

Иначе говоря, если бы «Доктор Живаго» был издан в СССР как рядовая книга, то никакой сенсации в западном мире не было бы. Наоборот, там заговорили бы о свободе слова в Советском Союзе.

Вряд ли что-либо доброе ожидает Бориса Леонидовича Пастернака в дальнейшем. Ведь он ни разу за свой творческий путь не унизился до славословий Сталину и советской власти; отмежевавшись от политики и общественности, он уединенно жил на своей скромной даче под Москвой. Чистку 1937 года он прошел случайно, заработав неприкосновенность и одобрение самого Сталина прекрасным переводом на русский язык старых грузинских поэтов*.

Теперь это уже не искупит его вины перед партией, о чем недвусмысленно намекнули Союз советских писателей и советская пресса, приравняв появление «Доктора Живаго» в Италии к изданию «Красного дерева» Бориса Пильняка в двадцатых годах в Германии, за что тот заплатил жизнью**.

Но что же представляет собой этот уже нашумевший роман? Мир знает Бориса Пастернака как талантливого поэта и отдает ему должное: большая часть стихотворений его переведена на все основные языки, вплоть до японского, и в некоторых странах, например, в Италии, его имя пользуется исключительным почетом. Но Пастернака-прозаика не знали ни мы, ни мир. Казалось, что прозаическая форма литературного творчества ему совершенно чужда. И вдруг он заговорил прозой, к тому же разом создал большое полотно эпохального масштаба!

Не имея в руках русского подлинника «Доктора Живаго» и пользуясь лишь итальянским переводом этого романа, нельзя, конечно, анализировать язык Б. Пастернака. Можно лишь предположить, что прозаик-Пастернак полностью отмежевывается от какого-либо словесного трюкизма, стремится писать просто, без нарочитых «украшений», вкладывая максимум смысла в каждую свою фразу. Композиция романа очень сложна и вместе с тем построена прочно и целеустремленно. Каркас «Доктора Живаго», его фабульный скелет создан из нескольких ведущих линий сквозного действия, то пересекающихся меж собой, то вновь расходящихся, но связанных в финале общим для всех концом — моральной или физической гибелью. Ничего лишнего, и все слито в общей, единой гармонии, выражающей основную мысль автора, его отрицательное отношение к Октябрьской революции, как к подавлению всех видов свободы, а главным образом свободы человеческого духа. Автор показывает своего героя в образе своего современника, может быть

* «Münchner Merkur», 12.12.1957.

** Там же. См. также «Литературную газету» от 19.09.1957 и 16.11.1957.

даже частично и самого себя. Доктор Юрий Андреевич Живаго родился в Москве в конце прошлого века. Его отец — широкий, удачливый коммерсант. Под влиянием темного дельца, адвоката Комаровского, он запутывается в своих аферах, уходит от семьи и кончает жизнь самоубийством. Умирает и мать Юры Живаго, но он сам остается в том же кругу высшей московской интеллигенции, живет в семье культурнейшего и гуманнейшего профессора Громеко, блестяще оканчивает университет, становится многообещающим врачом и научным работником, к тому же пишет прекрасные стихи; в целом — он один из цветков интеллектуального слоя лет, предшествовавших Первой мировой войне. Политика, как таковая, ему совершенно чужда. Он живет в области науки и искусства. Чужды ему и страсти. Он женится на дочери профессора Громеко без особой любви к ней, но скорее в силу своей внутренней уравновешенности. Лишь одна встреча с девушкой совершенно другого круга — Ларисой Гишар оставляет глубокий след в его душе; он подавляет эту зародившуюся любовь, заглушает едва лишь вспыхнувшую искру. К тому же в жизнь еще юной Ларисы вторгается та же злая сила, которая привела к самоубийству отца Юрия Живаго — адвокат Комаровский. Он становится одновременно любовником Ларисы и ее матери, калечит душу девушки, и ей лишь с неимоверным усилием и глубоким надрывом удается уйти от него. В роман вступают новые лица, революционные идеалисты — рабочие Антипов, Тиверцин и сын Антипова — Паша, которому Пастернак в дальнейшем отводит большое место в романе. Пока это скромненький, чистенький, хорошо учащийся мальчик-реалист, потом — студент. Его отец сослан, и Лариса, пожалев этого, как ей кажется, беззащитного одинокого юношу, выходит за него замуж. С его стороны — пламенная любовь, далеко не удовлетворенная отношением к нему жены.

Все предшествовавшие революции 1917 года исторические события Б. Пастернак затрагивает лишь вскользь. Волнениям 1905 года он уделяет только несколько страниц, насыщенных сарказмом по отношению к фанатикам революции. Войне — также немного, касаясь лишь области порожденных ею психологических сдвигов. Исторические лица и исторические события полностью отсутствуют. «Доктор Живаго» совсем не «исторический роман».

Вернувшийся в Москву после развала армии доктор Живаго поражен происшедшими в это время переменами в самих людях: «Все стали до странности обесцвеченными, угасшими, никто не сохранил своей собственной индивидуальности, собственных идей».

Ошеломляет его и вид самой Москвы. Она «раскинулась темная, не-

мая и голодная. Ее магазины пусты, и люди даже забыли о существовании таких вещей, как дичь или водка».

Но доктор Живаго чужд обывательского протеста против революции. Наоборот, он склонен в то время видеть в ней зарю чего-то грандиозного и небывалого. Он говорит: «Нам предстоит что-то до сих пор невиданное, никогда еще не свершавшееся. Если мы уцелеем до момента, когда будут писать воспоминания об этой эпохе и прочтем их, то убедимся, что за эти пять или десять лет мы пережили больше, чем другие за целые столетия... Я думаю, что России суждено стать первым в мире царством социализма. Когда это осуществится, мы будем надолго ошеломлены и, придя в себя, не вернем большей части хранившегося в памяти. Мы забудем то, что было прежде, и не будем искать объяснений новому, невиданному, неслыханному. Порядок, который будет учрежден, окружит нас такой же нормальностью, как лес на горизонте или туча над головой. Окружит со всех сторон. Ничего другого не будет».

В этом признании закономерности происходящих на его глазах событий слышится голос не политика, но биолога и физиолога, рассматривающего явления как результат материального процесса, не задумываясь над тем, к добру или ко злу ведет этот процесс. Но реальное, бытовое зло уже давит на высокого интеллигента доктора Живаго со всех сторон. Голод, холод, быт каменного века... Живаго утрачивает способность мыслить, лишается стремления к духовному творчеству и постепенно, но неуклонно возвращается к животному примитивизму, к пещерному быту и самосознанию пещерного человека. Он уже не поэт, не мыслитель-биолог, он мелкий вор, крадущий топливо, чтобы сохранить свою жизнь, даже не жизнь, а лишь животное прозябание. Вон из Москвы! Семья Живаго, вместе с отцом его жены Тони профессором Громеко, уезжает в уральскую глушь, где у деда Тони было земельное владение. Там их ждет неизвестность, быть может и вражда, но там все-таки есть возможность добыть примитивным трудом кусок хлеба и вязанку дров.

Здесь же, в Москве: «Не жизнь, а нечто немыслимое, сумасшедшее, абсурд!» — восклицает Живаго в споре со знакомым большевиком.

«Но это — историческая необходимость, через нее нам неизбежно пройти», — отвечает ему тупой доктринер.

Семья Живаго забивается в уральскую глушь, вблизи линии колчаковского фронта. Полная отрешенность от лихорадки, потрясающей города России, и примитивный земледельческий труд временно оживляют Юрия Андреевича; к нему возвращается способность мышления, интеллектуального творчества. Но ненадолго. Оперирующие в тылу армии Колчака партизаны захватывают его и увозят к себе для врачебной

работы в их отряде. Атмосфера полного озверения, полного одичания, нелепых бесцельных убийств, грубого попрания всех надматериальных ценностей — вот что окружает доктора Живаго в плену, унижает, мучит, разрушает его так недавно еще мощный, целостный дух. От семьи он полностью оторван, и его жена с ее отцом, уверенные в его гибели, возвращаются в Москву, откуда старого профессора-идеалиста вскоре высылают за границу. Дочь его, жена Живаго, вместе с детьми уезжает с ним. Но самому Живаго все-таки удается вырваться из плена после двух лет вынужденного пребывания в партизанском отряде. Он возвращается в тот же уральский городок, где был захвачен, и встречается там с Ларисой. Подавленная в юности любовь к ней вспыхивает теперь с необычайной силой в опустошенном, кровоточащем, измученном сверх предела сердце Живаго. Лариса отвечает ему тем же. Их жизненные пути сливаются, но разрушительная сила революции достигает и этой сокровеннейшей области духа двух, недавно еще сильных, одаренных, возвышенных натур. В город приезжает ревтрибунал, возглавляемый бывшим революционером-идеалистом, превращенным теперь в робота-палача, Антиповым, отцом Павла, мужа Ларисы. Она и Живаго в списках обреченных. Но их предупреждают об опасности, и Юрий Андреевич увозит Ларису в ту глушь, где жил он с семьей. Это временное убежище. Оба они знают, что угроза смерти далеко еще не отстранена. Злая сила проникает к ним и с другой стороны. В городе задерживается поезд бывшего адвоката, а теперь советского сановника Комаровского, едущего учреждать Дальневосточную народную республику. Он знает угрозу, нависшую над Ларисой, и пользуется ею в своих целях, предлагая Живаго и ей спасти их, увезти в своем поезде. Юрий Живаго вполне понимает его хитрость, но, сознавая свое бессилие и стремясь спасти возлюбленную, он обманом усаживает ее в поезд Комаровского, а сам остается, свершая этим свое духовное самоубийство. Одиноким, бессильным, раздробленным, обнищавшим духовно и физически, возвращается он в Москву по также обнищавшей, духовно и материально, России. Вымершие деревни, омертвелые, заброшенные линии железных дорог, пустота, хаос. А в Москве уже вспыхнули судорожные, обманчивые огни нэпа, и Живаго на момент подпадает под их очарование. Он пытается снова творить, мыслить, устремляться ввысь. Но поздно. Гореть сам он уж больше не может. Горючее его личности иссякло, оно поглощено и бесцельно растрачено революцией. Одаренный, талантливый, деятельный поэт и мыслитель Юрий Андреевич Живаго теперь только «бывший человек», которому остается лишь жениться на дочери бывшего швейцара своего дома, малокультурной, вульгарной женщине, и опуститься интеллектуально

и морально до ее уровня. Через несколько лет, уступая настойчивым требованиям оставшихся друзей, еще верящих в него, Юрий Андреевич делает вялую попытку вернуться к данному ему Богом первообразу, но внезапно умирает от разрыва сердца в трамвае. Эту свою болезнь Юрий Андреевич знал и раньше и, как врач, выносил ей такой диагноз:

«Это — болезнь современности. Ее причины лежат в моральной плоскости. От нас требуют постоянного лицемерия, постоянной лжи, возведенной в систему, но без вреда для себя нельзя ежедневно насиловать свою натуру, показывать себя не тем, чем себя сознаешь, жертвовать собою для того, чего не любишь, радоваться тому, что делает тебя несчастным. Бесконечно насиловать душу нельзя».

Смерть доктора Живаго приурочена автором к 1929 году. Здесь развязка основной фабулы всего романа — гибель всех главных его персонажей: умирает отравленный социалистической ложью интеллектуал Живаго. Рвавшаяся к своей женской свободе Лариса снова в руках насильника: ее муж, Павел Антипов, примкнувший к революции во имя личного самоутверждения, залитый кровью множества жертв, попадает сам в революционную мясорубку и спасается из нее выстрелом в собственный висок. Дочь Живаго и Ларисы становится беспризорницей. Гибель, разрушение и смерть — финал повести.

Но творческая мысль автора влечет его дальше, ближе к современности. В эпилоге он рассказывает читателю о разговоре, происходящем между двумя гимназическими приятелями Юрия Живаго, встретившимися в каком-то маленьком городке в 1943 году. Оба они прошли концлагери, о которых повествуют с эпическим спокойствием, обнажая в то же время все подлинные, реальные их ужасы. Так о советских концлагерях никто еще в подсоветской литературе не говорил. Должно быть, Б. Пастернак всерьез поверил в «оттепель», иначе он не рискнул бы подвести в этом разговоре прямой, убийственный для советской системы итог всему высказанному в романе: «Чтобы скрыть все свои провалы (советской системы. — *Б. Ш.*), необходимо было, пользуясь всеми средствами террора, сделать так, чтобы народ разучился критически мыслить. Нужно было заставить его видеть то, чего не было, а для этого нужно было иллюзорно показывать ему противоположное реально видимому. Отсюда неслыханная жестокость ежовщины, отсюда обнародование конституции, про которую знали, что она не будет применяться в действительности; введение выборов без права выбирать. И когда наступила война, с ее настоящими ужасами, с ее настоящей опасностью и настоящей угрозой смерти, — она оказалась благодеянием по сравнению с царством бесчеловечной абстракции; она принесла облегчение; она

положила предел дьявольской силе мертвой буквы... Все и на фронте, и внутри страны вздохнули свободнее, полными легкими, бросаясь, как опьяненные, с чувством подлинного счастья в пекло потрясающей борьбы, смертельной, но спасительной...

Война стала концом действия причин, породивших революцию, плоды плодов, последствия последствий стали ощутимыми. Выявились созданные пережитыми бедствиями качества: закал характеров, простота обычаев, героизм, устремление к великим целям. В этом моральное возрождение поколений».

К этим вынесенным им, очевидно, еще в годы войны умозаключениям Б. Пастернак добавляет в конце книги концепцию, выработанную им уже по окончании войны: «Несмотря на то, что облегчение и свобода, которых все ждали после войны, не пришли вместе с победой, как предполагали, это не было важным: в послевоенные годы предвестник свободы носился в воздухе, составляя их единственный жизненный интерес».

В романе «Доктор Живаго» нет ни тени патетики. Б. Пастернак повествует эпически спокойно, без истерических выкликов, без укоров или рыданий, позволяя себе изредка лишь некоторую горько-сатирическую усмешку. В этом огромная сила его слова, стимулирующая драматическое восприятие написанного читателем. Писатель спокоен, читатель взволнован. Таким спокойствием может обладать только тот, кто сам, в своей собственной душе, пережил описываемую трагедию, в чьем сердце уже не пламя, но только пепел сгоревшей жизни. «Доктор Живаго» — глубочайшая из эпохальных повестей социалистического периода России.

«Вестник института по изучению СССР»,
Мюнхен, январь-апрель 1957 года, № 25.
С. 118–123

«Новый мир»

Тому, еще недавно подсоветскому человеку, который после перерыва в десять-пятнадцать лет откроет снова книгу журнала «Новый мир», покажется, что за это время на его родине не произошло ничего сколь либо существенного. Пронеслась буря страшной войны, умер правивший железной рукою Сталин, сошло с политической арены много крупных фигур и на их месте появились иные лица, звучали какие-то обещания бытовых и политических изменений, возбуждавшие во многих сердцах надежды на какую-то «оттепель»...

Всё это, казалось бы, должно было вызвать ощутительные сдвиги в области литературного творчества, вывести на страницы журнала новые имена, должно было бы породить новые лозунги, новые цели, новые устремления и даже новые формы как беллетристических, так и публицистических работ, но ничего этого не увидит бывший читатель журнала «Новый мир», ознакомившись с шестью его книгами, выпущенными в первое полугодие 1954 года. Те же и то же. Та же производственно-колхозная тематика, то же переложение постановлений руководящих органов коммунистической партии и советского правительства на язык стихов и художественной прозы, то же безусловное, безоговорочное, рабское подчинение требованиям «социального заказа» и «социалистического реализма». Новое, пожалуй, только то, что употребление имени Сталина и злоупотребление цитатами из его речей и книг сократилось до минимума. Но замены этому имени другим пока незаметно. И здесь, даже в этом чувствуется мертвящее дыхание обезлички социалистической казармы, в которую превращена огромная страна населенная двухсотмиллионным народом.

Ведущей в литературно-художественном отделе первых номеров приходится считать повесть Федора Гладкова «Лихая година».

Ф. Гладков — престарелый последыш некогда многочисленной группы «под-горьких» — вряд ли может быть назван талантливым прозаиком. Несомненно, он обладает бойким, развязным пером, обогащен большим жизненным опытом, сохранил до глубокой старости прекрасную память. Всё это вместе дает ему возможность писать многословные, расплывчатые и неяркие по форме, но строго выдержанные идеологически повествования, однако, даже в зените своей литературной работы, в крупнейшем из его произведений — романе «Цемент» — он всё же не поднимался до уровня первоклассного писателя. Прохождение его через эту точку зенита было тридцать лет назад. Теперь — закат, что явно чувствуется при чтении повести «Лихая година».

Называть повестью это произведение, пожалуй, ошибочно. Вернее было бы назвать «Лихую годину» воспоминаниями Федора Гладкова. Он пишет ее от лица автора и рассказывает в ней о своем детстве, пытаясь, как прежде, и в этом подражать Максиму Горькому. Но разница в воспоминаниях одного и другого очень значительна. В то время, как Горький на материале своей юности создал лучшие свои произведения, высокохудожественные «Детство» и «Мои университеты», Федор Гладков безнадежно завяз в болоте незначительных бытовых деталей, не сумел выделить из них первостепенное, не нашел на своей палитре ярких красок, какими располагал Максим Горький.

Зато темных красок для изображения дореволюционной русской деревни автор не пожалел. Он расщедрился на них даже в ущерб правдоподобию. Тут и беспросветная нищета малоземельного крестьянства, и холера, и полицейская расправа с бунтарями, и кулак-мироед, держащий в своих цепких паучьих лапах весь поселок, и «гнет религиозных предрассудков», и физические страдания положительных персонажей повести в различных формах и видах. Плакат. Грубо намалеванная картина, по существу очень далекая от творческого проникновения в подлинную, действительно существовавшую в те годы трагедию русского малоземельного крестьянства центральных губерний.

Прикрывать отсутствие таланта плакатными мазками — прием достаточно избитый, и Гладков пользуется им, как можно предположить, в качестве средства для выполнения требований «социалистического реализма». Создается такое впечатление, что автор сам не верит тому, что он пишет. Так, например, трудно предположить, чтобы Гладков при его большой памяти не сохранил в ней внешнего облика колоритной фигуры полицейского урядника. Но он изображает его каким-то картинным гусаром, «опирающимся на саблю», что было абсолютно невозможным, т.к. дореволюционные урядники были вооружены высоко подтянутыми к поясу шашками, а не волочащимися по земле кавалерийскими саблями, и картинно опереться на это оружие было совершенно невозможно. Кроме того, его урядники являются на службу в присутствии начальства, да еще на крупную по тому времени полицейскую операцию пьяными, что тоже было немыслимо в то время. Явно, что автор перехватывает в своем старании угодить требованиями «социального заказа».

Грубо плакатны решительно все как положительные, так и отрицательные персонажи «Лихой годины»: кулак-мироед с дебелой женой, семипудовый земский начальник, усатый (как же обойтись без усов?) крикун становой пристав, доносчик поп и прочие. А положительные персонажи — добродетельная народница-учительница, студент-агитатор, попутно излечивающий крестьян от холеры, словно сошли со слащавых картин Богданова-Бельского*. В них тоже трудно поверить.

---

* Николай Петрович Богданов-Бельский (1868–1945) — художник. Внебрачный сын батрачки, выросший в семье дяди, по ходатайству священника, бывшего его школьным учителем, выдержав экзамен, попал в народную школу проф. С. А. Рачинского. Затем учился в рисовальной школе Троице-Сергиевой лавры и Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Картина «Будущий инок», представленная по окончании школы на звание «классного художника», имела огромный успех. Учился также в Петербурге у И. Е. Репина и в Париже, Мюнхене и Италии. Писал жанровые картины, пейзажи, натюрморты, портреты. Был членом общества передвижников, основал и был председателем общества имени Куинджи. После 1921 г. переехал в Ригу. Похоронен в Берлине на русском кладбище Тегеля.

Время действия повести Гладкова — восьмидесятые, девяностые годы прошлого столетия, период, в течение которого абсолютно не ощущалось искусственно раздутого коммунистами внутриклассового расслоения деревни — борьбы бедноты с богатеями. Вместе с тем эпизод такой борьбы — разграбление хлебных запасов «кулака» беднотой — один из центральных в повести. Этим Гладков также отвечает на требования заказчика, приобщая свои воспоминания к циклу колхозной тематики.

Это тематическое направление явно превалирует во всех шести книгах «Нового мира» за первое полугодие 1954 года, вытесняя даже индустриально-производственную часть «социального заказа». Колхоз во всех аспектах, утверждение преимуществ социалистического хозяйства над единоличным — основная задача, поставленная редакцией при подборе материала как в литературно-художественном отделе, так и в других, вплоть до научного. И в них преобладают статьи, трактующие различные вопросы перестройки сельского хозяйства на социалистический лад. Видимо, этот вопрос — самый острый, самый болезненный в жизни коммунистического государства, и острие пропаганды всех видов направлено на него.

Второй тематической линией внутреннего порядка является, как и прежде, утверждение руководящей роли партии как в экономике, так и в идейно-психологическом плане. Ей посвящен целый ряд небольших повестей и рассказов: «Один день» Г. Троепольского, «Ненастье» Тендрякова, «В том же районе» Валентина Овечкина, «Новый сотрудник» С. Антонова и др.

Наиболее ярка из них повесть М. Ганиной «Первое испытание». Автор талантлив, и порою ему удается пробить кору установившейся рутины, выбросить свежий зеленый росток не социалистического, а подлинного, всечеловеческого реализма. Но заказ давит и его чугунным прессом. Свежие ростки увядают, не успев зацвести. Как ни стараются советские авторы, среди которых немало, безусловно, талантливых, дать живой, полнокровный образ этого нового, порожденного коммунистическим мировоззрением и бытом человека, все их попытки безуспешны. Вместо людей — схемы, трафареты каких-то бездушных роботов, не нарисованные, но вычерченные по указаниям протоколов и постановлений высших партийных органов. Нет мяса, нет крови — одни костяки. Нет любви, нет ненависти, нет жалости и вообще нет никаких общечеловеческих чувств. Перед читателем проходит бесконечная вереница наименований, а не людей. Номенклатура: инженер, пионер, агроном, председатель колхоза, комсомолец, студент, советский врач — заслоняет собой то единственное и безмерное, что содержится под каждым из этих

номерных названий, заслоняет человека. Его не видно на страницах «Нового мира»; не только человека современного, «советского», но вообще человека, не видно нигде, за исключением... прекрасной, благоуханной повести М. Пришвина «Корабельная чаща», которую сам автор назвал «повестью-сказкой». И это, действительно, сказка; и сказкой кажется описанное в ней на сером фоне глухих стен социалистической казармы.

Эта повесть — последняя, посмертная сказка, которою закончил свой творческий путь недавно скончавшийся Михаил Михайлович Пришвин. Ее герои — дети, устремившиеся на поиски единственной живой в мире Правды, Правды человеческой, правды Божией, активного, выраженного в действии добра. Пришвин остался в ней верным себе до конца, несмотря даже на некоторые фразы, введенные им явно по требованию заказчиков и столь же явно диссонирующие с общим текстом повести и с ее ритмом. От «Корабельной чащи» веет свежестью и ароматом северного русского леса, жизнь которого Пришвин не только чувствует, но любит всем сердцем, а раз любит — значит, и понимает до глубин. Так же любит он и населяющих зеленую русскую дебрю людей, сердцевину каждого из них, душу его, воздух, которым он дышит. Все персонажи этой повести-сказки глубоко реалистичны, как реалистична и она сама в своей кажущейся сказочности. Быть может, ее маститый автор, работая над ней, видел какие-то отблески и своего давно ушедшего детства. Это предположение невольно наталкивает на сравнение «Корабельной чащи» с «Лихой годиной».

Авторы обоих произведений приблизительно однолетки. И в той, и в другой повести чувствуются закатные тона. Но у Пришвина они нежны, мягки и ласковы, как лучи осеннего солнца, а у Гладкова грязны, слякотны, отталкивающи, как мозглое, серое осеннее ненастье. Почему это так? Где скрыты стимулы того и другого, воздействия автора на читателя? Не сопоставляя и не сравнивая огромный милостью Божьей талант Михаила Пришвина с заурядными литературными способностями Федора Гладкова, поищем причину их различия в ином.

Творчество Пришвина питается чистой ключевой водой, взятой непосредственно из первоначального источника — всеобъемлющей жизни, что и дает ему возможность быть истинным, подлинным реалистом даже в сказочности. Гладков же работает подражательно, игнорируя первоначальный источник — жизненную правду, но черпая из сосудов тех, кого он берет себе, вольно и невольно, в учителя и руководители. Поэтому жизненная правда попадает на страницы его произведений лишь в минимальных дозах, да и то не в собственном его творческом выражении, но пропущенная через фильтры, далеко не всегда чистые сами по себе. По-

добный метод литературного творчества никогда и никого не приводил к подлинному реализму.

Заканчивая обзор литературно-художественного отдела журнала «Новый мир» в части его прозы, нельзя пройти мимо переводного романа Говарда Фаста «Подвиг Сакко и Ванцетти», но этот, резко выпадающий из общего колорита журнала роман придется отнести уже к другой теме и к другому разделу журнала.

Эта тема — антиамериканская пропаганда, внушение населению СССР недоверия, ненависти, презрения ко всему американскому: к Соединенным Штатам как государству, к их экономической организации, их социальному строю, их народу, его духовному миру, его культуре, ко всему и в максимальной дозировке. Теме пропаганды этой ненависти «Новый мир» уделяет очень значительное место во всех своих отделах. В литературном, за неимением более свежего и острого материала, редакционной коллегии пришлось извлечь из нафталина давно уже забытый советским населением факт казни в США по суду двух убийц по политическим причинам, канонизированных в свое время коммунистической пропагандой. Роман вялый, чтобы не сказать попросту бездарный, и распространяться о нем не стоит.

Гораздо интереснее очерки Д. Краминова* «Американские встречи». Автор этих очерков — один из талантливейших журналистов советской прессы, командированный в США в 1952–1953 гг. в качестве корреспондента «Правды» на VII сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Но это задание было для него второстепенным, первостепенною же целью являлся сбор отрицательного материала всех видов, могущего послужить антиамериканской пропаганде.

Краминов выполнил волю пославших его со всем тщанием и усердием. Он действительно глубоко и детально ознакомился с американской жизнью во всей ее многогранности, собрал достаточно материала, но в привезенном им из США багаже нашлось не так уж много могущего послужить к охаиванию Америки. Поэтому автору в работе над очерками пришлось прибегнуть к явному извращению фактов, к прямой лжи. Нам, живущим в свободном мире и знающим хотя бы из газет разных направлений основные факты общественной и культурной жизни Соединенных Штатов, эта лживость совершенно ясна. Она бьет в глаза. Но так ли воспримет очерки Краминова советский читатель? Можно предположить,

* Даниил Федорович Краминов (1910–1994) — журналист-международник, писатель. Во Вторую мировую войну был корреспондентом ТАСС в Швеции, Англии, затем в войсках союзников. Освещал ход Нюрнбергского процесса. После войны работал на Гостелерадио, в газете «Правда», журнале «За рубежом», был одним из организаторов Союза журналистов СССР. Опубликовал сборники очерков, рассказы, повести.

что в известной степени и там его лживость будет понята некоторыми читателями, знакомыми с американской нацией хотя бы в лице ее армии, с которой они соприкасались в первых послевоенных годах, но таких будет немного. Большинство же поверит «американским встречам» Д. Краминова, поверит потому, что не имеет возможности их проверить.

Кроме двух упомянутых вещей, антиамериканской пропаганде служит и еще ряд статей, например: Ю. Арбатов — «Кому нужна холодная война», В. Мотылев — «Американские женщины на работе и дома», Д. Дворцов — «Америка в прошлом и настоящем» и др. Но все они в целом не дают ничего нового для советской пропаганды, разве лишь пытаются утвердить взгляд на возрождение Западной Германии, как на акт подготовки США к войне против СССР и использования милитаризованной Германии в качестве своего форпоста в Европе.

Стихов много. Средний уровень их техники вполне удовлетворителен. Советские поэты явно делают успехи в овладении версификацией. Но насыщенность поэтических пьес лирикой бедна. Интересно отметить крайне слабое влияние на современных русских поэтов творчества В. Маяковского. Его методы стихосложения забыты или отброшены. Очевидно, несомненно крупный талант В. Маяковского был своеобразным, неповторимым феноменом, не создавшим устойчивой, константной школы. По степени талантливости стихи Твардовского резко возвышаются над общим уровнем.

Много места уделено Украине, что вряд ли вызвано одним лишь юбилеем Переяславской Рады. Среди переводных вещей переводы с украинского языка занимают первое место. Исторические статьи на тему соединения слабы и бедны фактами. Историки, видимо, боятся перешагнуть поставленные им грани и вынуждены быть сугубо осторожными.

Нельзя обойти молчанием прекрасную статью Галины Улановой «Школа балерины». В ней поражает читателя прежде всего полное отсутствие ссылок автора на марксизм-ленинизм, якобы способствовавший раскрытию его художественного таланта. Балерина Уланова — человек искусства и говорит, прежде всего, об искусстве и только о нем, как о результате творческого процесса, развернувшегося в ней самой, результате ее личного труда, приложенного к прирожденному таланту. Своим же учителем, приведшим ее к познанию тайны хореографического творчества, она называет не Сталина, не Ленина и не Маркса, а Константина Сергеевича Станиславского, научившего ее прилагать выработанную им систему к искусству танца.

Заслуживают внимания очень интересная и, видимо, искренне написанная статья А. Дементьева «Партия и вопросы литературного языка», а также статьи Михаила Лившица «Дневник Мариэтты Шагинян» и Ф. Абрамова «Люди колхозной деревни». В них чувствуется надежда на приближение «весны», т.е. возможности некоторого свободомыслия, расширения того узкого круга мышления, в который замкнула подсоветского русского интеллигента ждановщина. Последние две статьи — «Дневник Мариэтты Шагинян» и «Люди колхозной деревни» свидетельствуют также о том, что под внешними покровами предписанного партией подсоветскому человеку кредо происходит глубинный мыслительный процесс, очень часто диаметрально противоположный ему по своей идейной направленности. Следует добавить, что обе эти статьи позже подверглись нападкам и осуждению как «антипартийные», «порочные», «мелкобуржуазные», «идеалистические» и пр.

Интересна и ценна статья С. Смирнова «Сталинград на Днепре», единственная за всё полугодие статья о минувшей войне. Автор рассказывает в ней о трагической Корсунь-Шевченковской битве (февраль 1944 года), в которой были окружены и почти полностью уничтожены десять немецких дивизий. С. Смирнов — участник этой битвы, а не комментатор ее со стороны, чем, надо думать, и объясняется объективность изложения им фактов при полном уважении к врагу и при высокой оценке его боевых качеств. Традиционный «фриц», насильник, палач и мародер, полностью отсутствует. Вместо него на страницах С. Смирнова видны упорные, верные своему долгу солдаты и офицеры, беспрекословно подчиняющиеся даже явно нелепым безумным приказам из Берлина и безропотно умирающие на своем боевом посту.

С. Смирнов умело чередует в своей статье картины личных воспоминаний с военно-историческим анализом, что делает его труд полноценным и интересным не только для военного специалиста, но и для рядового читателя. Приходится всё же удивляться, что в шести отрецензированных номерах крупнейшего советского журнала встречается только одна статья, посвященная столь еще недавней грандиозной войне. Что это? Замалчивание? Военная тайна? Невольно навертывается иная гипотеза для разъяснения этой странности: доблесть, проявленная российскими солдатами в минувшей войне, и результат, достигнутый этой доблестью, важны для советской пропаганды лишь как иллюстрация непогрешимости генеральной линии, ведущей роли партии и гениальности ее вождя. Там же, где реальный факт не может служить этой цели, он вообще не нужен. Поэтому на тему минувшей войны особенно распространяться

не следует, тем более, что и о «гениальном вожде и генералиссимусе» говорить теперь тоже приходится с осторожностью.

Страх преступить не всегда точно указанные пределы — вот кто главный редактор советских журналов вообще и «Нового мира», в частности.

Те наши потомки, которые попытаются изучать переживаемый Россией–СССР исторический период по соответствующим ему во времени советским журналам, будут, безусловно, очень удивлены.

Шли десятилетия необычайного напряжения всех сил нации, — подумают они вне зависимости от их личных политических убеждений, — происходили необычайные по динамике сдвиги во всех областях политической, социальной, экономической, культурной и духовной жизни огромной, великой страны. Основным и главным двигателем этого гигантского процесса был человек. Кто же иной? Обыкновенный советский человек. Но где он показан в литературе того времени? Где почерпнуть сведения о его внутреннем мире, о стимулах, толкавших его в ту или иную сторону? Современная ему литература его нации словно прячет куда-то эти стимулы. Или сама не видит их? Или кто-то извне запрещает писателям говорить о них?

Наиболее вдумчивые из наших потомков найдут ответ на последний вопрос в стенограммах 2-го Всесоюзного съезда советских писателей и особенно в стенограмме речи Михаила Шолохова. Много слов было сказано на этом съезде, и вместе с тем, даже в самых правдивых из произнесенных на нем речей, не было сказано главного: литература утверждает себя только в климате свободного творчества.

«Вестник института по изучению истории и культуры СССР»
Мюнхен, июль-сентябрь 1955 года, № 3(16).
С. 125–129

«Вокруг света»

Право на романтическое восприятие окружающего неотъемлемо от юности, и, следовательно, неоспоримо право юности на получение романтической литературы, сквозь призму которой ею воспринимается мир.

Но невольно возникает вопрос: положительно или отрицательно действует романтика на формирование юной личности? Предпосылкой к ответу на него приходится сделать оговорку о здоровой, укрепляющей

личность романтике и извращенной, нездоровой ее форме, разлагающей личность, и, к сожалению, очень распространенной в наше время псевдоромантике криминальных романов, детективов и т. д.

Область романтической литературы, предназначенной для юношества, очень широка. Мы имеем в прошлом целый ряд общественных «классиков» этой формы литературы: незабвенного Жюля Верна, предугадавшего аэроплан, подводную лодку, межпланетные сообщения, открытие полюса и бросившего в души целого ряда поколений зерна стремления к осуществлению этих, казавшихся тогда лишь фантастикой, идей; имеем исторического романтика Александра Дюма (отца), рисовавшего героические образы, исполненные благородства и храбрости; незабвенные Ункас и Чингачгук Ф. Купера научили нас видеть полноценного человека с телом иного цвета. Эти писатели и целый ряд им созвучных воспитали несколько поколений, и можно с уверенностью сказать, что не только Нансен и Амундсен, но и Циолковский, и современные нам работники в области развития атомной энергии и применения ее в мирных целях в своей юности прошли стадию романтического раскрытия личности.

Предназначенный служить орудием воспитания «нового социалистического человека» журнал «Вокруг света» полностью изгнал романтику со своих страниц, заменив ее политической пропагандой, причем эта пропаганда ради приспособления к возрасту читателей дается в нем упрощенно и грубо. Мы не найдем на его страницах ни одной повести, ни одного очерка или статьи, посвященной теме научной фантастики. Да и вообще наука, даже в плоскости ее реальных достижений, не находит своего отражения в журнале «Вокруг света». Нет в нем и исторической романтики. Единственная историческая повесть «Синоп» З. Давыдова, тема которой — победоносный бой русской эскадры Черноморского флота с превосходящими его турецкими силами, написана в тонах грубейшей пропаганды, подавляющих героические мотивы темы. Центральная фигура адмирала Нахимова лишена подтвержденных историей героических черт. Вместо них — специфический советский сентиментализм панибратских отношений между командующим эскадрой адмиралом и подчиненными ему матросами. Попутно навязывается огульное осуждение русского государственно-политического режима того времени.

Напрасно было бы искать чарующих, благородных образов, данных некогда Ф. Купером, и в повести В. Тренева «Индейцы». Юный читатель найдет в ней лишь некоторые этнографические сведения об индейских племенах юго-запада Северной Америки и, конечно, яростное обличение «колониального гнета» «англо-саксонских поработителей» индейских племен.

Научно-популярные крестословицы, юмор и даже спорт — совершенно необходимые для юношеских журналов разделы, на страницы журнала «Вокруг света» не допущены.

Чем же питает он своих юных читателей? Главным образом описательными очерками новостроек и освоенных окраин СССР. За ними (по количеству) следуют такие же очерки городов стран-сателлитов, грубо акцентированные восхвалением благ, якобы полученных жителями этих государств при включении их в советско-социалистическую систему. Между ними сравнительно редкие, тоже описательные, очерки городов свободного мира. Очерки, конечно, густо насыщены проповедью вражды к этому миру и очень нередко лживыми сообщениями о всестороннем упадке этого мира. Вот короткий иллюстративный пример из очерка И. Евгеньева «В Нью-Йорке»:

«На бирже всё яснее проявляются симптомы приближающегося экономического кризиса. Сокращается производство. Падает и торговля. В универмагах Нью-Йорка на верхних этажах, где продаются добротные модные товары, пусто. Больше народа скапливается на первом этаже, где обычно производится продажа уцененных товаров. Женщины подолгу стоят у прилавков, нерешительно перебирают разложенное на них белье, рубашки, носки и другие товары. Лишь очень немногие направляются к кассе. Положение трудящихся в Соединенных Штатах изо дня в день ухудшается».

Для нас, живущих в атмосфере свободного мира, не может возникнуть вопроса о правдивости или лживости этих строк; но вытекает другой вопрос: в какой мере эти строки могут заинтересовать подсоветского русского юношу 14–18 лет, читателя журнала «Вокруг света»? Ответ на этот вопрос дают сообщения советских же газет. В этом году Госиздат выпускает целую библиотеку юношеских книг. Эту библиотеку составляют произведения Жюля Верна, Фенимора Купера, Луи Буссенара, Стивенсона, Вальтер Скотта и даже «империалистов» Р. Киплинга, Р. Хаггарда и Брет Гарта. О чем свидетельствует это сообщение? О том, что советской педагогической пропаганде за тридцать с лишним лет напряженной и очень широкой (это надо признать) ее работы не удалось воспитать требуемого социалистической доктриной типа человека-робота. Воспитанные в климате этой пропаганды новые поколения русской молодежи не утратили присущих нормальной человеческой личности черт характера, стремлений мысли и психических эмоций. Они остались людьми, быть может, и даже наверное, суженными в своем кругозоре, однобокими в своей психике, но всё же живыми людьми, которым свойственно всё человеческое. Опыт создания социалистического робота-гомункулуса не удался.

Заканчивая рецензию журнала для юношества «Вокруг света», нельзя обойти молчанием одной наивной фальшивки, украшающей подзаголовок каждого номера. Под основным заголовком «Вокруг света» стоит набранная курсивом пометка: «Журнал основан в 1861 году», а на другой стороне той же строчки: «издатель ЦК ВЛКСМ». Крайне интересно было бы узнать исторические подробности существования этого центрального комитета ленинского союза коммунистической молодежи в год освобождения крестьян императором Александром Вторым. Дело в том, что в дореволюционной России действительно выходил широко распространенный юношеский журнал «Вокруг света», название которого присвоил себе советский журнал. Но, кроме названия, он не взял от него ничего.

«Вестник института по изучению истории и культуры СССР»,
Мюнхен, январь-март 1956 года, № 1 (18).
С. 194–196

«Крокодил», журнал юмора и сатиры

По определению Большой Советской Энциклопедии, «Крокодил» есть «...массовый советский журнал политической сатиры, издание газеты “Правда”... Основная задача журнала — ...разоблачение отрицательных явлений жизни, бюрократизма, чванства, угодливости, пошлости... Характерной чертой советского сатирического журнала является его тесная связь с читателями, письма которых содержат материал для многих сатирических выступлений “Крокодила”. Вокруг него группируются кадры писателей и художников-сатириков»*.

Наиболее известными среди сотрудников «Крокодила» писателями-сатириками и фельетонистами являются Г. Рыклин, Д. Заславский, Л. Никулин, В. Ардов, Л. Ленч, поэты-сатирики Арго, С. Маршак, С. Михалков, художники-карикатуристы К. Ротов, Кукрыниксы, Б. Ефимов, М. Черемных, К. Елисеев, А. Каневский и др.

В дореволюционной России сатирическое осмеяние отрицательного в жизни отличалось (в таком, в частности, журнале сатиры и юмора, как «Сатирикон», который издавался в 1906–1914 гг. в Петербурге) пафосом обличения и, нередко, большим остроумием. Это было связано с тем, что сатира была свободной и обращалась на осмеиваемые стороны

---

* БСЭ, изд. 2-е. Т. XXIII. Москва, 1953. С. 474. — *Здесь и далее в этой статье прим. авт.*

жизни «во имя целого строя понятий и представлений, противоположных описываемым», как это заметил М. Е. Салтыков-Щедрин*. Кроме того, дореволюционная сатира в России носила, так сказать, частный характер, исходила из ничем почти не ограниченных личных мироощущений русской интеллигенции. Советский «Крокодил», наоборот, является результатом попытки создать «официальную» сатиру, сатиру «сверху», которая *служила бы государственным интересам*», интересам советской системы**. Элемент подлинной сатиры — протест слабого против сильного, порабощенного против поработителя — в официальной сатире, естественно, исключен. Поэтому найти на страницах «Крокодила» что-нибудь действительно яркое в отношении юмора и остроумия трудно. В первые послевоенные годы читатель встречал еще на страницах «Крокодила» кое-что, чему мог хотя бы улыбаться. Теперь и этого уже нет. Безраздельное служение журнала целям господствующей партии ясно ныне не только из содержания публикуемого в нем литературного материала, но даже из распределения этого материала. Обложка теперешнего «Крокодила» — обязательный «героический» плакат, возвеличивающий те или иные политические, экономические или бытовые достижения страны победившего социализма: Сибирь, покрытую лесами строящихся индустриальных предприятий, конную статую древнерусского витязя, пожимающего руку Петра Великого, представленного тоже в виде конной статуи под медалью в память двухсотлетия основания Ленинграда, и т. д.

Текст открывается отделом «бичевания» бытовых и производственных недостатков без критики самих причин этих недостатков — породившей их системы. Удары так называемой сатиры направлены исключительно на отдельные личности и гораздо более похожи на доносы. Материалом такого рода, надо думать, портфель редакции «Крокодила» переполнен. Доносчики «по призванию», обиженные своим начальством сотрудники и просто озлобленные советским бытом лица не устают пополнять его. Приводим для примера «сатирический перл» — «Примите поздравления» («Крокодил», № 27, 1957 г.):

«Председатель Сосново-Солонецкого райпотребсоюза Куйбышевской области И. П. Ковалев, уволив своего заместителя Амирова, присвоил себе его премию и, отмечая удачу, организовал семейную вылазку на лоно природы. Ведомая нетвердой рукой Ковалева казенная

* *М. Е. Салтыков-Щедрин.* Полное собрание сочинений. Т. VI. 1941. С. 123; цит. по БСЭ. изд 2-е, т. XXXVIII, Москва, 1955. С. 132.

** *Н. Ирколин.* «Крокодил» как зеркало советской действительности. «Вестник Института по изучению истории и культуры СССР», № 1 (8), Мюнхен, 1954. С. 92–93.

автомашина закончила свой извилистый рейс в одном из приволжских оврагов».

Над чем, собственно, мог бы здесь читатель посмеяться? Над тем ли, что Ковалев присвоил себе премию Амирова? Или над тем, что он привел в негодность казенную машину? Вряд ли это смешно, тем более, что подобные факты большинство подсоветских читателей «Крокодила» видит на каждом шагу в своей собственной жизни. Не смеется читатель и над тесно связанной с этим отделом рубрикой «Крокодил помог», в которой журнал осведомляет своих читателей о различного рода наказаниях и взысканиях, которым подвергнуты те, на кого были помещены доносы в «Крокодиле». Очерки и рассказы, помещенные на страницах журнала, наводят, подчас, тоску и уныние. Они казенны и скучны.

Второй отдел каждого нумера «Крокодила» содержит в себе традиционные нападки на бюрократизм, волокиту, отрыв от масс, рвачество и прочие пороки советского общества.

В заключение — отдел международной политики, т. е. удар оружием сатиры по «капиталистическому окружению». В предшествующих отделах всё же приходилось держаться до известных пределов в рамках реального правдоподобия. Ведь ни один читатель не поверит, если на обложке будет изображена изба колхозника с мягкой мебелью и пианино, или на страницах сатирической поэмы появится рассказ об объевшемся в советской рабочей, столовой. Но писать небылицы о неведомых советскому принудиловцу странах свободного мира возможно благодаря плотно закрывающему этот мир железному занавесу*. Мы можем прочесть в этом отделе фантастические сообщения о выступлении Кэбот Лоджа по телевидению, в котором он призывал к исключению СССР из ООН и даже обещал сделать это в дальнейшем, или о безработных на улицах Копенгагена, или о нищенской заработной плате в Соединенных Штатах. В каждом нумере «Крокодила» обязательно имеются тричетыре карикатуры на международные темы, и той же тематике отдан заставный лист обложки. Основные удары этого отдела в рецензируемых нами нумерах направлены против Соединенных Штатов Америки, их государственности, армии, быта, литературы, искусства, а также и против НАТО, которое советские сатирики стремятся представить в виде наследника и продолжателя гитлеризма. В этом отделе так же, как и в других, уже выработались определенные штампы: американцы всегда увешаны оружием, окружены пушками и бутылками виски, а представители НАТО — в мундирах, очень напоминающих форму SS. Но в

* Там же. С. 86–88.

изображении советской действительности карикатуристы «Крокодила» много талантливее своих коллег-прозаиков и поэтов. Они иногда умеют расцветить казенную тематику своих карикатур рядом занятных, а подчас даже остроумных фрагментов и деталей.

И всё же, несмотря на малое наличие юмора и сатиры в сатирическом журнале «Крокодил», этот журнал безусловно интересен для того, кто умеет *подстрочно* читать советскую пропаганду. Читатель этого рода найдет в «Крокодиле» много правды. Он увидит разваливающиеся тотчас же по окончании строительства жилые дома; скелетообразный колхозный скот, пожирающий древесину вместо сена; бюрократов, утопающих в бездонном море бумаг; переполненные поезда с мешочниками на крышах; пустые магазины ширпотреба; прочтет о многих нелепостях советской плановой системы — о посылке валенок в жаркие страны Средней Азии, и, наоборот, легких сандалий в Приполярье; узнает о том, что советские туристы, путешествующие по Волге на разрекламированных теплоходах, не видят на обеденном столе не только прославленной стерляди, но и вообще никакой рыбы.

Эти отдельные, как будто изолированные друг от друга дефекты работы частных лиц, как это подчеркивает «Крокодил», будучи вместе взятыми, не могут, конечно, дать полной, объективной картины советской жизни во всех ее областях и ответвлениях: в промышленности, в сельском хозяйстве, в административных учреждениях, в школе, в быту. Тем не менее, сгущенное доносительство, как будет правильнее назвать сатиру «Крокодила», помимо воли редакции и, конечно, ее партийного руководства, смывает, вытравляет краски социалистического реализма и перед вдумчивым читателем встают во весь рост многие глубокие противоречия советского социализма и, в особенности, действительная степень заботы советского правительства о населении страны.

«Вестник института по изучению СССР»,
Мюнхен, январь-апрель 1958 года, № 26.
С. 133–135

«Устное поэтическое творчество русского народа».
Сост. С. И. Василенко и В. М. Синельников

Цель книги, судя по названию ее хрестоматией, — служить пособием к изучению истории русской литературы, в частности фольклора. Однако внимательный обзор ее содержания говорит и о другой ее цели — пропаганде согласно установкам генеральной линии партии ждановского периода, в течение которого шла работа над этой книгой. Удалось ли авторам-составителям выполнить эту задачу — вопрос другой, на который мы дадим ответ в конце этой статьи, предпослав ему краткий обзор размещенного в хрестоматии материала.

Сборник, составленный С. И. Василенко и В. М. Синельниковым, построен по историческим эпохам согласно принятой в СССР схеме. Его основные разделы:

— устное поэтическое творчество эпохи феодализма,

— устное поэтическое творчество эпохи капитализма,

— устное поэтическое творчество эпохи социализма.

Каждый из этих основных разделов разбивается в свою очередь на несколько подотделов.

Уже первая страница поражает читателя. В построенном в хронологическом порядке сборнике в разделе «Пережиток родового строя» (предшествующем разделу «Зарождение и развитие феодальных отношений») оказывается сложившаяся на несколько сот лет позже «Дубинушка», о позднейшем, близком к нашему времени зарождению которой свидетельствуют неоднократно повторяемые во многих ее вариантах упоминания о подрядчике, хозяине и даже инженере, существование которых в период раннего феодализма вряд ли можно предполагать.

Анахронизм и явная натяжка подчеркиваются следующей за ней песней «А мы просо сеяли, сеяли» с упоминанием древнеславянских божеств Дида и Лада. Далее идут заговоры и обрядовые песни; то и другое представлено бедно. Гораздо полнее представлены сказки. Огромное богатство русского народного творчества этого жанра, собранное А. Н. Афанасьевым, снабдило составителей сборника неисчерпаемым источником материала, который они использовали несколько хаотично. Снова анахронизмы: например, широко известная и глубоко исследованная литературоведами сказка о Ерше Ершовиче сыне Щетинникове

отнесена большинством их к XVII в. и, следовательно, иллюстрировать период зарождения феодализма ни в какой мере не может.

Много внимания уделено былинам, и этот раздел хрестоматии может быть назван лучшим... В нем даны почти все основные былины как киевского, так и новгородского циклов: Вольга, четыре былины об Илье Муромце, Алеша Попович, Добрыня Никитич, Садко и Василий Буслаев довольно полно иллюстрируют эту часть сокровищницы русского народного изустного творчества. Но читателю приходится снова удивиться: рядом с былинами — бесспорно произведениями устного творчества — он встречает дословные выдержки из летописей, причислить которые к устному творчеству невозможно, т. к. именно они, летописи, и послужили первоосновой русской письменности и были результатом труда литераторов-профессионалов того времени.

Еще большее внимание уделено историческим песням, при подборе которых заметна явная тенденция к своеобразной, принятой советской пропагандой идеализации царя Ивана Грозного и «революционера на троне» Петра Великого. Наравне с ними, конечно, Степан Разин. Но, например, «Песня разинцев», само название которой утверждает возникновение ее в рядах повстанцев или во всяком случае в годы восстания, своим языком свидетельствует о позднейшем ее возникновении. Много бледнее, чем Разин, представлен Пугачев, но обвинять авторов в этом случае нельзя: историческая фигура Степана Разина, как русского удальца, разбойника-героя, героической личности вне ее политического значения, оставила в народной памяти гораздо более глубокий след, чем фигура Пугачева, не совершавшего личных подвигов доблести.

Но в рассмотренном нами отделе (хронологически охватывающем огромный период с XI по XIX век) полностью отсутствуют образцы народного изустного творчества религиозно-этической направленности. В нем не приведено ни одного из духовных стихов, распевавшихся слепцами, странниками и каликами на всей территории Руси-России. Нет в нем и духовных сказок, русских народных апокрифов о святом Николае Чудотворце, Егории, Алексее человеке Божием, Лазаре и других, — изустных образцов чисто русского происхождения, ярко характеризующих народное религиозное мышление и обоснованные им каноны народной этики. Конечно, ожидать внесения этих памятников изустного народного творчества при активной антирелигиозной направленности литературоведения в СССР было бы, конечно, большой наивностью; но этот пробел, равно как и некоторые другие, должен быть отмечен. Полностью отсутствует и тема любви даже в подразделе бытовых песен, в котором лирика изустного народного творчества вообще отражена очень слабо.

Из этого раздела исключены также юмор и сатира. Создается впечатление, что на протяжении целых семи столетий формирования великой нации в ее психике полностью отсутствовали глубочайшие эмоции, свойственные всему человечеству: религиозное чувство, чувство любви и др.

В следующем разделе хрестоматии, посвященном устному творчеству эпохи капитализма, а, следовательно, по марксистской схеме, и зарождению классовой борьбы «пролетариата и беднейшего крестьянства», превалирующее внимание уделено революционным песням. Но с первых же шагов в этом чрезвычайно важном для пропагандных целей сборника направлении перед его составителями встали непреодолимые препятствия: никаких памятников устного народного творчества этого периода, носящих сколько-нибудь революционный оттенок, не нашлось. Составителям сборника пришлось прибегнуть к явной и в достаточной мере смелой фальсификации, подменив устное народное творчество стихотворениями декабристов Бестужева и Рылеева — поэтов-профессионалов, печатавших свои произведения в пределах цензуры того времени. Следовательно, о народном, а тем более устном творчестве говорить в данном случае не приходится. Откровенность фальсификации в этом подотделе доведена до того, что в него внесено даже стихотворение Пушкина «Узник», посвященное стремлению к свободе — теме не революционной, но далеко выходящей за рамки революционности, — теме общечеловеческой и даже биологической: ведь и животные, будучи лишены свободы, тоскуют о ней и рвутся к освобождению.

Столь же выпукла беззастенчивая фальсификация народности и в разделе «Песни революционной борьбы». Большинство авторов приведенных текстов — литераторы-профессионалы, и многие из этих текстов появлялись в печати в дореволюционное время. Так, например, песня «Замучен тяжелой неволей» принадлежит перу Г. Мачтета, очень популярного писателя восьмидесятых годов; текст и музыка песни «Смело, товарищи, в ногу» созданы Л. Радиным; текст песни «Славное море, священный Байкал» не может быть отнесен к разряду революционных, т.к. он зародился в среде каторжан-уголовников, что и отражено им; к тому же в сборнике дан не первоначальный текст песни, но переработка его профессионалом-поэтом Дмитрием Давыдовым. Еще менее права на принадлежность к изустному народному творчеству имеет известное стихотворение Н. А. Некрасова «Размышление у парадного подъезда», из которого дан отрывок «Покажи мне такую обитель».

Сборник заканчивается разделом устного поэтического творчества эпохи социализма, который начинается очень распространенной в годы

Гражданской войны песней «Смело мы в бой пойдем», положенной тогда на мотив популярного сентиментального романса «Белой акации гроздья душистые». Это время помнят многие из живущих теперь. Помнят они и то, что эта песня пелась в Красной и Белой армиях с самыми незначительными вариациями текста. Так, например, первый ее куплет в «красном» варианте:

Слушай, рабочий,
Война началася,
Бросай свое дело,
В поход собирайся

В «белом» варианте изменен, и слова «слушай, рабочий» заменены на «слушайте, братцы». Некоторые же куплеты абсолютно сходны, например:

Вот и окопы,
Рвутся снаряды,
Их не боятся
Наши отряды.

Можно ли называть революционной песней эпохи социализма песню, распевавшуюся с незначительными изменениями в лагере контрреволюции?

К тому же разряду относятся и приведенные в сборнике частушки «Яблочко», распевавшиеся также в обоих лагерях. Например, в Красной армии пелось:

Эх, ты, яблочко,
Укатилося,
А кадетская власть
Провалилася.

В белых армиях слово «кадетская» заменялось словом «советская». Но эта действительно народная, устно сложившаяся и характерная для тех лет песня дана в сборнике очень куце: в частушки «Яблочко» было внесено в те годы большое количество бытового содержания и даже сатиры, но ни одного из четверостиший этого порядка в сборнике не приведено.

Не обошлось без фальсификации и в этом заключительном и, по существу, самом главном разделе хрестоматии. В него включены стихи Джамбула, Сулеймана Стальского и даже В. Лебедева-Кумача. Двух

первых еще можно с некоторой натяжкой считать представителями изустной народной поэзии, т. к. они на своих родных языках не выходили формально из рамок устного творчества ашугов, народных рапсодов советского Востока, но переводы их песен и стихов, сделанные уже профессионалами, обрабатывавшими и даже перерабатывавшими подлинники, к изустному народному творчеству причислены быть не могут. Говорить же о причастности к нему печатавшегося чуть ли не во всех советских журналах Лебедева-Кумача просто смешно.

Итак, в разделах хрестоматии, ставящих себе целью отразить революционную настроенность народных масс, народное творчество подменено произведениями профессионалов пера. Следовательно, приходится отбросить, во-первых, помещенный в заголовке книги термин «устное», а, во-вторых, «народное» революционное творчество. Такого не было и нет в настоящее время, о чем свидетельствует сам сборник. Профессионалы выполняют «социальный заказ» по заданиям ЦК коммунистической партии, народ же безмолвствует. Этот очень крупный с точки зрения коммунистической пропаганды дефект учебного пособия, каким предназначено быть рецензируемому сборнику, ни в какой мере нельзя отнести за счет небрежности или недостаточной подготовленности его составителей. Они сделали все, что могли, выполняя предписанную им работу, но преодолеть разрыв между мышлением и эмоциональной настроенностью русского народа, с одной стороны, и коммунистической идеологией, с другой, было вне их сил и возможностей.

Не смогли они сделать свой сборник и активным орудием пропаганды, что требуется решительно от всех выпускаемых в СССР учебных пособий вплоть до текста в арифметических задачниках. Ведь целью пропаганды является внедрение в сознание пропагандируемых определенного мировоззрения или хотя бы политической программы, во всяком случае каких-то конструктивных представлений. Этих конструктивных представлений, преломленных в плоскости устного творчества русского народа, в хрестоматийном сборнике не показано, и, следовательно, вернее будет назвать его не пропагандным, но лишь крайне тенденциозным, а в силу этой тенденциозности далеким от исторической и литературной правдивости, от реальной народной психики, неизменно выражаемой всеми народами всех эпох и всех ступеней развития в их устном творчестве.

«Вестник института по изучению истории и культуры СССР»,
Мюнхен, апрель-июнь 1956 года, № 2 (19).
С. 124–127

Современная российская интеллигенция

Что читает современная подсоветская русская молодежь? Как готовится она вне стен школы к получению звания русского интеллигента?

В качестве педагога, а также и газетного работника мне приходилось на протяжении целого десятилетия 1930–1940 гг. близко соприкасаться с работой общественных библиотек, в особенности школьных и студенческих. По подсчетам библиотекарей, на первом месте по спросу почти всегда стоял М. Горький, главным образом его романы «Мать» и «Дело Артамоновых». На основании этих статистических данных советские внешкольные работники утверждали и утверждают любовь к Максиму Горькому в среде молодежи. Но причина этого спроса его произведений иная: «Мать» и «Дело Артамоновых», «Буревестник» и «Песня о соколе», «Коновалов» и «Челкаш» стоят в программе как средней школы, так и литературных факультетов педагогических институтов, число которых в СССР очень значительно. Прочтение этих произведений безусловно обязательно, т. к. преподаватели литературы в силу инструкций наркомпросов (теперь министерств просвещения) вынуждены усиливать изучение М. Горького.

Ниже него, на следующих по спросу местах, стоят обычно дореволюционные писатели, главным образом Тургенев и Джек Лондон. Те немногие книги этого последнего автора, которые сохранились в библиотеках, зачитаны до черноты.

В данном случае читатель выбирает уже сам, по собственному вкусу и ищет прежде всего подлинной художественной романтики, полностью вычеркнутой социалистическим режимом из жизни русской молодежи, отнятой им у юношества.

Спрашивают и других романтиков, но их почти нет в школьных и институтских библиотеках. Охотно читают дореволюционные исторические романы, в частности «Князя Серебряного». В начале тридцатых годов большим успехом пользовались роман Н. Островского «Как закалялась сталь», по существу тоже романтического характера, хотя написан бездарно и вульгарно. Конечно, всегда в большом спросе «Тихий Дон» Шолохова и повести подражателя ему Первенцева — тоже по существу романтика. Из новых писателей читают еще А. Толстого и Паустовского, но большинство «безупречных в идеологическом отношении» авторов, дающих схемы «идеальных коммунистов», успехом не пользуется.

Но наряду с официальной статистикой библиотек я, как и многие мои коллеги по педагогической работе, пользовавшиеся доверием учащихся, сможем дать некоторые показатели статистики подпольного чтения. Нам

нередко случалось видеть у учеников старших классов средней школы и у студентов рукописные тетради стихов. Туда бывали вписаны некоторые стихотворения целиком, некоторые в отрывках, иногда только по несколько строк. Это тайные тетради, обладатели которых скрывали их от зорких глаз комсомольских наблюдателей за поведением молодежи и стражи по охране ее от «бытового и морального разложения».

Чьи стихи записаны в этих тетрадях? Прежде всего Николая Гумилева, книги которого, кстати сказать, продаются иногда тоже подпольно в некоторых книжных магазинах, по знакомству и по очень высокой цене. Рядом с Гумилевым — Есенин, собраний сочинений которого теперь уже не найти не только в школьных, но даже и в общедоступных библиотеках. Далее Анна Ахматова, в особенности в тетрадях девушек (факты эти отмечены мною до переиздания произведений Анны Ахматовой в Советском Союзе), реже стихи Максимилиана Волошина, думаю не потому реже, что внимание к ним слабее, но потому что раздобыть тексты этого поэта значительно труднее, чем Гумилева и Есенина. Изредка попадались ярко контрреволюционные стихотворения неизвестных мне авторов, ходившие по рукам в 1917–1918 гг., например, общеизвестная тогда «Молитва офицера».

В начале тридцатых годов тетради такого рода были очень редки, к концу же стали обычным, широко распространенным явлением.

Я видел их даже у комсомольцев безупречного по партийной линии поведения. Здесь мы снова встречаемся с чертою скрытности, привитой подрастающим поколениям русской интеллигенции давящим на ее психику режимом и одновременно — с нарастанием внутреннего протеста против советской системы.

Ту же направленность к осознанию своего культурного прошлого и отталкивание от насильственно внедряемой коммунистической идеологии мы можем еще более ясно видеть в статистике посещаемости театров, в количестве спектаклей тех или иных шедших в них пьес. Репертуар драматических театров СССР замкнут в рамки своеобразного паритета: 50 % идущих в них пьес должны быть обязательно написаны советскими авторами, т.е. должны быть пропагандными, а другие 50 % уделяются русским и иностранным классикам. В советской прессе, особенно в специальных театральных журналах нередко попадались сообщения о том, что широко разрекламированные, удостоенные высших премий пьесы советских авторов не выдерживают обычно, даже на сценах московских театров, более 10–12 постановок, а на провинциальных сценах даже и это ничтожное число повторных спектаклей снижается до двух-трех, после чего зрительный зал пустует. А между тем провинциальные

театры СССР переведены сейчас почти полностью на самоокупаемость и кассовое наличие властно давит на выбор репертуара. Поэтому театры бывают вынуждены, вопреки требованиям местных партийных органов, повышать количество посещаемых зрителями спектаклей, а таковыми оказываются прежде всего те же пьесы, которые имели успех у дореволюционного зрителя: комедии Островского, пьесы Сухово-Кобылина, Чехова и в особенности романтические драмы (снова стремление к романтике) Южина-Сумбатова в тех случаях, когда дирекции всё же удается протащить их сквозь цензуру репертуарного комитета. Из пьес иностранных авторов неизменным успехом пользуются «Коварство и любовь» Шиллера, «Гамлет» и другие пьесы Шекспира, в столичных театрах — сценические переработки произведений Бальзака.

Аналогичную тенденцию можем наблюдать и в опере и в подборе радиопередач, где с каждым годом повышается удельный вес творческого наследия дореволюционных композиторов, вплоть до мало известных даже в предшествовавших революции годах, пребывавших тогда в забвении представителях музыки сороковых годов прошлого века Алябьева, Голенищева-Кутузова и др.

В области музыкального вкуса у современной молодежи тоже есть свое подполье. В семьях, имевших патефоны, обычно пользовались большим успехом запрещенные к продаже, но сохранившиеся или просочившиеся какими-то путями из-за рубежа пластинки с романсами Вертинского, цыганскими романсами в исполнении Вяльцевой, Поляковой, Паниной и Давыдова, а также и ходкие в последние предреволюционные годы песенки Изы Кремер, «Гусары-усачи» и пр. В начале тридцатых годов я попал по делам газеты в г. Фрунзе (Киргизия) и случайно встретил там мою приятельницу, исполнительницу цыганских романсов, протаскивавшую их сквозь репертуарный комитет под видом «этнографической музыки». Моя приятельница обратилась ко мне с просьбой дать о ее концерте предварительную рекламную заметку, т.к. она гастролировала на самоокупаемости, а местный отдел народного образования выпустил афиши о ее выступлении слишком маленького размера, с непривлекательным «этнографическим» заголовком, без перечисления пьесок, вошедших в ее репертуар.

— Хорошо, — ответил я, но с условием, чтобы Вы ни в коем случае не пугались того, что будет напечатано в газете. За материальный успех вашего концерта я ручаюсь.

В день ее концерта в ведущей местной газете «Советская Киргизия» появилась заметка жесточайшего разоблачительного характера, гласившая о том, что под видом «этнографической музыки» репертуарный ко-

митет пропускает «буржуазные пережитки», «дребедень», разлагающую музыкальный вкус советского слушателя, воспевающую сладострастие, угар кутежей и т.д.

Результат этой заметки был таков, что, войдя в концертный зал в качестве рецензента, я не мог найти себе там свободного стула и принужден был сидеть на каком-то обрубке за сценой. В первых же рядах блистал пленум местных партийных организаций и правительственных учреждений, а позади дружно завывала от восторга молодежь...

Таким образом, и в области внешкольного культурного развития современной русской подсоветской интеллигенции мы можем установить тот же полный крах всех попыток создания социалистического психического типа, можем видеть яркие проявления отталкивания от насильственно прививаемых молодежи коммунистических схем.

В среде интеллигентов как дореволюционного времени, так и советских годов имелась и имеется своя внутренняя иерархия, выявляющаяся в их культурном кругозоре, интеллектуальном багаже и художественных вкусах.

В дореволюционные годы средний тип студента был глубоко различен для центров — Москвы и Петербурга — и провинции, примерно, Томска или Казани. Московский студент стоял во всех отношениях на значительно более высокой ступени культуры, чем томский.

Это вполне понятно. К услугам первого были лучшие театры России, Румянцевская и Государственная публичная библиотеки, музеи, отборный по качеству состав профессуры, томский же студент ничего этого не имел. Совершенно ясно, что культурный уровень первого значительно превышал развитие второго.

То же самое наблюдаем мы и теперь. Московские и Ленинградские высшие учебные заведения выпускают современных русских интеллигентов, значительно превышающих по своему культурному уровню выпущенных высшею школою периферии. Но следует отметить, что сам уровень нестоличной интеллектуальной жизни теперь повышен по сравнению с дореволюционным ее состоянием. Например, театральная практика былой русской провинции подобная описанной А. Куприным («Как я был актером») или Н. Евреиновым («Самое главное»), теперь невозможна.

Из кн. «К проблемам интеллигенции СССР».
Институт по изучению истории и культуры СССР.
Исследования и материалы.
Серия II (ротаторные издания)
№ 31, Мюнхен, 1955 г. С. 18–22

Подспудная правда

В «Трибуне читателя» «Посева» № 8 помещено крайне интересное письмо некоего «П» из Финляндии, категорически и огульно осуждающего всех русских, — в данное время подсоветских, — писателей. Это письмо является ответом на статью «Посева» «Великая трагедия», переданную «Голосом Америки», в которой рассказывалось о подсоветском писателе, попавшем заграницу и признавшимся в частной беседе, что всё напечатанное им не соответствует его мышлению, а подлинное его творчество лежит спрятанным в его письменном столе.

Явная выдумка! — восклицает автор письма но поводу «письменного стола», — в СССР нет наивных людей, которые считали бы письменный стол надежным хранилищем запрещенных вещей, — и заканчивает свое письмо требованием полного молчания со стороны живущих под игом Советов писателей, музыкантов и художников.

Поставленная в этом письме проблема очень глубока, актуальна и даже болезненна для всей русской эмиграции и особенно для «новой» ее части. Ее основная тема: как и чем определить свое отношение к ныне существующей подсоветской, но все же русской литературе и ее творцам? Сопутствующая ей, побочная — возможно ли в условиях Советчины развитие подспудного, потаенного мышления и его фиксация на бумаге?

Отвечу сперва на этот второй вопрос. Вопреки мнению автора письма, в СССР не перевелись «наивные люди», искренне пишущие «для лучших времен» и хранящие свои записи, если не в «письменных столах», то в местах более укромных. К их числу еще недавно принадлежал, например, сам я. Первый вариант теперь напечатанного моего «Уренского царя» лежит, вероятно, и до сих пор в банке от монпансье, зарытым в мусоре чердака дома № 11 по Поперечной улице города Ставрополя, а фрагменты теперь готовой к печати «Неугасимой лампады» зарыты в саду б. Свидина в городе Черкассах. Будучи еще в СССР, я знал, что у А. Сергеева (ныне в САСШ) хранятся наброски его антисоветского романа, а М. Бойков (теперь в Аргентине) пишет свой трагический дневник «Три года пыток». Более того, в Москве, на частной квартире, мне довелось слушать дополнительные, «не для печати» главы «12 стульев» в чтении самого покойного И. Ильфа, в присутствии тоже покойного теперь Ю. Олеши. Следовательно, не один я «наивен» и подспудное мышление существует в среде русских подсоветских писателей. Я глубоко уверен, что в первый же год жизни Освобожденной России мы увидим многие, открытые теперь созданные ими ценности.

Но должен ли подсоветский писатель молчать, как требует того автор письма и как думают многие, огульно осуждающие всю советско-русскую литературу?

Взглянем на «Тихий Дон» М. Шолохова прямо, без предвзятости. Очистим его от явно чуждых автору наслоений. Мы увидим тогда в нем жесточайший обвинительный акт всей революции, разрушившей и истребившей всю честную трудовую, одаренную семью Мелеховых, а равно и все казачество. А что такое «12 стульев» Петрова и Ильфа, как не яркая, правдивая фиксация советского быта? Что иное «Цусима» Новикова-Прибоя, как не оправдание подло заплеванных «прогрессистами» героических русских моряков? Даже «Время вперед» В. Катаева вскрывает весь ужас советской потогонной стахановской принудиловки.

Художник не может скрыть правды, даже умышленно маскируя ее по требованиям цензуры. Он не в силах отнять понимания себя от чуткого, вдумчивого читателя. Так было, так есть, так будет и вследствие этого подсоветский русский писатель не имеет права молчать. Он обязан писать хотя бы ради тех крупиц правды, которые неизбежно войдут в творчество подлинного художника и будут столь же неизбежно распознаны чутким критиком и вдумчивым читателем наших и грядущих дней.

Подсоветский читатель, равно как и мы — «новые», умеет их видеть. Он научен этому всем укладом подсоветской жизни. Научились тому же наиболее чуткие и глубокие литкритики «старой» эмиграции (напр. В. Александрова), но апостолы «теории морлоков» (Ю. Галич, Аргус, Лавда и пр.) очевидно полностью безнадежны и неизлечимы. Бог с ними!

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
10 мая 1952 года, № 121. С. 4

Голос Сфинкса

На страницах «Н.Р.С.»* и прошла интереснейшая внутриредакционная дискуссия на тему о «молчании новых эмигрантов». Наиболее яростным обвинителем «новых» был г. Аргус**, утверждавший не только это «молчание», но и определивший причины его в бесталанности «новых», в их низком культурном уровне и даже в том, что им якобы «нечего сказать».

Немногие «новые», печатающиеся на страницах «Н.Р.С.», — г. Сергеев, г. Добровольский, — ему робко возражали, объясняя это молчание объективными причинами, как говорят в советах, социальным составом «новых», имеющем не более 10% интеллигенции, гонениями на них, тяжелыми экономическими условиями и т. д., в ответ на что г. Аргус попрекнул их куском ировского хлеба и гордо заявил, что «старые», попав в Европу, никакой материальной помощи не получали.

В этом заявлении г. Аргус по привычке передернул. «Старые» также получили помощь в первые годы эмиграции. Союзники снабжали Галлиполи и другие лагеря, много помогал король Александр Сербский, верхи интеллигенции получали помощь в Праге, были еще кое-какие русские капиталы Земгора, Красного Креста, да и многие «старые» эмигранты выехали далеко не с пустыми руками, в то время, как «новые» поголовно голы, обобраны еще в СССР. Кроме того, «старые» имели свободу труда и свободу передвижения, чего не имеют «новые», для которых ИРО является столько же кормушкой, сколь и ловушкой. Так, например, Ди-Пи в Италии запрещена всякая работа вне лагерей, вырваться из которых в иные страны более чем трудно.

Объективные причины «молчания», выставленные «новыми» из «Н.Р.С.» вполне обоснованы, но главного они не сказали.

Основа порочности обвинений г. Аргуса и К°. в том, что мы, «новые», *не молчим, а, несмотря на все трудности, кричим и так кричим, что нас уже услышали*.

Обратимся к фактам. Сотрудники еженедельника «Посев» и журнала «Грани» в подавляющем большинстве «новые». Среди них уже выявились столь крупные журналисты, как г. Романов, г. Андреев,

* «Новое Русское Слово».
** Михаил Константинович Айзенштадт (псевд. Аргус, Железнов) (1900–1970) — журналист, первоначально в Новгороде; в 1919 эмигрировал в Латвию, работал в газете «Сегодня» (Рига), затем переехал в США. Жил в Нью-Йорке, печатался в газете «Новое русское слово», журналах «Новоселье», «Мосты», «Новый журнал», автор нескольких сборников очерков и фельетонов.

г. Мерцалов, г. Авторханов и еще очень многие. В «Гранях» выделились талантливые беллетристы г. Максимов, г. Ржевский, тот же г. Андреев, поэты г. Кленовский*, г. Моршен и др.

В «правых» изданиях говорили и говорят монархисты: г. Башилов, г. Рудинский**, г. Изгоев, г. Немешаев, г. Державин, г. Каралин и др. Автор этих строк тоже не молчал, а напечатал свои первые антисоветские статьи по-итальянски в журнале «Specchio» в августе 1945 г., т. е. именно тогда, когда сотрудники «Н. Р. С.» и «Соц. Вестника» травили власовцев, красновцев ц прочих «новых». В 1946 году он же выпустил книгу «Panorama della letteratura russa contemporanea» (по-итальянски 256 стр.), в которой разъяснил итальянцам «социальный заказ», рассказал о репрессиях писателей в СССР. По этой книге сейчас учатся студенты четырех славянских факультетов в Италии. В 1947 году он же напечатал в римской газете «Il quotidiano» серию атисоветских статей; не молчал и потом в возродившейся русской прессе.

Свое заключение о «молчании новых» г. Аргус выводит, вероятно, из действительно малого их участия в «левой» прессе и полного отсутствия в социалистической, т. к. «керпакетных» письмописцев «Соц. Вестника» и пару попавших туда дореволюционных соцзубров принимать всерьез нельзя.

Но даже и эти слабые силы, видимо, связаны в «левом» лагере. Так, например, г. Сергеев, показавший себя в прошлом очень талантливым антисоветским фельетонистом (под другим псевдонимом), теперь ограничивается воспоминаниями и уклончивыми публицистическими статьями.

Нельзя обойти молчанием и группу «новых» — бывших парт-дворян: г. Кравченко, г. Токаева, г. Корякова. Голоса Кравченко*** и его свидетелей разнеслись по всему миру.

Подводя итог голосов «новых», следует поставить на первое место прессу Н.Т.С. Это вполне понятно. Идеология солидаристов наиболее близка современной подсоветской профтехнической интеллигенции. Именно на нее и рассчитана программа Н.Т.С.

Вторую по величине группу представляют «правые». Тоже понятно почему. Они созвучны чаяниям и стремлениям колхозного крестьянства, несмотря на индустриализацию, — основной массы СССР, хотя и слабой в части выделения литературных сил.

---

* См. о них в Приложении «Литераторы-эмигранты».

** См. о них в Приложении «Литераторы-эмигранты».

*** Виктор Андреевич Кравченко (1905–1966), невозвращенец, автор известной книги «Я выбрал свободу», описывающей коллективизацию и голод в СССР. С 1943 жил в Нью-Йорке. В 1949 в Париже выиграл «процесс Кравченко», иск о клевете против французской коммунистической газеты «Les Lettres françaises». Считается, что процесс нанес не меньший урон советской сталинской пропаганде, чем сама книга. В 1966 погиб при подозрительных обстоятельствах (официально его смерть считается самоубийством).

Другой причиной количественного превосходства «новых» солидаристических журналистов над «новыми» монархистами является то обстоятельство, что большая группа «новых» правых журналистов, нашедшая последнее убежище против наступавшей в 1945 году Красной Армии в г. Толмеццо, в стане ген. Краснова, была выдана красным в Лиенце. Из 21 человека спаслись только трое. Среди погибших бывший крупный советский журналист Л. Польский (нач. отделения «Соц. Земледелия» в Ленинграде), талантливый Н. Давиденков, поэт Цимлов и др.

К «левым» примкнула группа, сохранившая идеологию старой «прогрессивной» интеллигенции; к социалистам — только их прежние, дореволюционные «товарищи».

Так вырисовывается сейчас весь фронт голосов «новых» от марксиста-антисталиниста Токаева до «мракобеса» монархиста — автора этих строк. Весь же фронт в целом представляет собой — голос Сфинкса, сумму голосов, наиболее близких к настроениям не только беспартийных масс, но и некоторой части партийцев в СССР. Несомненно, что он не дает абсолютно точного прототипа того, что мы увидим в Освобожденной России. Соотношение сил там изменится. Как? Это предугадать трудно. Мы, «правые», можем надеяться на поддержку крестьянства; солидаристы — на активность новой интеллигенции; у «левых», а тем более, у социалистов, вряд ли имеются солидные основы для надежд.

Но говорить о «молчании новых», подобно г. Аргусу и К°., значит быть или умышленно или отроду глухим.

* * *

В переживаемые нами дни вопрос о русской антисоветской пропаганде стал на очередь оборонной работы свободных народов. Несомненно, что в ближайшем будущем он встанет во всей остроте и будет, наконец, разрешен.

Однако предпосылок к правильному его разрешению в соответствии с современностью мы не видим. «Хозяева-американцы» продолжают пребывать под влиянием дезинформации их старыми искушенными в интригах политиканами.

Продолжение движения по этому пути не сулит ничего хорошего ни народам России, ни народам свободных демократий, ни, в частности, их авангарду — САСШ, на которые падет вся тяжесть предстоящей неизбежной борьбы.

Алексей Алымов
«Наша страна», Буэнос-Айрес,
31 марта 1951 года, № 67. С. 6

Внуки Лескова

О голосах «новой» эмиграции можно теперь уже кое-что сказать, не рискуя стать нескромным или прослыть саморекламистом. «Грани» выпускают уже одиннадцатый сборник, «Посев» выходит регулярно уже пятый год, «Наша Страна» объединила на своих полосах разобщенную географически, но идейно сплоченную группу, «новые» имена всё чаще и чаще появляются на страницах «Русской мысли», «Часового» и далее подергивают иногда легкой рябью зеркально тихую заводь дум о прошлом — в «Возрождении».

Выпуск отдельных изданий еще очень беден. «Денис Бушуев», несколько книг Б. Башилова... Вот пока и все. Но, если судить по хронике бюллетеней Литературного Фонда (США), то можно думать, что причина лежит в финансовой слабости издательств и конъюнктуре зарубежного книжного рынка.

Но, так или иначе, во всяком случае, читатель русского Зарубежья видит ряд «новых» имен, слышит «новые» голоса. О них уже можно сказать и нужно сказать.

Я не ставлю своей целью качественного анализа творческого движения «новых». Рано. Их характеры и литературные элементы их работ еще не выявлены. Пока еще пишется сгоряча, порою наспех.

Оставляю в стороне и попытки характеризовать мироощущения, умонастроения отдельных «новых» авторов. Они тоже еще не выявлены полностью, вероятно, и не сформированы четко и в них самих. Это понятно. Потрясения были слишком сильны. Надо дать «устояться».

А пока все-таки можно наметить несколько определившихся черт, характерных для всей шеренги, при частичных индивидуальных различиях. О них и речь в этой статье.

Перечисляю имена, придерживаясь алфавитного порядка: Г. Андреев, я сам, Б. Башилов, Г. Климов, М. Коряков, Карпо Линеец, С. Максимов, Л. Норд, Н. Е. Русский, Л. Ржевский... есть и еще.

Хватит пока. Повторяю: я не пытаюсь анализировать качества, но ищу лишь общих признаков у этих авторов, прошедших разные пути, различными аллюрами, в различной обстановке. Что общего, например, между мной и Мих. Коряковым?

И, вместе с тем, это общее есть. Оно прежде всего в том, что все мы автобиографичны.

Почему? Плюс это или минус?

«Автобиография — лучшая книга», — сказал когда-то О. Уайльд. Если не захотим поверить этому изящному жонглеру словом, то перечтем Л. Толстого. Пожалуй — плюс.

Но он пришел к нам незваным и непрошенным, пришел потому, что слишком веско было то, что нас лично давило, что ранило наши собственные души. Глубоки эти раны, и боль еще не утихла.

Г. Андреев и я побывали в разное время на Соловках, попали туда разными по всему нашему укладу, по-разному их восприняли, но оба одинаково носим в себе причиненную ими травму и забыть о ней не можем. Такое «свое», личное, неизгладимое, непреодолимое есть у каждого из нас. Это знак, века. Его клеймо, выжженное каленым железом. Его не спрячешь. Отсюда и общая для всех автобиографичность. Я не только верю, но знаю, что была живая, вещественная «Тамара» у Г. Андреева, была «Девушка из бункера» у Ржевского, как был и всамделишный, вязавший со мною баланы* «Уренский царь».

Лично пережитое, собственноручно прощупанное, своими глазами виденное, глубоко ранило нас, но и по-царски наградило. Нам не нужно искать, компоновать, «собирать» свои персонажи. Они целиком и полностью стоят в нашей памяти, толпятся в ней, как в очереди за мануфактурой, давят друг друга, прут на нас.

Зачем искать? Бери любого. Каждый по-своему ярок. Сумей лишь увидеть его краски, разобраться в его узоре, запечатлеть его.

Отсюда другая общая наша черта: стремление к изображению фактически жившего (или еще живущего) человека, к документальности, достоверности литературного типажа. Г. Климов в «Берлинском Кремле», Норд в своих очерках, да и другие, чуть не паспорта своим персонажам выдают, а если и умалчивают порою из деликатности, так я всё равно, читая, чувствую, что чекист с опустошенной кровоточащей душой и немецкая мать русского Петьки были в жизни точь-в-точь такими же, какими вышли на бумаге. Ни убавлено, ни прибавлено ни грамма.

Нет в них «собирательности», обобщения. Мы не ищем «героя эпохи»... Ее многоликий «герой» лезет толпою на нас сам...

Плюс или минус?

Чернышевский по мелким кусочкам собирал своих героев, склеивал их и учил «что делать». Получились нелепые ходули, «делать» же у них никто ничему не выучился. Но в традиционной студенческой песне начала века пелось:

Выпьем мы за того,
Кто «что делать» писал.
За героев его,
За его идеал.

---

* Балан — очищенный от сучьев ствол дерева, длинное бревно.

Выпили! Здорово выпили во имя «славных традиций» русской литературы.

Лесков не собирал по крохам и не вылепливал своих героев из кусков, а брал их какими есть и имена их подписывал. Таковы «Мелочи архиерейской жизни», «Печорские антики», Шкотт, Бенни, Ланской... многие...

Лесков не вошел в цикл «славных традиций», не поклонился кумирам Запада, а припал к стопам своего русского Христа и, вопреки указке маркиза де Кюстин, посмел увидеть и показать бессребреника-городничего «Однодума», исполненного своей внутренней, а не «демократической» свободы, долгогривого Ахиллу с голубиной душой, «Человека на часах», «попа», хоть и «некрещеного», но такого, что вся паства встала за него... многих, а в целом из их отдельных портретов создал самое широкое и глубокое в русской литературе отражение России в целом, ее подлинного национального лица. Кюстиновская «славная традиция» объявила его за это «мракобесом», «реакционером», «ретроградом», травила и затравила всей стаей своих псов.

Она была рождена «чудищем облым» Радищева, развита «мертвыми душами», за которых казнью духовного самосожжения заплатил Гоголь, и развернулась во всю ширь в «городе Глупове», населенном «помпадурами», «иудушками». Ее лозунгом была: «что плохо на Руси — то правда о ней».

Лесков, не принявший «славной» традиции одного из сыновей праотца Ноя, сумел услышать не бессмысленную песню мычащего ее Селивана, но проникновенный рассказ «очарованного» Русью «странника», найти в «городе Глупове» — «Поповку», населенную «соборянами», в «Маниловках» и «Заманиловках» — «хрустальную вдову» Плодомасову, «зверя», ставшего человеком. Ему посчастливилось разыскать «кадетский монастырь» на «Зеленой улице» шпицрутенов «Николая Палкина», да и самого его повидать рядом с документированым офицером-монахом Брянчаниновым и еще кое с кем...

Подобные экскурсы не входили в план «славной традиции», «прогрессивной» русской интеллигенции. Традиционная петля «второй цензуры» захлестнула и задушила Лескова.

«Новых» обвиняют в отсутствии у них «славных» традиций. В этом много правды. Дело в том, что большая часть «славной» была увезена в чемоданах бежавших от революции. Остатки сгорели на ее костре. «Новые» прошли через его пламя. Обожглись, опалились, но проскочили и выскочили. А традиция «города Глупова» сгорела в нем дотла. Где же ее взять «новым»?

Пришлось ровеснику Октября М. Корякову автобиографически разгребать горячие угли и нащупать обожженными пальцами свою уцелевшую душу. В страшном застенке тела и духа Григорий Климов прощупал зияющую рану в сердце не жертвы, а палача. В звере-насильнике — жертвенную любовь отца и мужа. Затосковал по своей живой личной «Тамаре», отторгнутой от него, совработник Г. Андреев. То же найдем в разных формах и у других.

Каждый «человеческий документ», взятый в отдельности, удостоверяет жизненный этап отдельной, личной души. Их совокупность свидетельствует о жизни духа суммы, народа, нации.

Захлестнутый петлею «славной» традиции, Лесков, всё же успел набрать гору таких документов, завалить ими яму «города Глупова» и водрузить на ней крест, символ Воскресения.

Я озаглавил статью «Внуки Лескова». «Эк, куда хватил», — скажет кое-кто из читателей.

Но взбираться на гору еще не значит достичь ее вершины. Большинство вышедших упадет, не дойдя до водруженного Лесковым над Русью креста.

Но идти надо. Надо лезть, карабкаться. Каждому своим путем, своей тропой. Кто-нибудь дойдет.

Не скатываться же в яму, вырытую «хранителем славной традиции» Буниным и панагеристами его «великого гнева»...

Алексей Алымов
«Наша страна», Буэнос-Айрес,
4 августа 1951 года, № 81. С. 3–4

У постели тяжелобольного

Напечатанная пять лет тому назад газете «Наша страна» моя статья «Внуки Лескова» продолжает до сих пор волновать сотрудника газеты «За Правду» Николая Федорова, ответившей на нее теперь в той же газете уж третьей по счету задорно-полемической статьей. Отвечали на нее и другие публицисты, например, г. Шварц-Омонский* в «Возрождении».

Эти волнения моих уважаемых оппонентов вполне понятны. Ведь комплекс поставленных мною в этой статье вопросов касался не только писателей так называемой новой эмиграции, но затрагивал и всю литературу русского зарубежья в целом, т.е. *единственную* свободно разви-

* Шварц-Омонский — псевдоним Николая Ульянова. См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

вающуюся ветвь всей русской литературы по обе стороны разделившей ее на две части *политической* преграды.

Первая часть статьи г. Федорова «Внуки Писарева», как он именует в ней нас, представляет собой не что иное, как обвинительный акт, очень похожий на тот, который напечатал около ста лет тому назад именно Писарев призывая все русские издательства того времени к полной дисквалификации Н. С. Лескова (Стебницкого — псевдоним, под которым он тогда писал). Г. Федоров превзошел в этом случае Писарева. Он обвинил нас не в семи, а, пожалуй, в семидесяти семи смертных грехах: в стремлении «к низведению художественной литературы на положение служанки политики», в «утилитарном отношении к ней и вообще искусству», в том, что мы считаем главной задачей современного русского литератора борьбу с большевизмом и тем самым аннулируем художественно-эстетические и литературно-технические категории, в том что мы превращаем этим литературу в орудие пропаганды, в том, что мы подозрительны, придирчивы, нетерпимы к чужим мнениям, самоуверенны, самомнительны, заносчивы, озлоблены, невыдержанны, грубы... еще во многом, а кстати, и в том, что мы отрицаем за литераторами старой эмиграции право на знание современной советской действительности.

Возражать на большую часть этих абсолютно голословных и не подкрепленных ни одним фактом обвинений я, конечно, не буду. Такого рода полемика была бы не чем иным, как сварливою перебранкою базарных баб, и на страницах столь серьезной и глубокой газеты, как «Наша страна», такого рода «полемике» места нет. Наоборот, некоторые из обвинений, поставленных нам г. Федоровым, я охотно приму и отзовусь на них утвердительно. Совершенно верно, например, что главною задачею современной русской литературы мы, или по крайней мере большая часть из нас, считаем *идейную борьбу* с большевизмом, во всех его проявлениях. Мы не имеем права отбрасывать от себя могучее орудие художественного слова, которым в данном случае в борьбе против нас и нашей христианской идеологии со значительным успехом пользуются как сами коммунисты на нашей порабощенной родине, так и многие, к сожалению, очень многие коммуноиды в свободном мире. Но сводим ли мы этим художественную литературу на ступень «служанки политики», как полагает г. Федоров, вопрос иного порядка. Ведь каждое значительное политическое явление или действие, а тем более тот комплекс явлений и действий, который создает воинствующий коммунизм, не может не содержать в себе какой-либо идеи, вернее тоже комплекса идей. Следовательно, он имеет свою собственную идеологию и вот против этой идеологии восстает наше идейно-христианское мировоззрение.

Не буду возражать и на обвинение нас в том, что мы отрицаем за писателями старой эмиграции возможность отражать в своем творчестве современную подсоветскую действительность. Очень трудно и очень немногим доступно писать о том, чего не видел, не пережил и не *прострадал* сам. Попытки делать это кончаются обычно позорной неудачей. За примером ходить недалеко: Ирина Одоевцева попыталась сделать нечто подобное, схалтурив бульварный романчик «Оставь надежду навсегда», в котором не сказала ни одного слова правды. Да спасет нас Всевышний от подобного рода попыток с негодными средствами, бросающих грязную тень на русскую зарубежную литературу — *единственную* свободную ветвь русской литературы.

Не ради полемики, но ради беспристрастного выяснения причин действительно серьезной, а, быть может, и смертельной болезни, признаки которой явно сказываются в нашей современной зарубежной русской литературе, я пишу эту статью. Ведь она, русская литература, дорога и мне, и г. Федорову, и старым, и новым писателям русского зарубежья. В чем же скрыты причины этой болезни?

В том ли, что невозможно писать о жизни на своей родине, будучи географически оторванным от нее, как думают многие? Но ведь Гоголь написал свои «Мертвые души» в Риме, Тургенев также создал многие из своих лучших произведений, проживая во Франции и Германии, а Герцен в «Письмах с того берега», безусловно, достиг зенита своего творческого развития? Значит, не в том...

...А, на мой взгляд, в том, что Гоголь, Тургенев, Герцен и многие другие, живя за рубежом России и даже на эмигрантском (как Герцен) положении, *продолжали жить в той же эпохе, среди тех же поколений, которые жили в то время на их родине*, жили вместе с ними их интересами, их радостями, их страданиями, и это сковывало их с русским народом.

Русская эмиграция 1920 года имела Шмелева, Краснова, Алданова, покинувших Россию во время Гражданской войны или в период военного коммунизма. Они знали те поколения, привезли это знание с собой и дали ряд насыщенных глубоким идейным содержанием, высоких по художественному уровню произведений. Но в дальнейшем своем жизненно-литературном развитии они не могли идти нога в ногу с русским народом, воспринимать и отражать его изменявшуюся идеологию, его взлеты и падения, его скорби и радости, даже его внешний быт. Ведь за периодом военного коммунизма последовал взрыв созидательного пафоса первых пятилеток, идейная подоплека которого была совершенно неизвестна этим высокоталантливым писателям. Далее последовало

снижение революционной кривой, усталость, а вслед за нею разочарование в идеалах революции...

Поколение ее непосредственных участников вымирало и выдыхалось, в жизнь вступило уже второе поколение, а за ним и третье *поколение русского народа*. Этих поколений и их внутренней идеологии писатели русского зарубежья не знали и знать не могли. Их разрыв с родиной, с ее жизнью, а следовательно и с отражающей эту жизнь — русской литературой, был неизбежен. Можно писать о прошлом, но жить им, питаться им писателю нельзя. Вот основная причина того, что безусловно высокоталантливые и высококультурные писатели первой волны эмиграции не создали и не могли создать второго поколения. Взглянем открытыми глазами: лучшие из этого второго поколения русских зарубежных литераторов, наиболее одаренные из них, Сирин (Набоков) и Труайя (Тарасов) сознательно оторвались не только от русской тематики, но и от своего родного языка. Этот отрыв вполне закономерен и, пожалуй, был лучшим выходом для их творческих стремлений, т. к. в противном случае они снизили бы самих себя до лжи и халтуры. Более того, быть может, самый талантливый (я, по крайней мере, так думаю) из писателей старой эмиграции Алданов, автор замечательного «Ключа» и других созвучных ему произведений, был вынужден снизиться до банального романа «Живи, как хочешь», литературного произведения уже не русского, а только эмигрантского. Талантливый и высококультурный И. Сургучев беспрерывно делает судорожные попытки спаяться, слиться, связаться с неизвестным ему, но дальше некоторой внешней, формальной связи шагнуть не в силах.

Что же, значит, российская зарубежная литература умерла или обречена на гибель, как думают многие? Не будем скрывать от себя того факта, что она, действительно, тяжело больна своего рода белокровием, худосочием, но ведь современная медицина умеет уже радикально бороться с подобными болезнями и побеждать их введением в организм больного кровяной плазмы. Имеет ли в своем распоряжении такую плазму литература современного русского зарубежья? Я назову несколько имен: Н. Нароков, Л. Ржевский, Свен, Л. Норд, С. Юрасов, Н. Русский, Н. Тарасова, Землев... В поэзии Кленовский, Шишкова, Л. Алексеева... Читатель зарубежья знает эти имена, ценит и ищет их на страницах печати с большим во всяком случае, интересом, чем, например, имя пустоболта и кривляки Ремизова. А ведь все эти писатели, несмотря на различие их политических убеждений, ставят основной своей целью *борьбу со злом коммунизма во имя общечеловеческого добра*.

Г. Федоров в своей статье «Внуки Писарева» не обошелся без тради-

ционной ссылки на Пушкина, в частности на идейное содержание его знаменитого «Памятника».

Я позволю себе сделать то же самое, повторив те же, что и г. Федоров, строки:

И долго тем буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал.

Будучи безупречно логичным, г. Федоров должен был бы обвинить в данном случае в пропаганде и служении политике самого Пушкина. Ведь *чувства добрые*, которые стремятся пробудить в мире «внуки Лескова», русские писатели, вырвавшиеся из коммунистического царства зла, именно и являются основным стимулом идейно-политической борьбы с большевизмом, от которой писатели новой эмиграции не хотят, не могут и не должны отказываться ради служения каким-то эфемерным формам беспредметного и безыдейного «чистого искусства». Вот почему они внуки Лескова, но не Писарева!

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
22 ноября 1956 года, № 357. С. 5

Вторая цензура

«Найдется ли теперь в России хоть один журнал, который осмелится напечатать на своих страницах что-либо, выходящее из-под пера Стебницкого (псевдоним Лескова. — *Б. Ш.*) и подписанного его фамилией. Найдется ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько неосторожен и равнодушен к своей репутации, что согласится работать в журнале, украшающем себя повестями и романами Стебницкого». Так явно провокационным приемом призывал к бойкоту Лескова нигилист в политике и хулиган в области литературной критики Писарев, закладывая основу непомерно развившейся позже традиции «второй цензуры». Эта безобразная, недопустимая и даже гнусная традиция поддерживалась позже псевдопрогрессивными народниками, в лице Михайловского (о чем свидетельствует, например, А. В. Тыркова-Вильямс на страницах «Возрождения»), и захватила едва ли не девять десятых русской печати в непосредственно предшествовавшие революции годы. Перенеслась она и в эмиграцию, вместе с волной бежавших от революции ее поджигателей, «февралистов», и здесь снова пышно расцвела.

Говорить об этом сейчас заставляет помещенное в «Русском Воскресении» письмо Янковского*, одного из наиболее талантливых писателей второго поколения эмиграции и безусловно одного из немногих в этом поколении сохранившего свою русскость, не пошедшего ради высоких гонораров в иностранщину, подобно Труайя-Тарасову и Сирину-Набокову, не отказавшегося от родного языка и родной традиционной для подлинно русской литературы тематики. В этом письме он сообщает, что теперешнее руководство газетой «Русская мысль» закрыло ему доступ на страницы этой газеты в силу того, что он печатается в органах национально-русской мысли. Следует отметить попутно, что Е. Янковский никогда не выступал в плоскости политической публицистики и не может быть причислен к правому крылу русской эмиграции, но его выступления даже *только в беллетристике* на страницах национально русской газеты всё же повлекли за собой предание остракизму.

Случай с Янковским является одним лишь из звеньев длинной цепи того же порядка, которые вместе образуют уже явление и явление очень печальное для зарубежной русской литературы, единственной в настоящее время хранительницы традиций и заветов всей русской литературы в целом.

Незадолго до Янковского точно такие же извещения от той же самой газеты были получены талантливой писательницей и журналисткой из среды новой эмиграции Л. Норд и тепло принятым нашим читателем новеллистом, сатириком высокого уровня Н. Е. Русским**. Обвинительный акт Лидии Норд*** был построен на появлении ее статей в «Нашей стране», «Знамени России» и «Жар-птице». Ей было предложено или прекратить работу в этих журналах или перестать присылать свои материалы в «Русскую мысль», что она сделать с негодованием отказалась. Как назвать подобное насилие над мышлением писателя, предоставляю решить читателю.

Н. Е. Русский был подвергнут остракизму без указания причин, т. к. в национально русских изданиях он не печатался, но, очевидно, причиной к тому послужили *не высказанные* им в прессе его монархические убеждения. Лет за шесть до того подобной же дисквалификации в той же газете

---

* Имеется в виду писатель Евгений Яконовский, см. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

** Борис Викторович Лонгобарди (псевд. Н. Е. Русский или Нерусский) — писатель, журналист. Участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах, прошел сталинские лагеря. После Второй мировой войны жил и работал в Италии, затем во Франции. Был членом Союза русских писателей и журналистов в Париже, который в 1958 г. организовал Комитет помощи тяжело больному писателю. Печатал повести, рассказы и очерки в журнале «Возрождение» и еженедельнике «Русская мысль» (Париж).

*** См. о ней в Приложении «Литераторы-эмигранты».

подвергся и автор этих строк. В то время было еще очень мало русских периодических изданий в зарубежье, и я посылал в «Русскую мысль» очерки, часть которых позже вошла отдельными главами в мою книгу «Неугасимая лампада». Полянский и Зеелер их охотно печатали, но как только начала выходить «Наша страна» и моя фамилия появилась на ее страницах, произошел довольно странный и очень характерный для второй цензуры случай. Мой очерк, в котором я рассказывал о наших соотечественниках, доведенных до подлинного сумасшествия «охотниками за черепами», был помещен на страницах «Русской мысли», но под ним стояла фамилия... Климов. Подыскать соответствующий термин для подобного рода манипуляции я тоже не берусь и прошу помочь мне читателя.

«Вторая цензура», т.е. приведение к молчанию всеми доступными и далеко не всегда благовидными способами, проводится в русском антикоммунистическом зарубежье не одною лишь «Русской мыслью» при ее теперешнем руководстве. Эта отвратительная традиция воспринята подавляющим большинством зарубежных «прогрессивных» изданий и приняла здесь еще более чем в прошлом уродливые формы, включив в себя кружковщину и кумовство. Посмотрим вокруг. В «Новом журнале» беспрерывно печатаются одни и те же лица и доступ на его страницы писателям новой эмиграции возможен только по предъявлении ими свидетельств о демократической или социалистической благонадежности. Таковых мало, и журнал продолжает вариться в бульоне устарелого предреволюционного псевдопрогрессивного мышления, существуя лишь на средства, выпрошенные у наивных американцев (Фордовского комитета). Журнал «Возрождение», в бытность его вотчиной С. Мельгунова, шел по тому же пути. Подтверждаю примером из собственной практики. После появления на его страницах моего «Уренского царя», я послал туда остальные части «Неугасимой лампады» (позже тепло и даже горячо принятой читателем зарубежья и всею критикой от монархического ее полюса до Граней и журнала Мюнхенского института включительно), С. П. Мельгунов любезно согласился принять присланное, но потребовал исключения глав, в которых я рассказывал о панихиде заключенных по Царе-Мученике и сыновней любви красного лейтенанта Давиденко к генералу П. Н. Краснову. Кроме того, С. Мельгунов требовал от меня псевдонима, т.к. я уже печатался в то время в газете И. Л. Солоневича (письма, подтверждающие это, я храню). Подобные требования возмутили меня и я взял «Неугасимую лампаду» обратно, несмотря на то, что в то время, до организации Чеховского издательства, ее напечатание было возможно только в «Возрождении», а сам я жестоко голодал тогда в лагерной больнице и гонорар был для меня крайне важен.

Та же традиция «второй цензуры» укрепилась и в Чеховском издательстве, несмотря на требования американского им руководства печатать в равной мере представителей всех направлений русской мысли. Псевдопрогрессивные консультанты этого издательства сумели применить обходный маневр: печатать не угодных им поэтов и писателей, предварительно их кастрировав, как, например, Гумилева, показанного лишь незначительными, не характерными для него шестнадцатью стихотворениями и незаконченной драмой в стихах, или Тютчева, лишенного его философского и национального кредо, представленного одною лишь лирикой.

Параллельно с этим был произведен и второй маневр количественного порядка. Бунин вышел четырьмя переизданиями уже напечатанных им произведений; выпущено четыре книги Алданова, две книги Осоргина, книги Зензинова, Вишняка, В. Чернова, Прокоповича, Шварца, Валентинова и прочих социалистов... и лишь забив рынок всем этим, накануне своей смерти, издательство соблаговолило снизойти до крупнейшего и глубочайшего в эмиграции Шмелева, представив его далеко не характерными для его творчества обрывками.

Применялся и еще один прием — откладывание печати принятой книги на неопределенное время. Так, например, книга талантливого Свена была издательством принята, но выход ее был отложен на далекое будущее. Свен предпочел взять свое произведение обратно. Посланная тому же издательству книга Б. Солоневича была ему возвращена даже *не прочитанной*. В сборнике, имевшим целью показать читателю новеллистов эмиграции в возможно более широком диапазоне «Пестрые рассказы», кроме фамилии Свена, не значится ни одной, принадлежащей писателю из числа новой эмиграции, хотя таких мы имеем немало и безусловно талантливых, как, например, тот же Н. Е. Русский, рассказы которого, появились на страницах «Русской мысли», служили лучшим украшением литературного отдела этой газеты.

Об этическом уровне лиц, осуществлявших в «прогрессивной» зарубежной печати заветы нигилиста Писарева, говорить не будем. Большинство их принадлежит или принадлежало к партии социалистов-революционеров, широко применявших в не столь давнее еще исторически время способ обогащения себя экспроприацией, как это называлось на языке той эпохи, а теперь называется гангстерством. Этого достаточно. Ведь в то время от подобных способов, якобы *политической*, борьбы с негодованием отказывались даже соратники эсеров — меньшевики. Теперь, в зарубежной русской литературе, ими применяется тот же метод в ином плане: у читателя отнимается насильственно по праву

принадлежащая ему духовная пища и взамен ее подсовывается партийная макулатура. На это читатель уже дал свой ответ, отказавшись покупать зензиновщину, черновщину и вишняковщину в издательстве им. Чехова и тем приведши это издательство к моральному и финансовому банкротству, но и сам оставшись без книг, а писателя оставив без возможности печататься.

После катастрофы, к которой «вторая цензура» привела издательство им. Чехова, талантливейший из писателей новой эмиграции автор «Мнимых величин» Н. Нароков пишет мне: «печататься негде! Негде, негде и негде! Не перейти ли на водевили? Но этим жанром я не владею», а у него в столе лежат два готовых романа. Н. Е. Русский впал в полный пессимизм и склонен полностью отойти от литературы. У него тоже имеется достаточно готовых новелл, ярко иллюстрирующих жизнь наших порабощенных братьев. Документальный роман «Тухачевский», вернее романизированная биография этой исторической личности написана близко знавшей его Л. Норд. Ею же закончена лирическая повесть «Офелия», которую я имел удовольствие читать. Тоже лежат без движения и недоступны читателю*. Не доходит до него и побывавшая в Чеховском издательстве книга Свена. Можно смело утверждать, что это лишь часть того ценного груза, который выбросила «вторая цензура» за борт с корабля русской культуры.

Велик ее грех и преступны ее организаторы. Ведь литература зарубежья является в настоящее время единственной свободно произрастающей ветвью всей великой русской литературы. Единственной! Обрывать, уродовать, а тем более подрубать у основания эту единственную ветвь великое, непростительное преступление перед русской культурой, перед русским народом, перед историей русской нации, преступление, которому грядущее поколение русских людей не даст прощения.

«Знамя России», Нью-Йорк,
6 мая 1956 года, № 140. С. 12–14

* Повесть «Офелия» Лидии Норд была опубликована в журнале «Возрождение» (Париж) в 1956 г. в №№ 53–59; роман о М. Н. Тухачевском — в журнале «Возрождение» в 1957 в №№ 63–68, а после смерти автора вышел отдельной книгой в издательстве «Лев» (Париж) в 1978 г.

Илья Сургучев.
«Детство Императора Николая II»

«— Но... Ведь это же не обыкновенные дети, а царственные: к ним нужен особый подход, особая сноровка!

— Какая такая особая сноровка?— вдруг раздался сзади басистый мужской голос.

Мать инстинктивно обернулась и увидела офицера огромного роста, который вошел в комнату незаметно и стоял сзади.

Мать окончательно растерялась, начала бесконечно приседать, а офицер продолжал басить:

— Сноровка в том, чтобы выучить азбуке и таблице умножения не особенно сложна. В старину у нас этим делом занимались старые солдаты, а вы окончили институт, да еще с шифром.

— Да, но ведь это же — Наследник Престола, — лепетала мать.

— Простите, Наследник Престола — я, а вам даю двух мальчиков, которым еще рано думать о престоле, которых нужно не выпускать из рук и не давать повадки. Имейте ввиду, что ни я, ни Великая Княгиня не желаем делать из них оранжерейных цветков. Они должны шалить в меру, играть, учиться, хорошо молиться Богу и ни о каких престолах не думать. Вы меня понимаете?

— Понимаю, Ваше Высочество, — пролепетала мать.

— Ну, а раз понимаете, то что же вы, мать четверых детей, не можете справиться с такой простой задачей?

— В этом-то и есть главное препятствие, Ваше Высочество. У меня четверо детей. Большой хвост

— Большой хвост?— переспросил будущий Александр III и рассмеялся. — Правильно, хвост большой. У меня вон трое — и то хвост, учительницу не найдешь. Ну, мы вам подрежем хвост, будет легче. Присядем. Рассказывайте.»

Читатель уже знает, что этот разговор ведет Александр III, бывший тогда еще Наследником. Но с кем он разговаривает? Поясню: с бедной классной дамой одной из петербургских гимназий, вдовой офицера — Александрой Петровной Оллонгрэн, с которой случайно познакомилась Великая Княгиня Мария Федоровна и наметила для воспитания и обучения грамоте двух старших своих сыновей Николая и Георгия.

Старшие дети были быстро размещены по закрытым учебным заведениям.

«Мать в слезах упала на колени.

— Но, Ваше Высочество, у меня еще маленький Владимир.

— Сколько ему?— спросил Наследник.

— Восьмой год.

— Как раз ровесник Нике. Пусть он воспитывается вместе с моими детьми, — сказал Наследник. — И вам не разлучаться и моим будет веселей.

— Но у него характер, Ваше Высочество!

— Какой характер?

— Драчлив, Ваше Высочество.

— Пустяки, милая. Это до первой сдачи. Мои тоже не ангелы небесные. Соединенными силами они живо приведут вашего богатыря в христианскую веру. Не из сахара сделаны... Да бросьте вы эти коленопреклонения! Учите хорошенько мальчуганов, повадки не давайте, спрашивайте по всей строгости законов, не поощряйте лени, в особенности. Если что, то адресуйтесь ко мне, а я знаю, что нужно делать. Повторяю, что мне фарфора не нужно. Мне нужны нормальные здоровые русские дети. Подерутся — пожалуйста. Но доказчику — первый кнут. Вы меня поняли?»

Так состоялся прием на службу первой учительницы Царя-Мученика А. П. Оллонгрэн, а одновременно началась трехлетняя совместная, в одной комнате, жизнь ее сына Володи с Великими Князьями Николаем и Георгием, о которой он, будучи теперь уже старым полковником эмигрантом, рассказал писателю И. Сургучеву, Сургучев же написал прекрасную документальную книгу — «Детство Императора Николая II», изданную «Возрождением».

Оба они — и рассказчик (он же действующее лицо повести), и писатель — прекрасно выполнили принятую ими на себя труднейшую задачу — показать историческое лицо, как простого человека, в его обычной повседневности, да, кроме того, еще в детском возрасте. Перед читателем проходит ряд глубоко трогающих за душу сцен, в которых уже рельефно выступают главные черты характера будущего Императора: его благородство, предельная честность во всем, даже в детских играх, тяга к общению, к близости с народом (лучшим другом мальчиков был отставной солдат, дворцовый ламповщик), религиозная направленность всех проявлений детской души, простота и чуткость при соприкосновении с окружающими. Многое, очень многое можно было бы написать в рецензии об этой прекрасной книге, но во много раз лучше самим ее прочесть.

Я выбрал из нее лишь один отрывок, в котором даже не фигурирует сам будущий Государь, и сделал это с целью показать всю подлинную, в лучшем смысле слова демократичность, в которой воспитывались Наследники Всероссийского Престола. Когда я сам читал эти строки, мне невольно пришли на память другие, тоже недавно прочтенные — воспоминания

о своем детстве современного главы старейшей из демократий Уинстона Черчилля. Там как раз обратное: сын аристократа был полностью отрезан, отторгнут от всего, что лежит вне избранного круга, к которому он принадлежал в силу рождения. Там прежде всего — внешнее воспитание, бездушная тренировка поведения, лишенная того огромного внутреннего содержания, которое вкладывали в формирование психики Царя-Мученика и семья, и учителя, и вся простота, человечность внутренней, недоступной постороннему взору жизни дворца Царей Всея Руси.

«Возрождение», Париж, 1953;
«Наша страна», Буэнос-Айрес,
9 января 1954 года, № 208. С. 7

Пророк своего поколения

«О Димитрие же Мережковском ведайте, что правда ему не дорога, жива бы была лишь тенденция».

Эта саркастическая перефразировка приказа Петра Первого войскам перед Полтавским боем ходила по литературным кругам Москвы при появлении первой исторической трилогии Д. Мережковского (Юлиан Отступник — Леонардо да Винчи — Петр и Алексей). Ее приписывали В. О. Ключевскому, что похоже на правду: крупнейший русский историк был великий мастер меткого и едкого афоризма. Тем не менее, трилогия создала ее автору широкую известность, выдвинула его в первый ряд литераторов того времени, а как исторического романиста — поставила на первое место. Ею зачитывались, ей верили.

На ней воспитывалось «февральское поколение».

Огромная эрудиция, большой талант и острота проблем, поставленные в ней Мережковским, несомненны, но секрет ее успеха был скрыт не в них. Он заключался в том, что автор исторического романа был вполне созвучен своему читателю, он говорил то, что читатель хотел слышать, он облекал в художественную форму тенденции, господствовавшие тогда в среде российской интеллигенции: первая из них (Юлиан) — бунт против христианства, вторая (Леонардо) — замена этики эстетикой, третья (Петр и Алексей) — попрание национальной России вторжением Запада. Эти тенденции были оформлены Мережковским талантливо, красиво и увлекательно.

Могло ли «февральское поколение» не поднять на щит подобного исторического романиста?

Д. Мережковский действительно, реально жил в своем поколении. Он мыслил вместе с ним, вместе с ним блуждал, искал, творил бож-

ков, молился им, закидывал потом их в мусор. С ним вместе он и умер. С момента его физической смерти прошло десять лет, и даже в среде «прогрессивной» эмиграции, в кучке ее обветшалых «февральских» могикан о нем вспомнил лишь один из них — проф. Сперанский («Русская мысль»). В подсоветской России не вспомнил никто, хотя он там не под запретом, имеется в библиотеках и штудируется на литфаках.

Записи и воспоминания жены Д. Мережковского — З. Гиппиус — рисуют нам жалкую картину личной и общественной жизни убежденного врага Русской Монархии, радикально настроенного писателя, члена (бесспорно) высших кругов дореволюционной интеллигенции в ее пореволюционном периоде.

Вот ее основные этапы: бурное ликование, победная пляска на осколках повергнутого Трона Царей в первые месяцы «февральской» эпопеи, постепенно снижающаяся в своем темпе и переходящая в растерянное, жалкое топтание на месте по мере приближения «октября»; полная растерянность в «октябре»; обескураженность и паника при нескольких выстрелах с «Авроры». Далее идет стремительный скат самовлюбленного «пророка» и его супруги, столь же «прогрессивной» поэтессы и литературного критика в самую пошлую обывательщину: напряженная ловля всевозможных слухов, сидя в своей петроградской квартире, и построение на их основе разнообразных гипотез о настроениях русского народа; искренняя и глубокая скорбь о выменянном на муку пианино, всхлипывание об утраченном благополучии... Но «прогрессивная» закваска сильна: при слухах о первых героических актах Каледина и Корнилова вспыхивает застарелая интеллигентская ненависть к «военщине», «генералу», «опричнику»... Голод и страх берут свое: чета Мережковских вместе с общим другом, тоже «пророком» Д. Философовым по-заячьи перебегают западную границу РСФСР.

Польша 1920 года принимает их далеко не так, как «союзники» — генерала Власова, или современные демократии — современных Ди-Пи. Свобода, сочувствие, даже почет! Значит, можно опять «поучать», «призывать», «обличать», «ниспровергать». Мережковский делает несколько публичных докладов, ему вежливо соболезнуют... и только. Приходится искать других путей, блокироваться то с Савинковым, то с генералом Глазенапом*, метаться в погоне за призраками.

В пароксизме этой агонии своего поколения его «пророк» Д. Мережковский испускает подлинно трагический крик:

* Петр Владимирович фон Глазенап (1882–1951) — генерал-лейтенант, первопоходник. Воевал в Русской императорской (1914–1917), Добровольческой (1917) и Северо-Западной (1919–1920) армиях. Во время Второй мировой войны переехал в Германию, после войны возглавлял организацию бывших участников Русского освободительного движения генерала А. А. Власова «Союз Андреевского флага».

Царство Антихриста!

Вероятно с такою же насыщенностью эмоцией кричат свое последние слово «мама» утопающие в океане, и матери, как подтверждают факты, слышат их за тысячи верст. В этой статье, обращенной к своей духовной матери — культуре Запада, Д. Мережковский возвышается до подлинно пророческого пафоса, вещая тогда, в 1920 году, о тем, что мир видит теперь воочию.

Но тщетно. Мать обращается к сыну своей долларовой спиной:

— Торговать можно и с людоедами… и с Антихристом!

Мещанская драма смененного на мерзлую картошку пианино вырастает в подлинную трагедию Агасфера, проклятой Богом души. Высокоодаренный, талантливый русский «прогрессивный» интеллигент Д. Мережковский мечется в поиске новых божков по идейному хаосу Запада. Куда только не попадает он! От туманного марева «нео-православия» к заумью католической схоластики. От кокетства с престарелым республиканством до расшаркивания перед Муссолини с намеками на мессианство фашизма. От буквального мистического обожествления тени Наполеона до земных поклонов перед мощами Паскаля.

Всё тщетно. Западноевропейская мать не подпускает к себе своего побочного сына — ни с одной стороны. А «свои»? Да много ли осталось этих поклонников «пророка», признанного отвергшими свою истинную мать — национальную, исконную русскую Россию?

В центре каждой трагедии лежит конфликт, столкновение борющихся сил. Конфликт творческой и личной трагедии Мережковского идентичен драме всего его «февральского» поколения, всей русской «прогрессивной» интеллигенции. В нем противопоставлены русскому внутренне-душевному христианству — блистательный эстетический атеизм, национально-российской государственности — западные трафареты, родной исторической правде — воспринятая извне тенденция.

Не имея возможности даже вскользь коснуться в этой статье философских и литературно-критических концепций Д. Мережковского, я остановлюсь лишь на некоторых явных и характерных для него жертвах исторической правдой России во имя обожествленной его поколением тенденции.

Российская Национальная Монархия страстно ненавидима всем «февральским» поколением, ярким выразителем которого является Д. Мережковский. Но он слишком высокий мастер литературы, чтобы метать в нее булыжниками, подобно малограмотному Шишко*, или пры-

* Леонид Эмануилович Шишко (1852–1910) — революционер-народник, эсер. Автор «Рассказов из русской истории», часть которых посвящена критике царствования Николая I.

скать парфюмерной похабщиной, как это делал соратник и друг «февральского» поколения галантерейный поляк Валишевский.

В своей второй трилогии и примыкающих к ней произведениях Мережковский тонко и умело рисует фальшивые портрета Павла Первого, Александра Первого и Николая Первого, виртуозно компонуя фактический материал и умело освещая его так, чтобы положительное ушло в глубокую тень, а отрицательное выперло на первый план. Ляпсусы сравнительно редки, но случаются и они. Во имя тенденции всё позволено. Так, например, в романе «14 декабря» в главе 4-й он пространно рассказывает о воспоминаниях Николая Первого о бабушке Екатерине Второй и уверяет, что она приучила его по-спартански спать на жестком тюфяке. Но Николай Павлович рожден в 1796 году, в год смерти Екатерины, и не мог ни быть приученным ею к спартанской традиции, ни лично ее помнить. Таких «фактов» у Мережковского порядочно, но они — мелочь; не в них дело. Подмена им исторической правды тенденциозною ложью много глубже и шире.

Мастерски оперируя светом и тенью, замалчивая направленные ко благу народа мероприятия Павла Первого, его глубокую, искреннюю религиозность и благородную рыцарственность, он ярко освещает дефекты его вполне понятной в той обстановке нервозности. В результате — трагический паяц, при взгляде на которого волосы встают дыбом. Пользуясь тем же методом, он превращает Александра Первого в заеденного рефлексией Манилова. Николая Первого он, как и все «прогрессисты», ненавидит беспредельно. На «портрете» Мережковского он и трус, и плохой актер, и позер, и фанфарон. Ненависть ослепляет самого автора «портрета» и он, тонкий стилист, не замечает дефектов собственного мастерства. Так, например, он беспрерывно повторяет одни и те же штрихи внешнего образа Николая Первого: «надутые губы», «улыбка, как у человека с больными зубами», и надоедает ими читателю.

Любовно вырисовывая своих идейных предков — декабристов, Мережковский располагает свет и тень в обратном порядке; оправдывает любовью трусливое дезертирство Трубецкого и даже документально зафиксированное предательство Рылеева превращается у него в жертвенный порыв патриота.

Документы, опубликованные советским Центрархивом, исследования декабризма коммунистами профессором Гернетом и М. Н. Нечкиной трудно обвинить в стремлении очернить участников этого бунта, но в их свете тенденциозность Мережковского проступает еще ярче. «Пророк» своего поколения верен основной традиции российского «прогрессизма»: правда ему не дорога.

Но есть один аспект, в котором Д. Мережковский может быть назван пророком без кавычек. Не словом своим, но направленностью всего своего многогранного творчества, его зигзагами и метаниями, своей личной жизнью и смертью он предсказал бесславную гибель своего поколения. Не так же ли метался, фабрикуя божков, Бердяев? Не в той же ли страшной пустоте растворились огромные таланты Куприна, Блока, Белого и всей плеяды «серебряного века»? Не столь же ли бесславно сходит теперь, на наших глазах в убогую могилу бездомного бродяги так недавно еще гордая и надменная русская «прогрессивная» общественная мысль в лице последних «февралистов»? Избранная ее носителями чужестранная мать оказалась черствой и злобной мачехой, но горькой отравой растеклось по их жилам ее молоко и путь к матери родной им пресечен... Марево тенденции затмило тропу правды.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
№ 110, 23 февраля 1952 года. С. 3–4

Перемещенный черт

Мы встретились с ним в одном из офисов управления ИРО. Он сидел, сгорбившись, поджав под лавку тоненькие ревматические ножки. Выцветшие старческие глазки слезились, едва заметные бугорки на облысевшем лбу указывали место, где были рога.

Как водится, разговорились, и он, шамкая беззубым ртом, поведал мне свою печальную историю.

— Да-с, я тоже русский, аполид-с и возраст имею почтенный. Многострадальную жизнь претерпел с самого детского, нежного возраста. По рождению, видите ли, принадлежу к древнему роду литературных чертей. Отсюда — все качества... Впервые свет я увидел в творениях великого Пушкина, и жестоко обошелся со мной покойный Александр Сергеевич: отдал в лапы грубияна Балды и заставил непосильную для нежного возраста работу выполнять. Да-с. В юности, в пору мечтаний гусарский поручик Лермонтов в непростительную авантюру меня впутал. Что же получилось? Один конфуз. А тут еще г. Гоголь подговорил здоровенного кузнеца Вакулу в Питер на мне слетать. Легко ли? Я, извините за выражение, не шестимоторный НВ-606, а литературный черт и свою амбицию имею. Ударился с горя в философию и по навету Ф. М. Достоевского в заумную дискуссию с Иваном Карамазовым вступил, посрамлен был и унижен. Сочинителям — вечная слава, а мне — одна неприятность. В дальнейшем еще хуже стало: г. Салтыков-

Щедрин, а за ним и Максим Горький в своих пасквильных целях меня использовали. Горькому-то еще простительно. Босяк, что с него взять, а г. Салтыков, как никак вице-губернатор и знатного рода! Ему — стыдно-с! А тут еще революция началась, и такое на Руси пошло, что всем чертям стало тошно. Не выдержал и в эмиграцию подался. Проехал благополучно в чемодане г. Мережковского и супруга ихняя г-жа Гиппиус на первых порах кое-чем подкармливала, г. Ремизов работенку кое-какую давал ... потом же впал в крайнее обнищание: красный дьявол меня окончательно из литературы вытеснил, всех клиентов отбил. Мне же с ним тягаться невозможно: я — старый черт и свои традиции имею.

— Эмигрируете?

— Пытаюсь, но безуспешно. По возрасту не подхожу. Старых чертей ни одно государство к себе не берет. Подыхайте, говорит, дьяволы!

— Репатриироваться в СССР не пробовали?

— Что вы, что вы! Разве возможно? Чем я там кормиться буду? Моя квалификация устарелая, низкая, а там теперь новейшие, усовершенствованные методы чертовщины на основе научного марксизма-ленинизма. Таких, как я, МГБ и в подметайлы не берет. С голоду подохну.

— Может быть, в ад пожелаете?

— И рад бы в ад всей душою. Там спокойнее: перекрытия прочные, настил глубокий, никакая бомба атомика* не прошибет, но и туда не пускают. Теперь, видите ли, не люди у чертей, а черти у людей всякую гадость перенимают: на въезде в ад тоже визы введены и строгая квота, вследствие переполненія. У меня же адское гражданство за время скитаний утрачено.

— Да, ваше положение действительно чертовское!

— Нет-с! Маленькую надежду имею. В ООН хочу толкнуться. Там господа демократические министры такую, извините за выражение, чертовщину о мирном сотрудничестве с большевиками несут, что и мне работенка найдется... в качестве суфлера...

Шир-Ай
«Русский клич», Рим,
сентябрь 1949 года, С. 27–28

* *Итал.*: atomica, т. е. атомная.

Еще о Бунине

Возникшая на страницах «Нашей страны» интересная и глубоко актуальная дискуссия о Бунине захватила и меня, хотя я вообще избегаю эмигрантских дискуссий. Ведь Бунин в целом, как писатель и как человек вместе, выходит далеко за пределы литературного изучения. Он — яркий представитель ушедшего поколения русской интеллигенции, занимавшего верхи русской общественности на подступах к скандальному февральскому провалу всей русской интеллигенции в целом. Грядущему историку этого периода придется углубленно поработать над Буниным. Он много нужного для себя в нем найдет.

В ходе дискуссии я всецело разделяю общие положения, талантливо высказанные В. Рудинским*, и стараюсь им следовать сам. Да, мы, безусловно, должны находить созвучное, ценное и правдивое в творчестве наших предшественников, хотя бы и мыслящих иначе, чем мы. Но в частности, в отношении литературных работ самого И. Бунина я всецело примыкаю к оппонентам В. Рудинского. Почему? Потому, что ничего подлинно ценного, созвучного нам и нужного в русской современности в литературных работах Бунина я не нахожу. Попросту, взять оттуда нечего.

Начнем с его религиозных воззрений. Бунин съездил в Святую Землю и... не нашел там следов Христа, а привез оттуда только отрывочные описания еврейских древностей и шаблонный рассказик о своих любовных похождениях с какой-то уличной аравитянкой. Еврейские древности ни меня, ни русских людей в целом не интересуют. Для авантюр с аравитянкой я лично староват, а моим братьям в подсоветской России не до жгучих аравитянок в настоящее время. Перечтите выпущенное издательством им. Чехова «Весной в Иудее», «Розы Иерихона». Увидите ли вы в них хоть малый след стопы Христа? Да и в своих ранних стихотворениях Бунин был таков же. Процитирую по памяти:

Наших праотцев кровь на Сионских стенах
Красным маком восходит она...

Крови наших праотцев на кремлевских стенах считающий себя русским поэтом Бунин не видел. А ведь много было этой крови... Святой для нас крови.

Каково же отношение И. Бунина к народу, к массе, к крестьянству? Прочтем «Деревню» и еще много повестей и рассказов. Бунин достаточ-

* См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

но писал о мужиках. Именно о мужиках, которых он глубоко презирал и даже ненавидел ненавистью, очень близкой к озлоблению прогоревшего мелкопоместного крепостника, т.е. к тому мировоззрению, в атмосфере которого вырос и сформировался Бунин-человек. Отсюда нам тоже нечего почерпнуть.

Но быть может Бунин умел любить и ценить несомненные достоинства русской предреволюционной интеллигенции, неотъемлемые даже от революционной интеллигенции достоинства? Такие были, и мы их признаем. Нет. В своих «Воспоминаниях» И. Бунин облаял сплеча всех, кого только возможно. Лаял, пока хватало чернил и лимита возможного издания. Ядовитой слюны и помоев у него, конечно, осталось еще в запасе. Но это о ведущих, о звездах. А рядовую русскую, губернскую и уездную интеллигенцию он просто не заметил, проигнорировал с высоты своего величия. Перечтем «Жизнь Арсеньева». На каждой странице сам Бунин и только он во всем своем величии, а мимо прочих пигмеев он проходит, смотря выше их.

Принято много говорить о достоинствах описаний Буниным русской природы. Верно, очень детально описывает и на дозы описаний не скупится. Но вглядимся внимательно в эти его словоизвержения и тогда увидим в них никого иного, как... опять самого господина Бунина.

— Оранжево-лиловые тени на опушке леса, — удивляет он читателя, — что, вы не видите их? Это потому, что вы — тупорылые мещане. А вот я, Иван Бунин, необычайно тонко организованная натура, великий художник, их вижу...

Не в таком ли стиле расхваливали общеизвестные мастера Андерсеновской сказки коронационный кафтан, сшитый ими «голому королю»?

Да и вообще о природе действительно высокий мастер литературы говорит только тогда, когда ее описания помогают ему выражать переживания или действия человека. Пейзаж — только фон для него и этим фоном умели пользоваться подлинно великие мастера Гоголь, Толстой, а в наши дни — Шолохов. Кстати, Толстой говорил: «Если с гостями не о чем говорить, говорят о погоде и природе. Писатель тоже описывает их, когда ему нечего сказать», а Марк Твен советовал выносить описания природы отдельными примечаниями в конец книги: хочешь — читай, а не хочешь — не надо.

Чего же еще нужного и созвучного нам поискать у Бунина? Язык? Действительно, очень прилежно и внимательно отшлифованный язык тургеневского стиля. Но ведь, во-первых, одновременно с Тургеневым жили и писали совершенно другим языком такие колоссы, как Лесков и Л. Н. Толстой. Их язык был гораздо ближе к народному, чем изыскан-

ный барственный язык Тургенева. Почему же нам следовать через Бунина тургеневской традиции, а не лесковской и не толстовской? Кроме того, каждый язык есть живой организм, видоизменяющийся во времени. Язык Тургенева и Бунина относится к прошлому веку. После них был Чехов с его предельной четкостью, выразительностью, краткостью и... красотой. Тургеневской традиции поставлена преграда, и Ивану Бунину не преодолеть Антона Чехова.

Л. Толстой говорил: «Писатель должен любить каждого описываемого им человека, только тогда ему удастся его верно выразить» (цитирую по памяти. — *Б. Ш.*) Толстой действительно любил, любил даже несимпатичного ему Долохова, жулика лакея Лаврушку и другие отрицательные персонажи, любил их как художник, как колосс, знающий свою силу и вследствие этого абсолютно лишенный зависти к другим и любования самим собой.

А вот весь Бунин — это сплошное самолюбование, переходящее иногда пределы приличия. В одной из автобиографических заметок, например, он пишет, что русская литература началась Буниным, подразумевая Жуковского, незаконного сына его отдаленного предка, и кончилась... подразумевается, конечно, тоже Буниным. Передергивает в обоих случаях. До Жуковского были Державин, Крылов, Фонвизин, Ломоносов, не считая даже автора «Повести о горе-злосчастье», «О Ерше Ершовиче», «Фроле Скабееве», «Слова о полку Игореве», которых наши «прогрессивные» критики не зачисляют в ряды русской интеллигенции. Да и со смертью Бунина, как мы видим, развитие русской литературы не прерывалось ни по ту, ни по эту сторону Железного занавеса. Мало, очень мало влияния оказала его смерть на этот естественный рост живого, сущего организма.

Нечего, решительно нечего нам взять из наследства Ивана Бунина и претендовать не на что. Уступим без споров эти более чем сомнительные ценности адамовичам, терапианам и прочим вконец расстроенным, разбитым фортепьянам производства ушедшего в прошлое века.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
26 июня 1954 года, № 232. С. 5

Большое полотно

На творческом пути писателя, избравшего жанр исторического романа, стоит множество рифов. Ему более, чем кому-либо из пишущей братии, угрожает отклонение в тенденциозный субъективизм, фальшь сусальности и елейности; или, наоборот, чрезмерное сгущение темных тонов. Он накрепко связан канвою исторического факта, и самое труд-

ное в том, что он обязан переключить себя в описываемую им эпоху, оставаясь вместе с тем самим собою, человеком своего времени.

Немногие, избравшие исторический жанр, смогли миновать эти и многие другие рифы. Среди них в русской литературе мы видим М. Алданова.

Мы, «новые», вырвавшись из тисков советского социального заказа, жадно набрасываемся на литературу русского Зарубежья. Как мыслили, как жили и как творили те, кому удалось провести эти десятилетия в атмосфере свободного творчества? Куда устремилась их мысль?

Что удалось им раскрыть, разгадать, познать, рассказать?

Но, увы, наши поиски редко бывают успешны. Перепевы ушедшего, тоска об утраченном, порою подлинно трагический вопль вконец измученного человека, порою злобный, но неверный шарж той драмы, которой мы были невольными участниками... отблески огромной великой культуры, но только отражающие ее отблески, не дающие *своего собственного света*. Этот *свой* свет излучают произведения М. Алданова. У него всё *свое*, и трудно сравнить его с кем-либо из предшественников по избранному им пути. Среди общих для наших зарубежных писателей тонов *обиженности революцией*, звучащих по-разному, но в унисон, только в его голосе нет этой обиды. Он не жалуется, но холодно, эпически спокойно *судит* революцию и *осуждает* ее без гнева и негодования, но и без права на помилование.

В своей последней двухтомной повести «Истоки»* он развертывает перед читателем подлинное, «большое полотно». Избранная автором эпоха конец царствования Александра Второго — рассечена им вдоль и поперек в пределах не одной лишь России. В, казалось бы, отдельных разобщенных эпизодах он скупо на краски, но четко и ясно набрасывает ряд портретов исторических лиц той эпохи, не только русских — самого Царя-Освободителя, его помощников, его убийц, Бакунина, Достоевского и др., но и иностранцев — Маркса, Биконсфильда, Гладстона, Бисмарка, Шлиффена... Из этой огромной галереи никто не притянут за уши к фабуле. Все персонажи тесно связаны с главным действующим лицом — эпохой. В повести М. Алданова она не фон для развития на нем фабулы, но стержень действия, выраженного всей совокупностью показанных автором персонажей и портретов.

Фоном большого полотна М. Алданова является русская интеллигенция 70-х–80-х годов, показанная автором во всех ее видах и разновидностях от консервативной бюрократии до смыкающегося с революцией

* Вышла в Париже в 1950 г.

радикализма. В каждом из этих портретов М. Алданов тонкими, но уверенными штрихами вырисовывает не только форму мышления данного типа, но и психологическую основу этой формы. Чувство меры, свобода от предвзятости и тенденциозности, сопутствующие этим рисункам, говорят о тонком художественном чутье автора и его высоком мастерстве.

Крестьяне и рабочие в повести полностью отсутствуют. Автор прав: в «истоках» русской революции эти социальные слои не принимали никакого участия. Единственным персонажем из среды пролетариата показан лишь случайно и искусственно втянутой в терроризм Халтурин, но и в этой единственной сцене автор смог вскрыть сложный клубок психологических противоречий в душе этого убийцы, решившегося на преступление, подготовляющего его, но одновременно берущего вещицу из кабинета царя «на память» о подавляющей его своим величием жертве, в глубинах души... любимой им.

На этом фоне, прочно скреплены с ним, столько же широко и ярко показанные М. Алдановым основные типы первых русских «источных» революционеров. Читатель видит и романтиков революции, и ее истерических фанатиков, «спортсменов» революции и ее практических «хозяев»... Желябов, Перовская, Михайлов, Гартман... все они, как и их антиподы, показаны автором не как ходульные, оперные злодеи, жертвы и герои, но прежде всего, как живые, повседневно видимые нами люди. Этот подход к историческим лицам изнутри, со стороны их личного, а не общественного бытия насыщает повесть М. Алданова глубоким, подлинным драматизмом. В некоторых сценах, как, например, в сцене убийства Царя-Освободителя и предшествующих ей сценах подготовки преступления этот драматизм возрастает до высот трагедийной напряженности.

Приходится пожалеть лишь о том, что автор, надо полагать, умышленно оставил в тени столь яркую личность, как Лев Тихомиров. Ведь и она была в истоках революции, но нашла в себе силы устремиться в иное русло.

Анализируя эпоху и одновременно синтетизируя ее в совокупности художественно-исторических образов, М. Алданов ни на минуту не перестает быть самим собою, современным человеком, отягощенным и умудренным опытом пережитого и переживаемого. Он не скрывает себя, иногда «забегая вперед», показывая не только само явление, но и его последствия. Так, иллюстрируя в ряде картин ханжество, лицемерие и политическую слепоту дельцов Берлинского Конгресса, М. Алданов коротко, но конкретно набрасывает последствия этой слепоты в современности.

В чем же главная ценность «Истоков»? Почему они, как и другие про-

изведения этого автора, так резко выделяются, стоят особняком в зарубежной русской художественной литературе?

В том, что М. Алданов умеет с открытыми глазами, видя и темное и светлое, смотреть в прошлое и настоящее России (да и не только одной ее) и с открытыми же глазами любит ее. Это доступно немногим.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
5 августа 1950 года, № 50. С. 6

Тяга к корням

При полемике общепринято стремиться снизить значение своего оппонента, при случае даже унизить самого его, подчеркивать дефекты его мышления и, наоборот, замалчивать его достоинства. Поэтому данная статья, быть может, удивит некоторых читателей. Продолжая оставаться несогласным в некоторых пунктах с моим оппонентом Б. Башиловым, я, однако, исполнен не только глубокого уважения к нему, но восхищения его колоссальной работой в области публицистики и в художественной литературе, а также известными мне чертами его личной жизни и общественной деятельности.

Наш принципиальный спор с ним развернулся на страницах «Нашей страны» в целую дискуссию о современном русском интеллигенте, в которой, помимо нас и В. Рудинского, принял участие еще целый ряд лиц. Его исходной точкой было утверждение имени интеллигенции за интеллектуально-творческим слоем каждой нации, развивающимся совместно с этой нацией и выражающим основные черты ее мышления и чувства во всех областях жизни. Так думаем мы с В. Рудинским.

Но Б. Башилов закрепляет ярлык «русского интеллигента» исключительно за несколькими поколениями денационализированных, хотя и русских по происхождению, интеллектуалов, ведущих свою родословную «от Радищева», т. е. Б. Башилов в данном случае полностью сходится с теми «прогрессивными» кругами, которые монополизируют за собой имя русского интеллигента и спекулируют этим в западном мире.

Спор шел не о термине, а обо всем комплексе понятий, вкладываемый в неясный для многих образ современного подсоветского, но русского интеллигента, сформировавшегося и выкристаллизовавшегося уже в ходе революции, в послефевральский ее период. Выяснение его облика чрезвычайно важно для русского зарубежья, т. к. и в этом случае мы уже можем наблюдать спекуляции тех же «прогрессивных» кругов,

пытающихся представить его Западу то как оскотинившегося до предела «морлока», то как лишенного воли к борьбе «кролика», то как личность, покрытую «родимыми пятнами марксизма» или во всяком случае уже перевоспитанную советами, восприявшую основные элементы социал-коммунистической доктрины.

Для правильного разрешения этого вопроса я рекомендую читателям прочесть прекрасные, правдивые и яркие книги... моего уважаемого и дорогого оппонента Бориса Башилова, и, прежде всего, недавно выпущенную издательством «Русь» его книгу «Незаслуженная слава».

Но не могу удержаться от дискуссионных возражений и здесь. Сам Башилов назвал ее «мыслями внутреннего эмигранта». Это большая ошибка. Любая эмиграция любого народа в любом историческом периоде всегда в той или иной мере состояла в отрыве от своего народа, чаще в невольном, но иногда и в вольном, связанном с озлоблением против этого народа, как например, французская эмиграция в Кобленце*или русская дореволюционная эмиграция, изо всех сил поносившая, позорившая и осмеивавшая русский народ.

Между тем, в литературно-публицистических работах Б. Башилова и в известных нам фактах его прошлого в СССР, мы не сможем найти ни одного штриха, указывающего на что-либо подобное отрыву от родной почвы. Наоборот, все чувства, все мысли и все действия Башилова направлены лишь к одной цели — слиянию со своим народом не только в его настоящем виде, но и в его историческом прошлом. Образно я выразил бы Башилова так: молодое, крепкое растение стремится углубить свои корни в родную почву, но встречает какой-то каменистый слой и бешено, напрягая все свои силы, старается пробить эту преграду, слиться со своей родной средой.

Такое стремление к родной почве под термин «внутренняя эмиграция» не подходит. «В воле нации говорят не только живые, но и умершие, говорят великое прошлое и загадочное еще будущее», цитирует Башилов слова Бердяева, обосновывая ими владевшее им стремление к родной почве, к национальной одиннадцативековой Руси-России. Люди, подобные Башилову, не одиночки в подсоветской России. Даже среди немногих, кому удалось вырваться из страны торжествующего социализма и кто смог высказать в печати зарубежья свои мысли и чувства (это не так-то легко сделать!), мы видим многих, даже большинство,

* В 1791–1794 гг. город Кобленц в Германии был центром французской монархической эмиграции, лидерами которой были граф д'Артуа (будущий французский король Карл X) и граф Прованский (будущий французский король Людовик XVIII), формировавшие на средства России, Великобритании и Швеции отряды дворян-эмигрантов, составивших армию во главе с принцем Конде.

однотипных ему. Те же стремления высказывает Б. Ольшанский в своей книге «Мы приходим с Востока», несколько слабее — Г. Климов...

Значит, «не один же я в России верен Богу остаюсь», как пишет в тоже созвучной Башилову книге, подтверждающей его взгляды рядом примеров, но менее определившийся, чем он — С. Юрасов.

Значит, Б. Башилов не единичный феномен и по ту сторону Железного занавеса. Значит, там существует и, как мы можем утверждать, развивается определенный слой таких же «башиловых», чувствующих и мыслящих созвучно ему, но не могущих, по вполне понятным причинам, высказывать свои чувства и мысли. Подтверждение этому мы находим даже на страницах советских газет, как например, катастрофическое для социалистов снижение интереса к комсомолу среди русской молодежи, о чем беспрестанно бьет тревогу «Комсомольская правда» и, наоборот, многочисленные факты возвращения той же молодежи к религии (церковные браки комсомольцев, посещаемость храмов и др.).

Можно ли назвать эти явления в целом «внутренней эмиграцией»? Не являются ли они, по существу, наоборот, «возвращением из эмиграции», в которую вовлекли ряд поколений русских интеллигентов господа «прогрессисты от Радищева», возвращение к национальной идеологии и разрыв со всем комплексом идей и идеек, нахватанных в заморских странах.

Книга Б. Башилова «Незаслуженная слава» — манифест и одновременно программа мышления этого слоя современной русской подсоветской интеллигенции. Острота и ясность формулировок Башилова временами просто поражает, как поражает и его огромная эрудиция в связи с теми фактами его жизни, которые нам известны. Ведь революция застала его еще ребенком и он, несомненно, не имел возможности спокойно и планомерно расширять свой интеллектуальный кругозор. Но он все-таки это сделал и сделал снова в очень трудных условиях эмиграции, будучи рабочим в Аргентине. Кроме того, он сумел выразить свое интеллектуальное кредо в действии, в работе, написав несколько книг и множество статей, организовав публичную библиотеку, книготорговлю почтой, а теперь даже издательство. Я привожу эти факты для того, чтобы показать работоспособность и упорство этого слоя новой русской интеллигенции, резко отличающее его от праздных болтунов-интеллигентов дореволюционного периода, типа тургеневского Рудина.

Существуют до сих пор и такие. Они являются непримиримыми врагами практики большевицкой государственности и искренно считают себя антибольшевиками, но в то же время находятся в значитель-

ной степени в плену интеллигентских представлений об историческом прошлом России и о прошлом русской государственности. Против них и направляет Башилов свои удары. В этих ударах он выражает кредо тех, для кого «ни Белинский, ни Герцен, ни Чернышевский, ни Писарев не имеют больше былого очарования». Кто «смотрит новыми глазами на историческое прошлое России... и видит это прошлое таковым, каким оно было».

Книгу Б. Башилова «Незаслуженная слава» можно считать «первой ласточкой» той стаи возвещающих весну птиц, которых намечает выпустить Б. Башилов через врата основанного им издательства «Русь». Среди этих обещанных книг особенно интересны предполагаемые им выпуски истории русского народа, основанные на исследованиях историка А. А. Кура, с которым читатель зарубежья частично знаком по журналу «Жар-птица».

Ждем их с нетерпением и искренно желаем, чтобы через «врата», заложенные Б. Башиловым, к нам громче и полнее доносились бы голоса современной русской подсоветской, но глубоко национальной по своим устремлениям интеллигенции, к которой, продолжаем утверждать, принадлежит сам Башилов. О нем же о самом, как о публицисте и беллетристе, ограничимся словами, сказанными Б. Зайцевым: «Дарование несомненное и очень русское. Вы, конечно, русак насквозь, это сразу видно».

«Знамя России», Нью-Йорк,
7 января 1955 года, № 120. С. 15–16

Борис Солоневич. **«Женщина с винтовкой»**

I

Мы живем в эпоху, когда в силу необычайного ускорения темпов развертывающихся на наших глазах исторических событий месяцы включают в себя годы, а годы — десятилетия. Таким образом, отдельные, еще живущие среди нас лица, проявившие себя два-три десятка лет тому назад, становятся в глазах подросших за это время новых поколений личностями историческими, как бы отрезанными от современности и целиком принадлежащими прошлому.

Эта особенность современного психологического восприятия окружающего дает и нашим писателям право рассматривать таких людей

в историческом аспекте и отражать их в литературе исторического же характера. К числу таких романов, воспроизводящих перед глазами нового читателя акты, лично виденные старшим поколением, относится и «Женщина с винтовкой» Бориса Солоневича, повесть об М. Л. Бочкаревой, первой женщине-капитане русской армии, командире первого и единственного в мировой истории женского батальона.

По имеющимся у автора сведениям, сама М. Л. Бочкарева еще жива в наши дни и находится среди нас в эмиграции, но где — установить ему не удалось*. Б. Солоневич ведет рассказ от имени одной из служивших в ее батальоне и пользуется обширными, собранными им, материалами. Его живое, бойкое перо рисует административную и боевую деятельность командира женского батальона ярко и увлекательно. Перед глазами читателя проходят героические моменты боевой страды этих не на шутку, не из оригинальничания, а на самом деле, солдат женского пола. Четырехдневные кровопролитные бои женского батальона под Сморгонью-Крево, героическая защита Зимнего дворца в октябрьские дни... На этом фоне выпукло рисуется личность самой М. Л. Бочкаревой, *как русского национального типа*, как русской женщины. Ведь не одинока капитан Бочкарева в нашей отечественной военной истории. В ту же Первую мировую войну, в которой она проявила себя, были и другие, не столь широко развернувшиеся, но столь же пламенные патриотки, служившие под мужскими именами в некоторых полках. А в Ледовом походе насчитывается более тридцати боевых его участниц, не считая сестер милосердия, несших тогда столь же жертвенную службу. История рассказывает нам о девице-гусаре Дуровой, старостихе Василисе и многих других, вплоть до святой княгини Ольги. Следовательно, мы имеем полную возможность смотреть на М. Л. Бочкареву, как на носительницу национально-русской психики, в противовес воспетым Н. А. Некрасовым космополитическим женам декабристов, экзальтированным, оригинальничавшим барынькам, которыми он подменил неразрывную с русской почвой, вышедшую из народной русской среды женщину-патриотку.

Многим, особенно выросшим в замкнутом кругу подсоветского мышления, следует прочесть книгу о русской «Женщине с винтовкой».

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
12 апреля 1956 года, № 325. С. 7

---

* Мария Леонтьевна Бочкарева, урожд. Фролкова, была приговорена к расстрелу 15 мая 1920 г. в Красноярске, однако существует мнение, что ей удалось бежать в Харбин. Бочкарева была поручиком, а не капитаном.

II

Ни одна страна, ни один народ не могут гордиться таким обилием порожденных им выдающихся женщин, как народ русский. Где не блистают их имена? Даже в столь несвойственной, казалось бы, психике женщин области, какой является математика, мы видим Ковалевскую, в живописи — Е. Поленову, в чуждой женщинам коммерции — ряд москвичек-купчих, красочно описанных (под другими фамилиями) певцом Москвы Боборыкиным и А. Амфитеатровым, а на страде борьбы за отечество сияют имена первой женщины-офицера Дуровой, начальницы партизан в Отечественную войну старостихи Василисы и, наконец, погружаясь в глубины истории, «мудрейшей из жен», по выражению летописца, святой княгини Ольги.

Но встречаем ли мы подобных женщин в нашем русском безвременьи? Не исчезли ли, не выродились ли они? Или другое: не нашлось среди наших писателей того, кто обратил бы на них свое внимание и рассказал бы о них читателю?

Второе вернее. И большая вина лежит на литераторах русского зарубежья, не утвердивших для потомства явных для них самих образов героических женщин, в первом ряду которых стоит имя капитана Бочкаревой, организатора и командира первого женского батальона смерти, до конца боровшегося с большевицкой гидрой.

Осветить этот образ взял на себя Борис Солоневич и достойно выполнил принятую им задачу. Пользуясь сведениями, полученными от находящихся в эмиграции солдат и офицеров женского батальона, он правдиво воссоздал облик самой Бочкаревой, суровой, даже грубой русской «бабы», не очень-то грамотной, но беспредельно, всем своим существом, всей своей жизнью преданной родине, что доказала она не на словах, а на деле, подтвердив свой истинный патриотизм пролитой ею кровью. Б. Солоневич в своей очень ценной книге отнюдь не стремится к какой-либо идеализации Бочкаревой, к приукрашиванию, к гримировке ее под Жанну д'Арк. Он видит яркую самобытность этой глубоко русской натуры, ощущает ее и умеет передать это ощущение читателю. Стиль, которым написана книга, как и вообще манера письма Б. Солоневича, легко воспринимается читателем и делает его правдивое бытоописание столь же увлекательным, как талантливо написанный роман. Да разве не разыгравшимся в реальной жизни романом была военная деятельность Бочкаревой и совершенные ею подвиги?

При неоспоримой ценности книги Б. Солоневича, отдавая должное ее качествам, мы позволим себе всё же поставить автору один упрек.

Не «женщиной с винтовкой» следовало ему назвать свою книгу, но «Женщиной с русской душой», ибо взятая ею в руки винтовка была лишь внешним выражением несокрушимого духа этой подлинно русской натуры.

«Знамя России», Нью-Йорк,
6 января 1956 года, № 135. С. 11–12

Михаил Бойков.
«Партизаны холодной войны»

Участвует ли русская политическая эмиграция в холодной войне против мирового коммунизма? Или большая ее часть к настоящему времени уже остыла, всецело погрузилась в повседневные бытовые заботы, обросла кое-каким достатком, а частично даже денационализировалась? Забыта ли порабощенная родина и живущие в ее пределах братья по крови? Или жив еще дух протеста, дух борьбы, и эта борьба ведется и дает свои результаты?

Этот вопрос ставит в своей книге «Партизаны холодной войны» писатель из среды новой эмиграции Михаил Бойков и, вопреки утверждениям многих слабодушных пессимистов, отвечает на него положительно:

— Да, ведется, ведется беспрерывно, как организациями, так и многими одиночками. Действия этих одиночек учету не поддаются, но они заметны внимательному взгляду опытного журналиста, они дают свои плоды, и число этих плодов беспрерывно увеличивается. Капля за каплей долбит камень. Упорная работа неизбежно, хотя и медленно, приводит к поставленной цели.

Говорят, «со стороны виднее». И Михаил Бойков, новый эмигрант, смотрит на проделанную до его перехода в свободный мир старой эмиграцией пропагандную работу именно со стороны. Он рассказывает о старом русском офицере, повествующем новым поколениям о подвигах русского солдата и тем самым воспитывающем в них стремление к тому же подвигу, об акклиматизировавшемся в Аргентине еврее-торговце, правдиво освещающем русские вопросы в разговорах со своими покупателями, о «монархисте поневоле», бывшем в молодости в России революционером, но вкусившем все прелести демократии и пришедшем к монархизму. Это, так сказать, внутренняя работа партизан холодной войны, воспитывающая их самих и сохраняющая их от денационализации. Тем, кто привык ее видеть в бытовой обстановке в течение уже 35 лет, она незаметна, но свежий человек разом увидел ее и оценил.

Замеченные и зарисованные Михаилом Бойковым партизаны холодной войны не ограничиваются своим эмигрантским мирком. Книга М. Бойкова дает нам ряд портретов новых эмигрантов, рассказывающих, как очевидцы, о прелестях советского рая, разъясняющих населению тех стран, куда привела их судьба, сущность советского режима и всех видов социализма в целом. Он уделяет много внимания также и действиям новоприбывших земляков в среде закоренелых сепаратистов.

Это — действия, и они показаны автором во всем их разнообразии. А где же плоды этих действий? — может спросить читатель. Пока что мы не видим значительных изменений в политике свободных стран по отношению к порабощенному русскому народу.

Михаил Бойков показывает и плоды. Особенно ярок в этом отношении его очерк «Случай в Тревиньяно», эпизод, происшедший в итальянской деревне, бывшей всецело под влиянием коммунистов, но в дальнейшем полностью освободившейся от этого влияния.

Книга М. Бойкова в целом — ценный политический документ, т.к. большинство помещенных в ней очерков писано им с натуры. Но вместе с тем ее приходится безоговорочно причислить к разряду художественной литературы. Автор ее обладает большой наблюдательностью, уменьем найти и отметить характерный штрих, облекая его в яркую литературную форму.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
29 сентября 1955 года, № 297. С. 5

Спящий уже просыпается

Вместе с волною военной новой эмиграции в литературу русского зарубежья проник и новый персонаж — современный подсоветский русский человек. Это произошло не сразу. Началось с тех, совсем еще недавних лет, когда новая эмиграция, вернее, ее интеллигенция, смогла вылезти из щелей, в которых ее загнал страх перед репатриацией, и подать свой голос в печати — выразить самих себя и однородные себе элементы, волею судеб оставшиеся за Железным занавесом, их мышление, их чаяния, их стремления, их религиозно-моральное кредо, их пока еще смутные политические представления…

Этот новый персонаж — современный подсоветский русский человек во всем его многообразии — внедрялся в литературу зарубежья с большим трудом, преодолевая преграды утвердившихся о нем косных представлений, разрушая созданные в течение трех десятилетий отрыва

от России мифы. Это вполне понятно. Эмиграция двадцатых годов принесла в литературу русского зарубежья представления, порожденные именно тем периодом жизни русского народа и дальнейшего процесса его исторического развития; она не знала, следовательно, и не могла отразить его. Большая часть литературных сил эмиграции попросту отошла от современной русской тематики, погрузившись полностью в воспоминания о прошлом и, пожалуй, эта часть поступила всего правильнее. Другая, меньшая, попыталась всё же показывать читателю современного русского человека, пользуясь вынесенными в двадцатых годах впечатлениями. И в результате... «занесло тебя снегом, Россия»... а мы же — зарубежные литераторы, — являемся единственными хранителями славной русской литературной традиции. Так думало и утверждало в публицистике большинство «прогрессивных» литераторов. Да и до сих пор, надо сознаться, продолжает думать, хотя выражает эти думы уже со значительно меньшим апломбом и не столь громко. Чаще даже иносказательно, вроде И. Одоевцевой в ее лживом, халтурном и пошлом романе «Оставь надежду навсегда».

Но вслед за пробившим толпу сопротивления С. Максимовым в литературу зарубежья вошел ряд новых имен: Л. Ржевский, С. Юрасов, Свен, Б. Башилов, углубленный в поставленных им проблемах души современного русского человека Н, Нароков и многие другие, к числу которых беспрерывно добавляются имена «новейших» — Г. Климова, а теперь Бориса Ольшанского*, написавшего прекрасную книгу «Мы приходим с Востока».

Будет большой ошибкой смотреть на это произведение Б. Ольшанского, только как на записки участника и очевидца Второй мировой войны. Таких свидетельств мы имеем уже много в нашей литературе. Большая часть их правдива, искренна, но вместе с тем поверхностна. Авторы описывали виденное ими, закрепляя свое и читателя внимание на наиболее ярких моментах, на самых характерных, самых четких персонажах прошедшего перед ними исторического фильма, в силу чего простой, обыкновенный, повседневный человек оставался в тени, вне их внимания, а, следовательно, и вне поля зрения читателя.

Но разве возможно судить, например, об эпохе Наполеона лишь по нему и его маршалам? Или рисовать его историческую антитезу — Россию только с портрета Кутузова и героев Бородинского боя?

Лев Николаевич Толстой, у которого всем нам, да и всей мировой литературе следует учиться методам разработки исторического романа, повести и даже просто записок, указал нам совершенно иной путь

---

* См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

— путь к познанию и отражению в литературном образе многоликого, разнохарактерного *обыкновенного* человека — истинного творца эпохи и ее главную движущую силу. Этим путем пошел Борис Ольшанский в своей книге «Мы приходим с Востока».

Мы не встретим на ее страницах ни характеристик маршалов советской армии, ни портретов присосавшихся к ее телу крупных политработников, но мы найдем на них множество зарисовок рядовых, обыкновенных людей, солдат и офицеров этой армии, тех же политработников в их низовой, массовой форме, увидим их взаимоотношения, их быт, сможем определить их идейную и психическую настроенность по ряду правдиво записанных автором фактов и получить в целом действительно *большое полотно*, отражающее чрезвычайно значительный, быть может, поворотный, кризисный момент в жизни и историческом развитии двухсотмиллионного народа.

«Спящий уже пробуждается» — таков лейтмотив всей книги Бориса Ольшанского, основная мысль ее, подтвержденная огромным количеством приведенных автором фактов. В этом основная ценность книги, резко выделяющая ее из ряда сходных с нею по форме.

Первая часть произведения Б. Ольшанского, названная им «Искушение», отражает военные годы; вторая — «Исход» — финал войны и послевоенный период как на Родине, так и в оккупированной части Германии. В первой части читатель увидит самое начало «пробуждения» современного подсоветского русского человека, стимулы, толчки, вызвавшие в нем устремления к осознанию себя национальной личностью. Во второй — этот «спящий» уже проснулся, он протирает глаза, осматривает окружающее и главным образом заглядывает в самого себя, в глубину своего духа. Этот процесс очень сложен и труден. Он развивается и протекает до множеству различных путей, в зависимости от индивидуальной структуры, от психики, от культурного уровня данной личности, от ее профессии, социального положения и т. д., но вместе с тем он однороден и идентичен для всех в своем главном. Это главное: *отрешение, отталкивание от навязанного ему извне, от чужеродного и устремление к своему, подлинному, неотрывному, национально-русскому*.

«Спящий уже просыпается», — заключает свою книгу Ольшанский, — «я не говорю, что проснулся. Но он просыпается крепко, не для того, чтобы снова заснуть. Он мыслит, ищет пути. Он, наш народ, в великой войне вновь обрел смысл понятий Отечество, Вера. Как осенняя листопадь, разлетелись, канули в ничто прежние, чуждые “заговоры” и “бормотания”. Наш народ — на распутье, но остановка у него только за тем, чтобы встать на верный, безошибочный путь».

Здесь мы позволим себе лишь в одном возразить Б. Ольшанскому, вернее задать ему вопрос:

— Остановка ли? Не вернее ли будет сказать, что эта отмеченная им остановка иллюзорна лишь в нашем представлении, т. е. мы отсюда не видим, не можем видеть дальнейшего пути, по которому идет, продолжает итти, а не останавливается наш великий народ? Разве многие доходящие до нас, хотя и отрывистые факты из его жизни не говорят о том, что поступательное движение по этому пути не прервано, что оно развивается, хотя и в неясных для нас формах?

Судя по автобиографическим штрихам в книге «Мы приходим с Востока», Борис Ольшанский в своей подсоветской жизни не был профессиональным литератором и эта его книга, по существу, «первая проба пера». Но дай Бог, чтобы эта проба не осталась бы единственной в литературной жизни Бориса Ольшанского. Эта «проба» его столь ценна, что можно лишь пожелать, чтобы книга «Мы приходим с Востока» была прочтена каждым мыслящим человеком русского зарубежья и в особенности теми, кто еще склонен верить мифам о «кроликах» и «морлоках». Уже самим своим бытием, своим личным жизненным путем, отраженным им в книге, Б. Ольшанский опровергает этот миф, а ведь он не случайная одиночка, прорвавшаяся через преграду Железного занавеса. Он — выразитель мышления своего поколения действительно новых подсоветских русских, но русских интеллигентов, выработавших свое идейно-моральное кредо уже после революции, безусловно очень значительной группы...

...И кто же он? Он прежде всего русский человек, ищущий слияния со своим национальным прошлым, своих национальных корней, находящий их и проникающий ими в почвенную толщу, сквозь сковавшую ее чужеродную коросту.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
23 сентября 1954 года, № 245. С. 7

Что происходит «там»?

«Спящий уже просыпается. Я не говорю, что “проснулся”. Но он просыпается крепко не для того, чтобы снова заснуть. Он мыслит, ищет пути. Он, наш народ, в великой войне вновь обрел смысл понятии Отечество Вера. Как осенняя листопадь, разметались, канули в ничто прежние, чуждые “заговоры” и “бормотания”. Наш народ на распутье, но остановка у него только за тем, чтобы встать на верный, безошибочный путь...»

Так заканчивает свою прекрасную книгу «Мы приходим с Востока» послевоенный эмигрант, «избравший свободу» бывший капитан советской армии Борис Ольшанский (изд. «Наша страна», Буэнос-Айрес, 1954).

Все предшествующие 358 страниц книги представляют собою бесконечный ряд иллюстраций к этому глубокому убеждению автора. Иллюстрации зарисованы им с натуры, и поле этих зарисовок более чем обширно, географически от Волги до Эльбы, а психологически от внешне характерной, но обманчивой поверхности так называемого «советского человека» до самых сокровенных глубин пронесенной сквозь вихри безвременья неистребимой русской души в груди этих «советских людей».

Борис Ольшанский не принадлежит к числу «внутренней эмиграции», т.е. того очень значительного в СССР слоя непримиримых ни в каких условиях с советской властью, скрытых, но упорных протестантов против всех ее проявлений. До войны он, поскольку можно судить по его книге, вообще мало интересовался политической жизнью страны. Он смотрел на нее, как на нечто неизбежное в данных условиях, далеко не всегда приятное, но в общем, как на нормальное, естественное течение жизни народа. На войну он пошел добровольно, но не потому, что «пламенно стремился умереть за Сталина», а потому, что война выбила его из привычного жизненного русла, и ему при шлось искать новое место для применения своих сил, для утверждения себя, что вполне естественно в его еще молодых летах. Войну он проделал полностью, и вступление, и наступление, закончив ее службой в оккупированной Германии в послевоенные годы.

Война и последовавшая за ней заграничная жизнь загрузили его сознание и его психику огромною суммой новых представлений, понятий, эмоций, вскрыли целый ряд неосознанных до того им самим чувств, расширили его кругозор, укрепили жившую в нем и до того способность критически осмысливать окружающее, а всё это вместе взятое властно толкнуло к переоценке окружающего, и не только окружающего, но прежде всего самого себя. В огненном вихре войны Борис Ольшанский осознал в себе свою русскость. Не только осознал, но осмыслил ее, утвердил и укрепил чувством. Он прошел тем же путем, каким шли вместе с ним десятки миллионов таких же «советских людей», одетых в серые шинели или лохмотья этих шинелей. Закончил он этот путь переходом границы для того, чтобы остаться русским. И именно тяжесть и тернии пройденного им пути дают ему возможность видеть аналогичные устремления в мышлении и психике окружавших его людей. Факты, подтверждающие эти стремления, в изобилии рассыпаны им по всем

страницам книги. Некоторые из них кажутся просто невероятными, как, например, его рассказ о том, что подготовка к побегу заграницу одного из советских офицеров была известна восьми его сослуживцам и в том числе начальнику-генералу. Многие из них не сочувствовали его решению, но *никто его не выдал*. Этот факт показался бы вымышленным, если бы его не подтверждало множество других, менее ярких зарисовок того же типа и значения.

Обильный материал, собранный Б. Ольшанским и буквально втиснутый им в книгу, углубляет ее значение, но вместе с тем несколько вредит автору, не давая ему возможности, несмотря на наличие таланта, литературно его обработать. Трудно определить литературный жанр труда Ольшанского. Публицистика в нем настолько тесно сплетается с беллетристическими формами, а они, в свою очередь, с мемуарными, что безоговорочно причислить книгу «Мы приходим с Востока» к какому-нибудь из общепринятых литературных жанров немыслимо. Но это и не нужно. Достаточно сказать, что книга Б. Ольшанского захватывающе интересна для каждого русского в зарубежье, будь то новый или старый эмигрант безразлично. Каждому из них она покажет много нового, неизвестного еще ему, и укрепит его веру в историческую судьбу русского народа, в его непоборимые силы, пусть скрытые до времени, но несомненно не угасшие и пробуждающиеся в неопределенных пока еще формах, но во всяком случае в форме решительного протеста против поработившего его чужеземного, чужеродного режима.

«Знамя России», Нью-Йорк,
сентябрь 1954 года, № 114. С. 13

Аглая Шишкова. **«Чужедаль»**

Найти, воспринять, почувствовать свое родное, русское в цветистых куполах Василия Блаженного, в затейливом узорочье И. Билибина, в нежной сумеречной гамме Левитана не так уж трудно. Эти образы стали для нас своего рода аксиомами, прописями любви к родине. Но много труднее найти и ощутить свое родство с русской землею, смотря на... обыкновенный гриб, мухомор, да еще выросший в баварском лесу. Нужно очень любить эту свою землю, сердцем, а не умом, не памятью родниться с ней, чтобы уловить ее дыхание, отраженное в этом баварском мухоморе. В сердце Аглаи Шишковой, автора книги стихов «Чужедаль» (издание «Посева») есть такая любовь. Ею, ее нежными лучами осветила и насытила она свой небольшой сборник.

Чудесно в лесах Баварии
Смоленские брать грибы,
Распутывать хрусткие тропы,
По балкам искать ключи,
Родные угадывать шопоты
И слушать, как сердце стучит,
Как брагой вскипает, бродит в нем
Горячее слово — Родина!

Само название книги А. Шишковой «Чужедаль» говорит о тоске ее автора по оставленной родине. Но как далека эта тяга души А. Шишковой от традиционной «тоски», опошленной многими поэтами и поэтиками Зарубежья. Тоска Шишковой светла, ясна и даже... радостна тою радостью, которую рождают облегчающие душу слезы. Свет и радость, исходящие от ее стихов, глубоко воспринимаются читателем, потому что в ритмических строках чувствуется близость их автора к живой, сущей, подлинной родине, а не к ее отражению в тусклом зеркале памяти.

Милый, вспомни: я сироточка,
А кругом — чужедаль.

В этих строках — вся душа А. Шишковой. Милая нашему сердцу, «своя», «наша» душа.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
3 октября 1953 года, № 194. С. 3

РЕЦЕНЗИИ НА КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА им. ЧЕХОВА (Нью-Йорк)

Александра Львовна Толстая. **«Отец»**

I

Ни об одном из русских писателей не написано столько, сколько о Л. Н. Толстом. Литературоведы, философы, богословы, врачи, друзья, дети и даже случайные знакомые... кто только не писал о нем. Казалось бы, ничего нового уже нельзя добавить к написанному, особенно к биографической его части. Но книга Александры Львовны Толстой, его любимой дочери и ближайшего поверенного последних лет жизни отца, всё же вносит новое в огромный запас накопленного материала и приоткрывает завесу над теми сторонами мышления Л. Н. Толстого, которые другие его биографы, порою неумышленно, но, главным образом, с предвзятой целью, закрывали от глаз русских читателей и почитателей великого писателя. Эта затемненная и еще более неправильно освещенная часть его мышления — политические взгляды графа Толстого. В последнем периоде его долгой творческой жизни, Л. Н. Толстой представлялся русскому обществу, главным образом, молодежи, как протестант против монархии, порою даже как революционер. Прогрессисты всеми силами, развивали это представление о нем, и, надо сознаться, что яростная травля Толстого со стороны реакционных кругов немало способствовала утверждению этого взгляда, т.е. лила воду на мельницу своих врагов «прогрессистов» и революционеров.

Воспоминания А. Л. Толстой, глубоко интимные по своему характеру, возможно более объективные по стремлениям автора и, безусловно, достоверные, как вышедшие из-под пера наиболее близкого к престарелому Л. Н. Толстому лица, решительно опровергают взгляд на Толстого, как на западника-«прогрессиста» и тем более, как на в какой-либо мере революционера. Более того, они показывают Толстого как монархиста, безусловного монархиста в первом периоде его жизни и критического монархиста — в последнем ее периоде.

Рассказывая о внутренней работе Л. Н. Толстого над образами

героев «Войны и мира», А. Л. Толстая, вопреки литературоведам-«прогрессистам», утверждает, что большинство личных черт внесено автором не в образ Пьера Безухова, как это принято думать, но в пламенного монархиста, безраздельно служащего царю и отечеству Николая Ростова. «Ростов был влюблен в царя и в славу русского оружия... И не один он испытывал это чувство. Девять десятых людей русской армии в то время были влюблены, хотя и менее восторженно, в своего царя», приводит она дивные строчки «Войны и мира» и на той же странице пишет: «Разве мы не узнаем Толстого в Николае Ростове?».

Рассказывая о дальнейшей внутренней жизни Л. Н. Толстого, его дочь говорит: «Несмотря на свою ненависть к убийству, отрицание войны (Толстой) сохранил до глубокой старости это чувство глубокой любви к своей родине, чувство патриотизма, теоретически и беспощадно им отрицаемое»; читатель видит в этих словах одно из многих глубоких внутренних противоречий Л. Н. Толстого, превративших его, казалось бы, безмерно счастливую жизнь в мучительную трагедию. В 70-х годах «традиции класса, военного круга, преданность государю еще сильны в нем», свидетельствует А. Л. Толстая, а письма Л. Н. Толстого к государю Александру III и государю Николаю II удостоверяют, что и в дальнейшем Л. Н. Толстой не утратил своей веры в высшую, надзаконную справедливость монарха, т. к. в этих письмах он обращается именно к ней, требуя от монархов ее проявления, вопреки неизбежному в нашем грешном мире закону человеческому, во имя закона Христова. В этом отношении чрезвычайно характерно его заступничество пред государем Александром III за духоборов, у которых, на основании существовавшего тогда закона, К. П. Победоносцев отобрал неокрещенных ими детей. Монарх не обманул веры Толстого в его надзаконную милость: Самодержец Александр III личным приказом губернаторам вернул детей их родителям.

Внимание трех государей к мышлению и творчеству Л. Н. Толстого, глубокое уважение к нему с их стороны не раз подчеркнуто на страницах обоих томов воспоминаний: Александр II рыдает над «Севастопольскими рассказами», Александр III не только вопреки постановлению цензуры разрешает постановку «Власти тьмы», но во всеуслышание объявляет ее «прекрасной пьесой». Более того, он, этот монарх, заставивший «подождать Европу», для встречи с выполняющей поручение Толстого его женой сам посещает ее и интимно беседует с ней; государь Николай II принимает даже детей Л. Н. Толстого на личных аудиенциях и так же интимно беседует с ними.

Враждебность Л. Н. Толстого революции также не раз подтверждена на страницах книги его дочери. «Толстой никогда не увлекался револю-

ционными течениями», пишет она, «хождение в народ, народничество Михайловского, революционный героизм террористов, организация “Земли и воли” — всё это было ему непонятно и чуждо. Толстой знал, что по существу народовольцы не знали народа и смотрели на него, как на темную массу. Слова “народ”, “народное” в устах этих не понимающих сущности русского народа людей раздражали Толстого». Его дочь свидетельствует и о том, что на склоне своих лет Л. Н. Толстой, протестуя против русско-японской войны, как всякой войны, всякой формы убийства, глубоко переживал ее, как русский патриот, пламенно реагировал на ее ход, и наши неудачи в этой войне потрясали и угнетали его.

Много строчек из книги А. Л. Толстой можно взять для опровержения лживого взгляда на политические воззрения Л. Н. Толстого, утвержденного в русском обществе «прогрессистами». Но размеры рецензии заставляют ограничиться лишь его характеристикой социализма. «Социалисты видят в трестах, синдикатах осуществление или движение к осуществлению социалистического идеала, т.е., что люди работают сообща, а не врозь. Но работают они сообща только под давлением насилия... (социалистические) тресты произведут рабство, от которого, освобождаясь, рабы будут разрушать эти, не ими установленные тресты». Можно ли после этих слов считать Л. Н. Толстого в какой-либо мере даже каким-то «христианским социалистом», которых в природе не существует и существовать не может, т.к. материалистический социализм полностью враждебен всем видам и формам христианского мышления и чувствования.

«Знамя России», Нью-Йорк,
28 февраля 1954 года, № 103. С. 15–16

II

Младшая дочь гр. Л. Толстого Александра Львовна была при его жизни самой пламенной и ортодоксальной последовательницей его идей из всей семьи Толстых. В ходе глубокой драмы, тяготевшей над семьей великого писателя, его разделе с женой Софьей Андреевной, вызвавшем и разделение всей семьи на два враждебных лагеря, она всецело принадлежала к сторонникам отца, одобряя и морально подкрепляя его далеко не всегда справедливое отношение к горячо любившей его, но тоже не всегда тактичной Софье Андреевне. Но почти полвека, прожитых Александрой Львовной со дня кончины ее отца, многое изменили и в ее личном сознании и в ее отношении к пережитому. Житейская мудрость — неизменная спутница старости. В своих воспоминаниях А. Л. Толстая переоценивает многие действия своей молодости, смотрит на прошлое

объективно, бесстрастно, умеет понять и простить то, к чему в молодости она относилась непримиримо. В силу этого, ее книга полна любви и теплоты теперь уже не только по отношению к отцу, но и к матери.

Два тома семейной хроники «Отец» не содержат в себе каких-либо сенсационных «разоблачений» о жизни великого писателя, но читатель находит в них ряд мелких подробностей этой жизни и богатырская фигура Льва Толстого оживает в его памяти с предельной ясностью. Но некоторые «новости» в ней все-таки есть. Таковы, например, сообщения Александры Львовны о глубоком уважении, которым пользовался Л. Н. Толстой в царской семье не только со стороны мягкого и деликатного Государя Николая Александровича, но и со стороны твердого, порою сурового Императора Александра III, которому, кстати сказать, Л. Толстой писал безусловно дерзкие письма. Приходится пожалеть, что, на наш взгляд, недостаточно полно обрисована темная роль Черткова в семейной драме Толстых, и вместе с тем порадоваться тому, что Александра Львовна в последних главах книги «Отец» упоминает о замолчанном либеральной прессой того времени стремлении великого писателя к воссоединению с православной Церковью, неясно, но всё же выраженном им в последние часы его жизни, а так же и о шагах, предпринятых православным духовенством (старцами Оптинской пустыни) к возвращению его в лоно Церкви. Книгу «Отец» гр. А. Л. Толстой следует прочесть как почитателям великого писателя Земли Русской, так и тем, кто до сих пор носит в своем сердце враждебное по отношению к нему чувство.

«Часовой», Брюссель,
март 1956 года, № 363. С. 15

Борис Зайцев. **«Чехов»**

Подавляющее большинство биографов А. П. Чехова, порою в силу поверхностности своего анализа, но в большинстве случаев умышленно, вследствие своей «прогрессивной» узколобости, зачисляли покойного писателя в ряды атеистов. Некоторые внешние основания они к этому имели. А. П. Чехов и сам не раз говорил о своем безверии, и, в спорах с Сувориным, становился на общепринятую тогда в либеральной среде материалистическую точку зрения. Эти его слова заставляли бледнеть такие моменты в его жизни, как, например, одинокие часы в Новодевичьем монастыре, проведенные там писателем в начале его болезни, выстроенную им в Мелихове церковь и семейный хор Чеховых, по его инициативе певший там Светлую Христову Заутреню. Но «каждая душа

человеческая по природе своей христианка» — писал Тертуллиан, и это его утверждение мог бы смело поставить Борис Константинович Зайцев эпиграфом своей прекрасной, глубокой и полной нежной любви к А. П. Чехову книги.

Воспроизводя в своей литературной биографии человеческий облик покойного писателя, Б. Зайцев не гонится за обилием подробностей, и многие, даже крупные факты его жизни, как, например, встречи с Л. Н. Толстым или близость с Максимом Горьким, он почти обходит молчанием, упоминая о них лишь в добавлениях. Б. Зайцев считает их как бы малозначительными, чуждыми наносами в формировании личности А. П. Чехова и безусловно имеет для этого серьезные основания, рассматривая Чехова-человека через призму Чехова-писателя. Ведь именно для покойного Антона Павловича литература была первой и основной частью его натуры, а всё остальное, даже большая и глубокая любовь к О. Л. Книппер — лишь дополнением, приложением к ней.

И вот, рассматривая жизнь А. П. Чехова, как человека, сквозь эту призму, Б. Зайцев не только нащупывает, но точно улавливает и четко определяет «подземную струю» религиозной, чисто христианской направленности, протекающую в глубинах души писателя и, чем дальше, тем сильнее проявляющую себя в его творчестве.

Исток этой струи Зайцев находит в «Степи» — в первом, действительно крупном произведении А. П. Чехова, создавшем ему литературное имя и приведшем в восторг даже не очень склонного к проявлению этого чувства Л. Н. Толстого. Струя, быть может, даже помимо воли самого писателя, поблескивает там нежным, радостным светом, излучаемым так удавшейся ему фигурой доброго отца Христофора, несущего с собою всюду мир, радость и уверенность в Промысле Господнем. «Степь» написана молодым, здоровым, сильным и жизнерадостным Чеховым, наполовину еще даже весельчаком Антошей Чехонте. Но чем больше растет сам писатель, чем шире раздвигаются границы его кругозора, тем эта струя проявляется всё яснее и яснее. Она видна уже в «Чайке», в религиозном порыве исстрадавшейся души ее героини. Она сливается с евангельским словом в «Студенте», журчит сладкозвучными акафистами монашка-поэта в «Святой ночи», отраженно мерцает в утешительных репликах умной и доброй няньки в «Дяде Ване», единственного, по существу, безоговорочно светлого персонажа в этой мрачной, пессимистичной пьесе и, наконец, ярким, лучистым потоком разливается она же, эта подземная до того струя, но вырвавшаяся, наконец, наружу, в лучшем из рассказов Чехова, в «Архиерее», тему которого писатель носил в себе целых пятнадцать лет и смог воплотить ее в слове, только вступив уже в предсмертное озарение.

Это был неосознанный свет высшего мира, Царства Божия, которое «внутри нас есть». Молодому, здоровому, краснощекому Чехову, — пишет Б. К. Зайцев, — мало оно открывалось. Чехову зрелому было, наконец, приоткрыто. Оттого в молодости он не мог написать “Архиерея” (даже “Студент” написан не в молодости). “Архиерей” же есть свидетельство зрелости и предсмертной, неосознанной просветленности».

Золотые слова! Одними ими Зайцев низводит к нулю все обвинения А. П. Чехова в атеизме, но он не ограничивается ими. Исследуя весь творческий путь Чехова, он останавливает внимание читателя на таких, например, кажущихся многим малозначительными деталями, эпизодах, как ночная встреча Липы с мужиками «В овраге», спасительном для всех крике веселого, смешливого дьякона в «Дуэли», оборонившем одного героя от греха, а другого от смерти. Зайцев отмечает и то, что персонажи, которым надлежало бы стать выразителями безрелигиозного, материалистического оптимизма, решительно не удаются Чехову. Таков, например, студент в «Вишневом саду», зовущий к какой-то новой, светлой жизни, но, вместе с тем, в метком портрете Чехова, только нудный и порою смешной неудачник.

Написанная Б. К. Зайцевым литературная биография Антона Павловича Чехова, безусловно, лучшая из всех работ в этой области. Автор нашел и сумел сказать о великом русском писателе действительно новое, и не только новое, но верное, правдивое слово.

«Знамя России», Нью-Йорк,
31 января 1955 года, № 121. С. 9–10

Луч света в темном царстве

I

В моей личной жизни было несколько глубоких, создавших резкие контрасты переломов и первым из них был переезд в Москву из имения, находившегося в одной из самых «помещичьих» губерний центральной России. Не столь изменился окружавший меня пейзаж, сколь переменились люди, в среде которых я тогда, еще мальчиком, вращался.

В деревне это были помещики средней руки, в большинстве уже разорявшиеся, но всё же свято хранившие традиции барственности и одновременно ненавидевшие, презиравшие и вместе с тем боявшиеся вытеснявшего их с поля жизни купца, «купчины», «купчишки». Переехав же в Москву, я попал в среду именно этого «врага», тех, под несомненным влиянием которых формировалось мое первичное мировоззрение.

В моей, тогда еще юной, душе произошла целая революция: «герои» утратили свои краски, облиняли и измельчали, а «злодеи» наоборот ярко засверкали, выросли в моих глазах и, как теперь я могу уже сказать с полной уверенностью (прошло ведь целых полвека, да какие полвека!), что даже раскрыли, расширили глаза, усилили их зрительные возможности и раздвинули их кругозор.

В Москве я попал в слой среднего и частично высшего купечества того времени. Поколение, к которому принадлежит автор прекрасной, выпущенной издательством им. Чехова книги «Москва купеческая» П. А. Бурышкин*, было моим поколением, а старшее — отцы — главами тех домов, где я бывал, владельцами тех собраний картин, которыми я любовался, меценатами или частично хозяевами тех издательств и журналов, которые я читал, пайщиками театров, в которых... ну, и так далее, всего не перескажешь. Вот почему, вероятно, теперь, не отрываясь, я прочел книгу Бурышкина, со страниц которой мне улыбнулась и моя собственная молодость...

Но это не значит, что «Москва купеческая» Бурышкина близка мне только субъективно. Наоборот, критически рассматривая эту книгу, я должен прежде всего сказать, что она ценна и должна стать близкой каждому русскому человеку, любящему свою родину, ее людей, ее далекое и недавнее прошлое.

«Москву купеческую» Бурышкина я называю «лучом света в темном царстве», умышленно и без стыда повторяя заголовок известной статьи нигилиста Добролюбова, которая в свое время, к великому прискорбию для нашего поколения, оказала на него глубокое и столь же тлетворное влияние.

П. А. Бурышкин рассказывает в своей прекраснейшей книге преимущественно о московском купечестве и даже не о всех слоях его внутренней иерархии, но главным образом о ведущей группе московских капиталистов-промышленников. Вместе с тем по этому яркому и характерному примеру, вернее ряда приведенных им примеров, современный читатель может составить себе точное и верное представление о всем российском купечестве конца прошлого и начала текущего века, т. к. Москва была основным его фокусом, концентрировавшим в себе все главные силовые линии, выходившей тогда на историческую арену молодой русской буржуазии, той социальной группы, которая, по не раз высказанному И. Л. Солоневичем убеждению, став плотной стеной у трона, смогла бы успешно отразить натиск надвигающейся революции.

* Павел Афанасьевич Бурышкин (Москва 1887 — Исси-ле-Мулино, близ Парижа 1955), предприниматель, в эмиграции — профессор Русского коммерческого института (Париж). В 1990 г. его книга «Москва купеческая» была издана в СССР тиражом в 150 тыс. экз.

Автор «Москвы купеческой» начинает свою книгу историческим экскурсом. Он исследует и подвергает меткой, продуманной критике первые исторические введения о московских купцах, дошедшие до нас в записках Олеария, Майерберга, Гербенштейна, Петрея и других иностранцев, свидетельствовавших о неизвестной тогда западной Европе Московии. Этот экскурс сам по себе заслуживает большого внимания, т. к. автор книги, П. А. Бурышкин глубоко образованный человек, имеющий ученую степень (хотя и коммерсант в прошлом!), и многие его выводы, вполне созвучные, кстати сказать, пониманию русской истории И. Л. Солоневичем, не могут не привлечь к себе внимания специалистов историков.

Вслед за этим, к сожалению, очень кратким обзором, П. А. Бурышкин делает другой, несколько более расширенный по сравнению с первым, но, как мне думается, все-таки расширенный недостаточно. Он рассматривает в нем отражение русского купца русской же литературой и столь же смело сколь и крепко устанавливает ошибочность, даже как вольную, так и невольную лживость подавляющего большинства русских писателей, находившихся, с одной стороны, под влиянием «прогрессивных» тенденций, т. е. смотревших на купца и промышленника, как на врага трудового народа, а с другой стороны — не изживших в себе узко-дворянских традиций пренебрежения, презрения и нередко даже ненависти к «торгашу». Ко второй группе он причисляет большинство писателей дворянской культуры XIX века, а во главе первой совершенно справедливо ставит Н. А. Некрасова с его ненавистью к «купчине толстопузому», а в дальнейшем — М. Горького, подошедшего к изображенному им литературному объекту с партийно-марксистским аршином. Островского, давшего целую галерею типов современного ему купечества. П. А. Бурышкин помещает между этими двумя полюсами, и я позволю себе снова маленькое автобиографическое уклонение от прямой темы.

В те далекие времена я, тогда еще юноша, глубоко любивший литературу и театр... возненавидел комедии Островского, несмотря на то, что они шли в прекрасном по своему составу Императорском Малом театре. Я не ходил на них. Предвзятость, тенденциозность и фальшь сценического действа коробили меня в сопоставлении с тем, что я видел вокруг себя в реальности.

— Где же эти Кит Китычи, Дикие, Кабанихи и прочие? — спрашивал я сам себя и, не находя тогда ответа, зачислил великою мастера комедии Островского в число литературных лжецов.

Я сделал теперь эту вставку потому, что персонажи Островского в наше время могут и должны быть рассматриваемы только в историческом

аспекте, но, к сожалению, очень значительная часть наших современников как на порабощенной родине, так и в среде эмиграция до сих пор еще склонна смотреть на русского купца предреволюционного периода, а следовательно, и на того, который неизбежно появится, возродившись в освобожденной России, через гротескную призму Островского. Необходимость борьбы с таким ошибочным взглядом даже и теперь, даже и в среде эмиграции, делает книгу П. А. Бурышкина глубоко современной и столь же нужной русской антикоммунистической общественности.

Даже краткий пересказ всего содержания «Москвы купеческой», конечно, невозможен в газетной статье, но не могу удержаться от упоминания о данных им ярких, художественно выполненных, метких и глубоких характеристик титанических фигур московского купечества прошлого века — Губонина, Кокарева, Хлудова... Богатыри! Вот такими-то подлинно почвенными творцами-созидателями, людьми огромного размаха и такой же смелости мы могли бы блеснуть перед западной Европой и Америкой, которых, кстати сказать, эти люди действительно перегоняли в своей творческой созидательной работе, что подтверждает П. А. Бурышкин выдержками из «Таймса» и других иностранных газет того времени, констатировавших высокий уровень русской промышленности начала XX века, блестящую организацию ее ведущих предприятий и их техническое оснащение, качественно превосходившее даже такую индустриально мощную страну, как тогдашняя Великобритания. Эта часть работы Бурышкина — обзор русской промышленности начала текущего века, снабженный также кратким экскурсом в ее историческое прошлое, ценен не только для специалиста, но и для рядового читателя, которому, благодаря прекрасному языку автора, становятся понятным сложные политико-экономические проблемы.

Интересно отметить и в этой плоскости созвучие утверждений П. А. Бурышкина с мыслями И. Л. Солоневича. Оба они умеют видеть *национальные черты* исторического развития русской экономики в целом и, в частности, *семейственный* характер крупнейших русских капиталистических объединений, противоположный по своей внутренней доминанте безличности и анонимности западно-европейских и американских трестов. На Московской Руси и позже в России центром производства становилась личность владельца и в зависимости от качеств этой личности формировалось само производство, устанавливались его взаимоотношения с рабочими, кредиторами, покупателями и т. д., в результате чего вырастала нерушимая *традиция* и эта традиция подчинялась требованиям христианской морали. Так создавались целые купеческие династии, уходившие своими корнями к временам Грозного

и тесно сраставшиеся своими ветвями с такими же династиями своих сотрудников.

Коноваловы, Носовы, Гучковы, Морозовы и еще десятка два именитых родов московского купечества... П. А. Бурышкин кратко повествует об их генеалогии и иллюстрирует ее образами своих современников, представителей этих же родов. Перед читателем проходят Станиславский-Алексеев, исключительная по разнообразию своей талантливости семья Морозовых, московский Лоренцо Великолепный — сочный сгусток самых разнообразных видов творчества — Савва Мамонтов... еще и еще...

И характерная для всех черта: проявляя себя во всех видах культурного и художественного творчества, эти люди не порывали с коммерцией и промышленностью, но умели совместить в себе то и другое, в результате чего белокаменная столица Руси украшалась первоклассными клиниками университета, лучшими в мире театрами, собраниями замечательных произведений искусства, широкими но размаху, действительно служившими потребностям народа книгоиздательствами... Читаешь и помимо воли наполняешься гордостью при воспоминании о том, что и сам был москвичом того времени, воспитывался в московском университете, в московских театрах, читал книги московских издательств, созданных трудом и средствами московского же *глубоко и разносторонне культурного купечества*, в среде которого формировался сам, как личность. Русская личность.

Я назвал этот очерк «лучом света в темном царстве», потому что и до сих пор, к сожалению, еще для многих общественная и личная жизнь русского купечества, описанная в книге П. А. Бурышкина и проанализированная им, представляется, как «темное царство». Книга Бурышкина, действительно, — яркий луч света, брошенный в эту тьму, созданную ложью «прогрессивных» литераторов и правдиво зарисованные им образцы, — действительно живших и творивших, сильных, здоровых и смелых людей, а не истерички, как идеализируемая Добролюбовым Катерина («Гроза»), осветят потомкам замкнутые особняки купеческих домов, где непреклонные, суровые, а подчас даже жестокие Кабанихи выращивали богатырские фигуры творцов как в области экономики, так и в области русской национальной культуры, творцов и созидателей жизни нации, а не присосавшихся к телу народа «прогрессивных» паразитов.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
3 февраля 1955 года, № 263. С. 4

II

(*П. А. Бурышкин.* **«Москва купеческая»**)

Автор этой интереснейшей книги — представитель того молодого купечества, которое в начале века выходило на мировую экономическую и русскую политическую арену, выходило полное сил и воли к созидательному творчеству. П. А. Бурышкин — москвич, член известной в Москве купеческой семьи, но его род сравнительно новый: Бурышкины не принадлежали к именитому московскому купечеству, династии которого восходят ко временам Ивана Грозного, но они были в родстве и свойстве с некоторыми из них. Широкая коммерческая деятельность отца и сына Бурышкиных, их активное участие в интеллектуально-культурной жизни Москвы, вело автора к личному общению с крупнейшими фигурами не только московской, но и всероссийской промышленности, яркие и меткие характеристики которых, совместно с историей их родов, он дает в своей книге.

Интересны в ней не только эти страницы художественно выполненных им бытовых зарисовок. Они — лишь иллюстрации к основной ее теме, а тема эта глубока и обширна.

Русская литература много погрешила перед русским торгово-промышленным классом. Она, в лице своих наиболее ярких и талантливых бытописателей, вывела на первый план полуанекдотическую фигуру «Кит Китича», купца-самодура, широкую, но хаотичную в самой себе натуру, безудержную как в своих порывах к добру (благотворительности), так и в стремлении к наживе, хотя бы и за счет своего ближнего. Так изображали русского купца-промышленника лучшие и наиболее правдивые его описатели Лесков и Островский, а переполненные злобой к нему «прогрессисты» попросту поливали его грязью, на что не скупились, как известно, Щедрин и Некрасов. В результате в представлении русского интеллигента сложился абсолютно неверный образ «купчишки» или «купчины», не имевший ничего общего с тем, что представляло собой на самом деле передовое русское купечество, воспрянувшее морально и материально в эпоху великих реформ императора Александра II, раскрепостивших не только крестьянство, но творческие силы других общественных слоев России.

Характерным образцом такого русского купца-промышленника предреволюционной эпохи может служить сам автор книги П. А. Бурышкин, которого помнят многие старые москвичи. Не достигнув к началу революции даже и среднего возраста, он окончил к этому времени юриди-

ческий факультет Московского университета и Московский Коммерческий институт, учился также и в Археологическом институте, имел ученую степень, свободно говорил на нескольких иностранных языках, обладал глубокими познаниями в области философии и экономики, имел тонкий литературно-художественный вкус, но всё это вместе взятое не отталкивало его от основной коммерческой деятельности, а наоборот — подводило под нее крепкую базу всесторонних знаний, глубокой эрудиции, что при энергии самого Бурышкина выдвинуло его уже в молодости на видное место в Первопрестольной.

Он не был одиночкой-феноменом. В среде его сверстников и предыдущего поколения мы легко найдем много имен столь же значительных — в развитии русской культуры и общественной деятельности. Назовем хотя бы Алексеева-Станиславского, собирателей ценнейших образцов живописи братьев Третьяковых, Щукина, Морозова, иконописи — Рябушинского, создателя крупнейшего в мире театрального музея Бахрушина и следует отметить, что все они, отдавая значительную часть своих сил культурной работе, не порывали также и с коммерческо-промышленной деятельностью, находя и для нее достаточно сил в своих мощных почвенных русских натурах.

Глубинный процесс выхода на арену русской истории этого общественного слоя, как крупнейшей общественной силы, ярко и полноценно отражен на страницах книги П. А. Бурышкина.

Ценная, интересная книга. Для многих из читателей ее автор «открывает Америку русскую», к сожалению, недооцененную русским обществом.

«Знамя России», Нью-Йорк,
31 января 1955 года, № 121, С. 8–9

Князь Сергей Щербатов. **«Художник в ушедшей России»***

Содержание прекраснейшей книги кн. Сергея Александровича Щербатова далеко выходит за пределы ее скромного заголовка. Это не автобиография, как предупреждает в предисловии сам автор, не описание положения и деятельности художников в дореволюционной России вообще и даже не разбор творчества крупнейших из них.

* См. также о С. А. Щербатове главу Б. Ширяева «Рюриковой крови художник» в кн. «Италия без Колизея» (СПб.: Алетейя, 2014. С. 68–71).

Автор книги «Художник в ушедшей России» развертывает перед читателем целое полотно всей художественной жизни Российского народа в целом в ту эпоху, когда народ этот мог кистями своих выдающихся художников выражать свое стремление к красоте и намечать ими же чисто национальные формы этой глубоко русской красоты. На фоне пышной, размашистой и полнокровной жизни предреволюционной Москвы — истинного сердца России, — видевший всесторонне эту жизнь, автор рельефно выделяет главные художественные течения того времени, рисует меткие облики их вождей и вдохновителей, но вместе с тем вскрывает перед глазами читателей и корни этих течений, глубоко уходящие в национальное прошлое. Основным источником, питавшим всё русское изобразительное искусство, кн. С. Щербатов считает иконопись XII–XVI вв., претворившую в самой себе зерна, упавшие на русскую почву из далекой Византии.

Наравне с живописью, как таковой, и ее творцами, автор показывает читателю также и подлинных меценатов Москвы, подкреплявших и взращивавших русские таланты. Роли этих меценатов в развитии русского искусства автор придает большое значение и, вместе с тем, совершенно правильно разделяет их на «овец и козлищ», т.е. на истинно преданных красоте и любящих ее, с одной стороны и на кичливых снобов — с другой. К числу первых он относит создателя Третьяковской галереи П. М. Третьякова, председателя ее художественного совета Остроухова и некоторых других видных московских коллекционеров, скромно умалчивая о самом себе. А ведь в этом ряду он занимал одно из первых мест, о чем и доныне свидетельствует дом необычайной красоты, построенный им на Новинском бульваре Москвы, с целью создать в этом доме центр русского искусства, поместить в нем его сердце и мозг, пожертвовав его для организации системы беспрерывно сменяющихся русских художественных выставок, что дало бы возможность многим, очень многим нашим художникам развернуть свое творчество и показать его широким кругам зрителей. Прекрасная идея и высокая цель, осуществление которой не допустила революция. Столь же скромно сообщает автор и о своих собственных художественных работах, которые были очень значительны в ходе развития русского искусства вообще и в особенности тем, что сам автор представлял собою некий феномен, сливая в своей глубокой натуре профессионального художника с аристократом в лучшем и истинном понимании этого слова.

Трудно охарактеризовать жанр книги кн. Сергея Щербатова. Вернее всего было бы назвать его философской трактовкой русского искусства, но боюсь, что этот сухой, отвлеченный термин испугает многих читате-

лей, прочесть же эту книгу среднему читателю русского зарубежья будет очень легко, т. к. она написана простым и прекрасным языком, снабжена рядом увлекательных литературных зарисовок и безусловно увлечет даже далеких от искусства читателей. И нужно ее прочесть тем, кто изверился и недооценивает гигантской творческой мощи нашего народа.

«Знамя России», Нью-Йорк,
6 января 1956 года, № 135. С. 12

Запах трупа

Автор выпущенной издательством им. Чехова книги «Петербургские зимы» Г. Иванов, друг и ученик Н. Гумилева, начавший печататься с 1912 года. В его прошлом — бодрая поэтика, стремление к борьбе. В его настоящем... об этом в конце статьи.

Г. Иванов знает поэтов последних предвоенных лет Петербурга и, несомненно, любит их, любит и всю атмосферу литературно-артистической жизни тех лет. Обвинить его в злословии, подобном бунинскому, ни в какой мере нельзя, а, следовательно, нельзя и заподозрить в утрировке, вымысле, тенденциозности. В своей книге он правдив и объективен. Кроме того, книга написана ярко, талантливо, и читается с неослабевающим жутким интересом. Жутким? Да, жутким. Ведь нельзя без жути смотреть на подающий еще признаки жизни, но вместе с тем уже разлагающийся труп. Именно такими трупами показано в книге Г. Иванова младшее поколение «Серебряного века» русской поэзии и его столпы в последние годы их жизни.

Перед читателем Блок, «мечтавший всю жизнь о революции».

Я сегодня, гражданин, плохо спал,
Душу я на керосин променял...*

Страшной, безносой ведьмой обернулась к нему «Прекрасная Дама» его юности, которой он пропел и свою последнюю песню, роковую поэму «Двенадцать». По свидетельству Г. Иванова, в последние часы своей жизни Блок требовал сожжения всех экземпляров этой поэмы. Г. Иванов видит в этом трагический перелом духовной жизни Блока, но так ли это? Был ли действительно распад души поэта результатом роковой ошибки или он вытекал, был следствием всей направленности его творческой жизни?

---

* Цитата из стихотворения Вильгельма Зоргенфрея «Над Невой».

Автор «Петербургских зим» дает ряд картин из дореволюционной жизни Блока: его тяга к грязным трактирам, к компании пьяных пошляков. Перед читателем невольно встает аналогичный облик Свидригайлова — то же опустошение души, гниение, безысходность...

«Эх, эх, без креста...»

Я сам не видал в эти годы Блока, но часто встречал В. Брюсова и его тогдашнюю подругу поэтессу Адалис*. Тем же свидригайловским запахом несло от обоих.

Как должен был чувствовать себя попавший в эту зараженную, тлением атмосферу свежий и к тому же талантливый человек? Мог ли он защититься, устоять, сохранить себя?

Г. Иванов показывает наряженного оперным пейзаном Есенина, выходящего на эстраду с букетом искусственных васильков; показывает тоже ряженого и подрумяненного Клюева. Оба они пришли в литературный Петербург «Серебряного века» целостными русскими мужиками. Один от рязанских полей, другой — из олонецких лесов. Автор гремевшей тогда поэмы «Стенька Разин» Сергей Городецкий загримировал их лица и души. Этого требовали изыски «Серебряного века». Оба поэта погибли.

Необычайно ярки и типичны для той эпохи данные Г. Ивановым портреты М. Кузьмина и Р. Ивнева. Оба они блестящие в своей творческой внешности, но внутренне опустошенные, рафинированные снобы. Первый из них, автор утонченно-порнографических «Крыльев», тогда «владел думами» молодежи. Второй — аристократ, вращавшийся в высшем петербургском обществе, — в дальнейшем цинично продавался большевикам.

Список таких продавшихся поэтов «Серебряного века» я мог бы несколько дополнить. Г. Иванов дает в своей книге верный и выпуклый портрет поэта Владимира Нарбута в его молодости. В 30-х годах тот же Нарбут редактировал мои брошюры о республиках Средней Азии и тщательно вставлял, где только возможно, имя Сталина и славословия ему. Мы часто встречались, и я могу засвидетельствовать, что он, оставаясь беспартийным (в партию его не приняли), был правоверней и подхалимистей любого партийца.

Куда девался другой наш общий знакомый, прекрасно описанный

* Аделина Ефимовна Ефрон (псевд. Адалис) (1900–1969) — поэтесса, писательница. После смерти В. Брюсова переехала в Одессу, где вышла замуж за писателя И. В. Сергеева и уехала с ним на несколько лет корреспондентом в Среднюю Азию. Публиковала очерки, стихи, переводы поэтов Средней Азии и Закавказья.

Г. Ивановым Борис Пронин*, содержатель ночных богемных кабаков и друг всех поэтов «Серебряного века», я не знаю, но на Соловках я встречал некоторых членов контрреволюционной организации начала двадцатых годов, выданных этим Прониным и почти полностью истребленных. В их числе было несколько молодых поэтов и артистов. Данные Г. Ивановым зарисовки быта пронинского кабака вполне уместны в книге. Они очень характерны, как иллюстрации литературного «феврализма».

Полон интереса и неожиданности для большинства читателей данный Г. Ивановым портрет прозаика Муйжеля**, писателя «с убеждениями», бойко строчившего революционно зажигательные рассказы «из народной жизни». Этот революционный народник неожиданно для автора книги, а еще более для читателя оказался… генералом, к тому же штабным. В паре с ним дефилирует другой генерал и профессор Военно-Медицинской академии, содержавший и культивировавший «вывернутых наизнанку» футуристов Крученых, Бурлюка и пр., обративших его солидную казенную квартиру в непотребное место.

Непристойные кощунственные радения… кривляния свыше всякой меры… вывихи остатков мозга и души… поклонение дьяволу… пьянство… наркотики… а надо всем безмерная самовлюбленность и, что еще ужаснее, преклонение общества перед подобными «гениями». Таков закат «Серебряного века» русской поэзии. Таково вожделенное утро революционной творческой русской интеллигенции.

«Пальнем-ка пулей в Святую Русь!..»

Кто же отлил эту пулю? Кто вложил ее в патрон?

«Петербургские зимы» Георгия Иванова чрезвычайно ценная, исторически ценная книга. Она точно так же, как и прекрасная книга А. В. Тырковой-Вильямс «На путях к свободе», ярко и правдиво освещает нам «февральскую стадию» развития русской «прогрессивной» интеллигенции, но не в общественно-политической, как у А. В. Тырковой, а в литературно-творческой ее части.

* Борис Константинович Пронин (1875–1946), режиссер, актер, театральный деятель. Учился в Петербургском, затем Московском университетах, был выслан из Москвы за участие в студенческих беспорядках. Вернувшись, поступил в школу Московского художественного театра. Участвовал в создании нескольких театральных клубов и кабаре, включая «Бродячую собаку» и «Привал комедиантов». В 1926 г. был выслан с семьей в ссылку, жил в Йошкар-Оле и Батуме. В тридцатые годы вернулся в Ленинград, поступил в бывший Александринский театр, где прослужил до своей кончины.

** Виктор Васильевич Мужейль (1880–1924), писатель-народник. В своих произведениях описывал быт дореволюционной русской деревни, часто сгущая краски и рисуя нарочито мрачные и беспросветные картины.

Хор «властителей дум» того времени поет в «Петербургских зимах» в унисон и в полном внутреннем созвучии. Один лишь голос диссонирует ему. Это твердый гордый голос Н. Гумилева, христианина и монархиста. Он единственный, сохранивший свою живую душу в этой дьявольской свистопляске, чего не обходит молчанием правдивый Г. Иванов, без предвзятости и даже любовно повествующий о том веке, пережитки которого еще дают себя чувствовать в Зарубежье.

Кто же они? Каковы они теперь? Быть может, пережитая катастрофа, очистила их, освежила их больную, зараженную кровь?

Ответ на эти вопросы дает тот же Г. Иванов в другой своей книге «Портрет без сходства», сборнике его стихов, насыщенных жутким, безысходным пессимизмом.

«Трубочка есть? Водочка есть?
Всем в кабаке одинакова честь», —

пишет он в ней.

Прочтя эту книгу два года тому назад, я не поверил в искренность автора. Его страшные гойевские маски показались мне умышленным обманом, мистификацией читателя. Но прочтя «Петербургские зимы», я вижу, что Г. Иванов был вполне искренен и в «Портрете без сходства». Запах трупа, исходивший от этой его книги, не был ни мистическим, ни трюком виртуоза. Он был реальностью. Теперь я понял, что иначе не могло быть...

Ценная, очень ценная книга «Петербургские зимы», неоспоримый документ недавних, к счастью, уже минувших лет.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
7 марта 1953 года, № 164. С. 6

Марк Алданов.
«Живи как хочешь»

Почти у каждого писателя бывали работы, от которых впоследствии ему хотелось бы отречься. Так случалось даже с Л. Толстым и А. Чеховым. Возможно, что в этом скрыта какая-то внутренняя закономерность литературного творчества.

Книга М. Алданова (2 тома) «Живи как хочешь» оставляет как раз такое впечатление. С ее страниц не веет талантливостью этого высокого мастера слова. Читателю не верится, что одна и та же рука писала

«Мыслителя», «Истоки» и другие глубинные по содержанию и блестящие по внешней отделке произведения и этот длинный, водянистый и даже... скучный (невероятно для М. Алданова!) роман.

Читатель не видит в нем ни острого, отточенного до предела алдановского скепсиса, ни обычных для него глубинных психологических поисков, ни даже четкой структуры самого романа, его сквозной линии, его направленности.

Фабула «Живи как хочешь» развернута автором на фоне русской эмиграции, влившейся в холливудскую халтуру. Персонажи, вероятно, колоритны для этой среды, но ведь Холливуд — лишь частный случай в многогранной жизни российской эмиграции. В какой мере характерен он для ее среды? Думается, что удельный вес попавших туда «счастливцев» очень незначителен, и их образы ни в какой мере не характерны для лица русской эмиграции, тем более в переживаемое нами время. Литературно артистическое шиберство всегда было и всегда будет.

Книга оставляет тяжелое впечатление. М. А. Алданов, безусловно, один из крупнейших, талантливейших писателей старшего поколения российской эмиграции. Быть может даже и самый талантливый из творящих в наши дни. Неужели и ему *нечего сказать* о современном русском человеке Зарубежья?

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
1 августа 1953 года, № 185. С. 8

Книга страшной правды

«Я была частицей, хотя и малой, того оппозиционного кипения, которое тогда же стали называть Освободительным движением. Теперь, после всего, что терпит Европа, чем болеет Россия, я иначе отношусь ко многому, что тогда происходило».

Так начинает свою прекрасную книгу «На путях к свободе» (изд. им. Чехова, 1952) Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс.

В этой книге нет жалких слов покаяния прижатого к стенке труса. Кристально светлые, но вместе с тем смелые и гордые души несут свое покаяние лишь к Престолу Господню, но не мечут в грязь нашей повседневности. Такова и душа Ариадны Владимировны. «Я не отрекаюсь от своего прошлого, — пишет она, — от основных идеалов права, свободы, гуманности, уважения к личности, которым я по мере сил служила». В этих словах великая правда. И в них же — великая трагедия. Страшная, космическая трагедия России... Европы... мира...

Искренне, честно и самоотверженно стремились к добру и сотворили невиданное в мире зло. Пошли к обедне, а пришли на шабаш, и сами стали бесами в ангельском образе.

А. В. Тыркова далека от пошлости «обличения». Наоборот, рисуя верные, меткие портреты «вождей» «прогрессивной» интеллигенции предреволюционного времени, она далека от нападок на них. Порой смотрит на этих спутников своей жизни с мягким юмором, порой вспоминает их нежно и любовно. Именно это полное отсутствие полемических черт и возводит книгу А. В. Тырковой на высшую ступень объективной справедливости, из которой, в свою очередь, вырастает ее трагедийность.

Начало — последние годы XIX века — широкий рассев марксизма на ниве русской общественности. А. В. Тыркова показывает двух близко знакомых ей сеятелей: П. Б. Струве и М. И. Туган-Барановского. В. И. Ленина, женатого на ее близкой подруге Н. К. Крупской, — лишь мельком, но тоже метко и верно.

«И он (Туган-Барановский), и Струве были совершенно уверены, что правильно приведенные изречения из “Капитала”, или даже из переписки Маркса с Энгельсом, разрешают все сомнения. А если еще указать, в каком издании и на какой странице это напечатано, то возражать могут только идиоты». «Русские пионеры марксизма, — говорит дальше А. Б. Тыркова, — купались в этой догматике. Жизнь они не знали и не считали нужным знать. Меньше всего их интересовали те, ради кого все эти теории сочинялись, — живые люди».

И вместе с тем, слова этих далеко не глупых и высокообразованных «вождей» жадно воспринимались и усваивались подлинно жертвенной, подлинно пламенной и прекрасной русской молодежью того предреволюционного времени, становились ее знаменем, светочем... Разве это не трагично? Им сочувственно внимали и прекраснодушные деятели политического центра, «мозг страны», как назвал их П. А. Столыпин, те, кто владел мышлением русской интеллигенции, кто морально и материально вел ее по пути прогресса. Поощряли, поддерживали, несмотря на то, что уже тогда, до 1905 года, Ленин грубо-откровенно сказал самой А. В. Тырковой:

— Таких, как вы, мы будем на фонарях вешать.

Ленин сдержал свое обещание. Что же влекло по одному с ним тогда пути, но к собственной виселице, аристократов-помещиков: князей Долгоруких, Шаховских, Набокова? Профессоров, писателей, земцев? Всех, кто теперь погиб или изгнан, но тогда не только морально, но и материально, совместно с врагами России (японцами) субсидировал революционное подполье и террористов, о чем также свидетельствует А. В. Тыркова (с. 57, 194, 195)?

Она дает разгадку этого невероятного по своей нелепости и глубоко трагичного факта: «Мы взваливали все беды на самодержавие, а об его исторических заслугах мы забывали. Вместо того, чтобы изучать Россию и русский народ, мы старались следовать немецким правоведам и экономистам, часто третьестепенным». «Левые готовы были бороться и страдать за «народ», служить ему, но им и в голову не приходило, что для этого надо служить и Российскому Государству, что любовь к народу обязывает любить и беречь наш общий дом — Российскую Державу». Жутким, потрясающим упреком всей «прогрессивной» русской интеллигенции звучат приведенные А. В. Тырковой слова простого русского, может быть, неграмотного мужика:

— Какая была держава, а что вы с ней сделали!

«К началу XX века самодержавие опиралось не столько на дворян, сколько на крестьян. Мало сказать, что они были покорны царской власти. Они просто были с ней органически связаны, — пишет Тыркова. — В этой связи с крестьянской стихией... была сила и цельность самодержавия, может быть, и России. Мужик понимал, какая Россия была великая держава, а мы, интеллигенты, плохо понимали».

Только «плохо понимали»? Общая для всех «прогрессистов» слепая ненависть к самодержавию, о которой честно повествует Тыркова, питалась сложным, глубоким комплексом эмоций и не последнее место занимала в нем злоба ущемленного монархией аристократа, феодала-вотчинника, истоки которой восходят к князю Андрею Курбскому, «конституции верховников» 1729 года (тех же Долгоруких), к князьям-декабристам, и по дворянским же жилам притекает она к сердцам «февральских» князей Долгоруких, Шаховских, Трубецких, Оболенских, Львовых... родовитых бар Набоковых, Родичевых, Милюковых, Мельгуновых... да и самих древних родом Тырковых. Странно до нелепости смотреть теперь, какую «палату пэров» являли собой «Февраль» и «предфевралье»! Странно и... страшно. А. В. Тыркова рассказывает о рыцаре чести (пишу без кавычек) кн. Шаховском, боярская спесь которого была возмущена окриком министра Плеве.

— Его надо убить, убить! — кричит либеральный вотчинник-рюрикович.

А дальше... Почти сплошь дворянская Первая Дума отказывается вынести моральное осуждение революционному террору (и грабежу) в году, когда по ее же свидетельству убито 2500 городовых, стражников, сидельцев винных лавок (не министров же 2500!), т.е. тех же крестьян, народа...

Вполне понятно, что при таких «вождях» и «властителях дум» священник-депутат оправдывает убийство по Евангелию (свидетель-

ство А. В. Тырковой), и лично и близко знакомый ей нежный, чистый душою (пишу без кавычек) поэт Каляев мечет бомбу в великого князя «по подозрению».

Страшно! Страшно! Подстрекатели убийц со славными гербами на щитах, с Евангелием в руках! Убийцы, слагающие нежные строфы! Бесы в ангельских образах! Много страшнее тех, грязных и уродливых, каких видел Ф. М. Достоевский... Вот, в чем ужас этой правдивой книги написанной тоже чистой и честной рукой...

Наконец, победа! Проклятое самодержавие свергнуто! Парламент! «Избранники народа»!

И что же? Оказывается, что весь этот «мозг страны», знаменитые правоведы, социологи, историки не знают, что им, собственно говоря, делать в парламенте: кроме С. А. Муромцева*, никто не знаком даже с примитивной техникой парламентской повседневной работы. Но ненависть к призвавшему их к власти Самодержавию, фактически уже ушедшему в прошлое, бурно кипит в их сердцах. Она поглощает всё прочее. Она толкает «избранников народа» на истерический выборгский вопль о поддержке, направленный к этому народу. «Ни одной копейки налогов, ни одного солдата государству»,— приказывают они. Народ безмолвствует. Монархия отвечает на эту «революцию» болтунов лишь легким шлепком по мягким частям озорных мальчишек...

Последние главы книги А. В. Тырковой — беглый, далеко не полный обзор экономического и культурного роста России за годы царствования Императора Николая Второго. Несколько слов о том, что было *бы*, если *бы*...

Повторяю: замечательная книга Ариадны Владимировны Тырковой-Вильямс — не жалкое покаяние мелкой трусливой душонки. Она написана *большим* человеком, с *большою* душой, *большим* и ясным умом, прожившим *большую*, прекрасную, яркую, честную жизнь и вынесшим из нее *большую* правду... Столь же *большую*, сколь *страшную*. Ценность этой книги повышается еще тем, что она написана *не* монархисткой, но активным и пламенным борцом против монархии, знавшим лично, понявшим и оценившим без полемического задора тех, кто владел умами русской интеллигенции в предреволюционную эпоху и чьи последыши пытаются повторить это и теперь.

«Новым» эмигрантам, а позже, даст Бог, и всей русской, пока подсоветской, интеллигенции *надо* не только прочесть, но сделать эту книгу настольной, чтобы не попасть в положение готтентота, очарованного пу-

* Сергей Андреевич Муромцев (1850–1910), правовед, публицист, общественный деятель.

стой консервной банкой, подобно М. Корякову* при встрече с Бердяевым. Признаемся честно, ведь большинство из нас знает о предоктябрьском периоде революции лишь по «Краткому курсу истории ВКП(б)». Не так ли?

Подлинный русский, подлинно высокий, «прогрессивный» интеллигент XIX века, прямой и честный наследник всех подлинных сокровищ русской дворянской культуры, всей суммы ее от князя Андрея Курбского до Ивана Бунина — А. В. Тыркова — правильно и точно назвала свою книгу «На путях к свободе». Современность с абсолютной ясностью показывает, куда привели эти пути.

Грядущая раскрепощенная творческая трудовая русская интеллигенция, в несвободном состоянии народившаяся «там», пойдет к свободе своим путем. Каким? Это никто сейчас не скажет. Но *безусловно не* тем, каким шла к «свободам и достижениям Февраля», старая «прогрессивная» русская интеллигенция. Опыт рабства чему-то учит? Не так ли?

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
26 июля 1952 года, № 132. С. 3

«На перевале»

Литературное объединение «Перевал» было очень значительным явлением в первой стадии развития подсоветской русской литературы. «Перевал» зародился в начале НЭПа, когда многие в среде подсоветской русской интеллигенции обольщались надеждами, что в жизни родины действительно наступил какой-то перелом, что брошенная Лениным лживая фраза «всерьез и надолго» станет выполненным им обещанием, что революция уже позади, а впереди, если не возврат к прежней спокойной и обеспеченной жизни, к свободе мысли и слова, то во всяком случае какой-то просвет...

Эти иллюзии разделяли тогда и некоторые из крупных партийцев, большая часть которых в дальнейшем стала уклонистами, оппозиционерами и погибла в концлагерях и подвалах НКВД. Таким был и крупнейший литературный критик того времени, редактор толстого журнала «Красная Новь» А. К. Воронский**, человек безусловно очень талантли-

* См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

** Александр Константинович Воронский (1884–1937), писатель, критик, редактор. Революционер-большевик. Редактировал журналы «Красная новь» и «Прожектор». Организатор и идеолог литературного объединения «Перевал». В 1923 г. примкнул к Левой оппозиции в ВКП(б), был арестован и отправлен в ссылку. В 1930 г. получил разрешение вернуться в Москву и работал редактором отдела классической литературы в Гослитиздате. В 1935 и 1937 был повторно арестован, расстрелян в 1937 г. Прах захоронен на Донском кладбище. Реабилитирован в 1957 г.

вый и высоко культурный, выросший, кстати сказать, в семье священника и происходивший из духовенства, как и многие русские критики, начиная с Белинского и Добролюбова. Под его покровительством и непосредственным его же руководством сплотилась и оформилась группа писателей, избравшая себе имя «Перевал».

Это не были протестанты против советского строя в целом и тем более против революции, неугасшим еще пафосом которой многие из них были насквозь пропитаны. Но перевальцы безусловно протестовали против подчинения литературы политике и против нарождавшегося тогда «социалистического реализма», полного подчинения литератора — партийцу. С первых же шагов «Перевалу» пришлось вступить в ожесточенную борьбу с другими литературными группировками, претендовавшими на монополию «пролетарской литературы», лозунг которой был выброшен тогда партией. Таковыми были в то время РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) и ЛЕФ (Левый фронт), куда входило большинство футуристов во главе с Маяковским. Основную массу участников этих организаций составляли выдвинутые революцией «самородки», зачастую попросту малограмотные писаки, но обладавшие «базой пролетарского происхождения».

— Происходить из пролетариата еще не значит стать писателем пролетариата, — бросил этим «литераторам» в лицо редактор крупнейшего журнала А. К. Воронский и, конечно, нажил себе в них непримиримых, злобных, не брезгающих никакими средствами врагов, в результате чего был ими «съеден» вместе с протежируемой им группой «Перевал», основное ядро которой составляли писатели-интеллигенты.

Такова вкратце недолгая, но очень показательная для подсоветской литературной жизни история объединения «Перевал», большинство членов которого в дальнейшем или погибла в советских концлагерях или были приведены к полному молчанию, за исключением, конечно, ренегатов, трусливых крыс, успевших сбежать с тонущего корабля.

Глеб Глинка* в прошлом — один из членов «Перевала», из числа тех, кто был приведен к молчанию. Заговорить он смог, лишь став сотрудником газет власовского движения, и теперь мы с удовольствием снова услышали его голос, хотя и звучащий в необычном для него ритме. В прошлом Глеб Глинка был поэтом-лириком. Теперь мы видим его историком литературы, фиксирующим один из трагических этапов, пройденных русскими писателями под гнетом торжествующего социализма.

* См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

Сборник «На перевале» — прежде всего очень ценный историко-литературный документ, и с этой точки зрения он глубоко интересен серьезному читателю, внимательно и углубленно следящему за жизнью русской литературы под гнетом социализма. Но и поверхностный, «легкий» читатель прочтет эту книгу с большим удовольствием, т.к. помимо глубоких и серьезных статей самого Глеба Глинки, в ней содержатся много ярких литературных иллюстраций — отрывков из произведений и отдельных рассказов А. К. Воронского, Ник. Зарудина, Ивана Катаева и других, исчезнувших из поля зрения талантливых подсоветских русских писателей.

«Знамя России», Нью-Йорк,
31 января 1955 года, № 121. С. 9

От СССР — к России

Тема перехода «роковой черты», прорыва сквозь Железный занавес — одна из наиболее волнующих сейчас «новых» писателей. Это вполне понятно и указывает правильность избранного ими пути: разработка психологических стимулов «перехода», их обоснование и дальнейшее развитие по «эту» сторону — актуальнейшие вопросы русской современности и ближайшего будущего.

Среди многих повестей, рассказов и очерков, освещающих этот сложный и многообразный комплекс эмоций и мышления, привлекают особое внимание две вещи: «Враг Народа» С. Юрасова (изд. им. Чехова) и «Между двух звезд» Л. Ржевского («Грани», № 13) — они взаимно дополняют друг друга.

С. Юрасов берет в поле своего зрения период, предшествующий роковому решению его героя. Он последовательно проводит обычного советского офицера через ряд психологических и бытовых конфликтов, столь обычных в советской жизни. В результате — тупик, из которого лишь один выход — «за черту». Полное отсутствие ходульности, ложного пафоса, обыденность повести Юрасова делают ее правдивой, доходчивой и близкой читателю.

Л. Ржевский избирает последующий период. Отталкивание от советчины уже в прошлом его героя отчасти показанного в его романе «Девушка из бункера». Теперь, преодолевая в себе советское, он идет к русскому мироощущению, идет тем жутким путем, каким шли жертвы «охоты за черепами». Ржевский — вполне выкристаллизовавшийся, строгий к себе писатель, с большим литературным вкусом. Он осторо-

жен и не позволяет себе ни одного рискованного штриха, ни одного сомнительного эффекта. Вероятно, поэтому он и избирает невыгодную для беллетриста форму дневника, отмечая в сноске его документальность. Его герой — Володя Заботкин — идет к России, к слиянию с ее душой, но еще не пришел, не слился с нею. В этом — большая правда. Переход от советчины к русскости национальное оформление и осознание себя — не так просты. Это — сложный, глубинный, психологический процесс, требующий всестороннего, чуткого и настороженного анализа.

Обе повести принадлежат к разделу «литературы факта», основы которой заложены Лесковым. Это сближает их. Роднит их и то, что оба автора отмечают стимул религиозного сознания: С. Юрасов начинает с формулы «Все люди — братья», Л. Ржевский заканчивает страстным воплем молитвы: «Иисусе Христе, ангелы хранители, помилуйте нас в этот страшный час». Оба автора выпукло рисуют порывы своих героев к свободе духовного и плотского бытия.

Хотелось бы видеть оба произведения переведенными на иностранные языки. Они, быть может, научили бы чему-нибудь пресловутых «знатоков русской души».

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
21 июня 1952 года, № 127. С. 6

Человеческие документы

Заголовок этой статьи принадлежит О. Бальзаку. Именно он первым в литературе понял и оценил непосредственную, порой примитивную запись пережитого самим пережившим, ценность дневника (но не мемуаров!). Н. С. Лесков пошел дальше: он широко ввел в русскую (а теперь и мировую) литературу метод документации, художественного изображения фактически существовавших лиц, с указанием их имен, времени и места действия. Пользуясь им, он создал широчайшее портретное *документальное* полотно, имя которому — *Русь, Россия*.

Чисто русское, религиозное мироощущение Лескова, в противоположность европейцу-рационалисту Бальзаку, помогло ему видеть и показать реальное, земное добро там, где западническое «прогрессивное» направление русской литературы видело и показывало лишь зло, тьму, грязь... В этом основная ценность его творчества, великая заслуга перед русским народом.

Все мы, «старые» и «новые» эмигранты в той или иной мере — пострадавшие от современной России, именуемой СССР, и приоритет зла

над добром в нашем ощущении ее, в осознании ее вполне понятен. Но тем ценнее те литературные документы, которые показывают нам скрытое, но реальное добро, сохраненное русской народной душой, несмотря на весь ужас пережитого ею за последние 35 лет.

К числу таких документов относятся выпущенные издательством им. Чехова (Нью-Йорк) книги: «Невидимая Россия» В. Алексеева*, «Враг народа» С. Юрасова и отчасти «Тайга» С. Максимова. Все перечисленные авторы вступили в сознательную жизнь позже 1917 года. Все они прошли сквозь адское горнило «коммунистического воспитания», «большевицкой закалки», и всё же... сохранили живую русскую душу. Более того, они сумели увидеть ее светлые проблески во тьме окружавшего их зла, сумели о них теперь рассказать.

Религиозное чувство, живущее до сих пор в сердцах пореволюционных поколений русского народа, выражено всего ярче и полнее в повести В. Алексеева «Невидимая Россия». Эта повесть — дневник, в котором автор его безыскусственно, порою с литературной точки зрения примитивно, свидетельствует о религиозных устремлениях русской молодежи, не истребленных ни репрессиями, ни пропагандой профессиональных безбожников, ни бесправным и всесторонним вталкиванием в мозги марксизма, материализма и прочих систем «научной мысли».

В связи с документированными фактами, приведенными автором, и выражением его личных переживаний становятся понятными невероятные при поверхностном взгляде явления: заполнение молодежью церквей, возродившихся в период оккупации, ее активное участие в организации приходских общин, бескорыстная, порой экстатическая работа по воссозданию и украшению храмов и, наконец, принимавшее в некоторых местах массовые формы крещение комсомольцев. Религиозное чувство, живущее в душе самого В. Алексеева, неразрывно с его любовью к России и ее народу. Он не одинок. Со страниц его книги, а так же и многих других произведений «новых» авторов смотрят мыслящие и чувствующие созвучно ему его сверстники.

С. Юрасов в романе «Враг народа» показывает современную русскую молодежь с несколько иной стороны. Он последовательно проводит своего героя через ряд социальных, бытовых и психологических конфликтов, обычных и неизбежных в подсоветской жизни. В результате, при сложении их создаётся мертвый круг, выход из которого один — вступление на путь борьбы с угнетателями души и тела. Есть ли это борьба против

* См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

России, против ее народа, как старается доказать советская пропаганда? Нет! — отвечает автор. Становясь «врагом народа», его герой (не сам ли он?) вступает на путь истинного служения этому народу. Автобиографические штрихи настолько ярки в книге С. Юрасова, что её можно смело причислить к разряду «человеческих документов».

«Тайга» С. Максимова — тоже документ, в котором автор ярко рисует ужасы социалистической концлагерной повседневности: непосильный труд, голод, побои, звериные условия жизни. Всё это лично пережито им. Но внешняя, физическая сторона кошмара подавляет в нём ощущение внутренней психической части пытки — моральные страдания безвинных жертв социалистического переустройства мира. От стяжавшего уже известность автора можно было ожидать большей глубины.

Говоря о «человеческих документах», принесенных «новыми» писателями из советского ада, нельзя обойти молчанием, к сожалению, еще не выпущенные отдельной книгой, шедшие в «Гранях» повести Л. Ржевского «Девушка из бункера» и «Между двух звезд», тесно связанные между собою. В них мы встречаемся не только с автором-документалистом, но с вполне выкристализировавшимся писателем, фиксирующим факты, облекая их в глубоко и ярко художественную форму. Л. Ржевский не только талантлив, но высококультурен в области литературы и, что очень ценно, строг к самому себе. Его первый роман — «Девушка из бункера» — явно автобиографичен, второй — «Между двух звезд» — обоснован, как указывает в сноске автор, подлинными документами. Его внешняя тема — трагедия русской молодежи, преданной на смерть демократами в Ялте, Потсдаме; внутренняя, глубинная — осознание в себе русской души этой молодежью, ее путь от СССР к России. Характерно, что и в романах Л. Ржевского этот психологический процесс связан с развитием религиозного сознания.

Печатая в первую очередь произведения этих авторов, издательство им. Чехова вступает на правильный путь выявления подлинной «русской души» в её современном состоянии. Хотелось бы видеть эти вещи переведенными на другие языки. «Знатокам России» было бы полезно их прочесть.

«Знамя России», Нью-Йорк,
31 июля 1952 года, № 67. С. 9–11

Предсказано – сбылось

«В мире одного только недостает, послушания... Всё к одному знаменателю, полное равенство... У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная безличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает и судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга, до известной черты, единственно чтобы не было скучно».

«Настоящее оно в том, чтобы все 180 миллионов к подчинению привести. Чтобы каждый знал: нет его! Ты пойми, 180 миллионов человек и каждый человек — нет его! Настолько нет, что он сам это знает: его нет, он — пустое место».

Первая цитата мною взята из «Бесов» Ф. М. Достоевского. Вторая — из выпущенного издательством им. Чехова романа Н. Нарокова «Мнимые величины». Оба эти тома я ставлю рядом на мою полку избранных, нужных повседневных книг. Они неразрывны. Они — протокол: «постановили — выполнили». Страшный в своей неоспоримой правдивости протокол жизни России. Только ли России или всего человечества?

Книга Н. Нарокова по внешности, как и «Бесы», кажется бытовым романом со смело, оригинально и увлекательно построенной фабулой.

Его главный персонаж — чекист Любкин — показан автором разом в двух образах, в двух параллельных планах. В первом из них, он — убежденный коммунист, твердокаменный, непоколебимый выполнитель решений партии, залитый кровью робот социалистической системы, именно один из тех, о ком говорил Ставрогину Петр Верховенский: «О, дайте вырасти поколению... Они будут, будут, к этому идет». Во втором — существо, сохранившее в глубинах своей психики крупицы, зерно человека и, на всем протяжении романа, помимо своей личной воли, проращивающее это зерно. Петр Верховенский предугадал и этот процесс, охарактеризовав его словами: «Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам», по «настоящему», как добавил теперь Н. Нароков.

О терроре, неизменно сопутствующем осуществлению каждой социалистической системы в любом ее варианте, написано теперь много, может быть, даже излишне много. Излишне потому, что повторение описаний внешности террора — голода, крови, пыток, насилия над телом — притупили внимание читателя и закрыли от него внутреннюю сущность социалистической системы: насилия над духом, попрания, размельчания, обращения в ничто человеческой личности, уничтожения ее сопротивляемости, без чего осуществление социализма в любой форме невозможно.

Н. Нароков не прошел мимо внешности террора, он показал эту сторону строительства социализма достаточно полно, вплоть до шкафов с гвоздями и камеры смертников, показал потрясающе, как никто до него, именно потому, что взял ее, как *быт*, а не как исключительное феноменальное явление. В этом — его глубокая художественная правда, а, следовательно, и сила, при помощи которой он вводит читателя в сферу владеющих миром «мнимых величин», мифов, в самое нутро гигантского робота, перемалывающего современного человека.

Описывая пытки, избиения, камеру смертников, расстрел в подвале, сам автор, а вслед за ним и читатель, смотрят на физические страдания жертв не как на цель их палачей, но как на средство, способ порабощения, дробления и уничтожения духовной сущности человека, на угашение в нем искры Божией и Его подобия.

— Всякого гения потушим в младенчестве… Уморим Желание…

Повесть «Мнимые величины» рассказывает не о гениях, а о простых, обычных людях, но она иллюстрирует и эти слова Петра Верховенского тем, что показывает, как крупицы духовности, субстанции гениальности, ее потенциал истребляется в душе каждого подчиненного адской системе человека и он, этот человек, всем своим существом переключается в мир мнимых, нереальных величин, мифов, созданных этой системой. Рядовой партиец Варискин — один из персонажей повести — попав в переделку НКВД, настолько теряет ощущение реальности, что начинает верить, непоколебимо верить в несуществующий заговор и свою причастность к нему. Он напряженно разрабатывает в своем мозгу все детали этого заговора и превосходит в этой фантастической нелепице даже истязающего его следователя.

Читатель, незнакомый с советской действительностью, а тем более не побывавший лично в такой «перековке», вряд ли поверит правде Н. Нарокова, но испытавший — знает, что ни в одном штрихе, ни в одном слове своего романа Н. Нароков не отступил от литературной правдивости.

Мнимость, ложность всего окружающего осознается в романе двумя главными его персонажами — закаленными в своей страшной работе энкаведистами, но поняв эту ложность, всестороннюю фальшь всей системы, главное лицо романа Любкин не находит выхода. Где же «настоящее» среди окружающей его лжи?

Этими сильными, целостными натурами руководит в их поиске не рефлексия, не слезливое раскаяние трусов, не утрата жизненной энергии. Трагедия половинчатого, раздавленного совершенным им грехом Раскольникова им абсолютно чужда. «Герой» романа Любкин идет дру-

гим путем, не на коленях, не покаянно ползет он к искомому им «настоящему», а ломится, прет к нему, но находит эту «настоящую соль»… там же, где нашел ее Раскольников. В Слове. В Евангелии.

Почему он пришел к тому же, к чему иными путями пришли и Раскольников и Степан Трофимович Верховенский? Ведь у Любкина с ними нет ничего общего?

Потому что иного пути к «настоящей соли», иного выхода из мира «мнимых величин» не существует.

Не боясь обвинений меня в парадоксальности, я утверждаю, что бытовой роман «Мнимые величины» Н. Нарокова глубоко мистичен по своей теме и ее внутреннему оформлению, насыщен мистикой современности, апокалипсической мистикой нашей эпохи, ее глубинным духовным содержанием, ускользающим от нашего взора в повседневности невероятного по своему уродству быта. Убийства, пытки, массовое истребление, беспримерное порабощение всей сущности чело века — всё это, приводившее в ужас наших отцов и дедов, стало для нас столь обычным, что мы уже не ощущаем окружающего нас многоликого зла. На душах наросли мозоли.

Но под этими мозолями нарастает неизбежный процесс устремления к утраченной духовности, воссоздания целостности духа из осколков, на которые он раздроблен. Проявления этого процесса ощутимы и в творчестве созвучных Н. Нарокову поэта Кленовского, прозаика Л. Ржевского, Г. Климова, бесхитростного мемуариста В. Алексеева и в ряде других, наиболее ярких «человеческих документов» новой эмиграции. Это искры, пока только искры, в окружающей нас тьме. Из них возгорится пламя. Они — зарницы, вспышки частиц, отражающих внутреннюю, духовную (мистическую) жизнь целого, от которого эти частицы физически оторваны, но с которым они подсознательно связаны. «Мнимые величины» Н. Нарокова самая яркая из этих вспышек. Жизненный процесс целого развивается путем, показанным им в «Мнимых величинах». Иного пути нет и не может быть,

Нужно ли заканчивать эту статью банальными словами о «талантливости многообещающего автора», выступающего со своей первой большой вещью, достойной зачисления в «большую» литературу? Не стоит. Ограничусь, сообщив о своем субъективном впечатлении от «Мнимых величин». Они потрясли меня, мою жену и всех, кто прочел, хотя бы отдельные сцены этой книги, стоящей много выше всего (переиздание классиков — не в счет), выпущенного до сих пор издательством им. Чехова. Прочитанного в ней не забудешь. «Мнимые величины» рассказывают и протокольно подтверждают выполнение пророчества «Бе-

сов». Они не подражание и не повторение, но продолжение гениального творения Ф. М. Достоевского в нашей современности — второй том «Бесов» и выход из плена «Мнимых величин» также указан тем же провидцем.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
10 января 1953 года, № 156. С. 6

Окно в Россию (откровенные строки)

Получив пакет книг Издательства им. Чехова, я схватил прежде всего «Жизнь Арсеньева» Ивана Бунина. Гипноз имени единственного русского Нобелевского лауреата еще силен. Кроме того, я родился и провел юность в описываемом Буниным Ефремовском уезде Тульской губернии, вращался в той же помещичьей среде, приблизительно в то же время — мне 63 года — и даже знал лично некоторых упоминаемых автором лиц (Каменева, Трухачевых и др.), бывал в тех же деревнях, имена Ростовцевых, Арсеньевых, Батуриных вплетены и в мою жизнь. Казалось бы, всё это должно было сделать повесть близкой и родной мне... тем более, при блестящем мастерстве ее автора... Но... после двадцатой страницы мне стало скучно, далее я читал «по долгу службы». На сотой странице я отложил книгу и больше не буду ее читать — нет времени, да нет и желания бродить по лопухам обнищавших помещичьих усадеб, погружаться в ароматы бабушкиных сундуков. Двадцать два года (1921–1943) жизни в *России* вырыли непроходимый ров между *мной современным* и описываемым И. Буниным — *и моим также* — прошлым. Плохо ли, хорошо ли это — не знаю, но это *реальность*, факт, и если я, человек того же поколения, отложил «Жизнь Арсеньева» на сотой странице, то на какой же заскучают читатели последовавших поколений, современные русские читатели.

Потом я взял книгу «Земная Радуга» Тэффи. О милая, игристо веселая, по доброму острая Тэффи. Сколько радостных минут дарила мне прежде она! С тем же поиском радости я раскрыл и теперь ее книгу, прочел наугад два рассказа, и мне стало грустно и... больно. Так же больно, как было, когда я в 30-х годах слушал потерявшего голос Собинова, или смотрел на мертвенную улыбку выходившего еще на арену Дурова. За них ли больно или за свою ушедшую молодость — не знаю. Должно быть — за то и за другое. Немногим дано быть *прекрасно старыми*, подобно А. В. Тырковой, увы!

* * *

Большинство «прогрессивной» эмиграции склонно думать, что «культурный и умственный уровень современной русской (подсоветской) молодежи очень низок» (г. Лавда и проф. Сперанский* в «Русской мысли»), что ей «нечего сказать и она не может сказать», даже и вырвавшись из плена (Аргус, Галич и др. в «Новом русском слове»), т. е., иначе говоря, что с отбытием их, аргусов, галичей и пр. подобных с территории временно подсоветской России 180 миллионов ее населения разом поглупело и рождаться стали только дегенераты. Коряков и ему подобные им подпевают. Почему? Думается, что ради обеспечения гонорара в «Новом журнале» и «Новом русском слове», ибо Коряков то не может не знать правды о современной русской подсоветской молодежи.

Б. Башилов им веско возражал. Возражал и я в «Русской мысли», пока там печатали мои письма. Потом приведенные мною фактические данные спустили в корзину, оберегая репутации г. Лавды и проф. Сперанского.

Но много сильнее нас с Б. Башиловым им возражали и возражают сами факты появления в жизни такого журнала, как «Грани» с рядом талантливых, глубоких, отражающих современность, прозаиков — Л. Ржевским, Г. Андреевым, С. Юрасовым, незаурядным поэтом Кленовским; книга «Письма к неизвестному другу» Р. Александрова и теперь (наконец-то!) выпуск издательством им. Чехова целого ряда книг «новых» авторов различной политической настроенности. Возражает им и... сам М. Коряков, бытием своей собственной персоны, культурный и умственный уровень которой назвать низким нельзя ни в какой мере.

* * *

Было трудно, очень *трудно* писать, когда охотились за нашими черепами, но всё же писали В. Рудинский, Б. Башилов**, первые «посевляне», я (по-итальянски). Не многим легче и теперь: Б. Башилов пишет в трамвае по пути на работу, я — в ослиной закуте доброго соседа, Л. Норд — Бог ее знает, где и когда: днем у нее работа на фабрике, а вечером, дома — больной муж, дети и сама больна... Но все-таки пишет, и неплохо пишет! Умеет сказать нужное.

---

* Валентин Николаевич Сперанский (1877–1957), литератор, приват-доцент Петербургского университета и Психо-неврологического института, исключенный в 1921 г. за «контрреволюционность» и в 1924 г. эмигрировавший в Ригу, а затем в Париж. Преподавал в Русском народном университете, выступал с лекциями и докладами, участвовал в общественной жизни русской эмиграции во Франции, сотрудничал в газетах «Русская мысль», «Последние новости», «Дни», «Возрождение», журнале «Иллюстрированная Россия».

** См. о них в Приложении «Литераторы-эмигранты».

Вряд ли приходилось так бороться за право творчества в эмиграции не только «именам» — Мережковскому, Бальмонту, Бунину, но и рангом пониже — Краснову, Брешко-Брешковскому, Бебутовой, даже и совсем «безымянным». Тогда было множество издательств, изданий, субсидий, кредита, стипендий... у нас, «новых», ничего этого нет.

Но главная трудность еще не в этом. Основной препоной к выявлению себя в творчестве является для «новых» «вторая цензура», усвоенная господами-«прогрессистами», со времен Писарева запрещавшего во имя «прогресса» всем редакциям печатать Лескова. Эта «вторая» в Российской Империи цензура стала «первой» в эмиграции и много более кастовой, чем «первая» во времена Уварова и Гончарова. Обострение политиканской непримиримости — неизбежное свойство всех эмиграций. Я говорю *только* о беллетристике, как о внепартийном литературном жанре, не касаясь имеющей право на партийность публицистики.

Сделаем беглый обзор нашей периодической прессы. Г-н Мельгунов сделал из «Возрождения» узко политический орган своей незначительной даже в эмиграции группы, что я могу доказать *документально*. В результате ему приходится редактировать анекдоты об умных собачках и охотничьи рассказы. По той же дороге пошла и рекламирующая свою «внепартийность» «Русская мысль», и с тем же результатом: ее литературный отдел обеднел, вплоть до тех же «охотничьих рассказов». «Новое русское слово» упорно печатает какую-то псевдо-историческую халтуру, думается, из соображений разумной экономии — «числом поболе, ценою подешевле». «Новый журнал» — даже не партийный, а узко-групповой. Возродившаяся в Сан-Франциско «Жар-Птица» не имеет средств перейти на типографский способ печатания и это подрезает ей крылья. «Наша страна» явно не имеет места для беллетристики на своих страницах. Куда же деваться автору-беллетристу, не могущему или не хотящему замкнуться в политиканских рамках?

Я умышленно выделяю «Грани», как единственный из наших толстых журналов, сумевший подняться над партийной узостью в своем беллетристическом отделе. В этом залог его успеха, подтверждение его крепкой связи с российской подсоветской современностью, его ценность.

* * *

Подбор авторов «новой» эмиграции случаен. Л. Ржевскому, Б. Башилову, Р. Александрову, Нерусскому, мне, Карпо Линейцу* и пр. удалось лишь случайно выскользнуть из советского мира и спастись от пули ре-

* Карпо Линеец — псевдоним Г. Танешко.

патриации. Но не можем же все мы, столь различные, быть одиночками в своем мышлении и мироощущении? Какие-то близкие нам по духу, но пока закамуфлированные группы населения подсоветско-русской terra incognita мы собой представляем и, следовательно, в целом набрасываем контур психического строя подсоветских масс. Я не утверждаю, что этот контур точен и ясен, но всё же он — лучшее, что может получить сейчас русский и иностранный читатель по эту сторону железной завесы. Он — неполная информация о современной жизни, но и не дезинформация о ней.

Мелкопоместного, хотя и родовитого, дворянства (И. Бунин) в современной подсоветской России *не существует*. Вымерла там благодушная либеральная фрондирующая интеллигенция (Тэффи). Косноязычные кривляки типа А. Ремизова самоупразднились за полной их непригодностью к употреблению. Охотничьи воспоминания и им подобные всплывают лишь в рассказах по пьяному делу от избытка чувств...

Но в сравнительно более легких условиях жизни эмиграции эти литературные анахронизмы еще сохранились. Однако судить по ним о пресловутой «русской душе» в ее современном состоянии — явная нелепость и в этом разрезе они — дезинформация о России и ее народе.

* * *

Издательство им. Чехова безусловно не ставит себе коммерческих целей. Его задача, насколько я понимаю ее, познание современной России и отражение ее в зеркале художественной литературы, всестороннее, а не субъективно-однобокое отражение.

Эта задача не только актуальна, но возвышена и благородна. Однако она обязывает ее выполнителей к безусловному отказу от своей личной партийной субъективности в рамках этой их работы.

Первые шаги издательства дают возможность надеяться на честное выполнение ими своей задачи. Появление в каталоге Издательства им. Чехова С. Юрасова, С. Малахова*, Ю. Елагина и, особенно, искреннего дневника В. Алексеева указывают на некоторую ширину подхода к задаче. Хотелось бы и дальнейшего его расширения.

Перепечатка удушенных советчиной авторов (очень нужная сама по себе) имеет существенные *дефекты*: в сборник А. Ахматовой не вошли многие ее стихи 1918–1922 гг., очень ценные для характеристики ее резко отрицательного отношения к революции, а в сборнике рассказов М.

* Сергей Малахов — автор пьесы «Летчики», вышедшей в изд. им. Чехова и поставленной в «Новом театре» режиссером С. Н. Орловским (Болховским).

Булгакова, при очень ценных и характерных для него «Роковых яйцах», бледны и мало понятны теперь «Дьяволиада», «Похождения Чичикова». Хотелось бы видеть вместо них «Белую гвардию» или «Дни Турбиных». Хотелось бы и «Красного дерева» Б. Пильняка, стихов М. Волошина, стихов и статей Гумилева.

Безусловно нужны и ценны переиздания Н. Лескова и Ф. Тютчева. Хотелось бы продолжение выпуска Н. Лескова. Интерес к нему очень велик, а достать его книги трудно.

Предисловия редакции даны дельно, четко и объективно.

Состав редакции Издательства им. Чехова полностью «прогрессивен». Представителей национального русского мышления в нем не имеется. Это заставляет опасаться и здесь засилья «второй цензуры».

Но во главе редакции стоит В. Александрова* — литературный критик, показавший даже на страницах партийного органа РСДРП, «Социалистического вестника», свое умение стать в оценке художественной литературы выше партийных рамок, подняться до возможного предела объективности, преодолеть многие кастовые пережитки, критик, которого можно смело назвать наиболее свободомыслящим в своей среде. Это дает надежды на успех в выполнении издательством им. Чехова своей задачи.

От всей души пожелаем ему этого успеха. Будем все вместе — и писатели, и издатели, и читатели — помнить, что политическая тенденциозность и односторонность несут смерть художественной литературе, превращая ее в пошлую пропаганду. За подтверждением этого ходить недалеко. Не забудем, что тенденциозность выражается не столь сверхмерным утверждением своей идеи, сколь заглушением голоса инакомыслящих, их «лишенством».

Издательству им. Чехова предстоит прорубить окно в психический мир современной плененной России. Помоги ему Бог прорубить его шире, светлее, без тюремных решеток «второй цензуры».

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
7 июня 1952 года, № 125. С. 6

---

* Вера Александровна Шварц, урожд. Мордвинова (псевд. Вера Александрова), литературный критик, журналист. В 1922 г. эмигрировала с мужем, меньшевиком С. М. Шварц-Моносзоном в Германию, потом во Францию. С 1940 г. жила в США, была сотрудником редакции журнала «Америка», в 1952–1956 гг. была главным редактором издательства им. Чехова.

Леонид Ржевский.
«Между двух звезд»

Одна из этих звезд — кроваво-красная, горящая над одной шестой мира и бросающая свои зловещие отблески на остальные пять шестых. Ее лучи несут смерть. Для многих, многих смерть от этих лучей — неизбежна.

Другая — белая, из тех, что красуется над развевающимся за океаном полосатом флагом. Что сулят ее лучи тем, кого лучи красные обрекают на смерть? Свободу? Раскрепощение от оков страха пред красной? Или, быть может, хотя бы лишь возможность сохранить свою маленькую индивидуальную жизнь? Хотя бы лишь это?..

Между звездами — тяжелый тернистый путь. Путь к неизвестности. Этим путем пошли миллионы израненных, измученных, порою наполовину сожженных красными лучами русских людей.

Многие ли из них дошли до желанной цели?

Пошли миллионы, дошли тысячи. Дошли ли? Дала ли им белая звезда то, к чему они стремились, преодолевая возникавшие на их пути препятствия?

Этой теме, отражению пути, вернее множества внешне различных путей, по которым растекалась волна русской эмиграции 1942–1945 гг., посвящена большая повесть Л. Ржевского «Между двух звезд». Терминологическое различие между повестью и романом очень неясно. Романом принято называть литературное произведение с широко развитой фабулой. С этой точки зрения «Между двух звезд» — роман. Его фабула четко разработана автором, но вместе с тем она тонет в глубине фона, на котором она развернута. Фон вовлекает ее в себя и выступает сам на первое место. Кажется, что он поглощает и самого автора, по крайней мере большую часть его внимания. Этот фон состоит из множества персонажей, дающих в целом обильную портретами галерею русского беженства 1942–1945 гг., их индивидуального для каждого внутреннего отношения к уходу из-под лучей красной звезды и к самой красной звезде.

Л. Ржевский показывает и перебежчиков по воле, и — поневоле. Последних даже, пожалуй, больше, чем первых, т.к., будучи глубоко правдивым в своем литературном творчестве, автор наносит на широкое полотно своей картины лишь то, что он сам ясно видел, проанализировал и распознал. А видел он, как мы можем судить по его произведению, ту струю беженской волны, которая текла по руслу лагерей военнопленных. Но были и другие. Во-первых, шедшая по руслу остарбейтеров и,

во-вторых, небольшая по своему объему, но ярко окрашенная струя тех, кто вступал на тернистый путь исключительно по своей воле, стремясь во что бы то ни стало и куда бы то ни было уйти от ненавистной ему кровавой звезды торжествующего социализма.

Были и такие. Л. Ржевский зарисовывает их образы вскользь, несколько поверхностно. Но не будем ставить этого ему в вину, т.к. к тому имеется очень веская причина. Если бы какой-либо русский беженский автор посмел бы и в настоящее еще время показать полностью тех, русских, глубоко русских людей, которые видели в гитлеризме единственную силу, способную переломить хребет поработившему Россию тоталитарному социализму, то он, этот автор, был бы неминуемо оплеван, охаян, а быть может претерпел бы и что-нибудь худшее со стороны наших местных зарубежных социалистов и их «прогрессивных» прихвостней. Во всяком случае клейма коллаборанта он избежать не смог бы. А это означало бы для него смертный приговор, как литератору, а может быть даже… и как «физической личности». Множество доносов, погубивших значительное число русских военных беженцев в 1946–1947 гг., дают право это утверждать.

Поэтому извиним автору «Между двух звезд» некоторую однотонность фона его повести и воздадим должное правдивости и талантливости, с которой он разработал возможные для освещения тона, т. к. даже и в их суженной по сравнению с оригиналом всей волны гамме он всё же показал большую смелость и полную объективность при обрисовке немецких концлагерей для военнопленных, которой он отдал первую часть своего произведения.

И в русских военнопленных, и в их немецком начальстве Л. Ржевский видит прежде всего людей, а не установленные политической традицией трафаретные схемы. Он отвергает навязанную французами русской эмигрантской литературе обязанность видеть в каждом немце только «боша», какое-то звероподобное, лишенное человеческих качеств существо. Он показывает тех людей, которых он действительно видел, следовательно, различных между собою, порой действительно снижающихся до звериного облика (как в немецкой, так и в русской среде), а в других случаях поднимающихся к уровню истинного гуманизма, в подлинном, а не в полемическом понимании этого термина.

Он кладет черные мазки туда, где их видел, а не разбрасывает их сплеча или по чужой указке. Порою они попадают и на русскую часть населения лагерей для военнопленных, как например, на характерную фигуру ловкача и стопроцентного мерзавца Аристова, умеющего при всех обстоятельствах, не брезгуя ничем, всплывать на поверхность.

С этим типом нам, к сожалению, приходится нередко сталкиваться и по сей день. Столь же правдив Ржевский и в своих белых мазках. Он умеет, пользуясь ими, сделать яркими почти незаметные для поверхностного наблюдателя фигуры светлых людей. Они тоже имеются в нашей среде, и в показанном Ржевским образе священника-санитара, отдающего последние куски своего скудного пайка изголодавшемуся больному офицеру, спасающему его жизнь ценою своей собственной, нет ни лжи, ни приукрашивания. Такие тоже были и есть среди нас.

Между этими двумя полюсами — длинный ряд промежуточных персонажей, в которых темное причудливо и порою неожиданно для читателя смешивается со светлым. На правдивом сочетании и соотношении этих двух тонов автор строит диалектическое развертывание своей повести, развитие ее темы. Стержень темы — сам путь, пройденный русскими беженцами второй волны, путь их внутреннего переустройства самих себя при движении от одной звезды к другой. Этот процесс наиболее ярко показан автором в последней части его повести, дневнике Володи Заботина. На страницах этого дневника — глубокого человеческого документа — читатель видит, как постепенно, по мере осознания своей внутренней сущности, личность смывает с себя наброшенные лучами красной звезды темные пятна и под ними проступает свойственная его душе, сохраненная ею в своих глубинах белизна.

Но заатлантическая ли, белая ли звезда полосатого флага пробуждает к жизни эту белизну? Автор как будто бы предлагает читателю самому разрешить этот вопрос, обрывая повесть на трагичнейшей странице дневника, но на самом деле не оставляет его без ответа. Этот ответ он дает в предсмертной молитве Володи Заботина, обреченного на смерть, в вопле, вырвавшемся из его души в момент выдачи его на погибель...

Нет, не белая заатлантическая звезда смывает темные пятна с наших душ, а иная. Та, что светила волхвам и пастухам в Вифлееме.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
5 сентября 1953 года, № 190. С. 9–10

Василий Тёркин

С легкой руки В. Белинского «прогрессивная» часть русской художественной литературы привыкла именовать продукцию своего творчества «энциклопедией русской жизни». Это утверждение явно однобоко. Несомненно, что наши «прогрессивные» литераторы не только показали, но и раздули в пределах своих творческих возможностей все отрица-

тельные стороны русской жизни, но столь же несомненно, что они прошли мимо большинства ее положительных, созидательных типов из среды русского народа. В частности, русский солдат абсолютно ускользнул из поля их зрения. Его образа не отразил ни один из «прогрессивных» литераторов. Надо сознаться, что и «не-прогрессивные» коснулись его лишь вскользь, отдельными штрихами, как это сделал, например, Лев Толстой, давший действительно энциклопедию типов русского офицера, воина-интеллигента, но зарисовавший солдата лишь в отдельных фрагментах его исторического бытия.

Грамотная Россия не выполнила своего долга по отношению к русскому солдату, но он сам, ставши грамотным, пополнил этот пробел и рассказал о себе. Этот рассказчик носил имя Василия Теркина, подсоветского русского солдата, который никогда не значился ни в одном полковом списке, но тем не менее жил и живет в каждой роте, батарее, взводе, команде... Сведения о нем вкратце таковы.

Во время войны СССР с Финляндией на фронт выехала бригада журналистов и литераторов, в составе которой был поэт А. Твардовский. Присмотревшись там к фронтовым бойцам, он написал и напечатал в военной газете несколько очерков в стихах, героем которых был русский подсоветский солдат Василий Теркин — бодрый, неунывающий балагур, верный товарищ, храбрый, не теряющийся ни в каких случаях боец и кроме того... беззаветно преданный своей родной русской земле.

После появления этих очерков в печати в редакцию начали поступать письма от фронтовиков. Они узнали верно зарисованный А. Твардовским тип русского солдата, почувствовали нутром его правдивость и то засыпали Твардовского вопросами о нем, как о реальной личности, то сообщали новые сведения о похожих на Теркина солдатах, реально существовавших в их полках и ротах. Твардовский обрабатывал эти сведения и снова погружал их в глубину народно-солдатского моря, туда, откуда они к нему приходили. Так создался образ русского подсоветского солдата Василия Теркина, который не перестал жить и по окончании войны.

Но мог ли тогда отражать его в своей творческой работе подсоветский поэт? Пока шла война и социалистические воры прятались за украденные ими тени Пожарского и Суворова, А. Твардовский был в значительной мере свободен. Но как только этот камуфляж был сброшен и партия провозгласила победительницей себя, а не русскую народную массу, на уста поэта был навешен замок. Твардовский замолчал.

Но Теркин продолжает жить и рассказывать о себе, о своих разбитых

чаяниях и надеждах, о том, что он увидел, вернувшись в родное село, о том, чего он ждет, чего он хочет, к чему стремится. Среди демобилизованных стихийно возникла самородная и самобытная форма фольклора — стихов, частушек и рассказов о Василии Теркине.

Подполковник советской армии С. Юрасов собрал множество этих рассказов и стихов, бережно сохранил их в своей памяти и, перебежав на нашу сторону в 1950 году, обработал их и теперь обнародовал в своей книге «Василий Теркин после войны».

В предисловии к ней он не только рассказывает о том, как создалась эта книга, но указывает даже, не называя, конечно, имен, некоторых авторов отдельных ее глав. Так, например, замечательную главу «Про солдата-сироту» он услышал в доме для приезжающих города Асбеста от однорукого инвалида, бывшего гвардии сержанта и кавалера солдатского ордена Славы всех степеней.

Как же относится демобилизованный Василий Теркин к окружающей его подсоветской современности?

Не для этого сражался.
В обороне загорал,
Не для этого старался
И Берлин далекий брал,

с полною ясностью отвечает сам Теркин.

Что дала ему достигнутая величайшим напряжением 30-ти миллионов «теркиных» победа?

День Победы это дата
Разделения труда:
Жизнь-жестянка для солдата,
А победа, как награда,
Снова Сталиным взята.

Перечислять все достоинства замечательной книги С. Юрасова значило бы пересказать ее всю полностью, потому что каждая строчка в ней ценность, каждая буква в ней дышит правдой. Но что же в ней самое главное?

Самое главное в ней то, что она ярко, выпукло и неопровержимо показывает, что русский солдат, даже и в советской армии, остался самим собою, тем же русским солдатом, каким он был на бастионах Севастополя и Бородинском поле. Изменилась лишь внешность, форма выражения, но сущность, нутро осталось то же.

Горе всякое сносили —
Завещал терпеть Исус...
Не один же я в России
Верен Богу остаюсь.

Скоро день. Уже недолго.
Будет день и на Руси.
Ночь еще крадется волком,
Только свет не погасить!

С. Юрасов уже показал нам себя ярким и сильным прозаиком в романе «Враг народа». Теперь он выступил, как поэт, как глубокий и тонкий фольклорист, сумевший не только собрать ценнейший материал, но обработать его, и блестяще оформить. Всё это очень ценно, но в книге есть нечто еще более ценное, принадлежащее его соавтору. Об этом соавторе говорит сам С. Юрасов в заключительных строках «Василия Теркина»:

Что ж еще? И все, пожалуй.
Скажут — книга без конца.
Но она и без начала,
Как и жизнь ее творца,
Как и жизнь ее героя:
Позабудут — перетрет,
Перетерпит — вновь откроют,
Потому что он — НАРОД.

Народ русский, народ Российский писал эту книгу рукою С. Юрасова. Спасибо Юрасову, что он точно выполнил задание, данное ему, русскому офицеру, его подлинным и единственным «генералиссимусом» — подъяремным, подсоветским Российским народом.

«Наша страна», Буэнос Айрес,
9 мая 1953 года, № 173. С. 6

Сумевший понять

Когда читаешь повести или рассказы Е. Гагарина*, то ясно ощущаешь струящийся с их страниц аромат чего-то близкого, родного, глубинно-дорогого. Быть может, пахнет воском свечей перед ликом Угодника, быть может, свежевыпеченным ржаным хлебом или просто ушедшим на дно души, но не забытым детством. Пахнет Русью.

* См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

Поэтому повести Е. Гагарина воспринимаются читателем легко. Изложенное в них действует на него непосредственно, без нужды в расшифровке того, что хотел сказать писатель, как это случается, к сожалению, со многими современными авторами.

Живому восприятию написанного Гагариным способствует и его прекрасный, чистый и ясный русский язык, без претенциозных вывертов, не засоренный нарочито выдуманными неживыми словами (лишь бы было ново!), как это тоже, к сожалению, нередко встречается у профессионалов стилизации русской речи. Но всё это не главное, а главное в его творчестве то, что он искренне, всей глубиной своей души любит (вернее, любил) Россию. Не мечту о ней, не образ, созданный в зарубежной оторванности от нее, а подлинную, сущую, настоящую, живую. Любит, видя ее язвы, порою уродства, порою даже бесовскую одержимость...

Такова и выпущенная издательством им. Чехова его повесть «Возвращение корнета». Он раскрывает в ней внутренний мир эмигранта двадцатого года, попавшего на родину вместе с немецкой оккупационной армией. То ли нашел в ней его герой, что рисовал в своем воображении издалека?

Не то и вместе с тем то самое.

Е. Гагарин не старый и не новый эмигрант. Он выехал из России в 1933 году и, следовательно, знает подлинную современную Россию, а не руководствуется лишь своим субъективным, выработанным в эмиграции представлением о ней. В силу этого он верно и правдиво рисует разнохарактерные образы современных русских колхозников, солдат, партизан, молодых интеллигентов. Он не подходит к ним предвзято, с уже созданным о них представлением, но черпает это представление непосредственно от них самих, из первоисточника. Наблюдательность и чуткость помогают ему найти то, что скрыто от близорукого наблюдателя под выработанной советским бытом внешностью, найти подлинное русское.

Я пишу о Е. Гагарине в настоящем времени, но следовало бы писать в прошедшем, т. к. этот талантливый и глубокий прозаик задавлен грузовиком в 1948 году. Это большая потеря для русской литературы Зарубежья, т. к. она утратила писателя, понявшего ошибку многих эмигрантов 1920 года, от последствий которой они не освободились до сих пор. Сам он писал о ней так в конце книги «Возвращение корнета»:

«Здесь, на чужбине, он (герой повести — старый эмигрант) весь ушел в любование прошлым, в личную судьбу. Россия стала для него

придатком к ней, к пейзажам Нестерова и Левитана. Живое тело России он обратил в ландшафт. В этом и заключается его основной грех, тягчайший грех его поколения».

Е. Гагарин свободен от этого греха.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
9 мая 1953 года, № 173. С. 6

«На западе»

Выпущенная издательством им. Чехова антология русской зарубежной поэзии задумана широко. Автор предисловия и ее конструктор Ю. Иваск* пытался охватить всю гамму поэтического зарубежья, начиная от признанных еще до революции поэтов эмиграции, как-то: Бальмонт, В. Иванов. С. Маковский и кончая поэтами, выдвинувшимися лишь за последнее десятилетие в среде самой эмиграции, поэтов «новой» волны, как, например, Д. Кленовский, А. Шишкова** и др.

О том, удалась ли конструктору задуманная им работа или нет, конечно, можно спорить. Я, например, думаю, что его постигла неудача: ему не удалось показать многих авторов достаточно яркими и характерными для них образцами их творчества, как это произошло, на мой взгляд, с несомненно крупным поэтом Д. Кленовским. Но во всяком случае, выпуск сборника нужно приветствовать и отметить его выход среди книг издательства им. Чехова, к сожалению, за последнее время резко удаляющегося от русской тематики и выпуска произведений русских авторов, заменяя их мало интересными для нас, читателей, переводами.

Ю. Иваск в своем кратком (быть может, излишне кратком) предисловии отмечает три темы, господствующие среди поэтов эмиграции: Россию, чужбину и одиночество. Умышленно или неумышленно, но им забыта четвертая и, пожалуй, самая главная тема — Бог, устремление к нему человеческого духа, пробуждение религиозного чувства даже в тех сердцах, где оно до эмигрантских скитаний было приглушено.

Именно эта тема наиболее характерна для четвертого раздела сборника, иллюстрирующего творчество «новых» поэтов. Она ярко видна в стихах того же Д. Кленовского, который идет к постижению Творца мира чисто тютчевским путем — сквозь преодоление хаоса. К Богу стремит-

* Юрий Петрович Иваск (1907–1986), поэт, литературный критик. С 1920 проживал в Эстонии. После Второй мировой войны жил в Германии, затем в США, преподавал русскую литературу, был профессором Массачусетского университета (Амхерст).
** См. о них в Приложении «Литераторы-эмигранты».

ся и душа Аглаи Шишковой, но ее путь иной, чисто интуитивный, женственный, в лучшем понимании этого слова. У В. Маркова* читатель тоже встретит те же религиозные мотивы, но если искать здесь того, кто научил им Маркова, то придется назвать имя властителя дум современной русской молодежи — Николая Гумилева. Считаем, что этот раздел представлен Ю. Иваском незаслуженно слабо. Так, например, С. Юрасов экспонирован в нем лишь одним, далеко не характерным дли этого интересного поэта-фольклориста подражательным, банальным стихотворением.

Гораздо больше внимания составитель сборника уделил поэтам и поэтикам эмиграции первой волны. Здесь он выделил в особый раздел даже специальную группу «парижских» поэтов, и рифмоплетов-версификаторов, позволим мы добавить от себя. Стоило ли делать это? Проживание в Латинском квартале и посещение кафе «Ротонда» еще не дает права на высокое звание поэта.

«Знамя России», Нью-Йорк,
18 марта 1954 года, № 104, С. 12–13

Нина Федорова. **«Семья»**

Читаешь эту книгу и с каждой страницей всё больше и больше очаровываешься ею...

В чем же дело? Необычайно высок талант автора? Увлекательная фабула? Прекрасен язык? Ни то, ни другое, ни третье. Во всех этих разделах литературного творчества автор не превышает среднего уровня, но он одарен поистине искрой Божией, данной Творцом очень немногим литераторам: он умеет находить, видеть и показывать добро в человеческой душе, быть может, приглушенную, неяркую и почти незаметную со стороны искру Божию, которая в том или ином состоянии, но имеется, заложена Творцом в каждое человеческое сердце. Уметь видеть и показывать ее — поистине высокий дар для литератора, и Н. Федорову**, скромно шагающую но литературной ниве зарубежья, можно смело назвать «законной дочерью» Н. С. Лескова в противовес тем, кто, подобно, например, А. Ремизову, прикрывает этим великим для русского сердца именем свое духовное и творческое убожество.

---

* Владимир Федорович Марков (1920–2013), поэт, литературовед. Родился в Петрограде, после Второй мировой войны жил в Германии, затем переехал в США, преподавал в Калифорнийском университете в Лос-Анжелесе.

** См. о ней в Приложении «Литераторы-эмигранты».

Чудная книга «Семья» Н. Федоровой! И каждому из нас следовало бы не только прочесть, но и перечитать ее. Трудно поставить ее автору каком-либо упрек, но если таковой упрек со стороны критика требуется во имя «обличительной традиции», то упрекнем Н. Федорову в никому ненужном введении политических мотивов в ее прекрасную книгу. Политика не ее сфера. Подтверждение нашему упреку видим в том, что ни один из политических «прогнозов» этой написанной 20 лет тому назад книги к настоящему времени не оправдался.

«Знамя России», Нью-Йорк,
18 марта 1954 года, № 104. С. 13

Две книги

Выпущенный в текущем году издательством им. Чехова двухтомник отца Георгия Шавельского «Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота» написан им в начале двадцатых годов, когда его автор находился еще всецело под свежим впечатлением виденного и пережитого им во время Первой мировой войны и в непосредственно предшествовавшие ей годы. Именно это, как нам кажется, придало воспоминаниям отца Георгия Шавельского специфическую окраску, значительно снижающую качество его книги, как исторического документа. Его воспоминания не беспристрастны, как это требуется от историка, но проникнуто духом борьбы со своими недавними противниками, насыщены полемическими выпадами против них, значительная часть которых может и должна быть оспариваемой.

Так, например, характеризуя Государя Императора Николая II, как человека, отец Шавельский несколько раз повторяет свое личное убеждение в безволии Государя, в его склонности подпадать под чуждые, нередко противоречивые влияния и в зависимости от этих влияний принимать важнейшие государственные решения. Но вместе с тем факты, приведенные тем же автором на страницах его воспоминаний, говорят обратное. Отец Георгий Шавельский ими подтверждает то, что Государь неуклонно держался раз принятых им решений и не изменял их без особых, весьма основательных причин. Не изменял даже вопреки настояниям Императрицы Александры Феодоровны, влияние которой на него было, как это вполне понятно при его безграничной любви к супруге, особенно сильным и глубоким. Полемические страсти, владевшие автором книги, не позволили ему, к сожалению, глубинно проникнуть в характер последнего Всероссийского Венценосца и рассмотреть в нем

черты волевой твердости, скрытые под никогда не покидавшей его деликатностью и мягкостью в отношении к окружающим.

Но сам автор книги был всё же, несомненно, высоко одаренной личностью и достойным священнослужителем, обладавшим к тому же большими организаторскими способностями, о чем свидетельствует его чрезвычайно быстрое продвижение по иерархической лестнице. В сорок лет он был возведен в сан протопресвитера армии и флота, т.е. возглавлял всё армейское, гвардейское и флотское духовенство, управляя в годы войны духовною деятельностью более чем пяти тысяч священнослужителей. Нельзя не отметить (по его же собственным сообщениям), что этот высокий сан был получен им исключительно по воле Государя Императора, вопреки целому ряду противостоящих протекционных влияний, между прочим настоятельным требованием Императрицы Марии Федоровны, желавшей назначения на место протопресвитера епископа Владимира.

Высокий сан и сам характер его служения ставили отца Георгия Шавельского в непосредственную близость не только к высшему командованию армии и флота, но также ко Двору и к самому Государю. Но одновременно они же вовлекали его в борьбу различных придворных группировок, кипевшую тогда вокруг трона, в которой личные интересы боровшихся далеко не всегда соответствовали историческим целям России, династии и самого Государя. Центральным узлом, фокусом этой борьбы в те годы был Распутин, значение которого и его влияние на Царскую Семью неимоверно преувеличивалось его врагами, к которым принадлежал и автор книги. Именно это обстоятельство и придало воспоминаниям о. Шавельского полемический характер, повлекший ряд уклонений от исторической правды, которая к нашему времени уже достаточно выяснена другими авторами его современниками, столь же близко, как он, стоявшими к трону.

Но при умении отсеять эту вредную шелуху, книга воспоминаний о. Шавельского представляет собой в наши дни значительную историческую ценность, особенно для читателей из среды новой эмиграции, мало знакомых с той судьбоносной для России эпохой, т.к. приведенный в ней фактический материал ярко и ясно свидетельствует о том трагическом одиночестве, в котором находился Царь-Мученик и о котором он сам не раз писал в своем дневнике полные боли и горечи слова. В этом — ценность книги о. Георгия Шавельского, которую издательству им. Чехова следовало бы глубже и шире разъяснить в предисловии к ней.

Совершенно по-иному выглядит другая, выпущенная тем же издательством, книга воспоминаний Великого Князя Гаврила Констан-

тиновича «В Мраморном дворце». В ней мы не найдем не только полемической, но даже субъективной фразы. Если о. Георгий Шавельский, обладая, безусловно, несомненными литературными способностями, широко пользуется ими для воздействия на читателя, то Великий Князь Гавриил Константинович совершенно отбрасывает всю «литературщину». Он пишет свои воспоминания просто: не для современного читателя, не для потомства, но только правдиво записывает то, что видел, то, что пережил, то, в чем он сам участвовал.

Эта непосредственность и искренность его изложения, несмотря на отсутствие в нем каких-либо литературных потуг, создают в целом в представлении читателей яркую картину внутренней жизни высокой по роду и положению Великокняжеской семьи Константиновичей, давшей России три поколения неутомимых и самоотверженных тружеников не только на военном и государственно-административном поприщах, но и в области великой русской культуры. Напомним вкратце: дед, Великий Князь Константин Николаевич — ближайший сотрудник своего Августейшего брата Императора Александра II по проведению им великих реформ; его сын, Великий Князь Константин Константинович — крупный поэт, широко известный под псевдонимом «К. Р.», автор замечательной, проникнутой глубоким религиозным духом пьесы «Царь Иудейский», блестящий переводчик с иностранных языков (давший, между прочим, принятый даже теперь в СССР лучший перевод «Гамлета»), долголетний председатель Академии Наук, в самый блестящий ее период, создатель русского Музыкального общества (друг Чайковского), главный начальник и преобразователь всей системы военного образования, создатель комитета трезвости, программы введения всеобщей грамотности в России, основатель женского педагогического института... всех видов его культурной деятельности не перечесть даже вкратце. Автор воспоминаний, Великий Князь Гавриил Константинович вместе со своими братьями составлял уже третье поколение семьи Константиновичей и вместе со своим братом Олегом Константиновичем был первым из русских Великих Князей, окончивших гражданское высшее учебное заведение и не только сдавших при нем государственные экзамены, но обучавшихся наравне с прочими студентами.

Книга «В Мраморном дворце», несмотря на свой, казалось бы, пышный заголовок, дает исчерпывающее представление о простоте и даже «демократичности» (в лучшем понимании этого термина) внутренней жизни этого дворца. Перед читателем встает, во-первых, семья неутомимых тружеников, неуклонно направлявших все свои силы на служение России и ее народу. Стремление не только жить для родины, но и

умереть за нее господствовало во всем психическом укладе молодых Константиновичей и проявилось с особенной силой в смертном подвиге на поле брани младшего из них — князя Олега. Несмотря на слабое здоровье, при объявлении войны молодые князья немедленно же вступают в строй и, категорически отвергая все достойные их высокого рождения привилегии, несут тяжелую службу наравне с прочими офицерами в качестве всего лишь командиров взводов лейб-гвардии гусарского полка.

Некоторые приведенные автором эпизоды этой службы буквально вызывают слезы у читателя. Вот перед нами эскадрон, завязший в болоте под ураганным огнем немцев. Князь Игорь Константинович затянут топью до самого подбородка. Его удается извлечь, но лошадь погибла и князю дают другую, на которую он тотчас же сажает перед собой также потерявшего коня простого гусара. Дальше чисто боевой подвиг князя Олега, устремившегося со своим разъездом в рукопашный бой с немецкими уланами и смертельно раненого в этой стычке. Приведенный автором Великим Князем Гавриилом Константиновичем дневник его брата, особенно его последние, написанные уже мертвевшей рукой строки, потрясают душу…

Книга «В Мраморном дворце» в целом представляет собой «человеческий документ», свидетельствующий о подлинно высокой человечности, проникнутой глубоким религиозным чувством, о стремлении к жертвенному служению родине — чертах, присущих без исключения всем членам Царственной Семьи.

«Знамя России», Нью-Йорк,
23 декабря 1955 года, № 134. С. 11–13

Ирина Одоевцева. **«Оставь надежду навсегда»**

Проблема «избрания свободы», проблема перебежчика из мира социализма на простор широкой и разнохарактерной жизни всего несоциалистического человечества стала центральной в литературе русского зарубежья. Разрешению ее отданы крупнейшие из появившихся в печати произведений новых эмигрантских писателей: «Мнимые величины» Н. Нарокова, «Между двух звезд» Л. Ржевского, «Враг народа» С. Юрасова, исключительно сильные по силе и глубине очерки и рассказы Г. Климова и много менее значительных, как беллетристических, так и публицистических, работ. Это вполне понятно и глубоко обосновано. Проблема актуальна не только для русской эмиграции, не только для самой России

и ее народа, но именно в ней сокрыт ключ к разрешению нависшего над миром всеобщего и всестороннего кризиса, — угрозы, страшащей всё человечество, Третьей мировой, невиданной по силе средств истребления войны. В какую сторону повернет свой штык русский подсоветский солдат, изберет ли он свободу или будет продолжать строить коммунизм — это решит всё.

Ирина Одоевцева в своем романе «Оставь надежду навсегда» подошла к разрешению этого вопроса, кажется, раньше всех других писателей зарубежья. Библиографическая справка издательства сообщает, что роман написан в промежутке меж сентябрем 1945 года и ноябрем 1946 года, а в 1948 года был уже издан на французском языке, теперь же впервые выходит по-русски. Следовательно мы ни в какой мере не можем заподозрить автора романа в подчинении какому-либо постороннему влиянию, в частности, влиянию самого крупного и значительного произведения на эту тему «Мнимых величин» Н. Нарокова, хотя подозрительный взгляд мог бы отметить сходство в структуре фабулы и некоторые, почти совпадающие сцены. Наоборот, мы должны отдать Ирине Одоевцевой должное, отметить ее исключительную чуткость к вибрациям психики русского человека в целом; она первая из писателей старой эмиграции усвоила черты огромного факта и пока единственная в этой среде попыталась отразить его в литературно-художественном произведении, хотя перед ней, как перед реалистической писательницей стояли большие затруднения. Ведь Ирина Одоевцева покинула подсоветскую Россию в начале 20-х годов. За то время там произошли очень большие, как внутренно-психологические, так и внешне-бытовые изменения, которых сама писательница лично не видела. Следовательно, ей приходилось работать с чужих слов, в большинстве субъективных, порою ошибочных и даже просто лживых, что не могло не отразиться в ее романе.

Действующих лиц в «Оставь надежду навсегда» немного, всего трое. Идейный коммунист из интеллигентов, «лучший русский писатель», как называет его сама Одоевцева, лояльный, равнодушный к политике, высокоодаренный поэт и беллетрист, ни в какой мере не славословящий Сталина, и жена этого писателя, тоже выдающаяся, знаменитая балерина. Остальные лица мелькают лишь в отдельных эпизодах, как подсобные персонажи.

Вот тут, уже во внешнем выражении писательницей главных персонажей романа, она сталкивается с непреодолимыми для нее препятствиями и делает ошибки. Беспартийный, аполитичный писатель, ни в какой мере не славословящий Сталина, не мог стать в 1939 году (точно

указанное время действия) общепризнанным «лучшим русским писателем», оцененным самим Сталиным и близким ему. Алексей Толстой не был членом партии, но он выполнял ее заказ и, безусловно, славословил Сталина как в повести «Хлеб», так даже и в «Петре I», не говоря уже о его публицистических статьях, общественных выступлениях и личных отношениях. Подавляющее большинство других писателей подсоветской России — члены партии или во всяком случае «беспартийные большевики», «с энтузиазмом» выполняющие партийный заказ. Иначе быть не может.

Множество явных для бывшего подсоветского человека несуразностей можно отметить в описании быта тюрьмы, в которую попадает этот писатель. Такой тюрьмой могла быть «внутренняя» на самой Лубянке или «особый корпус» Бутырок, т.к. дело происходит в Москве. Друг-чекист доставляет ему туда Библию на английском языке. Ничего подобного быть не могло. Передача книг с воли в советские тюрьмы вообще, а в эти в особенности, строжайше запрещена и ни один начальник тюрьмы не может допустить подобной передачи. Он ответил бы за нее головой, даже если бы книгу давал крупный чекист, за которыми, как мы знаем, тоже идет слежка. А тем более Библию, да еще на английском языке. Чушь! Пищу в одиночные камеры передают через окошечко в двери, а не открывая всю дверь, как описывает Одоевцева. Ее герой-писатель выбрасывается из окна этой тюрьмы, что абсолютно невозможно, так все окна закрыты решетками и щитами. Самоубийцы прибегали раньше к другому способу — бросались с висячих галерей, заменяющих в «особом корпусе» Бутырок и в Ленинградском ДПЗ коридоры. Но теперь и там установлены высокие решетки (в тридцатых годах). Савинков выбросился из окна кабинета следователя, но не тюрьмы.

Но всё это в конце концов мелочи, хотя, конечно, беллетристу реалистического, даже бытового направления не стоит браться за описания незнакомой ему обстановки. Много важнее другое — вывод, который делает Ирина Одоевцева, разрешая поставленную перед собой проблему. Друг детства писателя, ставший крупным чекистом, предугадывая вторжение немцев, предлагает писателю, находящемуся в ссылке (тоже неувязка — в пограничную полосу не ссылают), перебежать к врагу, а через Германию — в свободный мир. Тут снова неувязка: этот разговор ведется в служебном помещении НКВД, где, как не может не знать крупный чекист, повсюду установлены тайные микрофоны. Писатель отказывается по недостаточно объясненным автором причинам. Не то это живущая в нем патриотическая традиция, не то просто маниловская

мягкотелость. Последнее вернее, и свободы он не выбирает. Не в силах принять ее. Не хватает воли. Это сомнительно, но всё же допустимо для мягкотелого, поэтического интеллигента. Однако, в дальнейшем и сам его друг, «железный», безусловно волевой чекист и даже к концу книги маршал Советского Союза, награжденный всеми орденами, вполне сознавая свою обреченность, негласный смертный приговор, вынесенный ему Сталиным, тоже оказывается безвольным, расслабленным, всецело отдающимся течению. Он тоже думает о самоубийстве, не видя иного выхода, но не в состоянии переступить порог смерти, с которой играл всю свою жизнь.

Что же это? В ныне и пока подсоветской России воля сохранилась лишь у одного Сталина, а теперь, после его смерти, если верить Одоевцевой, окончательно испарилась? Действительность нам говорит обратное на каждом шагу, как в политической, общественной, так и в частной жизни. Ирина Одоевцева разрешила поставленную перед собой проблему по линии сторонников теории «кроликов» и «унтерменшей» — неполноценных личностей, в которые якобы превратились все русские люди. Ее отличие от кричащих это во весь голос публицистов лишь в том, что она облекла свои утверждения в беллетристическую форму. Сколь права она? В какой мере ее вывод совпадает с фактической правдой?

Самоубийства массовые Платтлинга, Дахау и Римини* — реальный факт. Это были избравшие свободу сильные, волевые люди. Предшествовавшие им три миллиона заявлений, поданных в штаб генерала Власова — тоже факт. Их подали сильные, волевые люди, не только избравшие свободу для себя, но и стремившиеся к борьбе, к подвигу за освобождение родины. Миллион новых эмигрантов, путем невероятных усилий прорвавшихся сквозь все заграждения, все сети репатриаций — тоже факт. Отказать этим людям в упорстве и воле нельзя, как нельзя отказать им в стремлении к свободе. Непрекращающийся поток перебежчиков, рискующих жизнью при очень малом шансе на выигрыш, порою приносящих в жертву свободе своих близких, прыгающих в неизвестность, т. к. отношение Запада к ним далеко еще не ясно — тоже реальный факт, и об отсутствии воли к свободе у этих людей спорить не приходится. Можно было бы привести еще много доводов против вывода Ирины Одоевцевой, но, пожалуй, хватит и этих.

«Знамя России», Нью-Йорк,
июль 1954 года, № 111. С. 10–12

* Речь идёт о самоубийствах беженцев при выдаче советской стороне.

О двух книгах

Передо мною две новых книги. Одна — роман «Оставь надежду навсегда» И. Одоевцевой (Издат. им. Чехова, 1953), другая — сборник рассказов Михаила Бойкова* «Сокровище сердец» (издание Фордгамского университета Русского Центра, тоже в Нью-Йорке). Содержание этих книг различно, как и их авторы, но есть в них и сходные черты, как это нередко бывает.

Сначала несколько слов об авторах. Ирина Одоевцева выехала из России в самом начале двадцатых годов, в эмиграции стяжала себе некоторую литературную известность (даже от «самого» Бунина похвалы удостоилась!), литературный труд для нее, насколько это известно автору данной статьи, приятное заполнение досуга. Михаил Бойков — новый эмигрант, не выехавший, но прорвавшийся с боем из советской России, литературного имени в широких кругах эмиграции пока еще не завоевавший, литературный труд, как это хорошо известно автору данной статьи, для него не только основная жизненная профессия, но глубоко владеющее им призвание.

Общее в их книгах то, что оба они пишут о современной подсоветской России, ее людях и, конечно, тюрьмах (которые М. Бойков имел возможность основательно изучить, как хорошо известно автору данной статьи), их переживаниях, как в тюрьме, так и на воле, их стремлениях, их моральном кредо и т.д. Кроме того, оба автора пишут по известному, принятому ими «рецепту».

Но тут-то и начинается их глубокое различие. «Рецепт» Ирины Одоевцевой очень сложен, вернее, у нее не один, а множество «рецептов», твердо установленных для каждого ее персонажа. Так, например, образ героини составлен из внешней красоты, темперамента, некоторой доли демонизма и щедро украшен костюмерными атрибутами. При составлении своих «рецептов», Одоевцева пользуется обычно широко известными и многократно испытанными в бульварных романах составными элементами.

«Рецепт» Михаила Бойкова прост, как формула дистиллированной воды: правда, одна голая правда, почерпнутая непосредственно из самой жизни. Больше ничего. Личный опыт, личные наблюдения и переживания — единственный материал, которым он пользуется. Всевозможных примесей он не только избегает, но решительно не допускает на написанные им страницы, тщательно фильтруя чистую воду жизненной правды подсоветского русского человека.

---

* См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

Вследствие этой «рецептуры» получается очень резкая разница и в их описаниях современного подсоветского русского человека, которого Одоевцева в глаза не видала, но в среде которого Бойков прожил всю свою жизнь. В дальнейшем между обоими авторами возникает резкий разнобой, явные противоречия. Так, например, герой Одоевцевой, попав в советскую тюрьму под явную угрозу расстрела, впадает в какой-то эстетический нирванизм, ведет сам с собой заумные, очень мудреные разговоры, а находящиеся в том же положении персонажи Бойкова попросту страдают, глубоко страдают и морально и физически. Герои Одоевцевой ни в какой мере не стремятся вырваться из советского рая, очевидно, прижившись в нем, несмотря на свой утонченный эстетизм, высокий культурный уровень, глубину и прочее; простые люди же, изображенные Бойковым, не только рвутся прочь от советчины, всей советчины в целом, но борются против нее всеми доступными им способами, погибают, но внутренне не сдаются в этой борьбе, и все проявления нирванизма им абсолютно чужды. Это волевые, упорные люди, идущие своими, хотя и различными путями, но к одной единой для всех цели.

Что же освещает им их мучительный путь к этой противостоящей большевизму цели? Светоч, на который указывает, подтверждая свои слова множеством примеров, М. Бойков так же прост и ясен, как его литературный «рецепт». Имя этого светоча — Бог.

Господни пути неисповедимы, учит нас Писание. Неисповедимость, необычайность путей, ведущих к Богу современного подсоветского русского человека, показывает в своих рассказах Михаил Бойков. Они подлинно необычайны, порою, кажется, до невероятия, и только проварившийся в адском советском котле читатель полностью поймет правдивость показанного Бойковым, оценит ее и подтвердит рядом своих личных наблюдений. Не прошедший этого «советского закала» поверит с трудом, может быть даже и не поверит...

Трудно ему понять и представить, например, священника, идущего во имя христианского подвига, во имя любви к ближнему своему... на службу НКВД в качестве конвоира отправляемых на расстрел. А между тем М. Бойков ясно видит этот подвиг и разъясняет его читателям. Сопровождая смертников, конвоир-священник шепотом дает им послед нее слово утешения, великое обетование Воскресения и Жизни Вечной. В конце концов он, конечно, разоблачен и сам попадает под пулю. Подвиг несомненен, он явен, он реален и он вполне *возможен* в современной советской действительности. Такие слуги Христовы там были, живут теперь и будут жить, потому что на смену погибшим приходят новые.

Как приходят они к Христу, эти новые Его слуги? Михаил Бойков показывает и это. Он кратко очерчивает целый ряд таких извилистых, сложных и снова почти невероятных путей, как, например, уверовавший в тюрьме яростный активист-безбожник, марксистский робот и комсомолец. Безусловно, многие читатели из не варившихся в советском котле скажут, что Бойков выдумал. А вот я этого не скажу, потому что я *видел* людей, шедших таким же путем, как Фома, вкладывая пальцы свои в их глубокие сердечные раны.

Ничего подобного, конечно, нельзя найти на страницах романа Ирины Одоевцевой. Это вполне понятно. Трудно, ой как трудно писать о том, чего не видел и не знаешь. Не только трудно, но и опасно для писателя. Еще блаженной памяти Аркадий Аверченко писал очень остроумные сатирические рассказы о подобных попытках и их трагикомических финалах... Некоторые страницы романа Ирины Одоевцевой послужили бы ему хорошим материалом для новелл на ту же тему.

Восемь рассказов, помещенных М. Бойковым в его сборнике, датированы и помечены теми географическими точками, в которых они у него зародились и быть может получили даже первоначальное литературное оформление. Эти точки в целом намечают пройденный автором путь. И не только самим автором, но многими, очень многими из пребывающих теперь в зарубежье бывших подсоветских русских людей. Каждый из этих рассказов может быть проверен такими читателями по обрывкам, сохранившимся в его памяти, и эти обрывки подтвердят ему правдивость М. Бойкова. Географически этот путь намечается так: Ставрополь-Кавказский, Берлин, Рим, Буэнос-Айрес. Кроме последнего пункта, все прочие мною проверены и с чистою совестью свидетельствую почти точную фотографичность рассказанного М. Бойковым и показанного им типажа. Для примера беру рассказ «По-настоящему», герой которого действительно без кавычек герой: бывший советский летчик, еще ранее бывший беспризорник, разудалый силач, говорящий только на специфическом (тоже верно переданном М. Бойковым) советском жаргоне. Герои, конечно, разные бывают.

От иных лучше держаться подальше. Многие с такой же опаской взглянут и на бойковского героя с его кулачищами, непосредственностью, действенностью и особым способом выражать свои чувства, порою не совсем удобным для окружающих. Но так же, как некогда Н. С. Лесков сумел рассмотреть голубиное сердце в тоже мало удобном для общежития дьяконе Ахилле, так и М. Бойков сумел увидеть такое же человеческое сокровище в широкой груди этого детины.

В заключение еще пара слов о сходстве и разнице в книгах Одоев-

цевой и Бойкова. Сходство в том, что оба эти автора показывают или стремятся показать нечто необычное в нашей серой будничной жизни, выходящее из рамок ее повседневности.

Ирина Одоевцева тужится, выдавливает эту необычайность из грязных тряпок банальных и пошлых романов своих предшественников и предшественниц. В результате получается более чем сомнительное снадобье для пользования низших слоев читательской массы, а сама ее необычайность — только повторение пройденного, обычного и очень затасканного.

Михаил Бойков тоже дает необычайное, но ищет его без потуг, без напряжения лишь отбирая нужное из богатых запасов своей памяти и опыта пройденного им пути. Такой свободный творческий отбор безошибочно ведет его к поставленной цели. М. Бойкову не нужно рядить, костюмировать свои персонажи. Они уже одеты. Сама жизнь дала им эти наряды. Рубище? Лохмотья? Да, верно, жалкие, порою даже смрадные и страшные лохмотья. Пусть так. Но в этих лохмотьях настоящие люди идут настоящими реальными дорогами к Светлому, Прекрасному и Чистому, к тому, что заповедовал нам Христос. У этих людей есть Вера и с ней ее сестры Любовь и Надежда. Они не говорят и не скажут, как И. Одоевцева, — «Оставь надежду навсегда!».

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
24 июля 1954 года, № 236. С. 6

Простая правда

Спор об идейном содержании Русского освободительного движения 1942–1945 гг. до сих пор еще не утратил в зарубежье своей остроты. Часть эмиграции, хотя и небольшая, возглавляемая группою нью-йоркских марксистов, не потеряла еще надежды утвердить свою концепцию «тарелки супа», как основного стимула, побудившего миллионы русских людей блокироваться с нацистской Германией ради нанесения решительного удара марксистской тирании в России. Теперь этот спор даже расширил свои рамки, перейдя в плоскость оценки современного русского подсоветского человека вообще, его идеологии, его морального уровня, его интеллектуального кругозора и т. д. Группировка дискуссирующих остается в общем та же: во главе отрицателей положительных качеств в современном русском человеке — те же сторонники «тарелки супа», подкрепленные теми псевдопрогрессивными элементами, которые видят в нарождении на территории подсоветской России новой интеллигенции

личное себе оскорбление, а в шеренге их противников стоят все виды и подвиды национально-почвенной мысли старой эмиграции совместно со многими, созвучными им, интеллигентами «новых» и «новейших».

Таким образом, вопрос, стоявший в чисто политической плоскости, перенесен теперь в области интеллектуальной, духовной и даже религиозной жизни современной подсоветской России. Разрешить его, находясь по сю сторону Железного занавеса и пользуясь лишь обрывками доходящих к нам через него веяний, задача нелегкая, пожалуй, даже невыполнимая, поэтому каждое свидетельство заслуживающего доверия очевидца имеет для всей Российской эмиграции в целом исключительную ценность. К числу таких свидетельств следует отнести обе книги В. Алексеева*, выпущенные издательством им. Чехова, «Невидимую Россию» и «Россию солдатскую».

Первую из них русский зарубежный читатель хорошо знает. Ее выход был встречен им сочувственно, хотя и не без споров литературных критиков, часть которых выразила сомнение в правдивости этой книги. Интересно отметить, что к этой части принадлежали именно отрицатели наличия моральных качеств в современном русском человеке, свое представление о котором они берут, очевидно, из показателей кофейной гущи, т.к. других данных у них, оторванных от русской жизни в течение более чем трех десятилетий, нет и быть не может.

В своей первой книге В. Алексеев описывал подпольные кружки подсоветской русской молодежи довоенного периода, их неясные, неопределенные политические устремления, их религиозные порывы и, главное, их отношение к коммунистическому режиму. В этом последнем неясности нет. Оно может быть выражено одним коротким словом — протест, протест против религиозного, интеллектуального, психологического, экономического и политического гнета марксизма, протест личности, лишенной даже тени, даже иллюзии свободы, но неудержимо рвущейся к этой свободе.

Вторая книга В. Алексеева «Россия солдатская» может быть сочтена продолжением первой. В ней им показаны некоторые из действующих лиц «Невидимой России», но уже в ином аспекте, в обстановке начавшейся войны, когда многое невидимое, скрытое до того прорвалось наружу, стало видимым, ясным, нашло ясное выражение в действии и этим действием явилось как раз Русское освободительное движение 1942–1945 гг., оформившееся на территории нацистской Германии, но уходящее своими корнями в глубины подсоветской России.

---

* См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

«Россия солдатская» не имеет твердого, четкого фабульного костяка. Ее «сквозное действие» проходит сквозь целый ряд персонажей, связанных между собой лишь единством общей темы. Внешне в этом недостаток книги. Внутренне же — ее ценность, т.к. автор устанавливает осью своего повествования саму идею протеста в целом, не отвлекаясь ради фабульности каким-либо одним частным случаем реализации этой идеи. Алексеев производит как бы опрос многих, различных между собою подсоветских русских людей об их отношении к войне. Основной смысл этого опроса: где враг и кто он? Коммунистический ли режим, территориально обобщенный с Россией, или вторгшиеся на эту территорию вооруженные иноплеменники, наносящие сокрушительные удары этому режиму и подневольно связанному с ним российскому народу?

Почти все «опрошенные» автором дают единогласный ответ: первый и основной враг — коммунистический режим. Победив этого врага любой ценой, будет легче избавиться и от других, несомненно слабейших врагов. В этом ответе звучит, вернее звучала подлинная вера в бытие и силу исторической России и ее великого народа. Выражением этого ответа и было Русское освободительное движение, ядро которого составляли военные формирования генерала А. А. Власова. Протест против гнета ортодоксального марксизма, против реального осуществления социалистической доктрины, а не «тарелка супа» был основным стимулом, побудившим миллионы русских людей вступить в той или *иной* форме в германскую армию, а в дальнейшем немногим уцелевшим из этих миллионов счастливцам — избрать свободу и добиться ее, преодолев множество препятствий.

В. Алексеев в своей книге свидетельствует эти настроения русского народа, господствовавшие в нем в первый период Второй мировой войны. Именно свидетельствует, как очевидец, а не рассказывает, как писатель. Языку книг В. Алексеева совершенно чуждо стремление к литературным украшениям. Автор словно игнорирует их, отметает от себя, как нечто ненужное ему и даже вредящее его повествованию. Многие ставят это ему в вину, отказывая его произведениям в литературности. Но вспомним — великий мастер русского языка Н. С. Лесков, владевший не только местными, этнографическими формами русской речи, но и диалектами большинства социальных групп России, блестяще выражавший себя во множестве литературных жанров, начиная с уголовного романа («На ножах») и кончая народным лубком и апокрифом, в некоторых случаях также отбрасывал все литературные украшения, доходя до элементарной простоты речи, как например в «Кадетском монастыре». Несомненно, что Лесков упрощался умышленно, сознавая, что в данном

его произведении должен превалировать сам описываемый документальный факт, а не речевое искусство описателя этого факта. Повествование от этого лишь выигрывало, укрепляло свою убедительность и становилось более доходчивым до читателя.

То же самое, вероятно, инстинктивно понял В. Алексеев. Обе его книги можно рассматривать, как личные воспоминания о столь недалеком еще прошлом, но вместе с тем, как эти его воспоминания далеки от многих воспоминаний, заполняющих страницы наших журналов, авторы которых рассказывают прежде всего и главным образом о самих себе, вплоть до повседневных мелочей, а всё окружавшее их или совсем не замечают или рассматривают, как собственный свой антураж, а порой еще хуже того, берут на себя роль непогрешимых судей своих современников. Алексеев никого не судит в своих повестях. Он как бы устраняет из них самого себя, свой личный аспект, стремясь рассказать о виденном им, минуя призму своего собственного отношения к этому видимому. В этой беспристрастности большая ценность книг В. Алексеева, и читатель русского зарубежья найдет в них ответы на многие волнующие его вопросы не только недавнего прошлого, но и текущей современности. Ведь никто, даже из недавно прибывших «оттуда», не может взять на себя смелости утверждения, что он знает все глубины современного русского подсоветского человека, вынужденного замкнуться в самом себе, принять окраску и даже обрасти вовне «черепаховой костью» ради сохранения того, что он затаил и бережно хранит в своей душе.

Вспышки, проблески этой сокровенной глубинности показывает нам В. Алексеев. Обе его книги написаны простым человеком о простом человеке.

«Возрождение», Париж,
март-апрель 1954 года, № 32. С. 146–149

Ближе к читателю

Много, очень много упреков слышится со всех сторон по отношению к созданному на средства Фордовского комитета Издательству им. Чехова в Нью-Йорке.

Надо признать, что значительная часть этих упреков имеет достаточное основание. Справедливо обвиняют его «новейшие» эмигранты в своем журнале в недостаточном внимании к русской современности, справедливо критикует его профессор Глеб Петрович Струве в своей статье, помещенной в «Русской мысли». Действительно, выборки лирики Тют-

чева произведены редакцией издательства недостаточно продуманно и совершенно не представляют собой всей мощи этого исключительного поэта. Много дефектов содержит в себе и выпущенная им «Русская лирика». Том стихов Анны Ахматовой далеко не полноценен, т. к. не содержит в себе целого ряда ее стихотворений, созданных в первые годы революции и ярко отражающих настроение русской интеллигенции того времени. Выпуск стихов Николая Гумилева ни в какой мере не соответствует масштабу этого крупнейшего в первой четверти XX века русского поэта: нельзя же считать характерными для его огромного и яркого творчества восемнадцать помещенных в сборнике стихотворений, случайно залежавшихся в его чемодане, и недоработанную им драматическую поэму.

Можно поставить и еще целый ряд упреков издательству, на этот раз уже не редакционной, а руководящей его части. Например, зачем было выпускать повести Гоголя, которые можно купить в каждом русском книжном магазине в советском издании значительно дешевле и полнее? Почему творчество Лескова показано «Соборянами», точно так же очень распространенной книгой, находящейся в каждой русской библиотеке зарубежья, а не его мало известными, но высокими по уровню художественности рассказами? К чему вытаскивать из книжной пыли третьеразрядного автора исторических романов Мордовцева и, наконец, пожалуй, самый веский упрек — склонность к тенденциозной пропаганде идей американской государственности, явное стремление «воспитывать» русского читателя в чуждом ему духе современного американизма, что диаметрально противоречит тем лозунгам, которые провозгласило издательство при своем основании.

Ведь весь смысл работы издательства им. Чехова именно в том, чтобы содействовать сохранению и развитию русской литературы, чтобы облегчить писателям возможность творческой работы, с одной стороны, и довести их продукцию до читателя — с другой. Выполняет ли Чеховское издательство эти принятые на себя обязательства? По имеющимся у меня частным сведениям, целый ряд современных талантливых писателей русского зарубежья имеет готовые работы, о которых известно Чеховскому издательству. Но не хочу быть голословным и подтверждаю: глубочайший и талантливый Н. Нароков имеет большой законченный роман и этот роман лежит в портфеле Чеховского издательства; Лидия Норд имеет законченную элегическую повесть и готовую интереснейшую книгу о маршале Тухачевском; талантливый представитель второго поколения старой эмиграции Е. М. Яконовский* также предлагал Чехов-

* См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

скому издательству несколько своих законченных работ. Кроме того, мы имеем уже целый ряд значительных в нашем зарубежном масштабе писателей, абсолютно не показанных читателю издательством им. Чехова, например. Б. Башилова, Свена, Г. Андреева, Г. Климова, М. Бойкова и др., поэтов Кленовского, Моршена*, Шишкову, Алексееву, Е. Коваленко, Н. Бернера**... Все они чрезвычайно ценны и интересны для читателя зарубежья и не только зарубежья, но самой России, т.к., по имеющимся у нас и не раз подтвержденным сведениям, книги Чеховского издательства в каком-то количестве всё же проникают через берлинскую дверь в закабаленную Россию. Это одна сторона — нужда писателя в предоставлении ему возможности сказать свое слово.

Теперь другая — желание читателя услышать это слово. Почти трехгодичная моя работа в качестве представителя и распространителя книг Издательства им. Чехова в Италии дает мне возможность в достаточной мере охарактеризовать эти требования читателя к писателю и издателю. Приведу несколько примеров, сопровождая их краткими статистическими показателями. Выпущенная издательством книга С. Шварца «Антисемитизм в советской России» не имела никакого успеха даже среди евреев, едущих в Палестину и сконцентрированных в лагере Сант-Антонио. Многие из этих евреев испытали на себе фактические проявления антисемитизма со стороны советской администрации и с негодованием отбрасывали книгу, как ложь.

Из произведений Бунина мною был продан только один экземпляр «Жизни Арсеньева» и то не русскому, а итальянцу. Следовательно, Бунин ни в какой мере не интересует современного русского читателя, особенно же переиздание общеизвестных его произведений («Митина любовь») или черновые наброски из записной книжки о его путешествии в Святую Землю. Вместе с тем тут же слышались вопросы: «А нет ли Шмелева? А нет ли Краснова?» и добавлю от себя, как от книготорговца, что за истрепанные томики произведений Краснова новый русский читатель готов был платить большие деньги. Он хочет их, он ищет их. В частности, мой сын купил Краснова и некоторые вещи Лескова, переведенные на итальянский язык; по-русски он приобрести их не мог. Книги, пропагандирующие идеи американской государственности и американского социального устройства, не имели никакого сбыта. Не имели также

* Николай Николаевич Моршен (наст. фамилия Марченко) (1917–2001), поэт. Сын писателя Н. Нарокова. Жил в США, преподавал русский язык.

** Николай Федорович Бернер (псевд. Божидар) (1890–1969) поэт, литературный критик. Был сослан на Соловки, после Второй мировой войны жил в Зальцбурге и Мюнхене, затем в Орлеане. Автор сборника «След на камне», и монографии «Внутренняя эмиграция и интеллигенция на Соловках».

сбыта и прекрасные романы из американской жизни, выпущенные издательством им. Чехова. Они очень неплохи сами по себе, но ни в какой мере не отвечают запросу русского читателя*.

По сообщению «Нового русского слова», в Издательстве им. Чехова образовался огромный завал — около двухсот тысяч непроданных книг. Это объясняется тем, что современный русский читатель якобы не имеет интереса к собственной русской литературе. Пробую отыскать причину этого завала на основе собственного опыта книгоноши. Балласт этого печатного материала Издательство им. Чехова пытается ликвидировать, рассылая его бесплатно по лагерям ИРО, домам старости и прочим благотворительным учреждениям. Результат получается обратный. Я имею целый ряд писем из этих учреждений, выражающих протест читателя против посылки ему книг вроде «Портативного бессмертия» Яновского** и подобных ей, к сожалению, выпущенных издательством. Возмущение подобной литературой со стороны читателя доходит иногда буквально до неприличия.

Переходим к итогам. Чем же объяснить всё это? Ведь по целям, поставленным перед собой издательством, читатель русского зарубежья, а в известной мере даже и читатель современной России должен был бы принести глубочайшую благодарность Издательству им. Чехова и финансирующему его Фордовскому комитету за поддержку национальной русской культуры в ее зарубежных проявлениях.

Мы не можем также упрекнуть редакторскую часть издательства в отсутствии у нее литературного вкуса. Главный редактор Вера Александровна Александрова, судя по ее глубоким литературно-критическим статьям в «Социалистическом вестнике», стоит наряду с Н. Нароковым («Книгочий») в первом ряду литературных критиков русского зарубежья: следовательно, причина дефектов издательства кроется не в отсутствии литературного вкуса редакции. Ходят слухи, что личный состав русских работников издательства заполнен исключительно социалистами и что они пытаются проводить там пропаганду собственных идей, однако, напечатали же они мою «Неугасимую лампаду», произведение насквозь монархическое, и еще две-три книги правых авторов. Вернее было бы искать причин неудач издательства в самом характере *американского им руководства*.

По имеющимся в нашем распоряжении сведениям, руководительница издательства мисс Диллон не знает русского языка и, следовательно,

* См. также статью Ширяева «Заметки книгоноши» в его книге «Италия без Колизея» (СПб.: Алетейя, 2014).

** См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

не может быть фундаментально знакома с русской литературой. Отсюда и вытекает ошибочное направление ею всей линии издательства, *которое не хочет считаться с потребностями и запросами современного русского читателя*. Вот здесь и зарыта собака.

Критиковать и даже охаивать работу Издательства им. Чехова было бы очень легко. Но не забудем того, что это издательство всё же делает огромное культурное дело и что оно может быть более чем ценным для русского дела в целом. Нам нужно не рыть ему яму, но помочь ему выйти на правильный путь, выйти из того тупика, в который вообще склонны впадать американцы, поверхностно судящие о России, ее народе и пресловутом русском сфинксе. Путь к выходу из тупика нам кажется ясным: непосредственное общение с читателем, с потребителем литературных произведений. Практический метод к осуществлению этой связи издательства с читателем совсем нетруден: достаточно объявить *анкету* среди читателей наиболее распространенных русских газет с вопросами о том, *какого бы писателя из числа классиков, а также, главным образом, из числа новых русских антикоммунистических писателей, они хотели бы иметь на своей книжной полке*.

Я глубоко уверен в том, что все ведущие газеты русского антикоммунистического зарубежья, без различия их политических направлений, охотно поддержали бы эту анкету и таким образом прекрасное по своему замыслу дело Издательства им. Чехова получило бы достаточный материал для организации своей дальнейшей работы.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
15 сентября 1955 года, № 295. С. 7

Евгений Замятин. **«Лица»**

Автор книги Евгений Замятин* — коммунист, принадлежавший к партии еще с царского времени, привлекавшийся к суду за антимилитаристическую повесть, выпущенную во время Первой мировой войны, до того двукратно высланный из столиц, посидевший в тюрьме, одним словом, обладающий полным «революционных заслуг» послужным списком русский революционный интеллигент, каких, к сожалению, было немало. В годы первого десятилетия советской власти он пользовался

* Евгений Иванович Замятин (1884–1937), писатель, критик. Социалист по убеждениям, организатор группы писателей «Серапионовы братья». В 1931 г. с разрешения Сталина уехал за границу. Жил в Париже, писал прозу, очерки и киносценарии. Будучи эмигрантом, в 1934 г. был вновь принят в Союз писателей, а в 1935 г. участвовал в антифашистском Конгрессе писателей как член советской делегации. Похоронен на Парижском кладбище Тье.

большим почетом в рядах партии, много писал в чисто большевицком духе и был неизменным членом редакций различных издательств, возникавших тогда по инициативе М. Горького. Но в тридцатых годах его литературные соперники, также, конечно, партийцы, начали усиленную травлю Замятина. Тогда он написал личное письмо Сталину с просьбой разрешить ему выезд с семьей заграницу и это разрешение получил при помощи Максима Горького.

Но став политическим эмигрантом, Замятин не перестал быть большевиком или во всяком случае рьяным революционным интеллигентом. Об этом свидетельствует его книга, выпущенная издательством им. Чехова. Почти все помещенные в ней очерки написаны Е. Замятиным еще в советской России и носят явный характер выполнения «социального заказа». Так, например, в своем литературном портрете Леонида Андреева он рассказывает лишь о выступлении этого писателя на революционном митинге в 1905 году и цитирует его призывы к цареубийству. О покаянных воплях Л. Андреева, увидевшего истинное лицо революции, Замятин не говорит ни слова. В том же стиле даны и другие, помещенные в его книге, литературные характеристики. Говоря о Блоке, он выпячивает революционные порывы этой сложной и часто противоречивой натуры, замалчивая несомненную любовь поэта к его родине, столь ясно выраженную им в цикле «На Куликовом поле» и некоторых других стихах. Даже Чехова он пытается подогнать под революционный ранжир, хотя к этому, как известно, нет решительно никаких оснований, а талантливого английского фантаста Герберта Уэльса, пришедшего под конец своей жизни к богоискательству, изображает полностью социалистом, а заодно кощунственно зачисляет в марксисты и самого… Бога в той форме, как воспринял Его бытие в конце своей жизни Уэльс.

Невольно встает вопрос: почему и зачем издательство им. Чехова выпустило эту книгу? Советский Союз и без того имеет достаточно авторов, выполняющих заказы его разбойничьего правительства, и бумаги для печатания их хватает.

«Часовой», Брюссель,
май 1956 года, № 365. С. 13

Анри Труайя. **«В горах»**

Регламентируя поставленные перед собой цели, Издательство им. Чехова в свое время утверждало, что стремится к поддержке и помощи развитию русской литературы в зарубежье. *Русской* литературы, повторим еще раз.

Но в какой мере можно считать причастным к русской литературе зарубежья французского писателя Анри Труайя*, пишущего на французском языке, на французские темы, описывающего, главным образом, французскую жизнь, а если и халтурящего иногда русскими темами, то сдабривающего эту свою бульварщину такою дозой сиропа «развесистой клюквы», что русского читателя начинает тошнить.

Французский писатель Анри Труайя происходит из русско-армянской семьи московских купцов Тарасовых, и один из его родственников по восходящей линии был действительно очень талантливым, чутким, отзывчивым купцом-интеллигентом своего, времени, много помогшим в те годы художественному театру и театру Балиева «Летучая мышь». Этим родством и ограничивается вся русскость А. Труайя. Читатели его произведений на русские темы (печатавшихся в газете «Русская мысль») имеют полное право сомневаться даже в знании французом Анри Труайя русского языка, т.к. ни один уважающий себя автор, знающий русский язык, не допустил бы появления в печати столь отвратительного перевода своего романа, какой мы могли видеть на страницах «Русской мысли».

Французский писатель Анри Труайя удостоен нескольких, французских же, очень почетных премий. Дай ему Бог и дальше преуспевать на ниве французской литературы. Но нам-то какое до этого дело? И на каком основании издательство, принявшее славное для России имя Антона Павловича Чехова, включает этого француза, не умеющего говорить по-русски, в число русских писателей?

Родиться русским слишком мало.
Им надо быть, им надо стать!

— писал Игорь Северянин, и эти, думается, лучшие его строчки, как нельзя более применимы к Труайя-Тарасову, являющему собой яркий и полноценный пример денационализации, скорбного и печального явления, к сожалению, имеющего место в среде второго поколения русской эмиграции. Наша русская литература борется с этим явлением, но Издательство им. Чехова, как мы можем утверждать на примере выпуска книги Анри Труайя, поощряет его.

Кроме того, что повесть «В горах» ни с какой стороны не причастна к русской литературе, ее вряд ли можно назвать удачным произведени-

* Анри Труайя (псевд. Леона Аслановича Тарасова) (1911–2007), писатель. После революции с семьей переехал во Францию, жил в Париже. Писал на французском. Автор многочисленных художественных и биографических произведений, лауреат многих литературных премий, член Французской академии.

ем этого автора. Он развертывает действие на фоне среды французских крестьян и, очевидно, имеет об этой среде очень маленькое представление. Так, например, герой его повести — крепкий, дельный труженик-крестьянин, гордится тем, что получил от двенадцати овец приплод в три ягненка. Любой русский крестьянин горевал бы о такой неудаче. Ведь три четверти маток остались яловыми. Это очень большой убыток для крестьянского хозяйства, как русского, так, безусловно, и французского. Кроме того, эти матки ягнились в ноябре, т.е. под зиму, что обрекает приплод на гибель или слабое развитие. Радоваться изображенному Анри Труайя французскому крестьянину нечего.

Неприятно писать об этой книге и, пожалуй, не стоило бы, если бы само Издательство им. Чехова не показывало за последний год явной тенденции к денационализации русской эмиграции. Им уже выпущено десять чисто американских книг того же направления. Пусть так. Материальная помощь Фордовского Комитета обязывает к выполнению его требований, т.е. к воспитанию проживающих в США русских эмигрантов в американском духе. Но зачем же совать нам еще посредственные повестушки французского жанра?

«Знамя России», Нью-Йорк,
25 августа 1955 года, № 129. С. 13–14

Юлия Сазонова.
«История древнерусской литературы»

«Слово о полку Игореве», «Завещание Владимира Мономаха», «Моление Даниила Заточника», «Хождение за три моря Афанасия Никитина», «Жития», «Патерики», «Духовные стихи»... Какой огромный мир мысли и чувства открывает нам древнейший период нашей национальной литературы... И как мало, как позорно мало знаем мы этот мир!

Курс древней русской литературы отрывочно и поверхностно проходился в дореволюционной гимназии. Приблизительно так же знакомят с ним и в классах современной советской школы. Разбор нескольких отрывков былин, «Слова о полку Игореве»... вот и всё. Ученик не выносил прежде, не выносит и теперь из класса целостного представления о литературной сокровищнице, заполненной до верха его предками, и в результате принимает на веру выклики невежественных шарлатанов, утверждающих, что русская интеллигенция пошла «от Радищева», зародилась под иноземным влиянием и развивалось, как плохая копия Запада.

Выпушенная Издательством им. Чехова «История древнерусской литературы» Ю. Сазоновой* блестяще разбивает этот пошлый миф. Два полновесных тома ее ценного труда охватывают период от истоков — устной поэзии и первых памятников письменности — до времени Иоанна Грозного. Автор глубоко и продуманно до мельчайших деталей подошел к поставленной перед ним трудной задаче. Ю. Сазонова освещает и анализирует первый период развития русской словесности не как ряд отдельных, оторванных друг от друга эпизодов, но как органически слитный, единый процесс развития национального русского мышления и миропонимания. Она дает не только характеристики и аналитические разборы дошедших до нас памятников, но широко пользуется цитатами из них и нередко связывает их содержание с дальнейшими этапами развития русской литературы, показывая этим огромное влияние нашего прошлого на нашу же современность.

Автор «Истории древнерусской литературы» не ограничивается основными вехами пройденного пути, но показывает читателю весь этот путь в целом. Летописи и былины сливаются в едином миропонимании с учительной литературой, апокрифами, житиями просиявших в земле русской святых, духовными стихами, патриотическими и морально-наставительными повестями, философией Нила Сорского и Иосифа Волоцкого. Главы «Апокрифы», «Духовные стихи», «Жития» и «Патерики» заслуживают особого внимания.

«Русская литература», пишет Ю. Сазонова, «родилась в монашеской кельи, в младенчестве носила рясу черноризца, в отрочестве облачилась в латы воина. Этим объясняются ее судьбы». Как глубока и как правдива эта характеристика.

Многим, к сожалению, очень многим, называющим себя русскими, нужно прочесть и не только прочесть, но изучить прекрасную книгу Ю. Сазоновой, прочесть для того, чтобы осознать себя русскими, чтобы русскими стать.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
17 марта 1955 года, № 269. С. 8

---

* Юлия Леонидовна Сазонова-Слонимская (1887–1957), поэт, писатель, критик. В 1920 г. эмигрировала из России, жила в Париже. В начале Второй мировой войны переехала в США, где преподавала в Колумбийском университете (Нью-Йорк), в конце жизни вернулась в Париж.

Георгий Адамович.
«Одиночество и свобода»

«Если Блок неразделим с траурным великолепием Петербурга, то Адамович — скелет, вывезенный на Монпарнасс из Петербургского паноптикума... и приставил его к русской эмигрантской литературе многодумный профессор Павел Николаевич Милюков», пишет об авторе книги «Одиночество и свобода» Н. В. Станюкович («Возрождение», тетрадь 48).

Несомненно, что столь резкая характеристика — пристрастна и не заслужена престарелым критиком, но известная доля истины в ней содержится: Георгий Адамович как поэт и как критик полностью уходит своими корнями в предреволюционный «серебряный век» русской литературы, мыслит его формулировками и, хотя сам отрицает это, не в силах выскочить из узких псевдоэстетических рамок отошедшего в прошлое поэтического течения, именуемого в просторечии «декадентством». В его критических работах это сказывается в подходе к разбираемым им авторам.

Г. Адамович ценит прежде всего форму их творчества и лишь сквозь нее и в зависимости от нее подходит к содержанию их трудов, к заложенным в них идеям. Подобный метод характерен как для ушедшего «серебряного века», так и для его современных пережитков, «русских монпарнассцев», группирующихся в Париже поэтов и поэтиков русского зарубежья. В отношении к прозаикам метод Адамовича еще более порочен. Только этим можно объяснить его явную недооценку Шмелева и даже некоторую враждебность к нему — крупнейшему в эмиграции, подлинно национальному писателю. За «потненьким графинчиком водки» Адамович не заметил глубокой русскости Шмелева и насыщенности всех его произведений подлинно русским христианским миропониманием, хотя и признал его огромный талант, «больной талант», как он пишет. Абсолютная нелепость! Именно Шмелев-то и пышет полнокровным цветущим здоровьем в литературном саду русской эмиграции.

Зато перед Буниным Адамович готов не только стать на колени, но и класть сотни земных поклонов. Блеск и отточенность внешней формы бунинских произведений порабощают его и заставляют не только закрывать глаза, но всеми правдами и не правдами обелять темные места бунинского литературного наследства.

Но было бы большой несправедливостью отказать Адамовичу в возможности проникновения к тайнам, скрытым в сердцах писателей. Иногда эти лучи озаряют написанные им страницы. Его отзыв о творчестве

Д. Мережковского, безусловно, глубок и справедлив: Адамович не считает Мережковского истинным христианином, и в этом он прав.

Много правды и в оценке Адамовичем всей литературы русского зарубежья в целом. Дописывая предисловие к ней уже в 1954 году, Адамович обвиняет писателей старшего поколения в недоброжелательстве и отчужденности от новых поэтов и прозаиков, выросших в эмиграции, от второго ее поколения.

«Часовой», Брюссель,
май 1956 года, № 365. С. 12

Сквозь призму болотного пузыря

Выпуском книги профессора Г. П. Струве* «Русская литература в изгнании» издательство им. Чехова, безусловно, ответило на один из главнейших запросов читателя русского Зарубежья. Да и не только Зарубежья. Несомненно, что эта книга послужит и грядущим поколениям российских людей в те, быть может, уже не столь далекие времена, когда обе ветви русской литературы — зарубежная и подсоветская — сольются в единстве своего дальнейшего развития. Надежду, что это время наступит, высказывает автор труда, в чем полностью с ним согласимся.

Удачен и выбор автора, которому был поручен издательством этот первый в истории российской эмиграции обзор ее литературы. Профессор Глеб Петрович Струве несомненно наиболее глубокий, эрудированный и, главное, наиболее беспристрастный, а следовательно и свободный от «литературной партийности» из работающих в настоящее время в зарубежье литературоведов и критиков литературы. Но всё же... об этом «всё же» мы скажем потом.

Труд проф. Г. П. Струве надлежит рассматривать в двух аспектах: литературно-историческом и критическом. Сам он не разделяет этих двух точек своего зрения, но пытается установить между ними гармоничное единство, что, пожалуй, ему не всегда удается. Тем не менее, историческая часть его труда не вызывает особых возражений. Проф. Г. П. Струве последовательно и подробно излагает все этапы работы писателей Зарубежья, начиная с 1920 года. Он рассматривает их в связи со всею жизнью российской эмиграции, политическими и экономическими условиями разбираемых периодов, возникавшими в узловых моментах

* Глеб Петрович Струве (1898–1985), поэт, переводчик, литературный критик. Сын П. Б. Струве. В 1919 г. перехал в Англию. После Второй мировой войны жил в США, был профессором славянских языков Калифорнийского университета в Беркли.

течениями общественно-политического мышления, издательской работой и т.д. На этих главных, узловых моментах останавливается, усиливая светосилу своего прожектора. Это очень ценно. Читатель получает ясное представление о сменовеховстве, евразийстве и всем ходе самоопределения зарубежной русской литературы. Зарубежной или эмигрантской — ставит очень глубокий и насущный вопрос автор? «Эмиграция (русская) есть явление огромное и в мировой истории беспримерное, — отвечает он сам на него, — я предпочитаю ему такие термины, как русское Зарубежье или Зарубежная Россия, более отвечающие смыслу вещей... Зарубежная русская литература есть временно отведенный в сторону поток общерусской литературы, который — придет время — вольется в общее русло этой литературы».

Эта глубоко обоснованная концепция вряд ли встретит возражения с чьей-либо стороны, но, как ни странно, на нее де-факто возражает сам автор труда. Уделяя много внимания различным группировкам и мелким течениям зарубежной русской литературы, даже столь незначительным, как недолговечное варшавское или рижское объединения поэтов и поэтиков, писателям новой эмиграции, как прозаикам, так и поэтам, проф. Г. П. Струве отдает лишь несколько страничек, называя в них небольшое количество имен, но не анализируя и не рассматривая в целом всего этого течения. А между тем именно в нем-то и содержатся первые признаки, первые симптомы того самого объединения обеих ветвей всероссийской литературы, на которое надеется и которого ждет сам автор.

Но он не хочет заметить и отметить в глазах читателя того нового и свежего, что внесли эти, работающие уже десять с лишним лет в Зарубежье, авторы: ни новой направленности тематики, нашедшей уже отражение и созвучия в среде второго и даже первого поколения писателей старой эмиграции (например, явного поворота в тематике Сургучева, обратившегося теперь к современным русским темам), ни нового жанра «документальной повести» (как придется его назвать), нового в зарубежной русской литературе, но вместе с тем уходящего своими корнями к творчеству Н. С. Лескова («Кадетский монастырь», «Инженеры-бессребренники» и т. п.). А этот жанр определился в творчестве писателей новой эмиграции уже достаточно ярко. Можно ли, например, причислить к мемуарной, исторической или какой-либо другой литературной форме такие произведения, как «Мы приходим с Востока» Б. Ольшанского*, «Враг народа» С. Юрасова, «Невидимая Россия» В. Алексеева и другие, сходные с ними.

Этот литературный жанр, несомненно, представляет собою литера-

* См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

турное явление в Зарубежье, явление крупное, которого историк литературы не смог, а вернее, что не пожелал отметить.

«Много ли может советская русская литература противопоставить “Жизни Арсеньева” Бунина, зарубежному творчеству Ремизова... поэзии Ходасевича и Цветаевой... оригинальнейшим романам Набокова» — пишет проф. Г. П. Струве в предисловии к своей ценной книге. В этом, несколько сокращенном мною, перечне содержится основной тезис Г. П. Струве, как литературного критика: главное светило, солнце всей русской зарубежной литературы — И. Бунин. Ближайший к нему и крупнейший спутник — А. Ремизов; ярчайшие кометы поэзии — те, которые следуют орбитам «серебряного века». Такова литературная космография критика Г. П. Струве. Иначе говоря — всё в прошлом, всё в предреволюционном десятилетии литературной жизни России, в безвременье, манерности, изломах и блужданиях, охвативших как прозу, так и поэзию России в годы, последовавшие за смертью А. П. Чехова.

Мы не будем спорить с искренне уважаемым профессором Г. П. Струве о том, можно ли противопоставить, например, роман «Канава» или другой какой-нибудь обезьяньего царя Асыки, сиречь писателя Ремизова, колоссальному полотну «Тихого Дона» Шолохова или хотя бы одной из ароматных повестей Паустовского. Нельзя сравнивать несравнимое. Но позволим себе высказать полную уверенность в что читатель грядущей свободной России, придя в библиотеку и (допустим) увидев там рядом тот же «Тихий Дон» и «Жизнь Арсеньева» И. Бунина, *безусловно* возьмет и прочтет первую из них, отложив в сторону вторую.

Эта моя уверенность основана на опыте долгой литературно-педагогической работы с современной *русской* подсоветской молодежью, на моих разговорах с нею о литературе, на показателях читаемости различных авторов по статистике библиотек в СССР. Бунин, многие произведения которого легко получить в большинстве советских библиотек, отталкивает от себя современного русского читателя холодным высокомерием, которым пропитана каждая его вещь, явным предпочтением с его стороны форме перед содержанием и, главное, полным отсутствием внутреннего созвучия между его, Бунина, духовным строем и строем современного читателя. Много, ох как много пережил этот читатель, хотя ему, быть может, всего двадцать-двадцать пять лет! Много вопросов к русскому же писателю возникло в его душе и ни на один из них Бунин не отвечает с высоты того пьедестала, на который он взгромоздился и с которого явно презирает вот этого-то самого *современного русского* молодого читателя. А те из этих читателей, которые брали Ремизова, почти всегда подходили ко мне с вопросом:

— На каком языке, собственно говоря, писал этот Ремизов? Говорили тогда так, что ли? И что он писал? И для чего он писал?

Читатели грядущей России не будут задавать этих вопросов, потому что... они не будут читать словоблудия Алексея Ремизова, которого зарубежный критик профессор Г. П. Струве безоговорочно ставит на второе (после Бунина) место в истории не только зарубежной, но и общерусской литературы переживаемого нами периода.

Несчастье литературного критика Г. П. Струве — всё же самого глубокого и самого свободомыслящего в компании Адамовича, Терапиано и им подобных — в том, что он не может смотреть на современную русскую зарубежную литературу открытыми глазами, без вспомогательных приборов. А вспомогательными приборами служат для него пузыри потонувшего мира последнего предреволюционного десятилетия русской публицистики и литературной критики, их «февральский» период, время распада и гниения всей русской интеллигенции в целом. Туман этих пузырей при взгляде Г. П. Струве на творчество, новых русских писателей, проявивших, сколь они мог ли сделать это, скрытое лицо подспудной, подсоветской, но всё же *современной русской* литературы, не дал ему возможности увидеть ни колоритного, бредущего своими тропами с посошком М. Пришвина Свена, ни глубоко проникающую в психику подсоветского русского человека Тарасову, ни интереснейшего и очень созвучного современным настроениям подсоветских *русских* людей поэта-фольклориста С. Юрасова.

В своем кратком критическом обзоре творчества новых эмигрантов проф. Г. II. Струве ограничивается перечислением четырех-пяти имен: С. Максимова, Л. Ржевского, меня, Н. Нарокова, мимоходом снисходительно поглаживает нас по головкам, но не уделяет никакого внимания всему этому проявлению русской подспудной литературы, получившей в лице новых литераторов, возможность сказать несколько *своих собственных слов* о своих живых, живущих братьях и сестрах, об их духовном мире, об их реальном бытии, о борьбе, которую они ведут беспрерывно за право сказать свое слово — слово о современном русском человеке.

Всё в прошлом, и сквозь призму пузырей этого потонувшего прошлого литературный критик проф. Г. П. Струве, несмотря на всю свою огромную эрудицию, глубокий аналитический ум и любовь к зарубежной русской литературе, не может узреть ни ее современности, ни ее будущности.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
26 июля 1956 года, № 340. С. 4

Шулерский вольт «либералишки»

Заканчивающим свою работу Издательством им. Чехова с подзаголовком «Избранное» выпущен сборник отрывков из произведений одного из крупнейших русских писателей-националистов, религиозного мыслителя, политического публициста, бесспорного почвенника и народника в истинном понимании этого термина Василия Васильевича Розанова. Этим выпуском издательство, очевидно, стремилось сделать последний взнос по неоплаченному им векселю, в котором оно обещало читателю зарубежья отразить в своем каталоге все оттенки спектра русской общественной и литературной мысли. Имя В. В. Розанова в этом спектре более чем уместно. Обзор русской общественной мысли конца XIX и начала XX веков немыслим без освещения творчества этого замечательного писателя, признанного многими авторитетами даже гениальным.

Составление этого сборника и вступительной статьи к нему было поручено Ю. П. Иваску, уже выпустившему в том же издательстве сборник «На Западе», апологию русской зарубежной поэзии, встреченный далеко не доброжелательно не только критикою правого крыла российской эмиграции, но даже и авторитетами, не принадлежащими к этому лагерю, как, например, профессором Г. Струве. Составитель апологии, Иваск, был справедливо и основательно обвинен не только в субъективности, но в явной пристрастности к определенным течениям зарубежной поэзии и, если можно так выразиться, в «использовании своего служебного положения в личных целях».

Вступительная статья к «Избранному» очень обширна, в чем сознается сам ее автор, да, пожалуй, столь же, если не в большей еще мере, пристрастна, — в чем он, конечно, не сознается. Ведь задачей каждого предисловия является, прежде всего, сближение читателя с предваряемым этим предисловием автором, разъяснение читателю основных мыслей автора, подчас не вполне ему понятных вне общего контекста и углубленного ознакомления с автором. Кроме того, предисловие к книге традиционно ставит себе целью возбуждение в читателе симпатий, уважения, доверия к автору.

Цели, поставленные Ю. П. Иваском в его вступительной статье к обрывкам творений В. В. Розанова, были, очевидно, диаметрально противоположными. Автор начинает с того, что рекомендует читателям Розанова, как «мало известного писателя», но тут же сам опровергает собственные слова, правильно указывая, что Розанов был в течение десятилетий одним из основных, ведущих сотрудников крупнейшей русской газеты «Нового времени» в самую блестящую эпоху этой газеты.

Невольно возникает вопрос: каким же образом этот сотрудник самой распространенной в предреволюционной России газеты мог быть «мало известен широкому читателю». Остается предполагать лишь, что под именем «широкого читателя» Иваск подразумевает действительно широкие слои уездной полуинтеллигенции, питавшейся дешевыми либеральными брошюрками, но не круги национально мыслившей интеллигенции, составлявшей основной кадр читателей «Нового времени». В дальнейшем же из слов того же Иваска следует, что круг читателей и даже почитателей Розанова включал в себя также инакомыслящих, но крупных по тому времени лиц, как, например, М. Горького, Л. Троцкого, Н. Бердяева, Мережковского, Блока, Белого, Гиппиус и т. д.

Вслед за этим идет, быть может, и яркое, но вряд ли объективное сравнение православного мыслителя с горьковским «ужом», который, будучи рожденным ползать, летать, как известно, не смог и из поднебесья угодил прямо в лужу. Эта «лужа» исследована и описана Ю. П. Иваском с особым вниманием и, пожалуй, даже любовью. Автор предисловия рассказывает не только о самом В. В. Розанове, но даже о сексуальном поведении и женских болезнях его мамаши, подводя этим базу под дальнейшее исследование психики Розанова на основе не то заскоков фрейдо-юнговского психоанализа, не то общеизвестной «клубнички». Мы узнаем о тайных сексуальных пороках православного русского мыслителя, доказанных, по мнению Иваска, не любившими своего строгого учителя елецкими гимназистами, о безобразной внешности этого учителя (В. В. Розанова), о его склонности к однополой любви (не доказанной даже гимназистами), о его подхалимстве, проявленном в литературно-публицистической работе, о его продажности, как журналиста, служившего у А. С. Суворина вопреки своим убеждениям, но потому лишь, что Суворин якобы дороже всех платил, о его неискренности, как идеолога русской монархии и даже о склонности этого глубочайшего христианина... к отрицанию Христа с точки зрения юдаизма.

Мало приглядный портрет В. В. Розанова, набросанный столь яркими мазками, вряд ли вызовет доверие к нему у читателя. Не это ли и было главною целью вступительной статьи Ю. П. Иваска? Создав подобную предпосылку для недоверия, Иваск переходит к разбору самого творчества Розанова, начинал, конечно, с религиозного его мышления. Ловкость рук — и ничего более! Религиозный мыслитель, признанный православным христианином не только рядом крупных церковных авторитетов, но даже и суровой цензурой Победоносцева, выглядит со страниц вступительной статьи Иваска не только противником Православной

Церкви, но даже и врагом Христа. Одну из статей В. В. Розанова, критикующей устарелые консисторские формы развода, Иваск разъясняет читателю, как отрицание самого таинства брака Розановым; любовь и уважение к патриархальности, которую Розанов кладет в основу не только русского быта, но и русской государственности, Иваск трактует, как «связь пола с Богом», как «наследие семито-хамитического востока». Оказывается, что даже само бытие Божие для Розанова лишь «мое настроение» и Бог у него «очень личный и случайный»...

Литературный стиль Розанова, красочный, насыщенный народными образами, допускающий недоговоренности, недомолвки и чисто субъективную терминологию, много облегчает в данном случае Иваску его задачу. Прибегая к широко применяемому советской литературной критикой приему «цитатничества», Иваск выхватывает из творений Розанова разного рода недоговоренности, неясности и оперирует ими вне общего контекста, с основными доминантами мышления этого национально-русского философа. Там же, где даже подобной манипуляции сделать нельзя, как, например, в разборе политических статей Розанова, Иваск попросту объявляет его концепции «лицемерными», «черносотенными», «погромными» и с высоты своего «прогрессивного» пьедестала безапелляционно заявляет, что об этих его статьях даже и говорить не стоит. Таким образом, политическое лицо одного из крупнейших идеологов русского самодержавия полностью скрыто от читателя.

Характеризуя литературное наследие Розанова в целом, Иваск не скупится на доходчивые до рядового читателя сравнения. По его словам, Розанов вмещал в себе и сладострастного старика Карамазова, и мелкого врунишку капитана Лебядкина и даже ханжу и лицемера Иудушку Головлева... Что ж тут говорить, горьковский «уж» обрисован с полной точностью во всей своей зловонной прелести. Постарался Ю. П. Иваск! Невольно приходит на мысль то, что он сам принадлежал и принадлежит до сих пор к тому поколению и умственному направлению псевдорусской интеллигенции, которое В. В. Розанов при своей жизни клеймил презрительными кличками «либералишек», «декадентишек» и т. д. Тогда, при жизни этого льва национальной русской мысли, сосчитаться с ним «декадентишкам» не пришлось. Это было опасно. Слишком тяжела была лапа этого льва. А теперь, когда он спит вечным сном в безвестной на русской земле могиле, осененный перед своей кончиной благодатью скуфейки величайшего из на Руси просиявших святителей — святого Сергия Радонежского, это стало доступным и вполне возможным при помощи Издательства им. Чехова. На удар копыта лев не ответит взмахом своей лапы.

О содержании самого сборника «Избранное», в котором не утративший наивности читатель попытается найти хотя бы сжатое отражение всей ширины и глубины мышления Розанова, говорить много не приходится. Отрывки, а вернее обрывки включенных в него статей служат не к пониманию его религиозно-философской системы, но подтверждением характеристики, данной ему Ю. П. Иваском. В этом случае отдадим справедливость редактору «Избранного». Подбор сделан умело. «Темно и не всегда понятно пишет Розанов», говорил о нем К. П. Победоносцев. Именно такого «темного» рода места, содержащие в себе недописки и недомолвки, ловко вырванные из отдельных произведений В. В. Розанова, и включены в его сборник, а остальное, главное, огульно обозванное черносотенством, погромничеством и даже страшнейшим грехом антисемитизма, даже не вычеркнуто, а просто выброшено.

Куда? В мусорный ящик? Нет. Туда эта часть наследия В. В. Розанова не попадет, а будет храниться в сокровищнице русского, почвенного, истинного, национального мышления, сколь бы ни старались охаять ее пузыри потонувшего мира — экс-российские «либералишки».

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
28 июня 1956 года, № 336. С. 4

ПО СТРАНИЦАМ ПЕРИОДИКИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Бабушкин сундук

У каждой добропорядочной бабушки обязательно есть свой сундук. В некоторых из таких сундуков порою можно отыскать очень интересные вещи: пожелтевшие дагерротипы когда-то блиставших красавиц, ларчики дивной работы, тонкие цветистые вышивки... но все прелести неизменно тонут в массе поблекшего обветшалого хлама, ценного для одной лишь бабушки и немногих ее сверстниц...

* * *

Эта статья ни в какой мере не претендует на качественный анализ художественной литературы, появившейся за последнюю пару лет в оживающей после войны периодической печати Зарубежья. Она — только беглый тематический обзор, ставящий себе целью выяснить направленность мысли и слова писателей русской эмиграции в переживаемые нами годы.

Итак, перед нами значительный по размерам ворох журналов и газет. Есть в нем «толстые», «полутолстые» и совсем «тоненькие». Начнем с первых. Толще всех, конечно, нерегулярно выходящий «Новый журнал». Преобладает в нем публицистика. Единственное яркое актуальное для современности пятно в его художественном отделе дает М. Коряков, «новый». Ведущее место среди «старых» литераторов занимает Р. Гуль*, представленный слегка дополненной перепечаткой его уже вышедших воспоминаний о нацистских лагерях.

Далее по объему следует 12 номеров «Возрождения». Первые из них явно бедны в своей беллетристической части. Ведущим романом

---

* Роман Борисович Гуль (1896–1986), писатель, журналист. Родился в семье нотариуса. Окончил Московскую 3-ю школу прапорщиков, служил в действующей армии. Участвовал в Ледяном походе генерала Корнилова. С 1920 г. жил в Берлине, работал секретарем журнала «Новая русская книга». Был участником сменовеховского движения. В 1973 г. уехал в Париж, сотрудничал в газете «Последние новости», журнале «Иллюстрированная Россия». Был масоном. С 1950 г. жил в Нью-Йорке, сотрудничал в «Новом журнале», с 1966 г. был его главным редактором. Автор нескольких книг, в том числе трилогии «Я унес Россию».

в них идет «Камергер и гишпанка» Н. Сергиевского*, перепечатка уже шедшего в «Новое русское слово», весьма далекого от современности произведения. Тематическая связь с переживаемыми годами и даже вообще с Россией, с русскими — в литотделе «Возрождения» очень слаба. Его писатели уносят читателей то в эпоху Кира Персидского, то гоняют их вместе с Паганини по Италии начала прошлого века, то под талантливым руководством покойного Д. Мережковского погружают в глубины религиозной отвлеченности. Мелькает бледная тень З. Гиппиус... рассказик об умной собачке, примирившей поссорившихся супругов... Бедновато!

Зато примыкающий к беллетристике отдел воспоминаний богат, как Рокфеллер. В нем можно многое почерпнуть и узнать даже с кем пила чай та же З. Гиппиус в Польше 20-х годов, кто жил в Коктебеле в тот же период и какую именно пуговицу царского мундира фамильярно вертел А. Керенский в 1917 году... Об этой последней — даже полемика: «не трогал я вашей пуговицы», — пишет сам экс-диктатор, — У меня своих сколько хошь. Это всё Савинков, после обеда в “Астории”, спьяну наврал!». Очень ценные воспоминания!

О временами появляющемся дамско-просоветском журнальчике «Новоселье» говорить не стоит. Переходим к газетам, дающим беллетристический материал. Прежде всего «Русская мысль». В ней перепечатка пары извлеченных из кладовой третьеразрядных (потому и мало известных) романов 30-х годов прошлого столетия, вслед за ними «На распутье» — сухое, но обстоятельное перечисление автором возлюбленных его юности и литераторов, с которыми он некогда встречался, потом, не изданная автором и малохарактерная для его таланта, повесть Шмелева, потом снова *перепечатка*, на этот раз подсоветских писателей М. Булгакова и Петрова с Ильфом. Выбор этих последних, талантливой сатиры «Роковые яйца» и юмористической фотозарисовки (отнюдь не сатиристического вымысла) «12 стульев» нужно признать наиболее удачными. К сожалению для нас, «новых», как и для большинства старых читателей, эти блестящие произведения не новы! Изредка на страницах «Русской мысли» поблескивают талантливые очерки Н. Е. Русского, К. Линейца и других, но и они тонут в мутных волнах всевозможных воспоминаний...

---

* Николай Александрович Сергиевский (1827–1892), священник, профессор богословия, писатель, издатель церковной и духовной литературы. В романе «Камергер и гишпанка» изложена история камергера двора Его Величества Н. П. Резанова, его дипломатической деятельности в Российско-Американской компании и любви к дочери коменданта порта Сан-Франциско. Эта история была описана позднее А. Вознесенским в поэме «Авось», которая легла в основу популярной рок-оперы «Юнона и Авось».

«Новое русское слово» — мощная ежедневная газета, располагающая площадью для беллетристики. Долго и утомительно для читателя заполняли эту площадь псевдоисторические «Ратоборцы». Их сменил столь же нудный роман из эпохи на 140 лет от нас отстоящей, а его — перепечатка уже вышедшего в Европе «Дениса Бушуева» С. Максимова. Но отдадим должное благим стремлениям «Нового русского слова» приблизиться к русской современности. На протяжении этих трех романов редакция прошла путь во времени равный 700 годам, отделяющим «Ратоборцев» от волжских колхозников. Ее руководство, несомненно, стремится приблизиться к русской литературной современности, что видно из добросовестных пересказов выходящего в СССР, регулярно помещаемых в ней по воскресеньям, но присяжные литкритики ее упорно продолжают рыться в могилах Брюсова, Бальмонта, Северянина.

Самым «живым» местом литературной части этой газеты стала захватившая и другие издания дискуссия о С. Есенине. В ней ясно обозначились два литературных фронта: «новых», идущих напрямик к нежной цветастости души поэта, смогших понять даже трудно уловимую ухом интеллигента мужицкую, внешне стоящую на грани кощунства религиозность Есенина, и некоторых «старых», формалистически осматривающих этого поэта «сквозь лорнет», как делала в свое время З. Гиппиус, или столь же надменно, сколь и пошло плюющих в его могилу, как сделал теперь это И. Бунин с высоты своих засохших лавровых венков...

Я умышленно оставил под конец два глубоко различных, политически враждебных издательства, тем не менее парадоксально объединенных одним общим признаком: солидаристов «Посева» — «Граней» и монархистов «Нашей страны». Их политические расхождения не входят в тему данной статьи, а объединяющий их признак — отсутствие «бабушкиного сундука» в их беллетристических отделах. Не будучи солидаристом, всё же ни в какой мере нельзя предъявить к «Посеву» и «Граням» упрека в отсутствии актуальности и современности их литературной тематики. Именно эта четко взятая ими линия и помогла им сгруппировать вокруг партийного ядра изданий крупные литературные силы, значительная часть которых политически отделена от НТС. Нужно признать, что «Граням» в их литературно-художественном отделе удалось удержаться на уровне надпартийности, что стало основой их успеха. О перечисленных «прогрессивных» изданиях этого, увы, сказать нельзя.

О «своей» газете писать не принято, но я позволю себе это преступление против традиций, оправдав себя тем, что, во-первых, даю не рецензию, а лишь литературно-статистическую сводку, и, во-вторых, еще тем, что сам я беллетристику в «Нашей стране» не помещаю по неимению в

ней места. Поэтому — кратко: обе идущих в «Нашей стране» повести Г. Томилина* и Б. Башилова современны, актуальны, хотя различны по стилю и подходу к читателю. Башилов «новый», Томилин «полуновый» эмигранты, и от современности России ни тот, ни другой не оторваны.

Произведем теперь учет перечисленных статистических показателей. В одну группу художественной литературы Зарубежья попадут все «старые» и «прогрессивные» литераторы, при минимуме «новых» и безнадежном отрыве от русской актуальной тематики. Другая группа, подвергшая основательной переоценке «прогрессивность» XIX века, что делают и солидаристы, — вовлекла в себя максимум «новых» литераторов и крепко спаялась с русской современностью.

Причины отрыва «прогрессивных» литераторов Зарубежья (в руках которых фактически находится 9/10 всех издательских возможностей) принято искать в их физической разобщенности с родиной. Подобное разрешение вопроса шаблонно, поверхностно и неправильно. Гоголь, Тургенев, художник Иванов и другие создали свои лучшие произведения также на чужой почве (Иванов около 30 лет не был в России). Незнание «прогрессистами» современности тоже не может служить извинением, т.к. в их творческом арсенале оставалась национальность, русскость, и ничто не мешало тому же «Возрождению» заменить древне-персидскую тему древне-русской, скитания Паганини — много более трагическими мытарствами Мусоргского, религиозные искания Паскаля — духовным миром Сергия Радонежского или Серафима Саровского... Материалы для этих работ они нашли бы в тех же библиотеках. Что же толкнуло «прогрессивных» литераторов к Паскалю, Паганини и Киру Персидскому? Что оттолкнуло их от понимания Есенина, Шолохова?

Ответ: их псевдонациональность.

Выросшие и воспитанные в духе отрицания подлинных ценностей национальной русской культуры (прежде всего ее стержня — религиозного мироощущения), воспринимавшие подлинную Россию, как «тюрьму народов» и «город Глупов», они были скреплены с нею лишь внешне, лишь территориально, и, когда эта связь порвалась, в их духовном багаже не осталось ничего, кроме «бабушкиных сундуков».

* * *

На страницах «Нового русского слова» проходила еще одна дискуссия, которая обещала стать интересной, если бы не осталась внутриредакционной. Некто «Аргус», присяжный рифмоплет «Нового русского

* Речь идет о повести И. Л. Солоневича «Две силы», которую он публиковал в газете «Наша страна» (Буэнос-Айрес) под псевдонимом Глеб Томилин.

слова» и мастер на все руки, обвинил «новых» в «молчании», определив причинами этого молчания «нечего сказать» и «не могут сказать», т.е. полную бесталанность и никчемность «новых». Его робкими оппонентами в силу редакционной замкнутости газеты оказались лишь ее немногочисленные подпевалы из «новых», которые робко сослались на «объективные причины».

Но наличие Коряковых, Башиловых, Максимовых, Нерусских и пр., группы «Граней», Меркуловой и т.д. само по себе дает достойный ответ борзописцу «Аргусу». В дополнение к нему нужно упомянуть лишь о тех рогатках, которыми окружают себя «прогрессисты» в своих «дворянских гнездах». Упомянуть и о том, что у нас «новых» нет пока денег на собственное издательство. Пока… но… пережили же безденежье «Грани». Народятся и другие издательства… и тогда… в «бабушкиных сундуках» копаться не будем! У нас их сверх-«прогрессивные» большевики повытрясли.

Алексей Алымов
«Наша страна», Буэнос Айрес,
2 июня 1951 года, № 72. С. 3–4

Кровь души

В час безмолвного заката
Об ушедших вспомяни ты,
Не погибло без возврата,
Что с любовью пережито.
Пусть синеющим туманом
Ночь на землю наступает —
Не страшна ночная тьма нам:
Сердце день грядущий знает.
Новой славою Господней
Озарится свод небесный
И дойдет до преисподней
Светлый благовест воскресный!

Так, с несокрушимой верою в конечную победу Добра над Злом, Истины над Ложью, Живого Слова над безмолвием смерти, писал поэт-провидец Вл. Соловьев.

Господь управляет путями жизней человеческих, зажигая Слово свое в сердцах избранных. Эти слова горят и светят во тьме. Они испепеляют вместившие их сердца. Люди, отмеченные Господом, подвластны смерти, но слова-идеи, горевшие в их сердцах, в их душах, живут в веках.

Мы стоим у могилы Большого Русского Человека — Ивана Лукьяновича Солоневича, вся жизнь которого была сплошным подвигом. Он принес свое личное бытие, свою семью, свое сердце, свое творчество на жертвенник Родины и сжег все на нем без остатка. Его сердце горело ослепительным пламенем в тяжкой и, казалось бы, беспросветной ночи нашего века.

Тело Ивана Лукьяновича умерло под ножом хирурга, и последние капли живой крови этого тела пали на чужую, далекую землю. Но политые им на жертвеннике Родины капли крови его души упали на наши сердца, на наши... тоже жертвенники... той же России. Они не иссохнут!

«Пусть капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке ночи...»

Эти капли крови — его вещие, могучие, пламенные слова, внушенные ему Господом, слова правды и любви к России. Капли крови его души — его мысли, отданные им нам.

«Глаголом жги сердца людей», завещал величайший из русских служителей Слову. Иван Лукьянович выполнил его завет. Он зажигал сердца людей, сжигая свое.

Теперь очередь тех, чьи сердца горят. Горят любовью к России, к ее прошлому, к ее настоящему и к ее будущему. Слово и только слово — наше орудие в борьбе за нее. Другого у нас нет. Но оно самое мощное из существующих на земле. Иван Лукьянович это знал и говорил, кричал об этом миру.

Не дадим же замолкнуть его голосу. Долг наш, его ближайших сотрудников, продолжать его дело не только по мере наших, сил, но сверх наших сил. Хаос катастрофических лет, пережитых и переживаемых нами, не дал Ивану Лукьяновичу возможности оформить всё богатство своих мыслей в стройную, четкую систему Исторической Русской Национальной Народной Монархии. Он метал комплексы своих мыслей, как связки гранат, в окружавшего его со всех сторон врага. Врага, окружавшего его, и вместе с тем Историческую Россию, ибо мышление Ивана Лукьяновича неразрывно с ее бытием, с ее жизнью в прошлом и с предстоящим ей воскресением. Долг наш, его ближайших сотрудников и последователей, продолжать, развивать, систематизировать то, что он порою мог лишь наметать и бегло, вскользь осветить. Мы будем выполнять этот долг!

Но он стоит не только перед нами, ближайшими к нему. Его голос доходил до самых отдаленных углов Российского рассеяния. В годы войны он был услышан и на Родине. Услышан, понят и воспринят сердцами русских людей. Умолкнуть он не может, но долг всех единомышленни-

ков Ивана Лукьяновича, всех, внимавших его слову, всех сердец русских людей, зажженных этим словом, не дать ему угаснуть и по мере сил своих помогать продолжению дела Ивана Лукьяновича, выходу в свет и распространению «Нашей Страны».

«Наша Страна» — памятник ему. Но не мертвый гранит, возложенный на его могилу в чужой земле. Нет, это *памятник живой*, продолжающий дело *всей жизни* Ивана Лукьяновича, это плодоносные всходы брошенных им семян. Будем все вместе растить их. Будем все вместе трудиться над засеянной им нивой. Ведь эта нива — русская душа. Душа Русского Человека, пережившего страшные годы безвременья его Родины, не сокрушенного, не размельченного в прах этим безвременьем, но сохранившего веру в свой великий народ, в его великие силы и великое будущее. Веру в милость Господню и в себя самого. Веру в Святую Русь.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
9 мая 1953 года, № 173. С. 3

Прошел год

Год тому назад неумолимая смерть унесла из рядов Русского Зарубежья вернейшего сына России и пламенного борца за восстановление ее исторического бытия Ивана Лукьяновича Солоневича.

Вся жизнь этого замечательного человека носила на себе печать судьбоносного предназначения. В период его пребывания в стране советов жизнь Ивана Лукьяновича много раз буквально висела на волоске, и его спасение из кровавых лап палачей бывало порой чудесным. Столь же чудесен был и его побег из большевистского концлагеря — 400 километров пешком по болотам и лесам до Финляндской границы, без оружия, без продовольствия... Только огромная физическая сила Ивана Лукьяновича, его брата и сына позволили им совершить этот подвиг.

Но внутренняя, духовная сила Ивана Лукьяновича, его стальная воля к борьбе за освобождение Родины превышала даже его физическую силу. Едва ступив на почву свободной Европы, он поднимает знамя борьбы за Россию и восстановление ее исторической государственности. Его пламенные призывы разносятся по всему русскому рассеянию, зажигают сердца стремлением к борьбе, вливают силы в ослабевших духом, будят и утверждают уверенность в конечной победе. Ничто не в состоянии сломить его. Даже бомба преступников, унесшая в могилу горячо любимую им жену, не смогла привести к молчанию эту сверхмощную

натуру... И не только большевики, но и немецкие нацисты в период максимального развития их сил страшились его голоса и тщательно изолировали его от русской среды, правильно учитывая его огромную моральную силу и возможности его влияния на русских людей.

Наконец, — освобождение. И. Л. в Аргентине и снова возвышает свой голос и его слышат на всех пяти материках. Его орган «Наша страна» становится единственной в Зарубежьи *русской* газетой, смогшей не только существовать, но и развиваться без какой-либо посторонней помощи, исключительно своими средствами. В этом очень меркантильное, но столь же реальнее доказательство силы влияния И. Л. и главным образом жизненности комплекса провозглашенных им идей.

В чем же их основной смысл? Стремился ли И. Л. к абсолютной реставрации — восстановлению того государственного строя России, который был разрушен в 1917 году? Был ли он сторонником того, что принято называть опошленным термином реакции?

Нет. Нет. Нет. Огонь полемики И. Л. был устремлен более «направо», чем — «налево». Он ясно видел разложение доведшего Россию до революции, изжившего себя правящего слоя последних лет монархии и боролся против его влияния на эмиграцию в той же мере, как и против влияния марксистов и примыкающих к ним псевдолиберальных групп. Изжитость, мертвенность обеих этих крайностей была ясна для И. Л. и он сумел довести эту ясность до сознания широких масс Российской эмиграции. Так создалось и развернулось «Движение штабс-капитанов», — преобразовавшееся в дальнейшем, при слиянии с волной новой эмиграции, в народно-монархическое движение.

Здесь надо отметить еще один чрезвычайно яркий и существенный факт. Комплекс идей И. Л. встретил горячий отклик именно в массе новой эмиграции. И этим подтверждается то, что идеи, высказанные им в Зарубежьи, не только созвучны мышлению подсоветских масс русского народа, но в свою очередь зреют и там, накапливаются в сердцах, хотя конечно, не могут быть высказаны в условиях террора всех видов.

Это созвучие и внутренняя близость мышления И. Л. и влившихся в российское Зарубежье новых контингентов было учтено и оценено его многочисленными врагами. Как мера борьбы с ним, ими был применен «заговор молчания» — старое, но верное средство. Ни одна из «прогрессивных» газет русского Зарубежья не только не вступала в полемику с ним (что, конечно, было бы для них очень опасно), но и не упоминала ни одной строчкой ни о нем, ни о его трудах. Однако и это испытанное средство не дало «прогрессистам» желанной победы. Голос Солоневича был слышен всюду и словам его внимали все те, в ком бьется подлинно

русское сердце. Кончина Ивана Лукьяновича и отклики на нее в Зарубежьи вылились в грандиозную демонстрацию его популярности. Не было русской церкви, где не служили бы о нем панихид. Слова заупокойной молитвы о ого чистой и пламенной душе звучали в Канаде и в Австралии, в роскошных залах Нью-Йорка и в убогих церковках лагерей ИРО, на Афоне и у гроба Николая Чудотворца в Бари. Это были слова молитв, шедших от сердца русского народа.

Но как же ответил, как отозвался на его кончину интеллект русских людей? Ответ на это нам дает свободная пресса российского рассеяния. Орган И. Л., выходящая в Буэнос-Айресе газета «Наша страна» не только не прекратила своего существования, как ожидали это враги, но значительно расширила свою подписку, вовлекла ряд новых талантливых сотрудников и, не смотря на понесенную ею тяжелую утрату, окрепла под водительством принявшего знамя Ивана Лукьяновича — его ближайшего сотрудника и друга Всеволода Константиновича Дубровского с верной помощницей, его женой, Татьяной Владимировной. В условиях эмиграции можно считать также чудом, что эти два человека, ютясь в маленькой комнатке, в предместьях Буэнос-Айреса, смогли не только регулярно выпустить уже более 230 номеров восьмистраничной газеты, но и развернуть целое издательство, единственное в эмиграции, существующее исключительно на свои средства, без какой-либо посторонней помощи. Факт этот следует особенно подчеркнуть, так как кажущаяся беспомощность издательства «Наша страна» является на самом деле его огромной, непреодолимой для врага силой, дающей выраженной на страницах газет и книг русской национальной мысли полную независимость, полный интеллектуальный суверенитет и, да позволено будет так выразиться, — самодержавие Российского национального мышления.

Но диапазон действия голоса Ивана Лукьяновича даже по его кончине далеко не ограничен этими фактами. Мы можем констатировать, что за истекший со дня его смерти год, вокруг газеты «Наша страна» образовалось целое созвездие, плеяда созвучных ей периодических изданий на всех территориях русского рассеяния. В качестве ближайших к ней мы можем назвать выходящий в Сан-Франциско иллюстрированный ежемесячник «Жар-Птицу», периодические издания, выходящие в Лондоне, в Австралии, в Бразилии, в Канаде, в Париже и даже нередко оппонировавшей Ивану Лукьяновичу при жизни г. Чухнов привлек в свой журнал «Знамя России» ряд последователей И. Л. Солоневича.

Издательство «Наша страна», основа которого заложена И. Л., прошло за этот год столь же необычайный путь быстрого роста. Начав с выпуска ходкой беллетристической литературы, оно смогло перейти

к изданиям публицистического характера, выпускать труды самого И. Л. и даже распространяемую даром идейно-пропагандную литературу. Повторяем: помощи издательство «Наша страна» не получало и не получает ни от кого, тем не менее оно беспрерывно растет. Добавим маленькую, но яркую иллюстрацию: издательство «Наша страна» чувствует себя столь крепким материально, что даже не принимает торговых реклам, столь необходимых как материальное подспорье для каждой газеты и журнала.

О чем говорит всё это? В чем скрыт основной стимул силы последователей Солоневича, сторонников утверждения в России принципов Народной Монархии?

Ответ на эти вопросы может быть только один и он ясен для каждого: в силе самих идей, оформленных и высказанных Иваном Лукьяновичем, в их жизненности, в их созвучии эпох, а также мышлению, стремлениям и чаяниям самого русского народа. Иван Лукьянович не в надзвездном пространстве поймал кометы своих мыслей. Он нащупал, отыскал и распознал их в среде самого русского народа, которому он был близок в период своего подсоветского житья, с которым он был слитен в течение всей своей жизни и пребывал неразрывным и посмертный свой час. Судьбоносное предназначение Ивана Лукьяновича было не в «изобретательстве» каких-то программ, каких-то доктрин, но на его долю выпало лишь сказать то, что хотело бы сказать подавляющее большинство российского народа. Не нужно быть мистиком для того, чтобы понять предназначенность жизненной судьбы его, чудесным путем провел его Господь по кровавому хаосу революции, таким же — неисповедимыми путями водил Он его по всей Матушке-России, сталкивал с ее сынами, заставлял Ивана Лукьяновича воспринимать от них сокровенное и перевел его через огненную черту границы для того, чтобы на территории свободного Мира сказать, прокричать этому Миру то, что скрыто за железным Занавесом.

Господь так хотел, Господь приказал, раб Божий Иоанн выполнил. А выполнив, ушел из мира.

Прошел год с момента его ухода, и семена, брошенные Иваном Лукьяновичем в сердца русских людей, дали пышные зеленые всходы. Время придет — и жатва созреет. Время придет, сомнений в этом нет и быть не может.

«Жар-птица», Сан-Франциско,
апрель 1954 года. С. 21–23

Философия здравого смысла

Я позволю себе напомнить уважаемым читателям позабытую большинством из них, но очень созвучную современности сказку Андерсена.

— В некое государство явились два ловких проходимца и уверили его население в том, что они — замечательные художники, мастера, могущие создать королю прекраснейшие, небывалые одежды, столь легкие и тонкие, что видеть их могут только умные, развитие люди.

Они получили заказ и стали делать вид, что ткут, кроют, шьют... и никто не хотел признать себя глупым; все хвалили несуществующие ткани, узоры, украшения... Гипноз общего признания был столь силен, что сам король позволил облечь себя в фантастическую эфемерную одежду... Все превозносили искусство мастеров, и лишь случайно выглянувший поваренок воскликнул: — А король-то голый!

Казалось бы, что может объединить этого сказочного поваренка и современного русского публициста И. Л. Солоневича?

Но, вместе с тем, они крепко связаны между собою. Они оба базируют свою мысль на одних и тех же устоях: здравом смысле и свободе от предвзятых, навязанных извне, «утвержденных истин».

На этих двух, увы, крайне редких в наши дни качествах строит И. Солоневич свою, вышедшую в Буэнос-Айресе книгу «Диктатура импотентов», и подкрепляет свои выводы не ссылками на «общепризнанные авторитеты», не положениями «утвержденных наукой» теорий, но явными общеизвестными фактами, взятыми из окружающей нас современной жизни.

В центре его внимания — социалистические доктрины, под гипнозом которых находится сейчас в той или иной мере большая половина населения мира.

— Один американский ученый, — повествует И. Солоневич, — собрал в своей книге 261 определение социализма, и все они сводятся к одному: «всё будет прекрасно»... лишь только к власти придет именно эта группа социалистических доктринеров. Разница между ними лишь в том, что одни обещают это всеобщее «прекрасно» на завтра, другие на послезавтра, третьи откладывают на 500 лет. Но рядовой человек, уверовавший в осуществление этого всеобщего «прекрасного», не хочет ждать 500 и предпочитает ближайшие сроки.

Мы имеем теперь широкое поле для проверки на практике, на личном опыте осуществления всех этих «основанных на данных точной науки» посулов.

Вот перед нами осуществление ортодоксально марксистской «классической», ленинско-сталинской программы... «Прекрасного» мало!

Испробован нами и немарксистский метод в обработке Гитлера и Муссолини. Результат тот же.

Перед нами теперь протекает еще незаконченный, но уже давший вполне ощутимые показатели социалистический опыт по способу м-ра Этли. Средний англичанин, евший больше всех в мире, принужден повседневно и прогрессивно сокращать свой аппетит. Гордый фунт первый раз в истории девальвирован. Не менее гордый британский лев принужден протягивать свою лапу за океан уже не за данью властителю, а за подаянием нищему... Где же «прекрасное»?

Столь же простому и столь же ясному анализу на основании личного опыта каждого из нас, живущих в XX веке, подвергает И. Солоневич и основные элементы всех социалистических доктрин: плановость производства и потребления, дирижизм, национализации всех видов, и не обозначенные в программах, но неразрывно связанные со всеми формами социализма — безудержное развитие бюрократии — говоря проще: дармоедство, снижение производительности труда и неизбежный в конечном счете тоталитаризм.

Автор называет свой труд «не научным». Он прав, если считать науку только родной дочерью средневековой схоластики. Но ведь личный опыт и реально видимый, ощутимый и неоспоримый факт тоже чему-то учат? И, кажется, достаточно толково и вразумительно? Требует ли явный факт дополнительных подтверждений?

И. Солоневич огулом отрицает также всю философию, забывая, что далеко не вся она заключена в многотомных, опровергавших друг друга собраниях сочинений. Есть и другая: философия здравого смысла, которой пользовался в России малоизвестный философ Сковорода, а в Греции — более известный Диоген, не написавший ни строчки, но научивший кое-чему искушенного в аристотелевой премудрости Александра... и многие нефилософы. Например, русский мужик.

«Диктатура импотентов» ценна и интересна для русского читателя, но еще нужнее она иностранному. Предыдущая книга И. Солоневича «Россия в концлагере» вышла на 20 с лишком языках. Пожелаем этой новой его книге большого количества переводов. Не ради нее самой, но ради читателей. Авось, кто-нибудь из них, прочтя ее, и поднимется в своем понимании современности до уровня андерсеновского поваренка.

Алексей Алымов
«Русский клич», Рим,
октябрь 1949 года. С. 17–18

«Сатирикон»

Журнал сделал редакционную ошибку: в № 4 он поместил пламенную декларацию своей преданности мертворожденному СОНР-у*, ненужную в сатирическом издании, неуместную в данном литературном жанре. Это расхолодило и оттолкнуло от него значительную часть читателей. Тем не менее, оставляя в стороне неудачное политиканство его редакторов, журнал в целом не плох: его поэты остры и занимательны, художники умеют находить темы. Проза много слабее.

Политическая сатира — очень трудный жанр. Она требует от своих работников чрезвычайного внимания к каждому слову, к каждому штриху, отточенности, меткости, созвучия с моментом и большой сработанности всего авторского коллектива. Это достигается не сразу, но в длительном творческом процессе. На протяжении одиннадцати вышедших номеров «Сатирикона» заметны успехи его авторов в этом направлении: тематический плацдарм его литераторов расширяется, художники, грешившие в первых номерах излишним в данном случае реализмом, постепенно овладевают спецификой карикатуры. Жаль, что личность самого Сталина, а не вся система, остается главным объектом их сатиры. Это придает журналу антисталинский, а не антисоветский характер, сужает поле его обстрела. Сатира — мощное оружие и ее орган необходим в нашей борьбе за свободу России. Пожелаем «Сатирикону» очиститься от мелкого, местного политиканства и направить свою силу своего огня на цель № 1, марксизм-советизм во всех его проявлениях.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
5 июля 1952 года, № 129. С. 3

«Литературный современник»

I

Все три вышедших номера журнала имеют прекрасную внешность: убористый, но четкий шрифт, хорошая бумага, чуждая провинциализма, элегантная обложка и даже иллюстрации — связанные с текстом репродукции картин новых русских художников.

* Совет освобождения народов России (СОНР) был создан в Штутгарте в 1951 с целью объединения русских и национальных политических организаций эмиграции в единый центр, однако вскоре произошел раскол и из оставшихся организаций был создан Координационный центр антибольшевистской борьбы (КЦАБ), также просуществовавший недолго.

В литературном отделе много новых имен, но есть и получившие уже известность: Л. Ржевский, Е. Гагарин, С. Юрасов. Большая часть помещенного в нем — «Человеческие документы» бывших советских каторжан. Это — вполне понятная и оправданная реакция вырвавшихся на свободу из тюрьмы. Упрекать за это редакцию нельзя: надо выкрикнуть боль. Подживет рана — найдутся и другие темы.

Вполне уместен и целесообразен отдел «Голоса погибших» — характерные отрывки произведений задушенных советчиной, часть которых осталась неизвестной и советскому читателю, например, мгновенно изъятая «Повесть о непогашенной луне» Б. Пильняка. Приведенные выдержки подтверждают наличие «подспудного мышления» в среде подсоветских русских писателей. Интересен отдел критики. В нем много ценных, ярких статей на современные темы литературы, языка, театра и даже живописи. Широкий охват и объективный внеполитический подход к анализу. Дельно!

Журнал выходит на средства FIF* в Мюнхене. Его главный редактор — Б. Яковлев**, политических воззрений которого мы не разделяем, но, несмотря на это, рекомендуем «Литературный современник» нашим читателям и единомышленникам. Он рассказывает много фактической правды, нужной той части «старой» эмиграции, которая до сих пор еще не уяснила себе внутренней «подспудной» жизни, мышления и психики современного подсоветского русского человека.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
5 июля 1952 года, № 129. С. 3

II

С выходящим под редакцией Б. Яковлева литературно-художественным журналом читатель зарубежья знаком. Этот журнал выпустил четыре прекрасно оформленных, но бедноватых содержанием номера и безвременно угас. Произошло это в связи с окончательным разоча-

---

* «Fund for Intellectual Freedom» (FIF, Фонд Интеллектуальной Свободы) был создан Артуром Кестлером для оказания помощи писателям-эмигрантам; деятельность фонда была в основном сосредоточена в Мюнхене и Париже.

** Николай Александрович Троицкий (псевд. Б. Яковлев), инженер, литератор, редактор. До Второй мировой войны работал инженером-строителем и архитектором в России. Во время войны попал в плен. Был сотрудником Комитета Освобождения Народов России, одним из составителей Пражского манифеста. После войны остался в Германии, жил в Мюнхене, где в 1951–1954 гг. издавал журнал «Литературный современник». Был одним из создателей и директором Мюнхенского института по изучению истории и культуры СССР, в «Вестнике» которого печатался Борис Ширяев. В 1956 г. переехал в США, где работал в библиотеках нескольких университетов штата Нью-Йорк.

рованием Американского Комитета во всевозможных СОНР и КЦАБ. Тогдашние руководители этого почтенного учреждения свалили в одно лукошко и политику и литературу: лишив заработной платы, вернее, попросту разогнав политических проходимцев сбонро-кцабовекой специальности, они заодно лишили материальной поддержки чисто литературный журнал «Современник» и очень интересный и нужный не только для современности, но и для потомства, выпускавшийся европейским объединением бывших политзаключенных в СССР журнал «Воля» под редакцией В. Позднякова*. Подобные совмещения явно несовместимого, очевидно, в духе «американского размаха», а также и... общественно— политической грамотности заатлантических дельцов от политики.

Теперь, исключительно благодаря напористости и энергии Б. Яковлева, «Литературный современник» воскрес, хотя и в несколько иной форме, чем прежде. Этим он обязан помощи «Фиф» — Фонда помощи писателям-беженцам, основанного Артуром Кестлером, за что русская антикоммунистическая общественность должна быть благодарна этому смелому и талантливому писателю, тем более, что перемена питавшего журнал финансового источника, безусловно, очень благоприятно отразилась и на его содержании: в прежнем «Литературном современнике», состоявшем под неусыпным контролем Американского Комитета, мы встречали имена лишь «допущенных и одобренных» этим Комитетом писателей, теперь же в альманахе «Современник» их круг сильно расширился: один лишь беллетристический его отдел насчитывает около сорока имен писателей самых различных как литературных, так и политических направлений что, безусловно, нужно занести в актив возродившегося журнала-альманаха.

Очень различны эти писатели и по своему возрасту, литературному ставку и «известности». Рядом с маститым Ф. Степуном, давшим в альманах, как и полагается в его возрасте, воспоминания о мелочах давно ушедших времен, мы встречаем маленький, но прекрасный, ароматный рассказ малоизвестной, к сожалению, Л. Алексеевой** «Ложная весна» и ярко колоритный по языку, глубоко современный рассказ тоже, к сожалению, мало известного широким кругам читателей, Карпо Линейца «Неписаный закон», а среди стихов находим сильно отдающие запахом парижского морга строчки Георгия Иванова, чередующиеся на стра-

* Журнал «Воля (Ежемесячник Союза бывших политических заключенных из СССР)» под редакцией В. В. Позднякова издавался в Мюнхене в 1952–1954 гг., а в 1951–1952 гг. он выходил под названием «Бюллетень Германского отдела Общества бывших политкаторжан в СССР».

** См. о ней в Приложении «Литераторы-эмигранты».

ницах альманаха с полной весенней радости «Песней о песне» Ольги Анстей*.

Подобное разнообразие неизбежно создает известную пестроту сборника и содержит в себе как достоинства, так и недостатки. Б. Яковлеву удалось привлечь на его страницы очень многих писателей и поэтов, среди которых встречаются и «подающие надежды» и уже осуществившие в своем творчестве такого рода надежды читателей. Это неоспоримый плюс. Но вместе с тем неоспоримо и то, что, вместив на трехстах страницах сорок пьес беллетристов и поэтов, да еще двадцать три статьи и рецензии, редакция вынудила многих авторов выступить с незначительными и не характерными для общего колорита (а также и уровня) их творчества мелочами, отрывками из незаконченных, а, быть может, и недодуманных еще крупных произведений, заставила их укладываться в тесные рамки и этим самым обескровила, схематизировала свою большую и ценную организационную работу.

Трудно, вернее невозможно, сопоставить, в данном случае арифметически, эти два противоположных друг другу знака, и установить преобладание того или другого, но мы позволим себе, хотя бы субъективно, высказаться в пользу преобладания положительного над отрицательным, плюса над минусом.

Переходя к разбору отдельных произведений, начнем с идущих под положительным знаком. Прежде всего, о прекрасном по своему словесному узору и глубоком по вполне разработанной и завершенной теме рассказе Георгия Гребенщикова** «Суд Соломона». Автор сумел не внешне, не механически, но глубинно, органически связать в нем прошлое и настоящее родного ему Алтайского края, слить воедино жизнепонимание его кондовых, непоколебимых в своих традициях крестьян с духом русской законности, выраженном в реформе Царя-Освободителя. Одновременно он показал и подлинного русского интеллигента, не праздношатающегося языкоблуда, но работника, осуществлявшего российскую историческую государственность на далекой, пустынной окраине и сочетавшего там эту оформленную волею Монарха русскую *писаную* законность с *неписаными* законами крестьянского русского быта — фактической основой этой законности. Недурной рассказ «Казачья невеста» дала Ирина Сабурова***, отказавшаяся на этот раз от излюбленных ею переодеваний своих героинь, изумрудных перстней и «алых башень». Просто, по-человечески, подошла она к небольшой теме из неравно пе-

* См. о ней в Приложении «Литераторы-эмигранты».

** См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

*** См. о ней в Приложении «Литераторы-эмигранты».

режитых нами времен, рассекла ее без ложного пафоса, без спекуляций на сексуальных уродствах — получилось правдиво и глубоко.

Сильный но своему драматизму, но тоже лишенный ходульности отрывок из своего романа «Страх» дал С. Юрасов. Перед читателем встала незабываемая картина трагедии Платтлинга, Лиенца, Римини, и других, подобных им, Голгоф русского антикоммунистического движения, уготованных ему утратившими последние остатки совести западными демократиями. Очевидно, автор нашел верный путь к выполнению своей задачи в этом романе, отбросил внешние, натуралистические, бьющие читателя по нервам «эффекты» и предпочел им трудную, извилистую тропу к внутренней трагедии свершенного, что много ценнее и с литературной, и с исторической, и с политической точек зрения. Ведь кровью, насилиями, избиениями, даже истреблениями инакомыслящих никого теперь не испугаешь ни в демократическом, ни в коммунистическом мире. Привыкли к ним люди нашего гуманного двадцатого века. Л. Ржевский также дал в альманах только главу из романа, в котором фигурируют те же персонажи, как и в большом его, хорошо известном читателю, романе «Между двух звезд». В этой главе он рассказывает о гибели своей чудесной «девушки из бункера». Но в этом его рассказе чувствуется и тема судьбы, неотвратимости предназначенного Богом человеку пути. Литературная форма, как всегда у Л. Ржевского, превосходна, и мы с нетерпением ждем появления в печати всего этого романа. Талантливый Борис Филиппов* показан в сборнике рассказом «Золотые яблоки», стоящим, к сожалению, ниже уровня этого писателя. То же приходится сказать об И. Сургучеве. Этому маститому автору прекрасной пьесы «Осенние скрипки» не стоило выступать в альманахе, давшем до известной степени обобщенный просмотр зарубежной русской литературы, с малозначительным, не ярким и довольно банальным по содержанию отрывком из пьесы. Сам редактор Б. Яковлев скромно ограничился тремя лирическими этюдами в прозе. Эти небольшие пьески нежны и мелодичны и, если можно сравнивать, вернее даже, сопоставлять литературу с музыкой, в них чувствуется шопеновские тона. Хорошо становится на душе, читая их, хотя немножко пощипывает в горле и что-то набегает на глаза...

Если расценивать содержание сборника, как хотя бы краткий, поскольку это позволяет место и средства, просмотр зарубежной русской литературы, то приходится пожалеть об отсутствии в нем автора «Мнимых величин» Н. Нарокова, талантливого Свена и некоторых других,

* См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

уже утвердивших свою значительность новых для русского рассеяния авторов. Но не будем ставить этого в вину редакции: альманах свидетельствует о том, что она сделала этом направлении всё, что могла, и даже более чем могла, при крайней ограниченности ее материальные средств.

Несколько слов о стихах, представленных «Литературным современником» довольно обильно, но столь же пестро. Сопоставим два коротких отрывка из них.

...Христианства
Двухтысячелетняя мгла.

Это одна их сторона, один фланг… И другая, другой фланг:

Испеть, исплакать у ног Твоих
Тобой в меня заложенный стих,
Быть малой дождинкой в прибитой пыли,
Быть свечкой в храме Твоей земли.

Первые строки принадлежат «мэтру» парижских парнассцев, рамолических последышей фольгового века. Второй отрывок — перу, а вернее душе О. Анстей, одной из талантливейших представительниц новой русской, выстраданной на родине поэзии.

Эти полюсы говорят, как мне кажется, достаточно о стихах сборника. Поэтому ограничусь упоминанием о выделяющихся над их общим уровнем небольших стихотворениях А. Шишковой и Л. Алексеевой и сожалением об отсутствии среди имен поэтов талантливого и глубокого Кленовского.

Немного придется сказать и о втором отделе сборника — публицистическом, критическом и научном, в который включены также и некоторые воспоминания. В нем явно преобладают литературно-критические статьи о поэтах. Интересного в них мало. Тот же усвоенный, к сожалению, в среде русской эмиграции 1920 года набор трескучих, но мало содержательных фраз. Печально, что этой болезнью отставных критиков заразились и литературоведы военной и послевоенной эмиграции. Ведь основной задачей каждого критического разбора является прежде всего приближение разбираемого автора к читателю, а не отдаление одного от другого неудобоваримой и маловразумительной фразой. Особняком от этого словоблудия стоит дельный, конкретный анализ второго всесоюзного съезда советских писателей, данный Е. Коваленко.

Научных статей очень мало и они слабы. «Мифотворчество грузин»

Г. Робакидзе* грешит примитивной исторической неграмотностью, густо сдобренной дешевым националистическим самохвальством. Трудно назвать такую статью в какой-либо мере научной.

Незначительны по своему содержанию и помещенные в том же отделе воспоминания. Мало ценного и интересного рассказывают Ю. Поплавский** о последней встрече его с Чайковским и Е. Достоевская о первом аресте Милия Достоевского (сына писателя)***.

Внешнее оформление сборника очень хорошее, абсолютно лишенное каких-либо претензий, но вместе с тем солидное и элегантное. Заслуживает лестного отзыва и работа его корректоров. Приходится пожалеть лишь о совершенно неуместном помещении в его начале каких-то каракуль А. Ремизова, очевидно, столь же косноязычного во внешней форме своей писанины, как и в ее содержании.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
8 сентября 1955 года, № 294. С. 4

«Военная быль»

О громозвучных победах, славных битвах русской Императорской армии, о подвигах и доблести ее офицеров и солдат знают все грамотные русские люди, теперь даже и по ту сторону Железного занавеса. Эти факты отражены и в исторической и в художественной нашей литературе.

Но о том, как выковывались составлявшие эту поистине замечательную армию ее чины, офицеры и солдаты, о предшествовавшей совершению подвига, подготовке к нему, о воспитании личности солдата и офицера, об их повседневном быте, их взаимоотношениях, всем укладе их жизни знают даже и здесь, в зарубежье, к сожалению, очень немногие.

Кривое зеркало «прогрессивной» части русской литературы столь исказило мнение о жизни Императорской русской армии, что среди нас до сих пор еще достаточно людей, рисующих себе эту жизнь по широко известному роману А. И. Куприна «Поединок» и однотипным ему «документам».

---

* Грирол Титович Робакидзе (1884–1962), писатель, поэт, драматург, критик. Один из основоположников символизма в грузинской литературе. Жил в Баку, в 1931 г. эмигрировал в Германию. Писал романы, пьесы, очерки.

** Юлиан Игнатьевич Поплавский (1871–1958), выпускник Московской консерватории, отец поэта Бориса Поплавского.

*** Евгения Андреевна Достоевская (урожд. Щукина), жена внучатого племянника (а не сына, как у автора) Ф. М. Достоевского историка-востоковеда Милия Федоровича Достоевского, который был осужден за «шпионаж» и отправлен в лагерь, где скончался в 1937 г.

Журнал «Военная быль», как мы можем судить по дошедшим до нас последним его номерам, стремится к выправлению таких, в корне неправильных взглядов. Он дает на своих страницах множество документов, утверждающих совершенно обратное навязанным нам извне представлениям. Эти документы подлинны и широки по своему охвату: от писем Великого Князя Константина Константиновича, Августейшего начальника всех военно-учебных заведений предреволюционной России, до чисто литературных произведений бывших воспитанников русских кадетских корпусов, а теперь известных писателей А. Маркова и Е. Яконовского*.

Кроме того, читатель найдет в этом пенном журнале много ярких и интересных свидетельств о мало известных ему фактах русской военной истории.

Размеры краткой заметки принуждают отметить лишь главнейшее. Письма Великого Князя Константина Константиновича дают полное представление о непосредственной близости, которую умел достигать Августейшей начальник всех корпусов с кадетами различных возрастов и классов, чуткости, с которой он подходил к их юным душам, и вместе с тем твердости, на которой он строил всю глубоко продуманную и четко организованную систему их воспитания. Воспоминания А. Маркова правдиво рисуют внутренний быт славного Николаевского кавалерийского училища и опровергают столь укоренившиеся в русском обществе нелепые представления о его традициях. Бывший кадет, а теперь известный писатель Е. Яконовский дает ряд автобиографических картин периода Гражданской войны и, как всегда, глубок и красочен в своем творчестве.

Редактор журнала А. А. Геринг** ведет его твердо и умело, несмотря на то, что он не профессиональный литератор, и вообще журнал «Военная быль» абсолютно лишен привкуса «любительства», дилетантизма, которым, к сожалению, грешат многие из наших зарубежных ведущих журналов в своих отделах воспоминаний.

Ценный журнал — «Военная быль». Он заслуживает глубокого внимания к себе со стороны всех читателей эмиграции, а не только военной ее части.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
23 сентября 1954 года, № 245. С. 5

* См. о них в Приложении «Литераторы-эмигранты».
** См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

Заметки читателя

I. «Возрождение», тетрадь 33-я

Высказывая свое впечатление от прочитанной книги или журнала в еженедельном издании, пишущий обязан ограничивать себя. Еженедельник — не ежедневная газета и тем более не толстый журнал: он экономит место, и поэтому предпочтем остановиться лишь на том, что нам кажется наиболее ярким в 33-й тетради «Возрождения». Но это не значит, конечно, что и прочее, помещенное в ней, не заслуживает внимания.

На страницах журнала снова, после долгого перерыва, появилось имя Б. Ширяева. Идет его повесть «Последний барин» первая часть трилогии, последняя часть которой «Овечья лужа» была уже прочтена нами в «Гранях» и позже, повторно, в небольшом, выходящем в Зальцбурге русском журнале «Луч». Снова видим ту же местность — один из уездов среднерусской черноземной полосы и некоторых действующих лиц, которые упомянуты в «Овечьей луже». Но в ней они — доживающие свой век старики, а здесь их молодость и расцвет сил. Общая тема «Последнего барина», как показывает и само название, — упадок последних предреволюционных поколений русского дворянства. Тема эта не новая. Она начата еще Сергеем Атавой*, продолжена многими, а в наши дни широко развернута И. Буниным. Но в отличие от своих предшественников Б. Ширяев смотрит на «оскудение» не как на гниение трупа, но скорее как на естественное, не лишенное своеобразной красоты, умирание выполнившего свою жизненную задачу организма. В том, что прошло в 33-й тетради, нет грязи и смрада, нередко сопутствующего другим авторам, разрабатывающим ту же тему. С интересом ждем дальнейшего ее развития.

Е. Яконовский дает продолжение своего романа «Солнце задворок». Смелая, сочная кисть у этого художника слова. Действие романа развертывается на фоне эмигрантской нищеты, внешне-бытовой грязи, приниженности беженского житья, но автор умеет найти и здесь подлин-

* Сергей Николаевич Терпигорев (псевд. Сергей Атава) (1841–1895), писатель и журналист. Учился на юридическом факультете в Петербургском университете. С 1861 г. публиковал рассказы и очерки на социальные темы в «Русском мире», «Русском слове», «Гудке», «Санкт-Петербургских ведомостях». За участие в студенческих волнениях был выслан на 5 лет в родовое имение в Тамбовской губернии. Вернувшись в Петербург, пишет серии очерков «В степи» и «Оскудение» для «Отечественных записок», показывающих тяжелую жизнь народа после отмены крепостного права. Автор книги «Потревоженные тени», а также сборников «Желтая книга», «Узорочная пестрядь», «Исторические рассказы и воспоминания», «Дорожные очерки».

ные перлы глубоких и прекрасных человеческих чувств и переживаний. Будучи безусловным реалистом, он показывает страдание не как уродство, искажение, падение человеческого духа, но как очищение его, как проявление его высших начал, стимулирующих устремление к Добру. В раздавленном жизнью эмигранте, грязном пьянице, он умеет показать то высокое и прекрасное, зерна чего сохранены в глубинах его души, дают всходы и расцветают, согретые порывом глубокой любви к чужому ребенку покинувшей его женщины. Не обвиняя в подражательности, отметим созвучие Е. Яконовского традиции русского психологического романа, заложенной Ф. М. Достоевским.

В отделе воспоминаний не только привлекает внимание, но приковывает его к себе очерк А. В. Тырковой-Вильямс «Тени минувшего». С никогда не покидающей эту писательницу и мемуаристку правдивостью, А. В. Тыркова-Вильямс рассказывает в этом очерке об интересном эпизоде в жизни русской предреволюционной интеллигенции — демонстрации в Петербургском театре Суворина против поставленной там якобы юдофобской пьесы «Контрабандисты». Интересен сам факт, но еще более интересны и те фрагментарные литературные комментарии, которыми обильно и талантливо снабжает А. В. Тыркова-Вильямс свои воспоминания. Тема расширяется, и из-за эпизода выступает общественное явление во всей его полноте. Автор абсолютно беспристрастен. Обвинить А. В. Тыркову в стремлении оплевать, охаять свое поколение, своих единомышленников было бы полнейшей нелепостью, но вместе с тем ее правдивый рассказ показывает с потрясающей ясностью всю уродливость мышления и общественного поведения интеллигентской молодежи того времени, да и не только молодежи, но и ее зрелых руководителей, показывают и какую-то скрытую руку, направлявшую это поведение.

Очень интересен и разнохарактерен отдел «Дела и люди». Много ценного и в других разделах. В общем, в 33-й тетради «Возрождения» чувствуются какие-то новые веяния, и мы, постоянные читатели этого очень ценного для русской зарубежной общественности журнала, можем лишь пожелать их дальнейшего развития.

Н. Удовенко
«Наша страна», Буэнос-Айрес,
17 июля 1954 года, № 235. С. 7

По страницам журналов

I

Начнем с самого толстого — с «Нового журнала», в объемистой утробе которого читатель рассчитывает найти самое ценное, самое актуальное из периодики зарубежья. Но, увы! Он находит там лишь давно уже переваренную им самим пищу для ума, только продукцию мышления дореволюционных поколений, которой вряд ли с большей для нее пользой питалась русская интеллигенция канувших в прошлое времен. Те же и то же. Наибольшим «новатором» в среде сотрудников «Нового журнала» выглядит сменовеховец Р. Гуль. Он отчасти созвучен текущему моменту: ведь просоветчики и агенты репатриации и теперь, в наши дни, призывают вкусить от благ советских достижений, к чему призывал он не так уж давно. Обособленно стоят имена М. Алданова и Б. Зайцева. Первый волнует читателя остротой скепсиса своих исторических характеристик, второй привлекает его мягкою нежностью осознанного и прочувственного увядания...

Последние тетради «Возрождения» (№ 33 и 34) воспринимаются читателем по-иному, чем «Новый журнал», и даже иначе, чем предыдущие выпуски самого «Возрождения». Запах нафталина, в котором хранились «чистые ризы российской демократии», постепенно выветривается. В оглавлении несколько новых, заинтересовывающих читателя имен и даже, — что было абсолютно невозможно в нафталинные времена журнала, — большая статья о народно-монархическом движении и его основоположнике И. Л. Солоневиче, замкнутом до того «вторую цензурой» «прогрессивного» крыла зарубежья в круг замалчивания. Эта статья без подписи, что позволяет считать ее выражающей точку зрения редакции, взгляды которой на этот раз лишены той обычной злобности, с которой произносят штампованные «прогрессисты» ненавистное им имя И. Л. Солоневича. Читатель находит в ней вполне корректную и обоснованную со своей точки зрения полемику против резких суждений Ивана Лукьяновича о значении эпохи Петра I и о личности его самого. Полемика эта не нова, так же как и взгляды Ивана Лукьяновича. Они были высказаны еще славянофилами первой генерации — и тотчас же встретили ожесточенные возражения в среде западников. Далее — легкий полемический выпад против Б. Ширяева. Автор статьи правильно признает его последователем и сторонником исторической схемы Н. Я. Данилевского, но ошибочно обвиняет обоих в секуляризме. И Данилевский утверждает религиозное сознание, как основу своих культурно-исторических типов, и Ширяев следует ему, подтверждая свои историко-политические концепции образами

своих беллетристических произведений. В целом эта статья даже дружественна, а не враждебна народно-монархическому движению.

Несколько статей Н. Андреева*, объединенных под общим заголовком «Заметки читателя» (кстати, из текста ясно, что не читателя, а профессионального критика), возбуждают некоторое недоумение. В первой из них, правильно озаглавленной «Дважды два — четыре», автор доказывает неоспоримую истину, что русской эмиграции есть, что сказать, что ее голос должен звучать и что «дерево эмигрантской литературы рубить не стоит». Всё это ясно и доказательств не требует. В другой же статье, озаглавленной «Заповедник», Н. Андреев изо всех сил, но тщетно старается убедить читателя в ценности шутовского косноязычия А. Ремизова и в ней же признается, что книги Ремизова читатель зарубежья не берет даже в руки — продается всего по сорок экземпляров из издания. Таким образом, в первой статье, критик утверждает не требующее доказательств, а во второй пытается доказать свои взгляды без подтверждений.

В литературно-художественном отделе внимание читателя привлекают к себе прежде всего повести Е. Яконовского «Солнце задворок» и Б. Ширяева «Последний барин». Автор первой из них, безусловно, глубокий и тонкий психолог, улавливающий едва заметные изивы душевных настроений и мастерски, без аффектации и подмалевки, показывающий их читателю. Повесть Б. Ширяева вызывает иные эмоции. В ней чувствуется свежесть липового цветения старых помещичьих садов средней России, ощущается красота угасания последних «дворянских гнезд», но автор рассказывает о ней без надрыва и даже без сожаления к ушедшему. Сменяются времена, сменяются песни. Всё течет, как должно тому быть. Но «сегодня» не должно заслонять собою зарю ушедшего «вчера». Об этих авторах говорят. Они близки читателю.

Лирический же этюд Г. Пожедаева** «Четыре ветра» узко объективен и в силу этого слабо воспринимается читателем.

---

* Николай Ефремович Андреев (1908–1982), историк, литературовед. Жил в Эстонии, затем учился и работал в Праге. Публиковал очерки по истории русского искусства и литературы в газетах и журналах русской эмиграции. В 1945 г. был арестован и провел два года под следствием в советских тюрьмах в Германии. После войны жил в Великобритании, где преподавал в Кембридже, вел курсы по истории Киевской и Московской Руси и иконописи.

** Григорий Анатольевич Пожидаев (в эмиграции сменил имя на Георгий Анатолиевич Пожедаев, Georges de Pogedaieff) (1894–1971), художник, сценограф, поэт. Работал художником-декоратором в Петербурге. В 1920 г. эмигрировал в Румынию, затем жил в Праге, Берлине, Вене и Париже, оформлял спектакли и концертные номера в театрах русской эмиграции. С 1937 г. занимался живописью и графикой, сделал иллюстрации к произведениям Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова. Кавалер ордена Почетного легиона.

Ю. Трубецкой* заканчивает свою повесть «Нищий принц» ярко вырисованной ям картиной быта халтуристов литературы в начале НЭПа. Данные им меткие характеристики вполне созвучны картинам и образам, набросанным Г. Ивановым в его книге «Петербургские зимы». Не напоминают ли они также современных «парижских поэтов» зарубежья, общепризнанным мэтром которых состоит тот же Г. Иванов?

Теперь о «Гранях» № 21. Журнал открывается «Сентиментальною повестью» Л. Ржевского. Ее эпиграф избран очень удачно: «О память сердца! Ты сильней “Рассудка памяти печальной”».

Именно память сердца, своего собственного сердца, могла вдохновить автора нежным и глубоким лиризмом, которым проникнута вся вещь — песня о незавершенной, недосказанной, оборванной, но не вырванной из сердца любви... Но с этой «вечной» темой Л. Ржевский не сплетает, но органически сращивает другую — чисто современную политическую и актуальную — травлю в стенах советского ВУЗа ученого, осмелившегося высказать некоторое свободомыслие в своей научной работе. Образы, набросанные автором короткими, но четкими штрихами, ярки и жизненны. Каждый персонаж представляется глазам читателя вполне законченным, определенным и ясным. Мастерская разработка Л. Ржевским одновременно двух, столь далеко отстоящих друг от друга тем, блестяще подтверждает уверенность «новых» писателей зарубежья в том, что политика не висит тяжким камнем на шее современной литературы и не тянет ее ко дну, как кричат их противники. Вся современная жизнь и особенно в стране Советов пропитана политикой, вплоть до тарелки и постели. Можно ли исключить ее при описании самой жизни? Косвенно подтверждает эту связь и язык, которым написана «Сентиментальная повесть». Он таков, каким говорит теперь интеллигенция подсоветской России. Л. Ржевский со свойственным ему художественным чутьем лишь очистил его от вульгаризмов и газетных шаблонов. В результате — чистая, выразительная и образная речь. Начало повести — описание весенней Москвы — буквально чарует своею правдой и глубиной образов того, кто знает и любит это время года в Москве.

Верен себе певец природы северной Руси, последователь и продолжатель Пришвина — В. Свен. Но на этот раз в его гармоничном очерке «Селигер» он не тоскует, не мучится одиночеством, как в некоторых предыдущих вещах, а, наоборот, радостно рассказывает о красотах дивного озера, с юмором — о советских порядках на нем и с любовью — о встрече с оборванцем, оказавшимся Василием Ивановичем Качало-

* См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

вым. Какая-то тихая умиротворенность овладевает читателем при чтении написанного Свеном. Очень интересны очерк В. Унковского* о Куприне и «За спиной героев» В. Самарина; «Дневник коллаборантки» Л. Осиповой переполняет читателя излишними деталями и тем притупляет его интерес к актуальной теме. Тем не менее, он содержит в себе много ценного. Сильны и глубоки стихи Кленовского.

Читателю остается еще высказаться о, к сожалению, мало известном широким кругам зарубежья регулярно выходящем в Сан-Франциско, единственном в эмиграции иллюстрированном журнале «Жар-птица». Тем, кто внимательно следил за развитием этого журнала на новом месте — в былые годы он выходил в Шанхае — ясен постепенный, но неуклонный рост его качества. Редакция, очевидно, не обеспеченная материальной базой, всё же сумела вовлечь в свою работу нескольких глубоко интересующих читателя авторов, как уже известных, так и совсем новых. Кстати, большинство сотрудников журнала принадлежит к числу новой эмиграции. Крупных вещей размеры журнала помещать в нем не позволяют, но только короткие рассказы и очерки. Поэтому воздержимся от указаний имен, отметив лишь одно — историко-этимолога А. Кур**, дающего очень смелые, порою даже поражающие читателя изыскания о древней, до Св. Владимира, эпохе жизни русского народа и первого русского государственного образования. На текущую современность «Жар-птица» также быстро и чутко реагирует, информируя о главнейших событиях дня и помещая соответствующие фотоклише.

Можно было бы еще много написать как положительного, так и отрицательного, о нашей литературно-художественной периодике. Она, безусловно, оживает и обновляется, пополняется новыми соками после перерыва военных лет. Но довольно. Ведь эта статья озаглавлена «Заметки читателя» — только простого читателя, который рассказывает в ней о своих наиболее ярких впечатлениях, воспринятых от прочитанного. Детально и углубленно судить о творчестве авторов зарубежья предоставим присяжным критикам. Их достаточно, и у каждого в запасе более чем достаточно нужных и ненужных, содержательных и бессодержательных, злых и добрых, а больше всего, затасканных, штампованных

* См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

** Александр Александрович Куренков (в 1946 г. в США изменил фамилию на Кур — Koor) (1892–1971), генерал-майор, редактор, издатель. Участник Первой мировой войны, Георгиевский кавалер. Участник Белого движения на Востоке России, с 1921 г. жил в Манчжурии, в 1923 г. перехал в США. Впервые в журнале «Жар-птица» (Сан-Франциско) опубликовал «Велесову книгу». Был издателем и редактором монархической газеты «Вестник правды» (Сан-Франциско, 1964–1968). Похоронен на участке Союза Георгиевских кавалеров на Сербском кладбище в Сан-Франциско.

слов. Платя дань юбилейному году, вспомним фразу Чехова о присяжных критиках: «Наибольшее впечатление произвел на меня Скабичевский. Он написал, что я умру пьяным под забором».

Мудрое речение этого «прогрессивного» критика, как мы видим, в дальнейшем не подтвердилось.

Н. Удовенко
«Наша страна», Буэнос-Айрес,
2 сентября 1954 года, № 242. С. 7–8

Заметки читателя

II. «Возрождение», № 35

Начнем с упреков. Литературный отдел последнего номера «Возрождения» открывается рассказом А. Ремизова «Алазион». Это — «вывеска», но вряд ли она привлечет к себе внимание читателя. Мало найдется таких, кому было бы действительно интересно и приятно прочесть грубую вариацию на тему гоголевского «Вия», граничащую с плагиатом и, кроме того, замусоренную грамматическими неправильностями и нелепым словотворчеством. Можно ли писать, например, «неведомый объявитель», когда для всякого грамотного человека ясно, что объявляют *не неведомым*, а *не ведающим,* или заменять прекрасное русское слово *пригород* несуразным *окологордьем*? А что такое «безвестный ведец»? «Похитники»? «Зинутий»? Или шедевр словотворчества — «крк»?

Недавно В. Зеелер в своей рецензии на книгу Б. Ольшанского обвинил автора в употреблении им общеизвестных в СССР, но непонятных некоторым в эмиграции слов «комбат», «начдив», и т. п., заявив что такую книгу нужно читать со словарем. Но где найти словарь для уразумения нелепого376 словоблудия А Ремизова? — может спросить читатель г. Зеелера.

И еще упрек. Лучшие вещи, идущие в последних номерах «Возрождения», «Солнце задворок» Е. Яконовского и «Последний барин» Б. Ширяева, даны в столь малых дозах, что читателю просто нечего о них сказать и подумать. Ему было бы во много раз приятнее, если бы «Возрождение» применило метод дореволюционных сборников-альманахов: давало бы меньшее количество авторов, но полнее каждого из них.

На этом кончим упреки и перейдем к наиболее заинтересовавшим нас страницам. В «Маленьких рассказах» привлекает внимание «На рассвете» Е. Тарициной. Сколько искренности, чуткости, понимание девичьей души и умения выразить ее в слове у этого автора! Прочтя этот неболь-

шой рассказ, невольно вспоминаешь дивные страницы Л. Толстого, запечатлевшие переживания Наташи Ростовой на первом балу. Не будем говорить о разнице масштабов авторов, но отметим разницу в общем антураже великосветского бала Наташи и советской вечеринки Настеньки. Дистанция между ними огромна, но чувства обеих девушек... очень близки между собою. Вся гнусь советчины не смогла вытравить из души русской девушки того вечно женственного, вечно прекрасного и чисто русского, что показал в свое время Л. Толстой. Спасибо Е. Тарициной, что она сумела рассказать об этом.

Глубокое впечатление оставляет передовая статья А. В. Тырковой-Вильямс «Россия и Азия». Автор сумел доказать, что сложные историко-политические проблемы можно трактовать не общепринятым, к сожалению, сухим «профессорским» языком и не трескучими фразами журналиста, а изящным, воздействующим на чувства читателя словом, и мысли писателя от этой перемены не умаляются, но, наоборот, легче полнее и глубже воспринимаются читателем. Кроме того, статья А. В. Тырковой обильно насыщена фактами, мало известными многим из читателей и ярко иллюстрирующими высоко гуманное и мудрое управление царскими ставленниками присоединенных к России областей и государств, в частности, Средней Азии и Кавказа.

Знать это нам нужно, чтобы смыть с лица Императорской России тот деготь, которым измазали его «прогрессивные» писатели, публицисты и даже историки. «Злое словечко — господа Ташкентцы — пустил Щедрин, — пишет А В. Тыркова, — точно дегтем зачернил предприимчивость геройство, здоровое стремление сильного народа расширяться, обогащать жизнь, свою и своих соседей. Россия, прежняя дореволюционная Россия, много от Азии брала, но очень много ей и дала».

В отделе воспоминаний необычайно интересна статья П. Иванова «Законоучитель Императора Александра II и митрополит Филарет», рисующая яркий образ высоко образованного и глубоко проникнутого духом Христовым русского священника, и одновременно отношение к нему со стороны ханжествующих аристократов и даже подпавшего под их влияние высокого иерарха Синодальной Церкви. Приятно и интересно было прочесть правдивые и легко написанные страницы М. Георгина и С. Мацылева. Столь же приятно было видеть в разделе «Литература и искусство» новые имена, например, широко известного по другим изданиям В. Рудинского, отсутствовавшее на страницах «Возрождения» при прежнем руководстве этим ценным журналом. Будем ждать и дальнейшего расширения круга его сотрудников, расширения вне рамок узколобого политиканства.

Среди стихов западают в душу строчки Владимира Смоленского*:

Не стремись к земным вершинам — силы
Береги для тех иных высот,
Где над бездной Херувим поет,
Где парят Престолы, Власти, Силы.

Касаясь сокровенных глубин человеческой души, этот поэт находил свой творческий путь. Грубый реализм внешности нашей жизни — не его сфера. Хорошо и то, что он представлен в этом номере разом пятью стихотворениями, что дает читателю более полное представление о нем.

Заключительный отдел «Дела и люди», как всегда в «Возрождении», разнообразен и интересен. Кстати позволим себе немножко пополемизировать с П. Ковалевским, почему-то обрушившимся на статью «Печальные юбилеи», в частности на некоторые бесспорно справедливые и ни в какой мере не умаляющие величия таланта Чехова замечания о нем автора. Не ясно ли каждому то, что, проживи Антон Павлович еще 10-15 лет в добром здоровье, он дал бы, несомненно, гораздо больше русской литературе? Где же здесь умаление его таланта, в чем обвиняет П. Ковалевский автора статьи? Обсуждение любой проблемы с разных точек зрения, конечно, всегда ценно, но эти точки зрения должны быть в какой-то мере обоснованы, чем П. Ковалевский пренебрегает.

По дошедшим до нас сведениям, журнал «Возрождение» с будущего года переходит на ежемесячный выпуск. Это очень ценно для читателя. Двухмесячные перерывы в чтении крупных вещей обесценивают их самих, с одной стороны, и лишают читателя полноты впечатления.

Н. Удовенко
«Наша страна», Буэнос-Айрес,
18 ноября 1954года, № 253. С. 7

III. «Возрождение», № 36

Декабрьская тетрадь «Возрождения» как бы подводит итоги истекшего, довольно сложного в жизни журнала, года. В ней заканчиваются две наиболее крупные и по размерам и по литературному значению повести: «Солнце задворок» Е. Яконовского и «Последний барин» Б. Ширяева, что позволяет и читателю полнее проанализировать и высказать о них свое мнение. Оба автора заключают свои произведения смертью их «героев», но освещение, которое дал каждый из них этой трагической для человека неизбежности, ярко характеризует индивидуальные особенно-

* См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

сти одного и другого. Психолог Е. Яконовский последовательно провел своего «героя» по всем ступеням жертвенности, внимательно исследовал и показал читателю каждую из этих ступеней и, возведя на высшую из доступных в земной жизни — на жертвенник смертного подвига, обсек на нем исследованную им жизнь. Почвенник Б. Ширяев тот же акт физической смерти представил не драмой, но естественным и даже желанным *концом драмы ушедшей жизни*, возвратом к нарушенному ею, земной жизнью, духовному бытию, тем, что в народе у нас до сих пор еще говорят: «отмучился». На волнах угарного дыма с жертвенника самоубийцы вознес душу своего страдальца Е. Яконовский. Благостным звоном к ранней заутрене притекшим по тихой глади русской речки, проводил своего «последнего барина» в иной мир Б. Ширяев. Обе эти повести сделали лицо истекшего года журнала «Возрождение», и это лицо близко читателю, он отраженно видит в нем обе половины своей жизни: эту, что протекает в реальности «здесь», и ту, что «там», недоступную для его тела, но реальную для его души.

В. Рудинский, которого мы знали до сих пор лишь как публициста, продебютировал в беллетристике рассказом «Любовь мертвеца», развернутым им в современности, но выдержанным в стиле романтики начала прошлого века. Надир-Бек также дал приятный по колориту небольшой этюд «Каленька», набросанный в спокойном, ровном ритме жанра семейных хроник. Рядом с этими рассказами нужно поставить и охотничьи воспоминания кн. Искандера, насыщенные искренней любовью к животным и русской природе. Мы, живя поневоле в гаме и сутолоке своего века, отдыхаем при чтении таких вещей. Они нужны нам, и честь тому журналу и тем авторам, которые облегчают ими наши нерадостные дни.

А. Александрович* возобновил в номере 36 прерванные и всегда интересные «Записки певца». На этот раз он воскрешает в нашей памяти образ «властителя дум» нашего детства — знаменитого клоуна-дрессировщика Анатолия Дурова.

Стихи Н. Туроверова и Ю. Трубецкого поставлены на смежных страницах и невольно напрашивается сравнение этих поэтов. Как близки русской душе абсолютно лишенные надуманности и претенциозности строки самобытного казака, первого из них, как легко достигают они на-

* Александр Дмитриевич Александрович (наст. имя Александр Дормидонтович Покровский) (1879–1959), артист оперы (тенор) и драмы, педагог. Окончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. Пел в студенческих хорах. Был солистом Мариинского театра, участвовал в «Русских сезонах» С. Дягилева. В 1919 г. эмигрировал. Жил в Париже. Выступал с концертами, участвовал в создании и был профессором Русской консерватории в Париже, вел оперный класс. Публиковался в журналах «Возрождение» и «Вестник РСХД».

ших сердец и... с какими, нередко тщетными, потугами и ухищрениями стремится к тому же второй поэт.

Литературно-критический отдел на этот раз несколько однообразен. Бунин, Чехов, Шмелев, Гречанинов — одни только юбилеи. Хочется слышать и читать о живых, живущих и борящихся. Но этот пробел заполняет раздел «Дела и люди». Он полон современности. Каждая из помещенных в нем статей глубоко актуальна, своевременна и идейно заострена.

Н. Удовенко
«Наша страна», Буэнос-Айрес,
13 января 1955 года, № 260. С. 4

IV. «Возрождение», № 37

Первая тетрадь текущего года посвящена двухсотлетнему юбилею Московского университета. Она открывается статьей В. Маклакова, озаглавленной «Университет и Толстой». Читатель несколько удивлен, так как помнит, что Л. Н. Толстой учился не в Московском, а в Казанском университете, да и то недолго. Он, конечно, с интересом вчитывается в эту статью, надеясь найти в ней нечто совершенно для него новое, но, к своему разочарованию, ничего нового в ней не находит. Семнадцать страниц статьи дают пересказ давно уже известного о Л. Н. Толстом вообще, и ни слова не говорят ни об его связи с Московским университетом, ни о самом Московском университете. Очевидно, шампанское, выпитое автором этой статьи за столом советского полпреда Богомолова при поздравлении его с победой и укреплением советской власти, расслабляюще подействовало на его память. Вторая статья о Московском университете профессора В. Н. Сперанского содержит много фактического материала и приходится пожалеть, что редакция уделила слишком мало места этому автору, или он сам пожелал быть излишне кратким.

На первом месте литературного отдела стоит рассказ И. Сургучева «Черная тетрадь», вернее его начало. Тепло, искренно и правдиво умеет писать И. Сургучев. Те, кто знают город, о котором он пишет, подтвердят это. Столь ясно и любовно повествует о нем автор. Нежно и проникновенно рассказывает он и о мгновенно возникшей любви, зажегшей светлым огнем два юных сердца. И. Сургучев умеет «любить любовь» и радоваться юности сквозь призму прожитой жизни. Это большой дар, превращающий его «Черную тетрадь» в чистую, светлую запись давно пережитого, невозвратно ушедшего.

Б. Ширяев, закончивший в декабрьском номере «Возрождения» повесть «Последний барин», начинает с нового года ее продолжение — «Ваньку Вьюгу». Тот же пейзаж, но освещенный с другой стороны, в ином аспекте. «Последний барин» — лебединая песнь угасающего поместного дворянства. Персонажи «Ваньки Вьюги» — крестьяне и главные действующие лица, в конфликте между которыми, видимо, строится повесть — конокрад и урядник. Большая смелость со стороны автора выдвинуть в герои урядника. Насколько помнится, это первый случай в русской литературе. И как бы заплевала автора, осмелившегося выдвинуть такого героя, критика XIX века! А теперь, среди нас, русских политических эмигрантов? Вероятно, и теперь найдутся желающие плюнуть в этого незаметного труженика, охранявшего их безопасность, но, думается, что пережитое все-таки кое-кого кое-чему научило и читатель оценит литературный образ, любовно и четко вырисованный Б. Ширяевым уже в первых главах повести.

«Тяжела ты, жизнь урядника Российской Империи! Один на всю волость, а в волости без малого двадцать тысяч человек... В грязь, в дождь, в метель гоняй по волости. А какое тебе от казны жалование? Поменьше того, что сидельцы у купцов в лавках получают. А они в тепле и работа чистая...» — рассказывает о себе герой повести Б. Ширяева, верно зарисованный им подлинный, незаметный герой, которого современное ему русское общество не умело увидеть, не умело оценить, и превратило в пугало охранявшего покой и благосостояние труженика.

Как всегда, ярок и правдив очерк А. В. Тырковой-Вильямс из серии «Тени минувшего». На этот раз она рассказывает о своих встречах с «властителями дум» русской интеллигенции предреволюционного периода. «Я пишу не критику», — предупреждает она читателя, — «я только восстанавливаю некоторые особенности литературного быта и духа того времени». Это обещание она честно выполняет. Перед читателем проходит «напоминающий полотера» Горький в дни его молодости, исчезает и снова появляется уже во всей своей славе певца революции, скупая за гроши драгоценный фарфор у ввергнутых в нищету своих поклонников, голодных, гонимых стариков.

Столь же ярка данная ею характеристика четы Мережковских-Гиппиус. Сам лжепророк, «бросающий туманные слова голосом чревовещателя», и достойная его супруга, «откликающаяся на них междометиями», — «выходило достаточно нелепо», констатирует А. В. Тыркова, а не лишенный русского здравого смысла Горький хмуро отмахивается от четы шарлатанов. «Так, штукарство одно», говорит он. Но мало было

таких, кто умел разгадать внутреннее ничтожество этих «мнимых величин». А. В. Тыркова рассказывает о сборах на революцию в квартире Евдокимовых, кадетов по принадлежности к партии, но сочувствовавших и тем, кто готовился взорвать мир, к которому эти оппозиционные по отношению к самодержавию лица принадлежали. «Так буржуи добродушно рыли себе яму», пишет она.

Раздел поэзии на этот раз возвышается над обычным уровнем парижского Парнаса. В. Смоленский подлинно блеснул насыщенным глубоким чувством стихотворением «Россия». Интересны своим ритмическим построением и ценны силой вложенного в них реализма стихи «Г. П.», особенно стихотворение «Расстрел», но резко диссонирует им извлеченные из нафталина, непонятно для чего втиснутые в журнал формалистические версификации Федора Сологуба.

Анатолий Марков, приучивший нас, читателей, следить с большим интересом за его историческими очерками, на этот раз суховат, да и факты, вернее освещение, данное автором в очерке «Гайдамаки», можно с успехом оспаривать.

Литературно-критический отдел явно уклонился от своих задач, поставленных перед собой журналом «Возрождение». Русского в нем на этот раз очень мало. Он заполнен французским материалом и даже по какому-то недоразумению рецензиями на постановки парижских театров.

Зато раздел «Дела и люди» не только отвечает запросам читателя русского зарубежья, но показывает явное стремление журнала сомкнуться с современностью, осветить и проанализировать жизнь наших братьев, отрезанных Железным занавесом. «Религиозное возрождение», «Провал Молотова», «Загадки внутренней борьбы» — ценные и дельные статьи.

В составе редакции журнала произошли значительные изменения. Во главе редакции теперь стоит Г. А. Мейер. Судя по одному номеру, нельзя, конечно, дать ни положительной, ни отрицательной оценки этой перемене. Поживем — увидим.

Н. Удовенко
«Наша страна», Буэнос-Айрес,
17 марта 1955 года, № 269. С. 7

Правдивая повесть

Издательское дело в Зарубежьи почти не сдвинулось еще с мертвой точки. Причины этого лежат в материальной слабости, как самих издательств, так и покупательной способности всё еще расселяющейся массы «перемещенных лиц», но, как это показывают выходящие периодические издания, — не в отсутствии творческой работы в среде этой массы. В силу этого, теперь уже можно и должно говорить о наиболее крупных беллетристических произведениях, появляющихся в зарубежных русских журналах.

К числу их безусловно относится законченная печатанием в «Гранях» «Девушка из бункера» Л. Ржевского. Автор не только беллетрист, но и литературный критик, уже выступивший с рядом глубоких, продуманных статей. Это дает право предъявить к нему повышенные требования, не как к дебютанту, но как к зрелому, оформившемуся литератору, и Л. Ржевский отвечает на них четкой конструкцией фабулы, ее «отчищенностью» от отвлечений и длиннот, ясностью характеристик персонажей. Видно, что он строг к себе, и литературная работа для него не случайность, но жизненная цель.

Но основная ценность его повести в ее правдивости и объективности. Л. Ржевский сумел подойти к своим героям без предвзятого желания окрасить их в черный или белый цвет. Это и помогло ему разрешить трудную задачу: показать *современное* преломление «тургеневской девушки», дать его вне условных стилизационных приемов, чего не смог сделать со своей героиней С. Максимов* («Денис Бушуев»).

Л. Ржевский дал образ своей Наташи в очень простом, не осложненном драматической декоративностью рисунке и именно в силу этого смог правдиво и жизненно показать ее духовное «зерно», не нарушая внешней правдивости облика обычной комсомолки.

Фабула повести развернута им на столь близком еще нам фоне быта, оккупированной зоны России и лагерей военнопленных. В отделке деталей этого фона Л. Ржевский сумел сохранить ту же объективную правдивость, избежав трафаретного, к сожалению, для бездари изображения немцев «эренбурговскими фрицами» и русских — поголовными ходульными страстотерпцами. Он бросает темные и светлые мазки на обе стороны, и в этом та же правда.

Глубоко драматичная для нас проблема сочетания «пораженчества» и любви к Родине автором не разрешена. Он коснулся ее лишь поверхностно отдельными разорванными между собой мазками. Видимо, он и

* См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

не ставил разрешение ее своей целью. Быть может, он глубже к ней подойдет в продолжении повести, возможность которого заставляет предполагать финал напечатанного, обещающего «неизвестное завтра».

В части языка Л. Ржевского можно упрекнуть в стремлении к неоправданной «новизне», толкающем его к вычурности и манерности. «Прососанные небесные обочины», «взлизнулось» и т.п. не обогащают языка новыми образами, но загромождают и лишь осложняют его, не повышая художественной ценности эпитета.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
3 ноября 1951 года, № 94. С. 7

По страницам журналов

II. Смелый роман

Просматривая в памяти всю русскую литературу XIX века, мы не найдем в ней ни одного сколь либо яркого отрицательного изображения революционера, подпольщика и даже террориста. Все разновидности этого чрезвычайно характерного для эпохи типа неизменно идеализировались, или, по крайней мере, героизировались «прогрессивной» литературой, даже бесспорные, явные бандиты вроде Сашки Жигулева. Это инспирированная и утвержденная «прогрессивной» же критикой традиция не могла быть нарушена даже в эмиграции. Краснов и Брешко-Брешковский с их бутафорскими большевиками в счет не идут. Но и Краснову, несомненно талантливому в своем жанре писателю, пришлось поплатиться за свою попытку — попасть в «лишенцы от литературы».

Эта «прогрессивная» традиция крепка и теперь, вопреки абсолютной ясности темы и здравому смыслу. Страшно срывать с демона личину божка. Даже смелейший из писателей «старой» эмиграции всё же ищет каких-то оправданий для залитых кровью не только Царя-Освободителя, но (теперь) и всего русского народа убийц в своих «Истоках».

Идущий в «Гранях» роман В. Мартова «Угасшие звезды» пробивает брешь в этой глухой стене. Автор, четко и крепко конструируя сложную фабулу, рисует в нем революционную работу подпольного кружка молодежи первого десятилетия текущего века: нелепое, гнусное убийство рядового, обычного инспектора гимназии; внутреннюю, полную зависти и злобы друг к другу жизнь этого, включающего представителей разных партий кружка и их общую звериную ненависть к России — единственный спаивающий их цемент.

В. Мартов объективен и смел. Он не побоялся даже отметить приоритет нерусского элемента в кружке и духовную уродливость его русских членов. Рисуя противный лагерь — прокурора военного суда и генерал-губернатора барона Меллера Закомельского, автор далек от их идеализации. Здесь он тоже объективен. Это большой плюс. Объективность — основа правдивости автора и доверия к нему читателя. Не обвиняя В. Мартова в подражательности, можно отметить некоторую преемственность его романа от «Бесов». Это не минус. В последних главах, вышедшей части отражательно намечен образ «чудесного грузина». Ждем дальнейшего развития этой темы, как и всего романа, с большим интересом. И первая и второй глубоко актуальны в наши дни.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
24 мая 1952 года, № 123. С. 6

III. «Грани», № 17

Последний сборник «Граней» открывается рассказом «старого» писателя И. Сургучева «Кающийся бес», но на этот раз редакцию журнала нельзя обвинить в отклонении от поставленной перед всем изданием, в целом основной цели отражения современной России, как это было возможно при появлении на страницах «Граней» косноязычных воспоминаний А. Ремизова. И. Сургучев со свойственным ему высоким мастерством сумел подойти к русской современности, даже отразив ее на фоне парижского богемного кафе «Ротонда».

Дальше идут новые имена, среди которых приковывает к себе внимание Н. Тарасова своим глубоко психологическим рассказом «У границы». Оба персонажа этого рассказа — остовка, добровольно возвращающаяся в СССР, зная, что там ждет ее смерть, но будучи не в силах преодолеть в себе тяги к родной земле, и допрашивающий ее на границе твердокаменный чекист, в душу которого ее появление вносит разлад и смятение, оба они взяты автором глубоко и правдиво. Сам сюжет рассказа ярок, актуален. «Ожидание» А. Кашина, тоже психологический этюд на сходную тему, много слабее, в нем сказываются трафареты ностальгического нытья. Небольшая повесть Л. Соколова «Пути-дороги» производит двойственное впечатление. С одной стороны автор выпукло и правдиво рисует в ней быт советской армии и настроения ее офицеров и солдат в минувшую войну, но, с другой стороны, ему можно поставить в упрек в недостаточной четкости композиции. У повести нет стержня. Она оставляет впечатление ряда картин, связанных между

собою лишь основным действующим лицом и кажется незаконченной, недодуманной автором, несмотря на наличие в ней безусловной его талантливости.

Глубоко западают в душу читателя очерк и два рассказа уже не раз проявившего свою своеобразную талантливость В. Свена. Очерк — литературный портрет писателя М. Пришвина, справляющего в этом году свое восьмидесятилетие, великого знатока северной русской природы, стопроцентно русского писателя. В качестве иллюстрации к нему Свен дает два своих, связанных между собою рассказа, и действительно показывает в них то влияние, которое оказал Пришвин на новые поколения русских литераторов. И очерк, и рассказы написаны В. Свеном в свойственных ему мягких пастелевых тонах и насыщены нежной, несколько грустной лирикой стареющего, одинокого человека. Эта настроенность В. Свена близка многим в наши дни.

В отделе стихов радует Лидия Алексеева, именно радует читателя своею простотой, доходчивостью и изяществом образов.

В публицистической части привлекает внимание статья Н. Арсеньева «Русские просторы и народная душа», вернее, глава из его книги «Из русской духовной и творческой традиции». Много уже написано на эту тему, но в мышлении Н. Арсеньева заметна свежесть подхода к ней. Он избегает штампов и ищет новых путей, новых аргументов, новых исходных точек. Произведенный им в качестве подкрепляющего его мысль примера анализ психологического строя кн. Потемкина-Таврического глубок и интересен. Хотелось бы шире ознакомиться с его книгой.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
11 июля 1953 года, № 182. С. 6

IV. «Грани», № 22

Последний (№ 22) выпуск «Граней» посвящен Чехову. Редакцией журнала был, очевидно, намечен очень интересный план — показ русскому читателю восприятия творчества А. П. Чехова культурными слоями населения Западной Европы. Соответствующие статьи были заказаны крупнейшим литературным критикам и профессорам русской литературы в университетах Италии, Англии. Франции. Эти авторы отнеслись к своей задаче также очень добросовестно и дали «Граням» несколько фундаментальных статей. Так например, крупнейший славист Италии, автор четырехтомного труда по истории русской литературы, профессор Римского университета Этторе Логатто дал обстоя-

тельнейшую библиографическую справку о всех переводах Чехова на итальянский язык, постановках его пьес и передач их по радио. С тем же вниманием отнеслись к своим работам и литературоведы Франции, Англии, Швеции, Дании и Сербии. С тою же добросовестностью... и в том же стиле: ни один из них не рассказал русскому читателю о том, как воспринимается А. П. Чехов читателем его страны, не дал психологического анализа этого восприятия и не указал ни тех черт творчества А. П. Чехова, какие близки его соотечественникам, ни тех, которые им чужды.

Статей русских авторов о Чехове, если не считать справки профессора Г. Струве, только одна — «Ее не будет больше никогда...» Георгия Петрова. Только одна, но и не захотелось бы читать других по прочтении ее, чтобы не нарушать гармонии того впечатления, которое овладевает читающим его строки. Не статьей, а песней хочется назвать эти странички печатного шрифта. Сколько чувства, сколько глубинного понимания духа творчества А. П. Чехова, сколько любви к нему и к созвучным ему сердцам вложил Г. Петров в свою критическую работу и думается, что сумел сказать в ней о Чехове много больше, чем иные многотомные труды о нем!

Можно ли назвать удачным опыт, произведенный редакцией «Граней»? С моей точки, он очень удачен, хотя вряд ли сама редакция того ожидала. Сопоставление глубинной, проникнутой чувством статьи русского автора с чисто формальным, обстоятельным, но лишь внешним подходом к той же теме западноевропейских литературоведов совершенно ясно говорит нам о мертвенности самой литературно-критической мысли западноевропейского читателя, с одной стороны, и о глубоком, эмоционально насыщенном восприятии литературы русским читателем — с другой. Ведь критик обычно рупор читателя и редко идет «против течения».

Наибольшая по объему вещь в беллетристическом отделе этого номера «Солнце всё же светит» Анатолия Дара. Автор называет ее романом, но судя по представленному, вернее было бы ее назвать серией тематически связанных очерков автобиографического характера, к тому же глубоко субъективных. Не сомневаясь в жертвенном героизме самого автора, позволим себе все же усумниться в том же высоком качестве, которым он наделяет всё население Ленинграда. Вряд ли обычный рядовой, к тому же вконец изголодавшийся ленинградский обыватель шел под палкой энкаведистов на окопные работы с таким же энтузиазмом, с каким, по словам автора, шла туда кучка основательно просоветизированных студентов.

Остальное — небольшие рассказы, но среди них буквально потрясают два: «Серка» В. Свена и «Стена» Б. Филиппова. В первой верный своим лирическим полутонам В. Свен раскрывает перед читателем душевную драму обманутого советским правительством солдата советской же армии, русского солдата, инвалида победной войны, лишенного даже той маленькой награды за свой жертвенный подвиг, которую он создал себе сам, без помощи посылавшей его на смерть власти. Рассказ «Серка» прост и по фабуле и по форме, и именно этой простотой он берет читателя за сердце. «Стена» Б. Филиппова много сложнее по своей психологической схеме... Здесь мы встречаемся с тою же, по существу, трагедией разочарования, потери веры в идею, которой служил, но эта трагедия протекает в более сложной, полной внутренних противоречий душе современного подсоветского русского интеллигента. Но вместе с тем и рядовой Иван Кожемяка («Серка»), и майор Лыгаков («Стена») — идентичны. Оба они — показатели того глубинного, разрастающегося в недрах порабощенной коммунизмом России процесса, о котором свидетельствуют и книги послевоенных перебежчиков, например, «Мы приходим с востока» В. Ольшанского.

Известная нам пока лишь как талантливая поэтесса Л. Алексеева выступила с небольшим рассказом «Мой осколок». Этот этюд, беглая зарисовка пробуждения первой любви в сердце девочки-подростка мягок по своим тонам, искренен и доходчив. Небольшой рассказ И. Сургучева «Письмо Периколлы» производит двойственное впечатление. С одной стороны, это глубокий экскурс в психику мятущейся, ищущей объекта любви женской души (само письмо «Периколлы»), но оправа, в которую облек автор основную тему, создает впечатление искусственной притянутости прошлого к современному. Это вызывает сомнение у читателя и расхолаживает его. А. Кашин дал снова довольно банальную зарисовку не то шанхайского, не то тяндзинского «дна» эмиграции, а Ремизов — три обычные для него сказочки, но на этот раз написанные чистым русским языком.

Очень интересны сонеты А. Лисицкой из цикла «Пряничный солдат». Эта поэтесса дает в стихах ряд исторических характеристик. С точки зрения истории с некоторыми из них можно и не согласиться, но бесспорны насыщенность стихов А. Лисицкой глубоким чувством и четкость ее поэтических форм. Отмечаем стихотворение «Три Алексея» посвященное мученику-отроку, Наследнику-Цесаревичу.

Литературно-критический отдел заполнен многоглагольной статьей В. Маркова «О Хлебникове», которую автор называет «Попыткой апологии и сопротивления». Этот подзаголовок уже сам по себе располагает к

некоторому недоумению и выглядит надуманным. Текст статьи это недоумение усиливает. В нем очень много громких фраз, порою даже трескучих, и очень мало аргументаций, подтверждающих основные положения панегирика В. Маркова В. Хлебникову. Так например: «Не каждый ли ребенок природный футурист!» — патетически восклицает В. Марков. Согласимся, что в речи не умеющего еще говорить ребенка есть внешнее сходство с косноязычием Хлебникова, а у ребенка, впервые получившего в руки карандаш, его «творчество» мало отличается от картин Пикассо, но ведь ребенок всё же с течением времени выходит из своего «футуристического образа», к чему, конечно, не стремятся футуристы и к чему призывает В. Марков.

В конце статьи автор утверждает, что для правильного понимания поэзии «нужен мировой заумный язык», но пока такого языка еще не изобретено; не будем, как В. Марков, зачислять всех отрицательно относящихся к футуризму в число тех, которым «снизу ничего не видно». С. Левицкий дал прекрасный, короткий, но четкий и точный очерк философии С. Л. Франка. С большим интересом читается очерк о Пулковской обсерватории Е. Двойченко-Марковой. Немногие знают, что в 1839 г. по мысли и повелению императора Николая I «в России была основана Пулковская обсерватория, по богатству и совершенству своего оборудования сразу занявшая первое место в мире» и что на ней был установлен величайший в то время 15-дюймовый телескоп, равного которому США добились лишь восемь лет спустя. Подобные очерки очень ценны.

Среди довольно большого количества выходящих теперь в зарубежье журналов всё более и более привлекает к себе внимание «Жар-птица». Это издание, перекочевавшее в Сан-Франциско из Шанхая, сначала казалось довольно неустойчивым, одним из тех, которым суждено увянуть после двух-трех номеров. Но чем дальше мы следим за этим журналом, тем яснее видим, что работа его редактора Н. Чиркова не пропадает даром. Журнал, несомненно, растет, крепнет и проявляет тенденции к дальнейшему развитию. В последнем из дошедших до нас ноябрьском его номере отмечаем прекрасный очерк Н. А. Мельникова о деятельности сенатора Мак-Карти, снабженный многими интересными иллюстрациями, и рассказ Ю. Юльского «Ночной костер». Несколько удивляет порою странная орфография, принятая этим журналом, например, слово «совецкий», неприятно действует и небрежность корректуры.

Нельзя обойти молчанием рождение нового журнала «Путь Правды», выпускающего уже второй номер. Его издатель — Отдел Российского

Политического Комитета в Лос-Анджелесе, редактор С. Корсунец. В перечне сотрудников мы находим профессора Н. С. Арсеньева, С. Л. Войцеховского, В. Г. Месняева, Н. В. Нарокова (автора известного романа «Мнимые величины»), Л. Ржевского, И. Сикорскаго и другие известные нам имена. В № 2 художественная литература занимает значительное место. Привлекает внимание «Рассказ переводчика» С. Корсунец и стихи Л. Алексеевой. В историческом отделе идет очерк Д. Пронина «Вторая мировая война на восточном фронте». В этой работе автор рассчитывает не на специализированного в военном деле читателя, но на рядового и рассказывает в ней о военных действиях обеих сторон простым и понятным языком, не прибегая к сложной военно-научной терминологии и не загружая читателя цифровыми данными. В этом большая ценность его труда, тем более, что автор подошел к своей задаче с полной объективностью, отдавая должное как положительным, так и отрицательным чертам обеих боровшихся между собой армий, а также достоинствам и недостаткам их полководцев.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
13 января 1955 года, № 260. С. 6

V. «Возрождение», № 42 и № 43

Обе вышедшие за последние месяцы (июнь и июль) тетради «Возрождения» № 42 и 43 приходится считать юбилейными — в честь тридцатилетия этого издания, выходившего до Второй мировой войны в форме газеты, под редакцией П. Б. Струве и позже — Ю. Ф. Семенова, а после войны возобновленного в форме толстого журнала, сначала двухмесячника, а теперь ежемесячника. Редакционные руководители журнала «Возрождение», к сожалению, часто менялись: первым был покойный И. И. Тхоржевский, его сменил С. П. Мельгунов, после которого редакционный портфель перешел в руки молодого талантливого беллетриста Е. М. Яконовского, а от него, уже в начале этого года, — к публицисту Г. Мейеру*. Подобные перемены, конечно, не могли не отражаться на самом журнале, направление и форма которою изменялись, в зависимости от перемены в его руководстве, о чем, безусловно, приходится пожалеть, т. к. и газета, и журнал «Возрождение» в целом представляют собою старейшее и обладающее наибольшим кругом постоянных читателей издание российского зарубежья, устремленное, по мысли его изда-

* См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

теля Абрама Осиповича Гукасова*, к сохранению и продлению русской национальной общественной мысли и культуры в тяжелых условиях эмиграции. Всегда ли с достаточной четкостью осуществлялось на страницах журнала и газеты это стремление его издателя — вопрос, которого мы не будем касаться в данном обзоре, рассматривая в нем лишь две последних тетради.

Ведущей статьей их обоих следовало бы считать публицистический очерк «Возрождение и белая идея» ее теперешнего редактора Г. А. Мейера, и читатель вправе искать в этой статье исторического обзора всего пройденного этим изданием пути. Особенно новый читатель, незнакомый с довоенным «Возрождением». Однако, он этого в ней не находит. Обширная эрудиция Мейера, очевидно, слишком давит на него, как на автора. Первая часть статьи, напечатанная в номере 42, заполнена целым рядом цитат и ссылок на Ф. Достоевского, К. Леонтьева и других русских мыслителей. В море этих экскурсов теряются немногочисленные фактические данные. Читатель не получает от этого очерка в целом четкого, ясного представления о путях, по которым шла общественная мысль российского зарубежья за истекшее тридцатилетие, к тому же даже и эти немногие фактические данные в значительной их части приходится брать под знак вопроса, т. к. сын профессора Петра Бернгардовича Струве — профессор Глеб Петрович Струве, в помещенном на страницах «Русской мысли» обширном письме в редакцию, обвиняет теперешнего редактора «Возрождения» Г. Мейера в целом ряде тенденциозных «неточностей». Ответ же ему Мейера кажется нам малоубедительным. Но не имея достаточных данных и знания первых десятилетий общественной жизни зарубежья, мы не можем взять на себя право участия в этой полемике, приняв ту или иную сторону. Поэтому лучше оставим всю ее в целом под знаком вопроса. А вот об изменениях в характере, форме и

* Абрам Осипович Гукасов (1872–1969), нефтепромышленник, предприниматель, издатель и общественный деятель. Был представителем нефтяного дела своей семьи в Лондоне, затем вернулся в Россию, стал главой компании «Рускабель», построил в Москве завод «Динамо». Будучи армянином по происхождению, был патриотом России, говорил, что «вся Европа со своим арсеналом философии и политических слов о свободе не освободила ни одного армянина из-под турецкого ига», в то время как Россия «это и делала в течение последних двухсот лет». После революции эмигрировал, входил в президиум и с 1922 г. возглавлял Лондонское отделение «Российского торгово-промышленного и финансового союза». В 1924–1925 гг. издавал в Париже газету «Вечернее время», редактором которой был сын А. С. Суворина Б. А. Суворин. В 1925 г. организовал и до 1940 г. издавал в Париже умеренно-консервативную монархическую газету «Возрождение», с которой сотрудничали лучшие литераторы русского зарубежья, и тираж которой доходил до 35 тысяч. После войны, в 1949 г. возобновил издание «Возрождения» в виде журнала, с подзаголовком «Литературно-политические тетради», а с 1960 г. — «Литературно-политический журнал». В последние годы жил в Женеве.

содержании самого журнала, произведенных в нем новым редактором, мы можем и находим нужным сказать несколько слов.

В отделе художественной прозы новой редакцией явно взята линия на заполнение его отдельными мелкими вещами — рассказами, этюдами и очерками возможно большего количества авторов. Крупные же вещи — повести и романы писателей зарубежья — не находят, как можно видеть, места на страницах журнала. Подобный курс нельзя признать правильным. Он мельчит как авторов, так и сам журнал. Живой пример этому помещенные в последних тетрадях мелкие рассказы талантливейшего автора «Мнимых величин» Н. Нарокова «Общественное мнение» и «Защитники закона». Оба они написаны вполне литературно, остроумно, занимательно, но трудно узнать в их авторе создателя столь глубокой по содержанию и яркой по форме повести, как написанные им «Мнимые величины». Для Н. Нарокова эти рассказы — снижение его несомненного таланта.

Думается, что маститые И. Сургучев и А. Ренников*, вольно или невольно, пошли по тому же пути. Мы вправе ожидать от первого чего-либо более глубокого, чем его полемический очерк «Три топора», а от А. Ренникова — фельетонов более острых, чем его «Психологические этюды». Неприятно поражает уже в самом оглавлении обилие имен, взятых в черную рамку: П. Барк, З. Гиппиус, В. Горянский, Н. Тэффи и даже не имевший, по существу, никакого отношения к «Возрождению» Максимилиан Волошин. Неужели литературное творчество российского зарубежья в его настоящем столь уж бедно, что приходится прибегать к помощи покойников?

Исторические статьи, помещенные в тех же тетрадях, говорят как раз об обратном. Н. Реймерс** дал чрезвычайно интересную и исторически обоснованную гипотезу причин высокого авторитета, которым пользовался св. князь Александр Невский у татар и, в частности, у самого Батыя. Его, к сожалению, слишком сжатый очерк «Св. Александр Невский и Батый», несмотря на некоторую свою схематичность, ярко освещает нам обе исторические фигуры — Невского и Батыя, — их встречу в Орде и результат этой встречи: спасение от татарского погрома северо-западной Руси — великого патриотического подвига св.

* См. о них в Приложении «Литераторы-эмигранты».

** Николай Александрович Реймерс (1894–1964), философ, историк, публицист. Родился в Севастополе, в семье контр-адмирала. Во время Первой мировой войны служил на боевых кораблях Черноморского флота. Служил в составе Русской армии до эвакуации Крыма, затем был в составе русской эскадры в Бизерте, потом эмигрировал во Францию, работал таксистом в Париже. В 1930 г. защитил докторскую диссертацию в Сорбонне. В периодических изданиях русской эмиграции публиковал статьи по философии и истории Руси.

князя. Очень ценен, но тоже грешит излишней сжатостью и схематичностью очерк историка А. Маркова «Самозванцы на Руси». Такого рода исторические статьи не только ценны, но насущно нужны российской политической эмиграции всех возрастов, т. к. они не только проливают правдивый свет на наше прошлое, но и служат мощным оружием в борьбе с денационализацией эмиграции, в особенности, ее молодых поколений.

Как всегда, прекрасны по форме, глубоко правдивы и беспристрастны воспоминания А. В. Тырковой-Вильямс «Тени минувшего». В этих тетрадях они как бы перекликаются, взаимно дополняя друг друга, с воспоминаниями Н. Тэффи о Куприне, Чулкове, Мейерхольде и, в особенности, о Зинаиде Гиппиус-Мережковской, детально и ярко вырисовывая эту уродливую до карикатурности фигуру, оказавшую в свое время столь пагубное, разлагающее влияние на «февральское поколение прогрессивной русской интеллигенции».

Последний, № 24, выпуск журнала «Грани» в своем литературном отделе придерживается как раз диаметрально-противоположного принятому «Возрождением» направления. Кроме стихов, в нем всего три вещи, две из которых «Солнце всё же светит» Анатолия Дара и «Родина ветловая» А. Землева* — крупные но размерам продолжения, начатых в предыдущих номерах того же журнала очерковых хроник. К сожалению, обе вещи крупны только по своим размерам. Наиболее ярким в литературном отделе этого номера является небольшой рассказ Е. Яконовского «Небесные фонарики». Этот талантливый писатель сумел в нем всего лишь на нескольких страницах дать глубокий психологический этюд общечеловеческой драмы — осознания наступающей старости.

В отделе критики и публицистики того же журнала приковывает внимание статья Б. Филиппова «Константин Леонтьев и эстетика жизни».

Даже и расходясь с автором этой статьи, вернее с некоторыми его концепциями, нужно, безусловно, признать и отметить глубокое изучение им религиозно-философского наследия большого русского мыслителя К. Леонтьева, заглушенного, замолчанного и затравленного современной ему либеральной критикой. Глубоко национальное жизнепонимание Леонтьева не архаично, но современно и в наши дни, в период возвращения

* Николай Никитич Лихачев (псевд. А. Землев и Андрей Васильевич Светланин) (1905–1965), журналист, редактор, общественный деятель. В России работал в газетах, во время Второй мировой войны был военным корреспондентом, попал в плен, работал редактором газеты в Русской освободительной армии ген. А. А. Власова. После войны жил в Германии, Великобритании, преподавал в Кембридже. Публиковался в журнале «Грани». С 1958 г. и до своей кончины был главным редактором журнала «Посев».

российского народа, русской души на ее исторический путь, показатели чего мы можем наблюдать но обе стороны Железного занавеса.

Симпатичный и интересный журнал «Военная быль» выпустил в июле свой № 14. Он открывается очерком Г. Месняева*, посвященным сорокалетию кончины Великого Князя Константина Константиновича, глубоко просвещенного и гуманнейшего начальника военно-учебных заведений Российской Империи, одновременно поэта и драматурга. Месняев характеризует обе стороны деятельности Августейшего поэта, обе творческих направленности его высокой души, уделяя больше внимания его литературно-поэтическому творчеству. Но не следует ставить этой некоторой односторонности в упрек Месняеву, т. к. об административно-педагогической деятельности Великого Князя Константина Константиновича сказано уже достаточно на страницах того же журнала, да и сама «Военная быль» в целом, все авторы которой — бывшие воспитанники подведомственных Августейшему поэту кадетских корпусов — своей высокой культурой свидетельствуют о результатах его плодотворной деятельности в этом направлении. Перу того же талантливого автора — Г. Месняева — принадлежат и тепло написанные воспоминания «Кадетские годы», которые тоже отраженно освещают ту же тему. Историк А. Марков дает в том же номере прекрасный и насыщенный точными историческими данными этюд «Оклеветанный император» — Павел I.

Разоблачать клевету, которой опутано имя этого замечательного в нашей истории Монарха либеральной историографией, дать истинное, правдивое представление о нем самом, о главнейших актах его короткого царствования, о его любви к русскому народу и благих устремлениях, а также и о его мученической кончине — наш долг. Отметим попутно, что той же теме посвящена недавно вышедшая книга покойного сотрудника «Нашей страны» Старого Кирибея** и что Иван Лукьянович не раз упоминал в своих трудах об Императоре Павле I, как о народном Монархе, погибшем именно вследствие непосильной для него борьбы с окружавшим Престол аристократическим средостением.

* * *

С начала этого года в Нью-Йорке стал выходить по два раза в месяц иллюстрированный журнал «Нива», но внешности копирующий это замечательное издание дореволюционной России, сыгравшее очень большую роль в жизни русской провинции тех времен. Повторить старую

* См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

** См. о нем в Приложении «Литераторы-эмигранты».

«Ниву» русскому зарубежью, конечно, не по силам уже вследствие одних лишь причин финансового характера, но приблизиться к ней до известной степени по направленности и качеству материала возможно, что, очевидно, и поставила себе целью воскрешенная в Нью-Йорке «Нива». Но первые семь номеров заставляют желать ее улучшения. Литературный материал их однообразен и вял, недостаточно освещена жизнь зарубежья во всем ее многообразии. Но пожелаем успеха возрожденной «Ниве». Журнал такого рода очень нужен и ценен в условиях нашего рассеяния.

* * *

Первая половина текущего года в нашей периодической прессе проходит под знаком какой-то эпидемии смен руководства в целом ряде изданий, частью невольных, как например, в «Русской мысли», из состава ведущих работников которой смерть унесла В. Зеелера* и Полянского, а частью и вольных: Л. Ржевский оставил руководство «Гранями», перейдя на руководящую же работу в русском отделе радиостанции «Освобождение», что сулит улучшение радиопередач этого центра; в «Гранях» же руководство перешло к редколлегии, к лучшему это или к худшему — сказать пока нельзя. В «Возрождении» Г. Мейер сменил Е. Яконовского, вернувшего в прошлом году этот журнал на национальные рельсы. Перемены произошли и в руководстве маленького, но очень интересного журнальчика «Бюллетень о-ва помощи беженцам», выходящего в Лондоне. Поднявшая это издание на большую высоту Л. Норд, по непонятным причинам, уступила свое место г. Матвееву, который, в свою очередь, передал его анонимной редакционной коллегии. В целом же журнал, несомненно, проиграл и превратился в одно из многих местных бесцветных изданий. Да и вообще, невольно навертывается вопрос: чего больше — положительного или отрицательного в такой чехарде? В тех случаях, где она вызвана нашей (надо в этом признаться) неуживчивостью между собой, неумением ценить и уважать чужое мнение, склочничеством и прочими «болезнями эмиграции», о ней приходится только пожалеть.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
25 августа 1955 года, № 292. С. 3, 8

* Владимир Феофилович Зеелер (1874–1954), журналист, общественный деятель. Был членом кадетской партии. Организовал сбор пожертвований для формирования частей Белой армии. В 1919–1920 гг. был министром внутренних дел Южнорусского правительства при Главнокомандующем Вооруженных сил Юга России А. И. Деникине. Эмигрировал во Францию, в течение 30 лет был генеральным секретарем союза русских писателей и журналистов в Париже, входил в редакционную коллегию газеты «Русская мысль».

VI. «Возрождение», № 46

Странное впечатление производит последний (46) номер «Возрождения». По прочтении его читателю начинает казаться, что или русская зарубежная литература впала в последнюю стадию худосочия или же редакция журнала заболела литературным дальтонизмом, попросту говоря, куриной слепотой. Трудно найти на 160 страницах тетради что-либо действительно приковавшее внимание. Чисто литературный отдел по существу полностью отсутствует. Даже талантливо, как всегда, написанный очерк Н. Нарокова «Некультурный человек» представляет собою не творческий вымысел автора, а художественно изложенное им воспоминание о его встрече в молодости с ярким и целостным носителем русского христианского духа, но вместе с тем с некультурным, с европейской точки зрения, примитивным во всех своих действиях и образе жизни деревенским мужиком. Сам автор в ходе повествования не раз заверяет читателя, что он в данном случае рассказывает о действительно бывшем факте и действительно жившем человеке. Приходится пожалеть, что так глубоко, даже проникновенно понявший трагедию *современной* России автор «Мнимых величин» всё более и более отклоняется от современности или, иначе говоря, уходит из области зарубежной русской литературы в литературность чисто эмигрантского характера.

Зато Н. Евреинов* в своей драматической хронике из партийной жизни «Шаги Немезиды» впадает (или вернее впал) в грех обратного порядка. Пытаясь слиться в своей пьесе с жизнью современной России, отразить ее хотя бы частично, он избрал сюжет из очень мало кому известной области — интимной жизни вождей коммунистической банды. Фабула драматической хроники «Шаги Немезиды» построена на фоне внутрипартийной грызни, результатом которой было падение и казнь Ягоды, Зиновьева, Каменева, Бухарина и других подсудимых нашумевших на весь мир процессов. Действующие лица, во-первых, сам Сталин, перечисленные выше оппозиционеры, затем, конечно, Ежов, Радек, Вышинский, несколько второстепенных персонажей и две не оглашенные на процессе, вряд ли существовавшие в действительности женщины. Каким историческим материалом пользовался автор для создания пси-

* Николай Николаевич Евреинов (1879–1953), режиссер, драматург, актер. В России писал пьесы, ставил спектакли во многих театрах, преподавал на драматических курсах, играл в театре, выступал с пародиями и импровизациями. В 1920 г. осуществил масштабную постановку революционного праздника «Взятие Зимнего дворца». С 1927 г. в эмиграции, жил в Париже, писал канигии, работал как драматург, режиссер, сценарист, был активным деятелем русских и французских масонских лож.

хологической канвы своей пьесы — его личная тайна. Откуда он брал его, покрыто мраком неизвестности. Вернее всего, что с потолка или из каких-либо других мест от него недалеких. По крайней мере, психологический облик Бухарина, схематически вычерченный Н. Евреиновым, очень далек и от поведения самого Бухарина на процессе и от тех отрывочных сведений закулисного характера, которые иногда мелькают в газетах русского зарубежья. То же самое можно сказать и о Радеке. Ежов охарактеризован заурядным чекистом среднего ранга, но, думается, что он всё же был более крупной фигурой этой «почтенной корпорации», иначе ему вряд ли удалось бы подобрать ключи и свалить Ягоду. Не хотелось бы применить термин «халтура» к столь крупному драматургу режиссеру и театроведу, каким был Н. Евреинов. Но ведь у каждого писателя бывают творческие провалы, за которые ему потом приходится стыдиться.

Столь же беден и отдел поэзии. В тетради стихи только двух поэтов: неизменного для журнала В. Смоленского, давшего продолжение своего перевода эпической поэмы «Любовь Тристана и Изольды», кстати сказать, мало чем отличающегося от уже имеющихся в архиве русской словесности переводов этого произведения, и немножко лирики А. Величковского. Вот и всё.

Что же это? Так ли уж на самом деле оскудела авторскими силами современная зарубежная русская литература? Этому не верится. Ведь объединил же альманах «Литературный современник» на своих страницах свыше шестидесяти авторских имен, различных, конечно, по уровню своей талантливости и по своей художественной направленности, но вместе с тем безусловно заслуживающих внимания со стороны читателя, и в целом дающих яркое и вполне реальное представление о большой и напряженной литературной работе, свершаемой в наши дни русским антикоммунистическим зарубежьем. Внимательному обозревателю к этим шестидесяти именам пришлось бы добавить и еще нескольких, к сожалению, систематически замалчиваемых критикой авторов, например, талантливого Н. Е. Русского, сатирические рассказы которого от времени до времени появляются на страницах «Русской мысли», но тонут в необъятном море дамского «творчества», денационализированной халтуры Анри Труайя (Тарасова) и прочей бесцветной пошлости, заполняющей эти страницы, хотя Н. Е. Русский бесспорно обладает ярким талантом сатирика, знанием подсоветского быта, тонкой наблюдательностью, а, кроме того, антикоммунистической заостренностью своих тем и прекрасным современным русским языком, даже с некоторой «шолоховской» его акцентировкой.

Зато отдел воспоминаний всех видов занимает едва ли не две трети всей печатной площади рецензируемой тетради. Наиболее интересны из них «Горький и черт» — воспоминания И. Сургучева об одном, в известной степени мистическом, эпизоде из жизни Горького.

— На свете, друг мой Горацио, есть многое такое, что и не снилось нашим мудрецам, — заканчивает словами Шекспира эти свои воспоминания автор.

Присоединимся к нему: много непонятного, могущего быть истолкованным только при помощи мистики, происходит нередко в нашей обыденной, повседневной жизни.

Просматривая все тетради «Возрождения», выпущенные в текущем году под редакцией Г. Мейера, приходится отметить полное отсутствие в них какой-либо четкой доминирующей направленности. Журнал то бросается в театроведение, уделяя статьям о театре и даже рецензиям о парижских постановках превалирующее место, то погружается в сумерки воспоминаний, то стремится заполнить свои страницы максимумом авторских имен, а то, наоборот, сводит количество авторов до минимума... Странно... Ведь путь «Возрождения» намечен не одним десятком лет и, думается, должен был бы быть вполне точным и определенным.

Зато очень приятное впечатление производят последние номера небольшого, но растущего с каждым выпуском журнала «Военная быль». Вот его редактор А. Геринг безусловно вполне ясно наметил свой путь, видит, ощущает его и идет по нему беспрерывно вверх! Номер пятнадцатый открывается очерком С. Роопа*, посвященным памяти князей Гавриила и Игоря Константиновичей, офицеров Лейб-гвардии гусарского полка, вышедших вместе с ним на фронт в Первую мировую войну и несших в нем службу простых младших офицеров (корнета и поручика), *не пользуясь никакими привилегиями*, возможными и вполне понятными для князей Императорского Дома. Автор рассказывает о тяжелой разведочной службе, которую несли эти князья, о их близости с рядовыми гусарами и офицерами того же полка, а главное об их беспредельной любви к родине и не квасном, а подлинном высоком патриотизме. Он повествует об этом простым, лишенным какого-либо пафоса языком, и как радостно читать такие повествования в наши смрадные дни. Неплохи, как всегда, воспоминания Г. Месняева о его кадетских годах и особенно

* Сергей Христофорович Рооп (1882–1956), литератор. Поручик лейб-гвардии Гусарского полка и Забайкальского казачьего войска. Окончил Пажеский корпус. Участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах. В эмиграции жил в Париже. Состоял членом Союза ревнителей памяти императора Николая II.

интересны отрывки из книги Г. Танутрова* «От Тифлиса до Парижа». В этих отрывках автор знакомит читателя с повседневной. быть может, даже тусклой полковою жизнью в мирное время на захолустной кавказской стоянке Царские-Колодцы, где размещался в предшествовавшие Первой мировой войне годы знаменитый и славный Тверской драгунский полк. Знакомясь с этой простой, бесхитростной жизнью, невольно задумываешься, как же в ее тесных рамках могли быть воспитаны доблестные герои, совершавшие подвиги в целом ряде войн? И размыслив об этом, приходишь к выводу, что именно эта простая, лишенная показного блеска мирная жизнь русской армии, ее бытовая близость с населением создавала ту спайку войска и народа, которая и являлась стимулом к подвигу и залогом побед.

«Вестник Института по изучению истории и культуры СССР» (Мюнхенского института) выпустил свой очередной номер 3(16). В наших националистических кругах существует несколько предвзятое мнение в отношении этого института. основанное на обобщении его со всевозможными КЦАБ-ами и СБОНР-ами, в свое время пользовавшимися покровительством и субсидиями того же Американского Комитета, на средства которого существует и Мюнхенский институт. Однако теперь следует внести ясность в этот вопрос и полностью отмежевать чисто научную деятельность Мюнхенского института от политической авантюры, служившей стержнем всех этих скоплений самозваных выразителей стремлений и чаяний современного российского народа, с которым ничего общего они не имели. Институт ведет чисто научную, внеполитическую работу по изучению, освещению и фиксации как для иностранцев, так и для потомства проявлений подсоветской жизни во всех ее областях, а также и анализа этих явлений, поскольку это возможно в наших условиях.

Следует разоблачить также и беспочвенные слухи о бессменном в течение пяти лет организаторе, а позже директоре этого института Б. Яковлеве, которого безответственные лица выдавали то за чекиста, то за сына чекистаВарейкиса, то просто за советского агента... Имею возможность и считаю своим долгом заявить, что все эти слухи не имеют никакого основания: Б. Яковлев не литовец Варейкис, а сын православного русского священника с Поволжья, сознательно и с большою опасно-

* Георгий Фердинандович Танутров (1888–1970), литератор, общественный деятель. Окончил Тифлисский кадетский корпус. Участник Первой мировой и Гражданской войн. В эмиграции жил в Югославии, Польше, с 1926 г. в Париже. Член Общества любителей русской военной старины, выступал с докладами. Воспоминания «От Тифлиса до Парижа» были изданы отдельной книгой в Париже посмертно, в 1976 г.

стью для своей жизни ушедший из страны осуществленного социализма именно ради того, чтобы бороться с этим самым ведущим в земной рай учением, что он теперь и осуществляет, идя по глубоко продуманному им пути *научного разоблачения* социалистической доктрины на основе анализа ее практического применения.

Путь этот трудный и, конечно, работа Мюнхенского института еще далека от своего идеала, но вместе с тем идти по этому пути необходимо для той части эмиграции, которая на базе своей научной и политической квалификации имеет к тому возможность. В рецензируемом номере останавливают внимание статьи проф. Г. Гинса* «Собственность в СССР» и В. Бондаренко «Сталин сегодня». Свет на роль масонства в политической жизни России в первые годы революции проливает статья д-ра А. «Посвятительные ордена в СССР», хотя данная автором информация по этому вопросу далеко не полноценна, но вместе с тем вряд ли и можно было бы ожидать в данном случае всеобъемлющей информации.

Нельзя обойти молчанием и созвучную тематике «Вестника», выпущенную тем же институтом, книгу Б. Яковлева «Концлагери в СССР», в которой автор дал образ исторического развития концлагерной системы, увязав его с актами соответствующего советского законодательства, и описание более полутораста лагерей рабского труда, снабженное точкой картой их распределения на территории подсоветской России. Приводя соответствующие неизвестные до настоящего времени документы, Яковлев констатирует и утверждает тот факт, что система концлагерей по своей сущности неразрывна с системой социалистического государства в целом и что первые наметки этой системы относятся уже к 1918 году — первому году владычества социалистических доктринеров — банды, возглавлявшейся в то время Лениным. Последующее же развитие рабского труда есть только утверждение и распространение заложенной им основы. Книга Б. Яковлева составлена несколько сухо, но вполне научно и точно.

Ознакомиться с ней полезно не только иностранцам, но русским,

* Георгий Константинович Гинс (1887–1971), юрист, политический деятель, редактор. Служил в министерстве юстиции, был приват-доцентом кафедры гражданского права Санкт-Петербургского университета, с 1918 г. жил в Омске, был участником правительства Колчака. С 1920 г. по 1937 г. — профессор юридического факультета в Харбине, также работал в правлении Общества Китайско-Восточной железной дороги, редактировал журнал «Русское обозрение», был одним из основателей предприятия «Русско-маньчжурская книготорговля». В 1941 г. уехал в Сан-Франциско, где редактировал газету «Русская жизнь», а также преподавал в Калифорнийском университете в Беркли, работал в русской редакции радиостанции «Голос Америки». Публиковался в журналах «Посев», «Мысль» и «Наши дни», издававшихся во Франкфурте-на-Майне.

даже побывавшим в концлагерях, но всё же убежденным в том, что «при Ленине этого не было бы». Такие мечтатели, к сожалению, еще имеются.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
10 ноября 1955 года, № 303. С. 4

VII. «Грани», № 23

Недавно скончавшийся в СССР певец природы русского севера, самобытный и колоритный, подлинно русский романтик Михаил Пришвин нашел талантливого наследника и продолжателя своей творческой линии в лице В. Свена. Его рассказом «Бунт на корабле» открывается номер 23 «Граней». В. Свен пишет о двух мальчиках, один из которых мечтатель и искатель, восьмилетний Дон Кихот, другой же — его неизменный спутник, практичный материалист, пятилетний Санчо Панса. В рассказе «Бунт на крабле» В. Свен смог полностью освободиться от обычно сопутствующей его творчеству несколько пессимистической элегии. В нем он — романтик-оптимист, что придает краскам его словесной ткани трогательность, живость и цветистость. Тема рассказа — осуществленная мечта, мечта, бывшая полной реальностью для восьмилетнего Дон Кихота, «капитана ведущего к полюсу корабль», а об осуществлении этой мечты автор рассказывает в конце повести, документально подтверждая ее правдивость. Мальчик-мечтатель, выросши, стал на самом деле отважным исследователем полярных стран. В этой концовке «от автора» нельзя не отметить и другую линию творческой преемственности (но не подражания) В. Свена, на этот раз от Н. С. Лескова. Обе эти линии гармонично сочетались в новеллисте В. Свене. Обе они чисто русские, подлинно национальные. Поэтому радостно читать рассказы В. Свена и приятно писать о них.

Столь же портретны и документальны в своей канве «Героические рассказы» А. Франка. Он развенчивает в них фальшивый ореол, созданный, к сожалению, не без участия и русских литературных работников, вокруг партизан французского резистанса. Небольшие рассказы написаны живо и остро. Бытовая сатира, видимо, удается этому, пока еще малоизвестному нам писателю.

К сожалению, не можем сказать ничего о творческих достижениях Анатолия Дара, продолжающего печатать свой, так называемый, роман «Солнце всё же светит». Эго, кажется, третье или четвертое уже продолжение чисто дилетантской работы, по нам до сих пор не удается уловить в ней ни основной идеи, ни тематического стержня. Беглые, случайные,

чисто субъективные, а в силу этого далеко не всегда правдивые зарисовки — и только.

Неплохо сделаны путевые очерки Федора Пульмана «Сердце Фландрии». Они читаются с интересом, дают колорит страны, сердце которой читатель действительно чувствует. Очерки того же типа А. Крамаровского «На Святой Земле» много слабее. Святости этой земли читатель во всяком случае не ощущает.

В отделе публицистики талантливый в своем поэтическом творчеств Д. Кленовский выступает со статьей «Казненные молчанием», в которой трактует довольно избитую и много раз уже использованную тему трагической судьбы русских поэтов. Он приводит в ней много интересных и ценных фактов, знакомит зарубежного русского читателя с некоторыми, почти неизвестными ему, но очень талантливыми поэтами, голоса которых приглушены на родине, например, с Георгием Шенгели*. Но некоторые из его сообщений, вероятно, недостаточно проверены самим автором, например, о «трагичной» судьбе поэта Владимира Нарбута». В данном случае допущенная Д. Кленовским героизация этого субъекта противоречит истине. Автор этих строк прекрасно знал в СССР и неоднократно встречал в первой половине тридцатых годов приспособленца, подхалима, безусловно аморального типа — Владимира Нарбута. Подтверждение этому моему мнению о нем можно найти также в книге «Петербургские зимы» Г. Иванова, близко знавшего В. Нарбута в первые годы революции.

Остро и метко характеризует Михайловского Г. Забежинский в статье «Критическое о критиках». Читая эту статью, становится стыдно за ту русскую молодежь предреволюционного поколения, которая избрала себе «властителем дум» это надутое, самовлюбленное ничтожество.

Очень ценен и интересен введенный журналом отдел «Отзывы читателей» о новых выходящих в зарубежье книгах. Ведет его Н. Тарасова** и ведет умело, как думается беспристрастно, подбирая отзывы читателей самой разнообразной направленности. Этот отдел дает и читателям и авторам много больше, чем отзывы наших общепризнанных критиков, с которыми вдумчивый читатель, как видно, далеко не всегда соглашается. Так, например, о превознесенной нашими «прогрессивными» критиками вплоть до «метафизических высот» книге И.

* Георгий Аркадьевич Шенгели (1894–1956) — поэт, переводчик, литературовед. Писал стихи, отмеченные сильным влиянием И. Северянина, а также теоретические работы по стиховедению. В 1925–1927 гг. был председателем Всероссийского союза поэтов. Преподавал в Высшем литературно-художественном институте в Москве. В 1930-е гг. заведовал переводами «литературы народов СССР» в Государственном издательстве РСФСР.

** См. о ней в Приложении «Литераторы-эмигранты».

Одоевцевой «Оставь надежду навсегда» читатель отзывается совсем по-иному.

«Как можно хвалить эту книгу», — восклицает читательница Н. Б. из Германии, — зачем хватается человек за то, чего не знает? Начала читать и бросила. Терпеть не могу фальши».

«Нет ничего удивительного в том, что И. Одоевцева состряпала это бульварное чтиво», — пишет другой читатель из Мюнхена, — «каждый автор выбирает жанр по своим возможностям. Но удивительно, как издательство им. Чехова принимает к печати халтуру... О какой правдивости может идти речь в изделии Одоевцевой?.. Какой цинизм избрать "сырьем" для бульварно-литературного сюсюканья тему, в которой не смыслишь, тему о самой несчастной в мире стране».

Или другое противоречие, на этот раз о тоже похваленной теми же критиками книге Криптона «Осада Ленинграда»: «Зачем издательство выпустило такое в свет? Язык... описать его нельзя», и дальше этот читатель приводит действительно изумительные «перлы» суконного косноязычия и безграмотности Криптона, непонятно каким образом пропущенные, знающей русский язык В. Александровой — главным редактором издательства.

«Военная быль» — журнал, издаваемый Общекадетским Объединением — выпустила № 12. В этом небольшом по размерам издании работает мало писателей-профессионалов. Кажется, всего лишь два: Е. Яконовский и Г. Месняев, но вместе с тем весь материал, появляющейся на страницах этого журнала, безусловно, вполне литературен и очень далек от писаний «от нечего делать».

О чем говорит этот непонятный на первый взгляд факт, подтвержденный кстати тем, что журнал всё же выходит типографским способом исключительно за счет подписки на него. Эта высокая квалификация литературного содержания «Военной были» показывает нам, насколько высоко стояло преподавание родного языка и литературы в кадетских корпусах, т.к. все сотрудники журнала — бывшие кадеты. Говорит этот факт и о том, что в среде офицерства русской армии не было недостатка в высококультурных людях, как кричали тогда «прогрессивные» литераторы во главе с (не тем будь помянут!) подлаживавшимся под их стиль А. И. Куприным.

Раз заговорили о журналах русского зарубежья, подтверждающих свою литературную ценность тем, что они могут существовать за счет одной лишь подписки, то нельзя промолчать о выходящем в Лондоне «Бюллетене» под редакцией Лидии Норд. Этот маленький, всего-то в восемь страничек журнал, тоже смог при регулярном еженедельном

выпуске перейти на самоокупаемость. Талантливая Лидия Норд сумела блестяще поставить доверенное ей издание. Идущий в нем документальный роман «Маршал Тухачевский» читается с огромным интересом. Считаю долгом подтвердить правдивость автора, т. к. некоторых лиц, показанных в этом романе, я знал лично, например, женщину, сыгравшую трагическую роль в жизни маршала, С. Т. Чернолусскую — лицо, мало кому известное, но вместе с тем правдиво и точно зарисованное автором романа.

Мы не пользуемся подлыми методами борьбы, к которым прибегают наши политические противники, например, «заговором молчания», и поэтому находим нужным осведомить наших читателей о ценном и интересном, помещенном в журналах наших идейных врагов. В данном случае сообщаем, что в «Социалистическом вестнике» № 2-3 (февраль–март 1955 г.) даны очень интересные информации о происходящем в настоящее время в СССР. Р. Абрамович и С. Шварц в статьях «Загадка кремлевского сфинкса» и «Что происходит в Москве» приподняли, поскольку это возможно, занавес над кремлевскими тайнами. Б. Николаевский и П. Русланов поместили меткие характеристики маршалов Булганина и Жукова. Особенно же интересна информационная статья А. Воронова «Религиозность в СССР».

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
14 апреля 1955 года, № 273. С. 4

Итоги года

Истекший, 1955 год, был годом значительных перемен в руководящем составе выходящих в Европе русских толстых журналов, а также и газет, уделяющих место и внимание художественной литературе. В старейшем из журналов — «Возрождении», перешедшем на ежемесячный выпуск, талантливого Е. Яконовского сменил Г. Мейер; высококультурный и обладающий тонким литературным вкусом Л. Ржевский, не порывая с журналом, передал редакционный портфель в руки Н. Тарасовой; смерть унесла из редакционной коллегии «Русской мысли» Зеелера и Полянского, предоставив тем самым всю полноту редакционной власти Водову*; народилась и новая большая еженедельная газета «Русское

* Сергей Акимович Водов (1898–1968), журналист, редактор, юрист. Во время Гражданской войны служил в Отделе пропаганды при правительстве Вообруженных сил Юга России (также называемом Осведомительным агентством, ОСВАГ). В 1920 г. эвакуировался в Константинополь, затем жил в Праге, учился в юридическом университете, был членом редколлегии журнала «Студенческие годы». С 1925 г. жил в Париже, сотрудничал

воскресение», редакционный состав которой пока не вполне ясен, равно и как и ее литературная направленность, хотя художественной литературе эта газета уделяет очень много внимания. Все эти внутриредакционные изменения не могли не отразиться на журнальных полосах как в плоскости подбора авторов, так и в направленности качественных и тематических требований, предъявляемых руководством к литературным работникам.

Начнем с «Граней», как с наиболее яркого и насыщенного разнообразием тематических поисков журнала: три его вышедших в истекшем году номера в целом продолжают твердо принятую журналом линию, устремленную к познанию, пониманию и отражению жизни современного русского человека. Можно было бы сказать, что «Грани» стремятся стать *свободною ветвью современной русской литературы*, но не литературой эмигрантской. Однако в то же время в журнале ощущается некоторая двойственность. Кажется, что, с одной стороны, как редакционное руководство, так и сгруппированные им авторы дружно идут к намеченной цели, но вместе с тем, и на тех и на других висит какой-то груз, тяготящий их и тормозящий общее поступательное движение журнала. Словно что-то мешает им преодолеть географически отделяющую нас, зарубежных, от подсоветской России преграду…

Реальна ли эта преграда в литературе? Ведь написал же Н. В. Гоголь «Мертвые души» в Риме, творил же Тургенев во Франции и Германии чисто русские произведения при сравнительно редких посещениях России и даже при некотором субъективном отталкивании от нее? Они были свободны, возразят мне, и могли в любой момент вернуться на родину. Но возьмем тогда Герцена: он глубже и вернее понял родину, оценил и полюбил ее именно тогда, когда путь в нее был ему закрыт. Связь писателей с породившей их почвой осуществляется не плацкартой в экспрессе и даже не радиоволной. Связующие провода лежат в сфере духовной жизни и главный из них, магистральный — любовь, не утраченная любовь к *живому*, сущему *человеку*, произрастающему, мыслящему и чувствующему в родной писателю стихии.

Что же мешает «Граням» проложить и укрепить эти провода? Рассмотрим в отдельности крупнейших писателей их кружка. А. Кашин в рассказе «Вавилоновы звенья» подошел к чрезвычайно глубокой, общечеловеческой теме надрасовой, надплеменной солидарности и любви. Это чисто русская тема и одна из актуальнейших в наши дни. Но

в газете «Последние новости». Был генеральным секретарем Русского национального комитета в Париже, членом правления Союза русских писателей и журналистов. Один из основателей, а затем и редактор газеты «Русская мысль».

трудно рассмотреть ее в рассказе А. Кашина, развернутом им на фоне какого-то непонятного полуфантастического восточного пейзажа, тем более, что вычурный словесный орнамент, которому автор уделяет особое внимание, далеко не во всех случаях выражает настроенность как самого творца автора, так и его героев. Искать нового только во имя его новизны — бессмысленно. «Солнце цеплялось за гору световыми щупальцами» или «небо свертывалось и огромными обрывками повисало сверху» — только утомляющие читателя ребусы, но не живые, облегчающие ему восприятие темы образы. Откуда пришли они к Кашину? Не являются ли они печальным наследием господствовавшего в предреволюционный период в русской художественной прозе надуманного формализма?

Чисто русская тема избрана и А. Даром для его повести «Солнце всё же светит». Актуальная, современная тема. Но при попытках рассечь ее А. Дар идет не в глубину, а скоблит по поверхности, оперируя нарочитой вульгаризацией описываемых им людей. Снова преграда в подходе к ним, на этот раз уходящая корнями в натурализм другой группы, но тоже предреволюционных писателей (например, к Арцыбашеву).

А. Землев, напечатавший главы из чисто почвенной «Родины ветловой», безусловно, наиболее близок в «Гранях» к подлинной своей родине. Он — явно выраженный почвенник и, быть может, именно это-то и тормозит его творческий труд. Слишком глубоко, снова в то же дореволюционное прошлое копнул он и не смог связать его с настоящим, увяз в нем.

Аналогичный процесс наплетается и среди поэтов «Граней». Фольговая мишура «серебряного века» пророчилась в их творчество, очевидно, по канальчикам парижских монпарнассцев и уже затемнила своим тусклым блеском то молодое, свежее и радостное, что в предшествовавшие годы струилось в ароматных, росистых, непосредственно близких к сердцу стихах А. Шишковой и Л. Алексеевой. Ведь парижские монпарнассцы допускают в поэзию лишь три элемента: фальшивую, наигранную ностальгию, поношенные отрепья извращенных форм и смерть где-нибудь на дне тухлого канала, а то и в канализационной трубе... Их «мэтр» Г. Иванов определил эти каноны с исчерпывающей ясностью.

Тяжкий груз печального прошлого давит даже и на литературных критиков «Граней»: беспрерывные земные поклоны перед (нетленными ли?) мощами Бунина, помахивание кадилом «обезьяньему князю» А. Ремизову и, к счастью, бесплодная и неудачная попытка развенчать Есенина, сбросить в грязь его терновый венец.

«Возрождение» под руководством Г. Мейера, увы, не возродилось, а лишь глубже увязло в тине воспоминаний. Прошу не истолковать меня ложно. Воспоминания разные бывают. Одни из них — ценные исторические документы; другие — яркие, захватывающие читателя, правдивые образы прошлого, какие дарит нам, например, в том же «Возрождении» А. В. Тыркова-Вильямс. Но большинство воспоминаний о предреволюционных годах теперь, когда уже почти сорок лет беспрерывно зажевывается эта тема, представляют собою лишь старческую болтовню. Всё нужное, важное уже сказано, продискуссировано, и ушло в область истории, а мелкие субъективные детали вряд ли ценны. Попыток сблизиться с русской современностью в «Возрождении» за истекший год почти незаметно. Наоборот, даже такой глубокий аналитик подсоветского ада, как Н. Нароков, понявший и показавший страдания ввергнутых в этот ад, перешел на очень близкие к воспоминаниям темы, обработал их мило и изящно, но… по существу, только для послеобеденного чтения. О стихах печатающихся в «Возрождении» поэтов уже сказано в этой статье в абзаце о парижских монпарнассцах.

Литературный отдел газеты «Русская мысль», расширенный теперь, вследствие учащенного до трех раз в неделю выпуска этой газеты, пережил, очевидно, какой-то печальный для него кризис. Со страниц «Русской мысли» исчезли имена талантливых Н. Е. Русского, Л. Норд, стали очень редкими художественно-исторические и всегда с интересом читаемые очерки Маркова, зато кружок дамского литературного рукоделья, культивируемый этой газетой, зацвел махровым цветением всех оттенков радуги.

Новая газета «Русское воскресение» удаляет художественной литературе очень, даже, быть может, слишком для газеты много, внимания. Несмотря на еще «юношеский возраст» этого издания, оно сумело привлечь на свои страницы значительное количество известных в зарубежье литературных имен. Среди них есть и новые в этой области, например, В. Рудинский, работавший до того только в области публицистики. Но, несмотря на это, и здесь мы наблюдаем проявления того же процесса, который мы не можем назвать иначе, как *денационализацией* зарубежной ветви *русской литературы*. Тот же Рудинский, вывезший из советского ада огромный багаж наблюдений, переживаний, фактов, предпочитает держать все эти неоспоримые ценности в своем чемодане, а читателя угощает необычными случаями появлений сатаны в вагоне парижского метро, проходящими сквозь стены астральными телами таинственных девиц и прочей занимательной фантастикой в стиле Крыжа-

новской и «Жар-цвета» Амфитеатрова. И здесь возврат к прошлому, к очень печальному прошлому.

Ведь подобная теософическая фантастика, хотя бы и снабженная некоторыми «научными» примечаниями, диаметрально противоположна глубоко христианской мистике русского народа, не умершей в его душе и доныне. Нам чрезвычайно приятно, что В. Рудинский вступил в область художественной литературы, но от души пожелаем ему отпереть свой чемодан и достать из него совершенно реальных красных дьяволов на нашей родине, и выкинуть в мусорный ящик все авантюры европейских чертей в парижском метро.

Итак, картина как будто печальная. Оскудение. Регресс. Ветвь свободной зарубежной русской литературы засыхает. Но так ли это? Вглядимся глубже. Ведь смог же эмигрант второго поколения, Е. Яконовский, покинувший Россию еще кадетом и почти не знающий ее, всё же написать «Солнце задворок» и «Небесные фонарики», рассекая чисто русские психологические темы в столь же русской направленности и лишь развертывая фабулы в обстановке эмиграции. Смог же И. Сургучев, покинувший Россию в 1920 году, связать современность ее жизни с обстановкой парижского кафе «Ротонда». Мастерски, умело, внутренне (как, например, в «Черной тетради»), а не механически. Следовательно, не так уж страшен черт, и, быть может, на действительно засыхавшей до прилива второй волны эмиграции ветви мы наблюдаем свежие побеги, привитые соками родной почвы. А ведь именно этих-то живительных соков и требует от писателей зарубежья его рассеянный по всему миру читатель. Мы слышим отовсюду жалобы, общий смысл которых таков: печататься негде, потому что изданий мало и все они влачат нищенское существование, т. к. читатель индифферентен и не хочет покупать их. Формально это так. Но кто же виноват в этом? Читатель, который не хочет анатомировать мертвецов, а требует живого, родного и близкого ему человека, или писатель, который его угощает мертвечиной под всевозможными соусами? Русская поэзия давно уже ответила на этот вопрос строками «Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий».

Могут возразить: пользоваться-то нечем и нечему радоваться. Так вот, первая задача русского свободного писателя именно найти, показать и повлечь в эту радость читателя, в светлую радость Веры, Надежды и Любви.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
26 января 1956 года, № 314. С. 7

VIII. «Грани», № 29 и № 30

Бывают литературные произведения, которые читатель после нескольких страниц откладывает в сторону не потому, что они написаны антихудожественно, бледно или слабо, но как раз в силу обратного: потому, что они написаны потрясающе сильно, смелыми, решительными мазками, потому, что правда в них безжалостно обнажена, потому, что они действительно до глубин души волнуют читателя. Так в юности было у меня с чтением «Братьев Карамазовых». Так теперь происходит с чтением идущего в «Гранях» романа Джорджа Орвелл «1984». Я читал его в несколько приемов, внутренне раздваиваясь: одна половина меня требовала дальнейшего чтения, другая выкликала: «Довольно! Это слишком ужасно».

Глубокий и талантливый Джордж Орвелл рисует в своем романе рядового человека, личность в обстановке завершенного, построенного коммунизма. Творческие позиции, с которых он исходит, — наша русская подсоветская современность. Резко набросанные им картины намного превосходят то, о чем мечтал Шигалев: «Каждого гения удушим в младенчестве...». Подобный акт кажется пустяком, мелким штрихом в правдивой картине Орвелла. Что там два-три десятка задушенных в год младенцев! Нет, вот когда задушены сотни миллионов, целые народы, нации, быть может, и всё население земного шара — вот тогда наступает подлинный, неоспоримый идеал социал-коммунизма. Страшно читать Джорджа Орвелла... Но нужно его читать тем, в ком не изжиты еще «родимые пятна советизма», и тем более тем, вряд ли многим, читателям «Граней», в руки к которым они попадают через дыры в Железном занавесе.

Однако, на читателя зарубежья последние номера этого журнала (№№ 29 и 30) производят несколько странное впечатление. Номер 29 посвящен памяти Ф. М. Достоевского. Это понятно и оспариванию не подлежит. Но он открывается перепечатками произведений великого писателя: частью первой «Записок из подполья», фантастическим рассказом «Сон смешного человека» и очерком о Пушкине. Нужно ли это? Ведь произведения Ф. М. Достоевского читатель зарубежья может легко достать в любой русской библиотеке. То же может сделать и подсоветский читатель, за исключением разве что «Бесов», хотя в советской прессе промелькнула заметка, что и они входят в выпускаемое юбилейное издание. Другого ищет читатель зарубежья на страницах наших немногих толстых журналов. Прежде всего «своих», современных, отражающих переживания наших поколений писателей, но как раз в этой области

последние номера «Граней» бедноваты, по крайней мере в части беллетристики. В номере 29 только два не привлекающих особого внимания рассказа Нины Федоровой и Татьяны Кудашевой и того же уровня пьеса А. Кашина «Товарищи, Кронштадт наш». Но внимание читателя останавливает на себе окончание очерков А. Светланина «Преходящее и вечное». Дав в предыдущих номерах несколько ярких, твердо очертанных портретов изуродованных советскою жизнью людей с некоторою склонностью даже к обличительности, глубокий почвенник Светланин очень смело принял на себя разрешение труднейшей задачи — дать в критическом аспекте свой собственный автопортрет, как человека той же среды и той же эпохи. Трудно сказать, не зная его самого лично, удалось ли ему в этом случае добиться портретного сходства, но неудачей его смелую попытку назвать ни в коем случае нельзя: данные им зарисовки быта жизненны, правдивы и ценны сами по себе, ели даже и не вполне удовлетворяют требованиям реалистического портрета. Ведь так же писал и Лесков, по стезе которого уверенно идет Светланин.

Номер 30 «Граней» удивил неожиданностью. Талантливый писатель Л. Ржевский выступил в нем с переводами шведских поэтов. Я не сторонник формального разбора поэтических опусов в короткой газетной рецензии, поэтому ограничиваюсь кратким выражением своего впечатления от выбранных Л. Ржевским стихотворений шведских поэтов. Они близки русскому сердцу так же, как в свое время были ему близки рассказы-сказки Сельмы Лагерлеф и пастелевые повести норвежца Кнута Гамсуна. Быть может, дыхание севера роднит нас со Скандинавией. Доходят до сердца и интимные стихи Лидии Алексеевой. Радует помещенная в том же номере критическая статья А. Неймирока «О современной русской лирике в Советском Союзе». Этот молодой выступающий, кажется, впервые, как критик, поэт сумел преодолеть в себе тяжесть мертвого груза пресловутого наследия «серебряного века», висящую жерновом на шее большинства наших критиков поэзии. Он почувствовал даже в строках принудиловцев социалистического реализма «шуршание живых ключей под ледяным покровом», как пишет он сам. Значит, его ухо чутко, а раз так, то и слова его правдивы. Критическая статья Николая Оцупа о Шолохове оставляет меньшее впечатление: наговорено много — сказано — мало, а сказать о столь крупном писателе, как Шолохов, можно было бы и побольше.

Последние тетради «Возрождения» (№№ 53-54-55-56) несут чувство радостной надежды. В начале текущего года казалось, что пора уже петь панихиду на могиле этого самого распространенного и уважаемого в зарубежьи журнала, но, очевидно, его дорога пролегает по каким-то ухабам, то ведет к подъему, то вдруг совершенно неожиданно для читателя

журнал скатывается чуть ли не в глубокий овраг, утрачивая, например, как это было в первые месяцы с. г., полностью свой беллетристический отдел. В последних четырех номерах мы видим обратное: успешный постепенный рост этого отдела, обогащение его новыми авторами и несомненное повышение литературного качества помещенных произведений. Ведущая повесть уже достаточно известной читателю зарубежья публицистки и беллетристки Лидии Норд — «Офелия». До того мы читали лишь талантливые статьи и рассказы этого автора. Теперь радостно приветствуем его первую крупную вещь. Читатель отдыхает и освежается струями ее чистой, свежей, вполне современной русской речи. Л. Норд сумела совершенно освободиться от лексической мишуры, которая уродливой коростой покрывает нередко талантливые работы прозаиков зарубежья, не находящих в себе смелости отряхнуться от дурного вкуса репьев, завезенных в эмиграцию литературными кривляками предреволюционного безвременья. Ее живопись пейзажей Царского Села совершенно свободна как от лживой изысканности бунинского приема, так и от дешевых эффектов, которыми оперируют, например, некоторые наши современники. Фон повести — среда художников периода НЭПа, их борьба с первыми нажимами социалистического реализма. Фабула с первых же глав захватывает читателя своей кажущейся нереальностью, быть может, даже призрачностью, ко вместе с тем она вполне реальна, жизненна и правдива. В ней — дух тех годов, верно уловленный автором.

Оригинален по теме и безупречен по форме рассказ Н. Нарокова «Издевательство» (№ 55). Автор продолжает свою серию «Странных рассказов», напоминающих порою жанр Эдгара По. Писатель, конечно, свободен избирать то или иное направление своего творчества. Но свободен и читатель в своих требованиях к тематике писателя. Думается, что читатели и почитатели автора «Мнимых величин» далеко не удовлетворены переходом их автора к метафизике от раскрытия «физики», реальности влияния социал-коммунизма на человеческую личность.

В историческом отделе журнала очень интересен очерк А. Маркова «Элементы анархии в истории русской смуты». Его выводы найдут, конечно, много противников, в том числе и автора этой рецензии, но собранный и приведенный им в статье исторический материал о Махно, Ангеле, Григорьеве и других «атаманах» времен Гражданской войны ценен и интересен. Как всегда, прекрасны правдивые мемуары А. Тырковой-Вильямс, продолжающей рассказывать на страницах «Возрождения» о своей полноценно прожитой жизни.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
13 декабря 1956 года, № 360. С. 6

А дальше что?

«О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?»

Эта строка Пушкина невольно приходит на память при обзоре беллетристических отделов наших зарубежных газет и толстых журналов. В последнем январском номере «Возрождения», например, нет уже ни одного беллетристического произведения, ибо нельзя же считать серьезно художественной прозой очередное словоблудие Ремизова. «Новое Русское Слово», вероятно, в целях разумной экономии выезжает или на неоплачиваемых пере печатках подсоветских писателей или на рассказиках, написанных от нечего делать дилетантами. В «Новом Журнале» прочно окопался кружок престарелых «олимпийцев» и доступ туда посторонним возможен только при предъявлении свидетельства о «прогрессивности» и удостоверения о социалистической благонадежности. В общем, там те же, перепевающие в сотый раз то же. Такого же рода удостоверение требует теперь от своих беллетристов и «Русская мысль», о чем будет сказано ниже. Явные признаки оскудения наблюдаются и там. «Посев» перестал помещать на своих страницах беллетристику даже в очерковой ее форме, что в прошлом, безусловно, украшало его страницы. «Грани» выходят всего лишь четыре раза в год, с нередкой задержкой «по техническим причинам», уделяют большую часть места публицистике и философии, так что беллетристам в них явно тесно. Последняя надежда авторов зарубежья — «Издательство им. Чехова» — рухнуло по причинам, о которых тоже скажем ниже.

Это одна сторона медали. Теперь другая. Мы имеем точные сведения о том, что у талантливой писательницы Л. Норд имеется готовый роман и повесть. У глубочайшего из современных писателей зарубежья Н. Нарокова лежит в столе два готовых романа. Готова и большая книга, написанная Свеном, колоритные и ароматные рассказы которого тепло воспринимаются читателем русского зарубежья. Целая серия рассказов на современные русские темы написана острым сатириком-бытовиком Н. Е. Русским, но тоже лежит в его столе, как и многое из написанного другими литераторами новой эмиграции. Но в печать всё это не попадает. Почему?

Попутно отметим и другое, внутренне связанное с этим, явление. Наиболее талантливые из числа второго поколения «старой эмиграции», владеющее в совершенстве иностранными языками, предпочитают и печататься на этих языках, уходя из русской современной литературы. Таковы, например, Труайя-Тарасов. Сирин-Набоков.

Поверхностный зарубежный читатель, просматривая страницы беллетристических отделов нашей периодики, безусловно, приходит к очень печальному выводу:

— Оскудела наша художественная литература. Старики поумирали, а молодых талантов или совсем нет, или они денационализированы. Читать нечего.

Но этот поверхностный, только поверхностный, читатель глубоко ошибется в своем выводе. Причина по внешности несомненного оскудения зарубежной русской литературы скрыта не в самих писателях, не в снижении их творческих возможностей, а в тех непреодолимых для них препонах, которые стоят на пути этих писателей к читателю.

Первая из этих причин, образовавшаяся вокруг издательств и отдельных периодических изданий, печатающих беллетристику, кружковщина, в большинстве случаев осложненная партийностью и политиканством. Это не значит, конечно, что художественная литература должна быть строго отделена от политической жизни. Нет, в наши дни политика слишком глубоко вросла в жизнь и оторвать от нее литературу невозможно, но одно дело — политика, а другое — партийное политиканство, «направленчество» — самая гнусная традиция «прогрессивной» русской литературы, от которой в свое время страдали Лесков, Леонтьев и даже Чехов.

Приведем некоторые факты. Мы имеем точные сведения о том. что, например, талантливому сатирику Н. Е. Русскому категорически закрыт доступ па страницы «Русской мысли» ее теперешним руководством. Причины чисто партийные. Писательнице Л. Норд тем же руководством той же газеты предложено или прекратить свою работу в органах национальной мысли или не присылал больше своих материалов в «Русскую мысль». Роман Свена, посланный им Чеховскому издательству был этим издательством принят, но фактическое появление его в печать было отложено на неопределенно долгий срок. Автор был придужден взять свой роман обратно. Не приходится сомневаться, что подобных фактов было много, и не ими ли объясняется отход из русской зарубежной беллетристики таких безусловно талантливых писателей, как Г. Климов, Л. Ржевский, Н. Нароков (напечатавший за последний год только два или три незначительных рассказика), исчезновение рассказов и очерков Г. Андреева и многих других.

Писатель из среды второй волны антисоветской эмиграции явно не находит себе места. Он продолжает читаться «морлоком», «неполноценной личностью», хотя об этом после позорной для «прогрессивной» части русской эмиграции дискуссии не принято говорить вслух, но втайне

это мнение о нем держится и практически осуществляется многими методами. Так, помимо «заговора молчания», которым в недавние еще годы пытались задушить И. Л. Солоневича, теперь применяется метод «принуждения к молчанию» или вынуждение автора писать по указке группировки, владеющей данным изданием или издательством. За примерами ходить недалеко. Безвременная гибель «Издательства им. Чехова» вызвана именно такого рода деятельностью блока меньшевиков-марксистов и их «прогрессивных» подпевал, захвативших это многообещавшее дело в свои цепкие руки. Обещая на словах надпартийность издательства, эти дельцы мастерски втерли очки слабо ориентировавшемуся в русской литературе американскому руководству. Они беспардонно кастрировали дореволюционных русских писателей и поэтов, вытравляя из них подлинно национальную сущность. Этой операции подверглись Леонтьев, Хомяков, Тютчев, Вл. Соловьев и др. Не избежал ее и Н. Гумилев, а Есенин был, очевидно, зачислен в кадры неполноценных. Скрепя сердце, напечатали куцый томик Шмелева... Зато «прогрессивным» писателям двери были открыты настежь. Не только пять книг Бунина, но даже явно устарелые фельетоны Осоргина, литературные очерки Терапиано, тенденциозные экономические работы Прокоповича, мало кому интересные речи Гольденвейзера, воспоминания Зензинова, Вишняка, Чернова и много подобных им заполнили макулатурой склады издательства, что и привело к его гибели, а литераторов русского зарубежья — к молчанию. Это большой удар для литературы русского зарубежья, но тою же «прогрессивной» кружковщиной нанесен ей и другой, пожалуй, еще более крепкий удар — разрыв современного читателя зарубежья с его печатью. Этот читатель берет в руки книгу какого-нибудь Осоргина или Адамовича, бегло проглядывает ее и отбрасывает «с насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом». В мышлении этого читателя образуется пустота, а в его сердце растет безнадежность, неверие в самого себя и в силы своего народа. Эта пустота обычно заполняется или обывательской повседневностью или стремлением к денационализации с тем, чтобы стать «как все», его окружающие. И невольно встает перед ним вопрос: «Стоило ли эмигрировать, порывать связь с родиной, даже если она порабощена кремлевской бандой?».

На мельницу большевистской пропаганды льется обильный поток воды. Эта вода вытекает из «прогрессивных» источников. Затхлая, гнилая вода, полная миазмов разложения трупов ушедшей эпохи.

Что дальше? Какой же выход из создавшегося положения, очень тяжелого для русской литературы зарубежья, стоящей в настоящий момент действительно на краю гибели?

Нам думается, что в идейном плане ее может спасти только понимание того, что литература современного русского зарубежья может существовать и развиваться *только как единственная свободная ветвь всей современной русской литературы в целом*, но не как обособленное деревцо специфически эмигрантской литературы. Выращивать такое деревцо на почве зашедшей в тупик русской литературы непосредственно предшествовавших революции десятилетий, на почве, пропитанной господствовавшей в то время в ней внутренней денационализации абсолютно бессмысленно в наши годы национального пробуждения России, симптомы которого видны нам даже отсюда, из зарубежья. Корни литературы этих годов окончательно сгнили, а некоторые сохранившиеся до нашего времени чахлые ветви неизбежно обречены смерти. Но легко сказать «пусть мертвые хоронят мертвых», труднее осуществить эти слова и еще труднее дать реальную, питательную почву для выращивания новых, заглушаемых этим сушняком, побегов.

Чеховское издательство давало все-таки новым русским писателям какие-то жалкие горсточки необходимой для их роста земли. Теперь нет и этого. Чтобы не впасть в окончательную безнадежность, будем надеяться на то, что наши наиболее крепкие периодические издания расширят свои литературные отделы, как в смысле увеличения печатной площади, так и в смысле предоставления ее беллетристам при условии освобождения их от партийно-групповой цензуры. Возможности для этого все-таки имеются. Например, то же «Новое русское слово» явно обладает излишком печатной площади, которую ему приходится заполнять очень мало интересной для читателя макулатурой. Издателям это не принесет вреда, но, наоборот, сблизит их издания с современным читателем современного русского зарубежья, разрыв издательств с которым подтверждается низкими тиражами этих изданий. Конечно, это паллиатив, но он все-таки даст возможность, если не развить в зарубежье, то хоть сохранить в нем жизненные соки подлинной национальной русской литературы, сохранить их для прививки освобожденному (а это всё же будет) русскому народу.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
9 февраля 1956 года, № 316. С. 4

ПРИЛОЖЕНИЯ

Н. Чухнов

Замалчиваемый писатель

Кто из русских политических эмигрантов не знает Бориса Николаевича Ширяева, заполняющего своими блестящими по форме, искренними по настроению, глубокими по содержанию и всегда актуальными статьями многие и многие страницы русской зарубежной печати.

Не менее известен он и своими книгами — «Ди-Пи в Италии», «Светильники Русской Земли» и особенно «Неугасимая лампада», недавно выпущенная издательством им. Чехова. Несколько его рассказов и повестей были напечатаны в толстых журналах.

Тем не менее, несмотря на общее признание читателей, на громадный интерес к творчеству Ширяева всех кругов эмиграции, — он, как говорят французы, «не имеет хорошей прессы». И произошло это по двум простым причинам: 1) неблагодарность и невнимание редакций газет и журналов, в которых Ширяев бескорыстно сотрудничает, и неумение правой общественности выдвигать своих людей; 2) полное молчание левых органов печати, не желающих дать объективный отзыв о произведениях идеологически чуждого им писателя.

Желая хоть несколько заполнить этот пробел и, вместе с тем, выразить таким образом дорогому Борису Николаевичу свою сердечную благодарность за его огромную помощь в деле издания «Знамени России», я хочу сказать о нем несколько слов.

«Видеть зло и показывать его, тыкать в него пальцем намного легче, чем увидеть в человеке порою глубоко сокрытую искру Божию» — говорит Б. Н. Ширяев, — «Великий грех перед русским народом совершил Н. В. Гоголь, затратив свой огромный талант на показ свиных рыл, неизбежных в среде каждой нации. Он положил этим основу школе “обличителей”, затоптавших в грязь русское национальное самосознание, чувство собственного достоинства, справедливую оценку своего народа и своего государства... Пушкин шел иным путем. Он нашел и Татьяну, и ее няню, и капитана Миронова, и Машу, элегантного денди Онегина, милого мечтателя Ленского... Много, много прекрасных образов нашел Пушкин в среде своего народа. Н. С. Лесков расширил и углубил пушкинское начало. Тропинку Пушкина он развернул в ши-

рокую дорогу, взяв ее направление от религиозного мироощущения русского народа, которое ускользало от Пушкина. В результате бесконечный ряд праведников и даже в лице уездного городничего, свиного рыла по Гоголю, Н. С. Лесков сумел найти правдолюбца и праведника Однодума».

Ширяев считает Лескова своим учителем и стремится следовать ему как по внутренней творческой линии, так и в ее внешнем оформлении. Следовать, но не подражать, т.е. переносить направленность Лескова в современность, а не повторять созданные им образы в своей «Неугасимой лампаде», крупнейшей его вещи. Ширяев осуществляет тот же завещанный Лесковым поиск праведников в среде русского народа, и, надо сознаться, что ему это, вероятно, значительно труднее, чем было Лескову, т. к. наша эпоха не создает жизненных условий для проявления лучших сторон человеческой души. Но Ширяеву всё же удалось отыскать даже не одного, а многих, многих праведников, встреченных им в самом страшном месте охваченной революционным безумием России — на Соловецкой каторге. Это и убедило его в том, что искра Божия неугасима в человеческих сердцах и что в русских сердцах больше, чем где-либо, места для ее горения. Именно в них — неугасимая лампада, светоч мира. В этом внутренняя линия следования Ширяева по стопам Лескова; внешнее же оформление ее Ширяев воссоздает в языке, которым говорят его персонажи, вернее, в их языках. Костромской лесовик Нилыч рассыпает у него цветистую зернь северо-русской речи; понюхавший фабричного дыма казак, в главе «Звоны Китежа», изъясняется смесью казачьего диалекта с фабричным советских времен; интеллигент Глубоковский ораторствует не хуже любого адвоката, а «утешительный поп» Никодим облекает семинарскую витиеватость в среднерусский говорок, та литературная форма дает произведениям Ширяева правдивость, жизненность, искренность. Главное — жизненность.

Вопреки Бунину, в литературном смысле враждебно относившегося к Ширяеву (о чем сам Ширяев писал не раз), он избегает отвлеченных, мертвенных описаний природы и пользуется ими только тогда, когда окружающая природа созвучна живущему в ней и изображаемому в данный момент писателем человеку.

Живой человек, живая его душа и живое его тело концентрируют на себе всё внимание автора «Неугасимой лампады», и, несмотря на то, что ему пришлось в течение двадцати пяти лет наблюдать этого человека в тягчайшей обстановке торжествующего социализма, т.е. социалистических казарм и каторги, он всё же не утратил веры в него, но, наоборот, укрепил ее.

Трудно сказать, новичок ли Ширяев в литературе или опытный мастер. Он начал писать в ранней юности и в предреволюционные годы выпустил небольшую книжку своих стихов. Потом совершенно отошел от поэзии, но развернуться в прозе в советской России, конечно, не смог и был принужден перейти на газетную работу. Стремясь к наименьшему компромиссу со своей совестью, Б. Ширяев избрал в газете амплуа «культурника», как называют в советах, т.е. писал корреспонденции-очерки популярно-научного типа по всем отраслям знания и искусства, чему помогало его разностороннее образование. В среднеазиатских газетах, где он главным образом работал, им очень дорожили, тем более, что будучи тогда молодым, Б. Ширяев не боялся тяжелых поездок и исколесил то на лошади, то на верблюде, то на аэроплане всю Среднюю Азию, вплоть до пустынь Кульджи и громад Памира, Но сам он считает, что писателем он стал, когда выбрался на свободу — в эмиграцию.

Первые годы было очень трудно: печататься было почти негде. И здесь я должен с большим удовлетворением повторить признание Бориса Николаевича в том, что поняли, оценили и помогли И. Л. Солоневич и «Знамя России»*, давшие ему возможность укрепиться и развернуться, а главным образом поверить в самого себя. В очень тяжелых условиях лагерной жизни Б. Н. Ширяев беспрерывно работал, следуя своему призванию, даже без надежды на какой-либо материальный результат этой работы. Именно в лагерях, ранними утрами, когда всё их население еще спит, Ширяев написал уже известную нам свою трилогию «Последний барин», «Ванька-вьюга» и «Овечья лужа». Но по замыслу писателя, это не трилогия, а лишь первые части задуманной им серии романов и повестей, связанных между собой общей темой и некоторыми персонажами. Общая тема: искупление нашей всеобщей русской греховности действенною борьбой со злом, действенной вплоть до подвига самопожертвования. Основной момент этого действия Ширяев предполагает показать в романе «Кудеяров дуб», который в ближайшем будущем начнет печататься в «Возрождении» (жаль, что этот роман не выходит отдельной

* В выпуске газеты от 20 апр. 1952 (№ 61, с. 18) Б. Н. Ширяев опубликовал послание «Друзьям "Знамени России", посетившим его "Первый интимный вечер"»:

«Далекие, но сердечно близкие и дорогие! Вы вспомнили, собравшись, обо мне и протянули мне через океан руку помощи. Знаете ли вы действительную мощь этой руки? Нет, не долларами она измеряется! Тому, что идет от чистого сердца, нет цены ни в одной из валют мира, и в этом его непреоборимая сила. Эту силу перенес мне через океан ваш чуткий отклик на мое выстраданное правдивое слово.

Сказать вам спасибо — слишком мало. Возношу свои благодарения живому в сердцах ваших образу и подобию Божьему. Сим победиши!

Любящий вас, моих близких по духу.»

книгой в изд-ве им. Чехова, но, увы, пробиться туда невозможно через горы макулатуры, которой отдается предпочтение: «Неугасимая лампада» была уступкой общественному мнению, а на вторую уступку рассчитывать не приходится). Частично эта тема Кудеяра мелькает и в «Овечьей луже» и в предшествующем ей «Ваньке-Вьюге». Но Б. Ширяев подходит к этой теме не схематически, не рационально, а чисто эмоционально, развивая ее в современных бытовых условиях. Не история или легенда, а текущая жизнь — вот стихия, в которой он живет.

Свои рассказы и повести Ширяев печатает в журналах совершенно различных направлений, вплоть до солидаристических «Граней», т. к. считает, что в литературе не может быть политической партийности, которая обязательна для публицистики, но существует своя собственная «литературная партийность». И «литературная партия», к которой причисляет себя Ширяев, стремится к преодолению того мусора, которым засорена русская литература предреволюционного периода, в так называемый ее «серебряный век», подчинившего направленность и сущность творчества форме и изуродовавшего форму внесением западной гнили в нашу русскую почву. «Серебряный век» он считает «Февралем русской литературы».

В настоящее время, в далекой от нас Италии Ширяев работает над окончанием романа «Кудеяров дуб» и ведет текущую публицистическую работу в нескольких изданиях национально-русского направления.

Заканчивая эту заметку, я прошу дорогого Бориса Николаевича еще раз принять мою сердечную благодарность за бескорыстное, дружеское и идейное сотрудничество, и желаю ему дальнейших успехов на его боевом участке общерусского фронта борьбы за Россию.

«Знамя России», Нью-Йорк,
10 августа 1955 года, № 128. С. 2–3

В. Рудинский

Две крайности

Талантливый, но нередко парадоксальный Н. Ульянов опубликовал недавно в «Новом Журнале» статью «После Бунина», где пришел к выводам весьма мрачным и пессимистическим, прямо заявив, что, якобы, с Буниным прекратила существование русская литература, и за рубежом и на родине. По счастью, аргументация автора убедительна только внешне. Несправедливо, конечно, начисто отметать советскую литературу. Несмотря на гнет социального заказа, в ней есть произведения, которые

переживут советский строй. Банальный пример: «Тихий Дон» Шолохова; но, сколько других вещей можно бы назвать даже созданных в самую ортодоксально-коммунистическую эпоху. А во время и непосредственно после войны появилось множество книг (и особенно в сфере исторического романа, казалось бы столь близкой Н. Ульянову), в которых только и есть советского, что надпись «Госиздат» или что-нибудь в этом роде. О многих из них мы уже имели случай упоминать в «Возрождении».

Еще более сомнительны похороны по третьему разряду, устраиваемые Н. Ульяновым далеко еще не скончавшейся зарубежной литературе. По версии Ульянова, все великие писатели должны были «рукоположены» каким-либо гениальным предшественником, как, скажем, Пушкин — Державиным!

Странность безусловного перенесения церковного обихода в литературу не выдерживает даже и поверхностного анализа. Вообразим себе, что Пушкин лично не встретился бы с Державиным, что весьма легко могло бы случиться. Ясно, что не только он, тем не менее, был бы Пушкиным, но и что влияние Державина сказалось бы на нем ничуть не меньше. Духовная преемственность ведь свободно преодолевает во времени дистанции веков, в пространстве — океаны, горные цепи и пустыни.

Во всех великих литературах Европы и Азии бывали периоды упадка, иногда даже без особых внешних причин, которые затем сменялись новым расцветом. Если так бывало в Испании, Англии, Италии, почему этого не может быть в России, где притом обстоятельства гораздо лучше бы объясняли это явление? Но, главное, самое-то наличие упадка надо поставить под знак вопроса.

Если даже не ссылаться на целый ряд оставшихся талантливых писателей старой эмиграции, двух или трех ее поколений, то остается совершенно непонятным, почему Ульянов не видит целого класса в литературе, к которому, в конечном счете, следовало бы отнести и его самого? Новая эмиграция, слава Богу, дала уже очень немало. Имена Сергея Максимова, Л. Ржевского, Н. Нарокова, и в поэзии, например, Олега Ильинского никак нельзя сбрасывать со счета...

Ослепление человека, не увидевшего за деревьями леса, было бы вовсе уж непонятно, если бы кое-что в статье Ульянова не служило известным тому пояснением. Он очень резко нападает на всех, кто вносит в область чистой литературы политические страсти и начинает применять свое творчество как орудие в борьбе с большевизмом. И очень вероятно, что перечисленные выше, да и многие другие писатели новой эмиграции вызывают его раздражение именно «по этой линии», заходящее чересчур далеко.

Невозможно не признавать, что в первой части «Дениса Бушуева»

(Максимова), или в «Мнимых величинах» (Нарокова) мы встречаемся с подлинно-художественными произведениями, которые только выигрывают от острой актуальности, в них кипящей. Недопустимо стеснять свободу художника, как нельзя требовать от него и писать непременно о нашем времени, или, еще хуже, в определенном политическом направлении или плоскости. Но нельзя и запрещать ему писать о своей эпохе и выражать свои идеи, если ему того хочется. Полной аполитичности не найти ни у Достоевского, ни у Тургенева, ни у Корнеля, Шекспира или Данте.

Признание свободы творчества означает право писателя равно строить себе «башню из слоновой кости» или ввязываться в самый жар политической свалки. И, действительно, хороший критик должен как раз уметь схватить силу и слабости произведения с точки зрения искусства, а отнюдь не с точки зрения собственной идеологической концепции.

Ульянов вправе стоять «au-dessus de la mêlée», но не требовать того же самого от всех.

* * *

Своеобразный «pendant»* (*фр*.: парная вещь, пандам) к изложенным выше мыслям представляют высказывания и другого критика, тоже талантливого и вышедшего из рядов новой эмиграции, — Б. Н. Ширяева. Он, наоборот, категорически требует от всех поэтов и писателей эмиграции служения делу антибольшевизма и приходит в раздражение от самой идеи, что можно писать для чего-то иного.

Но не напоминает ли это, в самом деле, большевистского стандарта? Не получается ли это такой же точно социальный заказ, как в СССР, только не левый, а правый?

Ширяев, мы полагаем, абсолютно прав, когда ратует за уничтожение левого засилья в зарубежной литературе, при коем могут быть напечатаны только произведения определенного политического направления и только о них говорит пресса и критика. Но дело ведь совсем не в том, чтобы его заменить правым засильем.

А очень многое в решительных оценках Ширяева показывает, что он к политическим врагам (а это, к сожалению, все те, кто целиком не принимает его, довольно «комплексной» идеологии) не собирается применять художественный критерий, а намерен подвергать их тому экзамену по части политической благонадежности.

Причем этот метод невольно ведет к бессмыслице: нападая на «парижскую школу» поэтов, Ширяев даже не разбирает того, что иные из

---

* *фр*.: парная вещь, пандам.

них по сути дела — и в жизни, и в творчестве — служат тем же идеалам, что и он. В нападках на Бунина он оказался совершенно неспособным понять ни художественное его значение, ни положительно идеологические элементы в это сочинениях. Даже анализ русских классиков «по Ширяеву» таит в себе опасности, и большие.

Еще более неприятное впечатление производят делающиеся попытки Ширяева ввести «духовную цензуру». Слава Богу, что инквизиционные приемы всегда были противны православной иерархии. Угрожающий намек, обращенный лично ко мне, что мои рассказы грешны, ибо в них допускается появление на сцену нечистой силы, на меня производят впечатление, скорее всего, комическое*. Ни Гоголь, написавший «Портрет», «Страшную месть», «Вия», ни А. К. Толстой, автор «Упыря» и «Семейства вурдалаков», ни Достоевский, у которого Иван Карамазов беседует с дьяволом, поскольку мне известно, не были отлучены от Церкви. Никакого специального запрета касаться потустороннего мира в литературе также никто на наших пастырей Церкви не издавал. Не будем сомневаться в преданности профессора Ширяева православию, но посоветуем ему не переносить на русскую, хотя бы и эмигрантскую, почву самых отрицательных сторон, какие имеются в католичестве.

Рискованная вещь подменять литературный анализ политическим. Еще худшая, вместо того, чтобы указывать недостатки, давать советы — звучащие вроде военной команды — писать непременно на такие то и такие-то темы (между прочим, автору этих строк Ширяев предписывает писать о Советской России, чего я отнюдь не собираюсь делать).

Тип унтера Пришибеева никогда не считался в России положительным. Меньше всего в людях такого типа нуждается эмиграция, а в ней меньше всего — литературные круги. И поскольку в них живут всё же основные традиция русской интеллигенции, всегда выше всего ценившей свободу мысли, мы думаем, что «тон» Ширяева никого не заставит писать о том и так, как он хочет, а лишь приучит всех к мысли, что его критика носит партийный, предвзятый характер.

В одной из своих статей (в общем, очень удачной), посвященной Грибоедову, Ширяев с большим одобрением отозвался о Скалозубе. Жаль, все-таки, что он не только решил следовать его правилам, но еще и вообразил себя именно тем фельдфебелем, которого не хватает эмигрантской литературе, что греха таить, не выстроенной во «фронт» и не выровненной по ранжиру. Сравнение с Церковью, о котором упомянуто выше, не

* См. очерк Б. Н. Ширяева «Итоги года» в нашем сборнике.

вполне применимо к литературе; но армейские приемы в ней были бы еще менее на месте. Тем более, что, в конце концов, и произведен-то он в фельдфебеля тем путем, каким поговорка допускает производство только в капралы: «Кто палку взял»...

«Возрождение», Париж,
май 1956 года, № 53. С. 136–138

М. Бойков

Соловецкая летопись

Писали о Соловках в эмиграции много. Этому первому советскому концлагерю внимание литераторов и не литераторов было уделено больше, чем всем остальным концлагерям.

На протяжении тридцати лет изданы десятки книг о монастыре, превращенном в каторгу. Казалось бы, тема избита, освещена со всех сторон и точек зрения, использована на все сто процентов. Но вот выпустил свою новую книгу «Неугасимая лампада» Борис Ширяев (Чеховское издательство) и Соловки в ней выглядят по-новому, иначе, чем у других авторов. Предшественники Б. Ширяева, в большинстве своем, писали мемуары, переполненные их личными переживаниями. Он же о себе пишет очень мало. Его книга посвящена людям, населяющим советскую каторгу в первые годы после гражданской войны, их каторжному быту и невыносимым страданиям, мукам тела и возвышению духа.

Пестрой панорамой проходят перед читателем эти люди — заключенные и чекисты: проходят десятки их, и читатель не устает от напряженного мысленного разглядывания этой панорамы. Наоборот, он как бы «вживается» в книгу, входит в описываемую Ширяевым обстановку, страдает вместе с его героями, касается глубин душ и сердец заключенных и чекистов.

Это происходит оттого, что Б. Ширяев в «Неугасимой лампаде» исключительно талантливо рисует живых людей, живых и внешне и внутренне. Читая ее, их видишь перед собой, представляешь себе ясно и ярко новых мучеников за Русь и веру православную, и их мучителей.

В «Неугасимой лампаде» нет ни одного выдуманного героя. Там живые все: архиепископ Илларион и «утешительный поп» Никодим, мужицкий царь Петр Алексеевич и фрейлина трех императриц, артисты Арманов и Борин, бандит Алексей Чекмаза и проститутка Сонька Глазок, чекисты Ногтев, Эйхманс и Сухов. Нет в книге и выдуманных под-

робностей каторжного или тюремного бытия. Расстрел и многое не менее трагическое на Соловках Ширяев описывает так, как оно было. Он не творит из «куска жизни» легенду и не превращает в легенду «кусок жизни», а берет подлинные куски жизни и смерти, соединяет их в книге вместе и представляет на суд читателя:

— Вот смотрите! Это жизнь и смерть, падение и возвышение...

Свою книгу автор назвал «записью безвременных лет». Точнее ее, пожалуй, можно назвать соловецкой летописью с 1922 по 1927 год; летописью написанной в литературно-художественной форме с хорошим стилем и образным языком. В ней читатель найдет и повесть («Мужицкое царство»), и рассказы («Сих дней праведники»), и зарисовки, и воспоминания и эпизоды истории Соловецких островов («Святые ушкуйники»). Всё это составляет в общем эпическую, объективную и спокойную, а порой горячую и страстную «запись безвременных лет» Бориса Ширяева.

Главная мысль книги, главная нить ее содержания, которую автор протянул в ней от первых страниц до последней, была внушена ему схимником затворником, единственным из таких подвижников, оставшимся на Соловках при советской власти.

В безлунную сентябрьскую ночь автор возвращался пешком из дальней командировки и в лесу наткнулся на землянку. Он заглянул в ее оконце и увидел то, что уже никогда не забудет:

«Прямо предо мной горела лампада, и бледные блики ее света падали на темный лик древней иконы. Ниже был виден ничем не покрытый аналой, а на нем раскрытая книга... лишь присмотревшись, я смог различить склоненную перед аналоем фигуру стоящего на коленях монаха и рядом, на лавке, очертания раскрытого гроба.

Я стоял у входа в сокровенный затвор последнего схимника Святой Нерушимой Руси... До рассвета стоял я у окна, не в силах уйти, оторваться от бледных лучей Неугасимой лампады перед лицом Спаса.

Я думал... нет... верил, знал, что пока светит это бледное пламя Неугасимой, пока озарен хоть одним ее слабым лучом скорбный лик Искупителя людского греха, жив и Дух Руси — многогрешной, заблудшейся, смрадной, кровавой... кровью омытой, крещенной ею, покаянной, прощенной и грядущей к воскресенью Преображенной Китежной Руси.»

Эта лампада не угасла. Она горит, и слабые блики ее автор видел и на лицах заключенных и советской молодежи, и власовцев, сражавшихся против коммунизма за родину, и казаков, идущих на Голгофу Лиенца.

«Преображение требует искупления; искупление — жертвы, — пишет Б. Ширяев. — Соловки и все рожденные ими, покрывшие Русь Голгофы были жертвенниками искупления, на которые лилась и льется

кровь, на которых сияли и сияют многие лампады. Тогда, в непроглядной тьме, была лишь одна...

Пламя от пламени, свет от света. Тихими тайными светильниками возгорелись иные лампады. Я их видел и сохранил в своей памяти.

Духа не угасить...»

Очень хороша книга Б. Ширяева. Спасибо ему за нее. И побольше бы нам таких книг.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
2 июня 1955 года, № 280. С. 7

[Книгочий]

О «Неугасимой лампаде» Бориса Ширяева

Об этой книге трудно (невозможно) написать газетную заметку: о ней надо написать книгу же. Настолько значительно ее содержание и настолько значителен вопрос, поставленный в ней.

«Неугасимая лампада» не только описательный документ, не только материал для историка: она раньше всего и главным образом есть книга проблемы, первостепенно важной для сегодняшнего дня и для завтрашнего. Ее ценность именно в проблеме, которую поставил автор, и которую он разрешил.

Эта проблема — Россия.

Эта проблема — русская душа.

Эта проблема — то, что можно назвать одним словом: «русское».

Именно этот вопрос поставил автор: поставил давно, еще «там», на советской каторге и с внимательной, требовательной настойчивостью глядя вокруг себя, не усумнился: лампада русской души — неугасима.

Огонек в землянке схимника (был и такой в Соловках) еле заметно мерцал в густой заросле чащи, скрытый еловыми ветвями. Но было несомненно: «Пока светит это бледное пламя Неугасимой, жив и дух Руси».

Автор непоколебимо верит в бессмертие духа и показывает в своей книге носителей его: мужики с Уреней, «утешительный поп», бывший присяжный поверенный Василий Иванович («Василек — Святая душа»), престарелая фрейлина трех императриц, мало известный на каторге человек, инвалид Силин, «душу свою за други положивший», несогбенный владыка Илларион — сотни и тысячи людей проходили мимо Ширяева и

в каждом он видел сияние духа. И он отразил его в своей книге: «Умрем мы, но воскреснет Русь».

Так верит он, такой верой заражает и нас и эта вера безмерно нужна, нужна, нужна нам.

«Но ведь то, что видел автор, было тридцать лет тому назад», не без основания скажет скептик, «а за эти годы ушли из жизни все носители старого духа, и на смену им пришло совсем новое поколение. Умер в современном колхознике кондовый мужик, умер в вузовце студент-идеалист, умерли в “девчатах” тургеневские девушки и умер в советском интеллигенте мятущийся, скорбный интеллигент прошлого. Не угасла ли за эти тридцать лет неугасимая лампада?»

Сомнение значительное. И есть очень много оснований для него. Но словно предугадывая его, Ширяев переносит свои воспоминания на предвоенные годы, когда он был уже «на воле» и наблюдал «вольных». Есть в его книге важная глава — «Лампада теплится». В ней автор показывает советского, но по духу антисоветского молодого студента, который хочет «дышать» и которому нечем дышать: показывает советскую молодежь, которая скрыто, но жадно стремится приобщиться именно к скрытому, замкнутому, запретному для нее; показывает юношей, которые страстно доискивались, что видел в небе невидящими очами князь Андрей на Аустерлицком поле; показывает девушек, которые в тоске спрашивали — «Почему утопилась Офелия? Неужели из-за роста торгового капитала и из-за гибели натурального хозяйства? Почему ушла в монастырь Лиза Калитина?» Он описывает советскую молодежь, какой она стала во время войны, когда пришли немцы, то есть, когда исчез гнет и мрак коммунистической власти над порабощенным человеком. И, наконец, до трагических дней Платтлинга, Дахау и Лиенца. От Соловков до Платтлинга — вот скорбный путь последних тридцати лет. Но на каждом повороте своем этот путь освещен мерцающим светом все той же неугасимой лампады.

На пароходе, который привез каторжан с материка на остров, была яркая надпись над колесами. «Глеб Бокий», имя палача и чекиста. Но сквозь свежую окраску просвечивало прежнее имя парохода: «Святой Савватий», имя одного из основателей монастыря. «Глеб Бокий» скрыл «Святого Савватия», но уничтожить его не смог.

Это исходная точка и безукоризненная цель книги: сгниет все наносное, насильственное, навязанное и искусственно привитое, но сокровища души, мысли, чувства и воли русского человека останутся нетленными.

Нужная и ценная значимость книги именно в поставленной и разрешенной автором проблеме: вере в русский народ, вере в русское начало, вере в Россию. И надо всем — вера в торжество духа.

Но помимо ценности проблемы, книга обладает и другой ценностью — художественной.

«Я не художник и не писатель», — скромно утверждает автор. Читатель думает иначе: если образы книги без усилия и напряжения входят в представление читателя, если отдельные страницы заставляют биться сердце и затаивать взволнованное дыхание, если внимание мучительно напрягается, если язык всей книги блестящ, то она написана художником. Но в конце концов не в этом дело! Для измерения «художественности» произведения эталона ведь нет. Важно то, что эту книгу хочется перечитывать, чтобы глубже войти «в нутро» бесхитростного, но почти величественного «мужицкого царя», чтобы постигнуть источник силы «утешительного попа» или разгадать мрачную тайну души изувера, в каталептическом экстазе слушающего заупокойные напевы через час после того, как он «шлепнул» приговоренного.

От страниц книги не оторвешься!

Она нужна высшей нужностью: по ней наши потомки поймут, почему не погибла Русь в злые годы лихолетья, почему остался собой русский человек, почему не угасла «Неугасимая лампада».

«Русская Жизнь», Сан-Франциско,
23 марта 1955.

Перепечатано:
«Наша страна», Буэнос-Айрес,
28 апреля 1955 года, № 275, С. 5–6

Л. Норд

О «Неугасимой лампаде» Бориса Ширяева

Новая книга Б. Н. Ширяева — «Неугасимая Лампада», — недавно выпущенная Издательством имени Чехова, является не только ярким художественным произведением, но и очень ценным историческим документом.

Она отражает две эпохи. Одна начинается с пятнадцатого века, когда тремя святителями — Зосимой, Савватием и Германом — была основана Соловецкая обитель. Основание этой обители совпадает с образованием Великорусского Государства, во времена княжения Великого Князя Ивана Третьего сына Василия Темного.

И когда пал Великий Новгород и вечевой колокол был увезен в Москву, то к святому острову стали приплывать ушкуи с новогородцами, искавшими в монастыре мира и покоя, а также и с бежавшими от гнева Государя Московского.

Своими трудами построили иноки Преображенский собор и возвели стены Соловецкого кремля — стены нерушимые сложены «из непомерных валунов и длиною округ верста три четверти».

...«Четыре века со всей Руси притекали трудники к стенам Соловецкой обители. Земные, отягченные злобой, грехом, изъязвленные, смрадные, покрытые гноем и струпьями в душах своих, сбрасывали они тяготу своих грехов у гробниц Святителей Соловецких, омывались покаянными слезами и, многие, в жажде светлого преображения, трудились во имя Божие, кто год, кто три, пять. Иные оставались тут на век и погребены на острове».

И память о тех веках и о Соловецких праведниках оставалась в хранившихся в монастыре летописях и сказках.

Перестала существовать благочестивая Россия и большинство иноков ушло на Валаам. Но некоторые, особенно больные и старые остались. Вскоре на остров прибыли чекисты, а затем на Соловки стали стекать «последние капли крови из рассеченных революцией жил России». В 1922 году чекисты подожгли Преображенский собор, чтобы скрыть расхищение ценностей, которых в нем было не мало. Во время пожара сгорело и много летописей, хранившихся в соборе, но часть уцелела. Вот по ним и по рассказам оставшихся на острове монахов написал автор книги историю возникновения Соловецкой обители. Мы не знаем, что сталось потом с остатками летописей и уцелеют ли они в будущем, и поэтому книга Б. Н. Ширяева приобретает особую ценность.

Ширяев попал на Соловки в 1922 году. Он был каплей из той российской крови, которую выжали на Соловецкий остров большевики. Каплей полноценной, не разжиженной ни испытаниями, ни страданиями. Поэтому он смог, поразительно сильно и жизненно верно, описать и другую эпоху создания первой советской каторги запланированной советской властью братской могилы для цвета российской нации и подонков общества. Умышленно соединяя под одним лагерным кровом остатки аристократии, интеллигенцию и духовенство с отпетой разбойной и воровской шатией, чекисты надеялись, что лагерная атмосфера дополнит каторжный труд и быстрее сведет «бывших людей» в могилу.

Но одного не учли Советы, — что зажженная Соловецкими Святителями неугасимая лампада продолжала гореть в келье-землянке схимника-молчальника, и после его смерти огонек ее поддерживали дру-

гие, что от нее зажигались другие огни — «негасимые огни Святого Духа в душах людей».

Преображенский собор сгорел — «сотворенное человеком — видимое — сгорело, Сотворенное Богом — невидимое — жило». Светлый Дух Преображения оставался на Святом острове, ибо «там Христос близко»...

Дух Божий соединяет Рождественскую Ночь в общей молитве священника о. Никодима, турка Решад-Седада, барона Иоганна-Ульриха Риттер фон Рикнерт дер Гельбензанд, Б. Н. Ширяева, шляхтича Стася Свида-Свидерского, бывшего купца Василия Овчинникова, «атеиста-эпикурейца» Мишу Егорова и дежурного охранника ГПУ Шапиро.

Сотни людей, обитавших в то время на Соловках, ярко описаны Ширяевым в этой книге и автор не приклеивает им своих ярлыков, относящих их к категории хороших или плохих людей, — с редкой объективностью он повествует о заключенных и лагерном начальстве. Перед нами проходит длинная вереница живых до осязаемости, людей-праведников, совершивших подвиг, раскаявшихся грешников, ставших на путь покаяния, и закоренелых преступников. Близость Христа заставляет и закоренелых осознать тяжесть своих грехов... Они богохульствуют, зверствуют, но повсеместно чувствуют силу Бога. Дух Его, нисходящий на страждущих, — непоборимый Дух.

Содержание «Неугасимой лампады» пересказать нельзя. Каждая ее глава — это целая эпопея. У автора есть еще одна ценная черта — он никогда не показывает себя в позе героя, не описывает всей тяжести своих переживаний. Казалось невозможно бы найти на советской каторге элемента юмора. Но Ширяев, вкрапливая его во многие главы своей книги, убеждает нас в стойкости русской души, которая имеет силу и в муке находить для себя радость и щедро наделяет ею других страдальцев, как это делает «утешительный поп» — отец Никодим.

Замечательно передана автором «Летопись мужицкого царства», где описывается трагическая эпопея создания крестьянами Костромской губернии, уже при советской власти, «Уренского царства» с выбранным народом царем Петром Алексеевичем, погибшим потом в Соловецком лагере.

Чрезвычайно интересны главы, повествующие, как потомок французского эмигранта, аристократа де Рибаса, — в честь которого была названа Дерибасовская улица в Одессе, — Вальтер де Рибас — превратился после революции в одного из свирепейших чекистов — Терентия Дерибаса, и о карьере главного «конструктора» системы советских концентрационных лагерей, Натана Френкеля.

Описание жизни на Соловецкой каторге показывает неискоренимое стремление человеческих душ к Богу, к подвигу, добру и красоте. Поэтому русский народ и пронес через все годы существования коммунистической диктатуры — годы нечеловеческих страданий и дьявольских соблазнов — неугасимый огонь веры в своей душе и сохранил ее не изъеденной ржавчиной коммунизма.

Может быть, в конце концов, чекистам удалось погасить пламень той лампады, которая горела со дня основания Соловецкой обители и до наших дней, но разве сейчас не зажглись в СССР, несмотря на все гонения со стороны власти, сотни тысяч других неугасимых лампад, огонь которых поддерживается верующими? И сколько миллионов таких лампад теплятся незримо в душах русских людей? И разве без света «неугасимой лампады» в душе мог бы автор написать такую замечательную книгу, разрывающую покров того мрака неизвестности, которым окутывают Советы все свои злодеяния и показывающую миру страдания, силы и чаяния нашего народа?

«Бюллетень Русского Общества
помощи беженцам в Великобритании»,
10 марта 1955 года.

Перепечатано:
«Наша страна», Буэнос-Айрес,
28 апреля 1955 года, № 275. С. 4–5

Л. Норд

Ценные вклады в русскую литературу

Небольшая, скромно изданная книга. Всего 276 страниц. А эта книжка войдет не только в русскую литературу, но по ней историки напишут те главы русской истории, где будет описываться страшная трагедия миллионов русских людей основавших племя Ди-Пи.

«Ди-Пи в Италии» Б. Н. Ширяева отражает, как в зеркале страшные круговороты судеб людей, отказавшихся влачить цепи коммунистического рабства.

Грядущая революция духа русского народа будет самая страшная из всех бывших доныне революций. И она одна сможет смести начисто коммунизм, не только в СССР, но и в его колыбели — на Западе. Первые, вырвавшиеся со шквалами войны из СССР, люди рассказывали,

кричали миру о преступной сущности коммунизма, о ненависти к нему всего народа.

Тут были люди различных возрастов, полов. Стоявшие на разных ступенях советской жизненной лестницы. Люди с высшим образованием и колхозники. Умудренные жизненным опытом и только что оторванные войной от студенческих скамей и школьных парт. И всех их коммунистическая тирания была бессильна покорить духовно, «перековать» или воспитать советскими.

Капитуляция. Капитулировали перед победителями побежденные народы и только горсточка людей удивила весь мир своим нежеланием сдаться «на милость Советам». Предпочитая смерть возвращению в прежнее рабство.

Книгу Б. Ширяева можно назвать и «Охотой за душами» и «Торговлей душами». И всё описываемое им происходило не только в Италии, но и во всех западных странах, куда забежали, спасающиеся от кремлевских ищеек люди.

Никого не «бичуя», автор повествует (даже с завидным юмором), о тех, кому надлежало спасти этих людей, помочь им, поддержать хотя бы морально.

И тут вскрывается самое страшное: во главе «благотворительных» организаций, «помогающих» Ди-Пи, стоят сознательные или несознательные помощники Красного дьявола, ловящего убежавшие от него русские души. То там, то тут мелькают сталинские рожки и души мечутся в ужасе и ищут убежища в глухих итальянских монастырях, африканских пустынях...

Несколькими характерными штрихами Ширяев показывает Иуд и Иудушек нашего «просвещенного и гуманного» века, перещеголявших своей торговлей человеческими душами, наживой за счет отнятия скудных граммов продуктов питания у бесправных Ди-Пи, и персонажей «Мертвых душ» Гоголя и героев Салтыкова-Щедрина.

На фоне клятвопреступничества, жестокой тупости, мелкой жадности и больших моральных преступлений, еще ярче вырисовывается отчаянная стойкость гонимых и предаваемых Ди-Пи, самоотверженная человечность падре Бутенелли, порядочность британского капитана Хилса, благородство и добрая воля четы Паллукини и ряд других примеров, укрепляющих веру в то, что не во всех душах погас Божий огонь, не все сердца поросли шерстью и что дьявол еще не выскреб всю совесть у людей. А что и самого дьявола можно еще обуздать, обложив «продналогом», заставить кормить обездоленных.

Но увы, люди забывшие заветы Бога, стали страшней самого сатаны.

Вырвав из рук доброй Парки нити судеб Ди-Пи, они крутят их с тупой садистической жестокостью. И вот, в эпоху деклараций о правах человека, широкого похода против рабского труда и водопадов гуманных речей в ООН, зубы, выбитые чекистами, съеденные цингой в концлагерях, во время повальных голодовок в СССР или утерянные за время пребывания в германских лагерях военнопленных, стали непроходимым препятствием для въезда в Чили, Венесуэлу, Перу, Бразилию, Канаду, САСШ, Австралию...

«Хождения по мукам» бесчисленных комиссий, тюремные условия жизни в лагерях «спасения», полная бесперспективность тех, кто не выиграл на трамвайный билет визу за океан, поставили перед ослабевшими за восемь лет жизни в лагерях УНРА–ИРО душами дилемму — что хуже — высшая мера наказания в СССР или высшая степень издевательств со стороны бюрократов ИРО? И мы видим взятую измором душу Никиты Сорина... Душа совсем не пропащая. Дай ей помощь сейчас — она воспрянет. Предчувствуя гибель, она бьется, кровоточит... Но нет больше сил верить в чудо. Всему есть свой предел. Никита возвращается в лапы к дьяволу... Уже навсегда... Прокляв всех и вся...

Эта книга, на всех страницах которой нет вымысла, страшна своей жизненной правдой, но очень нужна. Нужнее многих изданных за последнее время книг.

* * *

Пока мы можем говорить о Ширяеве, как об авторе небольших по размеру, очень значительных по содержанию, богатых и выразительных по языку, произведений. Ширяев знает советскую действительность очень глубоко и разносторонне. Он исколесил Россию вдоль и поперек и все персонажи его произведений — живые люди, с которыми он соприкасался в своей пестрой встречами жизни. Его живопись словом так ярка и запечатлительна потому, что она проникнута чуткой любовью к людям, помогшей увидеть под наносным — советским и под грубой жизненной корой — русскую душу, уповающую на Бога или смутно тоскующую о Нем.

Повесть «Овечья лужа» (из цикла «Птань»), напечатанная в 16 номере журнала «Грани», охватывает сравнительно небольшой отрезок времени, но это не только один из эпизодов минувшей войны. В ней очень глубоко и верно показано отношение колхозников к чужой — немецкой, и советской, но не менее чужой, власти. Разрыв между советской городской интеллигенцией и крестьянством. Шаткость советских устоев. И осознанная у старших и неосознанная у молодых, но глубокая почвенная любовь к России.

«Приспособились мы с Вами, ваше благородие, к новой жизни» — говорит Аким Акимович «бывшему персику» — «потому, что мы с Вами глубоко в землю корнями ушли. Кто наверху был — тех ветром сдуло, а мы вросли и зацепились»...

Но Аким Акимович «приспособившись», не поступился своей большой русской душой, он сохранил в ней ту же незыблемую любовь к Матери-Руси, к людям. Верой в Бога и любовью к ближним сохранился в СССР и священник отец Иван. Вместе с вспыльчивостью унаследовала от деда любовь к отечеству и Нина. Поэтому и бывший помещик Анопов, бывший священник отец Иван, старая народоволка учительница тетя Клодя, бывший конокрад Ванька-Вьюга, и советский капитан — партизан Груздев, и студентка литфака — комсомолка Нина в лихую для отчизны годину сходятся на одном русском пути.

Крещение Нины — наиболее сильное место в повести: — «Священник подошел к стоящей на коленях девушке, осенил ее крестом, потом отер жестким пальцем большую слезу, катящуюся по ее щеке, и начертал этой слезой крест на лбу Нины:

Крещается раба Божья Нина, во имя Отца и Сына и Святого Духа».

Слезой чистой Веры, слезой раскаяния, слезой страдания — окрестится вся Россия.

И еще. В «Тихом Доне» Шолохова есть незабываемое описание смерти Наталии Мелиховой. С не меньшей силой показывает и Ширяев кончину убитой партизаном Линем Анеты.

Чувствуется, сам Ширяев глубоко верующий человек. Но он — жизненно правдив, не сглаживает острых углов. Узнав, что убийца Нины — Василий Зимин, Аким Акимович Анопов, увидев бегущего по откосу, ищущего прикрытия от снарядов Василия, поднял винтовку к плечу.

«— Аким Акимович. Что вы делаете? — не своим голосом закричал Федор Зимин, хватаясь за ствол винтовки. — Аким Акимович. Сын он ведь мне...

Прости, — прошептал отец Иван — прости...

Твое дело прощать, поп, а мы люди грешные...

Василий увидел его. Метнулся в сторону, повернул назад, к откосу, но старик повел мушкой.

По бекасам промаху не давал, а тут-то... Благослови, Господи»...

Когда Василий ткнулся в землю и замер, точно влипнув в нее, Анопов бросил винтовку и повернулся к стоящему на коленах священнику.

...Ну, мне теперь и помирать можно. А ты, поп, молись, молись... за всех и за вся молись...»

* * *

В замечательных очерках, собранных в книгу под названием «Светильники земли русской» Ширяев с большой теплотой рассказывает о чуде Преподобного Сергия Радонежского, о Николае Чудотворце, пришедшем незримыми путями в Россию, ставшем наиболее чтимым святым на Руси — спасителем погибающих, заступником и утешителем.

И, вот, перед нами встает Соловецкая обитель. О ней, к нашему стыду, мы знали очень мало. И не предполагали Советы, выбирая святой остров местом ссылки для «перековки» сознания людей, что «там Христос совсем, совсем близко». Что оставшиеся на Соловецком острове подвижники силой Духа свершат новые чудеса, подобные тем, что записаны в Соловецких летописях и что Незримая Рука приведет на помощь изнемогающим в ссылке людям «утешительного попа» — отца Никодима, щедро делящимся с обездоленными богатством души своей неиссякаемой, веселой радостью.

...И «от выполнения своего служения отец Никодим никогда не отказывался. Служил шепотком в уголках молебны, панихиды, исповедывал, приобщал Св. Таин с деревянной лжицы... Его под видом плотника проводили в театр к пожелавшим говеть женщинам. Шпана ухитрялась протаскивать его через окно в лазарет к умирающим, что было трудно и опасно».

Мы видим его живого, осязаемого, «с бегущими к глазам лучистыми морщинками», окруженного отпетой шпаной, слушающей, затаив дыхание такие же живые и радостные, как он сам, «Священные сказки». Раздувающего в остывших душах Божий огонь, превращающий его в пламя Веры...

А владыка Илларион, которого даже «охранники, как бы невзначай называли владыкой», свершивший во славу Божию чудесный подвиг спасения погибающих на море чекистов, спасший комиссара Сухова не только телесно, но и духовно.

Да один ли Сухов был обращен к Богу, — ведь «все, кто был на пристани, каторжники, охранники», увидев возвращающуюся со спасенными лодку, «все без различия, крестясь опустились на колени: — Истинное чудо! Спас Господь!»

Ширяев пришел на Соловки крестным путем. О собственных страданиях он не пишет, но мы знаем, что ему довелось перенести. Но не на этом ли Святом острове он обогатился той силой Духа, что поддерживает его и ныне, — больного, в тяжелых условиях. И не брызги ли той радости «утешительного Никодима», дают такую бодрую теплоту всему им написанному.

И только горько становится, когда подумаешь, что до сих пор Б. Н. Ширяев живет в лагере Ди-Пи. Что не нашлись люди, которые перевели бы его книги на иностранные языки, что издательство им. Чехова все еще маринует его книгу «Неугасимая Лампада» и «Голос Америки», так часто упрекающий советское правительство за гонение и бойкот «несозвучных» писателей, до сих пор не передал по радио русскому народу ни одного отрывка из произведений самого талантливого писателя новой эмиграции.

«Наша страна», Буэнос-Айрес,
2 мая 1953 года, № 172. С. 6–7

От составителей

Писатель и журналист Борис Николаевич Ширяев (1889–1959) становится в последние годы всё более известным читающей публике в России. Первым россияне прочли его свидетельство о ГУЛАГе — автобиографический роман «Неугасимая лампада» (Нью-Йорк, 1954). Эта прекрасная книга выдержала многочисленные переиздания. Самым значимым из них стала публикация возрожденного Соловецкого монастыря, на землях которого молодой советской властью был создан Соловецкий Лагерь Особого Назначения, куда, среди многих других, попал и будущий автор книги.

Стали известны и многие факты из его непростой и насыщенной событиями биографии. Особо удачной находкой оказался очерк о жизни Ширяева, написанный его вдовой, Ниной Ивановной, урожденной Капраловой (этот очерк и комментарии к нему можно прочесть в вышеупомянутой публикации Соловецкого монастыря). О Ширяеве писали в предисловиях к переиздаваемым книгам и в прессе. Особо хочется выделить очерк Н. Л. Казанцева, многолетнего редактора выходящей в Аргентине старейшей газеты русского зарубежья «Наша страна», идейно и творчески близкой Ширяеву, с которой писатель плодотворно сотрудничал много лет (см. «Наша страна», 1 февраля 2014, № 2981*).

Кратко определить основные вехи жизни и деятельности Ширяева можно следующим образом: уроженец Москвы, выпускник историко-филологического факультета Московского университета, доброволец на Первой мировой и Гражданской, каторжанин на Соловках, ссыльный в Воронежской области, журналист в Средней Азии, преподаватель литературы в Ставрополье, редактор нескольких газет на оккупированном немцами Юге России, а также в Казачьем Стане на Севере Италии, эмигрант, известный писатель и журналист, публиковавшийся во многих ведущих журналах и газетах русского зарубежья.

Казалось бы, в Россию теперь должен был хлынуть поток неизвестных литературных произведений плодовитого и талантливого автора. Этого, однако, не произошло: читателю-россиянину по сути дела еще предстоит открыть творчество Ширяева.

Несколько лучше обстоит дело с мемуарами и эссе: в 2007 г. издательство «Алетейя» переиздало замечательную книгу Ширяева «Ди-Пи в Италии. Записки продавца кукол», где он описал — документально, но

---

* Все номера газеты «Наша страна» выложены на сайте газеты, который легко найти поиском соответствующего имени в интернете; в настоящее время адрес — http://nashastrana.net.

со значительной долей здорового юмора и даже иронии — трагические перипетии послевоенной русской эмиграции (тогда ее называли «новой» эмиграцией, теперь за ней закрепился термин «вторая волна»).

Как и другие дипийцы, Ширяевы стремились покинуть красивое, но ненадежное итальянское убежище. Это удалось сделать лишь жене и сыну, переехавшим в США, сам же писатель скончался от туберкулеза на 72 году жизни в Сан-Ремо и был похоронен там же. Однако именно в Италии творчество Бориса Николаевича расцвело особенно ярко: помимо романов и повестей, он писал статьи, рецензии, памфлеты, фельетоны и прочие произведения малых жанров. Часть их, посвященная жизни русских эмигрантов в Италии, была нами собрана в книге «Италия без Колизея» (СПб.: Алетейя, 2014) — таковой сам автор в свое время не издал, но желал издать и указывал в соответствующих очерках — *Из цикла «Италия без Колизея»*.

Пока в российские издательства находят свой путь крупные сочинения писателя, мы решили — при поддержке того же издательства «Алетейя» — издать еще один сборник статей Ширяева, разбросанных по многочисленной эмигрантской периодике и никогда прежде не публиковавшихся в России.

Из различных направлений его журналисткой деятельности и эссеистики нами было выбрано, пожалуй, основное, и на наш взгляд наиболее актуальное для современного российского читателя — о русской литературе.

Проба литературоведческого пера Ширяева произошла в Соловецком лагере, а оттачивалось оно уже в ссылке в России и затем в эмиграции. Дабы избежать цензуры, первоначально он писал в научно-популярном жанре, демонстрируя при этом значительную широту интересов и глубокую эрудицию. Значительный филологический опыт он приобрел во второй половине 30-х гг. во время преподавания русской литературы в школах и педагогических институтах в Ставрополе и Черкесске.

О той поре сохранилось уникальное свидетельство ученика Ширяева:

«Он любил вспоминать свое детство и юность, жизнь в родной Москве, университет, отца-профессора и его библиотеку, особенно — годы учебы и странствий за границей. Реже говорил об ужасах Первой мировой войны, участником которой был и совсем скупо о тяжких годах после революции, о личной трагедии, о страшных Соловках, о неусыпном внимании к себе и постоянной опеке советской власти. Но как рассказывал — живо, ярко, увлекательно! Такими же интересными были и его уроки. Планов он не признавал. Никогда их не писал. В класс прихо-

дил с томиком Пушкина или Лермонтова. Сам очень любил стихи и прививал эту любовь нам, школьникам. Больше говорил, чем спрашивал. Слушали его, раскрыв рты, позабыв обо всем на свете, самые хулиганистые ученики»*.

Вне сомнения, уже тогда у него сформировался свой взгляд на классику, отличный от общепринятых трактовок советской школы, и который ему в полной мере удалось выразить в эмиграции и даже еще ранее — в итальянском Казачьем Стане, весной 1945 г., где он также преподавал литературу. Об этом рассказывает сам Ширяев в «Дневнике капитана Петрова» (1950), представляя себя в третьем лице:

«Руслитературу, вернее выборки из нее читает ротмистр Ш-в. Этот кроет сплеча: всё, чему нас в десятилетке учили, вверх дном летит. Молчалин у него — тип положительный, работник, скромный строитель России, а Чацкий — болтун, бездельник; Герцен — саботажник русского прогресса, Некрасов — шваль, а Горький — бесталанный писатель... Однако, подумаешь, пожалуй, — верно... А Шолохова нашего любит и считает, что “Тихий Дон” — обвинительный акт большевизму»**.

Следующий важный этап Ширяева как филолога и литературоведа — работа в 1946 г. над книгой «Панорама современной русской литературы»***, подготовленной по заказу венецианского издателя на итальянском языке. Книга, опубликованная под его наиболее часто используемым псевдонимом того времени «Алексей Алымов», получила признание в университетских кругах Италии, в том числе, и как учебное пособие для студентов-славистов. При издании книги ее автору пришлось идти вопреки тогдашнему благодушному отношению итальянской интеллигенции к советской действительности. Ширяев так вспоминает о своем первом печатном литературоведческом труде:

«— Не могли бы вы, профессоре, сказать это мягче, немножко сгладить ваши примечания? — Это говорит издатель Монтворо. Перед ним — листы перевода. Его глаза еще более мягки и грустны, чем обыкновенно. <...> — Смотрите, какое впечатление создают ваши биографические сведения: Гумилев расстрелян, Клюев погиб в концлагере, Есенин повесился, Маяковский застрелился...

— Ну, и что же?

— Такую книгу не будут покупать! И самое название главы “Гибель поэтов”?... Разве это возможно?

* *Лапко Е.* Встречи с Борисом Ширяевым» // Наша страна, 21 мая 1994, № 2285.

** Цит. по: *Ширяев Б. Н.* Италия без Колизея. СПб.: 2014. С. 42.

*** *Alimov A.* Panorama della letteratura russa contemporanea. Milano-Venezia: Francesco Montuoro, 1946.

— Все факты верны, дотторе. Не могу же я заставить расстрелянного Гумилева второй раз умирать от тифа или холеры?

— Но это же ужас!

— Вполне с вами согласен.

— Я не коммунист, профессоре, я демократ. Но я хочу объективности.

— Я вам даю только точную запись фактов. Где же здесь субъективная их оценка?

— Но нам не поверят!.. Вся пресса говорит о расцвете культуры на вашей родине...

— В вашем Риме, дотторе, доживает теперь свой век Вячеслав Иванов, поэт-символист, соратник и вдохновитель вот этого самого заморенного в СССР Блока, "Незнакомкой" которого вы изволите восхищаться. В Париже известный вам Ремизов, Бунин, недавно там умер Мережковский. Декоративную часть вашей знаменитейшей миланской "Скала" ведет Бенуа, сын крупнейшего русского художника, а отец его — тоже в Париже. Я назову вам еще десятки имен первоклассных русских писателей, художников, музыкантов... Как вы думаете, по какой причине они сидят здесь, ютятся в мансардах и питаются жареными каштанами, а не возвращаются на свою родину, где так хорошо живется артистам?

— Да... но..., — глаза Монтворо совсем тускнеют. Вот-вот из них брызнут слезы. — Но всё это очень странно...»*.

Некоторые положения своей итальянской книги «Панорама современной русской литературы» — о поэтах-символистах, о Гумилеве, Есенине, Шолохове, Горьком, — автор позднее развивал в своих очерках.

Очерки эти во множестве стали появляться в эмигрантской периодике («Наша страна», «Часовой», «Возрождение», «Русская мысль», «Знамя России», «Грани» и др.) с конца 1940-х гг. Они — как это, несомненно, заметит читатель — выражают весьма цельное мировоззрение автора, который направил свой художественный талант и энциклопедические знания на выявление всего светлого, жизнеутверждающего и созидательного у русских писателей и на критику всего растлевающего, болезненного и разрушительного. Это мировоззрение естественным образом связано с политическими убеждениями Ширяева и, в первую очередь, с приверженностью к идеям «народной монархии», основоположником которых был соратник и коллега Ширяева по литературному цеху, основатель газеты «Наша страна» И. Л. Солоневич. Именно эта ясная линия подсказала нам дать общее название сборнику, по одной из статей, — «Бриллианты и булыжники».

---

* *Ширяев Б. Н.* Ди-Пи в Италии. Записки продавца кукол. Буэнос-Айрес: Наша страна, 1952. С. 47–48.

Ширяев-критик был также необыкновенно внимателен к современной ему советской литературе (которую, подчеркивая ее подневольный характер, называл, как и многие в русской эмиграции, «подсоветской») и, особенно, к творчеству «второй волны», с которой был связан единой судьбой — но при этом, будучи там «старшим» и более близким к «волне первой». Эти писатели «второй волны», до сих пор малоизвестные в России, представлены в нашей книге в кратком биобиблиографическом словаре.

Для более последовательного изложения, чтобы было легче ориентироваться читателю, мы разделили статьи Ширяева на ряд крупных секций («Классическая поэзия», «Классическая проза» и проч.), отдавая себе отчет в том, что строгость рубрикации не всегда было возможно соблюсти. Внутри таких секций статьи даны в хронологическом порядке.

При подготовке текста мы исправили явные газетные и журнальные опечатки. Кроме того, мы уточнили некоторые цитаты из русской классики, не оговорив внесенные нами поправки — ведь свои статьи автор писал в лагерях «перемещенных лиц» и на временных пристанищах, в отрыве от библиотек.

В заключение мы хотели бы выразить нашу огромную благодарность всем, кто помог нам в работе над сборником, в особенности Н. Л. Казанцеву, В. М. Акимову, А. В. Мартынову, М. А. Кублицкой, В. С. Бирон, а также библиотекам при доме чинов Русского Корпуса, скаутской школе Организации Российских Юных Разведчиков и храме Святой Троицы в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Андрей Власенко
Михаил Талалай

Публикации Б. Н. Ширяева в эмиграции на русском языке* в алфавитном порядке,
(отмечены вошедшие в данный сборник)

1. 11-е Термидора // Знамя России, Нью-Йорк. — 4 декабря 1956 г. — № 149. — С. 5–7.

2. 30000 кнутобойцев // Знамя России, Нью-Йорк. — 10 мая 1955 г. — № 125. — С. 6–7.

3. *А. Бубнов*. «В Царской ставке» [рец.] / *Б. Ш.* // Часовой, Брюссель. — Май 1956 г. — № 365. — С. 12.

✓4. *Аглая Шишкова.* «Чужедаль», изд. «Посев», 1953 [рец.] / Б. Ш. // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 3 октября 1953 г. — № 194. — С. 3.

✓5. А дальше что? // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 9 февраля 1956 г. — № 316. — С. 4.

6. «А» и «Б» в «Русском Вопросе» // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 6 октября 1951 г. — № 90. — С. 2.

✓7. *А. Л. Толстая.* «Отец» 1–2 т. Изд. им. Чехова, 1953 [рец.] / Б. Ш. // Знамя России, Нью-Йорк. — 28 февраля 1954 г. — № 103. — С. 15–16.

✓8. Альманах «Литературный Современник» // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 8 сентября 1955. — № 294. — С. 4.

✓9. *Анри Труайа.* «В горах», изд. им. Чехова, 1955 [рец.] / Б. Ш. // Знамя России, Нью-Йорк. — 25 августа 1955. — № 129. — С. 13–14.

10. Артур Кестлер о будущей России / *Б. Ш*. // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 12 января 1952 г. — № 104. — С. 7.

✓11. Бабушкин сундук / *А. Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 2 июня 1951 г. — № 72. — С. 3–4.

12. Байронизм в политике // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 16 августа 1952 г. — № 135. — С. 7.

13. Без воды и без ступы / *А. Алымов* // Знамя России, Нью-Йорк. — 20 декабря 1951 г. — № 53. — С. 8–10.

14. Беппо голосует (письмо из Италии) // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 28 июня 1952 г. — № 128. — С. 5–6.

* Писатель также выступал в итальянской периодке — в журнале «Specchio» (Венеция), в газете «Il quotidiano» (Рим), а под псевдонимом А. Алымов опубликовал монографию «Panorama della letteratura russa contemporanea» (Милан-Венеция, изд. Франческо Монтуоро, 1946, 264 стр.)

15. Березки в стране лавров // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 16 января 1954 г. — № 209. — С. 6.

16. Беспочвенные мечтания // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 24 марта 1955 г. — № 270. — С. 4.

✓17. Благословенный Лесковым (к пятидесятилетию со дня кончины А. П. Чехова) // Знамя России, Нью-Йорк. — 15 июня 1954 г. — № 109. — С. 8–10.

✓18. Ближе к читателю // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 15 сентября 1955 г. — № 295. — С. 7.

19. Близится, близится Поле Куликово // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 10 января 1957 г. — № 364. — С. 1–2.

20. Богатырь русской мысли (150 лет со дня рождения А. С. Хомякова) // Знамя России, Нью-Йорк. — июль/I 1954 г. — № 110. — С. 7–9.

21. «Божки» в отставке // Знамя России, Нью-Йорк. — 14 декабря 1952 г. — № 76. — С. 10–12.

✓22. Большое полотно (новые книги) // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 5 августа 1950 г. — № 50. — С. 6.

✓23. Борис Зайцев «Чехов», литературная биография, изд. им. Чехова, 1954, Нью-Йорк [рец.] // Знамя России, Нью-Йорк. — 31 января 1955 г. — № 121. — С. 9–10.

✓24. Борис Солоневич — «Женщина с винтовкой», Брюссель, 1955 г. [рец.] / *Б. Ш.* // Знамя России, Нью-Йорк. — 6 января 1956 г. — № 135. — С. 11–12.

✓25. Б. Солоневич, «Женщина с винтовкой», 1955 (новые книги) [рец.] // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 12 апреля 1956 г. — № 325. — С. 7.

✓26. «Бриллианты» и булыжники // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 6 июня 1953 г. — № 177. — С. 3–4.

27. Буква ять и мумии // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 11 апреля 1953 г. — № 169. — С. 3.

28. Бунт Валерия Лысикова // Знамя России, Нью-Йорк. — 10 июня 1955 г. — № 126. — С. 6–7.

29. «Бытовое разложение» // Я — человек русский. — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1953 г. — С. 39–45.

30. Вавилонская башня / *А. Алымов* // Русская мысль, Париж. — 12 января 1949. — № 101. — С. 3.

31. *В. А. Маклаков.* «Из воспоминаний» изд. им. Чехова, 1954, Нью-Йорк [рец.] / Б. Ш. // Знамя России, Нью-Йорк. — 15 июня 1954 г. — № 109. — С. 15–16.

32. Ванька–Вьюга // Возрождение, Париж. — января–май 1955. — № 37–41.

✓33. Василий Теркин (новые книги) [рец.] // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 9 мая 1953 г. — № 173. — С. 6.

34. Венец и бармы Мономаха (историческая справка) // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 29 ноября 1956 г. — № 358. — С. 5.

35. Вера пастушонка Сереги // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 2 мая 1953 г. — № 172. — С. 7.

36. Вертепец малый (рассказ колхозника) // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 1 января 1955 г. — № 259. — С. 3–4.

37. Ветер из глубин // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 29 декабря 1951 г. — № 102. — С. 3–6.

38. Ветер подул обратно // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 27 декабря 1956 г. — № 362. — С. 2–3.

39. Взаимное доверие // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 11 июля 1953 г. — № 182. — С. 1–2.

40. Взаимное уважение // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 23 декабря 1954 г. — № 258. — С. 4–5.

41. Винстон Черчилль — «Война в сумерках». «Вторая мировая война», кн. II, изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1954 [рец.] / *Б. Ш.* // Знамя России, Нью-Йорк. — 10 мая 1955 г. — № 125. — С. 10.

42. Винстон Черчилль. «Вторая мировая война». Том V [рец.] / *Б. Ш.* // Часовой, Брюссель. — май 1956 г. — № 365. — С. 14.

43. Религиозные мотивы в русской поэзии. — Брюссель: Жизнь с Богом, 1960 г. — С. 62–74.

44. В мрачном доме // Знамя России, Нью-Йорк. — 6 января 1956 г. — № 135. — С. 9–11.

✓45. Внуки Лескова / А. Алымов // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 4 августа 1951 г. — № 81. — С. 3–4.

46. Внук Мазепы — дед Василакия // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 14 июля 1955 г. — № 286. — С. 7.

✓47. «Военная быль», изд. общекадетского объединения, № 8–9–10 (по страницам журналов) / *Б. Ш.* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 23 сентября 1954 г. — № 245. — С. 5.

48. …Воздвигнут Царем Мучеником… // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 12 июля 1952 г. — № 130. — С. 3.

✓49. «Возрождение», тетрадь 33–я (заметки читателя) [рец.] / Н. Удовенко // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 17 июля 1954 г. — № 235. — С. 7.

✓50. «Возрождение», тетрадь № 35 (заметки читателя) [рец.] / Н. Удовенко // Наша страна, Буэнос-Айрес. — № 253. — С. 7.

✓51. «Возрождение», № 36 (заметки читателя) [рец.] / Н. Удовенко // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 13 января 1955 г. — № 260. — С. 4.

✓52. «Возрождение» № 37 (заметки читателя) [рец.] / Н. Удовенко // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 17 марта 1955 г. — № 269. — С. 7.

✓53. Возрождение духа // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 13 сентября 1956 г. — № 347. — С. 6–7.

54. Возрождение духа / Б. Ширяев // Религиозные мотивы в русской поэзии. — Брюссель: Жизнь с Богом, 1960 г. — С. 51–61.

✓55. «Вокруг света», ежемесячный научно–популярный журнал, изд. ЦК ВЛКСМ, № 1–12 за 1954 год [рец.] // Вестн. ин–та по изучению ист. и культуры СССР, Мюнхен. — января–март 1956. — № 18. — С. 194–196.

56. Воля к правде // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 10 февраля 1955 г. — № 264. — С. 4.

57. Вопрос первостепенной важности // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 19 июля 1952 г. — № 131. — С. 3–4.

58. Ворота коммуны // Я — человек русский. — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1953 г. — С. 96–101.

59. Воссоздание Святой Руси // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 28 февраля 1957 г. — № 371. — С. 5.

✓60. Восставший из небытия // 14 марта 1957 г. — № 373. — С. 4.

61. Восстание духа // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 1 сентября 1955 г. — № 293. — С. 1–2.

62. Вот где зарыта собака! // Знамя России, Нью-Йорк. — 31 октября 1955 г. — № 132. — С. 5–6.

63. Вотум недоверия // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 18 июля 1953 г. — № 183. — С. 2–3.

64. Все в прошлом / *Дрын* // Русский клич, Рим. — Сентябрь 1949 г. — С. 29–31.

65. «Встреча с Великим Князем» (демократ Запада о Наследнике Престола) // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 13 октября 1951 г. — № 91. — С. 3–4.

✓66. Вторая цензура // Знамя России, Нью-Йорк. — 6 мая 1956 г. — № 140. — С. 12–14.

67. Второе турнэ Есенина (Глава из книги «Ди-Пи в Италии») / *Алексей Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 30 июня 1951 г. — № 76. — С. 4-5.

68. Вызволение хлопской Руси: 1. На пепелище Руси Ярослава — 2. Обычное дело в республике — 3. Шляхтич тягается с магнатами — 4. Третья сила. — 5. «Ты предал Украину, Богдане…» — 6. Москва присматривается — 7. Провал авантюры. — 8. «Государево великое дело» — 9. Шляхетство огрызается. — 10. Освободительная война Московского Цар-

ства — 11. Паны верны себе. — 12. Новые цели и новый враг Царства Московского — 13. Разложение южнорусской шляхты — 14. Тогда и теперь // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 1954 г. — № 221, 222, 227, 229–231, 233–236.

69. Галоша счастья // Я — человек русский. — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1953 г. — С. 102–108.

70. Где же люди? / *Н. Удовенко* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 5 декабря 1953 г. — № 203. — С. 4–5.

✓71. Георгий Адамович. «Одиночество и свобода» [рец.] / Б. Ш. // Часовой, Брюссель. — май 1956 г. — № 365. — С. 12.

72. Герберт Агар. «Во что верит Запад» [рец.] / *Б. Ш.* // Часовой, Брюссель. — март 1956 г. — № 363. — С. 13–14.

73. Гибель Новгородской демократии // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 27 сентября 1956 г. — № 349. — С. 7–8.

74. Глава Династии в Италии (в Бари) / *Б. Ш.* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 7 февраля 1953 г. — № 160. — С. 1.

75. Глиняные ноги колосса // Знамя России, Нью-Йорк. — 7 января 1957 г. — № 150. — С. 14–16.

76. «Глубина сибирских руд» // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 1949. — № 31–33.

77. Говорить не стоило бы, но… // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 7 апреля 1955 г. — № 272. — С. 4.

78. Голоса России / *А. Алымов* // Знамя России, Нью-Йорк. — 1950 г. — № 26–29.

✓79. Голос Сфинкса / *А. Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 31 марта 1951 г. — № 67. — С. 6.

80. Голосую «за» (трибуна Народно-Монархического Движения) // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 13 июня 1953 г. — № 178. — С. 5.

✓81. «Грани» № 17 (по страницам журналов) [рец.] / *Б. Ш.* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 11 июля 1953 г. — № 182. — С. 6.

82. Грань разделения // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 3 марта 1955 г. — № 267. — С. 4–5.

✓83. Гр. А. Толстая. «Отец» [рец.] / *Б. Ш.* // Часовой, Брюссель. — март 1956 г. — № 363. — С. 15.

84. Гулькина душа (драма–фарс в 4–х действиях) / *Дрын* // Знамя России, Нью-Йорк. — 23 марта 1952 г. — № 59. — С. 13–15.

85. Дар волхва // Знамя России, Нью-Йорк. — 7 января 1955 г. — № 120. — С. 2–4.

86. Два голоса и хор (маленький фельетон) / Дрын // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 17 мая 1952 г. — № 122. — С. 6.

✓87. Две годовщины: I. Правда о Николае Первом (к 60–летию со дня кончины Н. С. Лескова) II. Лишенный Господней милости // Знамя России, Нью-Йорк. — 5 октября 1955 г. — № 131. — С. 3–6.

88. Две зари гуманизма // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 21 марта 1953 г. — № 166. — С. 3.

✓89. Две книги / *Б. Ш.* // Знамя России, Нью-Йорк. — 23 декабря 1955 г. — № 134. — С. 11–13.

90. Две оплеухи // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 29 августа 1953 г. — № 189. — С. 2.

91. Девичьи мечты // Знамя России, Нью-Йорк. — июль/II 1954 г. — № 111. — С. 8–9.

92. Девушка и грифы / Б. Ширяев // Я — человек русский. — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1953 г. — С. 20–25.

93. Девять помидор / *А. Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 19 августа 1950 г. — № 51. — С. 6.

94. Дело и слово // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 19 сентября 1953 г. — № 192. — С. 3.

95. Дело Царя-Мученика закончено / *Б. Ш.* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 21 апреля 1955 г. — № 274. — С. 8.

96. Демократия мне не по карману (глава из книги «Италия без Колизея») // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 15 мая 1954 г. — № 226. — С. 6.

97. Десять лет назад // Знамя России, Нью-Йорк. — 20 апреля 1952 г. — № 61. — С. 10–12.

✓98. «Детство Императора Николая II» [рец.] // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 9 января 1954 г. — № 208. — С. 7.

✓99. Диагноз д–ра Чехова // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 29 мая 1954 г. — № 228. — С. 3–4.

100. Ди-Пи в Италии: Записки продавца кукол. — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1952 г. — 269 с.

101. Ди–Пи фантастика / А. Алымов // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 8 сентября 1951 г. — № 86. — С. 6.

102. Документ «оттуда» (среди новых книг) / *Б. Ш.* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 15 марта 1952 г. — № 113. — С. 8.

103. Доразделялись // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 7 ноября 1953 г. — № 199. — С. 6.

104. Достижение «Октября» / *А. Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 4 марта 1950 г. — № 39. — С. 6–7.

105. Дошли до ручки / *Н. Удовенко* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 5 июня 1954 г. — № 229. — С. 11.

106. Драма Мартина Идэна // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 29 декабря 1955 г. — № 310. — С. 4.

107. Другая точка зрения // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 14 августа 1954 г. — № 239. — С. 1–2.

108. Душу за други положивший (глава из книги «Неугасимая лампада») // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 6 февраля 1954 г. — № 212. — С. 6–7.

109. Единственный союзник Венгерского народа // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 6 декабря 1956 г. — № 359. — С. 1.

110. Единство монарха и нации // Знамя России, Нью-Йорк. — 25 августа 1955 г. — № 129. — С. 2–4.

✓111. *Е. Замятин.* «Лица» [рец.] / *Б. Ш.* // Часовой, Брюссель. — май 1956 г. — № 365. — С. 13.

112. Еще одна клевета // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 20 марта 1954 г. — № 218. — С. 6.

✓113. Еще о Бунине // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 26 июня 1954 г. — № 232. — С. 5.

✓114. Забытая могила на родной земле // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 9 августа 1952 г. — № 134. — С. 4.

115. Закон диалектики (маленький фельетон) / *Дрын* // Знамя России, Нью-Йорк. — 16 июня 1952 г. — № 64. — С. 17–18.

116. Замерзающий мальчик / *Б. Ширяев* // Я — человек русский. — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1953 г. — С. 109–113.

117. Заметки книгоноши // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 7 февраля 1953 г. — № 160. — С. 6–7.

118. Замолчанный историей // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 28 марта 1957 г. — № 375. — С. 4.

✓119. Запах трупа // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 7 марта 1953 г. — № 164. — С. 6.

120. Зарождение восточной программы // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 18 октября 1956 г. — № 352. — С. 4–5.

121. Заутреня обреченных (отрывок из книги «Неугасимая лампада») // Знамя России, Нью-Йорк. — 5 апреля 1953 г. — № 83. — С. 2–4.

122. Звездою учахуся (Рождественский рассказ) // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 5 января 1956 г. — № 311. — С. 4.

123. Земля, кровью омытая: К 6–й годовщине битвы за Севастополь / *А. Алымов* // Часовой, Брюссель. — 15 июля 1948. — № 276. — С. 17–19.

124. Знамя подвига чести // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 14 февраля 1957 г. — № 369. — С. 4.

125. Золотой век / *Дрын* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 1 сентября 1951 г. — № 85. — С. 8.

126. Иван Иванюк, иностранец // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 2 февраля 1952 г. — № 107. — С. 3–4.

127. Иван и Фриц // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 2 декабря 1954 г. — № 255. — С. 5.

128. «Иван–Царевич» / *А. Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 7 августа 1949 г. — № 24. — С. 2–3.

129. Игорев полк // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 12 января 1952 г. — № 104. — С. 3–4.

✓130. Игрок «на понижение» // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 3 мая 1952 г. — № 120. — С. 4.

131. Издыхающая доктрина // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 27 октября 1955 г. — № 301. — С. 7–8.

132. Из записной книжки / *Б. Ш.* // Знамя России, Нью-Йорк. — 14 июля 1952 г. — № 66. — С. 13–15.

✓133. Излом и вывих // Возрождение, Париж. — март-апреля 1954 г. — № 32. — С. 143–146.

134. Из опыта недавних лет // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 27 марта 1954 г. — № 219. — С. 9.

✓135. Илья Эренбург. Оттепель, роман, Государственное Издательство СССР, 1955 г. [рец.] // Вестн. ин–та по изучению ист. и культуры СССР, Мюнхен. — июль–сентября 1956 г. — № 19. — С. 131–133.

✓136. Ирина Одоевцева. «Оставь надежду навсегда», изд. им. Чехова, 1954, Нью-Йорк [рец.] / *Б. Ш.* // Знамя России, Нью-Йорк. — июль/II 1954 г. — № 111. — С. 10–12.

137. Историческая шишка (Клочок соловецких воспоминаний) / *А. Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 16 сентября 1950 г. — № 53. — С. 8.

138. Исторический рикошет (к 50-летию заключения Портсмутского мира) // Знамя России, Нью-Йорк. — 17 апреля 1955 г. — № 124. — С. 8–9.

139. И сущим во гробех... Из воспоминаний соловецкого каторжника / *А. Алымов* // Русская мысль, Париж. — 30 апреля 1948. — № 55. — С. 2.

✓140. Итоги года // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 26 января 1956 г. — № 314. — С. 7.

141. Кавказский анекдот (вместо фельетона) / *Дрын* // Знамя России, Нью-Йорк. — 16 ноября 1953 г. — № 97. — С. 13–14.

142. Как это началось (Глава из книги «Неугасимая лампада» // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 25 октября 1952 г. — № 145. — С. 5–6.

143. Капля долбит камень // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 14 июня 1956 г. — № 334. — С. 7.

✓144. Карета Чацкого (юбилейные размышления) / *А. Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 22 января 1949 г. — № 10. — С. 3–5.

145. Карта грядущей России // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 19 апреля 1952 г. — № 118. — С. 7.

146. К Богу — путем красоты // Религиозные мотивы в русской поэзии. — Брюссель: Жизнь с Богом, 1960. — С. 17–21.

✓147. Книга страшной правды // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 26 июля 1952 г. — № 132. — С. 3.

148. Книги об Америке / *Б. Ш.* // Знамя России, Нью-Йорк. — 30 ноября 1953 г. — № 98. — С. 15.

✓149. Кн. С. Щербатов — «Художник в ушедшей России», изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1955 [рец.] / *Б. Ш.* // Знамя России, Нью-Йорк. — 6 января 1956 г. — № 135. — С. 12.

150. Князь Сергей Щербатов. «Художник в ушедшей России» [рец.] / *Б. Ш.* // Часовой, Брюссель. — Январь 1956 г. — № 361. — С. 11–12.

151. Колхозный эксперимент Розенберга / *А. Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 4 февраля 1950 г. — № 37. — С. 6–7.

✓152. Константин Паустовский. «Избранное» и собрание сочинений, том 1, Госиздательство Художественной Литературы, Москва, 1957 [рец.] // Вестн. ин–та по изучению ист. и культуры СССР, Мюнхен. — январь-март 1959 г. — № 29. — С. 121–126.

153. Конфедеративный сон (маленький фельетон) / *Дрын* // Знамя России, Нью-Йорк. — 22 мая 1950 г. — № 14. — С. 15–16.

154. Корабль Одиссея // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 25 апреля 1953 г. — № 171. — С. 3.

155. Корреспонденция из Италии / *А. Алымов* // Часовой, Брюссель. — ноября 1951 г. — № 313. — С. 20.

156. Кризис имен // Знамя России, Нью-Йорк. — 25 октября 1949 г. — № 50. — С. 7–10.

✓157. Кровь души // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 9 мая 1953 г. — № 173. — С. 3.

✓158. «Крокодил», журнал юмора и сатиры, Москва, 1957, № 1-36 [рец.] // Вестн. ин–та по изучению ист. и культуры СССР, Мюнхен. — январь-апрель 1958 г. — № 26. — С. 133–135.

159. Кто виноват? // Знамя России, Нью-Йорк. — 22 ноября 1955 г. — № 133. — С. 9–10.

160. Кто же он — «русский интеллигент»? // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 21 августа 1954 г. — № 240. — С. 7.

161. Кто они?: 1. Вывихнутые жизни — 2. Служба лжи — 3. Сатрапы разных образцов — 4. Романтика революции — 5. Главковерх М. В. Фрунзе отдает честь... — 6. Великий комбинатор — 7. Сверх–Обер–Хам — 8. Ленинский «гвардеец» — ✓9. Генерал от литературы — 10. Человек и

робот — 11. Ехидна и спрут — 12. Генерал Ермолов и «генеральная линия» — 13. Лицо под маской — 14. Философия Платона Евстигнеевича — 15. Черепаховая кость — 16. Что же под щитком // Знамя России, Нью-Йорк. — 1952–1953 г. — № 56, 59, 60, 62, 64–66, 68, 69, 71–75, 79–81.

162. Кудеяров дуб. — Франкфурт-на-Майне: Посев, 1958 г. — 190 с.

163. К чему мы зовем (Вступление к тезисам. Черновой набросок) // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 9 января 1854 г. — № 208. — С. 5.

164. Лампада и звезда: Рождественский рассказ // Знамя России, Нью-Йорк. — 7 января 1952 г. — № 54. — С. 12–15.

165. Лицо без грима // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 4 ноября 1954 г. — № 251. — С. 2–3.

166. Ложь на мертвых / *А. Алымов* // Знамя России, Нью-Йорк. — 26 сентября 1950 г. — № 25. — С. 8–10.

167. Лоскутной гусарик // Знамя России, Нью-Йорк. — 7 января 1953 г. — № 78. — С. 12–15.

168. Луч во тьме // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 1 ноября 1952 г. — № 146. — С. 3–4.

✓169. Луч света в темном царстве // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 3 февраля 1955 г. — № 263. — С. 4.

170. Лучше или хуже? // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 24 марта 1955 г. — № 266. — С. 1.

171. Лучший подарок Сталину // Знамя России, Нью-Йорк. — 12 октября 1949 г. — № 49. — С. 15–16.

✓172. Любовь к русскому человеку (К 60–летие со дня кончины Н. С. Лескова) // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 23 июня 1955 г. — № 283. — С. 7.

173. Люди двух миров // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 28 марта 1953 г. — № 167. — С. 6.

174. Люди земли русской: 1. Русский «колонизатор» — 2. Труженик русской культуры — 3. Хранитель порядка — 4. Тетя Клодя — 5. Опыт веков — 6. Поглощенный стихией — 7. Беспогонные штабс–капитаны // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 1956 г. — № 320, 324, 325, 327, 329, 330, 333.

175. Люди и цифры / *А. Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 19 февраля 1949 г. — № 12. — С. 4–6.

176. Мадам де Курдюкофф // Знамя России, Нью-Йорк. — 31 июля 1957 г. — № 161. — С. 7–8.

✓177. *М. Алданов.* «Живи как хочешь». Изд. им. Чехова 1953 (новые книги) [рец.] / *Б. Ш.* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 1 августа 1953 г. — № 185. — С. 8.

178. «Маленькая неточность» (письмо в редакцию) // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 8 ноября 1952 г. — № 147. — С. 7.

✓179. Между двух звезд // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 5 сентября 1953 г. — № 190. — С. 9–10.

180. Михаил Бойков — «Партизаны холодной войны», изд. «Наша страна», Буэнос-Айрес, 1955 [рец.] / *Б. Ш.* // Знамя России, Нью-Йорк. — 10 августа 1955 г. — № 128. — С. 15–16.

✓181. *Михаил Бойков.* «Партизаны холодной войны». Изд. «Наша страна», Буэнос-Айрес, 1955 (библиография) [рец.] / *Б. Ш.* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 29 сентября 1955 г. — № 297. — С. 5.

182. Мой брат Иван // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 24 января 1957 г. — № 366. — С. 3–4.

183. Мой друг «Интеллидженто» (Глава из книги «Ди-Пи в Италии») / *А. Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 14 апреля 1951 г. — № 68. — С. 6.

✓184. Молитвы за Землю Русскую (глава из книги «Арфа Давида») // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 1 ноября 1956 г. — № 354. — С. 6.

185. Молитва за землю русскую // Религиозные мотивы в русской поэзии. — Брюссель: Жизнь с Богом, 1960. — С. 12–16.

✓186. Монархия, Толстой и средостение (135 лет со дня рождения гр. Л. Н. Толстого) // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 19 декабря 1953 г. — № 205. — С. 2–4.

187. Моральный кредит демократий // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 21 февраля 1957 г. — № 370. — С. 4.

188. Мороз и политика // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 1 марта 1956 г. — № 319. — С. 4.

189. Московская весна / *А. Алымов* // Русская мысль, Париж. — 16 марта 1949 г. — № 119. — С. 4.

190. Мусино счастье / Б. Ширяев // Я — человек русский. — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1953 г. — С. 34–38.

191. На базе марксизма (Рождественский рассказ) // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 5 января 1952 г. — № 103. — С. 5–6.

192. На базе марксизма // Я — человек русский. — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1953 г. — С. 114–118.

✓193. «На западе», сборник стихов (библиография) [рец.] / *Б. Ш.* // Знамя России, Нью-Йорк. — 18 марта 1954 г. — № 104. — С. 12–13.

✓194. «На перевале», — сборник произведений писателей группы «Перевал», под редакцией Глеба Глинки. Изд. им. Чехова, 1954, Нью-Йорк [рец.] // Знамя России, Нью-Йорк. — 31 января 1955 г. — № 121. — С. 8–9.

✓195. Народный монархист XIX века // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 26 апреля 1952 г. — № 119.— С. 3–4.

196. Народ отсутствует // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 20 января 1955 г. — № 261. — С. 6.

197. На темы дня / *А. Алымов* // Русский клич, Рим. — сентября 1949 г. — С. 15-16.

198. Национализм и шовинизм // Знамя России, Нью-Йорк. — 31 октября 1953 г. — № 96. — С. 5–7.

199. Непредвиденные трудности // Русское воскресение, Париж. — 5 апреля 1956 г. — № 42. — С. 3.

200. Непризнанный пророк // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 18 октября 1952 г. — № 144. — С. 4.

✓201. «Несть ни эллин, ни иудей» (К 60–летие со дня кончины Н. С. Лескова) // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 16 июня 1955 г. — № 282. — С. 7.

202. Нет ни кризиса, ни обособления // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 16 февраля 1956 г. — № 317. — С. 3–4.

203. Неугасимая лампада. — Нью-Йорк: изд. им. Чехова, 1954 г. — 415 с.

204. Неудачные роды (вместо фельетона) / *Дрын* // Знамя России, Нью-Йорк. — 17 августа 1953 г. — № 91. — С. 11–12.

205. Нечаянная радость (вместо фельетона) / *А. Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 20 октября 1951 г. — № 92. — С. 7.

206. Нигилисты ли? // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 2 мая 1957 г. — № 380. — С. 3.

207. Никола Русский // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 1952 г. — № 147–149.

208. Никола Русский // Светильники русской земли русской. — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1953 г. — 96 с.

209. «Новейшие» / *А. Алымов* // Знамя России, Нью-Йорк. — 22 сентября 1951 г. — № 48. — С. 12–13.

✓210. Новое о Достоевском // Знамя России, Нью-Йорк. — 15 октября 1953 г. — № 95. — С. 12–14.

✓211. «Новый мир». Литературно–художественный и общественно–политический журнал, орган Союза советских писателей СССР, Изд. «Известий», Москва, январь-июль 1954 года [рец.] // Вестн. ин–та по изучению ист. и культуры СССР, Мюнхен. — июль-сентябрь 1955 г. — № 16. — С. 125–129.

212. Обитель Преображенного Духа // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 1952 г. — № 150–152.

213. Обитель Преображенного Духа // Светильники русской земли русской. — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1953 г. — 96 с.

214. Овечья лужа // Грани, Франкфурт–на–Майне. — 1952 г. — № 16. — С. 10–107.

✓215. О двух книгах // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 17 июля 1954 г. — № 236. — С. 6.

216. Один из многих // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 21 апреля 1955 г. — № 274. — С. 3.

217. Одна из фальшивок // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 21 июня 1956 г. — № 335. — С. 4.

218. Одомашненный социализм (маленький фельетон) / *Дрын* // 1 марта 1952 г. — № 111. — С. 5.

✓219. Окно в Россию (Откровенные строки) // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 7 июня 1952 г. — № 125. — С. 6.

220. Октябрины Ивисталины // Я — человек русский. — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1953 г. — С. 26–33.

✓221. О Л. Н. Толстом (незаписанное) / *Ал. Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 23 декабря 1950 г. — № 60. — С. 7.

222. О людях без «стандарта» // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 31 января 1953 г. — № 159. — С. 1–2.

223. Они живы // Знамя России, Нью-Йорк. — 30 ноября 1953 г. — № 98. — С. 5–8.

224. Опасные песни (маленький фельетон) // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 5 декабря 1953 г. — № 203. — С. 6.

225. Оригиналы / Дрын // Знамя России, Нью-Йорк. — 1 декабря 1951 г. — № 52. — С. 15–16.

✓226. О русском солдате / *Н. Удовенко* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 22 августа 1953 г. — № 188. — С. 12.

227. Осиновый кол // Знамя России, Нью-Йорк. — 5 апреля 1956 г. — № 139. — С. 11–13.

228. Ответ лжецам // Знамя России, Нью-Йорк. — 10 августа 1955 г. — № 128. — С. 14–15.

229. Ответ на вопросы (письмо в редакцию) / *А. Алымов (Б. Ширяев)* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 28 октября 1950 г. — № 56. — С. 7–8.

230. Отравление анекдотом // Знамя России, Нью-Йорк. — 31 октября 1956 г. — № 147. — С. 8–10.

231. От слов — к делу! Пора! // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 3 апреля 1954 г. — № 220. — С. 3.

232. От СССР к России // Возрождение, Париж. — сентябрь-октябрь 1954 г. — № 35. — С. 174–178.

233. От СССР — к России (среди книг и журналов) / *Б. Ш.* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 21 июня 1952 г. — № 127. — С. 6.

234. Очень знакомый незнакомец (Глава из книги «Ди-Пи в Италии») / *Алексей Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 6 января 1951 г. — № 61. — С. 4-5.

235. О «шлепках», чемоданах и гостинцах / *А. Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 13 мая 1950 г. — № 44. — С. 6.

✓236. П. А. Бурышкин — «Москва купеческая». изд. им. Чехова, 1954, Нью-Йорк [рец.] // Знамя России, Нью-Йорк. — 31 января 1955 г. — № 121. — С. 8.

237. Палач с сигарой // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 2 июня 1955 г. — № 280. — С. 3–4.

238. Памяти Н. В. Гоголя (К 100–летию со дня кончины) // Часовой, Брюссель. — март 1952 г. — № 317. — С. 1–2.

239. «Первая роль» / *А. Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 15 апреля 1950 г. — № 42. — С. 3.

240. Перебежчик 1951 г. / *А. Алымов* // Часовой, Брюссель. — сентябрь 1951 г. — № 311. — С. 10.

✓241. Перекрашенный Лесков / *А. Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 8 июля 1950 г. — № 48. — С. 7.

✓242. Перемещенный черт (маленький фельетон) / *Шир-Ай* // Русский клич, Рим. — сентябрь 1949 г. — С. 27–28.

243. Петр I и церковь / *Н. Удовенко* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 22 мая 1954 г. — № 227. — С. 4.

244. Пиковый интерес // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 8 августа 1953 г. — № 186. — С. 2–3.

245. Письма нового эмигранта // Знамя России, Нью-Йорк. — 1950–1951 г. — № 25–28, 30, 31, 33, 34, 36, 39.

246. Письмо Алеши Пшик (вместо Рождественского рассказа) // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 2 января 1954 г. — № 207. — С. 5–6.

247. Письмо в редакцию / *А. Алымов* // Часовой, Брюссель. — март 1951 г. — № 306. — С. 23.

248. Плоды Победы // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 19 мая 1955 г. — № 278. — С. 1–2.

249. Победа демократической реакции // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 30 сентября 1954 г. — № 246. — С. 1–2.

250. Подвиг первомучеников за замлю русскую (940 лет со дня кончины свв. князей Бориса и Глеба) // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 21 июля 1966. — № 287. — С. 3.

251. Подсоветская интеллигенция // Знамя России, Нью-Йорк. — 1953 г. — № 82–83.

✓252. Подспудная правда // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 10 мая 1952 г. — № 121. — С. 4.

253. Покаянная слеза // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 24 апреля 1954 г. — № 223. — С. 4–5.

254. Политика и техника // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 9 июня 1955 г. — № 281. — С. 7.

255. Политика Освобождения // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 23 мая 1953 г. — № 175. — С. 2–3.

256. «Попутчики» / *А. Алымов* // Часовой, Брюссель. — июнь 1951 г. — № 309. — С. 21.

257. По «Радару времени» (вместо фельетона) / *А. Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 27 октября 1951 г. — № 93. — С. 7.

258. «Порт-Артур», воспоминания участников [рец.] / *Б. Ш.* // Часовой, Брюссель. — март 1956 г. — № 363. — С. 13.

✓259. Портрет с натуры // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 9 декабря 1950 г. — № 59. — С. 7–8.

260. Поручик Д. // Знамя России, Нью-Йорк. — 15 мая 1954 г. — № 107. — С. 5–10.

✓261. Поручик Лев Толстой // Часовой, Брюссель. — ноябрь 1950 г. — № 302. — С. 16.

262. Порченые вожди / *Б. Ш–в* // Знамя России, Нью-Йорк. — 9 апреля 1950 г. — № 11. С. 13–18.

263. Порченые вожди // Я — человек русский. — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1953 г. — С. 72–79.

264. Последний барин // Возрождение, Париж. — май-декабрь 1954 г. — № 33–36.

✓265. Последний поэт-гусар (30 лет со дня гибели Н. С. Гумилева) // Часовой, Брюссель. — ноябрь 1951 г. — № 313. — С. 18.

266. После Сталина // Знамя России, Нью-Йорк. — 25 апреля 1953 г. — № 84. — С. 5–8.

267. После юбилея (Точки над и) / *А. Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 3 октября 1949 г. — № 26. — С. 4–5.

268. Послужной список Н. С. Гумилева // Часовой, Брюссель. — ноябрь 1952 г. — № 324. — С. 28.

✓269. По страницам журналов (заметки читателя) / *Н. Удовенко* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 2 сентября 1954 г. — № 242. — С. 7–8.

✓270. По страницам журналов («Литературный Современник» и «Сатирикон») / *Б. Ш.* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 5 июля 1952 г. — № 129. — С. 3.

✓271. По страницам журналов // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 13 января 1955 г. — № 260. — С. 6.

✓272. По страницам журналов // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 14 апреля 1955 г. — № 273. — С. 4.

✓273. По страницам журналов // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 25 августа 1955 г. — № 292. — С. 3, 8.

✓274. По страницам журналов // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 10 ноября 1955 г. — № 303. — С. 4.

✓275. По страницам журналов // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 13 декабря 1956 г. — № 360. — С. 6.

276. Потеря лица // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 16 февраля 1952 г. — № 109. — С. 7.

✓277. Правдивая повесть / *Б. Ш.* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 3 ноября 1951 г. — № 94. — С. 7.

278. Правдивость авантюристики // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 1957 г. — № 367–368.

✓279. Правнуки маркиза де-Кюстин / *А. Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 5 августа 1950 г. — № 50. — С. 5.

280. Практические примечания // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 6 октября 1955 г. — № 298. — С. 7.

✓281. Предсказано — сбылось // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 10 января 1953 г. — № 156. — С. 6.

282. Предсказательные анекдоты (маленький фельетон) / *Дрын* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 12 января 1952 г. — № 104. — С. 7.

283. Предчувствие возмездия // Религиозные мотивы в русской поэзии. — Брюссель: Жизнь с Богом, 1960. — С. 44–50.

✓284. Преходящее в вечное (к 40-летию со дня смерти Льва Толстого) // Знамя России, Нью-Йорк. — 29 ноября 1950 г. — № 29. — С. 10–12.

285. Провокатор Поликушка / *Б. Шир* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 14 октября 1950 г. — № 55. — С. 7.

286. Провокатор Поликушка // Я — человек русский. — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1953 г. — С. 80–84.

287. Прогулка по Москве // Знамя России, Нью-Йорк. — 1953 г. — № 85–88, 90–92.

288. Продолжение разговора // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 31 марта 1955 г. — № 271. — С. 4.

289. Пропаганда правдой // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 8 марта 1952 г. — № 112. — С. 7.

✓290. Пророк возмездия и искупления (75 лет со дня рождения

А. А. Блока) // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 4 августа 1955 г. — № 289. — С. 4.

✓291. Пророк своего поколения // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 23 февраля 1952 г. — № 110. — С. 3–4.

✓292. Пророчества поэтов // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 6 сентября 1956 г. — № 346. — С. 3.

✓293. Простая правда. В. Алексеев, «Россия солдатская», изд. им. Чехова, 1943 [рец.] // Возрождение, Париж. — март-апрель 1954 г. — № 32. — С. 146–149.

294. Противодействие равно действию // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 2 августа 1952 г. — № 133. — С. 7.

295. «Профсоюзы» Московской Руси // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 15 декабря 1951 г. — № 100. — С. 4–5.

✓296. Прошел год // Жар-птица, Сан-Франциско. — апреля 1954 г. — С. 21–23.

✓297. Прошло тридцать лет // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 10 ноября 1951 г. — № 95. — С. 5–6.

298. Путем назначенным // Знамя России, Нью-Йорк. — 7 января 1954 г. — № 100.— С. 4–6.

299. Путем Ялты // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 20 июня 1953 г. — № 179. — С. 1.

300. Путь ложных солнц / *А. Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 28 октября 1950 г. — № 56. — С. 6.

301. «Путь русского офицера» ген. А. И. Деникина (новые книги) [рец.] / *Б. Ш.* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 1 августа 1953 г. — № 185. — С. 8.

✓302. Путь русской веры (к 60-летию со дня кончины Н. С. Лескова) // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 30 июня 1955 г. — № 284. — С. 7.

303. Пятна на солнце (грустный фельетон) / *Б. Ш.* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 12 ноября 1949 г. — № 31. — С. 6.

304. Пять вопросов Е. Лайонсу // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 3 мая 1952 г. — № 120. — С. 6.

305. Пять зайцев товарища Хрущева // Знамя России, Нью-Йорк. — 25 декабря 1954 г. — № 119. — С. 3–4.

306. Раба политики (воспоминания подсоветского журналиста) // Возрождение, Париж. — 1950 г. — № 8. — С. 120–135.

307. Разбитые мечты // Знамя России, Нью-Йорк. — 27 мая 1956 г. — № 141. — С. 3–5.

✓308. «Развенчание» Н. Гумилева (по страницам журналов) / *Б. Ш.* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 24 мая 1952 г. — № 123. — С. 6.

309. Развеянные легенды (Глава из книги «Италия без Колизея») // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 1 декабря 1955 г. — № 306. — С. 8.

310. Разгадка ребуса / *Б. Ш.* // Знамя России, Нью-Йорк. — 16 февраля 1953 г. — № 80. — С. 9–10.

311. Расстрелянный Христос: (из книги «Неугасимая лампада») // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 1953 г. — № 156–157.

312. Расстрелянный Христос // Светильники русской земли русской. — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1953 г. — 96 с.

313. Революция или контр–революция // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 18 апреля 1953 г. — № 170. — С. 1–2.

314. Реклама и совесть // Знамя России, Нью-Йорк. — 1 декабря 1951 г. — № 52. — С. 5–6.

315. Рекорд невежества // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 12 июля 1956 г. — № 338. — С. 7.

316. Реставраторы феодализма // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 26 января 1952 г. — № 106. — С. 4.

317. Робинзон Крузов / *Б. Шир.* // Знамя России, Нью-Йорк. — 4 мая 1950 г. — № 13. — С. 11–15.

318. Робинзон Крузов // Я — человек русский (рассказы). — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1953 г. — С. 59–66.

319. Рождественская сказка / *Б. Ш.* // Знамя России, Нью-Йорк. — 7 января 1951 г. — № 32. — С. 5–7.

320. Россия в XIX веке // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 5 июля 1956 г. — № 337. — С. 4.

321. «Россия солдатская» — В. Алексеев (среди книг) [рец.] // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 6 февраля 1954 г. — № 218. — С. 7.

322. Русская церковно–политическая традиция // Знамя России, Нью-Йорк. — 23 декабря 1955 г. — № 134. — С. 7–9.

✓323. Русское наследство // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 1953 г. — № 196–197.

324. Рюриковой крови художник // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 23 февраля 1956 г. — № 318. — С. 4.

325. Самоопределение Рождественского Деда // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 3 января 1953 г. — № 155. — С. 5–6.

326. Свет во тьме // Я — человек русский. — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1953 г. — С. 14–19.

327. Света не угасите! // Знамя России, Нью-Йорк. — сентября 1957 г. — № 115. — С. 10–11.

328. Света не угасите! // Религиозные мотивы в русской поэзии. — Брюссель: Жизнь с Богом, 1960. — С. 34–43.

329. Светильники русской земли. — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1953 г. — 96 с.

330. Своя русская линия (из дневника журналиста) // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 23 декабря 1950 г. — № 60. — С. 4–5.

331. Святое дело царя–мученика закончено / *Б. Ш.* // Знамя России, Нью-Йорк. — 10 мая 1955 г. — № 125. — С. 7–8.

✓332. «Семья», Н. Федорова, изд. им. Чехова 1953 (библиография) [рец.] / Б. Ш. // Знамя России, Нью-Йорк. — 18 марта 1954 г. — № 104. — С. 13.

333. Сквозь призму болотного пузыря // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 26 июля 1956 г. — № 340. — С. 4.

✓334. Скорбящий Гоголь // Знамя России, Нью-Йорк. — 29 февраля 1952 г. — № 57. — С. 4–6.

335. Славянофилы и мы (150 лет со дня рождения А. С. Хомякова) // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 19 июня 1954 г. — № 231. — С. 1–2.

336. Слово Монарха // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 18 августа 1955 г. — № 291. — С. 1–2.

337. Случай в облкустпромвинплодовощи // Я — человек русский. — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1953 г. — С. 67–71.

338. Слышу, сынку, слышу!.. // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 4 июля 1953 г. — № 181. — С. 2–3.

✓339. Смелый роман (по страницам журналов) / *Б. Ш.* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 24 мая 1952 г. — № 123. — С. 6.

340. Смерть Рудина // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 7 октября 1954 г. — № 247. — С. 7–8.

341. Смотр народной монархии / *Н. Удовенко* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 20 июня 1953 г. — № 179. — С. 5–6.

342. Собственность, но не капитализм // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 16 декабря 1954 г. — № 257. — С. 5.

343. Советские концлагери (записки советского хозяйственника) / *А. Алымов* // Русская мысль, Париж. — 9 марта 1949 г. — № 117. — С. 5.

✓344. Современная Российская интеллигенция / Б. Ширяев, Н. Кошеватый // К проблемам интеллигенции в СССР. — Мюнхен: Институт по изучению ист. и культуры СССР, 1955 г. — 80 с.

✓345. Созвучия // Религиозные мотивы в русской поэзии. — Брюссель: Жизнь с Богом, 1960. — С. 22-33.

346. Созвучие мышлений // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 7 июля 1955 г. — № 285. — С. 2.

✓347. Спящий уже просыпается // Наша страна, Буэнос-Айрес. — № 245. — С. 7.

348. Ставка на наивняка / *Б. Ш.* // Знамя России, Нью-Йорк. — 31 августа 1953 г. — № 92. — С. 3–4.

349. Ставрополь — Берлин (Из лично пережитого) / *А. Алымов* // Часовой, Брюссель. — 1949–1950 г. — № 263, 287–291, 293–299, 301, 303.

350. Стратегия и экономика / *Дрын* // Знамя России, Нью-Йорк. — 1 декабря 1951 г. — № 52. — С. 14–15.

351. Страшный сон (маленький фельетон) / *Дрын* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 2 февраля 1952 г. — № 107. — С. 8.

352. Судьба Севастопольской панорамы // Часовой, Брюссель. — Апрель 1955 г. — № 352. — С. 14–15.

353. Сусальный ангел // Знамя России, Нью-Йорк. — 7 января 1950 .— № 9. — С. 11–14.

354. Сусальный ангел // Я — человек русский (рассказы). — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1953 г. — С. 46–58.

✓355. Сумевший понять (новые книги) [рец.] // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 9 мая 1953 г. — № 173. — С. 6.

356. Сцилла и Харибда // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 11 октября 1952 г. — № 143. — С. 3–4.

357. Тайна лесной панихиды (из повести «Неугасимая лампада») // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 14 июля 1951 г. — № 78. — С. 5-6.

358. Тайна майора Зыкова / *А. Алымов* // Часовой, Брюссель. — Ноябрь 1950 г. — № 302. — С. 19–20.

359. Так не могло быть… // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 22 августа 1953 г. — № 188. — С. 3–4.

✓360. Твардовский А. Поэмы, том II, Государственное издательство художественной литературы, Москва, 1954 [рец.] // Вестн. института по изучению ист. и культуры СССР, Мюнхен. — апрель-июнь 1955 г. — № 15. — С. 107–110.

361. Томление духа // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 9 августа 1956 г. — № 342. — С. 3.

362. Топор вручен палачу // Знамя России, Нью-Йорк. — 15 июля 1955 г. — № 127. — С. 12–14.

✓363. Традиция плевков / *А. Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 17 февраля 1951 г. — № 64. — С. 8.

364. Третья точка зрения // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 8 декабря 1955 г. — № 307. — С. 3–4.

365. Три ступени // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 8 мая 1954 г. — № 225. — С. 1–2.

366. Тришкин кафтан (маленький фельетон) / Дрын // Знамя России, Нью-Йорк. — 17 сентября 1950 г. — № 24. — С. 15–16.

367. Тропинки и путь // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 9 февраля 1952 г. — № 108. — С. 5–6.

✓368. Тяга к корням // Знамя России, Нью-Йорк. — 7 января 1955 г. — № 120. — С. 15–16.

✓369. У постели тяжело больного // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 22 ноября 1956 г. — № 357. — С. 5.

370. Уренский царь // Возрождение, Париж. — Сентябрь-декабрь 1950 г., январь 1951 г. — № 11–13.

371. Установка прицела // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 29 марта 1952 г. — № 115. — С. 7.

✓372. Устное поэтическое творчество русского народа (хрестоматия), составлена С. И. Василенко и В. М. Синельниковым, Издательство Московского университета, Москва, 1954 [рец.] // Вестн. ин–та по изучению ист. и культуры СССР, Мюнхен. — Апрель-июнь 1956 г. — № 19. — С. 124–127.

373. Утешительный Никодим (из книги «Неугасимая Лампада») // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 1952 г. — № 153–154.

374. Утешительный Никодим // Светильники русской земли русской. — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1953 г. — 96 с.

375. Учреждение Русского Патриархата: Историческая справка // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 16 мая 1957 г. — № 382. — С. 5.

376. Фельдфебель и Вольтер / *А. Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 29 апреля 1950 г. — № 43. — С. 7–8.

✓377. Философия здравого смысла / *А. Алымов* // Русский клич, Рим. — октября 1949 г. — С. 17–18.

378. Философия Платона Евстигнеевича // Я — человек русский. — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1953 г. — С. 85–95.

379. Фильки и крестьянин // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 19 января 1952 г. — № 105. — С. 4–5.

380. «Французик из Бордо» / *А. Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 3 ноября 1951 г. — № 94. — С. 3.

381. «Французская точка зрения» // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 21 октября 1954 г. — № 249. — С. 1–2.

382. Фрейлина трех Императриц (глава из книги «Неугасимая лампада» // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 4 апреля 1953 г. — № 168. — С. 6–7.

✓383. «Хорошая» Война (К 100–летию со дня смерти Вл. С. Соловьева) // Часовой, Брюссель. — май 1953 г. — № 331. — С. 15–16.

384. Хорунжий Вакуленко // Грани, Франкфурт–на–Майне. — Апрель-июнь 1959 г. — № 42. — С. 23–62.

385. Христос расстрелянный и воскресший (соловецкая быль) / *А. Алымов* // Русская мысль, Париж. — 29 апреля 1949 г. — № 132. — С. 4-5.

386. Художник Войны (50 лет со дня смерти В. В. Верещагина) // Часовой, Брюссель. — сентября 1954 г. — № 345. — С. 12–13.

387. Царь и рабочие (историческая справка) / *Н. Удовенко* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 13 июня 1953 г. — № 178. — С. 8.

388. «Целовальники» // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 24 мая 1952 г. — № 123. — С. 3–4.

389. Ценная книга: Л. Ступенкова «Пасха в Святой Земле», Мюнхен, 1955 [рец.] / *Б. Ш.* // Наша страна, Буэнос-Айрес. 14 июня 1956 г. — № 334. — С. 8.

390. Ценный экспонат // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 31 июля 1954 г. — № 237. — С. 3–4.

391. Человек и доктрина // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 4 октября 1952 г. — № 142. — С. 1.

392. Человек и эпоха // Знамя России, Нью-Йорк. — 15 июля 1953 г. — № 89. — С. 8–10.

✓393. Человек с большой буквы (30 лет со дня гибели Н. С. Гумилева) // Знамя России, Нью-Йорк. — 10 сентября 1951 г. — № 47. — С. 13–15.

394. Человеческие документы // Знамя России, Нью-Йорк. — 31 июля 1952 г. — № 67. — С. 9–11.

395. Что произошло в СБОНРе / *Н. Удовенко* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 29 августа 1953 г. — № 189. — С. 4.

✓396. Что происходит «там»? / *Б. Ш.* // Знамя России, Нью-Йорк. — Сентябрь / I 1954 г. — № 114. — С. 13.

397. Чудо Преподобного Сергия (560 лет со дня кончины) // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 1952 г. — № 139–141.

398. Чудо Преподобного Сергия // Светильники русской земли русской. — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1953 г. — 96 с.

399. Шпага генерала Грациани / *Б. Ш.* // Знамя России, Нью-Йорк. — 1 июня 1951 г. — № 40. — С. 17–20.

✓400. Шулерский вольт «либералишки» // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 28 июня 1956 г. — № 336. — С. 4.

401. Шухер на бану / *Дрын* // Знамя России, Нью-Йорк. — 15 июля 1951 г. — № 43. — С. 14–15.

✓402. *Юлия Сазонова.* «История древнерусской литературы». Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1955 [рец.] // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 17 марта 1955 г. — № 269. — С. 8.

403. Ярмарка в Ночеро (Глава из книги «Ди-Пи в Италии») / *Алексей*

Алымов // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 10 июня 1950 г. — № 46. — С. 6–7.

404. Ясная мишень // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 22 марта 1952 г. — № 114. — С. 5.

405. Я — человек русский! // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 4 июля 1953 г. — № 181. — С. 4–5.

406. Я — человек русский // Я — человек русский. — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1953 г. — С. 7–13.

407. Я — человек русский (рассказы). — Буэнос-Айрес: Наша страна, 1953 г. — 126 с.

✓408**.** *Boris Pasternak.* Il dottoe Zivago. Romanzo. Feltrinelli Editore, Milano, 1957, 712 pp. [рец.] // Вестн. ин-та по изучению ист. и культуры СССР, Мюнхен. — Октябрь-декабрь 1957 г. — № 25. — С. 118–123.

409. Gaudeamus igitur (к Татьянину дню 25-12 января) // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 23 января 1954 г. — № 210. — С. 7.

410. Tutti Quanti — Basta! (Глава из книги «Ди-Пи в Италии» / *Алексей Алымов* // Наша страна, Буэнос-Айрес. — 9 июня 1951 г. — № 73. — С. 6–7.

Посмертные публикации Б. Н. Ширяева

1. 1926 год. Пасха на Соловках. — Москва: Православный приход храма Святаго Духа сошествия на Лазаревском кладбище, 2013. — 32 с.

2. Воспоминания соловецких узников в 2-х томах (книга «Неугасимая лампада»). — Соловки: Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, 2013–2014. — 774 и 640 с.

3. Вызволение хлопской Руси. — Нью-Йорк. — 1964. — 48 с.

4. Ди-Пи в Италии. Записки продавца кукол. — Санкт-Петербург: Алетейя, 2007. — 260 с.

5. Италия без Колизея. — Санкт-Петербург: Алетейя, 2014. — 144 с.

6. Неугасимая лампада. — Москва: Товарищество русccких художников, 1991. — 412 с.

7. Неугасимая лампада. — Москва: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 2003. — 494 с.

8. Неугасимая лампада. — Москва: Изд. Сретенского монастыря, 2004, 2008, 2010. — 432 с.

9. Неугасимая лампада. — Москва: Отчий дом, 2008. — 384 с.

10. Неугасимая лампада. — Соловки: Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, 2012. — 560 с.

11. Неугасимая лампада. — Москва: Даръ, 2014. — 448 с.

12. Неугасимая лампада. — Москва: Никея, 2014. — 384 с.

13. По-семейному (рассказ «Пасха на Соловках») — Москва: Неугасимая лампада, 2014. — 96 с.

14. Пути пасхальные. Рассказы и дорожные очерки (Звон Китежа, отрывок из книги «Неугасимая лампада»). — Москва: Никея, 2015. — 256 с.

15. Религиозные мотивы в русской поэзии. — Брюссель: Жизнь с Богом, 1960. — 80 с.

16. Русская Голгофа (отрывок из книги «Неугасимая лампада»). — Москва: Пик, 2007. — 448 с.

17. Свет негаснущих звезд. О новомучениках российских (отрывок из книги «Неугасимая лампада»). — Москва: Терра-Книжный клуб, 2009. — 496 с.


НАША СТРАНА
"NUESTRO PAIS"
ЗНАМЯ РОССИИ
БОРИС ШИРЯЕВ
Неугасимая лампада
БОРИС ШИРЯЕВ
Светильники Русской Земли
ВОЗРОЖДЕНIЕ
«LA RENAISSANCE»
Литературно-политическiя тетради
ГРАНИ
Б. Ширяев
Ломоносов
Религиозные мотивы в русской поэзии
Пастернак
"Rossiya"
ВЕСТНИК
ИНСТИТУТА ПО ИЗУЧЕНИЮ СССР
КУДЕЯРОВ ДУБ
„Я – ЧЕЛОВЕК РУССКИЙ!"
РАССКАЗЫ
ЧАСОВОЙ
№ 302
НОЯБРЬ 1950 г.
ЗА РОДИНУ, ЧЕСТЬ И СВОБОДУ!
„LA SENTINELLE"
ГОЛОС НАРОДА
БОРИС ШИРЯЕВ (А. АЛЫМОВ)
Ди-Пи в Италии
ЗАПИСКИ ПРОДАВЦА КУКОЛ
БУЭНОС АЙРЕС
1952
BORIS SCIRIAEV (A. ALIMOV)
Di-Pi en Italia
NOTAS DEL VENDEDOR DE LAS MUÑECAS
1920 – 1950
РУССКАЯ МЫСЛЬ
LA PENSÉE RUSSE

Б. Н. Ширяев



Н. Н. Брешко-Брешковский
РОМАНЪ МАНЕКЕНА
В. И. Крыжановская
(Рочестеръ).
Блаженны
НИЩІЕ ДУХОМЪ
РОМАНЪ.
АРКАДІЙ АВЕРЧЕНКО
ДЮЖИНА
НОЖЕЙ
ВЪ СПИНУ РЕВОЛЮЦІИ
ПАРИЖЪ



КН. ОЛЬГА БЕБУТОВА
СЕРДЦЕ ЦАРЕВИЧА
РОМАНЪ



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ГРАМАТУ ДРАУГС"
РИГА, ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ







ВѢЩІЯ БЫЛИ
О СВЯТОМЪ ЦАРѢ
6 мая 1868 — 6 мая 1938
Старый Кирасиръ



АЛЕКСАНДР БУРОВ
Alexandre Bouroff
РУСЬ
БЕССМЕРТНАЯ



А. РЕННИКОВЪ
КОМЕДІИ
ПАРИЖЪ



Павловскій
гобеленъ
1946



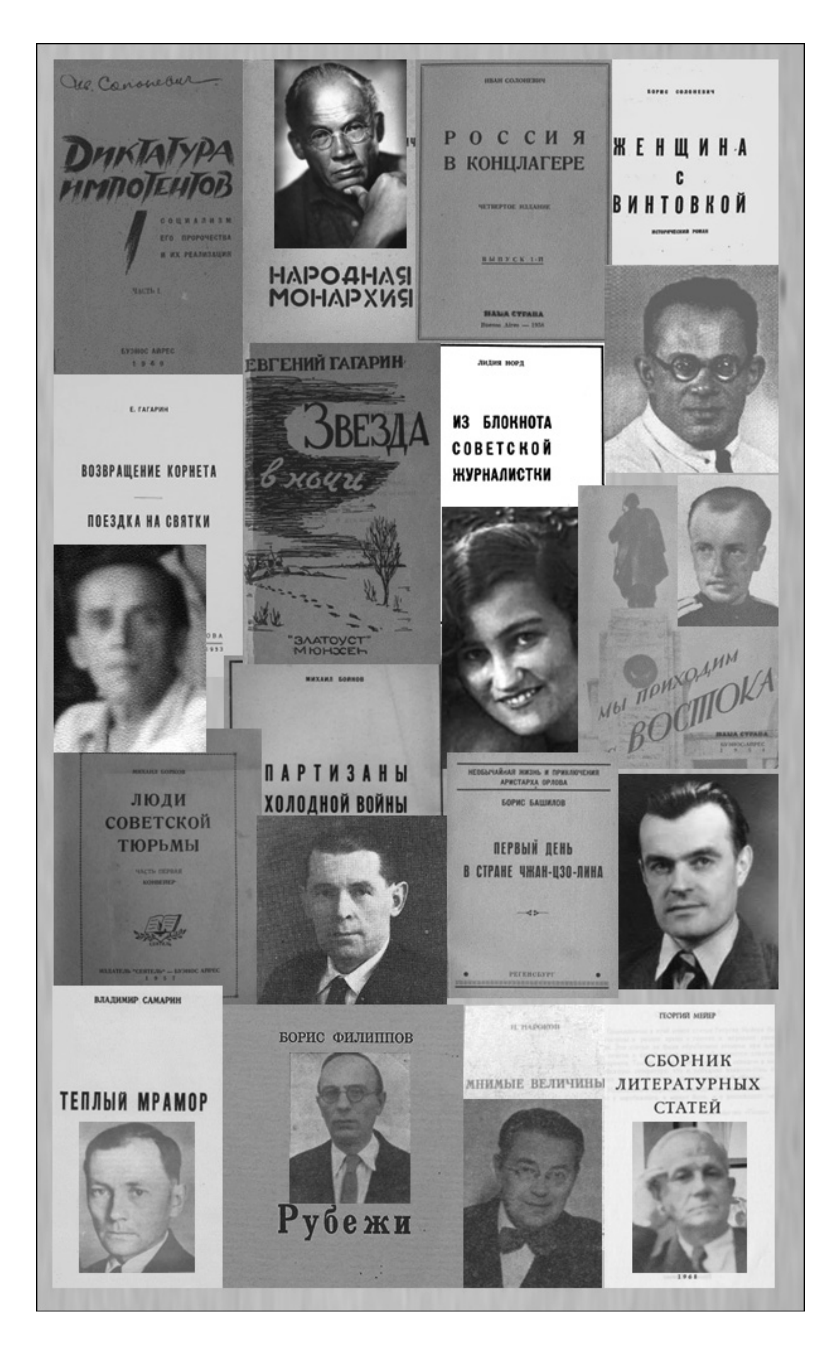
ИЛЬЯ СУРГУЧЕВ
ДѢТСТВО
ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ II
ВОЗРОЖДЕНІ
ИЛЬЯ СУРГУЧЕВ
РОТОНДА
LA RENAISSANCE
ПАРИЖ



ДУШИ ЖИВЫЯ
РОМАНЪ
А. М. РЕННИКОВЪ
БѢЖЕНЦЫ
ВСѢХЪ СТРАНЪ
(Индѣйскій богъ)
КОМЕДІЯ
ВЪ 3-ХЪ ДѢЙСТВІЯХЪ



Произведения литераторов русского зарубежья, упомянутых в книге



Произведения литераторов русского зарубежья, упомянутых в книге


АЛЕКСАНДРА ТОЛСТАЯ
ОТЕЦ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА
ЛЕОНИД РЖЕВСКИЙ
Дина
Л. РЖЕВСКИЙ
ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ
ЮЛИЯ САЗОНОВА
ЛИТЕРАТУРЫ
Древний период
МИХАИЛ КОРЯКОВ
ОСВОБОЖДЕНИЕ ДУШИ
Предисловие Бор. Зайцева
ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА
1952
ЧУЖЕДАЛЬ
СТИХИ
Г. АНДРЕЕВ
ГОРЬКИЕ ВОДЫ
ОЛЕГ ИЛЬИНСКИЙ
СТИХИ
С. ЮРАСОВ
„ВРАГ НАРОДА“
РОМАН
СЕРГЕЙ МАКСИМОВ
БУНТ
ДЕНИСА БУШУЕВА
В. СВЕН
РУВИМ,
СЫН ДАВИДОВ
Д. КЛЕНОВСКИЙ
Разрозненная тайна
Лидия Алексеева
Прозрачный след
Владиміръ Смоленскій
ЖИЗНЬ
Г. Месняев
За гранью прошлых дней
БУЭНОС-АЙРЕС — 1957



СЕГОДНЯ

Новогодній приказъ военного министра по арміи и флоту.

ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛЪ

15 (28) МАЯ 1921 г.

ВОСЬМОЙ ВЫПУСКЪ

ПОСЛѢДНІЯ НОВОСТИ

Англія — СССР — Турція

Кузнецов

Трояновская

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО

Атаки красных отбиты

НОВОЕ ВРЕМЯ

ГАЛЛИПОЛИ

РУССКІЕ! ИДИТЕ ВЪ ГАЛЛИПОЛІЙЦАМЪ!

РУССКІЙ ИНВАЛИДЪ

ВОЕННО-НАУЧНАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

LA RUSSIE ILLUSTRÉE

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ РОССІЯ

НОВОГОДНІЙ НОМЕРЪ

1926

ВОЗРОЖДЕНІЕ

ЛУЧЪ

СЕЯТЕЛЬ

№ 42

ЦЕНА 0.40

"SEMBRADOR"

РОССІЯ

"Rossiya"

ВОСКРЕСЕНІЕ РОССІИ

„Resurrection of Russia"

ОБРАЩЕНІЕ

ПАРИЖСКІЙ ВѢСТНИКЪ

LE COURRIER DE PARIS

№45

Христосъ Воскресе!

ВОСКРЕСЕНІЕ ХРИСТОВО

РУССКАЯ МЫСЛЬ

LA PENSÉE RUSSE

С НОВЫМ ГОДОМ!

1949

ОККУПАЦИОННЫЙ СТАТУТ ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

БОРЬБА С ЦЕРКОВЬЮ В ВЕНГРИИ

ВОЙНА въ КИТАѢ

НАША ГАЗЕТА

ТОЛЬКО О РОССИИ

ПАЛЕСТИНА И РУСЬ

Кирилл Владимирович

ГОЛОС РОССИИ

ТОЛЬКО О РОССИИ

В советской России

НАША СТРАНА

"NUESTRO PAIS"

100

ЗНАМЯ РОССИИ

ГОЛОС НАРОДА

НОВОЕ СЛОВО

(NUEVA PALABRA)

Конец конференции

РУССКОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

LA RESURRECTION RUSSE

События последних дней

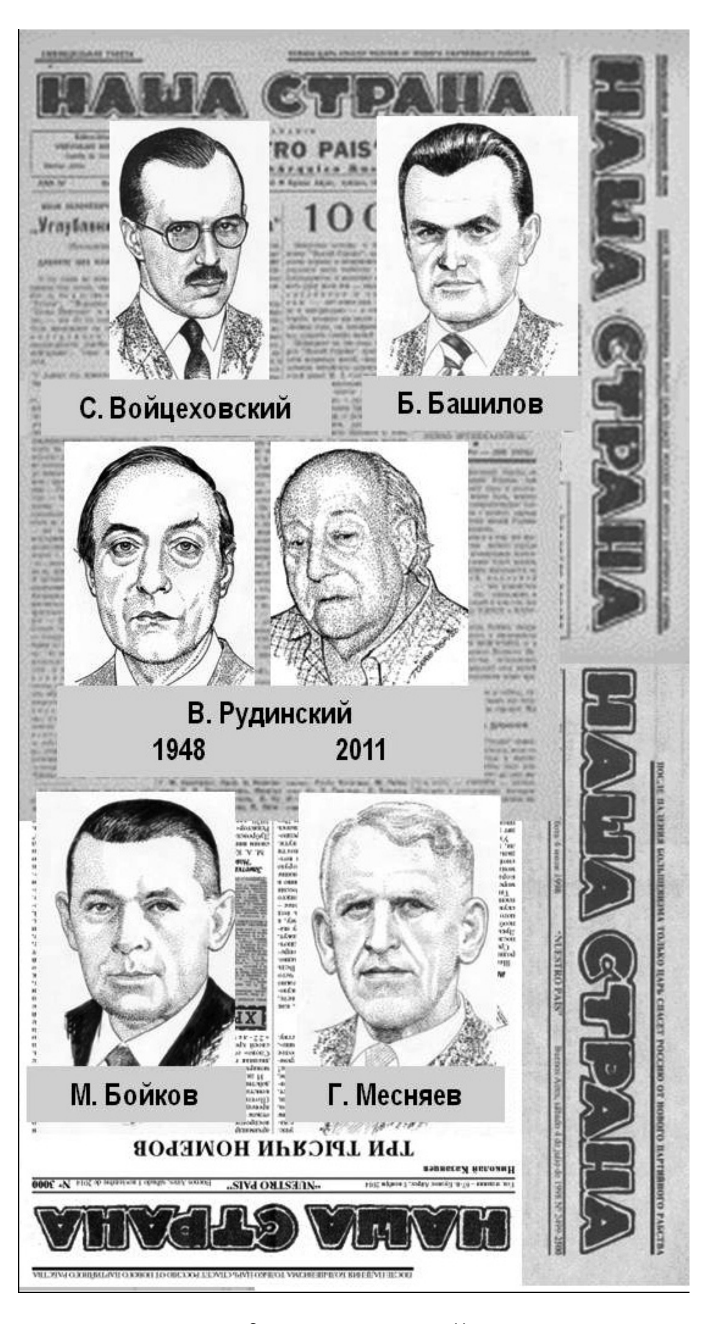
Газеты русского зарубежья



Журналы русского зарубежья



Сотрудники газеты «Наша страна», упомянутые в книге



Сотрудники газеты «Наша страна»,
упомянутые в книге

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА



"NUESTRO PAIS" Buenos Aires, sábado 1 noviembre de 2014 № 3000

Николай Казанцев

ТРИ ТЫСЯЧИ НОМЕРОВ

Иван Лукьянович Солоневич



Редактор «Нашей страны»
Н. Л. Казанцев

Литераторы-эмигранты, упомянутые в статьях Б. Н. Ширяева

Алексеев Василий Иванович (23 сентября / 6 октября 1906 г., Владимир — 8 октября 2002 г., Миннеаполис) — писатель, историк. Вскоре после окончания исторического факультета Московского университета, в 1930 г., был арестован и приговорен к 5 годам лагерей. По отбытии срока наказания поселился в небольшом городке Московской области, работал в научных учреждениях. В 1941 г. мобилизован, в 1942 г. попал в плен к немцам и был отправлен на работы в Германию. После войны остался за рубежом, в 1951 г. переехал в США. С 1955 по 1975 гг. преподавал русский язык и литературу в университете штата Миннесота, в 1967 г. защитил докторскую диссертацию по истории Русской Православной Церкви на оккупированной территории во время Второй мировой войны. Эта работа была опубликована на английском в виде книги в 1976 г., и в русском переводе в журнале «Русское возрождение» (1980–1982), в котором многие годы состоял в редакционной коллегии. Читал лекции в институте Советоведения (Миддлбери, штат Вермонт, США). Написал книги «Роль Церкви в создании русского государства» (1990), «Невидимая Россия» (Нью-Йорк, 1952), «Россия солдатская» (Нью-Йорк, 1954), публиковал статьи в журналах «Возрождение» (Париж), «Новый журнал» (Нью-Йорк), «Русское возрождение» (Нью-Йорк), газете «Новое русское слово» (Нью-Йорк).

Алексеева Лидия Алексеевна (настоящее имя Иванникова Лидия Алексеевна) (9/22 марта 1909 г., Двинск — 27 октября 1987 г., Нью-Йорк) — поэтесса, переводчица. Отец был полковником Генерального штаба. Детство провела в Севастополе. Эмигрировала в 1920 г. вместе с родителями в Турцию, откуда — в Болгарию и затем в Югославию, где окончила Белградский университет. В 1934–1944 гг. преподавала сербский язык и литературу в русской гимназии Белграда. Публиковала стихи в русских журналах, издававшихся в Югославии. В 1937–1944 гг. была замужем за писателем Михаилом Иванниковым. В 1944 г. уехала в Австрию, затем, в 1949 г. в США, где прожила оставшиеся годы. Работала в Нью-Йоркской Публичной библиотеке. В Нью-Йорке были изданы сборники стихов «Лесное солнце» (1954), «В пути» (1959), «Прозрачный след» (1964), «Время разлук» (1971), «Стихи (избранное)» (1980). Переводила стихи Алексиса Раннита, сербскохорватских и американских поэтов. Архив Алексеевой был уничтожен владельцем дома, где она жила, сразу после ее смерти. Полностью уцелевшие стихи, переводы и про-

за Лидии Алексеевой вошли в собрание сочинений «Горькое счастье» (Москва, 2007). Похоронена на кладбище Новодивеевского монастыря в штате Нью-Йорк.

Андреев Геннадий (настоящее имя Хомяков Геннадий Андреевич; использовал также псевдоним Н. Отрадин) (1904 г., близ Царицына — 4 февраля 1984 г., Лейквуд, США) — писатель, журналист. В советской России по окончании школы (1926) начал работать в областной газете, печатал рассказы. В 1927 г. арестован и осужден на 10 лет лагерей, среди которых были Соловки. Был освобожден с ограничением прав в 1935 г. В 1941 г. был призван в армию. В 1942 г. в Крыму попал в плен. Сидел в лагере военнопленных в Норвегии. После освобождения избежал репатриации, жил и работал в Мюнхене. Вступил в НТС, был членом Совета, редактировал журнал «Посев». В 1954 г. вышел из НТС. В 1958 г. в Мюнхене принял участие в создании «Товарищества зарубежных писателей, (выпустило около 20 книг и издавало журнал «Мосты», редактором которого был с 1958 г. по 1970 г.). С 1967 г. переехал в США. Опубликовал том очерков и рассказов «Горькие воды», повести «Трудные дороги», «Минометчики». Печатал статьи в газете «Новое русское слово». В 1975–1977 гг. был соредактором Романа Гуля в «Новом Журнале». В 1980–1981 гг. редактировал журнал «Новое возрождение». Похоронен возле г. Лейквуд, штат Нью Джерси, США.

Анстей Ольга (настоящее имя Штейнберг Ольга Николаевна) (17 февраля / 1 марта 1912 г., Киев — 30 мая 1985 г., Нью-Йорк) — поэт, журналистка и переводчица. Родилась и провела детство и юность в Киеве. В 1931 г. кончила Киевский техникум иностранных языков. В 1937 г. вышла замуж за Ивана Матвеева, будущего поэта Ивана Елагина. В 1943 г. ушла вместе с мужем на Запад с отступающими немецкими войсками. Жили в Лодзи, Праге, Берлине. В конце войны оказалась с мужем в Баварии, близ Мюнхена в лагере для перемещенных лиц Шлейсхейм. В 1949 г. вышел первый поэтический сборник «Дверь в стене» (Мюнхен). В 1950 г. переехала в США. Работала в ООН секретаршей и переводчицей (1951–1972). Печатала стихи, статьи и переводы английских и немецких поэтов в «Новом журнале» (Нью-Йорк), а также в журналах «Воздушные пути» (Нью-Йорк), «Возрождение» (Париж), «Горн» (Мюнхен), «Грани» (Франкфурт-на-Майне), «Литературный современник» (Мюнхен), «Опыты» (Нью-Йорк), «Отдых» (Франкфурт-на-Майне), «У врат» (Мюнхен-Шлейсхейм), «Явь и быль» (Мюнхен). Написала сборник стихов «На юру» (Питтсбург, 1976 г.).

Башилов Борис (настоящее имя Юркевич Борис Платонович; псевдонимы Михаил Алексеевич Поморцев; Тамарцев; Борис Норд; А. Орлов) (1908 г., Златоуст — 2 января 1970 г., Буэнос-Айрес) — писатель, журналист, общественный деятель. Отец его был директором учительской семинарии. Начал печататься с 1924 г. Работал в комитете Севера, принимал участие в агитпробеге от Свердловска до Москвы, который описал в книге «17 000 000 собачьих шагов», кроме того участвовал в полярной экспедиции на ледоколе «Седов» в 1930 г. (о ней рассказывается в его публикации «Льдами к Северной земле» в журнале «Вокруг света»). В 1931 г. в Архангельске были изданы книги «Флейта бодрости» и «Льды и люди», подписанные псевдонимом Борис Норд. В 1933 г. со своей семьей переселился в Туруханск, где занимался организацией охотничьего хозяйства и заготовкой пушнины. После жил в Орле, в Архангельске, где работал в газете «Моряк Севера», и в Курске, где сотрудничал в газете «Курская правда». Во время войны попал в немецкий плен под Вязьмой в октябре 1941 г. Воевал в рядах бригады Каминского, служил в звании капитана Русского Освободительного движения (РОА). После войны оказался в репатриационном лагере для военнопленных в американской оккупационной зоне Платтлинг, затем в лагере для перемещенных лиц Мёнхегоф близ Касселя в Германии. После окончания войны жил в Мюнхене, где под фамилией Тамарцев опубликовал исторические повести «В моря и земли неведомые», «Юность Колумба российского» и «Необычайная жизнь и приключения Аристарха Орлова». Основал издательство «Юность», издававшего детскую литературу. Принимал участие в деятельности Народно-трудового союза (НТС), работал секретарем издательства «Посев». В 1948 г. порвал с НТС и переехал в Аргентину. Состоял членом Суворовского союза генерала Смысловского (Хольмстон). В 50-х гг. принимал активное участие в работе Российского Имперского Союза-Ордена под начальством Н. И. Сахновского. Публиковал свои произведения в газетах «Наша страна» (Буэнос-Айрес), «Знамя России» (Нью-Йорк), журналах «Владимирский вестник» (Сан Пауло) и «Жар-Птица» (Сан-Франциско). В 50-60-х написал девять книг «Истории русского масонства», изданные в собственном издательстве «Русь», издавал монархический журнал «Былое и грядущее». Похоронен на кладбище в Сан-Мартине, пригороде Буэнос-Айреса.

Бебутова Ольга Георгиевна (урожденная Данилова Ольга Михайловна, во втором браке графиня Соллогуб) (20 октября / 1 ноября 1879 г., Тифлис — 26 марта 1952 г., Ницца) — княгиня, актриса, писательница,

издатель. Играла в Санкт-Петербурге в Александринском театре, театре Литературно-художественного общества; выступала под псевдонимами Гуриелли, Гурская. Под именем графини Соллогуб издавала газету «Театр и спорт». Впервые стала печатать рассказы и повести в «Вестнике всемирной литературы» и газете «Петербургский листок». Затем в Санкт-Петербурге вышли в свет романы: «Декабристы» (1906), «Отравители» (1911), «Варвары двадцатого века» (1915), «Кровавый полумесяц» (1915), «Жизнь-копейка» (1916). Некоторые произведения были экранизированы: пьеса «Лидия Гальм» была поставлена в Симферополе в 1910 г.; на основе ее пьесы и по ее сценарию был снят фильм «Дочь падшей» в 1915 г. После революции эмигрировала. С 1920 г. жила в Ницце, выступала в Кружке деятелей сцены и искусства на Ривьере, участвовала в спектаклях и благотворительных вечерах в Ницце и Каннах. Одна из самых популярных писательниц русского зарубежья. Автор романов и повестей «Страсть и душа» (София, 1924 г.), «Звездочки» (София, 1926 г.), «И блеск.. и слезы.. и любовь» (Белград, 1926 г.), «Новая сила: нет старости, нет болезней» (Ницца, 1926 г.), «Лазурный берег» (София, 1927 г.), «Сердце царевича (Абастуман)» (Рига, 1928 г.), «Во золотом потоке» (Рига, 1930 г.), «Дуэль» (Рига, 1930 г.), «Золотая пыль» (Рига, 1930 г.), «Кто побеждает» (Рига, 1930 г.), «Муки страсти» (Рига, 1930 г.), «Пути к карьере» (Рига, 1930 г.), «Черный маг» (Рига, 1930 г.), «Чудаки» (Рига, 1930 г.), «Борьба двух миров» (Рига, 1931 г.), «Хищники» (Рига, 1931 г.), «Бриллианты» (Рига, 1932 г.), «Под властью сердца (опять бриллианты)» (Рига, 1932 г.), «Змея» (Рига, 1932 г.), «Вампир» (Рига, 1934 г.), «Улыбки счастья» (Рига, 1937 г.). Похоронена на кладбище Кокад в Ницце.

Бойков Михаил Матвеевич (1911 г. — 4 ноября 1961 г., Буэнос-Айрес) — журналист и писатель. В 30-е гг. работал в Пятигорске корреспондентом газет «Утро Кавказа» и «Молодой ленинец», в 1937 г. был арестован и содержался в ставропольской внутренней тюрьме НКВД. Во время оккупации работал в газете «Русская правда» («Ставропольское слово», «Утро Кавказа»). После войны переехал в Италию, а в 1948 г. в Аргентину. Работал в русских эмигрантских издательствах и организациях, библиотекарем в Доме Русских Белых, а также корректором издательства «Сеятель» и редактором приложения к газете «Новое слово» «Смех. Газета сатиры и юмора». Многолетний сотрудник газеты «Наша страна» (Буэнос-Айрес). Печатался в газете «Новое слово» (Буэнос-Айрес), журналах «Православное слово» и «Сеятель» (Буэнос-Айрес). Автор книг «Горные братья» (1943), «Партизаны холодной войны»

(Буэнос-Айрес, 1955), «Рука майора Громова» (Буэнос-Айрес, 1956), «Бродячие мертвецы» (Буэнос-Айрес, 1956), «Люди советской тюрьмы» (Буэнос-Айрес, 1957), «Сокровище сердец» (Нью-Йорк, 1953). Во второй части книги «Люди Советской тюрьмы» упоминаются и другие произведения: «Русская честь», «Горькая родина», «Рассказы о чудесном», «Сердце Кавказа», «Печатать запрещено!», «Суслики с билетами», «Следы преступлений», «Литература в кавычках»; «Белые арапы», которые никогда не были изданы отдельными книгами, и лишь отдельные части публиковались в периодической печати. Был отравлен во время встречи со знакомым из СССР, о чем успел оставить предсмертную записку. Похоронен на кладбище Флорес в Буэнос-Айресе.

Брешко-Брешковский Николай Николаевич (псевдонимы Ариэль; Л. Батуев; Н. Белый; Н. Валла-Холодная; В. Верига; П. Инагарм; П. Марганец; Мата д'Ор; Мишель Горель; Н. Суражский; Фраскуэлло) (8/20 февраля 1874 г., С.-Петербург — 23 августа 1943 г., Берлин) — писатель, журналист. Сын одной из создателей партии эсеров Е. К. Брешко-Брешковской, из-за ссылки матери воспитывался с 10 лет в семье дяди на Волыни. По окончании Ровенского реального училища в 1893 г. жил в Санкт-Петербурге, где дебютировал рассказом «Счастливый день Петра Ивановича» в журнале «Живописное обозрение», затем публиковался в «Наблюдателе», «Биржевых новостях», «Русском слове», «Новом слове», «Звезде», «Ниве», «Огоньке» и других газетах и журналах. Издавал сборники повестей и рассказов, романы, и вскоре стал популярным писателем, одним из родоначальников русского политического детектива, также писал о живописи и русских художниках. В 1920 г. эмигрировал в Варшаву, писал политические романы. В 1927 г. по требованию властей покинул Польшу и переехал в Париж. Сотрудничал в эмигрантских газетах и журналах, таких как «Иллюстрированная Россия» (Париж), «Для вас» (Рига), «За Родину» (Рига), «Наше слово» (Рига), опубликовал в Риге более 30 романов (в общей сложности автор более 60 романов). Погиб во время бомбардировки Берлина британской авиацией.

Буров Александр Павлович (псевдоним Бурд-Восходов) (14/26 января 1876 г., Могилев, Подольская губерния — 16 октября 1957 г., Амстердам). Инженер, драматург, прозаик. Окончил Харьковский технологический институт. До революции писал пьесы для театра, свыше 20 его пьес, оригинальных или адаптированных им, пользовались большим успехом и шли по всей России. В 1918 г. эмигрировал, жил сначала

в Берлине, потом Париже и Амстердаме. В Германии сделал карьеру как инженер. Там же начал писать и издавать книги под своим настоящим именем; многие из них неоднократно переиздавались. В 1934 г. получил литературную премию журнала «Иллюстрированная Россия» за рассказ «Сын гренадера». Автор книг «Была земля» (Берлин, 1930 г.), «Под небом Германии» (Берлин, 1930 г.), «Земля в алмазах» (Берлин, 1934 г.), «Еще одна баррикада» (Берлин 1936 г.), «Господи, твоя Россия» (Париж, 1938 г.), «Певец зарубежной печали» (Париж, 1938 г.), «Тяжко мне, тяжко без сталинградовой России» (Голландия, 1947 г.), «В царстве теней» (Париж, 1950 г.), «Москва далекая» (Голландия, 1950 г.), «Русь бессмертная» (Париж, 1952 г.), «Бурелом» (Париж, 1956 г.).

Гагарин Евгений Андреевич (30 января / 12 февраля 1905 г., село Большое Коневаловское Архангельской губернии, — 20 октября 1948 г., Мюнхен) — писатель. Учился на историко-филологическом факультете Петроградского университета, но не окончил по семейным обстоятельствам. В начале 30-х гг. женился на Вере Сергеевне Арсеньевой. Благодаря хлопотам английского правительства, супругам удалось в 1933 г. эмигрировать в Германию, где жили сначала в Кенигсберге, потом в Берлине, Зальцбурге и Мюнхене. Окончил лесную академию в Германии, после чего поступил на работу в международную организацию по изучению лесов. Известен ряд его трудов, посвященных проблеме лесов и лесного хозяйства (написаны на немецком). В Германии изданы книги «Великий обман» (1936), «Путь на Голгофу» (вышла на семи языках), «В поисках России» (только на немецком, 1938), «Звезда ночи», «Возвращение корнета», «Поездка на святки». Остался недописанным роман «Круги на воде». Погиб под колесами грузовика.

Геринг Алексей Алексеевич (17/29 декабря 1895 г., Санкт-Петербург — 24 февраля 1977 г., Париж) — редактор, журналист, военный историк. Родился в семье корпусного офицера. Окончил 1-й кадетский корпус и Морской корпус. Был зачислен вахтенным офицером на линкор «Петропавловск». После прихода к власти большевиков вышел в отставку и воевал в составе Черноморского флота русской армии. В 1920 г. эвакуировался в Бизерту (Тунис), был командиром эсминца «Беспокойный». Во второй половине 1920-х гг. переехал в Париж. В 1934 г. сотрудничал в Союзе младороссов, выступал на его собраниях с докладами. Председатель Общекадетского объединения во Франции (с 1950). Инициатор создания Объединения Военно-исторического музея (1956). Вице-председатель Русской секции Французского Национального союза

участников войны, за активную деятельность в рядах организации награжден бронзовой медалью (1964). Член Общества любителей русской военной старины. Редактор «Вестника общекадетского объединения» (1961–1972). Основатель и редактор военно-исторического журнала «Военная быль» (1952–1974). Публиковался в военных периодических изданиях русской эмиграции. Основал вместе с Н.И. Катеневым военно-историческое издательство «Танаис» в Париже (1966–1974). Составил и выпустил в Париже книгу «Материалы к библиографии русской военной печати за рубежом» (1968). Похоронен под Парижем на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Глинка Глеб Александрович (20 марта / 2 апреля 1903 г., Симбирск — 5 июня 1989 г., Кэбот, штат Вермонт) — поэт, прозаик, критик. Родился в дворянской семье, отец был известным критиком-литературоведом. В 1925 г. окончил высший литературно-художественный институт. В 1926 г. была опубликована первая книга стихов для детей «Времена года» (Ленинград). Печатался в журналах «Красная новь», «Новый мир», «Молодая гвардия», «Наши достижения». Выпустил несколько книг прозы: «Изразцовая печка» (1929); «Эшелон опаздывает» (Москва, 1932 г.); «Истоки мужества» (1935); «Павлово-на-Оке» (Горький, 1936 г.). В 1920-х и в первой половине 1930-х гг. принимал участие в деятельности литературной группы «Перевал», большинство из участников которой в 1930-х гг. подверглись репрессиям; позднее был инициатором выпуска сборника «На перевале» (Нью-Йорк, 1954 г.). В 1941 г. ушел на фронт, был ранен, попал в плен, затем находился в концлагере в Польше. С 1944 г. жил в Германии, затем в Бельгии и Франции. В конце 1940-х гг. переехал в США. Читал лекции в университетах, публиковал статьи в журналах «Вестник РСХД», «Время и мы», «Новый журнал», «Континент», газетах «Новое русское слово», «Русская мысль». Автор книг «В тени: Избранная лирика» (Нью-Йорк, 1968 г.), «Было завтра» (Нью-Йорк, 1972 г.). Похоронен на кладбище Новодивеевского монастыря в штате Нью-Йорк.

Горянский Валентин (настоящее имя Иванов Валентин Иванович) (23 марта / 4 апреля 1887 г., Петербург — 4 июня 1949 г., Париж) — поэт, драматург. Первая публикация — в журнале «Русский паломник» (1903 г., № 19). В 1906 г. стал сотрудником петербургской газеты «Слово». Печатался в журналах «Солнце России», «Аргус», «Нива», «Всемирная панорама», «Пробуждение», «Златоцвет» и др. С 1913 г. — один из вождей еженедельника «Сатирикон» (с 1914 г. «Новый Сатирикон»). В 1915 г.

вышел первый поэтический сборник «Крылом по земле, в 1916 г. — второй сборник «Мои дураки. Лиро-сатиры», объединившей большую часть произведений, опубликованных в «Новом Сатириконе». Переехав в Москву, сотрудничал в газете А. Суворина «Новь», после начала Первой мировой войны вновь вернулся в Петербург. В конце 1917 г. написал одноактную пьесу «Поэт и пролетарий», в которой резко критиковал новую власть. В 1918 г. вместе с семьей уехал в Одессу, откуда в 1920 г. эмигрировал в Константинополь. В Константинополе в 1921 г. была написана поэма Г. «Вехи огненные». С 1922 г. по 1926 г. жил в Хорватии, работал в хорватском журнале «Младость», издал несколько книг сказок и детских рассказов в издательстве Вернича. Вышли юмористический роман «Необычные приключения Боба» и книга для детей «Приключения под абрикосом» (1926). Сказки «Волшебные башмачки» и «Перепутанные души» опубликованы в рижском журнале «Юный читатель» (1926). В 1926 г. поселился в Париже, став постоянным сотрудником газеты «Возрождение» и журнала «Сатирикон» (1931). В конце 20-х — начале 30-х гг. опубликовал рассказы в журналах «Иллюстрированная Россия» (Париж), «Сатирикон» (Париж), «Перезвоны» (Рига), газете «Сегодня вечером» (Рига), работал над циклами сказок и фантастических рассказов («Сказка о добром короле, волшебнике и каруселях», «Вторая жизнь доктора Шольца», «Машина выдумки», «О двуедином господине», «Кот Фру-Фру и прекрасная лунатичка» и др.). В 1936 г. в газете «Возрождение» опубликована повесть «Чудесные похождения сверчка Цитрилли». В журнале «Сатирикон» были напечатаны пародийные рассказы «господина Тощенки» (в стиле М. Зощенко). Последние произведения «Невская симфония» и роман в стихах «Парфандр и Глафира» были опубликованы после его смерти. Похоронен под Парижем на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Гребенщиков Георгий Дмитриевич (24 апреля / 6 мая 1882 г., Каменевка — 11 января 1964 г., Лейкленд, США) — писатель, журналист, общественный деятель. Родился в семье горнорабочего. С 12 лет трудился мойщиком посуды, санитаром, учеником аптекаря, писарем, письмоводителем. Перепробовав множество профессий, занялся журналистикой. В «Семипалатинском листке» публикует первые очерки, стихи, рассказы. В 1906 г. выходит сборник рассказов и очерков «Отголоски сибирских окраин». В 1909 г. ответственный секретарь журнала «Молодая Сибирь». В 1910–1911 гг. совершает этнографическое путешествие по Алтаю. В 1912 г. становится редактором барнаульской газеты «Жизнь Алтая». В это время издает двухтомник рассказов и повестей «В

просторах Сибири». При содействии М. Горького, с которым находился в переписке, начинает печататься в столичных журналах «Современник» и «Летопись». В 1913–1916 гг. выходят в свет повести «Ханство Батырбека» и «Любава». С начала 1916 г. находится в действующей армии, начальник Сибирского санитарного отряда. В московских «Русских ведомостях» публикует репортажи и корреспонденции с фронта. В 1917 г. завершил первую часть своего главного произведения — романа «Чураевы». Годы Гражданской войны провел в Крыму, сотрудничая в местной печати. В 1920 г. эмигрировал в Турцию, затем во Францию. Были опубликованы книги «В некотором царстве» (Париж, 1921 г.), «Путь человеческий» (Берлин, 1922 г.), «Былина о Микуле Буяновиче» (Париж, 1924 г.), отдельной книгой вышел роман «Чураевы» (Париж, 1922 г.). С 1924 г. в США. В штате Коннектикут основал селение Чураевку, создал совместно с Н. Рерихом книжное издательство «Алатас», в котором в 1928 г. издал роман «Гонец». Продолжал работу над многотомным романом-эпопеей «Чураевы». Публиковался в журналах «Для вас» (Рига) и «Перезвоны» (Рига), газете «Сегодня» (Рига). В конце 30-х гг. переселился во Флориду, где преподавал русскую литературу в университете. Похоронен на кладбище г. Лейкленда.

Дар Анатолий (настоящее имя Духонин Анатолий Андреевич; также псевдоним Даров) (1920 г., Ярославская губерния — 8 февраля 1997 г., Нью-Йорк) — писатель, журналист. Родился в семье железнодорожного служащего. Учился в институте журналистики в Ленинграде. Во время войны работал в редакции газеты Русской Освободительной Армии «Доброволец». В 1945–1948 гг. находился в американской оккупационной зоне в Мюнхене. В 1945 г. вышел отпечатанный на ротаторе первый вариант романа «Блокада», который выдержал несколько переизданий с дополнениями и в наиболее полном виде вышел в 1964 г. в Нью-Йорке. В 1948–1960 гг. жил в Париже, в 1948–1950 гг. учился в Русской богословской академии. В 1960 г. переехал в США. Преподавал русский язык в Сиракузском университете (штат Нью-Йорк, США). Публиковался в журнале «Грани» (Франкфурт-на-Майне), газетах «Новое русское слово» (Нью-Йорк), «Россия» (Нью-Йорк), «Русская жизнь» (Сан-Франциско). В журнале «Грани» (Франкфурт-на-Майне) в 1954 г. печатался роман «Солнце все же светит». После путешествия по Европе и посещения Святой Горы Афон написал серию очерков, объединенных в сборник «Берег — нет человека: Афон современный и вечный» (Нью-Йорк, 1966 г.), опубликованный издательством газеты «Россия». В газете «Новое русское слово» в 1973 г. был напечатан роман «На Запад идти

нелегко». Написал также роман «Евразия». Похоронен на кладбище Новодивеевского монастыря в штате Нью-Йорк.

Зызыкин Михаил Валерианович (1880 г., Юркино, Тверской губернии — 1960 г., Буэнос-Айрес) — историк, правовед, публицист. Образование получил в Императорском Московском университете, в 1911 г. стал приват-доцентом. В 1921 г. эвакуировался в Константинополь, после перебрался в Рим, а затем в Софию. Преподавал в Софийском университете до 1929 г. В 1929 г. устроился в Варшавский университет, состоял в нем профессором православного богословского факультета на кафедре православной социологии и канонического права. Активно участвовал в монархическом движении и церковной жизни, был избран членом Международной Академии христианских социологов. В начале Второй мировой войны уехал в Аргентину, где сотрудничал с газетой И. Л. Солоневича «Наша страна». Опубликовал книги и брошюры «Царская власть и Закон о престолонаследии в России» (София, 1924 г.), «Гражданский брак» (Варшава, 1931 г.), «Функции церковной власти: Епископ как ее орган» (Варшава, 1931 г.), «Патриарх Никон — его государственные и канонические идеи» (Варшава, Т. 1, 1931 г.; Т. 2, 1934 г.), «О церковной самостоятельности в новейших построениях церковно-государственных отношений» (Варшава, 1932 г.), «О каноническом положении правящего епископа и областного Первоиерарха-Предстоятеля в Православной Церкви» (Варшава, 1933 г.), «Философия власти в свете христианской социологии» (Варшава, 1933 г.), «Церковный канон и право государства в замещении епископских кафедр» (Варшава, 1933 г.), «Международное общение и положение в нем человеческой личности (социологический очерк)» (Варшава, 1934 г.), «Церковь и международное право: к междуцерковной конференции практического христианства 1937 г. в Оксфорде “Church, state and society”» (Варшава, 1937 г.), «Тайны императора Александра I» (Буэнос-Айрес, 1952 г.), «Император Николай I и военный заговор 14 декабря 1925 г. года» (Буэнос-Айрес 1958 г.).

Кленовский Дмитрий (настоящее имя Крачковский Дмитрий Иосифович) (24 сентября/6 октября 1893 г., С.-Петербург — 26 декабря 1976 г., Траунштайн, ФРГ) — поэт, журналист. Родился в семье художника-пейзажиста, академика живописи Иосифа Крачковского и художницы Веры Беккер. Учился в Царскосельской гимназии. В 1913–1917 гг. изучал юриспруденцию и филологию в Петербургском университете. Начал печататься в петербургских журналах с 1914 г., его первый сборник «Палитра» был издан в Петрограде в конце 1916 г. (на книге проставлен

уже 1917) под его настоящей фамилией. С 1917 г. работал в Москве служащим, в 1921–1922 гг. — журналистом, в 1922 г. уехал в Харьков, где работал переводчиком в Радиотелеграфном агентстве. В 1942 г. во время немецкой оккупации Украины вместе с женой, немкой по происхождению, эмигрировал в Австрию, а затем, в 1943 г. в Германию. С 1947 г. начал публиковать стихи под псевдонимом Кленовский — в «Новом журнале», а с 1950 г. — в журнале «Грани». В Германии были напечатаны 11 поэтических сборников; последний издан посмертно в 1977 г.

Климов Григорий Петрович (настоящее имя Калмыков Игорь Борисович) (26 сентября 1918 г., Новочеркасск — 10 декабря 2007 г., Нью-Йорк) — писатель, журналист. Родился в семье врача. В 1941 г. закончил Новочеркасский индустриальный институт, а затем (в 1945 г.) — Военный институт иностранных языков в Москве. Был направлен для прохождения службы переводчиком немецкого языка в звании младшего лейтенанта в Берлин. В 1947 г., получив приказ вернуться в Москву, бежал в Западную Германию. После побега на Запад документы были им утрачены, и Климов приобрел фальшивые документы на имя Ральфа Вернера. В 1949–1950 гг., по его словам, работал в Гарвардском проекте под эгидой ЦРУ, проводя психологические опросы русскоязычных иммигрантов-беженцев. В 1951–1955 гг. был председателем Центрального Объединения послевоенных эмигрантов из СССР (ЦОПЭ) и главным редактором журналов «Свобода» и «Антикоммунист». Автор книг «Песнь победителя» (1951, позднее выходила под названиями «Машина террора», «Берлинский кремль» и «Крылья холопа»), «Князь мира сего» (Нью-Йорк, 1970 г.), «Дело 69» (Нью-Йорк, 1974 г.), «Имя мое легион» (Нью-Йорк, 1975 г.), «Протоколы советских мудрецов» (Сан-Франциско, 1981 г.), «Красная каббала» (1987), «Божий народ» (1989), «Откровение» (2002). Похоронен на греческом кладбище в Квинсе, Нью-Йорк.

Коряков Михаил Михайлович (псевдонимы М. Конский; М. Ошаров) (22 июня/5 июля 1911 г., Подъяндинская, Красноярский край — 20 августа 1977 г., Вест-Порт, Коннектикут) — писатель, публицист, литературный критик. Родился в крестьянской семье. В 1937–1938 гг. жил в Сочи. Работал в «Курортной газете». В 1939 г. стал научным сотрудником в усадьбе-музее Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». Печатался в тульской газете «Молодой коммунар». Поступил в Московский институт философии, литературы и истории. В связи с началом войны был мобилизован и направлен на командирские курсы. Служил командиром

роты 35-й саперной бригады на Северо-Западном фронте, а с 1942 г. был военным корреспондентом армейской газеты «Сокол Родины». В мае 1944 г. за участие в панихиде, совершенной по патриарху Сергию в одной из церквей близ города Сарны Ровенской области, его отстранили от должности военного корреспондента и перевели в пехоту. 22 апреля 1945 г. в бою под Дрезденом Коряков попал в плен. После освобождения американскими войсками оказался в лагере для «перемещенных лиц». Бежал и, добравшись до Парижа, явился в советское полпредство и был принят на работу техническим редактором издаваемой там газеты «Вести с Родины». В 1946 г. принял решение не возвращаться в СССР. С 1950 г. жил в Нью-Йорке. В 1952 г. опубликовал автобиографическую книгу «Освобождение души», состоящую из четырех частей: «Под Москвой», «На Запад!», «Перед войной», «К новой жизни». Много лет сотрудничал с журналом «Русская мысль». С 1953 г. — сотрудник Нью-Йоркского отделения Радио «Свобода», где основал и вел программу «Россия вчера, сегодня, завтра». В последние годы работал над сборником документально-публицистических очерков «Живая история». Похоронен на кладбище Новодивеевского монастыря в штате Нью-Йорк.

Краснов Петр Николаевич (10/22 сентября 1869 г., С.-Петербург — 16 января 1947 г., Москва) — генерал Русской императорской армии, атаман Всевеликого Войска Донского, военный и политический деятель, журналист, писатель. Из старинного донского казачьего рода. Окончил Александровский кадетский корпус и Павловское военное училище. Поступил в Лейб-Гвардии Атаманский полк, затем в Академию Генерального штаба. Во время русско-японской войны был военным корреспондентом, сотрудничал в журналах «Военный инвалид», «Разведчик» и других. В 1909 г. окончил офицерскую кавалерийскую школу, был произведен в полковники, командовал полком на границе с Австро-Венгрией. В Первую мировую войну был произведен в генерал-майоры и командовал 1-й бригадой и 1-й Донской казачьей дивизией, затем 3-й бригадой Кавказской туземной конной дивизии, впоследствии командовал 2-й Свободной казачьей дивизией. После революции уехал на Дон, где был избран атаманом Донского казачества и воевал с большевиками во главе Донской армии. Отменил все декреты советской власти и создал Всевеликое Войско Донское как самостоятельное государство. В ноябре 1918 г. произошло объединение с Добровольческой армией А. Деникина, но вскоре ушел в отставку и уехал в Северо-Западную армию генерала Н. Юденича, где возглавил газету «Приневский край», редактируемую

А. Куприным. С 1920 г. жил в Германии, а с 1923 г. во Франции. Активно занимался политической деятельностью, сотрудничал с различными белоэмигрантскими организациями, был одним из основателей «Братства Русской Правды», занимавшейся подпольной работой в советской России. С 1936 г. проживал в Германии. С 1943 г. был начальником Главного управления казачьих войск Имперского Министерства Восточных оккупированных территорий Германии, участвовал в создании «Казачьего стана». В мае 1945 г. был захвачен англичанами, и 28 мая в Лиенце (Австрия) вместе с 24 тысячами казаков был выдан британским командованием советской военной администрации. 16 января 1947 г. был повешен в Лефортовской тюрьме. Автор многочисленных работ, посвященных военному делу, казачеству, Белому движению и судьбам русской эмиграции. Публиковал статьи во многих газетах и журналах русского зарубежья, включая «Воскресение» (Париж), «Часовой» (Брюссель), «Перезвоны» (Рига), «Русский инвалид» (Париж), «Слово» (Рига). Автор работ «Картины былого тихого Дона» (Санкт-Петербург, 1909 г.), «Русско-японская война» (Санкт-Петербург, 1911 г.), «На внутреннем фронте» (Ленинград, 1925 г.), «Исторические очерки Дона» (Берлин, 1943 г.) и самого популярного в русском зарубежье романа «От двухглавого орла к красному знамени» (Берлин, 1921 г.), а также многочисленных романов и повестей, таких как «Погром» (Санкт-Петербург, 1907 г.), «Терунешь» (Берлин, 1921 г.), «За чертополохом» (Берлин, 1922), «Понять-простить», (Нью-Йорк, 1923 г.), «Все проходит» (Берлин, 1924 г.), «Единая-неделимая» (Берлин, 1925 г.), «С нами Бог» (Берлин, 1927 г.), «Мантык, охотник на львов» (Париж, 1928 г.), «Ларго» (Париж, 1930 г.), «Выпашь» (Париж, 1931 г.), «Подвиг» (Париж, 1932 г.), «Цесаревна» (Париж, 1933 г.), «Ненависть» (Париж, 1934 г.), «Екатерина Великая» (Париж, 1935 г.), «Домой!: на льготе» (Париж, 1936 г.), «Ложь» (Париж, 1939 г.), «В житейском море» (, Амазонка пустыни», «Белая свитка», «Цареубийцы», сборник очерков «Душа армии» (Берлин, 1927 г.) и другие. Книги выходили большими тиражами и были переведены на многие иностранные языки.

Крыжановская Вера Ивановна (в замужестве Семенова, псевдоним Рочестер) (2/14 июля 1861 г., Варшава, — 29 декабря 1924 г., Таллин) — писательница. Отец — из старинного дворянского рода Тамбовской губернии, генерал-майор артиллерии Иван Антонович Крыжановский; мать — из семьи аптекаря. После смерти отца (1871) Крыжановская была принята в Воспитательное общество благородных девиц в Петербурге, в 1872 г. поступила в училище св. Екатерины, но из-за

слабого здоровья и финансовых проблем была уволена и закончила обучение дома. В 1880–1890-х гг. жила в Западной Европе. С детства интересовалась древней историей и оккультизмом, выступала на сеансах в качестве медиума. Утверждала, что ее романы были продиктованы ей духом английского поэта Джона Уилмота, графа Рочестера, и использовала его имя в качестве псевдонима, который она ставила на произведениях рядом со своей фамилией. Отсутствие удовлетворительного литературного стиля и весьма посредственное знание французского языка, приводившее в юности к проблемам с учебой, контрастировало с идеальным французским, на котором были написаны ее произведения. Писала она, по свидетельству очевидцев, в состоянии транса, не глядя на бумагу. Затем написанное переводилось на русский язык и редактировалось автором. В Париже написала романы «Фараон Мернефта» (1888), «Царица Хатасу» (1894), «Сим победиши» (1893) и другие. В Санкт-Петербурге были опубликованы романы «Варфоломеевская ночь» (1896), «Служители зла: Люциферане и Тамплиеры» (1904), «Эпизод из жизни Тиверия» (1906) и другие. Наиболее крупное произведение — пенталогия «Маги», в которую вошли романы «Жизненный эликсир» (1901), «Маги» (1902), «Гнев Божий» (1909), «Смерть планеты» (1911) и «Законодатели» (1916). Помимо исторических и спиритических произведений писала сочинения на современные темы, такие как «Торжище брака» (1893), «Рекенштейны» (1894), «Мертвая петля (1906), «Паутина» (1906), «Рай без Адама» (1917). За роман «Железный канцлер древнего Египта» (1899), в частности, за точное описание быта Древнего Египта, французская академия наук присвоила почетное звание «Офицер Французской Академии». Роман «Светочи Чехии» (1903) за передачу с исторической правдивостью и точностью уклад жизни и нравы чехов времени Яна Гуса был удостоен почетного отзыва Российской Императорской академии наук. По романам «Кобра капелла» и «Болотный цветок» в 1917 г. в России были сняты фильмы. После революции эмигрировала в Эстонию. Почти не писала, средств на издание книг не хватало. Более двух лет работала на лесопильном заводе «Форест» в Нарве, что отрицательно сказалось на ее здоровье. Похоронена на Александро-Невском кладбище в Таллине.

Максимов Сергей (настоящее имя Пасхин Сергей Сергеевич) (19 мая / 1 июня 1916 г., Чернопенье — 11 марта 1967 г., Лос-Анджелес) — писатель. Родился в семье сельского учителя в старообрядческом селе около Костромы. В 1918 г. семья переехала в Кострому, а в 1923 г. в Москву, где окончил школу и поступил в Литературный институт

имени Горького. В 1936 г. был арестован за антисоветскую пропаганду и осужден к 5 годам лагерей, срок отбывал в Севжелдорлаге, на Печоре. В 1941 г. вернулся в Москву, но был выслан в Калугу. Во время немецкой оккупации попал в Смоленск, где печатался в местной газете «Новый путь» и журнале «На переломе» под псевдонимом Сергей Широков, опубликовал сборник стихов и повесть «В сумерках». Писал также пьесы для Смоленского театра под оккупацией, как, например, «Волк» и «Дитя эпохи». В 1943 г. сотрудничал в Восточном отделе министерства пропаганды в Берлине. После войны жил в Гамбурге, а в 1949 г. переехал в Нью-Йорк. Вошел в редколлегию журнала «Грани» (Франкфурт-на-Майне). Опубликовал романы «Денис Бушуев» (Франкфурт-на-Майне, 1949 г.) и «Бунт Дениса Бушуева» (Нью-Йорк, 1956 г.), сборники рассказов «Алый снег» (1943 г., тираж погиб при бомбежке) «Тайга» (Нью-Йорк, 1952 г.), «Голубое молчание» (Нью-Йорк, 1953 г.). Похоронен на сербском кладбище в Сан-Франциско.

Марков Анатолий Львович (псевдоним Шарки) (28 декабря 1893 г./9 января 1894 г.), Щигровский уезд Курской губернии — 10 августа 1961 г., Сан-Франциско) — русский офицер, общественный деятель, журналист, писатель. Из дворян Курской губернии, сын Льва Евгеньевича Маркова, племянник лидера Союза Русского Народа Н. Е. Маркова. Окончил Воронежский кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище (1914). Участник первой мировой войны. Во время Гражданской войны — в Белой армии, ротмистр 1-го офицерского (Алексеевского) конного полка. В эмиграции жил в Югославии, затем в Египте, где служил в английской полиции. Вступил во Всероссийскую фашистскую партию Родзаевского, с 1937 г. именовавшуюся Российским фашистским союзом (РФС). Возглавлял Египетский очаг (отделение) РФС с центром в г. Александрия. Помещал в харбинской газете «Наш путь» корреспонденцию о Египте. Благодаря его статьям сохранилось немало интересных сведений о жизни русской колонии в Египте, по истории региона в целом. Писал о православии, на темы истории Церкви на Востоке. Принимал участие в работе американской научной экспедиции в сотрудничестве с Каирским университетом, занимавшейся исследованиями в древних христианских монастырях Египта и Синая. После Второй мировой войны переехал в США, в Сан-Франциско. Сотрудничал в газетах «Русская мысль» (Париж), «Русская жизнь» (Сан-Франциско), журнале «Возрождение» (Париж). Там же, уже после смерти писателя, вышли его книги «Кадеты и юнкера» (1961), и «Родные гнезда» (1962). Похоронен на сербском кладбище Сан-Франциско.

Мейер Георгий Андреевич (7/19 февраля 1894 г., Симбирск — 7 февраля 1966 г., Дьеп, Франция) — публицист, философ и литературовед. Мать из рода Аксаковых. По окончании реального училища поступил на филологический ф-т Московского университета, но через год оставил его. Поступил на военную службу вольноопределяющимся, вышел офицером в Сумской гусарский полк. Провел на фронте всю Первую мировую войну. После Октябрьского переворота с юнкерами защищал Москву, затем вступил в Добровольческую армию (записан седьмым по счету). Участник Ледяного похода Л. Корнилова. В 1920 г. эвакуировался в Константинополь. В 1923 г. переехал во Францию и краткое время сотрудничал в журнале «Русская земля», в 1925 г. был приглашен в газету «Возрождение» (Париж) и оставался постоянным сотрудником до ее закрытия в 1940 г. С 1936 г. был членом Союза ревнителей памяти императора Николая, в 1940 г. вошел в инициативную группу по учреждению во Франции Объединения русских деятелей литературы и искусства, организовывал литературно-музыкальные встречи, на которых выступал с докладами. В начале 1950-х гг. был редактором журнала «Возрождение». Печатался в журнале «Грани». Уже после смерти вышли сборники «Свет в ночи» (Франкфурт-на-Майне, 1967 г.), «Сборник литературных статей» (Франкфурт-на-Майне, 1968 г.) и «У истоков революции» (Франкфурт-на-Майне, 1971 г.). Похоронен в Медоне, под Парижем.

Месняев Григорий Валерианович (18/30 марта 1892 г., Тула — 11 ноября 1967 г., Нью-Йорк) — писатель, журналист. В 1909 г. окончил Орловский Бахтина кадетский корпус. Продолжил учебу на юридическом факультете Киевского университета. В 1914 г. поступил в Виленское военное училище, по окончанию которого служил в 152-м пехотном Владикавказском генерала Ермолова полку 38-й пехотной дивизии. Участвовал в Первой мировой войне. После Октябрьского переворота воевал в Добровольческой армии, в Марковском пехотном полку. В 1920 г., при отступлении, заболел тифом и остался в Ростове-на-Дону; скрывал свое прошлое. С 1942 г. был в немецкой оккупации; в 1943 г. эвакуировался на Запад, с потоком беженцев добрался до Баварии. После войны переехал в США, активно сотрудничал с газетой «Наша страна» (Буэнос-Айрес), был редактором газеты «Россия» (Нью-Йорк), печатался в газетах «Знамя России» (Нью-Йорк), журнале «Возрождение» (Париж). Опубликовал книги «За гранью прошлых дней» (Буэнос-Айрес, 1957 г.), «Поля неведомой земли» (1962), «По следам минувшего» (Нью-Йорк, 1965 г.). Четвертая книга, о Н. М. Карамзине, осталась неоконченной.

С 1963 по 1967 гг. Месняев был председателем Общества имени Пушкина в Нью-Йорке. Похоронен на кладбище Новодивеевского монастыря в штате Нью-Йорк.

Нароков Николай (настоящее имя Марченко Николай Владимирович) (14/26 июня 1887 г. — 3 октября 1969 г., Монтере, Калифорния) — писатель. Окончил Киевский политехнический институт, затем работал в Казани. Принимал участие в деникинском движении, попал в плен, но сумел сбежать. До 1932 г. преподавал в школе математику, затем как бывший участник белого движения был арестован и осужден на несколько лет. С 1935 г. жил в Киеве, откуда в 1944 г. эмигрировал в Германию. В 1950 г. переехал в США, где жил в Монтере (Калифорния) вместе с сыном, поэтом Николаем Моршеном, преподавал русский язык. Сотрудничал в «Новом журнале» (Нью-Йорк), газетах «Русская мысль» (Париж) и «Новое русское слово» (Нью-Йорк). Опубликовал книги «Мнимые величины» (Нью-Йорк, 1952 г.), «Могу» (Буэнос-Айрес, 1965 г.). Похоронен на кладбище г. Монтере.

Норд Лидия (Оленич-Гнененко, в замужестве Бакалова, затем Загорская Ольга Алексеевна) (1907 г. — 4 июля 1967 г., Лондон) — писательница. Дочь полковника гвардии. Жена сослуживца М. Тухачевского. После ареста мужа была сослана на Дальний Восток, затем сумела вернуться в Ленинград. Во время войны была военным корреспондентом, после ранения попала в плен. Вступила в Русскую Освободительную Армию генерала А. Власова и была направлена в Италию ответственным секретарем газеты РОА «Доброволец». После войны жила в Великобритании. Печаталась в газетах «Наша страна» (Буэнос-Айрес), «Русская мысль» (Париж), «Новое русское слово» (Нью-Йорк), журналах «Часовой» (Брюссель), «Возрождение» (Париж), работала в Русской Службе Би-Би-Си, активная участница культурной и общественной жизни русской эмиграции в Великобритании. Автор книг «Маршал М. И. Тухачевский» (Париж, 1948 г.), «Инженеры человеческих душ» (Буэнос-Айрес, 1954 г.), «Из блокнота советской журналистки» (Буэнос-Айрес, 1958 г.), повести «Офелия» (была напечатана в 1956 г. в журнале «Возрождение», Париж).

Ольшанский Борис (Казань, 1910–1958) — офицер, публицист. Работал учителем в Воронеже, во время войны служил в инженерных войсках. В 1947 г. он перешел к американцам. Жил в Регенсбурге, в Германии. В 1952 г. переехал в США, где жил в Нью-Йорке. В 1954 г.

в Буэнос-Айресе вышла книга военных воспоминаний «Мы приходим с Востока», печатался в журналах «Часовой» (Брюссель), «Социалистический вестник» (Нью-Йорк), газете «Наша страна» (Буэнос-Айрес). Работал на радио «Свобода». 4 июня 1956 г. при загадочных обстоятельствах исчез, оставив жену и детей, а затем объявился в СССР. Был поселен в Казани, а через год внезапно развилось тяжелое заболевание почек, скончался на операционном столе.

Ренников Андрей (настоящее имя Селитренников Андрей Митрофанович) (14/26 ноября 1882 г., Кутаиси — 25 ноября 1957 г., Ницца) — писатель, драматург, журналист. Отец — присяжный поверенный. Окончил физико-математический и историко-филологический факультеты Новороссийский университет (Одесса), получив золотую медаль за сочинение «Система философии В. Вундта». Был оставлен при университете на кафедре философии. Совмещал преподавательскую деятельность с журналистской в газете «Одесский листок». В 1912 г. переехал в С.-Петербург, где стал сотрудником и редактором отдела «Внутренние новости» газеты «Новое время», издаваемой А. С. Сувориным, регулярно печатал в газете фельетоны, рассказы и очерки. С 1912 г. стали выходить его книги: сатирические романы «Сеятели вечного», «Тихая заводь» и «Разденься, человек»; очерки «Самостийные украинцы», «Золото Рейна» и «В стране чудес: правда о прибалтийских немцах»; сборник рассказов «Спириты». Захват власти большевиками воспринял как катастрофу, и уехал на юг. В годы Гражданской войны вместе с группой сотрудников газеты «Новое время» работал в Ростове-на-Дону редактором газеты «Заря России», которая поддерживала Добровольческую армию. В марте 1920 г. он выехал из Новороссийска через Варну в Белград, описав свое превращение в эмигранта в воспоминаниях «Первые годы в эмиграции». В Белграде он помогал М. А. Суворину, сыну А. С. Суворина, в организации и издании газеты «Новое время», которая выходила в 1921–1926 гг. В 1922 г. вышла пьеса о жизни русских эмигрантов в Белграде «Тамо далеко». В 1925 г. в Софии были изданы пьеса «Галлиполи» и комедия «Беженцы всех стран». Пьесы пользовались успехом и ставились на сценах русских театров в Сербии, Болгарии, Франции, Германии, Швейцарии, Финляндии, Китае. Пьеса «Борис и Глеб» увидела свет в 1934 г. в Харбине. В Белграде вышли фантастический роман «Диктатор мира» (1925) а также первые два романа трилогии о жизни русских эмигрантов, объединенные общими персонажами: «Души живые» (1925), «За тридевять земель» (1926). Печатался также в газетах «Вечернее время», «Галли-

поли», «Заря» и других. В 1926 г. переехал в Париж, где стал постоянным сотрудником газеты «Возрождение». В «Возрождении» с 1925 г. по 1940 г. вел рубрику «Маленький фельетон», печатал рассказы, статьи и очерки о жизни русских эмигрантов, отрывки из новых произведений. В 1929 г. в Париже вышел сборник рассказов «Незваные варяги», в 1930 г. — завершающий роман трилогии о русских беженцах «Жизнь играет», в 1931 г. сборник пьес «Комедии». В 1937 г. вышел детективный роман «Зеленые дьяволы». Во время Второй мировой войны и после жил на юге Франции, в Ницце. После войны сотрудничал в журнале «Возрождение», а также в газетах «Россия» (Нью-Йорк) и «Русская мысль» (Париж). В 1952 г. вышел роман «Кавказская рапсодия». В последние годы были опубликованы книга «Моторизованная культура» (1956) а также, в «Возрождении», очерки «Психологические этюды». Похоронен на кладбище Кокад в Ницце.

Ржевский Леонид (настоящее имя Суражевский Леонид Денисович) (8/21 августа 1905 г., Ржев — 1986 г., Нью-Йорк) — писатель, литературовед. Родился в военной дворянской семье. В 1930 г. окончил литературно-лингвистическое отделение педагогического факультета 2-го Московского государственного университета, в 1938 г. — аспирантуру Московского государственного педагогического института. В 1933 г. стал одним из авторов курса русского языка для сельхозтехникумов. Преподавал в Орехове, Туле, Москве, стал доцентом. В 1941 г. защитил в качестве кандидатской диссертации составленный им двухтомный словарь языка «Горя от ума». Защита состоялась 28 июня, а 1 июля ушел на фронт в звании лейтенанта. Был помощником командира дивизионной разведки, попал в плен. В 1941–1943 гг. в лагерях для военнопленных. В 1943 г. был освобожден и служил лектором для учителей на оккупированной территории. Женился на поэтессе Аглае Шишковой. После 1944 г. жил под Мюнхеном и взял псевдоним Ржевский, в 1950–1953 гг. жил недалеко от Франкфурта-на-Майне, где был редактором журнала «Грани» (1952–1955). В 1953–1963 гг. преподавал в Лундском университете в Швеции. В 1963 г. он переехал в США, где ему предложили место профессора в Оклахомском университете. Позднее профессор славянской литературы в Нью-Йоркском университете. Член американского Пен-клуба. Публиковал статьи в журналах «Мосты» (Мюнхен), «Новый журнал» (Нью-Йорк), «Грани» (Франкфурт-на-Майне), «Литературный современник» (Мюнхен), «Воздушные пути» (Нью-Йорк), «Континент» (Париж), «Посев» (Мюнхен). Автор книг «..показавшему нам свет» (Франкфурт-на-Майне, 1961 г.), «Через пролив» (Мюнхен, 1966 г.),

«Двое на камне» (Мюнхен, 1966 г.), «Прочтение творческого слова» (Нью-Йорк, 1970 г.), «Три темы по Достоевскому» (Нью-Йорк, 1972 г.), «Творец и подвиг: Очерк о творчестве А. Солженицына» (Франкфурт-на-Майне, 1972 г.), «Две строчки времени» (Франкфурт-на-Майне, 1976 г.), «Дина» (Нью-Йорк, 1979 г.), «Бунт подсолнечника» (Энн Эрбор, 1981 г.), «Звездопад» (Энн Эрбор, 1984), «К вершинам творческого слова» (Норвич, 1990 г.). Похоронен на кладбище Новодивеевского монастыря в штате Нью-Йорк.

Рудинский Владимир (настоящее имя Петров Даниил Федорович; также псевдонимы: Аркадий Рахманов; Геннадий Криваго; Виктор Штремлер; Савва Юрченко; Елизавета Веденеева; Вадим Барбарухин; Гамид Садыкбаев) (3 мая 1918 г., Царское Село — 19 июня 2011 г., Париж) — филолог, журналист, писатель. Родился в семье врача. Окончил филологический факультет Ленинградского университета. Во время Второй мировой войны оказался в оккупации, поступил в Вермахт переводчиком, потом воевал в Испании в «Голубой дивизии», затем работал журналистом в газетах на оккупированной части СССР. Работал в Тосне под Ленинградом, в Двинске (Латвия), в конце войны в Берлине, откуда перебрался во Францию. Там прошел три лагеря для Ди-Пи (перемещенных лиц). Выйдя, поселился в Париже; работал в библиотеке Школы Восточных Языков. Публиковался во многих журналах Ди-Пи — в Германии, Италии. Участвовал в общественной жизни, выступал на собраниях монархистов, делал доклады. В Париже проучился два года в Богословском институте, затем окончил Школу восточных языков. Знал многие европейские и малайско-полинезийские языки. Был представителем на Париж Высшего Монархического Совета и монархической подпольной организации «Русские революционные силы». Публиковался в журналах «Возрождение» (Париж), «Знамя России» (Нью-Йорк), «Мосты» (Франкфурт-на-Майне), «Русское воскресение» (Париж), «Новый журнал» (Нью-Йорк), «Современник» (Торонто), «Голос зарубежья» (Мюнхен), «Вестник» (Буэнос-Айрес), «Литературный европеец» (Франкфурт-на-Майне); газетах «Русская жизнь» (Сан-Франциско), «Новое русское слово» (Нью-Йорк). Автор книги «Страшный Париж» (1995 г., Москва). Был сотрудником газеты «Наша страна» с начала ее основания (1948) на протяжении 63 лет до своей кончины.

Сабурова Ирина (настоящее имя Кутитонская Ирина Евгеньевна, в замужестве Перфильева и баронесса фон Розенберг; также псевдо-

нимы Ирина Раэр; И. Ильнев; Ир. Клен; И. Тонский; И. С.) (19 марта/1 апреля 1907 г., Рига — 22 ноября 1979 г., Мюнхен) — писательница, поэт. Родилась в семье офицера. Училась в Риге. Воевала в Белой армии. Была замужем первым браком за поэтом Александром Михайловичем Перфильевым. Печататься стала в рижской газете «Сегодня» в 1922 г. Писала стихи, прозу, сказки, делала переводы зарубежных прозаиков. Публиковалась в журналах «Балтийский Альманах» (Рига), «Наш Огонек» (Рига), «Для Вас» (Рига), «Для всех» (Рига), «Новая нива» (Рига), «Новая неделя» (Рига), «Иллюстрированная Россия» (Париж), газетах «Маяк» (Рига), «Двинский вестник» (Рига), «Русский вестник» (Рига) и «Правда» (Рига). С 1946 г. жила в Германии. Работала в Мюнхене на радиостанции «Свобода» (с 1953). Сотрудничала в газете «Новое Русское Слово», была секретарем редакции ежеквартального журнала «Голос Зарубежья». Издавала стихи А. М. Перфильева. Автор книг «Тень синего марта» (Рига, 1938), «Королевство алых башен» (Мюнхен, 1947), «Корабли Старого города» (Мюнхен, 1950), «Разговор молча» (Мюнхен, 1956), «Копилка времени» (Мюнхен, 1957), «Счастливое зеркало» (Мюнхен, 1966), «Королевство» (Мюнхен, 1976), «После..» (Мюнхен, 1961), «О нас» (Мюнхен, 1972).

Самарин Владимир (настоящее имя Соколов Владимир Дмитриевич) (17 февраля/2 марта 1913 г., Орел — 1995 г., Монреаль, Канада) — журналист, писатель. Родился в дворянской семье, отец был юристом. Окончил педагогический институт. Преподавал русский язык и литературу в средней школе и техникуме в Воронеже. В 1942 г. вернулся в Орел и работал сотрудником местной русской газеты «Речь». В 1943 г. переехал в оккупированный Смоленск и выступал с лекциями в частях Русской освободительной армии (РОА). В 1944 г. выехал на Запад, в Германию. В 1944–1945 гг. — сотрудник газеты Комитета освобождения народов России (КОНР) «Воля народа» (Берлин). После окончания войны находился в британской зоне оккупации Германии. В 1946–1949 гг. редактировал еженедельник «Путь», издававшийся в Гамбурге. В 1949–1951 гг. заместитель главного редактора журнала «Посев» в американской зоне оккупации. Был активным деятелем Народно-трудового союза (НТС). В 1951 г. переехал с семьей в Нью-Йорк. В 1952–1956 гг. работал в издательстве имени Чехова (Нью-Йорк). В 1972 г. написал брошюру «Торжествующий Каин» (на английском языке) о положении Церкви в СССР. Публиковался в журналах «Грани» (Франкфурт-на-Майне), «Зарубежье» (Мюнхен), «Возрождение» (Париж), «Православная Русь» (Нью-Йорк), газетах «Русская мысль» (Париж), «Новое русское сло-

во» (Нью-Йорк), «Единение» (Мельбурн). В Нью-Йорке были изданы сборники рассказов «Песчаная отмель» (1964), «Тени на стене» (1967), «Цвет времени» (1969), «Далекая звезда» (1972), «Теплый мрамор» (1976). С 1959 г. работал преподавателем русской литературы в Йельском университете. Состоял членом Русской академической группы в США. В 1970-х гг. был привлечен американскими иммиграционными властями к судебной ответственности за неточное указание должности в редакции газеты, издававшейся во время немецкой оккупации в Орле. В 1985 г. лишен гражданства США и приговорен к высылке. Последние годы жизни провел в Канаде. Похоронен на кладбище Свято-Троицкого монастыря в г. Джорданвилль (США).

Свен Виктор (настоящее имя Кублицкий Виктор Борисович) (21 января/2 февраля 1897 г. — 24 октября 1971 г., Мюнхен) — писатель, журналист. По окончании гимназии, во время Первой мировой войны ушел добровольцем на фронт. Первые очерки и рассказы были напечатаны в 1915 г. в «Смоленском вестнике». В 1919–1920 гг. был в Добровольческой армии, затем в концлагере, откуда был забран в Красную армию. С 1923 г. работал разъездным корреспондентом и журналистом в советской России. С 1925 г. выступал как журналист, был корреспондентом ТАСС. В войну 1941–1945 гг. оказался на оккупированной территории, переехал в Германию. В 1950–1960 гг. работал на «Радио Свобода» (Мюнхен). Печатался в разных русских зарубежных изданиях. Автор книг «Рувим, сын Давидов) (Берлин, 1947 г.), «Чей друг и чей враг Михаил Зощенко» (Мюнхен, 1958 г.), «Цена жизни» (Мюнхен, 1960 г.), «Бунт на корабле» (Мюнхен, 1961 г.), «Уже пора» (Мюнхен, 1962 г.), «Моль» (Мюнхен, 1969 г.).

Смоленский Владимир Алексеевич (24 июля/6 августа 1901 г., Луганск — 8 ноября 1961 г., Париж) — поэт. Родился и вырос на Дону, в семье потомственного донского казака, полковника жандармского полицейского управления, расстрелянного большевиками в 1920 г. Воевал в Добровольческой армии. В эмиграции жил в Тунисе, потом во Франции, где окончил Высшую коммерческую академию. Работал бухгалтером. Печатать стихи начал с 1927 г. Мастерски читал свои стихи на вечерах и стал один из самых популярных поэтов, собирал полные залы на своих вечерах. Активно участвовал в деятельности Союза молодых писателей и поэтов, Союза русских писателей и журналистов, объединения казаков-литераторов. В 1947 г. был соредактором журнала «Орион». Печатал стихи и литературоведческие статьи в газете (а затем

и журнале) «Возрождение», газете «Русское воскресение». Автор четырех сборников стихов, выпущенных в Париже: «Закат» (1931), «Наедине» (1938), «Собрание стихотворений» (1957), и посмертно вышедшего «Стихи 1957–1961 гг.» (1963). Похоронен под Парижем на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Солоневич Борис Лукьянович (2/15 февраля 1898 г., Гродненская губерния, Российская империя — 24 февраля 1989 г., Глен-Коув, Лонг-Айленд, США) — писатель и общественный деятель, участник скаутского движения, младший брат Ивана Лукьяновича Солоневича. Сын сельского учителя, впоследствии ставшего редактором и издателем газеты «Северо-Западная жизнь». Получил медицинское образование. В 1912 г. вступил в скаутскую организацию, где стал старшим скаумейстером и помощником начальника скаутов России О. И. Пантюхова. В ноябре 1920 г. эвакуировался в Константинополь, но вскоре вернулся в Крым, где продолжил скаутскую деятельность. Работал в Американском Красном кресте. Четырежды арестовывался за скаутскую деятельность. Был приговорен к 8 годам в концлагере на Соловецких островах, но в 1928 г. в связи с прогрессирующим заболеванием глаз был отправлен отбывать ссылку сначала в Томск, потом в Орёл. В 1933 г. был арестован вместе с женой Ириной Пеллингер, братом Иваном Солоневичем и его сыном Юрием при попытке к бегству из страны, и отправлен в лагерь «Беломорско-Балтийский Комбинат». Совершил в 1934 г. побег из Лодейного Поля в Финляндию. После двух лет жизни в Финляндии в 1936 г. переехал в Софию, где участвовал в издании газеты «Голос России», редактором которой был его брат Иван. В 1938 г. переезжает в Германию, а в 1945 г. — в Бельгию. Там он с 1950 г. издает журнал «Родина». Вскоре переезжает в Нью-Йорк, где продолжает выпуск журнала до 1978 г. Автор книг «Молодежь и ГПУ» (София, 1937 г.), «На советской низовке» (София, 1938 г.), «Тайна старого монастыря» (Брюссель, 1941 г.), «Рука адмирала» (Берлин, 1943 г.), «Женщина с винтовкой» (Буэнос-Айрес, 1955 г.), «Заговор Красного Бонапарта» (Буэнос-Айрес, 1958 г.). К концу жизни потерял зрение. Скончался в доме престарелых в Глен-Коуве на Лонг-Айленде. Похоронен на кладбище Новодивеевского монастыря в штате Нью-Йорк.

Солоневич Иван Лукьянович (1/13 ноября 1891 г., Цехановец, Гродненская губерния — 24 апреля 1953 г., Монтевидео, Уругвай) — публицист, мыслитель, исторический писатель и общественный деятель, создатель теории народной монархии. Родился в семье сельского

учителя, ставшего позднее редактором и издателем газеты. Учился на юридическом факультете Петербургского университета, одновременно работая секретарем редакции в газете отца в Белоруссии. С 1915 г. по рекомендации А. М. Ренникова устроился в газету «Новое время», а также работал внештатным судебным хроникером в нескольких петербургских газетах. После революции участвовал в Белом движении, работал в киевской газете «Вечерние огни» (1919). Из-за болезни не смог эвакуироваться, и остался с семьей в Одессе, работал спортивным инструктором, печатался в спортивной прессе. Затем переехал в Москву, работал инспектором физкультуры, писал статьи и руководства по спортивной тематике. В 1932 г. предпринял попытку побега из СССР через Карелию вместе с братом Борисом и сыном Юрием, но из-за болезни пришлось вернуться. Вторая попытка также не состоялась по болезни сына, а во время третьей попытки всех участников побега задержали и осудили. Отбывали срок в лагере «Беломоро-Балтийский комбинат», из которого в 1934 г. совершили побег с сыном в Финляндию. Позднее туда же сбежал и брат Борис. Работал грузчиком в порту и писал книгу «Россия в концлагере», которую по частям печатал в газете «Последние новости». Печатал очерки и статьи в журналах «Журнал содружества», «Иллюстрированная Россия», «Современные записки». В 1936 г. переехал в Болгарию. Стал выпускать газету «Голос России», затем газету «Наша газета» и журнал «Родина», издал книгу «Россия в концлагере». С 1938 г. жил в Германии, разочаровался в эмигрантских организациях и резко критиковал их. Также критиковал политику гитлеровского правительства, предрекая, что война закончится разгромом и гибелью Германии. В результате был выслан из Берлина, и ему было запрещено заниматься политической и журналистской деятельностью. После окончания войны жил в английской оккупационной зоне, а в 1948 г. переехал в Аргентину, где начал выпускать газету «Наша страна». Участвовал в создании организации «Государево служилое земство», в которую входили Российский Имперский Союз и Высший Монархический Совет, однако организация была распущена в 1950 г. Продолжал критику различных организаций эмиграции, включая Народно-Трудовой Союз и Славянский союз. В 1950 г. по ложным доносам был выслан аргентинским правительством в Уругвай, сначала жил в Монтевидео, затем на ферме в провинции, и потом в местечке Лас-Тоскас. Закончил фундаментальный труд «Народная монархия». Работал над романом «Две силы», главы из которого печатал в газете «Наша страна» под псевдонимом Глеб Томилин, но роман остался незавершенным. Писал статьи для «Нашей страны». Собирался переехать в США при посредничестве И. И. Сикорского,

однако заболел: был диагностирован запущенный рак желудка. Похоронен на английском кладбище Монтевидео.

Старый Кирибей (настоящее имя Попов Петр Николаевич; также псевдонимы Шабельский-Борк; П. Борк; П. П.) (5/17 мая 1893 г., станица Кисловодская — 18 августа 1952 г., Буэнос-Айрес) — писатель, поэт, публицист. Родом из дворянской семьи. Учился в Харьковском университете. Во время Первой мировой войны служил в Ингушском конном полку Кавказской туземной дивизии. Состоял в Союзе Русского Народа и Союзе Михаила Архангела. В ноябре 1917 г. арестован вместе с В. М. Пуришкевичем, Ф. В. Винбергом, Н. О. Графом, как член «монархической организации В. М. Пуришкевича». В тюрьме познакомился с Ф. В. Винбергом, с которым впоследствии сотрудничал в эмиграции. После освобождения уехал в Киев, а в конце 1918 г. эмигрировал в Германию. В Берлине вместе с Винбергом издавал журнал «Луч света». 22 марта 1922 г. участвовал в неудавшемся покушении на П. Милюкова. Был приговорен к 12 годам тюрьмы, но в 1927 г. — освобожден по амнистии. Был заместителем начальника Управления по делам русской эмиграции в Берлине генерала В. Бискупского, а также заместителем председателя Русского национального союза участников войны, генерала А. Туркула. После войны эмигрировал в Аргентину. Сотрудничал с журналом «Владимирский вестник» (Сан-Пауло), газетами «Наша страна» (Буэнос-Айрес). Автор книг «Да воссияет Пресветлый» (Берлин, 1929 г.), «Вещие были о святом царе» (Берлин, 1938 г.), «Павловский гобелен» (Фельдкирх, 1946 г.), «Близкий царь» (Буэнос-Айрес, 1950 г.). Скончался от туберкулеза легких в санатории «Санта Мария» в городе Кордоба (Аргентина), похоронен на местном кладбище.

Сургучев Илья Дмитриевич (15/27 февраля 1881 г., Ставрополь — 19 ноября 1956 г., Париж) — писатель, драматург, журналист. Родился в семье разбогатевшего крестьянина, переселившегося в город. Окончил духовное училище, Ставропольскую духовную семинарию, а потом факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета. В 1907 г. возвратился в Ставрополь, где был одним из организаторов журналов «Ставропольский сатирикон» и «Сверчок». Начал печататься в студенческие годы в ставропольской газете «Северный Кавказ», в петербургских журналах «Вестник Европы», «Журнал для всех» и др. В 1912 г. в сборнике «Знание» (№ 39) вышла повесть «Губернатор», имевшая большой успех. В 1913 г. в Александринском театре Петербурга была поставлена первая пьеса «Торговый дом». По просьбе присутствовавше-

го на спектакле Константина Станиславского следующую свою пьесу «Осенние скрипки» Сургучев в 1915 г. передал в Московский Художественный театр. Резко отрицательно восприняв революцию, примкнул к Белому движению. Заведующий одного из отделений «Осведомительного агентства» («Осваг») Добровольческой армии. С войсками генерала Врангеля переехал в Крым, где издавал собственную газету. В 1920 г. с частями белой армии добрался до Константинополя, жизнь в котором нашла отражение в написанной здесь пьесе «Реки Вавилонские». В 1921 г. поселился в Праге, сотрудничал с литературными и театральными эмигрантскими кругами. В организованном им русском театре были поставлены «Осенние скрипки» и «Реки Вавилонские». В 1924 г. переехал в Париж и с 1925 г. до конца жизни печатался в журнале «Возрождение». С 1930 г. в составе редакции «Возрождения» вел отдел прозы и очерка. Сотрудничал с журналами «Зарницы» (София), «Златоцвет» (Берлин), «Грани» (Франкфурт-на-Майне), «Жар-птица» (Берлин, Париж), «Русская мысль» (София), газетами «Огни» (Прага), «Новое слово» (Берлин), «Парижский вестник» (Париж), «Перезвоны» (Рига). В Париже издал сборник «Эмигрантские рассказы» (1927), роман «Ротонда» (1952), повесть «Детство императора Николая II» (1953). Работал в последние годы над незавершенной пьесой «Вождь» о Сталине. Отрывок из этой пьесы под названием «За чахохбили» опубликовал в журнале «Грани» (№ 20, 1954 г.). В Париже основал «Театр без занавеса». Рассказы и пьесы переведены на иностранные языки, пьесы ставились во Франции, Германии, скандинавских странах. В Голливуде было снято два фильма: в 1935 г. «The man who broke the bank at Monte Carlo» («Человек, который сорвал банк в Монте-Карло») по мотивам пьесы «Игра», и в 1949 г. «If this be sin» (оригинальное название «This dangerous age» — «Этот опасный возраст») по мотивам пьесы «Осенние скрипки». В конце жизни задумал роман о русской жизни «Ночь», действие которого должно было охватывать период от начала века до событий послевоенного времени; отрывки романа публиковались в журнале «Возрождение». Похоронен под Парижем на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Тарасова Наталья (в монашестве Александра; урожденная Жук Наталья Борисовна, в первом браке Тарасова, во втором Парфенова) (18 июня 1921 г., Киев — 8 января 2006 г., Провемон, Франция) — монахиня, прозаик, редактор. Родилась в семье профессора Киевского археологического института. Училась на биологическом факультете в Киевском университете. В 1943 г. с потоком беженцев вместе с семьей эвакуировалась через Варшаву и Прагу в Вену, продолжила учебу в универси-

тетах Вены (1943–1944) и Инсбрука (1945). В 1946 г. переехала в Германию. Постоянный сотрудник (публиковалась с 1951), затем, с 1962 г. по 1982 г. — главный редактор журнала «Грани». Сотрудничала в журнале «Посев». Автор повести «Берлин» («Новое русское слово», 1948). С 1983 г. переехала во Францию, прошла послушания и приняла постриг в рясофор и стала монахиней Леснинского монастыря. Похоронена на кладбище в Провемоне.

Тарусский Евгений (настоящее имя Рышков Евгений Викторович) (6/18 июля 1890 г. — 29 мая 1945 г., Лиенц, Австрия) — писатель, поэт, журналист, издатель и военно-общественный деятель. Сын драматурга Виктора Рышкова. Окончил университет. В Гражданскую войну служил в Дроздовском стрелковом полку. В 1920 г. перешел во флот. Эвакуировался из Крыма на миноносце в Марсель, в пригороде которого работал на ферме, затем перебрался в Париж. Работал помощником редактора газеты «Вечернее время» (Белград) Б. А. Суворина. Сотрудник газеты «Возрождение» (Париж), соредактор газеты «Галлиполиец» (Париж), один из первых редакторов журнала «Часовой» (Брюссель). В 1928 г. выпустил автобиографический роман «Экипаж “Одиссеи”» (Париж). Печатался в различных газетах и журналах русской эмиграции. В 1931 г. вместе с В. В. Ореховым выпустил военный справочник «Армия и флот». Автор книг «Вице Дьявол» (Рига, 1929 г.), «Дорогой дальнею» (Париж, 1935 г.), «Его величество случай» и «Серебряные туфельки» (Тяньцзынь, 1930-е гг.), а также романа «Легионер Смолич», опубликованного в журнале «Иллюстрированная Россия» (1926 г., Париж), и романа «Легион чести», опубликованного в журнале «Для вас» (Рига, 1926 г.). Во время Второй мировой войны был приглашен генералом П. Н. Красновым в «Казачий стан», где участвовал в издании журнала «На казачьем посту». В марте 1945 г. читал курс русской истории в школе казачьих пропагандистов в Потсдаме. С последним эшелоном чинов штаба казачьих формирований уехал в северную Италию (в г. Толмеццо). Печатался в местной газете «Земля казачья», читал на общеобразовательных курсах доклады по русской истории. По окончании войны содержался в лагере под Лиенцем (Австрия) и 29 мая покончил с собой, чтобы не быть выданным английским командованием советским властям.

Трубецкой Юрий (настоящее имя Нольден Юрий Павлович) (1902 г., Рига — 1974 г., Дорнштадт, Германия) — поэт, прозаик. Жил в Киеве, руководил литературной секцией в Киевском доме красной армии.

В 1930 г. был арестован, сослан на 10 лет в лагеря. В 1941 г. был отправлен в ссылку. После войны проживал в Германии. Публиковался в журналах «Возрождение» (Париж), «Современник» (Торонто), «Новый журнал» (Нью-Йорк); газетах «Русская мысль» (Париж), «Новое русское слово» (Нью-Йорк). В журналах были опубликованы повести «Нищий принц» и «Смута». Выпустил 3 сборника стихов: «Петербургские строфы» (Германия, 1946), «Двойник» (Париж, 1954) и «Терновник» (Париж, 1962).

Туроверов Николай Николаевич (18/30 марта 1899 г., Старочеркасская — 23 сентября 1972 г., Париж) — поэт, общественный деятель, журналист. Родился в семье потомственных старочеркасских казаков. Окончил Каменское реальное училище и ускоренный курс Новочеркасского казачьего училища, был выпущен в Лейб-гвардии Атаманский полк, с которым участвовал в Первой мировой войне. После революции вернулся на Дон, сражался в партизанском отряде есаула Чернецова, участник Степного похода. Эувакуировался с армией П. Н. Врангеля из Крыма. После лагеря на острове Лемнос работал лесорубом в Сербии, затем грузчиком и служащим банка в Париже. В 1939 г. поступил в 1 иностранный кавалерийский полк Иностранного региона, служил в Северной Африке и на Ближнем Востоке, затем во Франции. После войны жил и работал в Париже. Создал Музей Лейб-гвардии Атаманского полка, был главным хранителем библиотеки генерала Ознобишина, издавал «Казачий альманах» и журнал «Родимый край», собирал русские военные реликвии, устраивал выставки на военно-исторические темы: «1812 год», «Казаки», «Суворов», «Лермонтов». По просьбе французского исторического общества «Академия Наполеона» редактировал ежемесячный сборник, посвященный Наполеону и казакам. Создал «Кружок казаков-литераторов» и участвовал в его работе. В течение одиннадцати лет возглавлял парижский «Казачий Союз». Печатался в журналах «Часовой» (Брюссель), «Перезвоны» (Рига), «Грани» (Франкфурт-на-Майне), «Новый журнал» (Нью-Йорк), в газетах «Россия и славянство» (Париж) и «Русская мысль» (Париж). Первая книга стихов «Путь» вышла в 1928 г. в Париже. Сборники стихов выходили в 1937 г. (Безансон), 1939 г. (Безансон), 1942 г. (Безансон) и 1965 г. (Париж). Похоронен под Парижем на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, рядом с могилами однополчан Атаманского полка.

Тхоржевский Иван Иванович (1878 г., Ростов-на-Дону — 11 марта 1951 г., Париж) — поэт, переводчик. Окончил юридический

факультет Петербургского университета. Был оставлен для подготовки к профессорскому званию, но предпочел государственную службу. Дослужился до поста управляющего канцелярией Министерства земледелия, был сторонником реформ Столыпина. В 1916 г. вышел в отставку. Был избран председателем совета акционеров Нидерландского банка для русской торговли, вошел в правление Торгово-промышленного банка, стал акционером петроградской промышленной мануфактуры «Треугольник». В 1919 г. выехал в Гельсингфорс, а в 1920 г. переехал в Париж. До 1924 г. служил членом правления Русского Торгово-Промышленного банка; после секвестрации и закрытия банка стал сотрудничать в эмигрантской прессе. Был постоянным сотрудником газеты «Возрождение» (Париж), печатался в журнале «Современные записки» (Париж). Писал стихи и переводил французских и итальянских поэтов, а также рубаи Омара Хайама. В 1930 г. выпустил во Франции книгу переводов «Новые поэты Франции». Во время войны работал над книгой «Русская литература», вышедшей в Париже в 1946 г. и переизданной в 1950 г. В 1949 г. участвовал в возобновлении «Возрождения», теперь в виде журнала и стал его первым редактором, однако по состоянию здоровья через год отказался от редакторства. Похоронен под Парижем на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Тыркова-Вильямс Ариадна Владимировна (13/26 ноября 1869 г., С.-Петербург — 12 января 1962 г., Вашингтон, США) — публицист, писатель и критик. Родилась в старинной новгородской помещичьей семье. Окончила Высшие женские курсы в Петербурге. Вышла замуж за инженера-кораблестроителя из петербургской немецкой купеческой семьи Альфреда Николаевича Бормана; от этого брака родились сын Аркадий и дочь Соня. Через 7 лет супруги развелись. Начала печататься в 1897 г. под псевдонимом А. Вергежский (по имени родового имения в Новгородской губернии). С 1904 г. печатается под своей фамилией. В 1903 г. арестована за попытку распространения в Финляндии журнала «Освобождение» Петра Струве. Бежала в Германию. После амнистии, объявленной Манифестом 17 октября 1905 г., возвратилась в Россию. Вышла замуж за британского журналиста Гарольда Вильямса. Принимала участие в организации партии кадетов и вошла в первый состав ЦК, оставаясь до 1917 г. единственной женщиной в высшем органе этой партии. Печаталась в «Ниве», «Русской мысли» и «Вестнике Европы», принимала участие в руководстве газеты «Русская молва». Издала романы «Жизненный путь» и «Добыча», сборник рассказов, книгу «Анна Павловна Философова и ее время», сборник очерков «Старая Турция и

младотурки». Большевистский переворот восприняла отрицательно. В 1918 г. вместе с мужем эмигрировала в Лондон. Активно выступала против советской власти. В 1919 г. в Лондоне вышла на английском книга «От свободы к Брест-Литовску» («From Liberty to Brest-Litovsk»), послужившая обвинительным актом революционной демократии, доведшей Россию до большевиков. В Лондоне выступила одним из организаторов Комитета освобождения России, в руководство которого вошли также П. Струве и П. Милюков; основала Общество помощи русским беженцам, председателем которого являлась более 20 лет. Совместно с мужем написала роман «Василиса премудрая». В Париже была опубликована двухтомная биография А. С. Пушкина: в 1929 г. вышел первый том, а в 1948 г. — второй. В послевоенные годы боролась против выдачи депортированных граждан советскому правительству; с ее участием в Париже был создан Комитет помощи депортированным. В 1951 г. переехала в Америку. С ее помощью в Нью-Йорке был создан Российский политический комитет (председатель Б. В. Сергиевский, вице-председатель А. Л. Толстая), активно сотрудничала в «Новом русском слове» (Нью-Йорк), «Русской мысли» (Париж) и «Возрождении» (Париж). В Нью-Йорке вышли отдельными томами воспоминания «На путях к свободе» (1952) и «То, чего больше не будет» (1954). Третий том «Подъем и крушение. 1914–1918 гг.» печатался в парижском журнале «Возрождение» (в 1956–1958 гг.); там же в 1958 г. была опубликована серия статей «В мире чудесного», которые должны были войти в новую, так и неизданную книгу. Похоронена на кладбище Рок-Крик, штат Нью-Йорк, США.

Ульянов Николай Иванович (псевд. Шварц-Омонский) (23 декабря 1904 г./4 января 1905 г., С.-Петербург — 7 марта 1985 г., Нью-Хейвен, Коннектикут) — писатель, журналист. В 1927 г. окончил Ленинградский государственный университет, работал в Институте истории Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук. В 1930–1933 гг. преподавал в Архангельском Северном краевом комвузе, написав книгу «Очерки по истории народа Коми-Зырян», которая была издана в 1932 г. и за которую ему была в 1935 г. присуждена ученая степень кандидата исторических наук без защиты диссертации. С 1933 г. по 1936 г. работал старшим научным сотрудником постоянной историко-археологической комиссии при Академии наук в Ленинграде, будучи при этом доцентом кафедры истории СССР Ленинградского историко-лингвистического института. В 1935 г. возглавил кафедру истории народов СССР. В 1935 г. после публикации статьи, умеренно критиковавшей тезис об усилении классовой борьбы

по мере строительства социализма, был исключен из ВКП(б), после чего уволен из института. В 1936 г. был арестован НКВД за «контрреволюционную троцкистскую деятельность», приговорен к 5 годам лагерей, отбывал срок на Соловках и в Норильске. Был освобожден в 1941 г. В 1943 г. был отправлен на принудительные работы в Германию, в лагерь Карлсфельд под Мюнхеном. В 1947 г. перебрался в Касабланку. Сотрудничал в журналах «Возрождение» (Париж), «Российский Демократ» (Париж), «Новый Журнал» (Нью-Йорк) и в газетах «Русская мысль» (Париж) и «Новое Русское Слово» (Нью-Йорк). В 1952 г. в «Чеховском издательстве» был издан первый исторический роман «Атосса». В 1953 г. уехал в Канаду, где читал лекции в Монреальском университете, а с 1955 г. поселился в США, в Нью-Йорке, затем в Нью-Хейвене (штат Коннектикут), где работал преподавателем русской истории и литературы в Йельском университете. В 1973 г. вышел на пенсию. Опубликовал книги «Происхождение украинского сепаратизма» (Нью-Йорк, 1966 г.), «Диптих» (Нью-Йорк, 1967 г.), «Под каменным небом» (Нью-Хейвен, 1970 г.), «Свиток» (Нью-Хейвен, 1972 г.), «Сириус» (Нью-Хейвен, 1977 г.), «Спуск флага» (Нью-Хейвен, 1979 г.). Похоронен на кладбище Йельского университета.

Унковский Владимир Николаевич (9/21 сентября 1888 г., Харьков — 20 апреля 1964 г., Шель, пригород Парижа) — доктор медицины, военный врач, журналист и писатель. Окончил медицинский факультет Харьковского университета. Печататься начал в харьковской газете «Южный край», затем в студенческих изданиях, в литературном сборнике «Отзвуки» (1907). В 1911 г. — редактор «Всероссийского студенческого сборника». В 1912 г. в Библиотеке «Южного края» в Харькове вышла повесть «Месть». В 1913 г. переехал в Санкт-Петербург. Участвовал в сборнике «Пряник осиротевшим детям». В начале Первой мировой войны призван в армию младшим врачом в военно-санитарный поезд императрицы Александры Федоровны. В декабре 1914 г. получил из рук императрицы икону Св. целителя Пантелеимона. В 1916 г. в связи с болезнью уехал в Харьков в долгосрочный отпуск. Был военным корреспондентом и публиковал очерки и рассказы в петербургских газетах «Биржевые ведомости», «Петроградский курьер», журналах «Огонек», «Весь мир», «Новая всемирная иллюстрация» и др. Использовал псевдоним Я. Вланиский. В 1919 г. участвовал в организации общества «Литературное содружество» в Харькове. В 1920 г. эмигрировал в Югославию. Служил полковым врачом. Работал врачом во французской колонии Дагомея в Африке. В 1926 г. переехал в Париж. Сотрудничал с различны-

ми газетами и журналами, включая парижские газеты «Последние новости» и «Парижский вестник» (1942–1944), рижские газеты «Вечернее время» (1924), «Слово» (1925–1929), «Новая неделя» (1927), «Наше слово» (1929), «Новый голос» (1930–1932), «Голос народа» (1934), журнал «Основы» (1934), харбинских газете «Рупор» (Харбин) и журнале «Рубеж». Автор романов «Перелом» (Париж, 1934 г.), «Наши дни» (Париж, 1936 г.), «Андрей Клинский» (Париж, 1940 г.), «Икары» (Париж, 1942 г.). В парижском «Театре без занавеса» в 1939 г. была поставлена его пьеса «29 февраля». В 1925–1928 гг. принимал активное участие в деятельности парижского «Клуба молодых литераторов» и «Союза молодых поэтов и писателей». С 1936 г. по 1939 г. — генеральный секретарь Харьковского землячества в Париже. После II мировой войны сотрудничал в парижском журнале «Возрождение». Скончался в Доме Красного Креста в г. Шель под Парижем. Похоронен под Парижем на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Фёдорова Нина (настоящее имя Рязановская, урожденная Подгорина, Антонина Ивановна) (1895 г., Лохвица Полтавской губернии — 26 февраля 1985 г., Окленд, США) — педагог, писательница. Детство провела в Верхнеудинске, в Забайкалье. Окончила историко-филологическое отделение Бестужевских женских курсов в Петербурге. После революции уехала в Харбин. В 1923 г. вышла замуж за историка В. Рязановского. Ее сыновья, Николай и Александр тоже стали историками. Преподавала русский язык и литературу в гимназии. В 1936 г. семья переехала в Тяньцзин, в 1938 г. — в США. Наибольшую известность приобрел роман «Семья», вышедший в 1940 г. на английском языке и переведенный на 12 языков. В авторском переводе на русский язык роман были издан в 1952 г. нью-йоркским издательством им. Чехова. В 1958 г. во Франкфурте-на-Майне была издана повесть «Дети». В 1964–1966 гг. в Вашингтоне вышла первая часть трилогии «Жизнь». В 1964 г. в Сан-Паулу была издана книга «Театр для детей». Преподавала в университете штата Орегон, в США. Похоронена на сербском кладбище в Сан-Франциско.

Филиппов Борис (настоящее имя Филистинский Борис Андреевич) (24 июля/6 августа 1905 г., Ставрополь — 3 мая 1991 г., Вашингтон) — поэт, писатель, издатель. Родился в семье офицера. В 1928 г. окончил Ленинградский институт восточных языков, специализировался по монголоведению. Во время учебы в 1927 г. был арестован на 2 месяца за участие в религиозно-философском кружке С. А. Аскольдова «Брат-

ство св. Серафима Саровского». В 1933 г. окончил вечернее отделение Ленинградского института инженеров промышленного строительства. Был повторно арестован в 1936 г. и осужден на 5 лет лагерей. После освобождения поселился в Новгороде. Во время войны публиковал статьи в псковской газете «За родину». Переехал в Ригу, где опубликовал свой первый сборник стихов «Град невидимый», затем жил в Германии. В 1950 г. уехал в США. Сначала жил в Нью-Йорке, в 1954 г. переехал в Вашингтон. Сотрудничал с Русской службой радиостанции «Голос Америки», преподавал в различных американских университетах. Совместно с Г. Струве подготовил и издал сборники сочинений русских писателей. Печатался в журналах «Грани» и «Посев» (Франкфурт-на-Майне), газете «Новое русское слово» (Нью-Йорк). Возглавлял издательство «Inter-Language Literary Associates» (Вашингтон), выпускавшее преимущественно произведения, запрещенные в СССР. Состоял членом русской академической группы в США. Автор более 30 книг, сборников стихотворений, прозы и статей, преимущественно литературоведческих. В 1990 г. в Лондоне была издана книга мемуаров «Всплывшее в памяти».

Чухнов Николай Николаевич (1897 г., С.-Петербург — 10 января 1978 г., Нью-Йорк) — журналист, издатель, общественно-политический деятель. Корнет, участник Белого движения. С 1920 г. в эмиграции в Сербии. Председатель Союза русской молодежи. В 1924–1926 гг. — издатель газеты «Наше будущее» (Белград), в 1926–1927 гг. — главный редактор еженедельника «Словен» (Белград). Участник Русского Зарубежного съезда в Париже (1926). В 1942 г. вступил в формировавшийся в Белграде капитаном М. А. Семеновым из русской эмигрантской молодежи добровольческий батальон (с 1944 г. — Особый полк «Варяг»), который участвовал в боевых действиях против партизан И. Тито и советских войск. В 1944 г. был прикомандирован к штабу 1-й казачьей кавалерийской дивизии генерал-майора Х. фон Паннвица. В апреле-мае 1945 г. в Зальцбурге, в штабе формировавшегося Отдельного корпуса ВС КОНР (Вооруженные Сил Комитета Освобождения Народов России) генерал-майора А. В. Туркула. После окончания войны жил под Мюнхеном в лагере «перемещенных лиц». В 1947 г. вошел в состав инициативной группы по возрождению монархического движения в Зарубежье. С 1947 г. был Генеральным секретарем Представительства Высшего Монархического Совета (ВМС) на Германию и Австрию. В 1949 г. переехал в Америку, поселился в Нью-Йорке. В 1949 г. основал и был редактором-издателем монархического общественно-политического журнала «Знамя России». Был членом Главного управления Российско-

го Общемонархического Объединения (ГУ РОМО) в Северной Америке, с 1953 г. стал его председателем. Один из организаторов и руководителей Общемонархического съезда в Нью-Йорке 22–24 марта 1958 г., в результате которого был создан Общемонархический фронт (ОМФ). Член Руководящего Центра ОМФ. Автор книги «В смятенные годы» (1967 г., Нью-Йорк). Похоронен на кладбище Новодивеевского монастыря в штате Нью-Йорк.

Шишкова Аглая (Суражевская Агния Сергеевна) (1 февраля 1923 г., Рославль — 26 мая 1998 г., Нью-Йорк) — поэтесса. На Запад попала во время войны, в 1940-е гг. Жила в Германии и Швеции, где ее муж Л. Д. Ржевский преподавал в Лундском университете. В 1955–1960 гг. училась в том же университете. В 1953 г. в издательстве «Посев» (Франкфурт-на-Майне) опубликовала сборник стихов «Чужедаль», который стал первой книгой в серии «Русская зарубежная поэзия». Публиковала стихи и публицистику в журналах «Грани» и «Посев» (Франкфурт-на-Майне), «Мосты» (Мюнхен), «Новый журнал» (Нью-Йорк) и других, в сборниках «Стихи» (Мюнхен, 1947 г.), «Литературное зарубежье» (Мюнхен, 1958 г.), «Муза диаспоры», «На Западе», «Содружество»; в антологии «Вернуться в Россию стихами». В 1963 г. переселилась с мужем в США. В 1969 г. окончила университет штата Нью-Йорк, в котором позднее преподавала. Похоронена рядом с мужем на кладбище Новодивеевского монастыря в штате Нью-Йорк.

Юрасов Владимир (настоящее имя Жабинский Владимир Иванович; псевдонимы С. Юрасов; Панин; полковник Рудольф) (1914–1996) — писатель, журналист. Родился в Румынии, рос в семье отчима в Ростове-на-Дону. В 1932 г. приехал в Ленинград, работал бригадиром, затем прорабом на заводе «Красный Путиловец». В 1934 г. поступил на литературный факультет ЛИФЛИ (в 1936 г. этот вуз объединили с Ленинградским университетом). В 1937 г. арестован по доносу и осужден на восемь лет лагерей, направлен в Сегежлаг (Карелия). В начале войны заключенных эвакуировали, и Жабинскому удалось бежать. Три года скрывался, а после освобождения Ростова-на-Дону в 1943 г. подделал анкетные данные и получил новые документы. Работал на заводе, затем призван в действующую армию. В 1947 г. бежал в Западный Берлин. В 1951 г. получил разрешение на въезд в США. С 1952 г. по 1981 г. работал на радиостанции «Свобода». Роман «Враг народа» был издан в 1952 г. (Нью-Йорк), а затем окончательный вариант переиздан под названием «Параллакс» в 1972 г. (Нью-Йорк). Поэма «Василий Теркин после вой-

ны» была издана в Нью-Йорке в 1953 г., а сборник очерков «Просветы: Заметки о советской литературе» — в Мюнхене в 1958 г. Последние годы жил в поселке Веллей-Коттедж на территории Толстовского фонда в штате Нью-Йорк. Похоронен на кладбище Новодивеевского монастыря в штате Нью-Йорк.

Яконовский Евгений Михайлович (псевдоним Е. Я.) (4/17 июня 1903 г., Белгород — 15 мая 1974 г., Монтобан, Франция) — кадет, инженер, писатель, критик. Учился в Хабаровском, Оренбургском, Сумском и Одесском кадетских корпусах. Участник Гражданской войны на юге России в составе Артиллерийской бригады и лейб-гвардии Гренадерского полка. В эмиграции жил в Югославии, окончил университет. Переехал во Францию. Работал инженером-механиком. Работал сотрудником редакции газеты «Возрождение». Во время Второй мировой войны служил во французской армии. В 1949 г. был избран генеральным секретарем Временного правления Русского переселенческого союза. Заведовал книжным складом (1950-е гг.). Занимался литературным трудом. Состоял секретарем редакции и членом редколлегии журнала «Возрождение» (до 1955 г.). Сотрудничал в журнале «Военная быль» (Париж), с 1952 г. печатал здесь свои воспоминания. Публиковался в «Гранях» (Франкфурт-на-Майне), в газетах «Русская мысль» (Париж) и «Русское воскресение» (Париж) и др. Выпустил романы «Водяные лилии» (Париж, 1962 г.) и «Солнце задворок» (Париж, 1963 г.). Член Союза русских писателей и журналистов в Париже. В 1958 г. — член Комитета помощи писателю Н. Е. Русскому. Похоронен на кладбище Пон-де-Шом города Монтабан, Франция.

Яновский Василий Семенович (псевдонимы В. Мирный; В. С. Я.) (1/14 января 1906 г., Полтава — 20 июля 1989 г., Нью-Йорк) — прозаик, публицист. Родился в семье служащего. В 1917 г. потерял мать, в 1922 г. вместе с отцом и двумя сестрами нелегально перешел польскую границу. В 1926 г. уехал в Париж, где продолжил занятия литературой, параллельно учась на медицинском факультете Сорбонны, который фактически окончил в 1937 г. В конце 1920-х−1930-х гг. — участник «Союза молодых поэтов и писателей», литературных собраний «Зеленая лампа», литературного объединения «Круг», участник евразийского движения. Печатался в журнале «Числа», газете «Последние новости, журналах «Иллюстрированная Россия», «Русские записки» и «Современные записки». В 1930 г. в Париже вышло первое крупное произведение «Колесо». Следующий роман «Мир» (Берлин, 1931 г.) вызвал единодушную

критику со стороны многих литераторов, включая Николая Оцупа, Георгия Адамовича, Владимира Набокова и Владислава Ходасевича. Холодный прием встретила у читателей и критики и последующие произведения — повесть «Любовь вторая» (Париж, 1935 г.) и роман «Портативное бессмертие» (1938–1939), изданный полностью отдельной книгой лишь в 1953 г. в Нью-Йорке. В 1940 г. вместе с женой и дочерью перебрался в Монпелье, на юг Франции, затем в Касабланку (Марокко), а оттуда в США (июнь 1942). Поселившись в Нью-Йорке, в 1947 г. получил американское гражданство и работал врачом-анестезиологом в городских больницах. Совместно с Е. Извольской и А. Лурье организовал экуменическое общество «Третий час», издающее одноименный журнал на трех языках; сотрудничал с эмигрантскими изданиями «Новый журнал» (Нью-Йорк), «Новоселье» (Нью-Йорк), «Опыты» (Нью-Йорк). Опубликовал роман «Американский опыт» (1982 г., Нью-Йорк), повесть «Челюсть эмигранта» (Нью-Йорк, 1957 г.), мемуары «Поля Елисейские: Книга памяти» (Нью-Йорк, 1983 г.). Похоронен на кладбище Новодивеевского монастыря в штате Нью-Йорк.

Указатель имен и псевдонимов

(литературные персонажи выделены курсивом,
в скобках указаны соответствующие произведения и авторы)

Содержание

СТАТЬИ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Русская классическая поэзия

Русская классическая проза

Советская литература

Литература русского зарубежья

Рецензии на книги издательства им. Чехова (Нью-Йорк)

По страницам периодики русского зарубежья

Приложения

Ширяев Борис Николаевич

БРИЛЛИАНТЫ И БУЛЫЖНИКИ

Статьи о русской литературе

Главный редактор издательства *И.А. Савкин*
Дизайн обложки *И.Н. Граве*

Оригинал-макет *Е.Г. Орловский*
Корректор *И.Е. Иванцова*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47

Редакция издательства «Алетейя»:
СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304,
тел. (812) 577-48-72, aletheia92@mail.ru

Отдел продаж: fempro@yandex.ru, тел. (921) 951-98-99

www.aletheia.spb.ru

Формат 60x88 1/16. Усл. печ. л. 31,29. Печать офсетная.
Заказ №